



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

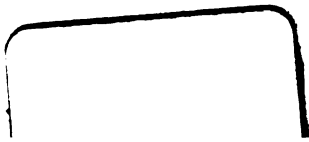


3 2044 022 397 376

Pslaw 460.5 (1899, no. 5)



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**



000

1426.318

1899²

5

254
3000



Годъ VIII-й.

БИБЛИОТЕКА
11. МАЙ. 1899
Вятскаго общества собранія.

№ 5-й.

МІРЪ БОЖІЙ

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

Проверено 1940 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЬ

ДЛЯ

САМООБРАЗОВАНІЯ.

КНИГОВСКАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ
1448
библ.
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГЕРЦКА

М А Й

1899 г.

С.-ПЕТЕРБУГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1899.

ОТЪ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА.

Контора журнала проситъ лицъ, подписавшихся на треть года и желающихъ продолжить подписку, озаботиться присылкой 2-го взноса. Вѣсьмъ, не сдѣлавшимъ 2-го взноса, высылка журнала съ мая приостановлена.

СОДЕРЖАНІЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СТР.

1. НАКАНУНЪ СТОЛѢТІЯ. Виктора Острогорскаго 1
2. СТИХОТВОРЕНІЯ. А. Колтановскаго и Тана 25
3. РИШТАУ. Повѣсть. В. Сѣрошевскаго. 27
4. СРЕДИ РАБОЧИХЪ. («Изъ житейскаго опыта»). И. К. 56
5. НА МОНБЛАНЪ. Прив.-доц. Н. Иванцова. 77
6. МИЦКЕВИЧЪ О ПУШКИНѢ. (Переводъ съ польскаго). А. К. 113
7. ОБЩЕСТВЕННЫЯ УЧЕНІЯ И ИСТОРИЧЕСКІЯ ТЕОРИИ XVIII И XIX ВѢКОВЪ. Проф. Р. Виппера. (Продолженіе). 121
8. СТИХОТВОРЕНІЯ: 1) СОНЕТЪ; 2) ГРОЗА. С. Мановскаго . 158
9. СТУДЕНТКА. Романъ Грэхэмъ Трэверса. Переводъ съ англійскаго З. Журавской. (Продолженіе) 159
10. ИМЯНИНЫ. Разсказъ Поля Ренадэна. Переводъ съ французскаго Л. Давыдовой. 191
11. КАРАНДАШОМЪ СЪ НАТУРЫ. (Изъ путешествія вокругъ свѣта черезъ Корею и Манджурію). Н. Гарина (Продолженіе) . 201
12. РАВНОДУШНЫЕ. Романъ. (Продолженіе). К. Станюковича . 225
13. ДНИ ПОКАЯНІЯ (Пушкинская годовщина). Ив. Иванова. . . 246
14. СТИХОТВОРЕНІЕ. НЕИЗБѢЖНОЕ. Allegro. 314

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

15. КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ. Общая тема въ современной беллетристикѣ.—Идейный разладъ.—Три романа на эту тему: «Куда идти» г. Боборыкина, «Аргонавты» г-жи Ожешковой, «Равнодушные» г. Станюковича.—Причины разлада.—Значеніе его, какъ показателя общественнаго настроенія.—Предстоящая Пушкинская годовщина. А. Б. 1

Годъ VIII-й.

БИБЛИОТЕКА

№ 5-й.

11. МАЙ. 1899
Вятскаго обществ. собранія.

МІРЪ БОЖІЙ

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ

САМООБРАЗОВАНІЯ.

М А Й

1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1899.

△
Р. Слав 460.5 (1899, no. 5)



Доводено цензурою 24-го апрѣля 1899. года. С.-Петербургъ



СОДЕРЖАНІЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

	стр.
1. НАКАНУНЪ СТОЛБТІЯ. Виктора Острогорскаго	1
2. СТИХОТВОРЕНІЯ. А. Колтановскаго и Тана	25
3. РИШТАУ. Повѣсть. В. Сѣрошевскаго.	27
4. СРЕДИ РАБОЧИХЪ. («Изъ житейскаго опыта»). И. Н.	56
5. НА МОНБЛАНЪ. Прив. доп. Н. Иванцова.	77
6. МИЦКЕВИЧЪ О ПУШКИНЪ. (Переводъ съ польскаго). А. К.	113
7. ОБЩЕСТВЕННЫЯ УЧЕНІЯ И ИСТОРИЧЕСКІЯ ТЕОРІИ XVIII И XIX ВѢКОВЪ. Проф. Р. Виппера. (Продолженіе).	121
8. СТИХОТВОРЕНІЯ: 1) СОНЕТЪ; 2) ГРОЗА. С. Маковскаго	158
9. СТУДЕНТКА Романъ Грэхэмъ Грэверса. Переводъ съ англійскаго З. Журавской. (Продолженіе)	159
10. ИМЯНИНЫ. Разсказъ Поля Ренадэна. Переводъ съ французскаго Л. Давыдовой.	191
11. КАРАНДАШОМЪ СЪ НАТУРЫ. (Изъ путешествія вокругъ свѣта черезъ Корею и Манджурію). Н. Гарина. (Продолженіе)	201
12. РАВНОДУШНЫЕ. Романъ. (Продолженіе). К. Станюковича	225
13. ДНИ ПОКАЯНІЯ (Пушкинская годовщина). Ив. Иванова.	246
14. СТИХОТВОРЕНІЕ. НЕИЗБѢЖНОЕ. Allegro	314

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

15. КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ. Общая тема въ современной беллетристикѣ.—Идейный разладъ.—Три романа на эту тему: «Куда идти» г. Боборыкина, «Аргонавты» г-жи Ожешковой, «Равнодушные» г. Станюковича.—Причины разлада.—Значеніе его, какъ показателя общественнаго настроенія.—Предстоящая Пушкинская годовщина. А. Б.	1
16. НАШИ ВЕСЕННІЯ ВЫСТАВКИ. (Замѣтка). С. М.	13
17. РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ. На родинѣ. Изъ голодающихъ губерній.—Народный университетъ въ Тифлисѣ.—Сахалинскіе арестанты.—На новыхъ мѣстахъ.—Пушкинскій музей.	17

	СТР.
18. За границей. Рабочая коллегія въ Оксфордѣ. — Годовщина основателя Арміи Спасенія. — Фабрикантъ-художникъ. — Япо- нія прежде и теперь — Парсы въ Индіи и европейское влія- ніе. — Въ Египтѣ. — Положеніе миссій въ Китаѣ.	28
19. Изъ иностранныхъ журналовъ. «The Chautauquan». — «Nuova Antologia». — «Revue des Deux Mondes». — «Ethical Journal».	40
20. АГРАРНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ ГОЛЛАНДИИ. М. Рафаилова.	44
21. НАУЧНАЯ ХРОНИКА. Физиологія. 1) Новыя изслѣдованія о причинѣ горной болѣзни. 2) Отчего негры чернаго цвѣта? — Физика. Жидкій воздухъ и нѣкоторыя его примѣненія. — Біо- логія. Удаленіе менѣе приспособленныхъ. — Географія и путе- шествія. Возвращеніе экспедиціи де-Гарлаша и свѣдѣнія о о другихъ антарктическихъ экспедиціяхъ.	49
22. БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ ЖУРНАЛА «МІРЪ БО- ЖІЙ». Содержаніе: Русскія и переводныя книги: Беллетри- стика. — Критика и исторія литературы. — Юридическія науки. — Медицина и гигиена. — Математика и астрономія. — Новыя книги, поступившія въ редакцію.	59
23. НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.	91

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

24. ВЕРОНИКА. Историческій романъ Шумахера. Переводъ съ нѣмецкаго З. А. Венгеровой. (Продолженіе).	113
25. МИКРОКОСМОСЪ, ИЛИ МІРЪ ВЪ МАЛОМЪ ПРОСТРАН- СТВѢ, описанный Морицомъ Вильямомъ, покойнымъ профес- соромъ пражскаго университета. Переводъ съ нѣмецкаго Н. М. Могиланскаго и Д. Н. Нелюбова. Съ многочисленными иллю- страціями въ текстѣ. (Продолженіе).	125



НАКАНУНЪ СТОЛѢТІЯ *).

I.

По выраженію Эмерсона, «рожденіе поэта есть важнѣйшее событіе въ хронологіи». Въ самомъ дѣлѣ, великіе поэты, благодаря своему гению, проникаютъ, такъ сказать, въ душу своего времени, воплощаютъ въ своихъ образахъ, чувствахъ и думкахъ все важнѣйшее, существеннѣйшее, и справедливо могутъ быть названы, по словамъ Пушкина, «оракулами вѣковъ». Такими «оракулами» въ истекающемъ XIX столѣтіи для англичанъ былъ Байронъ, для французовъ—Гюго, для нѣмцевъ—Гете и Гейне, для Польши—Мицкевичъ, для насъ, русскихъ—А. С. Пушкинъ.

Но, если такъ высоко цѣнятъ въ западной Европѣ гениальныхъ поэтовъ, которыхъ у болѣе просвѣщенныхъ націй было по нѣскольку, то тѣмъ болѣе дорогъ долженъ быть для насъ нашъ единственный, несравненный, поэтический гений. Не было у насъ ни одного такого до Пушкина, не появилось подобнаго ему и до настоящаго времени. Онъ писалъ всего только какихъ-нибудь 22 года, считая даже его лицейскія стихотворенія; въ полномъ расцвѣтѣ своего гения, едва достигнувъ тридцати семи лѣтъ, онъ уже уходитъ отъ насъ, подобно юному Ахиллсу, прославившему грековъ, наполнивъ вѣковѣчной славой всю Россію. И слава эта не военная, какъ Ахиллеса, а культурная,—слава гения, пробудившаго въ насъ самосознаніе и добрыя чувства своей лирой,—слава русскаго Колумба, открывшаго намъ неизсякаемыя сокровища нашего родного языка,—слава поэта, впервые наглядно показавшаго намъ Русь, прежде всего и настойчивѣе всего требующую просвѣщенія.

Въ концѣ текущаго мѣсяца предстоитъ величайшій культурный праздникъ, какого у насъ до сихъ поръ еще не было никогда. Всей грамотной Россіей будетъ праздноваться столѣтіе рожденія нашего единственнаго гения, который является центромъ и главою

*) Публичная лекція, прочитанная въ С.-Петербургѣ, 11-го марта 1899 года, въ Солянномъ Городкѣ, въ пользу Подвижнаго музея учебныхъ пособій при Постоянной Коммиссіи Императорскаго Техническаго Общества. *Ред.*

всей русской литературы XIX вѣка. Празднуя это столѣтіе, наша литература будетъ праздновать вмѣстѣ съ тѣмъ и столѣтній юбилей своего самостоятельно-художественнаго и національнаго существованія. Ибо отъ Пушкина пошла вся наша литература XIX-го вѣка,—литература, поразившая Европу своимъ необыкновенно быстрымъ ростомъ и поставившая и насъ въ рядъ народовъ культурныхъ. Отъ Пушкина, какъ отъ солнца, исходятъ лучи согрѣвающего свѣта поэзіи на всѣ послѣдующія поколѣнія; отъ него идутъ и разрабатываются дальше и дальше литературные темы, сюжеты, типы; имъ порождаются послѣдующіе поэты и сама критика; его лучшими завѣтами проникнуты всѣ русскіе люди, которымъ дорого просвѣщеніе родной страны.

Оглянемся назадъ. Посмотримъ, съ чѣмъ вступили мы въ XIX в., и какой представлялась Пушкину литература и Русь въ первую четверть столѣтія.

Къ началу XIX в. прошло почти сто лѣтъ со введенія въ Россію гражданскаго шрифта и появленія первыхъ опытовъ русской поэзіи, но какъ она еще ничтожна по своему значенію! За рѣдкими исключеніями, это все еще, по мнѣнію Тредьяковскаго, только «утѣшная и веселая забава», а произведенія ея «фрукты и конфекты на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ». По Державину, поэзія—«даръ боговъ», чтó, впрочемъ, не мѣшаетъ ей быть «милой, любезной, пріятной, сладостной, полезной, какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ». Поэтъ Богдановичъ вотъ что говоритъ о задачахъ своей поэзіи:

Люблю свободу я мою:—
 Не для похвалъ себѣ пою,
 Но, чтобъ въ часы прохладъ, забавы и покоя,
 Пріятно разсмѣялась Хлоя.

Въ самомъ дѣлѣ, что далъ намъ XVIII в.? Высокопарную поэзію Ломоносова и Державина, рядъ одописцевъ, которыхъ считали гениями, но читали только любители. Сколько высокопарныхъ словъ, реторики, лести, псевдоклассическихъ, никому непонятныхъ, миеологическихъ украшеній, лжи, и почти полное отсутствіе народности. Кто прочтетъ теперь театральныя упражненія Сумарокова, всѣ эти, якобы историческія, трагедіи XVIII в., въ которыхъ ни на волосъ поэзіи и ровно ничего историческаго? Что такое поэтъ XVIII вѣка? Это балующійся стишками чиновникъ, эксплуатирующий свое стихоплетство служебными наградами и поощряемый высокопоставленными меценатами. Какъ мало во всей этой литературѣ поэзіи, и еще менѣе національности; какъ тяжелы языкъ, форма; какъ чуждъ намъ этотъ псевдоклассицизмъ, въ которомъ среди реторики почти тонетъ даже такой талантъ, какъ Державинъ, не трогая сердца и почти не давая воображенію ясныхъ образовъ. Живѣе—сатира, но и она выражается только въ двухъ комедіяхъ Фонвизина, наполовину заимствованныхъ и стоящихъ совершенно одиноко. Да и эта сатира, какъ и сатира Новикова, должна скоро прекра-

тятся, какъ она ни скромна, и первые проблески этой болѣе живой общественной литературы гибнуть въ самомъ зародышѣ. Даже Крыловъ развертываетъ свой талантъ въ баснѣ только уже въ XIX столѣтіи, и стоитъ тоже совершенно отдѣльно. Одинъ Карамзинъ къ концу XVIII столѣтія обращаетъ публику къ интересамъ литературы, но и его дѣятельность слишкомъ кратковременна и проникнута, чуждой Россіи, приторной сентиментальностью. Изъ за границы проникаетъ къ намъ черезъ Жуковского и романтизмъ, но всѣ эти заимствованія—псевдо-классицизмъ, сентиментализмъ и романтизмъ—случайны, отрывочны, беспочвенны и мало имѣютъ отношенія къ русской жизни. Конечно, Жуковский и Батюшковъ—наши первые, истинные поэты, но и они не самостоятельны и не національны. Они прекрасные версификаторы, по большей части, исполнители чужихъ мотивомъ съ чужого голоса. На общественное мнѣніе, на сознание русскаго общества они имѣютъ вліяніе очень малое, и роль ихъ можно уподобить роли хорошихъ учителей словесности, какими они и были для юности Пушкина, который, выучившись у нихъ, такъ сказать, технику искусства, пошелъ дальше уже по самостоятельному пути.

Говорятъ ли о нашемъ просвѣщеніи въ началѣ вѣка, о нашей наукѣ, которой почти совсѣмъ не было, какъ и критики? Наше жалкое образованіе, доступное только немногимъ, ютилось въ единственномъ московскомъ университетѣ, мало чѣмъ отличавшемся отъ гимназіи; въ Благородномъ пансіонѣ, Петербургской Іезуитской коллегии, да позже—въ Лицеѣ и въ нѣсколькихъ военныхъ училищахъ...

Вотъ среди какихъ условій общественной культуры, за два года до наступленія прекраснаго начала Александровыхъ дней, явился въ 1799 г. на свѣтъ Пушкинъ.

Если въ основаніе трагедіи берется личность страстная, богато одаренная, борящаяся за идею, идущая къ великой цѣли, но, не до стигнувъ ея, честно погибающая, великая и въ своей гибели, то именно такую личностью представляется мнѣ Пушкинъ, а трагедіей—его жизнь съ неизбѣжною развязкой—насилъственной смертью.

Представимъ себѣ наше русское общество первой четверти XIX вѣка съ его убогой культурой и просвѣщеніемъ, общество крѣпостническое, бюрократическо-низкопоклонническое, безъ всякихъ высшихъ задачъ и стремленій,—словомъ, общество очень хорошо извѣстное намъ по Грибоѣдову, Пушкину, и позже—Гоголю,—общество, живущее почти животной жизнью, изо дня въ день, безъ размышленія и сознанія своихъ общественныхъ и гражданскихъ обязанностей, не говоря уже о политическихъ понятіяхъ, которыхъ, за рѣдкими исключеніями, еще почти не существовало вовсе; общество, въ которомъ Чацкаго сочли сумасшедшимъ и опаснымъ врагомъ всего существующаго порядка. Недаромъ Пушкинъ самъ говорилъ про себя: «и угораздило же меня родиться съ талантомъ въ Россіи!»

И въ этомъ - то полуазіатскомъ обществѣ, вдругъ, волею не-исповѣдимыхъ судьбъ, нарождается невиданное доселѣ чудо—геній, съ необычайно горячей кровью, сильными страстями, натура пылкая, увлекающаяся, характеръ крайне сложный, полный противорѣчій,—геній, одаренный такими силами творчества, какихъ и представить себѣ не могло это общество. Какъ же послѣднее его приняло и воспитало, какъ относилось всю жизнь къ нему и какъ потеряло, не умѣвъ его охранить и сберечь?

Приняла генія въ міръ его семья, легкомысленная и пустая, встрѣтившая непривѣтливо урода-арапа. Двѣ простыя женщины, нянька да бабушка, выходили младенца, передавъ его на воспитаніе развратнымъ гувернерамъ и гувернанткамъ, да гостиней его родителей, гдѣ отъ дяди и отца ребенокъ слышалъ фривольные стишки французской эротической музыки, а въ богатой библіотекѣ родителей знакомился со всѣми тайнами «страсти нѣжной». Миѣ нечего распространяться объ его воспитаніи, въ которомъ не докучали ребенку моралью строгой—оно достаточно всѣмъ извѣстно; это—воспитаніе Онѣгина. Еще въ родительскомъ домѣ проявляются первые проблески необыкновенной натуры, любознательность, талантливость, умъ и остроуміе, но нѣтъ никого, рѣшительно никого, кто бы обратилъ на ребенка серьезное вниманіе и направилъ его къ добру.

11-ти лѣтъ его отдають въ Лицей, особое, аристократическое заведеніе, возникшее какъ-то вдругъ, безъ почвы, безъ обдуманной программы, и даже ясной, опредѣленной цѣли, — заведеніе, о которомъ петербургскій генералъ-губернаторъ Милорадовичъ, увидѣвъ на парадѣ лицейство, выразился такъ: «Да, это не то, что университетъ, не то, что кадетскій корпусъ, не семинарія, это—Лицей».

Лицей далъ генію много товарищеской ласки, но, за исключеніемъ Пуцина, едва ли не всѣ остальные товарищи были неизмѣримо ниже Пушкина по уму и развитію. Они дѣлили съ нимъ забавы и школьничества, баловали его восторженными похвалами, но едва ли сколько-нибудь понимали его сокровенную душу. Вспоминаетъ впоследствии Пушкинъ съ благодарностью профессоровъ Куницына и Галича, но, при лицейскихъ порядкахъ, кратковременности своего преподаванія и юности лицейство, они могли дать имъ очень немногое. Можно сказать, что и Лицей, какъ и родной домъ, ни одного, сколько-нибудь серьезнаго, руководителя Пушкину не далъ. Но геніальная натура развертывалась. Слывя повѣсою и лѣнтяемъ, онъ съ жаромъ предается поэзіи, много думаетъ, читаетъ и, обладая громаднокъ памятью фактовъ и словъ, пріобрѣтаетъ и здѣсь не мало знаній... И, какъ ни легкомысленъ кажется онъ на первый взглядъ, но этотъ удивительно правдивый, искренній, сердечный юноша уже въ Лицѣѣ проявляетъ во многихъ стихотвореніяхъ серьезное настроеніе и, болѣе или менѣе, строгій взглядъ на жизнь и поэзію.

Далѣе, на три почти года, геній былъ предоставленъ вполне самъ себѣ, и, при бѣшеной, кипучей натурѣ, Пушкинъ предается всякимъ излишствамъ. Но это не мѣшаетъ ему продолжать, хотя урывками, учиться, а въ 1819 году написать глубокую вещь, какъ «Деревня». Какъ быстро развивается поэтъ въ четыре года своихъ скитаній по югу Россіи, извѣстно всѣмъ, и къ его невольному уединенію въ Михайловскомъ съ 1824—1826 годамъ вполне можно примѣнить его же стихотвореніе «Возрожденіе», гдѣ, въ картинѣ,

Краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей,
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Съ 1824 года во всю ширь и мощь развертывается, подъ вліяніемъ упорнаго труда надъ собой и образованія, геній Пушкина, и съ этого же времени начинается, и все crescendo и crescendo идетъ къ страшному развязкѣ трагедіи его жизни. Ужасныя событія конца 1825 года, заставшія одинокаго поэта въ Михайловскомъ, приводятъ его къ ложнымъ отношеніямъ къ власти, съ которой онъ тщетно старается держать себя независимо, а несчастная женитьба окончательно затягиваетъ петлю. Общество радуется его ошибкѣ, ловко пользуется его ревностью и бѣшеной натурой и ведетъ пьесу къ развязкѣ,—геній гибнетъ, «оставя міру свой вѣнецъ».

Но, за всю свою недолгую жизнь, до самой послѣдней минуты, онъ остается вѣренъ себѣ. Искренность, сердечность, доброта, великодушіе, уваженіе къ личности, правдивость, независимость убѣжденій, постоянный, добросовѣстнѣйшій трудъ надъ своими созданіями невольно заставляютъ забывать о многочисленныхъ недостаткахъ, ошибкахъ и увлеченіяхъ, зависѣвшихъ, впрочемъ, скорѣе отъ его неуравновѣшенной, бѣшеной природы, стоявшей въ нашемъ обществѣ совсѣмъ одиноко по своей исключительности и неподатливости. И всего болѣе отличаетъ этого генія постоянная страстная любовь къ поэзіи, въ которой онъ видѣлъ не игрушку, не удовлетвореніе самолюбія, не средство къ пріобрѣтенію мірскихъ благъ, а великое, пророческое служеніе родинѣ. Со школьной скамьи поэзія была для него серьезнѣйшимъ и первымъ дѣломъ жизни. Ради нея-то онъ и «хотѣлъ жить, чтобъ мыслить и страдать»,—и страдалъ за нее всю жизнь. Въ поэзіи Пушкинъ видѣлъ для Россіи великую культурную силу, подобно тому, какъ Ломоносовъ видѣлъ на ряду съ ней и другую силу—науку. Наукѣ придавалъ всегда и Пушкинъ огромнѣйшее значеніе. Прочтите его письма, замѣтки, статьи; вспомните знаменитую «Деревню», гдѣ онъ видитъ вокругъ «невѣжества губительный позоръ» и требуетъ, съ освобожденіемъ народа, и просвѣщенія, и вы должны признать, что Пушкинъ былъ не только поэтомъ-художникомъ, творцомъ прекрасныхъ

образовъ, рожденнымъ для звуковъ «чистыхъ и молитвъ», но и поборникомъ свѣта просвѣщенія среди темнаго вѣка застоя и невѣжества.

Пушкинъ вмѣстѣ съ тѣмъ и первый у насъ энергическій поборникъ свободы печати, на почвѣ строгой законности, и его два посланія къ цензору принадлежатъ къ самымъ сильнымъ его произведеніямъ и въ своемъ родѣ единственныя во всей нашей литературѣ. Здѣсь кстати коснуться общественно-политическихъ воззрѣній Пушкина вообще, такъ какъ съ этой стороны не разъ дѣлались ему упреки, но, принимая во вниманіе его натуру, условія его воспитанія и историческій моментъ, когда онъ жилъ, совершенно несправедливые. Если даже и теперь, черезъ 62 года послѣ смерти Пушкина, наше общественно-политическое воззрѣніе еще далеко неясно,—да и многіе ли теперь о такихъ вопросахъ серьезно думаютъ?—то что же было лѣтъ восемьдесятъ, семьдесятъ назадъ, при чуть не поголовномъ невѣжествѣ «свѣтской черни» и полномъ хаосѣ разнородныхъ понятій и вѣяній? Правда, уже послѣ 1812 года, родился у насъ, относительно, очень небольшой кругъ цѣльныхъ, опредѣленно убѣжденныхъ, людей, какъ И. И. Пущинъ или Чаадаевъ, которыхъ близко зналъ Пушкинъ; но эти люди, зная неосторожность поэта въ знакомствахъ и словахъ, тщательно берегли его геній и рѣшительно отстранили Пушкина отъ ближайшихъ сношеній съ декабристами. Онъ однако, какъ и самъ откровенно признался Императору Николаю Павловичу, навѣрное былъ бы съ ними, если бы только въ это время находился въ Петербургѣ. Какъ тепло относился онъ къ злополучнымъ жертвамъ декабрьскаго погрома, видно изъ писемъ Пушкина, изъ «Посланія къ И. И. Пущину»:

Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!
 И я судьбу благословилъ,
 Когда мой дворъ уединенный,
 Печальнымъ снѣгомъ занесенный,
 Твой колокольчикъ огласилъ.
 Молю святое Провидѣнье,
 Да голосъ мой душѣ твоей
 Даруетъ то же утѣшенье,
 Да оваритъ онъ заточенье
 Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней!

или изъ написаннаго въ 1827 г. «Посланія въ Сибирь»:

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ
 Храните гордое терпѣнье!
 Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
 И думъ высокое стремленье!

Несчастью вѣрная сестра,
 Надежда въ мрачномъ подземельѣ

Пробудить бодрость и веселье,
Придетъ желанная пора!

Любовь и дружество до васъ
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,
Какъ въ ваши каторжныя норы
Доходить мой свободный гласъ;

Оковы тяжкія падутъ,
Темницы рухнутъ, и свобода
Васъ приметъ радостно у входа,
И братья мечъ вамъ отдадутъ.

Ни воспитаніе, ни Лицей, ни общественная жизнь не могли дать Пушкину прочнаго общественнаго міровоззрѣнія, да мѣшала этому, особенно въ молодости, и слишкомъ большая впечатлительность. Но, можно сказать, въ Пушкинѣ, какъ въ фокусѣ, отразился весь кодексъ современнаго ему культурнаго общества, съ его какъ либеральными, такъ и консервативными особенностями. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что знаніе Пушкина только по однимъ художественнымъ произведеніямъ еще слишкомъ недостаточно. Да и они вѣдь дошли до насъ только частью. Въ нихъ поэтъ былъ всегда въ узкихъ цензурныхъ рамкахъ; на ряду съ поэтическимъ творчествомъ стоятъ еще его письма, записки и отрывки, изъ которыхъ мы и теперь можемъ извлечь не мало поучительнаго и цѣннаго.

Что же далъ Пушкинъ русской литературѣ?

Прежде всего онъ далъ нашей поэзіи красоту языка, формы, стиха, образа. Такой красоты формы, въ соединеніи съ простотой, опредѣленностью, ясностью, музыкальностью, и притомъ, съ такой именно русской, національностью языка, еще не видѣлъ ни русскій стихъ, ни проза, и уже одна эта эстетическая сторона его произведеній, доставляющая сама по себѣ наслажденіе, даже независимо отъ содержанія, ставитъ Пушкина на ряду съ величайшими, мировыми, поэтами. Школѣ остается только учиться на Пушкинѣ родному языку въ лучшихъ сокровищахъ его духа и словеснаго богатства; поэты должны имѣть Пушкина своимъ образцомъ; общество будетъ всегда наслаждаться этимъ стихомъ, его чудной прозой, воспитывать на Пушкинѣ свой вкусъ и обогащать языкъ. Безъ прекрасной формы нѣтъ искусства, безъ яснаго, яркаго, образа оно не открывало бы намъ тайниковъ жизни, не давало бы постигать и чувствовать красоту и смыслъ природы и человѣческой жизни,—душу. Форма, языкъ Пушкинской поэзіи, полные жизни и простоты, безповоротно и навсегда упразднили высокопарность русскаго псевдо-классицизма, слащавость слезливой сентиментальности и неопредѣленность и водянистую мечтательность романтики. Кто ищетъ въ поэзіи душевной радости, независимо ни отъ какихъ постороннихъ программъ или задачъ, кто хочетъ отдохнуть отъ пошлости и мелочи ежеднев-

ности, утѣшить свое воображеніе и сердце красивымъ и вмѣстѣ трезвымъ, жизненнымъ, вымысломъ, кто, наконецъ, просто захочетъ поласкать слухъ гармоніей стиха,—всякій найдетъ себѣ въ Пушкинѣ утѣшеніе. Именно въ этомъ смыслѣ и могъ сказать Пушкинъ:

Не для житейскаго волненья,
 Не для вѣры, не для битвъ, —
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Повторяемъ вмѣстѣ съ Ив. Сер. Аксаковымъ, что уже одна форма, одна эстетическая сторона Пушкина, сама по себѣ имѣетъ огромное значеніе: «Какой же пользы еще нужно? Да вѣдь такіе стихи благодѣяніе»...

Но Пушкинъ не остановился на формѣ. Онъ—не только чистый эстетикъ, бряцающій на кимвалѣ красивые, ласкающе слухъ, мотивы и тѣшачій праздное воображеніе красивыми образами, онъ—пророкъ, вѣщающій Божьи глаголы, народный поэтъ, къ памятнику котораго не заростетъ народная тропа, и всегда, пока будетъ стоять Русь, будетъ этому народу любезенъ не только тѣмъ, что былъ полезенъ живой прелестью стиха. Пушкинъ своими сочиненіями открылъ Россіи ее самое. Воспользовавшись преданіями старины глубокой въ пѣсняхъ и сказкахъ, онъ прозрѣлъ въ эту старину и изобразилъ ее въ «Русланѣ», сказкахъ и записанныхъ или обработанныхъ имъ пѣсняхъ, чего у насъ до него не было. Онъ прозрѣлъ въ «дѣла давно минувшихъ дней» и изъ «дыма столѣтій» извлекъ образы и картины изъ нѣсколькихъ, существеннѣйшихъ и знаменательнѣйшихъ, моментовъ нашей исторіи, которой до Пушкина мы не знали. Въ какихъ-нибудь двѣнадцать лѣтъ, съ 1825 по 1837 г., онъ создаетъ и легендарнаго воителя, князя Олега, и открываетъ намъ въ огромной картинѣ весь складъ древней Руси въ эпоху смутнаго времени, съ ролью народа, духовенства, боярства, съ образомъ верховнаго правителя Бориса, съ его стремленіями къ образованію и попытками послужить народу, который ждалъ для своего блага другого, настоящаго генія—Великаго Петра. Немногими пѣснями обрисовываетъ поэтъ и Стеньку Разина и, наконецъ, переходитъ къ самому Петру, котораго открылъ намъ поэтъ, какъ основателя Петербурга, какъ военнаго героя, осмысливъ борьбу со шведами, и какъ вѣчнаго работника на тронѣ и, наконецъ, въ частномъ быту. Петръ у Пушкина — это настоящее откровеніе, осмыслившее передъ нами все великое значеніе петровской реформой съ той страшной ломкой, мятежами, казнями, которые мрачили начало дней Петра, желѣзной волей своей вздернувшего Россію на дыбы! А эта, едва ли достаточно оцѣненная нами, Капитанская дочь? Развѣ не даетъ она намъ ключа, вмѣстѣ съ Дубровскимъ, къ пониманію причинъ народныхъ волненій; развѣ не рисуетъ, незатронутой до Пушкина, изнанки блестящаго царствованія Екатерины II, бессмысленнаго и беспо-

щаднаго русскаго бунта, съ Пугачовымъ во главѣ съ одной стороны, и не подготовленнаго къ нему невѣжественнаго русскаго общества, даже самого войска—съ другой? А эта, какъ бы дополнительная, картинка изъ жизни общества въ «Шиковой дамѣ», или ужасная картина крѣпостничества въ «Дубровскомъ»? Вѣдь все это—величайшіе историческіе документы, которыхъ у насъ, кромѣ «Войны и мира», явившагося лѣтъ черезъ тридцать пять позже, нѣтъ. А эпоха Наполеона, только едва затронутая Пушкинымъ?—развѣ, въ значительной степени, не отиѣтилъ и ея поэтъ своей одой и «Полководцемъ», или отрывкомъ изъ Рославлева, гдѣ вы видите изнанку патриотизма, при полной дряблости и некультурности современнаго общества.

Но это все прошлое, исторія, а вотъ и настоящая Русь, современная Пушкину. Нечего говорить уже объ изображеніи всей русской природы отъ Кавказа и Крыма до бѣдной деревушки; вспомните только «Деревню» съ картиной поработеннаго народа, «Лѣтопись Села Горюхина», на ряду съ которой можетъ быть поставлена развѣ только «Исторія одного города» Салтыкова; вспомните отдѣльныя черты народной жизни, разбросанныя въ разныхъ сочиненіяхъ Пушкина, напр., Няня въ «Онѣгинѣ», Наташа въ «Русалкѣ», Савельичъ, и вы согласитесь, что Пушкинъ далъ, хотя и не полную, но очень яркую картину и крѣпостной Руси, которой до Пушкина не изображалъ такъ правдиво еще ни одинъ русскій писатель.

Что же сказать объ изображеніи помѣщачьей жизни и жизни высшаго общества или, какъ называлъ его Пушкинъ, «свѣтской черни»? Всѣмъ еще со школьной скамьи извѣстенъ «Онѣгинъ» наизусть, и нечего объяснять все великое значеніе этого перваго русскаго романа, или указывать на громадное богатство и разнообразіе содержанія, изъ котораго развились весь позднѣйшій романъ и повѣсть съ Лермонтова до Тургенева и Толстого включительно. Но, оставляя въ сторонѣ Онѣгина, вспомнимъ о «Повѣстяхъ Бѣлкина» и «Египетскихъ ночахъ», которыя, при всей, относительно, малой цѣнности, сравнительно съ романомъ, даютъ множество чертъ жизни нашего, якобы культурнаго, общества.

Вотъ что далъ намъ Пушкинъ, только какъ первый и до сихъ поръ не превзойденный никѣмъ по разнообразію содержанія національный русскій писатель, способствовавшій сознанію нашего прошлаго и настоящаго, нашей природы, нашей народной массы съ ея психологіей и жизнью слоевъ высшихъ, образованныхъ. Эти заслуги Пушкина такъ неопѣнимо велики, что за ними блекнутъ даже такія, такъ сказать, міровыя, вещи, какъ «Каменный гость», «Скупой рыцарь» или «Пиръ во время чумы», со всей чудной лирикой, навѣянной иностранной литературой, какъ автологіи, подраженіе Корану, итальянцамъ или испанцамъ и т. п.

Итакъ, Пушкинъ первый художникъ-бытописатель, лѣтописецъ Россіи. Но онъ не только таковой; онъ—первая наша русская худо-

жественная творческая великая душа, первая серьезная наша поэтическая дума, первое наше русское сердце,—и вѣрно сказалъ о Пушкинѣ Тютчевъ:

Тебя, какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудеть!

Въ самомъ дѣлѣ, всмотритесь только въ эту «душевную» сторону Пушкинской поэзіи: сколько въ ней гуманнаго, симпатичнѣйшаго, содержанія! Здѣсь и дружба со школьной скамьи, и женская любовь и ласка, и задушевная бесѣда за стаканомъ вина съ близкими людьми, съ провозглашеніемъ:

Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ,
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

Здѣсь и тоска одиночества, и мечта о счастьѣ, и наслажденіе природой, и вѣра въ жизнь, въ святое, прекрасное, и трогательное чувство къ старушкѣ нянѣ, и сочувствіе страданіямъ народа, который поэтъ такъ любитъ, и любовь къ родинѣ, которой онъ желаетъ добра и счастья, и радость, и печаль, и утѣшеніе, и чувство религиозное, и восхищеніе красотой, въ чемъ бы она ни выражалась! И нигдѣ не видно нытья, всюду бодрость духа и свѣтлый взглядъ впередъ, безъ страха и боязни, какъ бы ни былъ темень горизонтъ,—словомъ, въ сочиненіяхъ Пушкина, какъ бы эхомъ, отразилось все, что волновало и томило душу современниковъ и просило у сердца отвѣта. Подобно Гёте, Пушкинъ облетѣлъ крылатою мыслью весь современный ему русскій міръ и съ поразительной яркостью и силой отразилъ въ своихъ стихахъ и вольнолюбивыя мечты своего времени, и лучшія чувства, и лучшія человѣческія движенія.

Но не одно всеобъемлющее сердце, не одно жизнерадостное чувство видимъ мы въ поэтѣ. Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ первый у насъ поэтъ серьезной думы,—думы глубоко скорбной, заставляющей «мыслить и страдать». И между тѣмъ какъ до Пушкина, за исключеніемъ мечтательнаго Жуковскаго, изображали по преимуществу міръ внѣшній,—Пушкинъ удивительно изображаетъ внутренній и свой, и своихъ героевъ. Необычайно умный, несмотря на все свое, подчасъ, легкомысліе, и даже иногда, такъ сказать, шатанье мысли, не всегда ясной,—не смотря даже на ошибки, Пушкинъ, съ Лицея и до смерти, не можетъ не относиться критически къ существующей дѣйствительности, и всѣ лучшія его лирическія произведенія и поэмы, особенно «Онѣгинъ», проникнуты глубокою скорбью и заставляютъ серьезно задуматься надъ жизнью. Этою скорбью и мыслью проникнуты, на примѣръ, его лицейская сатира «Лицинію», «Деревня», «Къ морю», «Полководцу», «Андрѣ Шенью», «Посланіе къ цензору», «Вельможа», «Лицейскія элегіи», «Опять на родинаѣ», «Когда за городомъ», «Не дорого цѣню я громкія хвалы»,

«Брожу ли», «Пророкъ» и величавый «Памятникъ». И чѣмъ долѣе живетъ Пушкинъ, тѣмъ все болѣе и болѣе зрѣетъ его серьезная мысль, тѣмъ болѣе слышится въ его стихахъ скорби...

Таковъ Пушкинъ, какъ поэтъ, русскій, національный, какъ великій художникъ и человекъ! И посмотрите, какой плодъ, еще при его жизни, принесла его поэзія. Ни одинъ еще поэтъ на Руси не производилъ такого впечатлѣнія на общество, не интересовалъ такъ своею личностью, никого не читали съ такимъ интересомъ и жадностью, никого такъ не бранили, никѣмъ такъ не восхищались. Каждое его новое произведеніе возбуждало общій интересъ. Пушкинымъ зачитывались, надъ Пушкинымъ плакали, читали его наизусть, о немъ всюду говорили, спорили, переписывали его стихи, эпиграммы, приписывали ему многое, что ему и не принадлежало. Словомъ, можно сказать, вся эпоха съ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ наполнена у насъ его именемъ, которое проникаетъ въ самые отдаленные углы Россіи... И въ 1832 году Гоголь смѣло и справедливо пріветствуетъ въ лицѣ Пушкина «чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа».

Къ тридцатымъ годамъ около Пушкина уже цѣлая плеяда даровитыхъ поэтовъ: Баратынскій, Языковъ, Дельвигъ, Козловъ, Губеръ, Подолнскій, Полежаевъ, Кольцовъ. Ихъ всѣхъ читаютъ и переписываютъ, ими увлекаются; поэты становятся у насъ глашатаями красоты, добра и правды, покорителями сердецъ, признаются и цѣнятся обществомъ, какъ избранныя натуры, носящія на себѣ печать генія. Но надъ всѣми поэтами царитъ Пушкинъ,—властитель думъ и благородныхъ чувствъ, источникъ всего высокаго и прекраснаго... Общество начало мыслить, начало чувствовать; въ грубо-матеріальную, холодную, мертвую, жизнь отъ солнца - Пушкина проникъ лучъ гуманизирующей поэзіи.

Поэзія вдохновила и другія искусства, которыхъ до Пушкина въ Россіи еще не было. Глинка, а за нимъ и цѣлый рядъ композиторовъ, вдохновляется Пушкинскими стихами, пишетъ на нихъ музыку, и ихъ распѣваетъ, начиная съ «Черной шали» Верстовскаго, вся Россія. Въ тридцатыхъ же годахъ появляется и первая народная русская опера: въ 1834 году «Аскольдова могила», а въ 1835 году «Жизнь за Царя». Живописцы, какъ Кипренскій и Брюловъ, пишутъ портреты Пушкина, сочиненія котораго начинаютъ иллюстрироваться; начинается появляться русская живопись, выставившая Брюлова и Федотова.

Пушкинскія изображенія народа и сочиненія историческія, собранныя Пушкинымъ пѣсни и сказки, пробуждаютъ интересъ къ изученію русской народности и исторіи: появляются статьи по русской исторіи и филологіи; выходятъ «Сказанія русскаго народа» Сахарова—этотъ первый сборникъ народной поэзіи, и готовится богатый сборникъ Кирѣевскаго, которому не мало матеріала сообщаетъ самъ Пушкинъ. Пушкинымъ вдохновлена и національная русская наука, отсюда пошедшая дальше до Соловьева, Костомарова, Кавелина, Аксаковыхъ,

Кирѣевскаго, Безсонова, Рыбникова, Буслаева, Тихонравова и другихъ изслѣдователей и собирателей русской старины и современной народности въ жизни масъ, на которую обращено теперь вниманіе.

Критики до Пушкина у насъ не было, по крайней мѣрѣ, сколько-нибудь серьезной, руководимой извѣстными основаніями. Значеніе ея созналъ опять таки Пушкинъ. «Критика,—говорилъ онъ,—не имѣетъ у насъ никакой самостоятельности и почти не имѣетъ никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній». «Критики наши говорятъ обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселѣ ихъ никакъ не выманишь». Теперь извѣстно, сколько здравыхъ критическихъ мыслей высказано Пушкинымъ въ его обширной и любопытнѣйшей перепискѣ; извѣстно и его отношеніе къ первымъ попыткамъ серьезной критики Бестужева въ «Полярной звѣздѣ». Извѣстны и попытки самого Пушкина создать критическій органъ изъ «Современника». И критика явилась еще при Пушкинѣ вмѣстѣ съ первыми, серьезными русскими журналами, «Московскимъ Телеграфомъ» Полевого, гдѣ писалъ и самъ Пушкинъ, съ «Телескопомъ» и «Молвой» Надеждина, гдѣ въ 1834 году выступилъ и Бѣлинскій. И всѣ первые наши критики—Полевой, Надеждинъ, Бѣлинскій—съ первой же статьи своей «Литературныя мечтанія»—идутъ отъ Пушкина. Онъ ихъ критерій, ихъ мѣрка для сужденія; онъ объектъ ихъ порицанія или похвалы. «Литературы у насъ нѣтъ — восклицаетъ въ 1834 г. Бѣлинскій,—а есть только хорошія книги; но литература у насъ можетъ быть, и она будетъ непременно, ибо у насъ уже есть Пушкинъ».... И Бѣлинскій не ошибся: Пушкинъ именно сталъ отцомъ всей нашей литературы, которая пошла отъ него и за нимъ. И вотъ, не прошло еще и трехъ лѣтъ съ появленія первой статьи Бѣлинскаго, поставившаго Пушкина на его настоящее мѣсто, какъ уже для всѣхъ неожиданно, какъ громомъ, поразила всю мыслящую и грамотную Россію сграшная вѣсть: «Великаго не стало»!

«Солнце нашей поэзіи закатилось!»—прочла 62 года назадъ вся Россія немногія скорбныя строки въ траурной рамкѣ:—«Пушкинъ скончался въ двѣтъ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!.. Болѣе говорить о семъ не имѣемъ силы, да и не нужно: всякое русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! нашъ поэтъ! наша радость, наша народная слава! Неужели къ самому дѣлу нѣтъ уже у насъ Пушкина? Къ этой мысли нельзя привыкнуть!..»

Такъ оплакивали безвременно погибшаго поэта современники подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ тяжелой утратой. Какими стихами оплакали своего учителя Кольцовъ въ своемъ «Лѣсѣ» и Лермонтовъ, напоминать нечего: эти стихи знаетъ каждый наизусть. Къ приведеннымъ мною словамъ остается прибавить только одно. Не только современники не могли привыкнуть къ мысли, что не стало Пушкина,

но даже и мы, отдаленные потомки, которымъ извѣстны многія подробности страшной трагедіи, и теперь, черезъ 62 года, не можемъ примириться съ этой гибелью нашего единственнаго гевія, котораго мы не умѣли уберечь. Зная теперь, хотя еще и далеко не вполне, какъ эта гибель подготавливалась; какъ неизбежно послѣдовательно шелькъ ей самъ Пушкинъ, подавляемый и общественными и семейными условіями послѣднихъ лѣтъ, да, пожалуй, и всей своей жизни; зная, какъ много его гнали, какъ раздражали и оскорбляли и клеветой, и урѣзываніемъ, искалѣченіемъ лучшихъ созданій, а часто и вынуждали молчать, когда хотѣлось сказать горькую правду;—зная все это, стыдно за нашихъ предковъ, за тотъ «жестокій» вѣкъ, когда приходилось Пушкину такъ много страдать за мысль и чувство и такъ негѣпо, безобразно, погибнуть отъ руки какого-то иностранца-проходимца, котораго натравили на эту бѣшеную, огненную, натуру и который, конечно, въ скудоуміи своемъ, «не понималъ ни нашей русской славы, ни того, на что онъ руку подымалъ»!

Но гевія великодушны; гевія—это такіе богачи, которые оставляютъ послѣ себя огромное наслѣдіе. И этого наслѣдія не лишаются они своихъ наслѣдниковъ, какъ бы при жизни они ни обходились съ ними дурно, хотя бы даже и погубили. Великое наслѣдство оставилъ по себѣ и Пушкинъ въ своихъ созданіяхъ, въ области разнообразной мысли и творчества, въ своемъ вліяніи на современниковъ и потомство. Разберемся же въ этомъ наслѣдіи, опредѣливъ въ общихъ, болѣе крупныхъ, чертахъ роль Пушкина въ послѣдующей русской литературѣ.

II.

«Великаго не стало!»—пишетъ Гоголь, получивъ извѣстіе о смерти Пушкина.—«Вся жизнь моя отравлена. Русь начинаетъ казаться мнѣ могилой, безжалостно похитившей для меня все, что есть драгоценнаго для сердца... Что теперь трудъ мой? Что теперь жизнь моя?..» Уединенная келья и мученичество стали представляться больному воображенію Гоголя, когда порвались его связи съ Пушкинымъ, и живая творческая дѣятельность другого великаго русскаго писателя была уже на закатѣ.

Тѣсная связь Гоголя съ Пушкинымъ несомнѣнна. Еще юношей онъ леглялъ въ себѣ высокій идеалъ, который воплощался для него именно въ Пушкинѣ. Стихи послѣдняго, по собственнымъ словамъ Гоголя, воспитали въ немъ благородство мыслей и чувствъ. Въ смутныхъ чаяніяхъ своей великой будущности, гевіальный юноша Гоголь въ своихъ первыхъ, скорбныхъ, порывахъ оторваться отъ «бездѣйственной и вялой жизни», отъ черни и пошлости, самъ сознаетъ великое вліяніе Пушкина и видитъ въ немъ идеалъ не только поэта, но и человѣка независимаго, мыслящаго, упорно трудящагся надъ достиженіемъ за-

данной цѣли. Въ 1830 г. Гоголь черезъ Плетнева познакомился съ Пушкинымъ, уже по «Вечерамъ на хуторѣ» провидѣвшимъ новую грядущую силу, и Пушкинъ тотчасъ же принимаетъ Гоголя подъ свое покровительство и становится въ буквальномъ смыслѣ слова учителемъ и воспитателемъ, моральнымъ и литературнымъ, того великаго, новаго меланхолика, которому суждена была такая славная будущность. За всѣ шесть лѣтъ знакомства Пушкинъ носился съ Гоголемъ, какъ съ роднымъ сыномъ: былъ исправителемъ его слога, его эстетическимъ цензоромъ, образователемъ его вкуса. Пушкинъ заставилъ Гоголя взглянуть на дѣло серьезно и отъ смѣхотворныхъ пустячковъ обратилъ своего ученика къ дѣлу серьезному, большому, къ смѣху горькому надъ дѣйствительно-смѣшнымъ всеобщимъ, всероссійскимъ, что достойно было быть выставленнымъ на посмѣяніе и позоръ. Пушкинъ даетъ Гоголю сюжетъ «Ревизора», и комедія пишется, сцена за сценой, прямо-таки подъ руководствомъ учителя. Въ одно время съ «Ревизоромъ» принимается ученикъ и за «Мертвыя души», сюжетъ которыхъ тоже уступленъ Гоголю Пушкинымъ, и 7-го октября 1835 года уже пишется третья глава романа, не урывками, по отдѣльнымъ сценамъ, какъ писалъ Гоголь прежде, а по строгому, опредѣленному плану, съ медленной и внимательной отдѣлкой малѣйшихъ деталей, чтобы исполненіе, какъ требовалъ того Пушкинъ, было достойно великаго сюжета, который, по словамъ Гоголя, долженъ былъ охватить всю Русь, «хотя бы съ одного боку», т. е. со стороны пошлости, въ противоположность Пушкину, который искалъ, по преимуществу, въ жизни красоты. Есть основаніе думать, что даже весь планъ «Мертвыхъ душъ» былъ разработанъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ, и что вся первая часть, которой, собственно говоря, и закончилъ Гоголь свою дѣятельность, была написана вчернѣ еще при жизни Пушкина.

Многознаменателенъ и трогателенъ этотъ союзъ двухъ гениевъ, изъ которыхъ старшій—Пушкинъ передаетъ младшему—Гоголю преемство творчества, точно предчувствуя, что жить осталось немного и надо приготовить себѣ преемника, который повелъ бы его великое творческое дѣло далѣе, еще болѣе широкимъ и новымъ путемъ, сообразно особымъ свойствамъ своего генія. Гоголь унаслѣдовалъ отъ Пушкина серьезность въ творческомъ трудѣ, отдѣлку, строгое обдумываніе малѣйшихъ частей твореній и реальное изображеніе дѣйствительности, какова бы она ни была.

Третій гений, младшій изъ трехъ, Лермонтовъ, еще ребенкомъ списывалъ въ тетрадь стихи Пушкина и началъ почти съ буквальныхъ его перепѣвовъ, даже съ тѣми же названіями: «Кавказскій плѣнникъ» и «Цыгане», и позже очень живо напоминалъ своего учителя въ нѣсколькихъ своихъ пьесахъ, и образами и складомъ стиха, какъ, напр. «Вѣтка Палестины» или «Три пальмы». Онъ рано усвоилъ себѣ форму Пушкинскаго стиха и тщательность отдѣлки, равно какъ и легкости.

Пушкинской прозы, и свое благоговѣніе и восторгъ передъ учителемъ ясно выразилъ въ стихотвореніи на его смерть, съ чего и началась извѣстность молодого поэта. Его поэмы всё навѣяны поэмами того же Пушкина, съ тѣми же неудовлетворенными натурами, съ яркими картинами природы, лирическими отступленіями и нѣкоторой приподнятостью тона. Легкая по формѣ, но очень знаменательная, какъ картина нравовъ, «Казначейша» и «Сказка для дѣтей» напоминаютъ «Домикъ въ Коломнѣ» и «Нулина». Стихотвореніе «Журналистъ, писатель и читатель» — прямой наслѣдникъ «Разговора книгопродавца съ поэтомъ». «Поэту» — навѣяно «Пророкомъ» Пушкина, а «Пророкъ» Лермонтова — продолженіе Пушкинскаго, только уже вышедшаго изъ пустыни къ людямъ. Печоринъ — развитіе того же Онѣгинскаго типа, только развѣнчаннаго въ своей вѣншей обаятельности, болѣе умнаго и самоуглубляющагося, чѣмъ Онѣгинъ. Такимъ образомъ, пошелъ отъ Пушкина и Лермонтовъ, отличающійся отъ него большею цѣлостностью и единообразіемъ въ высшей степени скорбнаго направленія, которое красною нитью проходитъ у юнаго поэта въ мрачномъ раздумьѣ надъ русской жизнью и судьбой молодого, современнаго автору, поколѣнія. Лермонтовъ является непосредственнымъ продолжителемъ Пушкина со стороны скорбной его вдумчивости въ жизнь, серьезнаго отношенія къ задачамъ поэзіи и элегическаго чувства.

Еще при жизни Пушкина, въ 1835 году, выступилъ въ русской литературѣ и четвертый изъ крупнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, первый народный художникъ-пѣсенникъ Кольцовъ. Выросши въ грубой и невѣжественной семьѣ, едва грамотный, онъ кропаетъ по образцу Сумарокова, Ломоносова, Державина и Дмитріева, жалкіе вирши, и тотъ же Пушкинъ открываетъ ему, темному человѣку, тайны истинной поэзіи и гармоническаго простаго стиха. Народные сюжеты и мотивы, которыми не пренебрегъ и такой большой баринъ и знаменитѣйшій въ Россіи «сочинитель», какъ Пушкинъ, обращаютъ этого самородка на его настоящій путь пѣвца народнаго горя и радости, пѣвца сельской природы, кормилицы земли и порывовъ даровитыхъ натуръ изъ народа къ просвѣщенію, къ волѣ, къ свободѣ изъ узъ крѣпостничества. Въ 1836 г. Кольцову удалось даже познакомиться съ самимъ Пушкинымъ, и тотъ принимаетъ въ немъ такое теплое участіе, такъ сердечно ободряетъ своего младшаго собрата по поэзіи къ дальнѣйшей дѣятельности, что свиданія и бесѣды съ Пушкинымъ до самой смерти бѣднаго поэта остаются самымъ свѣтлымъ его воспоминаніемъ... Насколько проникнуть былъ Кольцовъ признательностью и любовью къ своему наставнику, достаточно показываетъ одна изъ самыхъ лучшихъ пѣсенъ Кольцова «Лѣсъ», вызванная гибелью Пушкина.

Крупнѣйшимъ по значенію внутреннему, при сравнительно меньшемъ талантѣ поэтическомъ, непосредственно за Лермонтовымъ и Кольцовымъ, является съ своими пѣснями Некрасовъ — этотъ исключи-

тельный пѣвецъ народнаго горя, выступившій въ литературу и развернувшійся во всю ширь уже въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ. Онъ также воспитался на Пушкинѣ: отъ него заимствовалъ онъ любовь къ народу и серьезный взглядъ на поэзію, какъ выразительницу лучшихъ чувствъ и интересовъ общества, какъ пробудительницу этихъ добрыхъ чувствъ. Въ поэзіи, какъ и Пушкинъ, видѣлъ Некрасовъ, не одну только безотносительную красоту и цѣлю ея не ставилъ одно только наслажденіе:

говорилъ онъ:—

Съйте разумное, доброе, вѣрное,

Съйте, спасибо вамъ скажетъ, сердечное
Русскій народъ.

Но, признавая въ Пушкинѣ великое значеніе поэта вообще, не только гражданина, Некрасовъ, называвшій свою музу, въ противоположность богинѣ «тихихъ пѣснопѣвій» Пушкина, «музой мести и печали»,—наклонѣ уже дней своихъ, незадолго до смерти въ 1877 г., явился выразителемъ сердечной потребности въ обществѣ—чистой поэзіи:

Прости слѣпцамъ, художникъ вдохновенный,
И возвратись! Священный факель твой,
Погашенный рукою деревянной,
Вновь засвѣти надъ гибнущей толпой!
Вооружись небесными громами,
Нашъ падшій духъ внеси на высоту,
Чтобъ чловѣкъ не мертвыми очами
Могъ соверждать добро и красоту.

Одновременно съ Некрасовымъ выступилъ и дѣйствовалъ и А. Н. Плещеевъ, признававшій себя также ученикомъ Пушкина, которому подражалъ и въ красотѣ формы, и въ простотѣ и реальности образовъ, и въ благородномъ откликѣ на думы своихъ современниковъ и ихъ лучшія чувства, не говоря уже о широкой гуманности и задушевности, которыми Плещеевъ очень напоминаетъ Пушкина.

Поэты, какъ Лермонтовъ и Некрасовъ, пошли, такъ сказать, отъ идейной, болѣе серьезной, вдумчивой, поэзіи Пушкина, отражавшей лучшія думы и скорби современниковъ, хотя и тотъ, и другой отсылались и на темы общія, не имѣющія значенія специально-гражданскаго. Оба они были, такъ же, какъ и Пушкинъ, только поэты, литераторы, поэзія и литература были первымъ и единственнымъ дѣломъ ихъ жизни.

Но отъ Пушкина же пошли и поэты-эстетики, служившіе, какъ они говорили, чистому искусству: Майковъ, Фетъ, Полонскій, Тютчевъ,

БИБЛИОТЕКА

11. МАЙ. 1899

Вятское общество собраний

Алексѣй Толстой. Это были люди, богато одаренные отъ природы, широкообразованные, матеріально-обеспеченные, но по натурѣ болѣе свободные, гораздо болѣе уравновѣшенные, чѣмъ такъ часто увлекавшійся, ошибавшійся и кающійся Пушкинъ. Они долго жили, а трое изъ нихъ даже справили 50-лѣтіе своей поэтической дѣятельности, между тѣмъ какъ на долю Пушкина выпало только едва какихъ-нибудь 17 лѣтъ, да и то при какихъ страшныхъ условіяхъ, которыя очень хорошо извѣстны изъ его біографіи: вѣчное скитальчество, гоненія, матеріальныя нужды, непониманіе и преслѣдованія общества, искусственныя отношенія къ власти, несчастная семейная жизнь...

Неизмѣримо счастливѣе были поставлены въ жизни эстетики, избравшіе себѣ девизомъ не Пушкинскаго Пророка, сожигающаго глаголомъ сердца людей, не народнаго поэта, котораго благословить страна, а жреца Аполлона, которому нѣтъ дѣла до презрѣнной черни и который рожденъ не для того, чтобъ мыслить и страдать, не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для молитвъ и сладкихъ звуковъ. Тѣмъ не менѣе, эти поэты принадлежали искусству далеко не вполнѣ. Почти всѣ они священнодѣйствовали лишь въ свободное отъ служебныхъ занятій время, и только временами отдавались «служенію музамъ». Передъ глазами ихъ прошелъ цѣлый рядъ знаменательнѣйшихъ для Россіи событій, совершались великія реформы; страна, общество переживало столько невѣдомыхъ дотогѣ чувствъ, радостей, надеждъ, горя и разочарованій, а они, гордые жрецы Аполлона, стояли выше толпы и, за рѣдкими исключеніями, какъ, напр., «Картинка» Майкова, да еще кое-что, очень немногое, и у другихъ этихъ поэтовъ, — оставались равнодушными къ думамъ и чувствамъ своихъ современниковъ. Они пѣли на разные лады любовь, природу, красоту вообще, чистое искусство, жаловались, что искусства не понимаютъ, ихъ, нѣбцовъ, не пѣвать; воспѣвали Грецію, Римъ, Италію, братьевъ славянъ; но того-то, что такъ сильно въ Пушкинѣ — національности, своего-то, русскаго, у нихъ слишкомъ мало, а въ ихъ патріотическихъ стихахъ много блеску и риторики, но мало простоты и задушевности. Въ смыслѣ національности исключеніе представляетъ развѣ одинъ Алексѣй Толстой съ его прекрасной трилогіей, идущей по прямымъ слѣдамъ отъ Пушкинскаго «Бориса Годунова», да съ своимъ романомъ «Князь Серебряный». Эти поэты написали не мало прекрасныхъ стиховъ, какихъ однако слишкомъ много и въ западной литературѣ, и ужъ никакъ не худшихъ; они, дѣйствительно, цѣлыхъ полвѣка поддерживали и проводили традиціи своего учителя, но какія? — только чисто-эстетическія, общечеловѣческія: главное у нихъ — красивый стихъ, образъ, форма, часто при малозначительности содержанія. Но значеніе ихъ, какъ поэтовъ національныхъ, оригинальныхъ, самобытныхъ, какими были Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ или Некрасовъ, сравнительно съ ними, очень не велико. Къ этимъ же поэтамъ отнесли бы

мы и очень даровитаго Мея, котораго драмы, «Царская невѣста» и «Псковитянка», вмѣстѣ съ стихотворными сказаніями и нѣсколькими стихотвореніями, воспроизводятъ по слѣдамъ Пушкина древнюю Русь.

Наиболѣе плодотворно сказалось черезъ какихъ-нибудь пять-шесть лѣтъ послѣ смерти Пушкина, съ сороковыхъ годовъ, вліяніе поэта на прозаикахъ-беллетристахъ, поставившихъ русскую литературу въ рядъ литературъ европейскихъ. Воспитавшись на Пушкинѣ, предъ которымъ они, какъ и сами признаются въ своихъ воспоминаніяхъ, благоговѣли, они восприняли въ себя Пушкинскую любовь къ закрѣпощенному народу, его простоту и реальность въ художественномъ воспроизведеніи дѣйствительной, неприкрашенной, жизни, его національность въ широкомъ смыслѣ слова, его гуманизмъ, элегичность тона и легкой юморъ, не говоря уже объ образцовой Пушкинской прозѣ. «Евгеній Онегинъ» становится первообразомъ, краеугольнымъ камнемъ русскаго романа, а типы Онегина и Татьяны—прототипами всѣхъ дальнѣйшихъ культурныхъ героевъ и героинь русской литературы: у Лермонтова—Печоринъ, Вѣра и Мэри; у Тургенева—Базаровъ, Рудинъ, Лишній человекъ, Маша, Лиза, Наташа, Елена; у Гончарова—Адуевъ, Обломовъ, Райскій, Ольга, Марейняка, Вѣра и т. д. до скучающаго Нехлюдова, Наташи и Анны Карениной гр. Льва Толстого. Все это, такъ или иначе, дѣти, родственники, потомки того же Онегина и Татьяны, только представленные въ дальнѣйшемъ, и болѣе разностороннемъ, развитіи типовъ, поставленныхъ въ разныя положенія и условія, сообразно расширенію рамокъ литературы. Крестьянскія повѣсти Григоровича, начиная съ «Деревни» и «Антоня Горемыки», вмѣстѣ съ «Записками охотника» и другими рассказами и романами разныхъ авторовъ изъ крестьянской крѣпостной жизни—не что иное, какъ дальнѣйшее развитіе мыслей Пушкинской «Деревни» и другихъ его откликовъ на крестьянское горе и житье закрѣпощеннаго народа. И если Пушкинъ имѣлъ такое большое вліяніе на русскую поэзію, то вліяніе его на всю послѣдующую русскую художественную прозу, въ формѣ повѣсти и романа, гдѣ мы справедливо заняли такое высокое мѣсто даже въ болѣе культурной Европѣ,—громадно, и еще ждетъ въ будущемъ особаго изслѣдователя, который обстоятельно опредѣлитъ эту непосредственную, кровную, связь Пушкина со всей дальнѣйшей нашей литературой, въ которой безъ Пушкинской исторической повѣсти не было бы, можетъ быть, и «Войны и мира», а безъ Онегина, съ блестящей свѣтской дамой Татьяной Грениной, не явилось бы и единственной эпопеи изъ жизни высшаго общества «Анны Карениной». На сколько сильнымъ признаютъ вліяніе Пушкина крупнѣйшіе изъ нашихъ писателей, это показали, при открытіи памятника ему въ Москвѣ въ 1880 году, рѣчи Тургенева и особенно Достоевскаго, не говоря уже о всѣхъ рѣчахъ другихъ писателей.

Сейчасъ мы видѣли, какъ отразилось вліяніе Пушкина на всей

нашей дальнѣйшей художественной литературѣ; бросимъ бѣглый взглядъ на отношеніе къ поэту нашей критики. Отзывы о писателѣ современниковъ и потомства рисуютъ положеніе общества и его ростъ. Эти отзывы были слишкомъ разнообразны и вносятъ въ наше пониманіе Пушкина не мало путаницы. Разберемся въ этихъ отзывахъ.

При жизни поэта поняла его и оцѣнила лучше критики сама публика. Не было въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ грамотнаго человѣка, который бы не восхищался и не зачитывался бы Пушкинымъ. По словамъ Гоголя, «всѣ армейскіе и штатскіе считали своею обязанностью проговорить и исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ». Критика съ самаго «Руслана и Людмилы» напустилась на Пушкина за отступленіе отъ псевдоклассицизма, увидѣла въ немъ дерзкаго «романтика», ниспровергателя всего священнаго, и говорила о немъ столько вздору, что Пушкинъ имѣлъ полнѣйшее право относиться къ своимъ критикамъ презрительно. Первый отзывъ о Пушкинѣ, какъ объ очень большомъ писателѣ, принадлежитъ Полевому, однако, поставившему его только наравнѣ съ Державинимъ. Позже—кое-что высказалъ о Пушкинѣ вѣрнаго въ «Телеграфѣ» Надеждинъ, однако обозвавшій Пушкина «нигилистомъ». Только одинъ Гоголь въ 1832 году смѣло и патетически привѣтствовалъ въ лицѣ Пушкина «чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа». Въ первой же статьѣ своей въ 1834 году, какъ мы уже говорили, указалъ на Пушкина, какъ на родоначальника литературы, Бѣлинскій; но онъ долго видѣлъ въ немъ только одну сторону, не нравственную, не общественную, а лишь эстетическую. Только черезъ два года послѣ смерти Пушкина, въ 1839 г., его оцѣнилъ нѣмецъ—критикъ Фарнгагенъ фонъ-Энзе. Онъ поставилъ Пушкина на ряду съ величайшими представителями европейской поэзіи и призналъ въ немъ «выраженіе всей полноты русской жизни и, слѣдовательно, поэта національнаго въ высшемъ смыслѣ этого слова» *).

Прошло почти восемь лѣтъ по смерти Пушкина. Бѣлинскій былъ уже въ Петербургѣ, и критическія требованія его перешли отъ туманныхъ эстетическихъ теорій къ реальной и трезвой оцѣнкѣ художественно-изображаемой дѣйствительности. Въ 1844 г. является рядъ статей его о Пушкинѣ, составляющихъ одну изъ самыхъ важныхъ заслугъ великаго критика и во многихъ отношеніяхъ имѣющихъ очень большое значеніе и до сихъ поръ. Но у Бѣлинскаго въ рукахъ было изданіе сочиненій Пушкина далеко не полное, искалѣченное цензурой, исправленное Жуковскимъ, безъ біографіи, безъ примѣчаній,—и оцѣнка вышла опять почти только эстетическая. «Пушкинъ,—по словамъ Бѣлинскаго,—былъ по преимуществу поэтъ-художникъ и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ... Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство,

*) «Отечеств. Записки», 1839 г., III, 1—36.

какъ художество...» «Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка...» Но, за этою оцѣнкою, чисто эстетическою, нравственною вообще, Бѣлинскій, частью по условіямъ цензурнымъ, частью же по недостаточному знакомству съ личностью поэта и его сочиненіями и вариантами, явившимися въ печати уже впоследствии, могъ коснуться только вскользь, однимъ намекомъ на нравственное чувство, другой, существеннѣйшей, стороны его поэзіи: именно гражданской, общественной. Почти совсѣмъ не указавъ Бѣлинскій на то, что Пушкинъ видѣлъ въ поэтѣ не только художника, но и гражданина, пророка, призываемаго самимъ Богомъ «жечь глаголомъ своимъ людскія сердца», что Пушкинъ имѣлъ въ исторіи нашего общественнаго развитія особое, великое, значеніе, какъ одинъ изъ передовыхъ борцовъ за лучшія мысли своего времени. Это-то умолчаніе объ общественномъ значеніи поэта, или, по крайней мѣрѣ, недостаточно ясное указаніе на это значеніе, и было впоследствии причиною многихъ опрометчивыхъ сужденій о Пушкинѣ. Только черезъ 18 лѣтъ по смерти Пушкина вышло въ 1855 году первое, достойное имени поэта, изданіе Анненкова и «Матеріалы для его біографіи», впоследствии дополненные извѣстной книгой «Пушкинъ въ александровскую эпоху». Съ этого-то времени и начинается болѣе вѣрная и разносторонняя оцѣнка Пушкина, хотя все-таки долго еще смотрѣли на него только какъ на эстетика. Даже покойный Чернышевскій въ своихъ статьяхъ «Очерки Гоголевскаго періода русской литературы» о Пушкинѣ продолжалъ отчасти придерживаться взгляда Бѣлинскаго *), и только одинъ Аполлонъ Григорьевъ, котораго мало читали, высказалъ, что «поклоненіе поэту, какъ жрецу чистаго искусства, лишаетъ поэта его великой личности, его пламенныхъ, но обманутыхъ жизнью, сочувствій, его высокаго общественнаго значенія и низводитъ его на степень кимвала звенящаго и мѣди бряцающей, громкаго и равнодушнаго эха, сладко поющей птицы» (I, 238). Критикъ горячо стоялъ за національное значеніе Пушкина. «Онъ наше все,—говорилъ Григорьевъ.—Онъ, Пушкинъ, первый и полный представитель нашей народной фizioноміи въ мірѣ всѣхъ нашихъ сочувствій, не только художественныхъ, но и общественныхъ и нравственныхъ». «Всѣ истинныя, правдивыя стремленія современной литературы находятся въ духовномъ родствѣ съ Пушкинскими стремленіями, и отъ нихъ-то по прямой линіи и ведутъ свое начало».

Но даровитый критикъ не успѣлъ высказаться вполне и опредѣленно, и голосъ его остался одинокимъ. Наступило время великихъ ре-

*) Немногимъ, можетъ быть, извѣстно, что покойнымъ Н. Г. Чернышевскимъ еще въ 1856 г., безъ имени автора, была издана прекрасная дѣтская біографія Пушкина «А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія». Это—первый опытъ разъясненія дѣтямъ значенія нашего поэта. В. О.

формъ и страшной ломки старыхъ понятій; время возбужденныхъ страстей, борьбы стараго съ новымъ, время увлеченій злобами дня, за которыми не оставалось времени для спокойнаго, безпристрастнаго, обсужденія ненавистнаго прошлаго. Ниспровергались съ озлобленіемъ старые боги, которымъ поклонялись «отцы», и слова «аристократъ», «чистый эстетикъ», «искусство для искусства» стали для этого боевого, нервнаго, времени чуть не бранными. Старые поклонники Пушкина, какъ только жреца чистаго искусства, своимъ неумѣлымъ прославленіемъ въ его поэзіи именно одной только этой стороны подлили масла въ огонь, и «дѣти», какъ и сами отцы, не знавшіе и не хотѣвшіе знать исторіи и внимательно изучить Пушкина, пошли походомъ противъ этихъ отцовъ-эстетиковъ, и легкомысленно сдѣлали именно Пушкина козлищемъ отпущенія, основавшись на стихотвореніи «Чернь», въ которомъ выразилось только случайное, озлобленное, настроеніе поэта. Тутъ уже отказывалось Пушкину и въ народности, и въ общественномъ значеніи вовсе, и поэтъ низводился на степень только сладко поющей птицы.

Въ такія эпохи общей ломки и лихорадочной критики отживающаго, общество всегда обрушивается на тѣхъ, кто былъ авторитетомъ стараго поколѣнія, и на крупнѣйшихъ представителей литературы въ особенностях. Это позналъ и Пушкинъ на себѣ самомъ, и вотъ что говорилъ онъ въ одной изъ своихъ замѣтокъ: «Дружина ученыхъ и писателей всегда стоитъ впереди во всѣхъ набѣгахъ на просвѣщеніе. Не должно имъ малодушно негодовать, что вѣчно имъ опредѣлено выносить первые выстрѣлы». Это недолгое время, первые шестидесятыя годы—время такъ громко нашумѣвшихъ Писарева и Зайцева, очень даровитыхъ, особенно Писаревъ, людей искреннихъ, страстныхъ, мощественно дѣйствовавшихъ на молодежь увлекательно горячимъ словомъ, остроуміемъ, но людей очень одностороннихъ, не хотѣвшихъ вовсе признавать исторіи. Цензурныя условія, да отчасти и все еще недостаточная разработка біографіи Пушкина и бібліографическихъ матеріаловъ помѣшали дать увлекшимся хулителямъ поэта основательный отпоръ. Кромѣ того, выясненіе общественнаго значенія Пушкина было тогда дѣло щекотливое, да и въ лагерѣ почитателей Пушкина не было ни одного сильнаго таланта, который могъ бы равняться съ Писаревымъ, а Чернышевскій и Добролюбовъ уже сошли со сцены. И вотъ, какимъ-то самумомъ, впрочемъ, очень кратковременнымъ, пролетѣло странное и для насъ теперь легкомысленное развѣнчиваніе нашего величайшаго поэта. Пронеслось оно, найдя себѣ сочувствіе только въ наиболѣе юной молодежи, едва ли дававшей себѣ трудъ обратиться отъ критики къ спокойному изученію самого поэта,—пронеслось почти безъ слѣда, какимъ-то прискорбнымъ кошмаромъ и недоразумѣніемъ.

Послѣ горячки реформъ наступило затишье, вмѣстѣ съ тѣмъ пришла и большая зрѣлость, и неизбѣжная оглядка на недавнее прошлое, и обращеніе къ исторіи русскаго общества за первое пятидесятилѣтіе

вѣка. Явились труды А. Н. Пыпина, записки, мемуары, масса матеріаловъ біографическихъ и бібліографическихъ, и естественно,—личности Пушкина и его критика Бѣлинскаго, какъ крупнѣйшія въ исторіи просвѣщенія нашего вѣка, стали центрами исторіи русской новѣйшей литературы. Стало постепенно уясняться въ глазахъ нашего общества, чѣмъ были эти люди по своей натурѣ, въ какихъ ужасныхъ условіяхъ они развивались и писали, и какъ много они оба для насъ сдѣлали, какими великими, самоотверженными вождями нашихъ мыслей и чувствъ они были, сколько страдали и какъ умерли. И съ благоговѣніемъ преклонились передъ Бѣлинскимъ и Пушкинымъ всѣ честно мыслящіе русскіе люди. Для Бѣлинскаго полное признаніе его великаго просвѣтительнаго значенія совершилось въ прошломъ году, 26-го мая, въ день пятидесятилѣтія со дня его смерти; Пушкинъ предсталъ, во весь свой ростъ, какъ геній-художникъ и великій вождь и учитель, еще 19 лѣтъ назадъ, въ незабвенные пушкинскіе дни въ Москвѣ, когда Москва, воздвигла ему, по всенародной подпискѣ, «мѣдную хвалу» и такъ торжественно отпраздновала открытіе памятника 6-го іюня 1880 г.

Такого праздника, гражданскаго, общественнаго, праздника въ честь героя мысли и слова еще дотогѣ не бывало на Руси, какъ по участию въ немъ самого общества, такъ и по невиданному у насъ единодушію, сердечности и подъему духа. Кто, какъ я и многіе изъ читателей, сами были свидѣтелями этого удивительнаго и свѣтлаго праздника, тѣ не забудутъ этихъ чудныхъ дней до конца жизни, какъ дней побѣды нашего русскаго самосознанія, побѣды «духа жива» надъ мертвящей костью, дней побѣды просвѣщенія, свѣта, надъ невѣжественной тьмой; дней признанія нашей русской славы, славы русскаго ума и генія. Со всей Россіи съѣхались на торжество представители науки и литературы, весь цвѣтъ нашей интеллигенціи, съ Тургеневымъ и Достоевскимъ во главѣ, и вотъ тутъ-то, въ цѣломъ рядѣ талантливыхъ рѣчей, начиная съ рѣчи митрополита Макарія на панихидѣ въ Страстную монастырѣ,—и писателями-художниками, и лучшими представителями нашей науки, съ разныхъ сторонъ, насколько это было возможно, была разъяснена и благородная личность Пушкина, и его значеніе, какъ европейскаго, всечеловѣческаго, генія и какъ величайшаго нашего поэта народнаго.

Но, когда кончились торжества и стали подводить имъ итоги, оказались нѣкоторые и недочеты. Справедливо сожалѣли, что первый нашъ поэтъ почти неизвѣстенъ народу; что даже средняя школа, подавленная формализмомъ и обременительными программами, слишкомъ мало знакомитъ съ Пушкинымъ. Находили, что очень много было наговорено хорошихъ словъ и проявлено чувствъ и восторженной радости, но осязательныхъ, прочныхъ, результатовъ въ концѣ концовъ праздникъ далъ мало, или почти никакихъ. Гдѣ, спрашивали тогда, Пушкинскія школы или, вообще, просвѣтительныя учрежденія въ память Пушкина,

Пушкинскія стипендіи, наконецъ, хотя бы чтенія изъ Пушкина для народа? Выказывалось сожалѣніе, что праздникъ носилъ характеръ слишкомъ исключительно литературный, и что слишкомъ мало принимала въ немъ участія школа, и особенно—народная, русскій учитель, русское юношество. Наконецъ, справедливо выражалось пожеланіе, чтобы поставленъ былъ достойный памятникъ Пушкину и въ Петербургѣ, гдѣ поэтъ учился, долго жилъ и умеръ... Въ этихъ указаніяхъ на недочеты праздника была горькая правда...

Прошло семь лѣтъ, и болѣе чѣмъ скромно было отмѣчено исполненное въ 1887 году пятидесятилѣтіе кончины поэта. Но, благодаря появленію въ продажѣ дешевыхъ собраній сочиненій его, оно много способствовало большому ознакомленію въ массѣ съ его великими твореніями. Принимая во вниманіе дешевыя изданія Пушкина, цѣлую массу всякихъ педагогическихъ и народныхъ изданій, разошедшихся съ 1887 года по Россіи, въ милліонахъ экземпляровъ, можно сказать, что Пушкинъ уже въ значительной степені въ Россіи извѣстенъ.

Теперь мы наканунѣ столѣтія рожденія Пушкина, наканунѣ перваго нашего культурнаго, всенароднаго, юбилея.

Съ рѣдкимъ у насъ единодушіемъ уже откликается на этотъ праздникъ вся Русь съ самыхъ дальнихъ своихъ окраинъ, и можно и, кажется, слѣдуетъ ожидать, что этотъ великій, культурный, повсемѣстный и всенародный, единственный въ Россіи по своему значенію, праздникъ будетъ достоинъ имени своего виновника — Пушкина. Чего же пожелать этому празднику?

Прежде всего желательно, чтобы повсюду онъ прошелъ какъ можно торжественнѣе, а главное—веселѣе, радостнѣе, свѣтлѣе, какъ была свѣтла и чиста человѣчная личность самого Пушкина, такъ любившаго человѣка и Россію, съ ея народомъ и ея великимъ будущимъ, въ которое онъ смотрѣлъ «безъ боязни, въ надеждѣ славы и добра». Въ общемъ, въ настоящее время наша жизнь такъ сѣра, скучна и безцвѣтна! Да оживитъ же насъ, хоть ненадолго встряхнетъ и возвыситъ въ насъ «духъ живъ» этотъ праздникъ, чтобы среди безглагольныхъ равнинъ нашихъ раздался голосъ литературы и всего общества, голосъ, провозглашающій хвалу нашему поэту и провозглашеннымъ имъ идеямъ истины, добра, красоты и свободы. Да объединитъ насъ всѣхъ, разномыслящихъ и разночувствующихъ, имя Пушкина въ одной мысли наибольшаго блага и счастья нашей родинѣ, алчущей хлѣба, матеріальнаго и духовнаго, въ одномъ чувствѣ любви къ красотѣ, добру, свободѣ, гуманности! И первое мѣсто на этомъ праздникѣ должно быть предоставлено дѣтямъ и юношеству. Съ благородными идеями, чувствами и образами Пушкина должно идти наше молодое поколѣвіе въ жизнь, какъ съ надежнѣйшими орудіями для борьбы съ зломъ и тьмой, какъ съ драгоцѣннѣйшими идеалами, безъ которыхъ нѣтъ вѣры и надежды на лучшее. На ряду съ учащимися поколѣвіями, для ко-

которыхъ отнынѣ Пушкинъ долженъ служить краеугольнымъ камнемъ эстетическаго и національнаго воспитанія, на праздникѣ долженъ быть непремѣнно и народъ, который долженъ какъ можно болѣе быть ознакомленъ съ поэтомъ и принять самъ участіе въ торжествѣ всероссійскомъ, всесловномъ, а отнюдь не только литературномъ. И чѣмъ больше этотъ праздникъ русскаго искусства и національнаго самосознанія будетъ единодушнѣе, сердечнѣе, веселѣе, торжественнѣе, тѣмъ выше будетъ его общественно-воспитательное значеніе.

Но, самое главное, надо постараться, чтобы праздникъ привелъ къ прочнымъ и вѣчнымъ, осязательнымъ для страны, результатамъ. Не говоря уже о постановкѣ памятника въ Петербургѣ, а можетъ быть, и въ другихъ большихъ городахъ, и о широкомъ распространеніи портретовъ, сочиненій Пушкина, чтеній съ туманными картинками,—нужно помнить, что это праздникъ не только литературный, что онъ—въ то же время и праздникъ столѣтія русскаго просвѣщенія, нынѣ освобожденнаго народа. Мы вѣдь наканунѣ новаго вѣка, и вотъ, въ виду вступленія въ новое двадцатое столѣтіе, совпадающаго съ столѣтіемъ Пушкина, намъ нужно открыть въ его память какъ можно болѣе школъ и просвѣтительныхъ учрежденій, чтобы надъ всей Россіей, къ новому вѣку, возшла, наконецъ, желанная заря просвѣщенія, къ которому звалъ поэтъ, и безъ котораго нѣтъ ни истинной свободы, ни благосостоянія страны, ни народной гордости передъ образованнѣйшими государствами. Объ этой-то зарѣ просвѣщенія мечталъ Пушкинъ еще юношей. Будемъ же вѣрить, что эта заря взойдетъ отъ нашего солнца—Пушкина, и тогда-то, вспоминая своего поэта, котораго, какъ свою первую любовь, не забудетъ сердце Россіи, всѣ единодушно воскликнуть на Руси:

Да здравствуетъ солнце,
Да скроется тьма!

Викторъ Острогорскій.



СТИХОТВОРЕНІЯ.

Изъ А. Мицкевича.

Въ альбомъ К. Ржевуской.

Въ морѣ жизни, волей рока,
Мчимся розно—ты и я;
Надъ пучиной одиноко
Бьется каждаго ладья.

Но твоя, вся росписная.
Позолотою блестить;
Рѣжетъ волны грудь стальная,
Парусъ весело шумить...

Я жъ, съ остатками вѣтрила,
Бури прихотью носимъ,
Въ море брошень безъ кормила—
Въ жертву чудипцамъ морскимъ.

Вся трещить, скользя надъ бездной,
Полусгнившая ладья...
Звѣзды скрылись... Безполезный
Компасъ за-бортъ кинулъ я...

Не сойтись намъ: ты забудешь,
Что встрѣчались на пути;
Ты меня искать не будешь,
А тебя мнѣ—не найти...

А. Колтоневскій.

Изъ Маріи Конопницкой.

(Переводъ съ польскаго).

Спите, розы, мирно, сладко!
Доброй ночи вамъ!
Мѣсяцъ лъетъ свой свѣтъ украдкой
Дремлющимъ полямъ,

И кувшинкамъ безмятежнымъ
 На груди озеръ
 Переливомъ ряби нѣжнымъ
 Застилаетъ взоръ.

Теплый вечеръ мягкой тьмою
 Топить сонный день,
 И причудливой каймою
 Чертитъ въ полѣ тѣнь.
 Легкимъ паромъ словно дышетъ
 Лоно свѣжихъ волнъ,
 И задумчиво колышетъ
 Одиновій челнъ.

Духъ, подвластный плѣннымъ мукамъ,
 Встрѣтивъ эту ночь,
 Дверь темницы будить стукомъ,
 Страстно рвется прочь.
 Мысль, взлетѣвъ, о звѣзды бьется,
 Рѣветъ въ сонмѣ тучъ.
 Кровь, волнуясь, въ жилахъ льется,
 Какъ ожившій ключъ.

Счастья, счастья! Пусть промчится
 Чудный мигъ средь бурь!
 Пусть заблещетъ, какъ зарница,
 Освѣтивъ лазурь!
 И растаетъ, какъ росинка
 Въ чашечкѣ цвѣтка,
 Какъ упавшая пылинка
 Съ крыльевъ мотылька!..

Вздохъ печали будить эхо
 Въ голубой дали...
 Смоляни, пѣсня—ты помѣха
 Отдыху земли!
 Ночь одѣлась мглой ээирной,
 Міръ молчить, какъ храмъ...
 Спите, розы, сладко, мирно!
 Доброй ночи вамъ!

Т а н ь

РИШТАУ.

Повѣсть.

I.

Долина рѣчки Аучи принадлежитъ въ красивѣйшимъ въ юго-западныхъ отрогахъ Кавказа. Дно ея покрыто буйной южной растительностью, по бовамъ вздымаются скалистые уклоны, изрытые сѣтью трещинъ и овраговъ. Оттуда по ущельямъ съ ровотомъ бѣгутъ въ главной рѣчкѣ мелкіе потоки и льются водопады. Въ одномъ концѣ долины, сквозь широкую брешь въ предгорьяхъ, открывается видъ на далекое синее море, въ другомъ — зеленая складка столпившихся горъ запираетъ снѣжная вершина Рипштау. Когда-то здѣсь жили черкесы, но лѣтъ тридцать тому назадъ ушли и вскорѣ непролазные лѣса поглотили заброшенные поля и аулы.

Теперь только медвѣди, кабаны, да шакалы пользуются заросшими дорогами и дерутся по ночамъ изъ-за плодовъ въ одичалыхъ садахъ. Изрѣдка въ то время ходятъ туда и оставшіеся тулцы стрѣлять ихъ по ночамъ „на шумокъ“.

Среди новѣйшихъ колонистовъ эта красивая, но опасная охота находила любителей. Въ долину Аучи одинъ Юрій Страсеувлекался ею. Какъ разъ, дня за два до того, армяне изъ дней деревушки доложили ему, что большой медвѣдь ходитъ ближайшихъ аулицахъ, и черные, спутанные вихры молодого вѣвка пришли отъ этого въ еще большій беспорядокъ.

— Отпусти ты его, Семень! Пусть идетъ! — обратилась г-жа Севичъ къ старшему сыну, когда вечеромъ вся семья усѣлась за чайнымъ столомъ на верандѣ небольшого ихъ домика, доны покрытаго пышной зеленью вьющихся розъ и виноград-тозы.

— Сидить, молчить... Слова не добьешься... Смотрить въ лѣсъ, волкъ!.. — жаловалась старушка.

Семень медленно поднялъ отъ блюдечка желтую, обстриженную. — Тыня, голову.

безцѣль
снѣтъ в
ныхъ
ства,
нѣтъ в
всѣхъ,
мысли
матери:
добрѣ,
быть
чувства
въ жизни
тъмой, в
и надеж

— Ну!?

Юрій покраснѣлъ подѣ его взглядомъ.

— Да я не смотрю... — торопливо заговорилъ онъ. — Мамѣ все кажется. А молчу потому, что говорить нечего...

Дѣйствительно, все было ясно и безъ разговоровъ. Онъ не могъ отлучиться. Нужно было во что бы то ни стало кончить поскорѣе окапываніе кукурузы, пока отволгшая послѣ небольшого дожда земля опять не превратится въ кирпичъ подѣ палящимъ зноемъ. Тѣмъ не менѣе, видъ темнѣющихъ на закатѣ лѣсовъ вызывалъ въ юношѣ тоску, сердце его билось тревожно, все казалось пустымъ, не интереснымъ, въ лицѣ просвѣчивало сдержанное, глухое страданіе. Нѣчто подобное онъ испытывалъ только тогда, когда Елена Ивановна Рудзкая долго не глядѣла на него... въ сердцахъ или по забывчивости. Этотъ лѣсъ и эту дѣвушку онъ зналъ почти одинаково давно. Ее, сироту, приютили Страсевичи еще во время своего переѣзда изъ Сибири; съ тѣхъ поръ молодые люди росли вмѣстѣ, какъ братъ и сестра.

Юрій невольно перевелъ глаза на дѣвушку, сидѣвшую тутъ же, и вспыхнулъ подѣ ея дружескимъ взглядомъ.

— Если я помогу вамъ, то вы вѣдь кончите завтра?

— Что за выдумка? Въ такую жару... Ни за что, ни въ какомъ случаѣ не позволяй!.. — обратился Юрій къ матери.

Семень медленно поднялъ свою „дыню“ и сказалъ, поглаживая подбородокъ:

— Чего ей бояться, такой здоровячкѣ? Пусть поможетъ!

— Со скотомъ я одна управлюсь. А воды сегодня принесите!.. — вставила третья женщина, сидящая у стола, одѣтая въ темное, желтая, тонкая, уже сильно поблекшая и отцвѣтшая Юстина Николаевна.

Весь слѣдующій день молодежь проработала подѣ палящимъ зноемъ. Было настолько жарко, что имъ даже не захотѣлось пѣть, что дѣлали они всегда при совмѣстной работѣ. Юрій ужасно сердился. Онъ все настаивалъ, чтобы Елена вернулась домой, что мать одна не можетъ справиться съ чисткой вишень на варенье, а здѣсь дѣвушка совершенно лишняя. Однимъ словомъ... тысяча причинъ злиться и ворчать. Елена только посмѣивалась, довольная, что добралась, наконецъ, до трудной, мужской работы. Было ей видимо трудно, потъ струился по лицу ея градомъ, но все время она шла наравнѣ съ мужчинами.

— О, Господи! Юрій, Юрій, погляди: одна мотыга виситъ въ воздухѣ, а барышня исчезла, разстаяла... — шутилъ Семень.

— Дѣйствительно, жарко! — отвѣтила Елена и вытерла мужицки лицо рукавомъ рубахи.

Семень глядѣлъ на нее пристально, какъ на совершенно новое,

незнакомое ему явленіе. Этотъ зной и эта напряженная работа измѣнили и ее. Спокойная, сдержанная, почти медлительная, вдругъ проявила она необычную быстроту движеній и пламенную энергію. Его шутки только подзадоривали ее; загорѣлая, точно изъ золота выточенные, руки ея безостановочно сверкали по воздуху.

Заступъ со звономъ ударялъ въ каменистую почву, разрыхлялъ ее и сейчасъ же мгновенно взлеталъ вверхъ. Только когда желѣзо орудія попадало въ крупныя глыбы булыжника, глубокой, болѣзненный вздохъ вылеталъ изъ груди дѣвушки.

— Молодецъ, но... не совсѣмъ! Зачѣмъ попадаешь въ камень! Боконъ нужно... Вотъ такъ!—наставлялъ ее Семень.

— Оставь ее! Пусть ушибется!—кричалъ Юрій. Оба они принуждены были хорошо подтянуться, чтобы не позволить ей подъ конецъ опередить себя. Семень глазъ не сводилъ съ дѣвушки, все что-то соображалъ, сощуривъ по-копачьи вѣки, и былъ чрезвычайно веселъ.

— Стѣдитъ Раштау наша барышня! Возьмемъ ее на слѣдующую охоту, непременно возьмемъ, Юрій!.. Вѣрно говорю? Ты только посмотри!—говорилъ онъ брату, когда послѣ работы пошли обѣдать. Дѣвушка съ самодвольной улыбкой засовывала подъ бѣлый платочекъ свои русые, выбившіеся на лобъ волосы. Юрій притворился, что наблюдаетъ нѣчто очень интересное въ противоположномъ краю долины; Семень пропѣлъ сквозь зубы:

«Гей, на гѣри тай жинци жнуть...»

но сфальшивилъ и оборвалъ. На верандѣ, точно темное привидѣніе, двигалась беззвучно съ обѣденными приборами Юстина. Она обвела прибывшихъ внимательнымъ, загадочнымъ взглядомъ и ушла въ кухню.

— Ахъ!.. ахъ!.. Уже вижу, набѣдоурили!..—заохала госпожа Страсевичъ. Старушка сидѣла неподвижно передъ своимъ приборомъ, съ очками на носу и неизмѣннымъ чулкомъ въ рукахъ. Съ обѣдомъ пришлось подождать Елену, которая пошла къ вриницѣ умыться. Семень тоже сгоряча осмотрѣлъ свои запыленные руки.

— Земля есмь и къ землѣ вернусь!—сказалъ онъ съ благодушной насмѣшкой, отломилъ кусокъ хлѣба, посолилъ его круто, и принялся ѣсть съ увлеченіемъ. Юрій все время угрюмо молчалъ. Его Споведеніе въ конецъ испортило общую веселость. Всѣ молчали ж и переглядывались. Когда угрюмый молодой человекъ всталъ и ушелъ къ себѣ безъ чаю, мать сухо спросила Елену:

— Что случилось?

— Не знаю!

— Вы, мама, и представить себѣ не можете, что это за ехидная барышня!..—началъ было Семень, но синіе, полные удивле-

нія и обиды глаза Елены остановили его. Пока они смотрѣли другъ на друга, Юстина съ неловкимъ стукомъ потянулась къ пустому стакану Семена.

— Нѣтъ... нѣтъ! — поправился тотъ съ комическимъ ужасомъ. — Она прекрасно работаетъ. . дѣйствительно хорошо работаетъ!

— Лучше бы не работала! — проговорила госпожа Страсевичъ. Послѣ ухода Юрка спицы въ ея рукахъ задвигались особенно быстро и кончикъ носа, вооруженнаго очками, покраснѣлъ значительно.

— Не вижу достаточнаго повода... — хмуро замѣтилъ Семень. Елена пошевелилась, но промолчала. Было что-то особое въ поведеніи Юрія, что ее неприятно задѣло; она хотѣла работать и была благодарна Семену за его поддержку. Обиженный юноша больше къ нимъ на веранду не являлся.

Они нашли его въ полѣ усиленно работающимъ и все также надутымъ. Семень молча поднялъ свой заступъ, но Елена тщетно искала свой. Смущенная, она обшарила вблизи кусты, траву, наконецъ, остановилась передъ юношей:

— Юрій, отдай, пожалуйста, заступъ! — Ты вѣдь его спряталъ... Право, не знаю, что все это значить!?

Юрій и виду не подалъ, что слышитъ.

— Заступъ!.. — повторила сердито дѣвушка. — Я не маленькая! Что за странная опека?!

— Отдай, отдай!.. Безъ шутокъ... — вступился Семень. Юноша мрачно взглянулъ на обоихъ и губы его сжались еще плотнѣе. Елена замѣтила его потемнѣвшее, застывшее лицо и поняла, что на этотъ разъ ничего не подѣлаетъ. Слезы досады навернулись у ней на глаза. Семень все время съ любопытствомъ наблюдалъ за ними.

— Хорошо! Буду знать!.. — вдругъ добавила она, отвернувшись и ушла.

— Если не отдашь сейчасъ, уйду и я... Что за грубая выходка?! за что ты ее обидѣлъ!? — вспылчиво заговорилъ Семень. — Ты забываешь, что она сирота... Лёля, Лёля!.. Вернись!.. Возьми мой!

Дѣвушка не остановилась и даже, когда онъ нагналъ ее и сталъ убѣждать, она продолжала идти мелкими рѣшительными шагами. Въ полѣ остался одинъ Юрій. Онъ рѣшилъ про себя не возвращаться домой до окончанія, и хотя осталось довольно много, надѣялся, благодаря своей силѣ и умѣнью, успѣть къ вечеру. Но онъ ошибся, работа затянулась, солнце закатилось, а онъ все стучалъ своимъ заступомъ. Госпожа Страсевичъ послала Юстину, Семена, наконецъ, сама за нимъ пошла, все напрасно, — юноша рылъ землю въ какомъ-то изступленіи, какъ бы желая наказать самого себя.

Въ домикѣ всѣ уже спали и свѣтъ блестѣлъ только въ окнѣ у Елены, когда онъ осторожно по черному ходу проскользнулъ въ кухню. Въ комнатѣ Семена свозъ тонкую перегородку онъ неожиданно разслышалъ сдавленный шепоть Юстины:

— Не обманешь меня! Не отнекивайся!.. Все вижу... И не позволю тебѣ обидѣть другихъ такъ, какъ ты меня обидѣлъ... Все сейчасъ расскажу...

— Что жъ, расскажи! Тебѣ больше всего достанется... Мать прогонитъ тебя сію минуту...

— Мнѣ нечего терять... ты все отнял у меня! Если молчу, такъ только ради матери... Мнѣ жаль ее; она ко мнѣ добра, она и не догадывается, какой ты...

— Ээ! Можетъ быть, не только ради этого...

— Боже мой, Боже!..

Шепоть перешелъ въ рыданія. Жалость сразу охватила Юрія, онъ давно зналъ все, мучился за брата и Юстину, но что же онъ могъ подѣлать? Теперь его только сильнѣе потянуло въ лѣсъ. Онъ тихонько отыскалъ ощупью хлѣбъ на полѣ, взялъ коробку спичекъ, огарокъ свѣчки, затѣмъ со двора черезъ окно проникъ въ свою комнату, гдѣ захватилъ ножъ, ружье, патронташъ и двинулся къ воротамъ. Собаки побѣжали за нимъ, но онъ сердито отогналъ ихъ и одинъ зашагалъ по тропинкѣ внизъ. У рѣчки онъ прежде всего напился воды, отломилъ хлѣба и сталъ его ѣсть съ удовольствіемъ. Онъ отдыхалъ и слушалъ, какъ шумитъ бѣгущая вода, какъ шепчуть вдали лѣса. Легкій, знойный вѣтерокъ, дующій вдоль рѣчки, приносилъ изъ сосѣднихъ „щелей“ ароматы цвѣтущаго жасмина. Юрій ѣлъ и раздумывалъ о томъ, что сегодня случилось: конечно, онъ поступилъ дурно! Онъ несправимо грубая скотина, и Елена поэтому его не любитъ. А все-таки ему лучше! Бѣдный, бѣдный Семень, ему никогда не выпустятъся! Лѣля, конечно, менѣе всего виновата... Все-таки хорошо то, что такъ случилось, пусть не думаетъ, что съ нимъ все можетъ быть... Пусть не дразнить... Современемъ онъ объяснится, но теперяшья... пусть недоумѣваетъ, пусть томится... Нельзя черезчуръ баловаться дѣвушкой!.. Онъ слышалъ, что онъ совѣмъ даже этого не любилъ... Нужно не поддаваться, дать имъ почувствовать свое превосходство...

Онъ былъ очень доволенъ своимъ заключеніемъ и не безъ торжества посмотрѣлъ на бѣлый домикъ, спящій среди розъ на святѣйшей горы. Свѣтъ все еще мелькалъ въ окнѣ Елены. Онъ уже собирался переходить рѣку, какъ вдругъ его побѣдное настроеніе испарилось, онъ смутился, сердце у него защемило, онъ повернулся и пошелъ все быстрѣе и быстрѣе назадъ. Подъ конецъ онъ побѣжалъ, но раньше, чѣмъ онъ открылъ калитку, свѣтъ въ

окиѣ задрожалъ и погасъ. Тогда онъ зажегъ свою свѣчку и на ступеняхъ крыльца написалъ на бумажѣ карандашомъ:

„Елена прости! Я былъ золь и все это очень глупо!“ Записку онъ бросилъ въ комнату въ преддверіи край опущенной въ окнѣ занавѣски.

11. МАЙ. 1899

II.

Лѣса начинались сейчасъ же отъ порога. Луна какъ разъ всходила надъ ними, и въ ея серебристомъ сіяніи мощныя, высоко на горахъ толпившіяся деревья обозначались черными, рѣзкими пятнами. Въ тѣни ихъ, внизу, бурлила невидимая рѣчка, въ рощахъ протяжно переелдились крошечныя кавказскія совы. Ихъ нѣжное, жалобное „сплю“ пронеслось въ длинныхъ промежуткахъ времени, точно жалобный, мечтательный стонъ. Воздухъ горячій, ароматный слегка туманился. Юрій тоже чувствовалъ въ душѣ сладкій туманъ и волненіе, какъ будто брель не назадъ, а на тихій зовъ, къ закрытому занавѣской окну и ждалъ, что вотъ-вотъ порывъ вѣтра подыметъ ее и онъ увидитъ любимую дѣвушку, сияющую въ лунномъ сіяніи.

— Спи спокойно!.. Богъ свидѣтель: всегда ты была для меня и будешь святыней! — размышлялъ онъ съ благоговѣніемъ.

За ручьемъ онъ снялъ ружье и перевязалъ конецъ дула обрывкомъ бѣлаго холста для стрѣльбы въ темнотѣ. Затѣмъ онъ заложилъ въ замокъ патронъ, пощупалъ ножъ, поправилъ за пазухой хлѣбъ и, низко нагнувшись, вырнулъ подъ вѣтки, нависшія надъ узкой тропинкой.

Еще шагъ и охотникъ потонулъ въ непроницаемой тьмѣ. Онъ чувствовалъ себя здѣсь превосходно, зналъ каждый пенъ, каждую льяну. Съ протянутой слегка впередъ рукою онъ двигался быстру- беззвучно и увѣренно. Изрѣдка тучи „свѣтляковъ“, точно голуби или зеленныя брызги тронутыхъ имъ таинственныхъ волнъ, влѣвъ вы- изъ подъ его ногъ, чертили мракъ въ прихотливомъ полетѣ. — сыпали его плечи и голову, потухали вдругъ и вдругъ неожид- мой! зажигались, освѣщая нѣжнымъ, струящимся свѣтомъ края и е и верхность скрывающихъ ихъ листьевъ и травъ. Юрій малыми дѣлъ, ему это и не нужно было, онъ чувствовалъ тропинку не ногами и всѣмъ существомъ своимъ угадывалъ мѣстность. Но, рили ему о ней и пройденное разстояніе, и наклонъ почвы. Но звуки, и смѣняющіеся волны воздуха, то влажныя, затхлыя, еще жаркія, трепетныя, то пахучія, упойтельныя, точно душъ из- тину, и цвѣтовъ.

— Щель... Утесы... Роща жасмина... Азалии... Пропас... отмѣчалъ охотникъ въ умѣ и шель все также быстро и без...

А лѣсъ кругомъ гудѣлъ, вздыхалъ, шепталъ, точно миллионы засыпающихъ эльфовъ. Временами высоко по сводчатымъ вершинамъ исполинскихъ дубовъ прокатывалась широкая, какъ стонъ, волна и замирала вдали. То вѣтеръ, дующій съ моря, врывается сюда. И затѣмъ все стихало и опять тихій, однообразный шепотъ лѣса нарушали только трескъ сломанной гдѣ-то вѣтки, пискъ подравшихся въ чащѣ векшей, или отдаленное блеяніе козъ. Тогда Юрій на мгновеніе замиралъ безъ движенія и чутко прислушивался. Его опытное ухо различало въ этомъ невнятномъ, миломъ говорѣ всякій звукъ. Его ноздри жадно втягивали пахучій, животельный воздухъ, а широко раскрытые глаза по отбѣнкамъ тьмы угадывали повороты лѣса и открытые пролеты тропинокъ. Волненія, противорѣчивыя чувства, мучительныя мысли, самая любовь уходили мало-по-малу куда-то отъ него прочь и онъ опять чувствовалъ себя частицей этого бора, и ему хотѣлось закричать вдругъ по орлиному или залаять, какъ лаютъ лѣсные шакалы, зашипѣть, какъ рысь или барсъ. Довольный, веселый, онъ ловко скользилъ по крутымъ уклонамъ, опираясь о теплыя, шероховатыя пни деревьевъ, какъ о старыхъ друзей. А если вблизи мерещилась ему бездна, онъ осторожно выставлялъ впередъ вѣрное ружье и ощупывалъ старательно землю тяжелымъ прикладомъ.

Такимъ образомъ онъ пробрался высоко въ горы въ котловину, гдѣ подлѣсокъ былъ рѣже, а деревья выше и стройнѣе. Здѣсь росла искомая черешневая роща, здѣсь было больше свѣта и простора. Лунныя лучи проскальзывали сверху сквозь отверстія листовнаго свода, оттуда точно паутина свѣшивались туманныя сплетенія плюща, винограда и тонкая сѣть льянъ. Ниже—лунныя пятна, стрѣлки и серебристая пыль разсыпались причудливо по вершинамъ курчавыхъ кустовъ, по широкимъ кружевнымъ лопастямъ исполинскихъ папоротниковъ, по колоннамъ громадныхъ деревьевъ, утопающихъ главами и основаніями въ нѣжномъ, какъ самый ранній разсвѣтъ, полумракѣ. Все было неясно, туманно, сонно, только крупныя капли росы сверкали изрѣдка, какъ наборы алмазовъ на членахъ притаившихся въ тѣни сказочныхъ красавиць, да на дулѣ ружья и въ оправѣ ножа Юрія вспыхивали огненныя нити и искры, когда тотъ, пробираясь среди растеній, попадалъ въ полосу свѣта. Охотникъ присматривался внимательно къ вѣткамъ, къ землѣ, шарилъ, ощупывалъ рувою тропинку. Наконецъ, нашелъ, чего искалъ, присѣлъ на корточки и зажегъ свѣчку. На липкой, покрытой прошлогодними листьями почвѣ, среди сучьевъ валежника и упавшихъ вишенъ, онъ сразу замѣтилъ свѣжіе оттиски хищныхъ лапъ, примятая трава и черты острыхъ когтей на ближайшихъ пняхъ.

— Былъ вчера и придетъ, по всей вѣроятности, на разсвѣтѣ сегодня...

Интересно: ходять ли и кабаны?—подумаль онъ и дальше блуждалъ по рощицѣ съ свѣчкою въ рукахъ. Убѣдившись, что больше нѣтъ ничего, онъ прислушался къ странному звуку, который пронесся въ сторонѣ и, когда тотъ больше не повторился, задулъ свѣчку и вернулся на прежнее мѣсто. Впереди оставалось много времени. Онъ придвинулъ подъ голову камень, покрылъ его вчетверо сложенной шляпой, ружье положилъ тутъ же около себя и сейчасъ же уснулъ. Спалъ онъ чуткимъ охотничьимъ сномъ, когда тѣло отдыхаетъ, хотя сознание бодрствуетъ и слышно все, слышно даже, какъ каплетъ съ деревьевъ роса, какъ падаютъ спѣлыя вишни. Продолжалось это не долго. Опять въ лѣсу пронеслись рѣзкіе звуки, отличные отъ постоянного гомона пустыни. Онъ прислушался и вскорѣ различилъ трескъ ломающихся кустовъ. Трескъ приближался, временами затихалъ, временами къ нему присоединялся гулъ катящихся сверху камней. Не подлежало сомнѣнію: звѣрь шель къ нему. Удивляло только Юрія необычное его поведеніе, но и у медвѣдей есть свои фантазіи. Онъ взвелъ курокъ и ждалъ, а когда въ сумракѣ заколыхались кусты и замелькалъ черный силуэтъ, намѣревающійся видимо миновать рощицу, охотникъ приложился.

— Почуялъ, дьяволъ!—чуть не вслухъ пробормоталъ онъ и съ досадою нажалъ собачку. Блескъ, громъ выстрѣла и пронзительный неожиданный крикъ смѣшались въ одно.

— Боже мой!.. Что такое!?. Подстрѣлил, важется, имеретина...

Въ ужасѣ Юрій забылъ даже зарядить ружье и бросился мгновенно въ кусты. Тамъ все затихло. Дрожащей рукою охотникъ зажегъ свою свѣчку и первое, что увидѣлъ, были ноги, обутыя въ длинныя ботфорты. Дальше онъ увидѣлъ сѣрую, полотняную блузу, зеленую жестянку для собиранія растений и руку, безсильно заброшенную за голову. У Юрія потемнѣло въ глазахъ.

— Убить!.. Совсѣмъ убить!..

Чтобы заглянуть въ лицо мертвецу, онъ потянулъ его за рукавъ и тѣло ужаснымъ движеніемъ трупа развернулось и упало навзничь. Раны Юрій не замѣтилъ, но когда наклонился послушать сердце и рукою уперся въ землю, то почувствовалъ подъ ладонью теплую, противную лужу. Пуля попала несчастному въ бокъ и кровь обильно текла. Раненый жилъ, сердце тихонько стучало и обморокъ сталъ проходить; онъ пошевелилъ губами, вздохнулъ. Къ Юрію тоже вернулось самообладаніе. Онъ быстро развелъ огонь, выбросилъ изъ зеленой жестянки какой-то соръ и бросился съ ней внизъ. Когда онъ вернулся, раненый уже сидѣлъ, опираясь на руку и мутными глазами смотрѣлъ въ огонь. Увидѣвъ незнакомца съ водой въ своей жестянкѣ, онъ попробовалъ улыбнуться.

— Хорошо попали!..—прошепталь онъ внятно по-русски.— Кажется... конецъ!

— Боже мой! Зачѣмъ вы не посвистывали, когда шли!?!—сердился Юрій.

Незнакомецъ опять улыбнулся.

— Не зналъ... не пришло въ голову... Сначала я васъ звалъ, но когда свѣча потухла... я побоялся, что вы испугаетесь, убѣжите... я не зналъ, гдѣ вы и кто вы... Воды... Темно... Тутъ близко...

Юрій поддержаль его, напоилъ, лицо и виски смочилъ обильно водою.

— Здѣсь... гдѣ-то... недалеко... мой человекъ... Тамъ бумаги и все... пошлите матери... Темно... темно... жаль!..

— Рано жалѣть... Будете жить!—ворчалъ Юрій; онъ ловко разстегнулъ платье и внимательно осмотрѣлъ рану при блескѣ огня.

— Скверная пробоина, но не тяжелая. Пуля скользнула по ребрамъ и вышла съ той стороны... Ваше счастье!.. Даже не знаю, какъ это случилось!.. Должно быть, старый попался патронъ... Мы ее заклеимъ хлѣбомъ, а затѣмъ я сбѣгаю домой за носилками... Остатокъ хлѣба я вамъ оставлю, можетъ быть, вы поѣдите!.. Пройдетъ много времени... Не тревожьтесь!

Незнакомецъ свѣсилъ на плечо голову и тихо стоналъ съ закрытыми глазами. Юрій опять испугался. Онъ торопливо устроилъ больному постель изъ свѣжихъ вѣтокъ и листьевъ, поставилъ рядомъ жестянку съ водою, положилъ хлѣбъ, спички, заготовилъ дровъ для костра, еще разъ осмотрѣлъ раненаго, накрылъ его собственной курткой и въ одной рубахѣ, разстроенный и блѣдный, бросился съ горъ поскорѣе домой.

Сизый свѣтъ ранняго утра просачивался въ глубину жемчужной отъ росы зелени лѣса. А тамъ, гдѣ обрывы отрывали пролеты къ востоку, розовый блескъ зари уже окрасилъ верхушки деревьевъ и грани скалъ. Сѣдой туманъ колыхался на кручахъ и тихо скатывался небольшими тучками внизъ по ложбинамъ.

Юрій поспѣшно бѣжалъ тропинкой и вытиралъ ежеминутно рукавомъ потъ, обильно льющійся съ лица.

III.

— Тетя!.. Онъ говорить по-польски... Право: онъ говорить по-польски!..

Больной пришелъ въ себя, но глазъ не открылъ. Онъ тоже слышалъ, что говорятъ по-польски, и былъ увѣренъ, что это бредъ и отблескъ того... невѣдомаго міра, куда онъ рѣшилъ было

уйти. Точно огненный туманъ искръ и дыма, выбрасываемыхъ быстро бѣгущимъ поѣздомъ, проносились передъ нимъ, вспыхивали и потухали видѣнія и звуки... Горы... Закатъ солнца... Лѣсъ... Тьма... Среди нея, точно бабочка, плаваетъ крошечное мѣдное лицо освѣщенное пламенемъ свѣчи.. Опять темно.. И опять голова съ его зеленой коробкой въ рукахъ... Шумить, влопочеть... Это водопадъ!.. Нѣтъ! Это волышутся дубы! Это вѣтеръ гуляетъ... Что-то навалилось на него, что-то не даетъ ему дышать... И въ тоже время нѣжный голосокъ шепчетъ близко:

— Тетя, опять кровь!..

— Арникой, арникой... дитя мое!

Его тревожить, толкаетъ, не даетъ заснуть, какъ хочется, глубоко и безпросыпно.. Да, да... Это мать будить его.. Ахъ, провлятый девятый часъ... „Стась, Стась!..“ шепчетъ знакомый дорогой голосъ. „Уже девять!..“ — „Господи, развѣ возможно, милая матушка, позволять сыну спать такъ долго, когда у него столько дѣлъ?..“ — „Ты вчера долго сидѣлъ, милый.. Умственный трудъ требуетъ отдыха...“ Легкое, холодное привосновеніе; затѣмъ жгучая боль въ боку. Раненый открылъ глаза.

— Что? Что случилось?

Ослѣпительный свѣтъ послѣ мрака, бѣлая комнатка съ бѣлыми у окна занавѣсками, окно, полное синевы и солнца, а ближе... прелестная дѣвушка съ большими голубыми глазами.

— Несомнѣнно, видѣніе!.. Вѣдь онъ умеръ въ горахъ Кавказа... Онъ былъ убитъ ночью выстрѣломъ незнакомца... Это онъ хорошо помнить.

Больной поспѣшно смыкаетъ глаза. Да, какъ это ни странно, а вопреки всѣмъ разсужденіямъ очевидно, существуетъ загробный міръ... и въ сущности совсѣмъ не дурной! Очевидно, ему, Станиславу, простили грѣхи, въ виду его неожиданной смерти и онъ не попалъ въ адъ... Но онъ не спасенъ... Онъ, вѣрно, въ чистилищѣ... Ему больно, ему трудно... Онъ хотѣлъ бы открыть вѣки, чтобы еще разъ увидѣть видѣніе, но вѣки не слушаются, тѣло его тяжело и плотно, какъ свинецъ... Навѣрно онъ въ чистилищѣ... У окна онъ замѣтилъ даже большое черное пятно... Нехорошее пятно... Въ то же время онъ близко опять почувствовалъ пріятное тепло, запахъ и услышалъ милый, серебристый голосокъ:

— Тетя, я боюсь, что онъ умретъ! Такой блѣдный!..

— Сохрани Богъ! Это повело бы для Юрія къ ужаснымъ неприятностямъ...

— Не двигается... даже не стонетъ!.. Фельдшеръ все не ѣдетъ... Взгляни, тетя милая, на кого это собаки лаютъ?!

— Да нѣтъ! Не они! Это Юрій возвращается съ работы! Рано для нихъ!..

... Фельдшеръ... — соображалъ раненый. — Та, какъ!.. Значить все очень просто... я раненъ. И не все окончено...

Онъ побѣждаетъ, наконецъ, безсиле и открываетъ глаза. Лицо дѣвушки наклонено къ нему такъ близко, что подъ его неожиданнымъ взглядомъ она вспыхиваетъ и отшатывается прочь... Больной тоже смущенъ, но не краснѣетъ. Онъ черезчуръ много потерялъ крови. Въ сознании своей виновности, онъ только блѣдно улыбается и шепчетъ чуть внятнымъ голосомъ:

— Виновать! Гдѣ я?

Черное пятно у окна перестаетъ шевелить спицами и поворачивается къ нему всѣмъ корпусомъ.

— Вы... у меня! Я вдова-чиновница... Вероника Страсевичъ... Имѣю честь представиться! А вы кто?

Больной задумывается и ищетъ глазами видѣнїе... Опять на него надвигается темная ночь... Скачетъ мѣдное лицо съ зажженной свѣчой... Шумить не то водопадъ, не то лѣсъ... а надъ лѣсомъ пролетаетъ ангелъ...

— И такъ, вы утверждаете, что нужно положить гипсовую перевязку...

— Если ребро сломано, необходимо положить перевязку... Всегда владутъ перевязку, если что сломано...

— Очень это неудобно... Кто же это сдѣлаетъ? Но вѣдь ребро, можетъ быть, еще не сломано. Вы сами говорили, что эта выпуклость можетъ быть простое уплотненїе мышцъ отъ удара!..

— Да, я это говорилъ. Хотя, разъ пуля ударила здѣсь, то должна была сломать...

— Вижу, что вы ничего не знаете, и совѣтую послать за армяниномъ Сембатовъ...—внушительно раздается голосъ госпожи Страсевичъ.

— Виновать, но я не медикъ, а естественникъ... со второго курса и вовсе не обязанъ знать... Приѣхалъ я только потому, что Семень Эдуардовичъ усиленно просилъ меня...

— Кого же взять? Докторъ не хочетъ, фельдшеръ верхомъ ѣздить боится, а пѣшкомъ не можетъ... Говорятъ, что они не обязаны ѣздить такъ далеко... Въ полицію не хотѣлось обращаться, рассказывать преждевременно... Да я и не знаю его фамиліи даже... Кто его знаетъ? Молчалъ вѣдь... Бѣда!

Больной чувствуетъ, что все опять невозможно путается, что прежнія ясныя картины блѣднѣютъ, что толкаютъ его грубыя мужскія руки и густые голоса говорятъ по-русски. Съ невѣроятнымъ усиленїемъ онъ открываетъ глаза и видитъ близко надъ собою русую голову, обстриженную въ видѣ дыни, а далѣе широкое, морщинистое лицо госпожи Страсевичъ, обрамленное кружевомъ чернаго чепца. Ангела нѣтъ!

— Глаза открылъ... Пришелъ въ себя...

— Гдѣ бумага? Дайте ему вина... Пейте и пишите вотъ здѣсь... „я, такой-то, былъ раненъ случайно“... — говоритъ порывисто Семень.

— Оставь, послѣ... Онъ будетъ здоровъ... — шепчетъ Юрій.

— Нѣтъ! нѣтъ!.. На всякій случай лучше теперь...

Раненый поднимаетъ голову и находитъ наконецъ „ангела“: онъ стоитъ въ глубинѣ, прислонившись къ косяку дверей. Глаза видѣнія полны слезъ. Тогда онъ беретъ карандашъ и пишетъ съ трудомъ блѣдными, холодными пальцами:

„Убить нечаянно. Станиславъ Выхлицкій“.

Затѣмъ голова его свисаетъ и опять онъ тонетъ въ мучительномъ мравѣ.

— Онъ изошелъ кровью!..

— Спокойствіе... прежде всего спокойствіе!..

Подтвердилъ это и Сембать. Къ тому же, онъ совѣтовалъ прикладывать на рану какія-то „вытягивающія огонь“ травы. Но главные надежды онъ возлагаетъ на другое!

— Рибро нишехо... Худой кровь мало-мало садись... Сембать такой слово скажетъ... Всѣ надо, всѣ будутъ!.. Спать мирно! Сембать вукуруза вончалъ, приходитъ будѣ...—объяснялъ знахарь, принимая деньги.

Послѣ его ухода возникъ ужасный споръ между возмущеннымъ естественникомъ и госпожей Страсевичъ.

— Кто не нашелъ ребра, тому можно не вѣрить!

— Я говорилъ, что я не на томъ факультетѣ... Вы думаете, переломъ ребра легко узнать... Ошибались болѣе опытные...

Старушка величаво отвернулась.

— Знала я овчарей, у которыхъ лѣчились князья. Меня самую, когда оставили доктора, спасъ простой, неграмотный мужикъ!

— Это не доказательство! Наука...

— Нѣтъ, доказательство... А науки вы мнѣ не приводите... Довольно ея осталось у меня послѣ покойника мужа...

— Этотъ шарлатанъ убьетъ вамъ больного! Колдовство, средне-вѣковые предрасудки!.. Рѣшительно совѣтую холодные компрессы... Стыдно образованнымъ людямъ вѣрить въ наше время въ знахарей...—доказывалъ горячо студентъ Семену. Тотъ поддержалъ его.

— Ты всегда такъ и только потому, что я сказала другое. Можете ему прикладывать теперь, что угодно. Я умываю руки... Только помни: ты будешь виновенъ въ его смерти...

— А мама и рада все свалить на меня... Я ли, кто ли, только бы не Юрій!..

Пока они ссорились, Юстина незамѣтно выскользнула за Сем-

батома и долго съ нимъ толковала въ сторонѣ за кустами. Армянинъ щурилъ глаза, почесывалъ подбородокъ, наконецъ кивнулъ головою и пошелъ по крутой тропинкѣ на перевалъ той горы, подъ которой жили Страсевичи.

Прошло нѣсколько дней. Больной спалъ, бредилъ сквозь сонъ и просыпался только затѣмъ, чтобы выпить. Первое, что болѣе сознательно прошло сквозь его спекшія губы, былъ вопросъ:

— Гдѣ проводникъ?.. Вещи?.. Все ли еще въ лѣсу?!

— Все у насъ. Проводникъ самъ пришелъ, вещи мы привезли. Все въ сохранности. Не безпокойтесь!— отвѣтилъ Семень, который вошелъ въ то время въ комнату больного. Какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго, въ полуоткрытыя двери за нимъ выглянуло темное, бородастое лицо череса Селѣма.

— Висмильяхъ! Живъ?! Будь живъ и все будетъ!

Еще нѣсколько дней спустя температура упала, опухоль кругомъ раны стала уменьшаться, раненый пришелъ въ себя, но лежалъ блѣдный, обезсиленный и ко всему равнодушный. Одна странность поражала въ немъ его сидѣлокъ: онъ все чего-то искалъ, ежедневно по нѣскольбу разъ ощупывалъ и осматривалъ свои вещи. И все это ни съ того, ни съ сего, лежитъ спокойно, и вдругъ, какъ будто, что-то вспомнить, засуетится, требуетъ свои вещи, перебираетъ каждую отдѣльно, роется по карманамъ и въ бумагахъ на столикѣ.. Разъ пробовалъ даже засунуть свои исхудалыя руки въ щель между стѣной и кроватью, — смотрѣлъ тамъ долго и ощупывалъ что-то прутикомъ, который отнял у Елены. Спрошенный, онъ покорно легъ на подушки, но ничего не отвѣтилъ.

— Только бы съ ума не сошелъ!..— вздыхала госпожа Страсевичъ.

— Развѣ это бываетъ, тѣтя!.. Вѣдь ему лучше!

— Случается. Помню у насъ дома, еще я была дѣвушкой, панъ Вильчинскій, раненый въ голову...

— Да, но панъ Станиславъ раненъ въ бока!..

— Позволь, у тебя дурная привычка всегда ловить меня!— Елена съ мягкой улыбкой склоняла къ работѣ свою изящную головку и слушала терпѣливо длинный, предлинный разговоръ о томъ, какъ сошелъ съ ума панъ Вильчинскій. По временамъ она съ тревогой посматривала на больного, что тотъ дѣлаетъ. Тотъ не шевелился, если не осматривалъ своихъ вещей; онъ все больше любилъ слушать, глядѣлъ на разказчицу, мило улюбался и вѣжливо благодарилъ за все.

Мало-по-малу жизнь входила въ обычную колею. Больной быстро изучилъ нравы маленькаго домика, научился слѣдить за ними по крохотнымъ, чуть замѣтнымъ признакамъ и примѣняться къ ней. Просыпался онъ раньше всѣхъ. Кругомъ было въ то время

тавъ тихо, что, казалось, можно было уловить дыханіе спящихъ за стѣнкой сосѣдей. И онъ прислушивался къ этому неясному нѣжному шороху, полный довольства, надеждъ и предположеній возвращающейся къ нему жизни. Онъ глядѣлъ въ окно, гдѣ хмурый разсвѣтъ робко расцвѣталъ, гдѣ неясно вырисовывались горныя вершины, еще подернутыя сумракомъ и мглою. Онъ раздумывалъ о вчерашнемъ днѣ и всегда возвращался въ началу, къ ночи, къ смерти, къ моменту, когда думалъ, что потеряно все, и къ чудесному пробужденію въ свѣтлой, чистой комнатѣ, на мягкой постели, въ милой, уютной обстановкѣ... Родные звуки, красавица-дѣвушка, забавная старушка, два ея сына — лѣсные бродяги, и таинственная угрюмая Юстина, которая, впрочемъ, тоже ему улыбалась. Ему всё улыбались, даже заискивали, желая, очевидно, вознаградить чѣмъ могли случившееся по ихъ винѣ... Во всемъ проглядывала любезная, тонкая предупредительность, вѣжливость и доброжелательство. И хотя въ окно глядѣлъ чужой ландшафтъ, комната походила на тысячи знакомыхъ, родныхъ провинціальныхъ комнатокъ. Кисейныя занавѣски, полка съ книгами, дешевая гравюра въ деревянной орѣховой рамкѣ, въ углу небольшой ящикъ, покрытый вылинялымъ ковриккомъ, у окна большое обтянутое кожей кресло и маленькій стульчикъ для ногъ, у кровати столикъ, на немъ небольшое венеціанское зеркальцо и букетъ алыхъ розъ въ граненомъ ставанѣ. Въ изголовьяхъ кровати — католическій крестъ чернаго дерева въ вѣнкѣ засушенныхъ вѣтокъ кипариса. Въ этой комнатѣ непремѣнно жила дѣвушка... Это онъ угадывалъ, но спросить стѣснялся.

Объ этой дѣвушкѣ онъ привыкъ думать ежедневно, пока разгоралась заря. Между тѣмъ, по небу и откосамъ горъ разливался пламенный отблескъ, и въ комнатку сквозь открытое окно вривались его нѣжныя волны. Домикъ просыпался. Въ кухнѣ шумѣли и бренчали посудой. Со двора долетали скрипъ воротъ, мычаніе скота, легкій топотъ босыхъ ногъ. Это дѣвушки шли доить коровъ. Съ этого момента движеніе и шумъ въ домикѣ нарастали съ блескомъ дня. Мѣрно стучалъ топоръ, гремѣли цѣпи, скрещивались энергичныя оклики мужчинъ.

— Чортъ возьми!.. Гдѣ же буравъ?.. Ничего не кладутъ на мѣсто... Юрій, гдѣ буравъ и молотокъ?!

— Да въ комнатѣ, вѣрно на столѣ... У тебя же...

— Гей! Абастуманъ, Пятнышъ!.. Стойте, проклятые!..

Немного спустя мимо дома грузно проходилъ караванъ, глухо шуршалъ по землѣ лемехъ, быки сопѣли и мѣрно стучали копытами. Облака бѣлой, известковой пыли залетали даже въ окно. Большой жадно глядитъ туда, чтобы увидѣть удаляющихся уже на вторичномъ изгибѣ горы, надъ пропастью, полной розоваго свѣта.

Впереди шель обыкновенно Юрій въ бѣлой рубахѣ съ вѣтвой въ рукѣ и, упираясь плечомъ въ ярмо, вель, терпѣливо, на работу черныхъ лоснящихся быковъ, съ тонкими, какъ паутина, нитями слюны у морды. Позади Семень придерживалъ рукоятку тяжелаго плуга. Свѣжѣе, влажные лучи только что взошедшаго солнца золотили ихъ фигуры, а встрѣчали ихъ хоры птицъ, только-что запѣвшихъ въ лѣсахъ.

Въ покинутомъ домикѣ вслѣдъ затѣмъ нѣкоторое время было тихо. Развѣ что собака зѣвнетъ подъ стѣною, или зажузитъ надъ букетомъ розъ случайно залетѣвшая въ комнату пчела. Наконецъ опять на дорожкѣ шлепали легкіе, быстрые шаги, звенѣла въ кухнѣ посуда, да веселый говоръ, смѣхъ дѣвушекъ и плескъ воды давали знать, что они вернулись, моются и одѣваются. Большой волновался, усаживался поприличнѣе и настороживался. Она могла ежеминутно войти. Вотъ наконецъ шуршитъ женское платье, двери слегка пріоткрываются и звучный голосокъ спрашиваетъ:

— Можно? Вы уже встали? Я сейчасъ принесу воды и сдѣлаю перевязку!

Входитъ Елена, розовая, золотая и свѣжая, какъ самое утро. Въ рукахъ у нея фаянсовая умывальница, а черезъ плечо бѣлое полотенце. Молодой ученый и дѣвушка, какъ полагается, въ первую минуту встрѣчи всегда почти смущены и неловки. Ему стыдно, что онъ такой безпомощный, что принужденъ обнажать тѣло, её стѣсняетъ его волненіе. Она торопливо снимаетъ перевязку, отмачиваетъ присохшую корпію и кладетъ все свѣжее. Затѣмъ, оставляетъ тазъ съ водою и уходитъ, а вмѣсто нея является Селимъ и помогаетъ барину дѣлать туалетъ. Подаютъ завтракъ: хлѣбъ, масло, яйца и чай. Прислуживаетъ ему Селимъ, но нѣтъ-нѣтъ является въ дверяхъ и молодая хозяйка, чтобы съ привѣтливой улыбкой узнать, все ли есть, что нужно. Станиславъ до того привыкъ къ ея ясному взгляду и лучезарному спокойному лицу, что тоскуетъ, когда долго его не видитъ, не хуже Юрія, и не на шутку сердится на свою рану, безпомощность, на безсердечность окружающихъ, когда на верандѣ, среди говора, звона чайной посуды и громогласныхъ восклицаній Семена, зазвенитъ неожиданно непонятный ему смѣхъ дѣвушки. Тогда весь міръ дѣлается чрезвычайно печальнымъ, являются дурныя предчувствія; ничего хорошаго онъ не ждетъ больше въ жизни, и это продолжается до тѣхъ поръ, пока не является пани Страсевичъ—признакъ, что всѣ разошлись. Старушка считаетъ своей обязанностью сидѣть каждое утро послѣ завтрака съ работою въ комнатѣ больного и развлекать его разговоромъ.

— Доброе утро! Какъ вы спали?

— Благодарю. Хорошо...

— Ну и слава Богу! А все-таки лучше и сегодня меньше говорить и не шевелиться... Особенно не говорить... даже, когда хочется, нужно воздерживаться!

— Слушаю!—покорно соглашается Вихлицкій.

— Вотъ такъ именно: слушайте! Помню, еще въ то время, когда я была дѣвушкой... учили насъ, что больные, а особенно раненые, не должны разговаривать... Разговоры вредятъ лѣченію; я сама не разъ это замѣчала въ 1863 году. Когда за ранеными ухаживали мужчины—служители и фельдшера, то всѣ молчали и больной скоро выздоравливалъ. Совсѣмъ другое съ барышнями, которыя любили поболтать... Тѣхъ прямо не слушали, спрашивали и необходимо было отвѣчать, потому что сейчасъ раненые раздражались, а раздраженіе мѣшаетъ лѣченію... Я была строже другихъ и точно исполняла предписанія врача, тѣмъ не менѣе мой покойный мужъ... не слушался. Я свое, онъ свое! Бѣдная раненъ былъ въ ногу... Привезли его грязнаго, измятаго, упалъ съ лошади и *эскадронъ* прошелъ по немъ... Я его увидѣла впервые такимъ жалкимъ, безильнымъ, а познакомилась и убѣдилась, что онъ совсѣмъ не такой... Знаете, я полагаю, что въ старину хорошо дѣлали, приучая дѣвушекъ пѣревязывать раны, править кости... Вѣдь среди мужчинъ драки, выстрѣлы, убійства постоянно. Женщина должна знать, какъ помочь горю... Съ непривычки, конечно, ужасно бываетъ смотрѣть на эти раны, на кровь... А тутъ еще помогай! Для Лѣли прямо счастье этотъ случай съ вами... Вы не думайте, что это простая съ моей стороны вѣжливость... Нѣтъ, дѣйствительно вышло удачно, и разъ вы останетесь здоровы, мы очень будемъ рады. У дѣвушки была, правда, уже маленькая практика въ прошломъ году, когда Юрія кабанъ порвалъ, но это пустякъ... Ахъ, этотъ мальчикъ, какъ онъ меня огорчаетъ... Не своей онъ смертью умереть, не своей... Чуетъ мое сердце...

— Почему же вы ему позволяете?

— Да что вы думаете: онъ меня послушаетъ? Никогда они меня не слушаютъ! Отъ самой колыбели привыкли они дѣлать по своему. И я даже знаю, отъ кого это они наслѣдовали... Перешло это къ нимъ... отъ отца! Тотъ всегда не то дѣлалъ, чего я хотѣла... Ужъ я иногда, бывало, и старалась, и раздумывала, и хитрила, лишь бы угадать, чего онъ хочетъ, и жить бы съ нимъ въ согласіи. Скажу—и какъ разъ наоборотъ выходитъ. Тогда я поняла, что это неизбѣжно и подчинилась! Съ тѣхъ поръ мы никогда уже ни въ чемъ не соглашались... Совсѣмъ, какъ теперъ съ Семеномъ. Чтобы я ни сказала, онъ всегда наоборотъ... И такъ вся жизнь прошла въ противорѣчій... Если бы я болѣе была опытна, я бы угадала это еще въ то время, когда покойникъ

мужъ былъ раненъ. Посудите сами: я запрещаю напимѣрь говорить, а онъ не слушаетъ. Не отвѣчаю; онъ руки цѣлуетъ и такія глупости плететь, что и совѣстно, и стыдно, и жалко... И что же? Все вышло, какъ онъ рѣшилъ. Вышла я за него замужъ и уѣхала на край свѣта. Родные уговаривали, я упиралась... И что же: взялъ меня, точно силою... „Ты будешь моя! Помни!“ —сказалъ онъ мнѣ. Онъ былъ въ то время раненый, заключенный, затѣмъ осужденный, а я вольная, богатая, холерная... И что же: все я бросила... Была у него воля! Нельзя сказать! Отъ этой воли именно вся его и моя жизнь испортилась. Сколько разъ впослѣдствіи случалось мнѣ молить его и плавать—ничего не помагало. „Жизни лишусь, а не стерплю униженія!“ Какъ будто въ этомъ дѣло? „Эдуардъ, говорю, я не желаю твоей смерти. Нѣтъ! Я только хочу, чтобы нашимъ дѣтямъ было хорошо!“ А онъ воспиталъ, какъ хотѣлъ, а теперь умеръ и оставилъ насъ въ такомъ положеніи, ни впередъ, ни назадъ. А нашихъ прежнихъ страданій ни рассказать, ни перомъ описать... Такъ-то, сударь мой!

Тутъ начинался длиннѣйшій перечень несчастій и приключеній, постигшихъ Страсевичей. А такъ какъ Станиславъ большую часть разсказовъ слышалъ раньше по другому поводу, то онъ мало слушалъ а больше смотрѣлъ на фигуру Елены, свлонившейся надъ работою, на чудный овалъ ея лица, на мягкія тѣни рѣсницъ, дрожація на щекахъ, на свѣжія, прелестно очерченныя губы, на трудолюбивыя маленькія руки, въ которыхъ быстро мелькала игла. Онъ смотрѣлъ и не скучалъ. Дѣвушка не могла не замѣтить, что его темные, ласково останавливающіеся на ней глаза, тоже очень хороши и даже временами выразительны.

Разъ послѣ обѣда, когда пани Страсевичъ, усталая отъ жары и длиннаго разсказа, вздремнула въ креслахъ, а дѣвушка долго шла, не поднимая глазъ, больной спросилъ неожиданно:

— Павна Елена, вы не дочь пани Страсевичъ?

— Нѣтъ!

— Вы даже не родственница?

— Нѣтъ. Мой отецъ былъ только другомъ и товарищемъ по ссылкѣ пана Страсевича. Матери я не помню. Страсевичи привезли меня сюда изъ Сибири...

— Вы прямо пріѣхали сюда?

— Нѣтъ. Мы нѣсколько лѣтъ прожили въ Россіи.

— Да, но родины ни вы, ни Семенъ, ни Юрій не знаете?

— Не знаемъ.

— И не увидите никогда? Не интересно вамъ?

— Нѣтъ! Напротивъ!..—вспыхнула дѣвушка.—Пани Страсевичъ собирается давно, только все денегъ нѣтъ. Прежде всего

вѣдь нужно собрать деньги. Пани Страсевичъ говоритъ, что родина у тѣхъ только, у кого есть деньги.

— Не совсѣмъ такъ, но немного такъ!..—вздыхнулъ Вихлицкій.

— А вы почему иногда такой грустный?

— Я? Какъ всѣ... „въ оковахъ съ колыбели“...

— „Но у васъ хоть одна была въ жизни весна“...—дovончила дѣвушка съ грустной улыбкой.

— Вы знаете эти стихи?

— Почти всю книгу знаю наизусть.

— Я не нашелъ ея среди вотъ этихъ!

Онъ вивнулъ головою въ сторону поляки.

— Она спрятана у меня въ ящикѣ. Это память послѣ отца. У меня еще есть другая, которую Семень купилъ случайно здѣсь, на рынкѣ. Заголовокъ не знаю, онъ оборванъ, а начинается она такъ:

„Знаешь ли, юный другъ, земли твоей богатые плоды?“ Вы знаете эту книгу?

— Да, я ее знаю.

— Вы, должно быть, много книгъ прочли и рѣдкой не знаете?

— А вы развѣ не читаете?

— Мало, изрѣдка по праздникамъ! При жизни пана Страсевича чаще попадали къ намъ книги. Онъ даже выписывалъ. Но теперь покупаемъ только по случаю. Тѣ, что есть здѣсь, всѣ прочтены.

— А молодые Страсевичи тоже развѣ не читаютъ?

— Очень рѣдко. И то только Семень. Въ будни они черезчуръ устаютъ, а въ праздники спятъ много, отдыхаютъ. Вѣчно у нихъ работа. Панъ Страсевичъ тоже въ послѣднее время работалъ круглые дни напролетъ. Здѣсь былъ густой, непролазный лѣсъ, когда мы пріѣхали. Панъ Страсевичъ купилъ эту землю, потому что иначе нельзя было. Въ городѣ онъ жить не хотѣлъ. Привыкъ въ Сибири къ земледѣлю. Панъ Страсевичъ очень любилъ земледѣліе. Говорилъ, что земледѣльцу только Богъ начальникъ. Такое было его убѣжденіе. Ахъ, какъ бы я желала имѣть убѣжденіе! Любить что-нибудь всей душою, какъ панъ Страсевичъ земледѣліе! А у васъ есть убѣжденіе?

— Гм! Развѣ это легко? Убѣжденія требуютъ большихъ денегъ, чѣмъ даже родина...

Елена долго не отвѣчала. Наконецъ, подняла голову и посмотрѣла на него съ необычной серьезностью.

— Почему вы все только спрашиваете, а никогда не говорите о себѣ? У васъ тайна?

— Ничуть! Только не знаю откуда начать: со вчерашняго дня или отъ самаго начала... Въ сущности мое начало еще не началось!

— Вы все только шутите!

— Плачу тоже частенько, когда никто не смотритъ.

— У васъ нѣтъ близкихъ никого?

— Есть... мать!

— Аха! Мать!.. Слушаю, слушаю... Съ удовольствіемъ слушаю... Продолжайте... Что за несносная жара?! Леля, принеси, милочка, воды съ совомъ!—проговорила со вздохомъ пани Страсевичъ. Она проснулась, потная и заплывшая, и прежде всего принялась вытирать платкомъ лицо и губы.—Я, кажется, вздремнула. Но я не помѣшала вамъ? Продолжайте! И такъ... у васъ была мать!

— У меня *есть* и теперь мать, если ничего не случилось!— съ суевѣрнымъ страхомъ остановилъ ее Вихлицкій..

— Ну ладно! Пусть будетъ: у васъ есть мать,—согласилась пани Страсевичъ, собирая на спицы спущенныя петли.—Васъ я люблю, потому что съ вами легко соглашаться. И такъ у васъ была мать...

Но Елена еще не вернулась, а Вихлицкій не торопился съ рассказомъ.

— Что же изъ этого, что у васъ была мать? . — повторяла въ нетерпѣннн старушка.

— Да, у меня была мать, но не было денегъ!

— Это всегда такъ. Понимаю!

— Въ виду этого я принужденъ былъ особенно упорно искать занятій. На родинѣ у насъ очень теперь трудно найти хорошо оплаченную работу.

— Знаю, знаю. Замѣть, Леля... очень трудно! И всѣ это говорятъ, кто только прїѣзжаетъ оттуда...

— Особенно это было трудно для меня, окончившаго университетъ по естественномт факультету.

— Именно. Этотъ дуракъ естественникъ, представьте себѣ, не могъ найти у васъ ребра. И еще наговорилъ мнѣ дерзостей... А почему вы не пошли въ медики?

— Я любилъ науку, но на чистую науку у насъ нѣтъ спроса.

— Вполнѣ вѣрю. Это тоже всѣ говорятъ!.. — соглашалась старушка, кивая головой.—И это понятно, потому что это теорія!

— Я принужденъ былъ отправиться съ моимъ товаромъ въ другія мѣста. Послѣ многихъ мытарствъ, нашлись благодѣтели, которые за умѣренную цѣну послали меня къ вамъ дѣлать открытія, собирать растенія и насѣкомыхъ на альпійскіе луга Кавказа, къ вѣчнымъ снѣгамъ, въ мѣста, куда другіе идти не хотятъ

и не могутъ. Я полагаю, что я дѣйствительно могу найти тамъ много интереснаго, новаго, важнаго... Я думаю даже, что я напалъ на слѣдъ, можетъ быть, не далеко отсюда кроется разгадка одной значительной геологической проблемы.

— Какъ? Вы еще хотите туда идти?—спросила Елена.

— Даже если бъ не хотѣлъ—долженъ. Но я хочу!—отвѣтилъ задумчиво Вихлицкій.

— Ну, сознаюсь, я не пошла бы! Все-таки жизнь милѣе денегъ!—закончила старушка.

Елена ушла; Юстина позвала ее накрыть столъ; Юрій и Семенъ уже возвращались съ поля.

— Какъ ваше здоровье? Поправляетесь?—спросилъ послѣдній, входя въ комнату больного.

— Благодарю. Теперь значительно лучше. А вы что подѣлываете?

— Начинаемъ косить...

— А Селимъ что дѣлаетъ? Вы его не видѣли?

— Онъ вамъ нуженъ? Добрякъ пошелъ съ нами, помогаетъ намъ.

— Я хотѣлъ послать его съ письмами и бумагами въ городъ... Могу, впрочемъ, подождать...

— Вотъ и прекрасно. Мы и отправимъ его въ воскресенье.

IV

— Пожалуйста чай пить!

— Сію минуту! Сейчасъ кончу!..

Вихлицкій, не торопясь, дописалъ до точки и вышелъ на веранду, гдѣ всѣ уже усѣлись за столъ.

Солнце закатилось. Долина полна была алаго свѣта, въ которомъ синева далекихъ лѣсовъ и скалъ пріобрѣла густой фіолетовый тонъ. Ледяной волпакъ Рихтау горѣлъ кровавымъ заревомъ, точно громадный причудливый рубинъ. А въ другомъ концѣ— море и темный небосклонъ сливались въ одну прозрачную бездну, гдѣ блуждали бѣлыя тучи и ихъ отраженія. Пахло южнымъ лѣсомъ, свѣже-скошеннымъ сѣномъ и дозрѣвающимъ хлѣбомъ.

Пани Страсевичъ показала гостю на обычное мѣсто около себя.

— Ради чего такъ торопитесь? Весь день пишете и пишете!.. Съ трудомъ поднялись, а уже все сидите... Отъ сидѣнія въ боку можетъ опять что-нибудь испортиться. Вѣдь тамъ внутри свисаетъ и печень, и легкія!..

— Торопитесь мнѣ необходимо. Хотѣлъ бы завтра все от-

править на почту. Селимъ пойдетъ въ городъ, — добавилъ онъ по-русски.

Червесь, который сидѣлъ тутъ же, у стола, и чинно тянулъ чай съ блюдечка, повернулъ къ нему бородатое лицо и спокойно согласился:

— Селимъ пойдетъ!

— Я потерялъ деньги въ послѣднемъ приключеніи! — сказалъ Станиславъ и вспыхнулъ. — Пока не получу отвѣта, не могу двигаться дальше.

Всѣ замолки.

— Боже мой! Этого только недоставало! — вздохнула пани Страсевичъ.

— Деньги? И много? Вы этого раньше не говорили... — спросилъ сдержанно Семень.

— Ээ! Пустяки! Главное — задержка. А не говорилъ я, потому что горю помочь нельзя!

— Вѣрно... разъ помочь нельзя!.. — согласился задумчиво Семень.

— Напрасно. Мы завтра же пойдемъ съ Селимомъ по слѣдамъ... — вмѣшался порывисто Юрій. — У васъ гдѣ были деньги? Въ чемъ?

— Я ихъ носилъ въ сумочкѣ зеленого сукна на шеѣ. Вѣрно тесемки пропотѣли и оборвались... По такимъ пришлось пробираться трупобамъ, что искать только трата времени. Сумочка провалилась куда-нибудь въ сѣважину... Или дождь да вѣтеръ ее въ пропасть смыли... Во всякомъ случаѣ, пусть Селимъ раньше письма снесетъ на почту, это вѣрнѣе!

Селимъ, который хотя и не понималъ по-польски, внимательно прислушивался къ разговору, опять привѣтливо кивнулъ головою.

— Все хорошо, но вы ничего не ѣдите. Яичница совсѣмъ остыла. Пусть они на время оставятъ пана Станислава, тета, послѣ разспросятъ! — просила Елена и придвинула ближе къ Вихлицьому блюдо.

— Дѣйствительно! Пожалуйста, ѣшьте, потомъ расскажите намъ, какъ все это случилось съ самого начала. Вѣдь до сихъ поръ мы ничего не знаемъ!

— Все это произошло очень просто! — заговорилъ Вихлицкій, принимаясь за кушанье. — Я потерялъ тропинку, по которой первоначально вышелъ изъ ущелья, а затѣмъ не могъ ее найти... Вѣрнѣе нашелъ ихъ тысячу! Проплуталъ нѣсколько верстъ и затесался въ такую чащу, что ни тпру, ни ну! Чего я ни пробовалъ! По низенькимъ проходкамъ подъ льянами и ежевикой ползъ не разъ на колѣняхъ. Тѣсно, такъ что локти задѣваютъ, темно, сыро, противно, пахнетъ змѣями...

— Хорошо еще, что не повстрѣчались въ такомъ корридорчикѣ съ медвѣдемъ или барсомъ... Это бываетъ!.. Со мной былъ случай!..—началь было Семень.

— Тсс! Не мѣшай! Послѣ!.. И такъ: вы проползли?!..

— А хуже всего рододендроны! Сквозь ихъ заросли невозможно, думаю, прорваться...

Юрій усмѣхнулся.

— Невысокіе и не особенно густые, но такіе упругіе и раскидистые... Чувствуешь себя точно пойманнымъ въ сѣти. То рука, то нога, то стволъ ружья застранетъ въ этой ткани вѣтвей... Силы и терпѣніе оставили меня... Попробовалъ я къ ручью спуститься, внизъ—нельзя! Вездѣ отвѣсъ! Такъ я пропатался весь день. Стемнѣло. Влѣзъ я на дерево...

Тутъ рассказчикъ замѣтилъ, что Юрій, Семень, даже Елена сдержанно улыбнулись.

— А затѣмъ увидѣлъ свѣтъ, пошелъ къ нему и... выстрѣлили въ меня!..—съ досадой докончилъ онъ.

— Ошибка. Въ сомнительныхъ случаяхъ нужно свистѣть... Случается даже туземцамъ стрѣлять другъ въ друга въ ночную охоту!..—замѣтилъ Семень.

— Именно. Виноваты вы, что не свистѣли. Здѣсь всѣ свистятъ въ лѣсу!—поддержала сына пани Страсевичъ.

— Не свистѣлъ!—отвѣчалъ сухо молодой ученый.

На мгновение водворилось неловкое молчаніе.

— Ну, все это... къ Богу! Стоить ли? Все это не интересно! Расскажите лучше вы, какими судьбами попали сюда?—заговорилъ Вихлицкій.

— Видите, вотъ что...—протянулъ Семень и погладил нерѣшительно верхушку своей „дыни“.—Мой отецъ... утверждалъ, что всѣ эти несчастія... страданія... пре-ступ-ленія... да... преступления... происходятъ отъ того, да, что... люди направляютъ свои усилія не столько... да, на полезный трудъ... сколько... на взаимное, да, обирательство... Да! А происходитъ это отъ того, что, да... рыночная цѣна труда... да... несправедливо... не *нормально*, да, да... *не нормально* составлена. Въ томъ вся суть. Если бы люди отдавали другимъ столько же, сколько берутъ, было бы равенство... Потому что силы и способности, да, почти равны... Производительность мало дѣйствуетъ, потому что у тѣхъ, кто мало работаетъ, бываетъ много... а не наоборотъ... Такъ бываетъ въ вашей жизни... »

— Семень, Семень, стой!.. Ты мнѣ позволъ...—пробовала вмѣшаться пани Страсевичъ.

— Такъ вотъ... нибто но можетъ быть увѣренъ... что въ сигарѣ, которую курить, въ съѣденномъ пирожекѣ, въ билетѣ въ

театръ... да, нѣтъ человѣческаго голода и человѣческихъ слезъ... Да, но тутъ начинается такая философія, что самъ чортъ ногу сломить. Я не въ состояніи повторить ее вамъ во всемъ размѣрѣ. Много тамъ экономическихъ, статистическихъ и даже антропологическихъ изученій моего отца... — продолжалъ уже обычнымъ голосомъ Семень.

— Вотъ видишь! Ты не знаешь... ты позволи мнѣ!.. — опять вмѣшалась пани Страсевичъ.

— Одно я понималъ и твердо знаю: чтобы всего этого не было, чтобы совѣсть была чиста, каждый долженъ работать на себя, на землѣ, брать оттуда все, что ему нужно... И это безъ разсужденій, не оглядываясь ни на что, потому что это одна истина, и вѣрно... Этому я вѣрю, потому что это я понималъ... Потому что это ясно и просто безъ всякихъ размышленій и сбиться тутъ нельзя! Работай и другихъ не обижай. Будетъ этого достаточно съ каждою! И если бы всѣ такъ поступили, то не нужно было бы даже любви въ ближнему... Она сама бы пришла съ общаго согласія и все было бы рѣшено... Такъ меня училъ отецъ и такъ я поступаю!.. — закончилъ онъ немного торжественно и положилъ на столъ загрузбѣлый рабочій кулакъ.

— Въ этомъ-то и вся суть, какъ сдѣлать, чтобы всѣ... — началъ было Станиславъ, но пани Страсевичъ не дала ему продолжать и бурно накинулась на сына.

— Ты, Семень, всегда такъ: возьмешься за то, чего не знаешь, и только порочишь память отца. И что за выраженія? Смѣю васъ увѣрить, что покойникъ былъ очень умный и образованный человѣкъ. Всѣ съ этимъ соглашались и всѣ уважали его...

— Да вовсе я не хотѣлъ порочить память отца... Напротивъ!.. Мама никогда хорошо не разберетъ...

— Вотъ, вотъ! Всегда такъ: Ты развѣ не сказалъ: „самъ чортъ ногу сломить“? Отопрись! Кто, кто, а твой отецъ заслужилъ царство небесное... Если бы онъ больше о себѣ помнилъ, мы не были бы здѣсь... И начало нашихъ страданій было совсѣмъ не такое, какъ ты рассказываешь, и совсѣмъ не отъ *нормальнаго* труда, а отъ другого. Ты не позволилъ мнѣ сказать, а между тѣмъ ты тогда былъ маленькій и ты не знаешь... Ахъ, панъ Вихлиньскій, вы и представить себѣ не можете, сколько мы натерпѣлись... Ни рассказать, ни перомъ описать! Когда мы съ мужемъ очутились на краю свѣта, въ глухой деревушкѣ, Семену, было всего два года, а Юрьемъ я какъ разъ была беременна. Денегъ нѣтъ, работы нѣтъ... Такое было начало! Купить нечего. Даже лавочки не было въ этой деревушкѣ. Въ городъ — мѣсяць пути. Впрочемъ, для насъ это было безразлично; приказано было не пускать насъ дальше поскотины! Письма, газеты шли годы. Занятій

никакихъ. Чего не сдѣлалъ каждый себѣ собственными руками, того взять неоткуда. Мужъ мой принужденъ былъ плотничать, домъ строить, печи ставить, и пахать, и сѣять. Круглый годъ мы питались только картофелемъ. Дѣти болѣли. Отъ сырости въ квартирѣ всѣ мы схватили ревматизмъ. Жили мы первое время въ банѣ у богатаго мужика. Хорошо еще, что пустилъ, а то свободныхъ квартиръ въ деревнѣ не было и насъ боялись. Мужъ работать не умѣлъ, топора отъ роду въ рукахъ не держалъ. Пришлось всему учиться. То ногу, то руку поранить, занозить... пошли у него по тѣлу нарывы отъ простуды... А тутъ зима, холода сумасшедшіе, темно, тоска гложетъ... Ужасъ, ужасъ!.. Я барышня, холеная, благовоспитанная, не выдержала... Не разъ молю мужа на когѣняхъ: „просись, милый, куда-нибудь въ городъ!“ Ни за что. Уперся, а воля у него была... Мрачный онъ сдѣлается, хуже ночи. Совсѣмъ какъ теперь Юрій, который это отъ него наслѣдовалъ. „Хочешь, поѣзжай съ дѣтьми!“—говоритъ. Но развѣ я могла его оставить одного, навсегда... Впослѣдствіи стало намъ лучше. Мужъ привыкъ работать, я взяла на себя огородъ. Не повѣрите: какъ простая мужичка полола я гряды и таскала воду. Дальше стало даже совсѣмъ хорошо. Завелись у насъ сбереженія. Жители, большіе дѣнтяи, предпочитали охоту. Она имъ лучше оплачивалась. Все они покупали у насъ—и муку, и овощи. Намъ разрѣшалось уже переѣхать въ городъ, но покойникъ не пожелалъ: пусть дѣти лучше останутся мужиками, говорилъ онъ, тогда ничего въ жизни не побоятся. Сколько я ночей проплакала, сколько пролила слезъ?! По праздникамъ мужъ самъ училъ ихъ, а зимою увозилъ въ мѣстечко. Тамъ обучались они у знакомыхъ. Самъ покойникъ въ городъ не переѣзжалъ. Уже я думала, что мы такъ и умремъ въ этой глуши, какъ вдругъ случилось, что мы все продали и уѣхали. По дорогѣ мы прихватили Лѣлечку, у которой тогда отецъ умеръ. Въ Россіи опять намъ стало тяжело. Хуже даже, чѣмъ въ Сибири. Очевидно, Богъ въ своихъ рѣшеніяхъ опредѣлилъ испытать насъ до конца. Мой мужъ въ виду необходимости учить уже выросшихъ дѣтей, пересилилъ себя и согласился остаться въ городѣ. Выборъ былъ не совсѣмъ свободенъ и вотъ пошли неудачи. Покойникъ забылъ въ деревнѣ многія науки; должность получилъ онъ маленькую. Непріятности, униженія, вѣчная неувѣренность... необходимость поступаться иногда самымъ дорогимъ убивали его. Онъ вѣчно стремился къ землѣ, тосковалъ по ней. Книги и чтеніе только больше разжигали его. Вотъ когда начались экономическія и даже антропологическія рѣшенія. Сильно я боялась ихъ и, оказывается, не напрасно. Не вѣрю я, не могу себя пересилить, чтобы убѣдиться, что человекъ произошелъ отъ обезьяны. Сколько слезъ по этому поводу пролила я. Чуть у меня не вы-

шелъ съ покойникомъ разладъ. Онъ все читалъ, дѣлалъ выписки... Масса этого накопилась. Если хотите, могу показать вамъ; можетъ быть, вы, какъ человѣкъ знающій, сдѣлаете употребленіе. Это послѣ. Теперь возвращаюсь въ разсказу. Наши сбереженія истощались. Тогда и я стала убѣждать мужа бросить городъ. Мы собрали остатки, продали мебель и прочее и мужъ купилъ вотъ эту колонию, гдѣ теперь живемъ. Прежній собственникъ, чиновникъ, купилъ землю за гроши у правительства. Самъ онъ земледѣлемъ не интересовался и никогда здѣсь даже не былъ. Дачу хотѣлъ строить, но испугался лихорадокъ... Продавъ дешево, но когда мы сюда пріѣхали, мы изумились: ничего, рѣшительно ничего не было, только глухой громадный лѣсъ. Сдѣланнаго поправить нельзя было. Средства истощались. Мужъ съ сыновьями принялись собственноручно за корчевку. Съ Божьей помощью осилили. Теперь живется намъ не дурно. Трудъ не особенно тяжелъ, въ сравненіи съ сибирскимъ. Расходы небольшіе. Тепло, платья зимняго и топлива почти не надо. Урожай хорошіе. Въ лѣсу фруктовъ, ягодъ много. Какъ видите, у насъ всегда на столѣ компотъ, варенія, сушеные плоды—все свое. Одно скверно—нѣтъ дорогъ, нѣтъ сбыта. Поэтому-то и виноградникъ у насъ маленькій, только для себя. Нѣтъ у насъ общества и нѣтъ денегъ. А между тѣмъ хорошо было бы скопить сколько-нибудь... Я не оставляю мысли о возвращеніи. Мужъ умеръ съ мечтой объ этомъ. Послѣдній годъ даже сталъ онъ искать покупателя на нашъ участокъ, но кто пойдетъ въ такую труппу... Не для себя я мечтаю... Даже сознаюсь, трудно было бы мнѣ разстаться...

Тутъ старушка склонилась къ работѣ и стала быстро перебирать долго огдыхавшими спицами.

Вихлицкій невольно взглянулъ на Елену. Дѣвушка сидѣла задумчиво съ опущенными глазами; возможно, что не слышала окончанія. Взглянула на нее также и Юстина, но раньше глаза ея встрѣтились съ взглядомъ Семена. Она порывисто встала и принялась убирать со стола.

Поздній вечеръ, почти ночь, покрыла окрестности. Бѣлый Риштау слился съ облаками въ одно туманное пятно. Отъ моря дулъ мягкій, прерывистый вѣтерокъ. Звѣзды блѣдно мерцали надъ черными зубчатыми вершинами горъ.

— Пожалуй, можно ожидать дождя. Дуетъ морякъ, слабый, но будетъ и больше! Барышни намъ завтра, думаю, помогутъ убирать сѣно. Что?! Хорошо? Мама, съ обѣдомъ справишься ли одна? Какъ думаешь?—спросилъ Семень.

— Прекрасно справлюсь. А не хватитъ, такъ дополните твоимъ и сметаной.

Вскорѣ на верандѣ не осталось никого. Юрій уже раньше

ушелъ осматривать недалеко „слѣды“. Семень отправился подъ орѣхъ, гдѣ всегда спалъ лѣтомъ вмѣстѣ съ братомъ. Юстина мыла въ кухнѣ посуду. Пани Страсевичъ въ своей комнатѣ стояла на колѣняхъ передъ образомъ Ченстоховской Божіей Матерью. Все это видѣлъ Вихлицкій, блуждавшій кругомъ дома въ мечтательномъ настроеніи. Нигдѣ только онъ не замѣтилъ Елены. Вдругъ снизу, отъ ключа долетѣла до него знакомая польская пѣсенка: «Гей, тамъ на горѣ ѣдутъ рыцари»...

Онъ прислушался и поспѣшно пошелъ въ ту сторону. Однако на краю обрыва онъ остановился. А что, если тамъ двое? раздумывалъ онъ. Ему даже показалось, что онъ слышалъ мужской голосъ. Онъ спрятался въ тѣни и ждалъ, пока въ блѣдномъ пролетѣ тропинки не мелькнула одинокая фигура дѣвушки, съ трудомъ несущей въ гору ведра, полныя воды. Онъ сейчасъ же бросился туда.

— Дайте, я вамъ помогу.

— Нѣтъ! Этого не будетъ. Не берите, не берите! Это для меня ничуть не тяжела, я привыкла, а у васъ еще вновь вскроются раны...

— Ну, что такое „раны“... Вамъ дышать трудно... Не отговаривайтесь.

— Каждому дышится такъ, когда взбираешься на гору.

— Ну, такъ отдохните...

— Сейчасъ отдохну... Вотъ и отдыхаю!..

Она размѣялась и быстро пробѣжала оставшіеся нѣсколько шаговъ. Затѣмъ ведра поставила на краю обрыва и сѣла вблизи на камень. Станиславъ присѣлъ тутъ же. Блѣдныя, лохматыя тѣни большихъ группъ скрывали ихъ, между тѣмъ какъ надъ долиной, мѣсяцъ, минуя рѣдкія тучи, сѣялъ серебристую пыль мягкаго свѣта. Внизу въ лучахъ его блестѣла рѣчущка, вьющаяся среди лѣсныхъ выступовъ, луговъ и скалъ. Море нѣжно шумѣло вдали и оттуда дулъ вѣтерокъ, то крѣпкій, то слабый, то холодный и соленый, то теплый и благоухающій. Въ лѣсахъ мелодично перекликались древесныя лягушки и совы тянули свои тоскующія „сплю“. Бѣлый домикъ на кручѣ, полуприкрытый тѣнью, вздымающейся надъ нимъ горы, сонно мерцалъ въ окнахъ крошечными огнями. Надъ долиною вѣялъ мѣръ и тишина.

— Хорошо тутъ у васъ, можно отдохнуть, но навсегда, я думаю, трудно остаться.

Дѣвушка рѣзко подвинулась, какъ бы намѣревалась повернуться къ нему, но вмѣсто этого встала и подняла ведра. Вихлицкому показалось, что она вздохнула.

— Должно быть, показалось! Съ чего ей вздыхать?! А впрочемъ... кому не случается вздохнуть, подымая ведра послѣ плот-

наго ужина!..—увѣрялъ онъ себя. На днѣ его сердца притаилось все-таки крошечное волнующее его сомнѣнiе, и онъ легъ спать въ чрезвычайно веселомъ настроенiи.

V.

— Хотя я и считаю себя искреннимъ демократомъ, тѣмъ не менѣе, сознаюсь, не желалъ бы, чтобы мои знакомые изъ Варшавы, а тѣмъ болѣе моя матушка или мои покровители изъ высочученнаго общества, увидѣли меня теперь...—размышлялъ, улыбаясь, Вихлицкiй. Онъ не безъ основанiя предполагалъ, что все его лицо запылено и измазано. Съ самаго утра онъ съ большимъ рвенiемъ исполнялъ разныя обязанности, связанныя съ грязью, пылью и копотью. Теперь онъ чистилъ картошку. А случилось это очень просто. Съ уходомъ на луга женщинъ и Селима всѣ домашнiя работы, возня съ обѣдомъ, поддержанiе порядка, и чистоты, легли на пани Страсевичъ. Вихлицкiй само собою не могъ позволить, чтобы въ его присутствiи старушка нагибалась съ вѣникомъ въ рукахъ и носила тяжести. Все это онъ взялъ на себя и усердно подметалъ полы, чихая невозможно отъ столбовъ поднятой пыли.

— Нужно вспрыснуть водой...—совѣтовала съ улыбкой старушка.—Вы устали. Отдохните! Вы совсѣмъ раскраснѣлись!

— Нѣтъ, нѣтъ! Я сейчасъ кончу!..

Сама старушка, раздумываясь отъ огня, въ бѣломъ чепичѣ, съ огромной ложкой въ рукахъ стояла у плиты, точно королева.

— Въ домашнихъ работахъ никогда мужчинѣ не сравнятся съ женщиной... Нужны другiя свойства и другое тѣлосложенiе. Я увѣрена, что книги вы пишете очень хорошо, между тѣмъ, посмотрите, какiя полосы сору остались на полу. У мужчинъ все широко, все размашисто. Нѣтъ у нихъ ни ловкости, ни...

— А лакей? А повара?—защищался Станиславъ.

— Вѣрно. Но видите: лакеи всегда врутъ, а повара—воры и пьяницы... Порядокъ въ домѣ начинается только съ женою. До того всякiй мужина немного неряшливъ и распущенъ. Даже мать не въ состоянiи во все вникнуть. Поэтому-то я очень желала бы... Сембать, ты это куда...—вскричала пани Страсевичъ, высовывая голову въ окно.

— Я... Сембать... ходылъ больной урутска...

— Больной „урутска“ здѣсь... Что нужно?—разсмѣялся Станиславъ, являясь на порогѣ. Онъ интересовался вообще туземцами, а тѣмъ болѣе своимъ врачомъ.

Знахарь стоялъ неподвижно въ лучахъ палащаго сонца съ правой рукой на груди. Онъ былъ не особенно старъ, но былъ невозможно дурень собою. Въ тотъ моментъ онъ похожъ былъ на нѣчто въ родѣ грязнаго мѣшка, набитаго сухими листьями.

На груди ткань мѣшка лопнула и обнажилось тѣло, поросшее черными волосами, рыжее и морщинистое, какъ папуша табаку. Голова, повязанная краснымъ платкомъ, похожа была на ворохъ порыжѣлыхъ корешковъ и листьевъ. Обширныя, измызганныя шаровары свисали отъ пояса въ неуклюжихъ складкахъ и оканчивались узенькими ногавицами, рѣзко обозначающими кривизну голени. Армянинъ щуриль лукаво воспаленные глазки и все кланялся съ рукой на груди, въ то время, какъ другою закрывалъ шейку бутылки, торчащей изъ кармана.

— Большой урутска карошъ!? Сембать мало-мало садысь!.. Сембать знайеть...

— Большой урутска трава на бокъ не садысь. Вода шалтай — болтай! — отвѣтилъ поспѣшно Станиславъ. Онъ боялся, что знахарь сейчасъ же станетъ просить прибавку, а денегъ у него не было.

Армянинъ причмокнулъ.

— Молодой боба ы-гдѣ садысь?

— Всѣ сѣно садись.

— Не ходи?!

— Должно быть... ходи!

— Урутскій боба люби?

— А Сембать любить?

Сембать разсмѣялся, отвернулся къ окну и сталъ фамиллярно разговаривать съ пани Страсевичъ о какомъ-то маслѣ, курицахъ и яйцахъ, все на томъ же забавномъ русско-армянскомъ нарѣчїи.

— Панъ Станиславъ, будьте любезны до конца и помогите Юсти пригнать изъ лѣсу скоть. Она, бѣдняжка, чуть идетъ. Что за несносная жара!

Вихлицкій уже раньше замѣтилъ дѣвушку и былъ неурятно удивленъ отсутствїемъ остальныхъ. Значить, не придуть; Юстина подоить коровъ и понесетъ имъ обѣдъ. Огорченный, онъ отправился въ лѣсъ за скотомъ. Не легко было собрать его; возбужденное зноемъ и напуганное оводами, стадо забралось въ такія трущобы, что Вихлицкій прѣходилъ добрый часъ, пока разыскалъ его. Затѣмъ оно постоянно стремилось разбѣжаться и Вихлицкій очень былъ доволенъ, когда наконецъ у поворота тропинки увидѣлъ Юстину и Сембата. Но дѣвушка куда-то скрылась, а Сембать съ рукою на груди и низкими поклонами прощался съ нимъ, ничуть не думая помогать ему.

Онъ побѣжалъ на сѣнокосъ, какъ только пани Страсевичъ присѣла въ кресло для послѣобѣденнаго отдыха.

Ему не позволили работать и онъ прилежъ на травѣ недалеко отъ громаднаго орѣха. Потоки яркаго, золотистаго свѣта и жгучаго зноя падали сверху. Трава, цвѣты и сосѣдній лѣсъ казались уставшими, вялыми, запыленными; зато косы у косцовъ сверкали

какъ молніи въ лучахъ ослѣпительнаго сіянія, а ихъ цвѣтныя рубашки и женскія юбки буквально пламенѣли. Большой мелкочешуйчатый ужъ съ поднятой головой съ шипѣніемъ проползъ мимо Вихлицкаго, хорошенькая птичка съ алой грудью и голубыми крылышками присѣла надъ нимъ, раскрыла клювъ и тихо чирикала, ошеломленная зноемъ. Зной прониваль вездѣ, былъ вездѣ и исходилъ отовсюду; имъ дышала раскаленная земля, онъ струился со щетины заострившихся травъ, накопляясь точно въ резервуарахъ въ широко раскрытыхъ благоухающихъ чашечкахъ цвѣтовъ, плылъ влажный, ароматный, какъ пары нагрѣтаго вина, изъ лѣсныхъ глубинъ, дрожалъ въ воздухѣ надъ долиною чуть замѣтнымъ волнистымъ миражемъ. Ближе Вихлицкаго въ кустахъ и травѣ кишмя-кишѣла жизнь, трещали кузнечики, пролетали съ жужжаніемъ овода, разноцвѣтныя, щеголеватыя мухи, ползли и суетились муравьи, пестрые, блестящіе жуки, проносились въ прихотливомъ полетѣ большія, нарядныя бабочки. Милліоны запаховъ скрещивались, боролись, потопляли на мгновеніе другія ощущенія и вдругъ исчезали согнанные дуновеніемъ вѣтерка и живительная прохладная струя морского воздуха врывалась въ этотъ концертъ ароматовъ, точно звучный, освѣжающій ударъ кимвала. Нѣга, упоеніе, истома овладѣли Вихлицкимъ, ему не хотѣлось ни думать, ни двинуться, онъ подчинялся и сладострастно втягивалъ въ себя всѣмъ тѣломъ разлитые кругомъ свѣтъ и зной. Полусонный, не поднимая головы, онъ слѣдилъ изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ за работающими недалеко дѣвчушками. Въ короткое время онъ успѣлъ сдѣлать много важныхъ и совершенно новыхъ открытій. Онъ зналъ, конечно, что Елена красива, но что она такъ изящна, сильна, трудолюбива и, главное, проста—этого онъ не подозрѣвалъ. Ему казалось, что онъ ее впервые видитъ, и онъ былъ очарованъ. Даже когда она садилась отдохнуть, усталые ея члены не развертывались неуклюже, босая ножка въ кавказскихъ „чувакахъ“ не высывалась изъ-подъ платья больше, чѣмъ слѣдовало... Къ тому же замѣтно было, что она всегда такая... и въ зной, и въ холодъ, и одна, и на людяхъ. Вихлицкій прекрасно помнилъ теорію граціозности Спенсера. Вообще, склонный подозрѣвать барышень, которыя ему нравились, на этотъ разъ онъ не устоялъ и съ покорностью истиннаго естественника преклонился передъ совершившимся фактомъ.

— Да, я несомнѣнно влюбленъ! я вздыхаю, дѣлаю глупости, не могу стать умнѣе... Все въ порядкѣ... Ахъ, еслибъ къ тому же у меня были деньги!..

В. Сѣрошевскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).



СРЕДИ РАБОЧИХЪ.

(«Изъ житейскаго опыта») *).

Сочиненіе, съ которымъ мы намѣрены познакомить здѣсь читателя, не отличается какими-нибудь особенными литературными достоинствами и не подписано какимъ-нибудь громкимъ авторитетнымъ именемъ. И однако, несмотря на всю свою внѣшнюю непрятельность, на всю скромность его вчера еще никому неизвѣстнаго американскаго автора, оно въ самое короткое время успѣло остановить на себѣ всеобщее вниманіе не только у себя на родинѣ, но и въ Европѣ. Даже у насъ, въ Россіи, оно не прошло незамѣченнымъ, и въ нѣкоторыхъ газетахъ ему были посвящены недавно болѣе или менѣе подробныя замѣтки и статьи.

Примыкая по своему общему характеру къ безчисленнымъ произведеніямъ современной литературы, посвященнымъ разнымъ сторонамъ такъ называемаго «соціальнаго вопроса», оно занимаетъ среди нихъ—какъ по своей непосредственной задачѣ, такъ и по способу ея выполненія—совершенно особенное мѣсто. Глубокомысленныя или поверхностныя, научно-безстрастныя или проникнутыя духомъ горячей практической борьбы, всѣ эти тысячи книгъ, брошюръ и журнальныхъ статей носятъ чуть не исключительно теоретическій характеръ. Анализируютъ ли онѣ общій ходъ экономической эволюціи; изучаютъ ли наличныя соціальныя отношенія; обсуждаютъ ли, наконецъ, отдѣльныя, чисто практическія задачи, возникающія изъ противоположности интересовъ труда и капитала,—онѣ всегда почти исходятъ изъ общихъ формулъ, которыя остается лишь согласить съ статистическими указаніями и приложить по опредѣленному логическому шаблону къ трактуемому вопросу. Настоящая жизнь въ ея живыхъ реальныхъ краскахъ, въ ея бытовыхъ формахъ, въ ея морально-психологическихъ проявленіяхъ, не поддающихся ни точному статистическому подсчету, ни формально-логическому анализу, ихъ мало занимаетъ. Изученіе ея какъ бы молчаливо предоставляется или художественной литературѣ, которая прежде всего преслѣдуетъ свои *художественныя* цѣли, или случайному, поверхностному и мало компетентному газетному репортерству.

*) «The Workers, an experiment in reality», by Walter A. Wyckoff. London. Heinemann. 1898—1899.

Тѣмъ большее значеніе имѣють, по нашему мнѣнію, тѣ, къ сожаглѣнію рѣдкія, попытки «соціальныхъ слѣдствій», которыя берутъ иногда на себя въ этой области подготовленные и компетентные люди. Эти попытки живого и свободнаго отъ какихъ бы то ни было предвзятыхъ увлеченій изученія условій существованія и психики соціальныхъ слоевъ, на которые дробится современное общество, кажутся намъ необходимымъ дополненіемъ теоретическаго изученія. Онѣ не только даютъ ему драгоценныя иллюстраціи, освѣщающія иногда вопросъ лучше самыхъ логическихъ выкладокъ, но и вносятъ въ него необходимыя поправки, тѣмъ болѣе законныя и важныя, чѣмъ болѣе безпристрастнымъ и толковымъ сумѣлъ оказаться наблюдатель-слѣдователь. Книга, съ которой мы намѣрены познакомить читателя, является результатомъ одной изъ такихъ именно попытокъ и ужъ по одному этому заслуживаетъ полнаго вниманія, хотя она и относится исключительно къ нѣскольکو своеобразному строю американской жизни. Къ тому же, она полна животрепещущаго интереса, проникнута духомъ истинной гуманности, свободна отъ какой бы то ни было партійной предвзятости и принадлежитъ перу умнаго и образованнаго человѣка.

Авторъ ея, прирожденный американецъ, нѣкій Викофъ. Покончивъ съ университетомъ, онъ не спѣшилъ съ устройствомъ своей карьеры, тѣмъ болѣе, что матеріальная обеспеченность, и даже богатство, были его удѣломъ съ дѣтства. Еще менѣе тянуло его къ праздному, безхитроственному наслажденію благами жизни. Вдумчивый характеръ и чуткая совѣсть не позволяли ему пойти по стопамъ средняго американца его круга, для котораго первое мѣсто въ жизни занимаетъ *business, money taking* и комфортъ личнаго существованія. Приглядываясь къ окружающей жизни, онъ не могъ не видѣть, что «соціальный вопросъ», еще недавно считавшійся исключительнымъ достояніемъ старой Европы, все болѣе давалъ себя чувствовать и въ молодой Америкѣ.

Противоположность интересовъ труда и капитала, рѣзкія проявленія классовой вражды, боевыя рабочія организаціи, громадныя стачки, появленіе и быстрый ростъ «арміи безработныхъ», крайности безумной роскоши и жалкой нищеты,—все это нашло себѣ мѣсто и въ Америкѣ, несмотря на обширность ея территоріи, на ея природныя богатства, на гигантскіе успѣхи ея промышленности и торговли. Тяжелый кошмаръ соціальной неурядицы все болѣе привлекаетъ къ себѣ умы мыслителей и вниманіе честныхъ общественныхъ дѣятелей, выдвигая передъ ними длинный рядъ жгучихъ вопросовъ, настоятельно требующихъ разрѣшенія. Викофъ не могъ, и не хотѣлъ, игнорировать ихъ только потому, что они оставались пока внѣ сферы его личнаго существованія. Онъ горячо интересовался ими, много читалъ, много думалъ, но прямота ума и чуткость совѣсти, въ союзѣ съ наслѣдственной практичностью истаго американца, не позволяли ему придти къ какимъ-нибудь окончательнымъ теоретическимъ заключеніямъ и успокоиться

на нихъ разъ навсегда. Его симпатіи склонялись, конечно, на сторону рабочихъ и вообще «обездоленныхъ міра сего», но въ отсутствіи личнаго опыта и провѣренныхъ на практикѣ теорій, эти симпатіи были, естественно, непрочны и какъ бы полусознательны.

Душевный кризисъ, у громаднаго большинства его сверстниковъ самъ собою проходившій съ наступленіемъ зрѣлости и давшій, въ зависимости отъ ихъ соціального положенія, тотъ или иной опредѣленный результатъ, у Викофа затянулся на долгіе годы, и чѣмъ далѣе, тѣмъ онъ становился мучительнѣе и, повидимому, неразрѣшимѣе. Выйти изъ него было необходимо во чтобы то ни стало, и Викофъ, какъ настоящій представитель упорной и энергичной англо-саксонской расы, не побоялся выйти изъ него тѣмъ путемъ, который казался ему единственно рациональнымъ и правильнымъ. Онъ рѣшилъ забыть на время все, что читалъ, всѣ теоріи, съ которыми успѣлъ познакомиться, и посмотрѣть жизни прямо въ глаза, испытать на собственной шкурѣ условія существованія, въ которыя ставитъ современная соціально-экономическая организація человѣка, единственнымъ ресурсомъ котораго являются его рабочія руки. Онъ задумалъ отказаться на время отъ всѣхъ преимуществъ своего соціального положенія и, покинувъ среду, въ которой жилъ, потонуть, года на два, въ рабочей массѣ, слиться съ нею и жить ея жизнью, т. е. трудомъ рукъ своихъ.

Послѣднимъ толчкомъ, заставившимъ его привести въ исполненіе это рѣшеніе, послужилъ горячій споръ, завязавшійся въ его присутствіи по поводу стачекъ и безработицы. Викофъ принялъ участіе въ этомъ спорѣ и, защищая рабочихъ отъ обвиненій въ варварствѣ и лѣнности, пытался доказать, что при данныхъ общественныхъ условіяхъ стачки являются иногда единственнымъ оружіемъ въ рукахъ рабочихъ противъ злоупотребленій капитала, и что, съ другой стороны, въ настоящемъ обществѣ далеко не всякій, ищущій работы, можетъ найти ее, что, поэтому, армію безработныхъ составляютъ не только лѣнтяи, но и честные неудачники. Эта аргументація не показалась, однако, убѣдительною богатымъ свѣтскимъ людямъ, проводившимъ свое время въ элегантно видѣ на берегу чуднаго голубого моря. Въ ихъ глазахъ она отзывалась теоріею, кабинетнымъ знаніемъ, къ которому всегда прибѣгаютъ люди, черпающіе свои идеи изъ книгъ, а не изъ жизни. Такимъ наивнымъ кабинетнымъ теоретикомъ былъ объявленъ ими и Викофъ.

Это было каплею, переполнившю чашу, и Викофъ рѣшилъ не откладывать далѣе предпріятія, идею котораго онъ давно уже носилъ въ душѣ. На слѣдующій же день, съ разсвѣтомъ, покинулъ онъ виллу своего пріятели. Одѣвшись въ простой костюмъ, взваливъ на плечи мѣшокъ съ нѣсколькими книгами и съ необходимымъ запасомъ бѣлья, безъ копѣйки въ карманѣ, онъ переступилъ ея порогъ и бодро зашагалъ по дорогѣ на западъ, стремясь къ неизвѣстному будущему. Послѣдужемъ же за нимъ, по возможности, шагъ за шагомъ.

Съ перваго же дня новой жизни нашъ герой почувствовалъ, какія непредвидѣнныя раньше затрудненія ожидаютъ его. Не владѣя никакимъ ремесломъ, онъ могъ разсчитывать лишь на трудъ простого черно-рабочаго, да на случайныя мелкія «работишки», въ которыхъ, думалъ онъ, не можетъ быть недостатка. Дѣло оказалось, однако, не такъ просто. Его бѣлыя руки, его костюмъ, вся его внѣшность плохо отвѣчали положенію, въ которое онъ себя поставилъ, и онъ не замедлилъ почувствовать, что значить быть *чужимъ* среди людей, человѣкомъ, до котораго никому нѣтъ дѣла, который всюду встрѣчаетъ къ себѣ недовѣріе и подозрѣніе. Мало помогала ему и книжка иллюстрированнаго журнала, которую онъ захватилъ съ собою, чтобы облегчить себѣ, въ качествѣ агента, собирающаго подписчиковъ, подступъ къ людямъ. Никто не нуждался въ его журналѣ, и ни въ комъ его званіе бродячаго разносчика не вызывало ни симпатіи, ни уваженія.

Съ каждымъ новымъ шагомъ, съ каждой новой встрѣчей тяжелое чувство отчужденности и неувѣренности завладѣвало имъ все съ большею силою. На его привѣтствія многіе не отвѣчали даже кивкомъ головы; въ отвѣтъ на разспросы о дорогѣ его часто посылали «къ дьяволу»; на просьбы о работѣ отвѣчали пренебрежительнымъ, иногда грубымъ отказомъ. Мѣшокъ тяжело давилъ ему спину, солнце жарило немилосердно, острое чувство голода давало себя чувствовать все сильнѣе и сильнѣе, и способъ его удовлетворенія казался уже не только интереснымъ экспериментомъ, но настоятельною необходимостью. И однако, миля проходила за милею, не принося съ собою никакой надежды, не открывая ни малѣйшей перспективы по части утоленія голода или нахожденія ночлега, хотя время было рабочее, и повсюду видѣлись фермы. Проходя мимо кладбища, Викофъ подбѣжалъ къ могильщику, устало опиравшемуся на заступъ возгъ на половину вырытой могилы, и предложилъ ему взаимнѣе обѣда окончить работу, но старикъ не нуждался въ его помощи. Идя далѣе, онъ встрѣтилъ трехъ женщинъ, которыя тщетно усиливались поймать пѣтуха. Онъ предложилъ имъ свои услуги въ обмѣнъ на кусокъ хлѣба, но и здѣсь онъ оказался ненужнымъ. Положеніе становилось серьезнымъ; усталость и голодъ становились чуть не мучительными; чувство отчужденности—подавляющимъ. Наконецъ, ему посчастливилось наткнуться на фермера, который согласился накормить его за часъ работы на лугу. Совсѣмъ подъ вечеръ такая же счастливая случайность обеспечила ему ужинъ и ночлегъ въ сѣнномъ сараѣ.

На слѣдующій день дѣло шло не лучше. Чувство заброшенности и отчужденности было еще болѣе тяжело, и подъ его вліяніемъ судьба фермерскихъ рабочихъ, попадавшихъ ему по дорогѣ, казалась Викофу по истинѣ завидною долею. Честная трудовая жизнь, братское общеніе съ товарищами-рабочими, обезпеченный кровъ и хлѣбъ—какое это блаженство въ сравненіи съ жалкимъ существованіемъ несчастнаго,

всѣмъ подозрительнаго, отовсюду гонимаго бродяги! Увы! это блаженство было, повидимому, недосягаемо. Никому не были нужны услуги нашего героя. Ему нерѣдко предлагали хлѣбъ только изъ жалости, но работы для него не было. Вѣрный своему рѣшенію, онъ отказывался отъ этого дарового хлѣба и не ѣлъ иногда по цѣлымъ суткамъ. Спать ему приходилось въ полѣ, зарывшись въ стогъ сѣна, или въ сараѣ какого-нибудь сердобольнаго фермера. Иногда его соглашались взять на испытаніе, но испытаніе оканчивалось обыкновенно крахомъ, и хозяинъ на завтра же прогонялъ его, какъ негоднаго ни на что бродягу. Къ концу первой недѣли какой-то кабатчикъ согласился послѣ нѣкотораго колебанья взять его къ себѣ на нѣсколько дней въ качествѣ «рабочаго на всѣ руки». Этотъ кабатчикъ, можно сказать, спасъ Викофа отъ окончательной деморализаціи. Наѣвшись, выкупавшись, выпавшись и сходявъ въ церковь, нашъ герой почувствовалъ себя какъ бы возродившимся и еще разъ поклялся довести свое предиріятіе до конца во что бы то ни стало.

Проработавъ свои нѣсколько дней въ гостинницѣ, Викофъ отправился дальше на западъ. Первую настоящую, болѣе или менѣе регулярную работу удалось ему достать въ Вестъ-Пойнтѣ, гдѣ шли работы по расчисткѣ разрушенныхъ зданій старой академіи и по постройкѣ новаго зданія. Работы было много, подрядчикъ спѣшилъ поспѣть къ сроку, разбираться было некогда и Викофъ былъ принятъ въ качествѣ чернорабочаго, по 1 доллару и 70 центовъ за рабочій день въ 9 съ половиною часовъ.

Легко представить, какъ хорошо спалось Викофу въ эту ночь, первую на настоящей рабочей квартирѣ, и какъ бодро вскочилъ онъ на ноги на завтра, въ 6 часовъ утра. Всѣ его соночлежники уже проснулись, наскоро позавтракали и поспѣшили на свои мѣста. Заспанная толпа оборванныхъ людей всевозможныхъ національностей, въ томъ числѣ и нашъ герой, молча и угрюмо ожидала знака надсмотрщика, *босса*, какъ говорятъ американцы. Ровно въ 7 часовъ раздался зычный крикъ: начинай! и картина сразу измѣнилась. Лопаты, заступы, ломы начали дѣйствовать съ лихорадочною быстротою въ рукахъ рабочихъ, сортировавшихъ обломки и нагружавшихъ ими тележки. Боссъ стоялъ на возвышеніи и наблюдалъ за работою. Его короткая мускулистая фигура казалась вросшею въ стѣну. Смѣтливость и сила, которыми дышало его грубое лицо, ясно говорили о томъ процессѣ естественнаго подбора, который выдѣлилъ его изъ массы и поставилъ на занимаемый имъ постъ. Его быстрые глаза были повсюду, и вся его фигура казалась олицетвореніемъ физической энергіи. Ничто не укрывалось отъ его взора. Малѣйшая неловкость или ошибка со стороны рабочаго тотчасъ же замѣчалась и навлекала на несчастнаго градъ ругательства, которыя дѣйствовали на него, какъ ударъ кнута дѣйствуетъ на лошадь.

Работа была тяжелая, даже и для профессиональнаго рабочаго, не

то что для Викофа. Сортируя обломки, приходилось то и дѣло пускать въ ходъ голыя руки, которыя скоро покрывались равами и обливались кровью. Наклонное положеніе тѣла вызывало мучительную боль въ непривычныхъ мускулахъ. Чисто механическая работа не требовала вниманія, но—слишкомъ тяжелая—исключала въ то же время всякую возможность умственнаго усилія. А время тянулось такъ безконечно долго! Его необходимо чѣмъ нибудь заполнить, и Викофъ пытается обмануть себя, давая волю фантазіи и возстановляя въ своей памяти во всѣхъ ему знакомыхъ деталяхъ обычный день своей прежней жизни. Свѣтлыя, веселыя картины смѣняются одна другою; время летитъ съ сказочною быстротою, фантазія начинаетъ истощаться, но, увы! часы сосѣдней колокольни показываютъ всего половину девятаго. Половина девятаго! Съ тѣхъ поръ, какъ началась нагрузка первой телеги, прошла, кажется, цѣлая вѣчность, и эта вѣчность сводится къ 1½ часамъ, съ денежнымъ эквивалентомъ въ 25—30 центовъ!

Такъ или иначе, въ свое время приходитъ и полдень. Раздается крикъ босса: стопъ! лопаты и ломы мгновенно останавливаются и рабочіе принимаются за принесенный съ собою обѣдъ. Принимается за него и Викофъ, съ непонятною для себя самого жадностью пожирающій его до послѣдней крошки. Черезъ 45 минутъ снова раздается крикъ босса, и работа начинается съ новой энергіей. Часъ ползетъ за часомъ съ ужасающею медленностью; гѣтнее солнце жжетъ немилосердно; тонкая пыль наполняетъ воздухъ, проникаетъ въ носъ, уши, ротъ и глаза. Рабочіе безостановочно ворочаютъ лопатами и кирками и вопоголоса посылаютъ ругательства по адресу босса. Викофъ чувствуетъ себя какъ въ полуснѣ, его мускулы страшно болятъ, и всякое движеніе стоитъ ему невѣроятныхъ усилій. Но работа идетъ и идетъ, не останавливаясь ни на минуту, пока не бьетъ 5 часовъ. Снова слышится «стопъ!» надсмотрщика, рабочіе бросаютъ инструменты, разгибаютъ спины, и черезъ 2 минуты ихъ густая толпа движется по дорогѣ въ городъ.

Здѣсь авторъ дѣлаетъ мимоходомъ замѣчаніе, которое не мѣшаетъ, пожалуй, имѣть въ виду при обсужденіи вопроса о пьянствѣ среди рабочихъ. Онъ былъ утомленъ до изнеможенія, чувствовалъ чисто звѣрскій голодъ, но еще болѣе мучила его жажда, которую никакое количество воды не могло утолить. И этотъ человѣкъ, никогда въ своей жизни не пившій и чувствовавшій отвращеніе къ алкоголю, теперь мечталъ о стаканѣ крѣпчайшаго, сдобреннаго купоросомъ, джина! Впрочемъ, умывшись холодною водою и поужинавъ, онъ почувствовалъ значительное облегченіе. Все его тѣло болѣло, но эта боль только дѣлала болѣе блаженнымъ физическое состояніе покоя.

Второй день работы былъ еще болѣе мучителенъ, и Викофу нужно было все его душевное мужество, чтобы дотянуть его до конца. Третій день былъ уже легче, и чѣмъ дальше, тѣмъ естественнѣе и сноснѣе

казалось ему его положеніе чернорабочаго; онъ мирился съ нимъ, тѣмъ болѣе, что рабочіе, съ которыми онъ работалъ и жилъ, сразу приняли его въ свою среду, какъ полноправнаго члена рабочей семьи. Нѣкоторые изъ нихъ принадлежали къ категоріи квалифицированнаго труда и сразу выдѣлялись изъ общей массы высшимъ развитіемъ, рука объ руку съ которымъ шли и болѣе приличные манеры и большая изысканность въ одеждѣ. Другіе—между такими было очень мало прирожденныхъ американцевъ—были простые чернорабочіе. Были среди нихъ люди, которые, очевидно, знали лучшіе дни и рассматривали свое настоящее положеніе, какъ деградацию, но большинство принадлежало къ чернорабочимъ отъ рожденія, которые и не претендовали ни на что лучшее. При всей своей грубой внѣшности, языку и манерамъ, почти всѣ они были честные, прямодушные люди, невольно внушавшіе къ себѣ симпатію и уваженіе. Попадались среди нихъ, къ удивленію автора, и старики, мѣсто которыхъ было скорѣе въ богадѣльнѣ, чѣмъ на такой тяжелой работѣ. Одинъ изъ такихъ, съ которымъ авторъ работалъ въ одной артели, вдругъ исчезъ, очевидно, рассчитанный за полную негодностью. Это исчезновеніе едва ли обратило бы на себя чье либо вниманіе, если бы онъ не появился черезъ нѣсколько дней снова на работахъ, но уже въ качествѣ только зрителя. Это былъ старый ирландецъ, вѣчно страдавшій отъ зубной боли и весь обвязанный тряпками. Онъ подошелъ къ рабочимъ колеблющеюся походкою, которая ясно говорила о приступѣ остраго ревматизма, и, обмѣнявшись съ ними нѣсколькими словами, вдругъ раздрывался, какъ ребенокъ. Рабочіе начали смѣяться и гнать его прочь, и возмущенный Викофъ готовъ былъ счесть ихъ за безсердечныхъ варваровъ. Впечатленіе это, оказалось, однако, ошибочнымъ. Рабочіе прогнали старика, потому что его плачь компрометировалъ ихъ профессиональное достоинство передъ боссомъ, но это не мѣшало имъ сочувствовать его положенію и принять мѣры для оказанія ему сильной помощи.

Вообще, положеніе чернорабочихъ—насколько онъ успѣлъ съ нимъ познакомиться—казалось Викофу во многихъ отношеніяхъ жалкимъ и обиднымъ. Все ихъ богатство—рабочая сила, и обмѣнивать эту силу на средства существованія имъ приходится при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ. Они не имѣютъ сбереженій и не могутъ, подъ страхомъ голодной смерти, выжидать поднятія цѣны на свой товаръ. Подчиняясь дѣйствию закона спроса и предложенія, они, какъ продавцы рабочей силы, оказываются въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ продавцы желѣза и др. товаровъ. Ихъ товаръ—они сами. Но они—живые люди, связанные въ своихъ дѣйствіяхъ разнообразными узами личнаго и общественнаго характера. Они не могутъ ни выжидать, ни искать себѣ наивыгоднѣйшаго рынка, съ тою свободою и легкостью, какая возможна для другихъ товаровъ. Мало того: они *нествѣстные* люди, не знающіе ни цѣны, ни состоянія рынка, ничего, что выходитъ изъ

узкихъ предѣловъ мірка, въ которомъ они вращаются. Ихъ рыночная цѣна не можетъ, къ счастью, значительно понизиться, потому что понижаться ей некуда, но она могла бы, несомнѣнно, подняться. Но для этого необходима съ ихъ стороны цѣлесообразная коллективная дѣятельность; необходима организація. Они же неорганизованы, и каждый изъ нихъ дѣйствуетъ индивидуально, на свой страхъ и рискъ. Отсюда—плохое сравнительно качество работы и необходимость грубаго и безжалостнаго *босса*, какъ защитника хозяйскихъ интересовъ.

Никакая политическая экономія не заставитъ ихъ при настоящихъ условіяхъ отождествить эти интересы съ своими. Хозяинъ, заплатившій за ихъ рабочую силу, естественно стремится использовать ее цѣликомъ; рабочіе столь же естественно стремятся затратить ее въ возможно меньшемъ количествѣ. Никакой элементъ «чести» не скрашиваетъ ихъ труда и не входитъ въ ихъ профессиональное существованіе, которое сводится къ вѣчной борьбѣ между ними и *боссомъ*. Вся ихъ жизнь, поэтому, тяжелая, безцѣльная и безнадежная жизнь рабовъ, но не сознательныхъ людей и гражданъ. А между тѣмъ, думаетъ авторъ, какъ легко было бы ввести въ эту жизнь недостающій ей *человѣчскій* элементъ, особенно въ такой странѣ, какъ Америка, съ ея неисчерпаемыми природными богатствами, съ ея безграничною потенціальною въ дѣлѣ приложенія къ нимъ труда. Организуйте эту безформенную массу, заинтересуйте ее въ трудѣ, придавъ ему характеръ ея собственнаго дѣла, внеся въ него животворный принципъ коопераціи, и вы пробудите въ ней и человѣческое достоинство, и духъ солидарности, и сознание ответственности, безъ которыхъ нѣтъ ни полнаго человѣка-гражданина, ни прочнаго общественнаго прогресса...

Вѣрный своему рѣшенію познакомиться съ жизнью рабочихъ по возможности во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, Викофъ не задержался надолго въ Вестъ-Пойнтѣ, тѣмъ болѣе, что усталое тѣло и израненныя руки требовали хоть небольшого отдыха. Отдавъ почти весь свой заработокъ въ уплату за квартиру и содержаніе (онъ получилъ всего 5 долларовъ и 85 центовъ, вмѣсто 8 долларовъ, на которые рассчитывалъ), онъ остался всего съ 10 центами, съ которыми и тронулся въ дальнѣйшій путь. Объ отдыхѣ, значить, нечего было и думать; надо было сразу приниматься за поиски работы. Къ счастью ему повезло найти работу къ вечеру перваго же дня пути, въ дачномъ отелѣ, гдѣ какъ разъ нуждались въ сторожѣ. Послѣ нѣкотораго колебанія хозяинъ согласился взять его на нѣсколько дней, пока не пріѣдетъ уже нанятый на это мѣсто человѣкъ.

Само по себѣ, однако, это мѣсто было не изъ завидныхъ, какъ ни кстати пришло оно бездомному бродягѣ безъ гроша въ карманѣ. Жалованья полагалось всего 8 долларовъ въ мѣсяцъ; работать приходилось съ 5 ч. утра до 11 ч. ночи, т. е. 18 часовъ, причемъ работа, какъ всѣ домашнія работы, была изъ тѣхъ, которымъ никогда нѣтъ

конца; харчи — отвратительные, состоявшіе изъ остатковъ отъ обѣда жильцовъ отеля; уколы самолюбію постоянны; привычныя для профессиональнаго слуги, они были тѣмъ болѣе обидны для переодѣтаго джентльмена. Наконецъ, самая работа, при всей своей кажущейся легкости, заключала въ себѣ, какъ скоро пришлось въ этомъ убѣдиться Викофу, неприятные сюрпризы. Такъ, въ число обязанностей Викофа входило ежедневное мытье половъ общихъ салоновъ отеля. Чего, казалось бы, проще: три крѣпко щеткой, не жалѣй воды, — вотъ и все искусство! Оказалось, однако, не то. Полы были вымыты, казалось, на славу, но когда они просохли, нашъ бѣдный герой пришелъ въ ужасъ при ихъ видѣ. Они представляли собою цѣлую мозаику капризныхъ узоровъ, грязныхъ полосъ и пятенъ, оставленныхъ тряпкою. Всю работу пришлось передѣлать, едва ли съ большимъ успѣхомъ, и прошло нѣсколько дней, прежде чѣмъ Викофъ проникъ въ тайну этого нехитраго искусства. Еще болѣе хлопотъ доставляло ему мытье оконныхъ стеколъ, но у насъ нѣтъ времени подробно останавливаться на этомъ трагикомическомъ эпизодѣ въ его рабочей жизни.

Вымывъ полы и окна, Викофъ выметалъ веранду и приступалъ къ очисткѣ садовыхъ дорожекъ, шелъ помогать на кухню, состоялъ на побѣгушкахъ у постояльцевъ, чистилъ лампы, наполнялъ ихъ керосиномъ и т. д. и т. д., до 11 часовъ ночи, когда онъ могъ, наконецъ, съ спокойною совѣстью идти на покой въ свою каморку. Въ общемъ, эта 18-ти-часовая работа была не легка, но Викофъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ, особенно въ сравненіи съ пятью днями, проведенными имъ въ Вестъ-Пойнтѣ въ качествѣ чернорабочаго. Какъ ни какъ, здѣсь онъ былъ гораздо болѣе самостоятельнымъ, онъ могъ проявлять въ работѣ свою инициативу, надъ нимъ не тяготѣлъ обидный подозрительный взглядъ босса, онъ чувствовалъ себя менѣе рабочею скотиною и болѣе человѣкомъ. Къ тому же, новое мѣсто открывало для него возможность близко познакомиться съ условіями жизни такой обширной категоріи труда, какъ домашняя прислуга. Едва ли не самую неприятною стороною этой жизни является, по мнѣнію автора, отсутствіе *своего* времени, которое есть у всякаго чернорабочаго. Тяжела также та печать отверженія, которая лежитъ почему-то на этомъ родѣ труда, и благодаря которой горничная, лично служащая «господамъ», въ социальномъ отношеніи кажется чѣмъ-то низшимъ, чѣмъ, напр., фабричная работница, которая ввѣ фабрики сама себѣ госпожа.

Вообще, чѣмъ ближе знакомился Викофъ съ жизнью, тѣмъ яснѣе видѣлъ онъ, что кромѣ того основнаго социальнаго барьера, который разделяетъ современное общество на рабочихъ и нерабочихъ, въ самой этой — на первый взглядъ однородной — рабочей массѣ существуетъ цѣлый рядъ своихъ барьеровъ, столь же исключительныхъ и условныхъ. Таковъ былъ барьеръ, отдѣлявшій «искусныхъ рабочихъ» отъ «чернорабочихъ» и этихъ послѣднихъ отъ «безработныхъ» въ Вестъ-Пойнтѣ. Таковъ

былъ барьеръ, отдѣлявшій высшую категорію отельной прислуги—поваровъ, горничныхъ и пр., отъ кухонныхъ мужиковъ, сторожей и иной мелкоты, къ которой принадлежалъ въ самомъ низу лѣстницы Викофъ... Тѣмъ не менѣе, средний уровень моральнаго и интеллектуальнаго развитія отельной прислуги оказался, къ удивленію Викофа, значительно выше, чѣмъ среди чернорабочихъ. Причину этого авторъ видитъ въ томъ, что домашняя работа даетъ большій просторъ инициативѣ и носить менѣе скотскій, рабскій характеръ, чѣмъ работа подъ надзоромъ ругателя-босса. Не остается, можетъ быть, безъ вліянія и высокой, сравнительно, уровень заработной платы (главный поваръ отеля получалъ 60 долларовъ въ мѣсяцъ, Викофъ—всего 8 долларовъ; среднее же жалованье было 20—25 долларовъ въ мѣсяцъ, на хозяйскихъ, конечно, харчахъ).

Викофъ прослужилъ въ отелѣ около трехъ недѣль и, когда онъ отправился въ дальнѣйшій путь, оказался обладателемъ цѣлаго капитала въ 4 доллара. Спокойный и увѣренный въ себя, онъ бодро шелъ впередъ, всѣмъ существомъ своимъ наслаждаясь и вновь обрѣтенною свободою, и окружающею природою, и крѣпящимъ воздухомъ чудныхъ дней ранней осени. Въ настоящемъ онъ былъ обезпеченъ своими 4 долларами: будущаго онъ не боялся, увѣренный въ томъ, что въ случаѣ нужды сумѣетъ выполнить всякую работу. Какъ мальчишъ, только-что выучившійся плавать, онъ чувствовалъ себя способнымъ на всякіе подвиги въ своей новой стихіи. Какъ, однако, ни великъ казался ему его денежный запасъ, черезъ нѣсколько дней онъ истощился. Дойдя до Миддлтъовна, Викофъ увидѣлъ, что пришло время приниматься серьезно за поиски работы. Первые попытки въ этомъ направленіи были неудачны. Одинъ за другимъ нѣсколько подрядчиковъ отказали ему. Отказы не всегда были грубы и обидны. Иногда въ нихъ звучало несомнѣнное сочувствіе къ его положенію. Но все-таки это были отказы. Викофъ, однако, не унывалъ и продолжалъ слоняться по улицамъ города, останавливаясь у всякой новой постройки. Такъ добрелъ онъ до края города, гдѣ происходили работы по постройкѣ громадной больницы для умалишенныхъ. Здѣсь, наконецъ, ожидала его удача. Благодаря совѣтамъ и указаніямъ стараго ирландца-садовника, добродушно взявшаго его подъ свое покровительство, онъ къ вечеру былъ принятъ на работы и назначенъ въ артель изъ 20 человекъ, рывшую сточную канаву, съ вознагражденіемъ по 1½ дол. въ день.

Извѣстно, что работа землекопа—одна изъ самыхъ тяжелыхъ для непривычнаго человека. Викофъ скоро убѣдился въ этомъ. Не прошло и часа съ начала работъ, какъ отъ его самоувѣренности не осталось и слѣда. Онъ снова чувствовалъ себя жалкимъ интеллигентомъ, взявшимся за чужое, непосильное ему дѣло. Каждый ударъ тяжелой кирки, падавшій на неподатливую каменистую почву, вызывалъ во всемъ его тѣлѣ какъ бы электрическое сотрясеніе и стоилъ ему все большихъ усилій. Онъ не отставалъ отъ товарищей лишь благодаря крайнему

напряженію воли. И чѣмъ дальше шло время, чѣмъ выше поднималось солнце, обдавая горячими лучами согнутыя головы и спины, тѣмъ тяжелѣе становилась кирка, тѣмъ невозможноѣе казалось выдержать испытаніе до конца. Въ девять часовъ Викофъ чувствовалъ себя окончательно деморализованнымъ, и только жгучій стыдъ удержалъ его отъ позорнаго бѣгства. На его счастье, скоро ему дали другую работу—засыпать уже оконченную часть канавы. Орудовать съ лопатою надъ липкою тяжелою глиною было тоже не легко, но все же легче, чѣмъ съ киркою, и Викофъ снова пріободрился. На третій день дѣло совсѣмъ пошло на ладъ, потому что Викофа взяли съ земляныхъ работъ и назначили въ помощники больничному кучеру, на обязанности котораго лежало развозить по разнымъ отдѣленіямъ больницы всевозможныя припасы, убирать накопившійся за день соръ и увозить въ прачешную грязное бѣлье. Въ этихъ развѣздахъ проходилъ цѣлый день, и Викофъ могъ считать себя истиннымъ счастливецомъ, тѣмъ болѣе, что кучеръ, подъ начальствомъ котораго онъ состоялъ, оказался добродушнымъ и хорошимъ человѣкомъ.

Тѣмъ естественнѣе было искреннее удивленіе босса, когда послѣ нѣсколькихъ дней работы, Викофъ потребовалъ разчета. «Куда вамъ идти,—говорилъ онъ ему отеческимъ тономъ,—держитесь лучше своей работы; не важная она, правда, но я постараюсь найти вамъ другую, получше». Но Викофъ остался непреклоненъ, и добродушному, въ противность общему правилу, боссу не оставалось ничего другого, какъ сердечно пожать ему руку, пожелать успѣха и прибавить въ заключеніе, что если судьба заброситъ его когда-нибудь снова въ эти мѣста, онъ всегда найдетъ здѣсь работу.

При разчетѣ случился маленькій инцидентъ, который привелъ въ немалое смущеніе нашего автора. Конторщикъ, выдавая ему деньги, спросилъ, умѣетъ ли онъ подписать свое имя? Этотъ вопросъ, вполне естественный для конторщика, имѣвшего дѣло съ сотнями неграмотныхъ чернорабочихъ самыхъ разнообразныхъ національностей, чрезвычайно смутилъ и даже обидѣлъ Викофа. «За кого только ни принимали меня до сихъ поръ,—говоритъ онъ по этому поводу,—и за пьяницу, и за шпиона, и за бродягу, которымъ пугаютъ дѣтей, но никто ни разу не принялъ меня за джентльмена. И, сказать правду, такой успѣхъ моего переодѣванія иногда казался мнѣ очень огорчительнымъ и обиднымъ»...

Въ карманѣ Викофа было цѣлыхъ 6 долларовъ! Этой суммы было вполне достаточно, по меньшей мѣрѣ, на 3—4 дня комфортабельнаго путешествія. Можно было, значить, дойти до Вильксбарра и, возобновивъ тамъ случайною работою истощенный запасъ, двинуться дальше. Бодро и увѣренно тронулся Викофъ въ путь, который, благодаря прекрасной погодѣ, былъ скорѣе пріятнымъ отдыхомъ, чѣмъ печальною необходимостью. Хорошо, конечно, изголодавшись и натрудивши ноги,

найти работу, обеспечивающую хлѣбъ и кровь, но не лишена своей прелести и жизнь «трампа» (бродяги), особенно когда въ карманѣ этого трампа звенитъ презрѣнный металлъ. Было начало осени; солнце грѣло, но не жгло; лѣса и луга начали уже одѣваться радужными осенними тонами; воздухъ былъ прозраченъ и ясенъ; встрѣчавшіеся по пути люди были вѣжливы и внимательны; по сторонамъ дороги всюду видѣлись прекрасно обработанныя поля, комфортабельныя фермерскія усадьбы, обширныя стада скота. Все кругомъ говорило объ изобиліи и довольствѣ, и тѣмъ труднѣе было понять, какія причины гонять изъ этихъ чудныхъ мѣстъ сельскую молодежь, которая наполняетъ промышленные городскіе центры толпою безработныхъ и безпріютныхъ бродягъ.

Въ пятницу, вечеромъ, Викофъ добрался до Вильксбарра. Имѣя передъ собою цѣлый субботній день для присканія работы, онъ не побоялся хорошо поужинать и провести ночь въ хорошей постели, хотя такая роскошь и отразилась крайне разрушительно на его финансахъ. Съ ранняго утра слѣдующаго дня начались поиски. Несмотря, однако, на оживленную виѣшность города, эти поиски долго оставались безъ результата. Всюду былъ полный комплектъ рабочихъ, и въ новыхъ никто не нуждался. Положеніе становилось серьезнымъ, тѣмъ болѣе, что завтра было воскресенье. Надо было непременно найти работу сегодня же до вечера. А тутъ, какъ на зло, въ глаза Викофу бросилась заманчивая вывѣска публичной бібліотеки. Онъ такъ давно не видалъ печатной строчки, потерялъ всякое представленіе о томъ, что дѣлается на свѣтѣ! И вотъ передъ нимъ живой источникъ. готовый утолить его жажду! Можно ли было пройти мимо и не войти въ гостепрѣмно открытыя двери хоть на часъ, на полчаса, наконецъ? Очевидно, это было невозможно, и Викофъ зашелъ въ бібліотеку. Внимательные служащіе, тишина, удобные стулья, безконечный рядъ полокъ, уставленныхъ книгами,—все здѣсь было къ его услугамъ. Очарованіе охватило его сразу, и онъ не могъ уже стряхнуть его съ себя, забывъ обо всемъ и весь отдавшись своимъ любимымъ авторамъ. Часы незамѣтно летѣли, и только звонокъ, возвѣстившій о закрытіи бібліотеки, напомнилъ ему ужасную истину, что уже 9 часовъ вечера, что день пропалъ и о присканіи работы нечего думать до самаго понедѣльника. Наступила реакція; онъ чувствовалъ себя настоящимъ преступникомъ, истратившимъ драгоценное время на такую непопозволительную для пролетарія роскошь, какъ чтеніе.

Впервые ощутилъ онъ теперь во всей его реальности чувство естественной симпатіи къ своимъ неизвѣстнымъ товарищамъ по соціальному положенію и проникъ сердечнымъ инстинктомъ въ одинъ изъ уголковъ ихъ моральнаго существованія. «Впервые, пишетъ онъ, я встрѣтился съ неудачею. Неудача не была пока особенно серьезна, но все же мои поиски работы оказались безплодными въ теченіе цѣлой половины дня. И вотъ, вмѣсто того, чтобы тѣмъ настойчивѣе продолжать ихъ и этимъ

исполнить свой очевидный долг до конца, я малодушно поддаюсь искушению забыться. Для меня таким искушением оказалась библиотека, и я его не выдержалъ. Другой рабочий въ моемъ положеніи встрѣчаетъ такія же искушенія на каждомъ уличномъ перекресткѣ. Онъ такъ же заманчивы для него, обѣщая ему временное забвеніе и общество людей, которые помогутъ ему утѣшиться въ своей неудачѣ. Онъ поддается, какъ поддался я, и въ чемъ, въ сущности, заключается разница между нами, между нашею моральною силою?..»

Потерпѣвъ неудачу въ Вильксбаррѣ, Викофъ принужденъ былъ продолжать путь дальше, въ надеждѣ найти работу на какой-нибудь фермѣ. На этотъ разъ надежда не обманула его, и на второй же день—уже безъ гроша въ карманѣ—онъ нанялся въ рабочіе къ одному богатому фермеру, по имени Хиллю, по 75 центовъ въ день, конечно, на хозяйскомъ содержаніи. У Хилля Викофъ проработалъ около недѣли, и эта недѣля тяжелой, но здоровой сельской работы, прекраснаго питанія и сердечныхъ отношеній съ семьей хозяина была для него лучшимъ отдыхомъ. Въ 6 часовъ утра онъ вставалъ, пробуждаемый крикомъ самого хозяина «Эй Джонъ!», умывался, закусывалъ и принимался за работу. То это было устройство пруда, то поправка изгороди, то сборъ яблокъ, въ которомъ принимала участіе вся семья. Когда наступала часъ обѣда, всѣ умывались и усаживались за столъ, уставленный вкусно приготовленными и здоровыми блюдами. Послѣ небольшого отдыха работа начиналась снова и продолжалась до 6 часовъ вечера, когда Викофъ, согласно договору, освобождался отъ какихъ бы то ни было занятій по хозяйству до слѣдующаго утра. Затѣмъ наступалъ часъ ужина, столъ же сытнаго и вкуснаго, какъ обѣдъ, нѣсколько часовъ спокойнаго отдыха, проводимаго въ сердечной бесѣдѣ съ хозяиномъ и, наконецъ, крѣпкій, чисто дѣтскій, сонъ на свѣжемъ душистомъ снѣгѣ. Все, что дѣлаетъ работу неприятною—подозрительный глазъ босса, монотонность движеній, отсутствіе видимой цѣли и осязательнаго результата, казарменная дисциплина—здѣсь отсутствовало.

Все, что дѣлаетъ ее удовольствіемъ—свѣжій воздухъ и здоровая обстановка, очевидная цѣлесообразность всякаго дѣйствія, просторъ для проявленія собственной инициативы, довѣрчивое и товарищеское отношеніе со стороны хозяина, которому приходилось скорѣе сдерживать, чѣмъ понукать, своего не въ мѣру пылкаго работника—было на лицо.

Не удивительно, поэтому, что все время своего пребыванія на фермѣ Викофъ чувствовалъ себя прекрасно, какъ физически, такъ и морально, не говоря уже о томъ, что это пребываніе позволило ему лично и близко познакомиться съ условіями существованія американскаго фермера и съ особенностями его положенія въ общемъ строѣ американской промышленной жизни. Не мало помогъ ему въ этомъ самъ Хилль—человѣкъ хотя и не очень образованный, но съ богатымъ

опытомъ и съ здравымъ природнымъ умомъ. Потомокъ традиціонно фермерской семьи, онъ былъ прекрасный хозяинъ, знавшій до тонкости свое ремесло. Его дѣла шли хорошо, ферма процвѣтала, дѣти получили прекрасное образованіе, но личный успѣхъ не ослѣпилъ его. Ко многому въ окружающемъ его стрѣѣ жизни онъ относился отрицательно, и жгучіе социальныя вопросы, волнующіе умы современнаго человѣчества не были чужды и ему. Его взгляды, можетъ быть, и не отличались особенною глупиною, но для Викофа они были чрезвычайно интересны, какъ плодъ большого житейскаго опыта, долгой и честной умственной работы. Приведемъ здѣсь въ краткомъ резюме одну изъ бесѣдъ, которую велъ онъ съ Викофомъ наканунѣ разставанія. Она, въ сущности, стояла бы того, чтобы привести ее цѣликомъ, но для этого у насъ нѣтъ мѣста.

Они сидѣли послѣ ужина на завалянкѣ, и Хиллъ дѣлалъ послѣднее усиліе удержать Викофа, говоря ему о трудности найти хорошаго рабочаго и обѣщая ему постоянное занятіе на самыхъ лучшихъ условіяхъ.

— Повѣрьте,—отвѣчалъ ему Викофъ,—мнѣ очень не хотѣлось бы покидать васъ, но, сказать правду, я не вполне понимаю, какъ можетъ смущать васъ вопросъ о присканіи мнѣ подходящаго замѣстителя, когда повсюду слышишь и читаешь о людяхъ, тщетно ищущихъ работы, о тысячныхъ толпахъ безработныхъ, переполняющихъ наши города.

— Да,—отвѣчалъ Хиллъ,—это можетъ казаться непонятнымъ, но это такъ. У насъ на фермахъ масса работы, и въ то же время мы далеко не всегда можемъ найти для нея подходящихъ рабочихъ. Наши лучшія силы, наша лучшая молодежь рвется въ городъ и осѣдаетъ тамъ на всегда. Откуда это странное явленіе? Трудно сказать, но, мнѣ кажется, объясненія ему надо искать въ нарушеніи нормальнаго равновѣсія между разными сторонами экономической дѣятельности, въ перемѣщеніи центра тяжести въ городъ. Въ то время, какъ наше фермерство остается въ своихъ главныхъ чертахъ тѣмъ, чѣмъ оно было при отцахъ и дѣдахъ, въ области городской промышленности и торговли за послѣднія десятилѣтія происходили постоянныя усовершенствованія, страшно поднявшія въ ней производительность труда, доходность предприятий и отчасти заработную плату. На ней сосредоточивались всѣ усилія талантливыхъ изобрѣтателей; въ ней искали приложенія всѣ лучшія организаторскія умы, въ нее же ушли и наши лучшія рабочія силы. Такъ шло дѣло до сихъ поръ, но мнѣ кажется, что мы стоимъ теперь наканунѣ обратнаго движенія. Въ то время, какъ у насъ здѣсь образовалась пустота, тамъ все сильнѣе начинаетъ чувствоваться переполненіе. Обостряется конкуренція, понижается доходность предприятий, понижается уровень заработной платы, возникаетъ армія безработныхъ. Незавѣтные капиталы, свободные таланты и прирожденные организаторы должны искать новаго приложенія своимъ силамъ, и гдѣ же естественно все найти имъ его, какъ не въ земледѣліи, потенциальности

котораго далеко не исчерпаны, которое представляет собою свѣжее, почти не тронутое еще, поле дѣятельности. За ними пойдеть, конечно, и трудъ. Начнется—да отчасти, пожалуй, уже и начинается—перераспредѣленіе производительныхъ силъ, параллельно съ которымъ должно будетъ идти и измѣненіе условій деревенской жизни въ смыслѣ ея украшенія, введенія въ нее элементовъ комфорта и веселья, которыми притягиваютъ теперь къ себѣ города. Возникнетъ и новое направленіе въ системѣ національнаго образованія, которому необходимо будетъ придать практическую форму профессиональнаго техническаго—преимущественно земледѣльческаго—обученія. Эта пережѣна представляется мнѣ уже почти назрѣвшею, и я считаю ее во всѣхъ отношеніяхъ благотвѣтельною не только для насъ, но и для общества въ его цѣломъ. Соціальныя вопросы! Мы всѣ знаемъ, какое большое мѣсто занимаетъ въ современномъ обществѣ филантропія; какія громадныя суммы денегъ и времени тратятъ богатые для облегченія участи обездоленныхъ. Но развѣ облегчаетъ все это разрѣшеніе соціальнаго вопроса? Увы! я не замѣчаю, чтобы бѣдные чувствовали себя признательными богатымъ, чтобы бездна, ихъ раздѣляющая, сколько-нибудь суживалась, чтобы чувства классовой вражды становились менѣе опасными для соціальнаго порядка, въ которомъ мы живемъ. Если бы богатые жили менѣе роскошно, на свѣтѣ было бы менѣе зависти и противообщественныхъ стремленій. Если бы сохраненныя такимъ образомъ средства шли на рациональную организацію національнаго образованія и на устройство рабочихъ, выброшенныхъ изъ разныхъ отраслей непроизводительнаго труда, въ такой истинно-производительной и благотвѣтельной области, какъ земледѣліе, вокругъ насъ совершалось бы меньше несправедливостей, было бы меньше нищеты и вражды...

Намъ хотѣлось бы остановиться здѣсь и на другихъ подробностяхъ, относящихся къ пребыванію Викофа у Хилла и живо рисующихъ бытовые черты американской фермерской жизни, но мы должны спѣшить за нашимъ героемъ. 4-хъ долларовъ, полученныхъ имъ отъ Хилла, было совершенно достаточно, чтобы добраться до Вилльямспорта, за которымъ начиналась лѣсистая мѣстность, усѣянная многочисленными станами дровосѣковъ, всегда, какъ ему говорили, нуждавшимся въ рабочихъ. Судя по рассказамъ, эти затерявшіяся въ горныхъ лѣсахъ поселенія были чистымъ анахронизмомъ въ современномъ строѣ американской промышленной жизни и напоминали какъ характеромъ своихъ обитателей, такъ и всѣмъ складомъ жизни давно прошедшія времена первыхъ пионеровъ и калифорнійскіе рассказы Бретъ-Гарта. Естественно, что Викофъ рѣшилъ включить ихъ въ свой маршрутъ. Черезъ нѣсколько дней пути онъ оставилъ Вилльямспортъ за собою и очутился въ горной лѣистой мѣстности, которая его такъ интересовала. Не особенно гостеприимно встрѣтила она его на первыхъ порахъ. Деньги у него успѣли выйти, и послѣдній день пути до ближайшаго стана ему при-

шлось дѣлать на голодный желудокъ. Идти по горнымъ тропинкамъ было тоже не легко, но это еще было полъ-бѣды. Главная бѣда была та, что, по мѣрѣ приближенія къ стану, онъ чувствовалъ, какъ постепенно покидала его самоувѣренность и на ея мѣсто водворялось сомнѣніе и даже страхъ передъ ожидавшимъ его приемомъ. Одного вышшняго вида встрѣчавшихся ему по дорогѣ дровосѣковъ достаточно было для такого эффекта. Они принадлежали, повидимому, къ совсѣмъ особой, невиданной еще имъ, породѣ людей. Все это былъ народъ необыкновенно здоровый—настоящіе лѣсные великаны, исполненный сознанія своей силы, флегматично-спокойный и чуть не дикій на видъ, но дикій на какой-то свой особенный, чрезвычайно внушительный ладъ. Несчастный Викофъ чувствовалъ себя передъ этими людьми какимъ-то слабымъ, беззащитнымъ и ни на что не годнымъ ребенкомъ, и разсѣянно-недоумѣвающий взглядъ, которымъ они отвѣчали на его привѣтствія, какъ бы говоря: «это еще что за птица?», вызывалъ въ его душѣ невольную тревогу.

Часовъ въ пять вечера Викофъ добрался, наконецъ, до «Волчьяго Ручья», какъ назывался первый станъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ, блиставшихъ свѣжестью и чистотою, бревенчатыхъ избъ, съ кузницею по срединѣ. У дверей кузницы стояла группа дровосѣковъ, какъ на подборъ великановъ, смотрѣвшихъ настоящими царями лѣса. Всѣ они уставились на подходившаго путника тѣмъ же пренебрежительно-недоумѣвающимъ взоромъ, и Викофу надо было собрать все свое мужество, чтобы обратиться къ нимъ.

— Это ли Волчій Ручей?—спросилъ онъ юнаго Ахилла, лицо котораго показалось ему болѣе добродушнымъ.

— Да!—былъ короткій отвѣтъ.

— Могу ли я видѣть хозяина?

— Онъ въ городѣ.

— Въ такомъ случаѣ босса?

— Вотъ онъ!—сказалъ Ахиллъ съ легкимъ кивкомъ въ сторону подходившаго къ кузницѣ челоуѣка съ угрюмымъ, хотя и не злымъ лицомъ,—съ лицомъ челоуѣка, который относится къ жизни серьезно, и шутокъ не понимаетъ и не любитъ.

— Извините, сэръ, мнѣ сказали, что вы здѣсь боссъ...

Тотъ остановился и, не говоря ни слова, посмотрѣлъ на него съ высоты своего роста.

— Я иду работы,—продолжалъ съ усиленіемъ Викофъ,—и слышалъ, что у васъ здѣсь нуждаются въ рабочихъ.

— Работали ли вы когда-нибудь по лѣсной части?

— Нѣтъ.

— Такъ какого же дьявола вамъ тутъ надо! — рѣзко проговорилъ боссъ, отворачиваясь и входя въ кузницу.

По лицамъ дровосѣковъ, молчаливо присутствовавшихъ при корот-

комъ діалогѣ промелькнула легкая улыбка, а бѣдный Викофъ долженъ былъ продолжать свой путь до слѣдующаго стана. Но и тамъ онъ встрѣтилъ отказъ, хотя и въ болѣе мягкой формѣ. «Едва ли вы найдете здѣсь что-нибудь, — сказалъ ему боссъ, — вотъ развѣ у Фицъ-Адама». Голодный, усталый, безъ всякой надежды въ душѣ, Викофъ отправился на розыскъ Фицъ-Адама. Солнце уже спряталось за горами, когда онъ добрался до стана. Все было пусто, нигдѣ не было видно живой души. Выбравъ наугадъ одну изъ избъ, Викофъ постучался. Отвѣта не было. Обойдя избу кругомъ, онъ нашелъ другую дверь и снова постучался. Дверь открылась и на порогѣ появилась молодая женщина.

— Здѣсь ли живетъ Фицъ-Адамъ?

— Здѣсь, — и она позвала мужа.

Послышались тяжелые шаги, и изъ глубины комнаты показалась массивная фигура, залопнившая собою весь просвѣтъ двери. Это и былъ Фицъ-Адамъ, здоровый, молодой еще, человѣкъ, съ грубыми, но не лишенными своеобразной красоты, чертами лица, съ твердо очерченными ртомъ и подбородкомъ, съ суровымъ взглядомъ, говорившимъ о силѣ и твердости характера.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ онъ, подозрительно оглядывая неприглядную фигуру пришельца.

— Въ Лонговомъ станѣ мнѣ сказали, что вы нуждаетесь въ рабочихъ...

— Тамъ вы не пригодились, такъ васъ послали ко мнѣ! Ловко!.. Работали ли вы когда-нибудь по нашей части?

— Нѣтъ, но я работалъ разную работу, — поспѣшилъ прибавить Викофъ, чувствуя, что его дѣло виситъ на волоскѣ. — Испробуйте меня... Не пригожусь, рассчитаете...

— Работы-то у меня много, едва ли только, судя по вашему виду, подойдетъ она вамъ. Впрочемъ, оставайтесь, тамъ увидимъ. А пока нарубите дровъ и затопите печку.

Итакъ, вопросъ былъ пока рѣшенъ. Викофа навормили, отвели ему чистую постель въ общей казармѣ; оставалось только утвердиться на новомъ мѣстѣ, показать, что и онъ можетъ пригодиться даже и среди этихъ полудикахъ великановъ. Впереди былъ цѣлый день — воскресенье — для отдыха и первоначальнаго знакомства съ будущими товарищами по работѣ. Въ общемъ, они производили рѣшительно хорошее впечатлѣніе, не смотря на свою вѣшнюю грубость. Они не лишены были даже извѣстной естественной деликатности въ своихъ отношеніяхъ къ низшему, очевидно, новичку. Правда, они были страшно невоздержны на языкъ; самыя ужасныя проклятія и ругательства обильно уснащали ихъ обычный разговоръ; они имѣли самое слабое представленіе о религіи и никогда, повидимому, не посѣщали церкви, но жить съ ними совмѣстною товарищескою жизнью было, очевидно, возможно. Един-

ственное, что еще смущало Викофа, была мысль о предстоявшемъ ему трудовомъ испытаніи, отъ исхода котораго зависѣло все.

Въ четыре часа утра раздался рѣзкій звонокъ будильника, и дровосѣки начали гнѣвно подниматься съ постелей. Кухарка была уже на ногахъ, приготовляя завтракъ, а Фицъ-Адамъ ходилъ по казармѣ, стягивая съ кровати заспавшихся рабочихъ. «Да вставайте же, чтобы васъ чертъ побралъ!» кричалъ онъ, но въ этихъ грубыхъ окрикахъ не чувствовалось гнѣва и никто на нихъ не обижался. Скоро всѣ были на ногахъ, вѣско́ро позавтракали и съ фонарями въ рукахъ отправились въ конюшню приготовлять теле́ги для свозки изъ лѣсу заготовленныхъ тамъ дровъ и коры. Когда все было готово, уже къ разсвѣту, теле́ги отправились въ лѣсъ и началась нагрузка. Викофъ и другой рабочій, по имени Толеръ, были назначены подручными при теле́гѣ, управляемой долговязымъ американцемъ, котораго въ станіи звали «Чернымъ Бобомъ». Нагрузка происходила такъ: подручные, спиною къ теле́гѣ и лицомъ къ сложенной заранѣе кучѣ, подхватывали тяжелые куски коры и передавали ихъ черезъ голову Черному Бобу, который, стоя въ теле́гѣ, укладывалъ ихъ тамъ правильными рядами. Вся штука была въ быстротѣ работы, и Викофу оставалось только подражать приемамъ Толера и, по возможности, не отставать отъ него. Дѣло, конечно, не ладилось, а тутъ, какъ на зло, къ мѣсту работы подѣхалъ самъ Фицъ-Адамъ, тоже съ теле́гомъ. Взглянувъ на Викофа, онъ позвалъ его съ собою. «Вотъ оно, начинается!» подумалъ съ невольною тревогою нашъ герой, затормозивъ теле́гу и ставъ въ позицію, показанную ему только что Толеромъ.

Началась нагрузка. Викофъ пустилъ въ ходъ всю свою ловкость и силу, но только изъ этого, увы! выходило не много. Фицъ-Адамъ небрежно подхватывалъ передаваемые ему куски коры и каждымъ своимъ движеніемъ ясно показывалъ, что ему приходится постоянно ждать своего подручнаго, что дѣлать ему, въ сущности, нечего, что это не работа, а какая-то дѣтская игра. Лицо его темнѣло, выраженіе снисходительнаго пренебреженія смѣнялось выраженіемъ едва сдерживаемаго негодованія и, наконецъ, гроза разразилась. «Скорѣе, скорѣе, чортова кукла!» закричалъ онъ въ бѣшенствѣ, и изъ его устъ полаялся потокъ такой ругани, какой еще не приходилось никогда въ жизни слышать бѣдному Викофу. Его не разъ бранилъ боссъ въ Вестъ-Пойнтѣ, и онъ спокойно выносилъ эту брань, потому что она входила такъ сказать въ программу его предпріятія, но ругательства Фицъ-Адама переходили всякую мѣру, и ему понадобилось все усиліе воли, чтобы сдерживать свое возмущеніе. Онъ не отвѣтилъ ни слова, ускорилъ, насколько могъ, темпъ своихъ движеній и продолжалъ работать, какъ бы совершенно не замѣчая сыпавшихся на него проклятій. Бѣшенство Фицъ-Адама дошло до послѣдняго предѣла: еще немного, и онъ, казалось, пустить въ дѣло свои кулаки, но кладнокровіе Викофа видимо ему импониро-

вало, и было нѣчто комическое въ этомъ безсиліи полудикаго гиганта передъ спокойнымъ достоинствомъ его тщедушнаго противника. Наконецъ, телѣга была нагружена, и Фицъ-Адамъ уѣхалъ, поручивъ Викофу и Толеру заняться прочисткою дороги къ другимъ, сложеннымъ въ чащѣ лѣса, кучамъ коры и дровъ. Толеръ былъ старый опытный рабочій, когда-то имѣвшій свой собственный станъ, и столь же ясно, какъ Фицъ-Адамъ, замѣчавшій всю степень непригодности новичка въ ихъ работѣ. Но эта непригодность не только не раздражала его, но, скорѣе, вызывала къ себѣ теплое сочувствіе. Онъ никогда не ругался, не возвышалъ голоса, терпѣливо училъ его приѣмамъ работы, и каждый успѣхъ ученика радовалъ его, какъ свой собственный. Неудивительно, что такое истинно «джентльменское» отношеніе дѣйствовало умиротворяющимъ образомъ на возбужденную душу Викофа и возобновляло запасъ его терпѣнья.

Такъ прошло дня два, въ теченіе которыхъ Викофу приходилось то жестоко страдать душевно и тѣлесно, особенно душевно, при нагрузкѣ телѣги Фицъ-Адама, который разъярялся все болѣе и болѣе, то успокаиваться, работая съ старымъ Толеромъ. На третій день Фицъ-Адамъ началъ свою обычную атаку на несчастнаго Викофа еще съ ранняго утра. Замѣтивъ съ его стороны какую-то неисправность, онъ набросился на него передъ конюшнею, въ присутствіи всѣхъ дровосѣковъ, которые молча, съ видомъ знатоковъ, прислушивались къ артистической ругани своего патрона. Кромѣ этого, чисто профессиональнаго, такъ сказать, интереса, на ихъ лицахъ не замѣчалось ничего. Однако, когда истощившій весь запасъ ругательствъ Фицъ-Адамъ съ отчаяніемъ крикнулъ: «Что же мнѣ сдѣлать съ этимъ?.. Убить его тутъ на мѣстѣ, или оставить жить еще одинъ день?..» Черный Бобъ отвѣтилъ серьезнымъ тономъ: «Пусть живетъ, собака!»—«Ну такъ возьми его съ собою», сказалъ Фицъ-Адамъ и Викофъ отправился на работу съ Чернымъ Бобомъ. Они шли молча. Черный Бобъ, повидному, не обращалъ никакого вниманія на своего спутника. Каково же было удивленіе Викофа, когда онъ вдругъ остановился и, конфузливо запинаясь, началъ трогательно просить его не обращать вниманія на Фицъ-Адама и не огорчаться его ругательствами, потому что ругается онъ не по злобѣ, а «такъ: другихъ-то словъ и нѣтъ у него!» Это неожиданное участіе, да еще со стороны Чернаго Боба, было истиннымъ бальзамомъ для бѣднаго Викофа и поддержало покидавшее его мужество. Дѣйствительно, Фицъ-Адамъ не производилъ впечатлѣнія злого по натурѣ человѣка. Къ тому же, онъ всегда вѣдь могъ прогнать Викофа. Почему же онъ не дѣлалъ этого? Положительно, похоже было на то, что подъ грубою оболочкою у этого дикаря было доброе сердце, котораго онъ самъ стыдился, считая его недостойною мужнины слабостью. Не имѣя духа прогнать негоднаго рабочаго и лишитъ его,

такимъ образомъ, хлѣба, онъ, повидимому, надѣялся заставить его уйти «добромъ».

На другой же день послѣ тяжелой сцены передъ конюшнею произошелъ кризисъ, окончившійся совсѣмъ не такъ, какъ боялся Викофъ... Случилось это утромъ, при нагрузкѣ дровъ. Викофъ и патронъ были одни. Фицъ-Адамъ, въ противность своему обыкновенію, не спѣшилъ, не погонялъ свсего подручнаго, совершенно не ругался и какое-то неувѣренное выраженіе не сходило съ его лица. Это было болѣе, чѣмъ странно, и Викофъ ждалъ худшаго, т. е. разчета. Вдругъ Фицъ-Адамъ остановилъ работу и смущенно заговорилъ:

— Послушайте, новичокъ, вѣдь вы были въ школѣ?

— Да,—отвѣчалъ Викофъ.

— И вы получили хорошее образованіе?—продолжалъ Фицъ-Адамъ послѣ минуты молчанія.

— Да, мнѣ посчастливилось въ этомъ отношеніи.

Прошла еще минута неловкаго молчанія, и затѣмъ изъ устъ Фицъ-Адама, какъ бы противъ его воли, вырвался новый вопросъ:

— Майоръ *), вы можете вести счеты?

— Могу,—отвѣчалъ Викофъ.

— Не возьметесь ли вы вести мои счеты, майоръ?

— Съ удовольствіемъ.

Фицъ-Адамъ облегченно вздохнулъ.

— Это очень важно для меня, — заговорилъ онъ довѣрчивымъ тономъ,—я никогда не учился, а Самъ—солдатъ, который работаетъ у меня за бухгалтера, знаетъ не многимъ больше моего. Въ прошломъ году я потерялъ не менѣе 2.000 франковъ изъ-за того, что мои счета были не въ порядкѣ... Вѣдь эта работа не по васъ, майоръ, надо правду сказать. Вы не очень-то налегайте на нее. Чортъ съ ней; будете помогать мнѣ въ счетахъ... Я... не зналъ раньше, что вы...

— Не будемъ вспоминать прошлаго, Фицъ-Адамъ,—остановилъ его Викофъ.—Я знаю васъ лучше, чѣмъ вы думаете.

Этимъ окончилась испытанія Викофа, и онъ сразу занялъ въ станѣ опредѣленное и почетное положеніе. Фицъ-Адамъ почувствовалъ къ нему глубочайшее уваженіе и началъ относиться къ нему, какъ къ равному себѣ, если не какъ къ высшему. Иначе стали относиться къ нему и остальные дровосѣки, которые называли его съ этихъ поръ, по примѣру патрона, не иначе, какъ «майоромъ».

Все пошло, какъ по маслу, и Викофъ чувствовалъ теперь себя совсѣмъ своимъ въ этомъ заброшенномъ въ гѣсу станѣ. И чѣмъ ближе знакомился онъ съ его грубыми обитателями, тѣмъ большею симпатією и уваженіемъ проникался онъ къ этимъ дѣтски простодушнымъ, честнымъ, истинно независимыхъ дикарямъ. Онъ охотно прожилъ бы съ

*) Старшій.

ними дольше, тѣмъ болѣе, что Фицъ-Адамъ всѣми силами старался удержать его, но это было невозможно. Онъ и безъ того прожилъ въ станѣ болѣе, чѣмъ ему полагалось по программѣ. Впереди его ждали Чикаго и штаты дальняго запада. Надо было спѣшить, и Викофъ покинулъ станъ, проживъ въ немъ около трехъ недѣль и заработавъ до 15 долларовъ.

Этимъ заканчивается часть дневника Викофа, заключающаяся въ первомъ томѣ его замѣчательной книги. Его дальнѣйшія испытанія описаны во второмъ томѣ, вышедшемъ мѣсяца два назадъ и представляющемъ не меньшій, если не болѣе шій интересъ. До сихъ поръ мы видѣли его въ нормальныхъ, такъ сказать, условіяхъ чернорабочаго, ищущаго и почти всегда находящаго работу въ сельскихъ округахъ штата. Теперь онъ попадаетъ на залитыя электрическимъ свѣтомъ улицы Чикаго, и счастливая звѣзда покидаетъ его надолго. Онъ сразу оказывается въ рядахъ переполняющей богатый городъ арміи безработныхъ и, несмотря на всѣ свои усилія, въ теченіе почти трехъ недѣль не можетъ выбиться изъ нихъ, живя ихъ жизнью, голодая, холодая, ночуя на улицахъ и въ участковыхъ ночлежныхъ домахъ, доходя до послѣднихъ предѣловъ отчаянія и деморализаціи. Здѣсь онъ впервые сталкивается лицомъ къ лицу съ сложными проблемами, созданными современнымъ состояніемъ городской промышленности, съ ея переполненнымъ рабочимъ рынкомъ, организованнымъ трудомъ и еще лучше организованнымъ капиталомъ, съ стачками, съ революціонными организаціями, съ анархическими и социалистическими тенденціями, словомъ, со всѣми знакомыми намъ сторонами рабочаго, или, лучше, социальнаго вопроса, какъ онъ стоитъ теперь въ Европѣ и отчасти въ Америкѣ. Такимъ образомъ, главный интересъ, представляемый дневникомъ Викофа, сосредоточивается именно во второмъ томѣ, съ которымъ мы и намѣрены познакомить читателя въ слѣдующей статьѣ.

И. К.

(Окончаніе слѣдуетъ).

НА МОНБЛАНЪ.

I.

Изъ всѣхъ восхожденій, которыя когда-либо дѣлались и дѣлаются въ горахъ Швейцаріи, наибольшую извѣстностію пользуются восхожденія на Монбланъ. Это вполне понятно. Монбланъ — высочайшая гора Европы. Его вершина лежитъ на высотѣ 4.810 метровъ выше уровня моря. Монъ-Роза, вторая по высотѣ гора въ Европѣ, имѣетъ уже 4.638 метровъ, третья по высотѣ, Домъ,—4.554 метра. Неудивительно, что всякій туристъ, имѣющій страсть къ восхожденіямъ, стремится подняться на самую высокую изъ европейскихъ вершинъ. вмѣстѣ съ тѣмъ такое восхожденіе, хотя и не представляетъ отдѣльныхъ затрудненій, требующихъ иногда прямо гимнастической ловкости, какъ нѣкоторыя другія подпятія, едва ли не самое утомительное вслѣдствіе длины пути, который приходится дѣлать, и быстрого истощенія силъ, которое влечетъ за собою работа въ разрѣженномъ воздухѣ. Ни откуда, наконецъ, не открывается такое обширное и удивительное зрѣлище, какъ съ вершины Монблана. Все это сдѣлало Монбланъ ареною для пробы силъ спортсменовъ-альпинистовъ, и большинство восхожденій на Монбланъ имѣетъ значеніе исключительно спорта.

Но Монбланъ имѣетъ еще другое значеніе. Исторія Монблана есть исторія неимоверныхъ трудностей и смертельныхъ опасностей, которыми готовъ былъ подвергнуться человѣкъ изъ чистой любви къ наукѣ. Исторія Монблана представляетъ одну изъ любопытнѣйшихъ и поучительнѣйшихъ страницъ въ лѣтописи научныхъ завоеваній. Первое восхожденіе на него тѣсно связано съ именемъ одного изъ крупнѣйшихъ европейскихъ ученыхъ—Соссюра; на его вершинѣ, на высочайшемъ пунктѣ Европы, утверждено одно изъ славнѣйшихъ знаменъ науки—астрономическая и метеорологическая обсерваторія Жансена.

Лѣтомъ 1897 года, въ бытность мою въ Швейцаріи, я посѣтилъ также Шамуни, небольшой городокъ у подножія Монблана, откуда было сдѣлано первое восхожденіе на него, и откуда они обыкновенно дѣлаются и въ настоящее время, и имѣлъ случай лично испытать тѣ затрудненія, съ которыми эти восхожденія связаны. Я расскажу далѣе свои впечатлѣнія.

Въ первый разъ я увидалъ Монбланъ изъ Женевы съ набережной Монблана. Передо мной разстигалось прозрачное голубое Женевское озеро, за нимъ виднѣлся англійскій садъ и набережная Живыхъ Водъ, далѣе раскинувшійся по скату зеленыхъ горъ старый городъ и со-всѣмъ на горизонтѣ бѣлоснѣжная цѣпь Монблана, съ цѣпью болѣе низкихъ Красныхъ Горъ и отдѣльными остроконечными пиками передъ нею. Отсюда ясно было видно, насколько величественный куполь Монблана превосходитъ по своей высотѣ и массивности всѣ другія окру-жающія горы.

20-го іюня (новаго стиля) съ поѣздомъ, отходящимъ отъ вокзала Живыхъ Водъ въ 10 ч. 10 м., я выѣхалъ въ Шамуни. Дорога, идущая большею частью вдоль долины рѣки Арвы, очень красива. Горы под-ступаютъ все ближе и ближе, и вотъ, наконецъ, справа Монбланъ открывается во всей своей красѣ и величіи. Воздухъ настолько про-зраченъ, что, не смотря на разстояніе около 50 верстъ, онъ кажется совсѣмъ близко съ своей бѣлоснѣжной вершиной на темносинемъ небѣ.

Черезъ два часа мы пріѣзжаемъ въ Клузъ и черезъ полчаса тро-гаемся далѣе въ огромномъ двухэтажномъ дилижансѣ, запряженномъ шестеркой большихъ, крѣпкихъ лошадей.

Становится жарко. Дорога идетъ по узкой долинѣ Арвы, съ обѣихъ боковъ которой тянутся одѣтыя лѣсомъ горы, словно выростающія все выше и выше. Дорога поднимается въ гору, и мы ѣдемъ медленно. Часа черезъ два мы пріѣзжаемъ въ Салланшъ—небольшой городокъ съ фонтаномъ въ память революціи и статуей мира. Отсюда открыв-ается видъ на Монбланъ, который справедливо считается самымъ лучшимъ изъ всѣхъ видовъ на него снизу. Въ Салланшъ перепрягаютъ лошадей, и мы трогаемся далѣе. Мы ѣдемъ въ виду снѣжнаго колосса, но затѣмъ находящаяся болѣе на переднемъ планѣ гора Біонассэ за-слоняетъ его на нѣкоторое время собою.

Дорога поднимается все круче; въ одномъ мѣстѣ приходится при-прягать седьмую лошадь. Въ Шатляръ новая перепряжка. Картина горъ, покрытыхъ внизу лѣсами, блистающихъ на голубомъ небѣ свои-ми ослѣпительно бѣлыми вершинами, становится все величественнѣе. Ихъ блескъ настолько рѣжетъ глаза, что многіе пассажиры надѣ-ваютъ темные очки—необходимую принадлежность туриста въ высо-кихъ областяхъ Швейцаріи. Каскады падаютъ съ горъ; уже далеко внизу шумитъ Арва. День склоняется къ вечеру, жара спадаетъ. Нѣ-сколько разъ мы пересѣкаемъ Арву. Цѣпь Монблана подступаетъ все ближе. Величественные глетчеры спускаются съ горъ внизъ. Мы про-ѣзжаемъ мимо огромнаго ледника де-Боссонъ, ползущаго съ самой снѣ-говой вершины Монблана, и въ восьмомъ часу вечера пріѣзжаемъ наконецъ въ Шамуни, опоздавъ болѣе чѣмъ на часъ противъ роспи-санія, какъ это введено здѣсь въ обычай.

Шамуни—небольшой красивый городокъ, раскинувшійся вмѣстѣ съ

прилежащими деревушками въ узкой долинѣ по обѣимъ сторонамъ Арвы, насчитывающій вмѣстѣ съ ними около двухъ тысячъ мѣстныхъ жителей. Самъ Шамуни почти цѣликомъ состоитъ изъ отелей и магазиновъ, торгующихъ принадлежностями, необходимыми для горныхъ экскурсій, фотографіями и швейцарскими сувенирами—цвѣтными камнями, рѣзными вещицами изъ дерева и такъ далѣе. Нельзя лучше охарактеризовать рѣдкое по своей красотѣ положеніе Шамуни, раскинушагося среди узкой долины на высотѣ 1.050 метровъ надъ уровнемъ моря, какъ слѣдующими словами Соссюра въ его «Путешествіяхъ»: «Величественные ледники, отдѣленные огромными гѣсами, увѣнчанные гранитными скалами поразительной высоты, изсѣченными въ видѣ гигантскихъobeliskовъ и перемежающимися съ снѣгомъ и льдомъ, представляютъ одно изъ великолѣпнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ зрѣлищъ, какое только можно себѣ вообразить. Прохладный, чистый воздухъ, которымъ дышешь, высокая культура долины и прелестныя деревушки, черезъ которыя проходишь, даютъ представленіе новаго міра, въкотораго рода земного рая».

Дилижансъ останавливается около небольшой площади противъ бюро путей сообщеній Парижъ-Лионъ-Средиземное море. Шеренга поутре изъ различныхъ отелей готова къ вашимъ услугамъ, поражая отсутствіемъ той навязчивости, которая почти повсемѣстно характеризуетъ это племя человѣческаго рода. Здѣсь же толпятся проводники въ своихъ коричневыхъ курткахъ, съ мужественными, загорѣлыми лицами, привлекающими своимъ открытымъ и благороднымъ выраженіемъ. Ни одинъ изъ нихъ не будетъ къ вамъ назойливо приставать съ предложеніемъ услугъ, подобно гидамъ Бернской Швейцаріи, осаждающимъ васъ буквально, какъ нищіе. Въ отелѣ вамъ отвѣдутъ чистенькую комнату и исполнятъ по возможности всѣ ваши желанія. Вообще съ самаго момента пріѣзда Шамуни производитъ самое пріятное впечатлѣніе, которое еще болѣе усиливается присутствіемъ той поэтической черты въ характерѣ мѣстныхъ жителей, которая такъ рѣзко отличаетъ французское населеніе высокой Савойи отъ населенія собственно Швейцаріи, поражающаго своей прозаичностью въ ея вѣмецкой части.

Непремѣнную принадлежность каждаго отеля въ Шамуни составляетъ терраса или садикъ съ телескопомъ. Въ городѣ имѣются еще два телескопа, около которыхъ въ тѣ дни, когда дѣлаются большія восхожденія, всегда собирается толпа любопытныхъ. Восхожденія на горныя вершины и прежде всего, конечно, на Монбланъ, представляютъ главный интересъ жизни городка. Съ террасы отеля, въ которомъ я остановился, открывался великолѣпный видъ на Монбланъ, но вершина его была закрыта облаками, и только Домъ-дю-Гутѣ величественно бѣлѣлъ на небѣ своей снѣговой вершиной.

Шамуни расположенъ въ узкой долинѣ того же названія, прорѣ-

зывается рѣкой Арвой и тянущейся въ направленіи съ сѣверо-востока на юго-западъ. Въ ширину она имѣетъ не болѣе четверги часа ходьбы, въ длину часовъ пять. Съ сѣверо-западной стороны ея тянется цѣпь сравнительно невысокихъ горъ, извѣстныхъ подъ именемъ Красныхъ Иголъ и Бревацъ; отсюда открываются великолѣпныя виды на цѣпь Монблана, идущую по противоположной, юго-восточной, сторонѣ долины, съ ея остроколючными пиками или, какъ ихъ здѣсь называютъ, иглами, сползающимися ледниками и вѣчными снѣгами. Обѣ цѣпи горъ въ своихъ нижнихъ частяхъ покрыты роскошными лиственными и дагдѣ хвойными лѣсами, затѣмъ выше растительность бѣднѣетъ, лѣса исчезаютъ. голый гранитъ отлиываетъ красновато-сѣрыми оттѣнками на горныхъ краяхъ и вершинахъ. Долина вся зеленѣетъ нивами, садами и рощами. По склонамъ горъ пасутся стада коровъ и козъ, гармонично побрякивающихъ своими подобранными въ тонъ колокольцами.

Оріентироваться въ цѣпи Монблана не представляетъ большихъ затрудненій. Ниже огромнаго снѣжнаго купола самого Монблана, получая свое начало изъ его вѣчныхъ снѣговъ, спускаются два большихъ ледника, раздѣленные горнымъ выступомъ, носящимъ названіе Монтанъ-де-ля-Котъ. По этому выстуду поднимались до вѣчныхъ снѣговъ при первыхъ восхожденіяхъ на Монбланъ. Правый изъ ледниковъ, если смотрѣть отъ Шамуни, раздѣляемыхъ этимъ выступомъ, носить названіе ледника Таконаца, лѣвый ледника де-Боссонъ. Выше Монтанъ-де-ля-Котъ торчитъ среди ледниковъ группа скалъ, носящая названіе Большихъ Муловъ—Гранъ Мюле. Въ телескопъ здѣсь можно различить небольшое деревянное зданіе, служащее гостиницей, въ которой обыкновенно почуютъ при восхожденіи на Монбланъ. Ниже Гранъ Мюле ледникъ Таконаца и ледникъ де-Боссонъ сбприкасаются другъ съ другомъ, и это мѣсто носитъ названіе Соединенія—Джонксіонъ. Выше Гранъ Мюле куполъ Монблана поднимается террасами, образуя Малое и Большое Плато. Еще выше подъ самой вершиной можно различить небольшія Красныя Скалы и Пти Мюле. Вправо отъ снѣжнаго купола Монблана виденъ другой куполъ, носящій названіе Дома-дю-Гутъ. Вправо отъ него и впереди возвышается острый пикъ—Игла дю-Гутъ. Съ Дома дю-Гутъ беретъ свое начало ледникъ Таконаца. Отъ Дома къ вершинѣ Монблана ведетъ снѣжный кряжъ, получившій за свою форму названіе горбовъ верблюда—Боссъ-дю-Дромадерь. По лѣвой сторонѣ ледника де-Боссонъ теперь обыкновенно поднимаются на Монбланъ. Слѣва отъ вершины Монблана на переднемъ планѣ бросается въ глаза изрѣзанная атмосферическими вліяніями гранитная вершина Игла дю-Мида, Южная Игла. За нею вправо видны Монбланъ-дю-Таколь, съ котораго беретъ свое начало ледникъ де-Боссонъ, и Проклятыя Горы—Монъ-Моди. Влѣво отъ Южной Иглы тянется горный кряжъ съ зубчатыми вершинами Иголъ дю-Шацъ, дю-Блетьеръ и Шармоца, съ многочисленными ледниками второго разряда въ ихъ промежуткахъ. Еще дагдѣ

вѣво ниже Иглы Шармоца выдается горный выступъ, покрытый роскошнымъ лѣсомъ, носящій названіе Монтаверъ. Изъ за него спускается огромный ледникъ, получившій названіе Ледяного Моря за свою волнистую поверхность. За нимъ вдали видны Большія Жорассы, Монтъ Мале и другія вершины. Слѣва отъ Ледяного моря возвышается Зеленая Игла, остроконечная Игла дю-Дрю, Игла дю-Муанъ, заслоняющія собою огромный Аржантьерскій ледникъ.

Цѣлый рядъ прогулокъ и болѣе серьезныхъ экскурсій открывается въ окрестностяхъ Шамуни, и врядъ ли въ Швейцаріи можно отыскать мѣсто лучшее въ этомъ отношеніи.

Шамуни—городъ туристовъ, которые здѣсь къ концу лѣта, когда горы ставаются болѣе доступными, буквально переполняютъ всѣ отели. Сообразно съ этимъ сложилась и жизнь городка. Встаютъ обыкновенно рано. Часовъ въ семь или восемь или даже ранѣе вы выходите въ общую залу пить кофе, къ которому, какъ и вездѣ въ Швейцаріи, подается масло, варенье и чудный бѣлый крупнозернистый медъ, которымъ славится Шамуни. Это едва ли не единственное мѣсто въ Швейцаріи, гдѣ вы получаете теперь медъ дѣйствительно мѣстный, а не ввозный російскаго происхожденія.

На улицахъ въ это время происходитъ большое оживленіе. На площади толпятся гиды. Кавалькады на мулахъ, которыхъ ведутъ погонщики, съ барынями, преимущественно англичанками, въ роскошныхъ горныхъ туалетахъ, сшитыхъ по послѣднему рисунку журнала альпійскихъ модъ, въ подобранныхъ юбкахъ или широкихъ шароварахъ, съ изящными горными палочками, украшенными рожками серны, взятыми болѣе по чувству долга, чѣмъ для какой-либо надобности, англичане въ велосипедныхъ костюмахъ, въ пестрыхъ чулкахъ и бапимакахъ на резиновыхъ подошвахъ, рядомъ съ ними завязтые альпинисты въ истрепавшихся тяжелыхъ башмакахъ, подкованныхъ гвоздями, въ костюмахъ, познакомившихся съ горами и непогодой, съ горными топорами въ рукахъ; все это направляется съ оживленнымъ говоромъ въ различныя стороны. Затѣмъ городъ значительно пустѣетъ. Ровно въ половинѣ перваго одновременно во всѣхъ отеляхъ раздается трезвонъ колоколовъ, слышный отъ Шамуни за нѣсколько верстъ, призывающій къ завтраку путешественниковъ, успѣвшихъ вернуться съ прогулокъ или оставшихся дома. Въ половинѣ седьмого вечера повторяется такой же звонъ, призывающій къ обѣду. Послѣ обѣда городъ снова оживаетъ. Публика высыпаетъ на улицу, чтобы немного походить передъ сномъ. Отовсюду слышится оживленный разговоръ на всѣхъ возможныхъ и невозможныхъ языкахъ. Къ первымъ принадлежитъ англійскій, такъ какъ лѣтомъ англичане составляютъ наиболѣе значительную часть населенія Швейцаріи; ко вторымъ тотъ, только имъ самимъ понятный діалектъ, на которомъ особенно англичанки стараются здѣсь говорить и который онѣ по странному недоразумѣнію называютъ французскимъ.

Отъ небольшой площади, на которой останавливается омнибусъ, привозящій пассажировъ изъ Клузъ, ведетъ улица къ церкви. По правую сторону улицы находится бюро гидовъ, стоящее подъ завѣдываніемъ шефа гидовъ, въ которомъ можно получить всѣ указанія относительно экскурсій въ окрестностяхъ Шамуни. Улица упирается въ церковь, передъ которой стоитъ небольшой памятникъ въ видѣ грубо высѣченнаго камня съ медальономъ вверху. На камнѣ надпись: «Жаку Бальма Французское Геологическое Общество при содѣйствіи Французскаго Альпійскаго Клуба. Сентябрь 1875 — Августъ 1878». Вокругъ профиля головы, изображенной въ медальонѣ, надпись: «Жакъ Бальма, по провищу Монбланъ». Это памятникъ человѣку, гиду изъ Шамуни, который впервые достигъ вершины Моблана, считавшейся до тѣхъ



Жакъ Бальма.

поръ недоступной. Если мы вернемся назадъ и перейдемъ черезъ Арву на ея лѣвый берегъ, то выйдемъ на площадь, на которой стоитъ другой памятникъ. На большой необдѣланной гранитной глыбѣ поставлена группа изъ двухъ лицъ. Одинъ изъ нихъ, съ непокрытой головой и подзорной трубкой въ рукѣ, въ высокихъ сапогахъ и длинномъ сюртукѣ съ закинутымъ за плечо плащомъ, вперилъ свой величественно-восторженный взглядъ въ вершину Монблана. Около него лежитъ ранецъ съ круглой шляпой на немъ и физическіе инструменты. Другой въ обычномъ костюмѣ проводника, обвязанный веревкой и съ длинной горной палкой въ лѣвой рукѣ, въ башмакахъ и чулкахъ, обнаруживающихъ сильныя икры его ногъ, правой рукой указываетъ первому на вершину Монблана. Вся его фигура и выраженіе лица дышатъ порывомъ страстнаго энтузіаста. Первый—знаменитый естествоиспытатель Соссюръ, съ именемъ котораго тѣсно связаво первое восхождение на

Монбланъ и который первый поставилъ на его вершинѣ научные инструменты, второй — его проводникъ Жакъ Бальма, открывшій путь на вершину. Не смотря на свою простоту, это одинъ изъ лучшихъ памятниковъ, которые миѣ когда либо приходилось видѣть, и конечно нѣтъ памятника, который-бы стоялъ на болѣе соответствующемъ мѣстѣ и съ такою ясностью выражалъ свою идею.

На лицевой сторонѣ памятника надпись: «Г. В. Соссюру признательный Шамуни». Памятникъ этотъ, какъ значится на оборотной сторонѣ, воздвигнутъ въ память столѣтія восхожденія Соссюра общиной Ша-



Памятникъ Соссюру и Бальма.

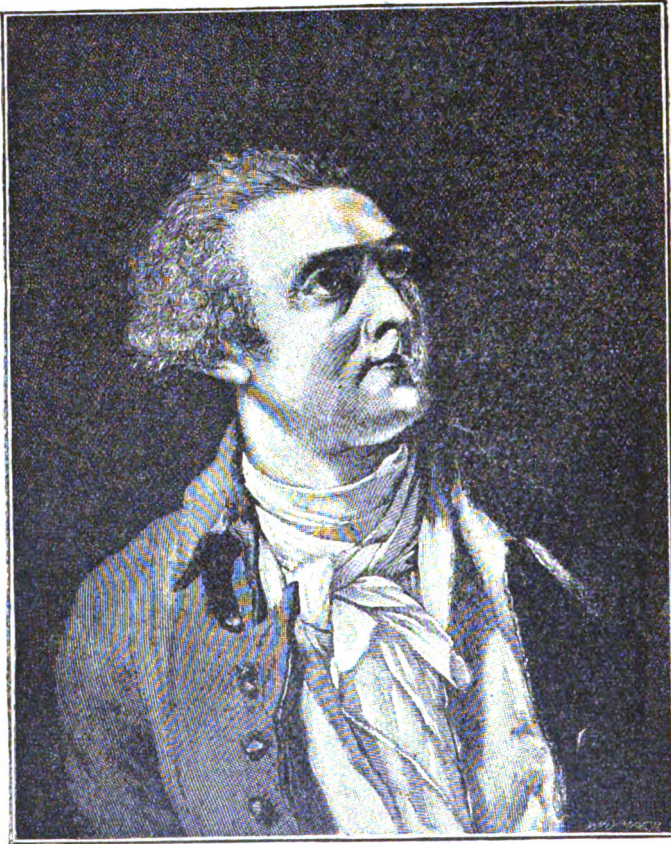
муни при содѣйствіи парижской академіи наукъ, альпійскихъ клубовъ Франціи, Итали, Англии и Австріи и на пожертвованія частныхъ лицъ.

Остановимся здѣсь на исторіи первыхъ восхожденій на вершину Монблана.

II.

Въ числѣ немногочисленныхъ путешественниковъ, посѣщавшихъ Шамуни во второй половинѣ прошлаго столѣтія, былъ молодой женевскій натуралистъ Горасъ Бенедиктъ де-Соссюръ. Въ 1760 году онъ пришелъ туда въ первый разъ пѣшкомъ изъ Женевы съ цѣлью изученія горъ. Съ тѣхъ поръ Шамуни сдѣлался любимымъ мѣстомъ его изслѣдованій. Въ первое же его пребываніе въ Шамуни у него родилась

мысль, неотступно его затѣмъ преслѣдовавшая, подняться на самую вершину Монблана съ цѣлью произведенія тамъ научныхъ наблюдений. Эта идея была такъ настойчива, что Соссюръ издали не могъ видѣть вершину Монблана равнодушно. Только черезъ 27 лѣтъ удалось ему осуществить свое намѣреніе.



Соссюръ.

Въ первое-же свое посѣщеніе Шамуни—Соссюръ объявилъ по всѣхъ мѣстечкахъ долины, что онъ дастъ значительное вознагражденіе тому, кто найдетъ доступный путь на вершину Монблана. Онъ обѣщалъ также заплатить за потерянные дни тѣмъ, попытки которыхъ останутся неудачны.

Въ то время въ Шамуни не было тѣхъ прекрасныхъ гидовъ, которые пріобрѣли всемірную извѣстность въ настоящее время. О высокихъ поднятіяхъ никто и не думалъ и многіе путешественники, рисквавшіе углубляться въ горы, пользовались услугами искателей кристалловъ или охотниковъ за сернами; послѣдніе хотя и были болѣе способны для такого дѣла, такъ какъ обладали болѣе героической смѣ-

лостью, однако не охотно выходили изъ предѣловъ своей специальности, которой они страстно отдавались. Экскурси Соссюра были той школой, въ которой получили свое воспитаніе первые гиды-шамоньяры. Неудивительно поэтому, что вызовъ Соссюра не имѣлъ непосредственныхъ результатовъ. Было сдѣлано нѣсколько неудачныхъ слабыхъ попытокъ, которыя только еще болѣе укрѣпили вѣру въ недоступность Бѣлаго Пригорка, какъ мѣстные жители иронически прозвали грозную вершину. Только черезъ пятнадцать лѣтъ, въ 1775 году, была сдѣлана первая попытка, которая можетъ считаться серьезной. Четверо шамоньяровъ поднялись на Монтанъ де-ля-Котъ и прошли нѣкоторое разстояніе по леднику, какъ далеко—неизвѣстно. Они были, повидимому, обезкуражены тѣмъ обстоятельствомъ, что нашли невозможнымъ подняться до вершины и спуститься въ одинъ и тотъ-же день; о томъ же, чтобы провести ночь въ снѣжныхъ горахъ, къ которымъ жители питали суевѣрный страхъ, въ то время никто не смѣлъ и думать.

Прошло восемь лѣтъ, прежде чѣмъ была сдѣлана новая попытка, и трое другихъ отправились въ 1783 году по тому же пути. Чтобы располагать какъ можно большимъ временемъ, они провели ночь на вершинѣ Монтанъ-де-ля-Котъ, съ разсвѣтомъ вступили въ ледникъ и достигли значительной вышины. Ихъ поразила тотъ жгучій жаръ солнца, который господствуетъ на ледникахъ при хорошей погодѣ. Хотя въ воздухѣ здѣсь бываетъ холодно, но солнечные лучи, вслѣдствіе необыкновенной прозрачности воздуха, буквально палаятъ. Въ то время, какъ они достигли своей высшей точки, самымъ сильнымъ и наиболѣе крѣпкимъ изъ нихъ овладѣла неодолимая склонность ко сну—приступъ такъ называемой горной болѣзни, и онъ просилъ другихъ оставить его и идти безъ него. Они, конечно, не хотѣли этого сдѣлать, а также не хотѣли допустить его заснуть и, отказавшись отъ своего предпріятія, вернулись въ Шамуни съ распухшими отъ дѣйствія солнца губами и облупившейся кожей. По возвращеніи они особенно указывали на жару, и одинъ изъ нихъ серьезно говорилъ Соссюру, что бесполезно брать съ собою провизію, такъ какъ всякій аппетитъ совершенно теряется, но что если онъ вновь пойдетъ по тому же пути, то возьметъ только зонтикъ и флаконъ нюхательнаго спирта. «Когда я представляю себѣ,—говоритъ Соссюръ,—этого большого и крѣпкаго горца влѣзающимъ по снѣгу съ маленькимъ зонтикомъ въ одной рукѣ и пузырькомъ нюхательнаго спирта въ другой, то ничто не даетъ мнѣ лучшаго представленія о трудности такого предпріятія и его абсолютной невозможности для людей, которые не имѣютъ ни головы, ни членовъ хорошаго гида шамоньяра».

Дѣлались и другія попытки, которыя оставались однако столь же неудачными. Между прочимъ, самъ Соссюръ въ 1785 году также дѣлалъ попытку восхожденія. Она была равнымъ образомъ неудачна и не вознаградила той невѣроятной усталости, которую испытали муже-

ственные ассензионисты. Но на этотъ разъ Соссюръ вынесъ убѣжденіе, что въ одинъ прекрасный день онъ достигнетъ наконецъ цѣли своего пылкаго желанія, и «эта идея,—говоритъ онъ,—возбуждала меня до такой степени, что я часто терялъ сонъ»:

На слѣдующій годъ вершина Монблана была наконецъ достигнута Жакомъ Бальма совместно съ докторомъ Паккаромъ, а черезъ годъ послѣ этого, въ 1787 году, и Соссюръ впервые поставилъ на ней научные инструменты.

Подробности восхожденія Бальма, которому было всего 24 года, когда онъ сдѣлалъ свое совершенно небывалое по тому времени восхожденіе, извѣстны частію изъ его собственныхъ записокъ, оставленныхъ имъ своимъ наслѣдникамъ, частью изъ разказа его Александру Дюма, видѣвшему Бальма въ 1832 году, то-есть черезъ 46 лѣтъ послѣ восхожденія. Этотъ разказъ имѣетъ, правда, нѣсколько идеализированный характеръ, но это придаетъ ему особую прелесть, такъ какъ Бальма дѣйствительно сдѣлался идеаломъ, передъ именемъ котораго благоговѣтъ всякій современный гидъ-шамоньяръ.

Жакъ Бальма родился въ 1762 году въ деревнѣ Пелеринъ, черезъ которую приходится проходить на пути къ Монблану, поднимаясь по лѣвой сторонѣ ледника де-Бессонъ. Его семья была одна изъ самыхъ зажиточныхъ въ деревнѣ; несмотря на это, онъ получилъ лишь весьма элементарное образованіе.

Его первая юность протекла въ работѣхъ на отцовскихъ поляхъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не упускалъ случая отираваться на поиски за минералами, которые продавалъ путешественникамъ, посѣщавшимъ долину. Это былъ юноша страстный, одаренный живымъ воображеніемъ и большою смѣлостью. Экскурсіи къ подножію ледниковъ въ поискахъ за минералами развили въ немъ страсть настоящаго горца,—страсть къ преодолѣнію опасностей, заставляющую часто рисковать своей жизнью ради наслажденія, получаемаго отъ сознанія, что сдѣлано то, что казалось до тѣхъ поръ невозможнымъ. Это своего рода поэтическая черта характера, отличающая и въ настоящее время многихъ изъ горцевъ. Такая страсть неодолимо влечетъ въ эти опасныя горы, въ вѣчные льды, изрѣзанные трещинами, на уходящія въ небеса крутыя скалы, гдѣ каждый шагъ является рискованнымъ, гдѣ каждый день грозитъ смертью, но гдѣ въ то же время испытывается высокое наслажденіе въ сознаніи, что мужество, хладнокровіе и сообразительность побѣждаютъ самыя ужасныя опасности, которыя ставитъ природа, и гдѣ открываются небесныя красоты, о которыхъ не имѣютъ понятія жители долинъ. Эта удивительная альпійская растительность, склоны горъ, совершенно красные отъ растущихъ на нихъ рододендроновъ, живительный воздухъ высотъ, на которыхъ духъ поднимается еще болѣе, чѣмъ тѣло, воздухъ, вновь возвращающій молодость, это темносинее небо, въ которое врѣзываются ослѣпительныя бѣлоснѣж-

ныя или сѣроватокрасныя вершины, необозримыя панорамы горъ, море облаковъ, клубящихся далеко подъ ногами, озаренныхъ лучами заходящаго солнца—такія картины имѣють чарующее вліяніе и влекутъ къ себѣ неотразимо. Кто ихъ видѣлъ, ихъ не забываетъ, и его постоянно влечетъ увидѣть ихъ снова.

Но вмѣстѣ со страстью къ горнымъ экскурсіямъ, поставившею Бальма на степень идеала для всякаго горца, въ немъ развилась при этихъ поискахъ за кристаллами и другая страсть, которая впоследствии вмѣстѣ съ первой повела его къ гибели. Это страсть къ исканію кладовъ, природныхъ сокровищъ, скрытыхъ въ глубинѣ горъ, которыми сразу можно обогатиться,—страсть, опьяняющая золотопромышленниковъ.

Жакъ Бальма скоро приобрѣлъ репутацію самаго смѣлаго и предприимчиваго изъ горцевъ. Честолюбіе прославить себя какимъ-либо необыкновеннымъ подвигомъ внушило ему мысль попытаться достигъ вершины Монблана которая считалась недоступною, особенно послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ.

Первыя его попытки также были неудачны. Въ одно изъ такихъ предпріятій ему удалось подняться совершенно одному до такъ-называемаго Малаго Плато, но огромная трещина помѣшала ему идти далѣе. День близился къ концу, вдали слышались продолжительные раскаты грома, предвѣщавшаго бурю. Все это заставило Бальма поспѣшить возвращеніемъ, чтобы до ночи достигъ жилища. Но едва онъ возвратился, какъ узналъ, что нѣсколько другихъ гидовъ отправились съ тою же цѣлью, въ достиженіи которой онъ только что потерпѣлъ неудачу. Не желая, чтобы его кто-либо опередилъ, Бальма возобновилъ свою провизію и снова отправился въ путь, чтобы какъ можно скорѣе нагнать ушедшихъ. Они ночевали на верху Монталь де-ля Котъ, скалистаго выступа съ правой стороны ледника де-Боссонъ, если смотрѣть отъ Шамуни, и Бальма нагналъ ихъ у начала ледника.

Прибытіе такого соискателя никому не понравилось, и Бальма былъ встрѣченъ довольно холодно. Однако всѣ вмѣстѣ отправились далѣе. Имъ удалось подняться очень высоко—вплоть до снѣжнаго купола съ правой стороны отъ вершины Монблана, такъ-называемаго Дома дю-Гутэ. Отсюда они отправились по направленію къ снѣжному хребту, соединяющему Домъ съ вершиной Монблана. Но едва вступили на него, какъ увидали, что взбираться по нему невозможно. Хребетъ былъ изрѣзанъ трещинами и настолько остеръ, что нельзя было поставить ногу. Необходимо было вернуться назадъ. Одинъ Бальма упорно хотѣлъ идти впередъ и для этого долженъ былъ сѣсть верхомъ на хребетъ между двумя ужасными безднами. При видѣ такого безразсудства его товарищи, не будучи въ состояніи убѣдить его, оставили его одного и вернулись назадъ въ Шамуни.

Послѣ нѣсколькихъ попытокъ Бальма самъ убѣдился, что онъ

искалъ невозможнаго. Съ большой опасностью задомъ онъ спустился внизъ, чтобы на слѣдующій день вновь приняться за поиски.

Отраженіе солнечнаго блеска снѣгомъ такъ подѣйствовало на его глаза, что, дойдя до Большого Плато, онъ не могъ ничего видѣть. Онъ сѣлъ, зажмурилъ глаза, положивъ голову между рукъ. Черезъ полчаса зрѣніе возстановилось, но наступила ночь. Бальма не сдѣлалъ и двухъ сотенъ шаговъ, какъ почувствовалъ, что снѣгъ подъ его ногами проваливается. Онъ былъ на краю огромной трещины, которую утромъ они перешли по снѣжному мостику. Онъ искалъ его, но найти не могъ. Нужно было что-нибудь дѣлать.

Онъ положилъ свою сумку на снѣгъ, обвязалъ лицо платкомъ и рѣшилъ провести ночь, какъ могъ. Съ того мѣста, гдѣ онъ былъ, ему были видны огни въ Шамуни, гдѣ его товарищи въ это время, вѣроятно, спокойно сидѣли вокругъ огня или были въ своихъ постеляхъ. «Быть можетъ, никто изъ нихъ обо мнѣ не подумалъ,—говоритъ Бальма,—или, если и подумалъ, то только для того, чтобы сказать, разгребая горячую золу или натягивая на уши стеганое одѣяло: теперь этотъ дуракъ Жакъ бьетъ ногой объ ногу, чтобы согрѣть ихъ».

Представьте себѣ большую, немного наклонную снѣжную равнину, лежащую на высотѣ около 4.000 метровъ надъ уровнемъ моря, по которой почти на всемъ ея протяженіи скатываются многочисленныя ледяныя лавины, открытую для вѣтровъ съ сѣвера и сѣверо-востока. Ни скалы, ни даже камня, чтобы присѣсть и укрыться отъ непогоды. Всюду одинъ глубокій снѣгъ, который взметаетъ вѣтеръ. Термометръ показываетъ тамъ нуль на солнцѣ въ самые теплые лѣтніе дни. Вотъ что такое Большое Плато, гдѣ Жаку Бальма совершенно одному пришлось не спать, ибо заснуть въ такихъ обстоятельствахъ значило болѣе не проснуться, но дожидаться разсвѣта съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій день вновь подвергаться такимъ же опасностямъ.

Приходишь въ изумленіе, представляя себѣ этого удивительнаго человѣка, совершенно одного, потеряннаго среди обширныхъ неизвѣстныхъ снѣжныхъ пустынь, не имѣющаго ничего, кромѣ своего мужества и преслѣдующей его идеи, чтобы идти на встрѣчу столь великимъ опасностямъ, съ увѣренностью, что въ случаѣ несчастія ему не можетъ придти отъ людей никакой помощи.

Въ теченіе дня, при чрезмѣрномъ возбужденіи ходьбы, необычайности пейзажей, надеждѣ на успѣхъ, время идетъ быстро. Но ночью, когда одолеваетъ усталость, безъ достаточной провизіи, съ ногами въ снѣгу, при температурѣ 10 градусовъ ниже нуля, часы должны казаться вѣками. Трескъ ломающихся ледниковъ и продолжительный громъ скатывающихся лавинъ, смѣняющіе одинъ другой въ мертвой тишинѣ этихъ высокихъ областей, способны навести ужасъ на душу самую закаленную.

Наконецъ показался разсвѣтъ. Согрѣвъ себя движеніями, Бальма

вновь отправился на поиски. Ему показалось, когда онъ спускался, что на срединѣ спуска есть склонъ, правда крутой, однако же доступный, ведущій прямо къ скалѣ недалеко отъ вершины. Онъ рѣшилъ по нему взобраться. Когда онъ достигъ его, этотъ склонъ оказался такимъ крутымъ, а снѣгъ настолько твердымъ, что держаться не было почти



«Старый проходъ» — проходъ Бальма.

никакой возможности. Превозмогая чрезвычайное утомленіе, Бальма вырубалъ ступеньки желѣзнымъ наконечникомъ своей палки и такимъ образомъ карабкался кверху.

«Это не была вещь легкая или занимательная, — рассказываетъ онъ, — висѣть такимъ образомъ на одной ногѣ съ перспективой бездны подъ собою и вырубать такого рода лѣсенки. Наконецъ, благодаря

упорству, я достигъ вершины скалы. О, сказалъ я себѣ, я почти что тамъ; отсюда и дотуда (я хотѣлъ сказать—до вершины Монблана) болѣе мнѣ ничто не мѣшаетъ, все равно—какъ ледъ; болѣе не надо дѣлать лѣсенокъ. Но я околѣлъ отъ холода и былъ почти мертвъ отъ усталости и голода. Было поздно; я долженъ былъ спуститься, но на этотъ разъ съ увѣренностью опять подняться при первой хорошей погодѣ и достичь успѣха.

«Вернувшись домой, я былъ почти слѣпъ отъ солнца, отражаемаго ослѣпительнымъ снѣгомъ.

«Жена дала мнѣ поѣсть, хотя мнѣ больше хотѣлось спать, чѣмъ ѣсть. Она уговаривала меня идти спать въ мою комнату, но я боялся, что меня будутъ беспокоить мухи; я заперся въ ригу, легъ на сѣно и проспалъ, не просыпаясь, 24 часа».

Эта попытка, въ которой Бальма почти что достигъ вершины, была сдѣлана имъ 8, 9 и 10 іюля 1786 года.

По возвращеніи въ Шамуни Бальма держалъ свое открытіе въ секретѣ. Но съ этихъ поръ онъ былъ совершенно увѣренъ въ успѣхѣ. Послѣ нѣсколькихъ дней необходимаго отдыха онъ рассчитывалъ снова подняться на Монбланъ, съ увѣренностью, что на этотъ разъ ему удастся достигнуть вершины. Никто, даже жена не знала о его намѣреніи. Онъ узналъ между тѣмъ, что сельскій докторъ Паккаръ, ученый медикъ, не менѣе хорошій натуралистъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страстный любитель горныхъ экскурсій, намѣревается также сдѣлать попытку восхожденія. Бальма сообщилъ ему свое открытіе и предложилъ отправиться вмѣстѣ, отчасти, чтобы имѣть свидѣтеля, стчасти, чтобы имѣть товарища, который могъ быть полезенъ если не дѣломъ, то добрымъ совѣтомъ. Паккаръ охотно согласился. Наступила однако дурная погода, заставившая ихъ три недѣли прождать благоприятнаго для восхожденія времени. Въ секретѣ дѣлали они свои приготовленія, пока, наконецъ, 7-го августа погода показалась Бальма благоприятной. Онъ пришелъ къ доктору.

— Что же докторъ,—сказалъ онъ ему,—считаете вы себя способнымъ на такое восхожденіе? Вы не боитесь ни холода, ни снѣга, ни обрывовъ? Говорите прямо.

— Я ничего не боюсь съ тобою, Бальма.

— Прекрасно. Пришло время лѣзть на Бѣлый Пригорокъ.

«Докторъ сказалъ, что онъ совершенно готовъ, но въ то время, какъ онъ затворялъ свою дверь, мнѣ показалось, рассказывалъ Бальма Александру Дюма, что у него не доставало бодрости, такъ какъ ключъ не выходилъ изъ замочной скважины; онъ повертывалъ его два раза, вертѣлъ назадъ, запиралъ снова.

— Послушай, Бальма,—прибавилъ онъ,—не будетъ ли лучше, если мы возьмемъ еще двухъ другихъ гидовъ?

— Нѣтъ,—сказалъ я ему,—я взойду одинъ съ вами, или вы пойдете съ другими; я хочу быть первымъ, а не вторымъ.

«Онъ съ минуту подумалъ, вынулъ свой ключъ, положилъ его въ карманъ и послѣдовалъ за мною машинально, съ опущенной головой. Черезъ минуту онъ встряхнулъ головой:

— Хорошо,—сказалъ онъ,—я полагаюсь на тебя, Бальма. Въ дорогу! и будемъ уповать на милость Божію.

Потомъ онъ сталъ гѣть, но не очень вѣрно. Бѣдный докторъ, это его беспокоило».

Передъ отправленіемъ они зашли къ знакомому торговцу сиропомъ и поручили ему и еще другому своему пріятелю слѣдить за ними при помощи телескопа въ извѣстное время, когда они рассчитывали быть около вершины.

Захвативъ немного, что было нужно, и сказавъ прости своимъ женамъ, они отправились, одинъ по правому, другой по лѣвому берегу Арвы, чтобы никто не могъ догадаться, что они затѣваютъ. Каждый несъ свою провизію, доведенную до минимальныхъ размѣровъ, какъ будто бы это была простая прогулка. За послѣднимъ поселкомъ у подножія Монтанъ де-ля-Котъ Бальма и докторъ соединились вмѣстѣ и начали восхождение.

Этотъ первый день прошелъ почти безъ опасностей. Бальма и Паккаръ достигли до верха Монтанъ де-ля-Котъ и тамъ провели ночь подъ скалою у начала ледника. На другой день, рано утромъ, Бальма разбудилъ доктора. Восходъ былъ безоблаченъ, солнце встало яркое и сіяющее, обѣщая прекрасный день. Съ зарею они вступили на избожденный трещинами ледникъ.

«Первые шаги доктора,—разсказываетъ Бальма,—были нетверды, но видя, какъ я шелъ, онъ приобрѣлъ увѣренность. Скоро мы оставили Гранъ Мюле позади насъ. Я указалъ мѣсто, гдѣ я провелъ свою первую ночь. Докторъ сдѣлалъ значительную гримасу и, помолчавъ минутъ десять сказалъ: «Думаете вы, Бальма, что мы сегодня достигнемъ вершины?» Я не обѣщалъ ничего. Еще болѣе двухъ часовъ мы продолжали подниматься по тому же пути. Послѣ Большого Плато поднялся вѣтеръ и становился все сильнѣе и сильнѣе. Наконецъ, когда мы достигли того мѣста, гдѣ изъ снѣга выдаются скалы, названныя нами Пти Мюле, сильный порывъ вѣтра сорвалъ съ доктора шляпу. Я видѣлъ, какъ она унеслась прочь, въ то время, какъ онъ съ распростертыми руками смотрѣлъ ей слѣдъ. «Докторъ,—сказалъ я,—вы готовы опечалиться; вы ея больше не увидите. Она укатилась въ Пьемонтъ. Адъё!»

«Я едва закрылъ ротъ, какъ налетѣлъ такой сильный порывъ вѣтра, что заставилъ насъ лечь на животъ, и десять минутъ мы не могли подняться. Докторъ пришелъ въ отчаяніе. Что касается меня, я подумалъ тогда о завочникѣ, который долженъ былъ слѣдить за

нами, и всталъ при первой возможности; но докторъ могъ слѣдовать за мною только на четверенькахъ. Такимъ образомъ мы дошли до мѣста, откуда могла быть видна деревня; я досталъ свою зрительную трубку и увидалъ двѣнадцать тысячъ футовъ внизу нашего лавочника и съ нимъ толпу зрителей деревни, которые искали насъ въ зрительныя трубки. Уваженіе къ самому себѣ заставило доктора идти на своихъ ногахъ, и въ тотъ моментъ, какъ онъ всталъ, они замѣтили насъ, его въ его толстомъ кафтанѣ и меня въ моемъ обыкновенномъ платьѣ. Далеко внизу они махали своими шляпами, и я отвѣчалъ имъ тѣмъ же.

«У доктора не хватало больше силъ идти на ногахъ, и никакія увѣщанія не могли заставить его держаться прямо. Издержавъ все свое краснорѣчіе и видя, что я только теряю время, я сказалъ ему, чтобы онъ, по крайней мѣрѣ, двигался и согрѣвался, насколько возможно. Онъ слушалъ, не понимая, и отвѣчалъ: «да, да», чтобы только отъ меня избавиться. Онъ страдалъ отъ холода, и я самъ окоченѣлъ. Я пошелъ одинъ, сказавъ, что вернусь къ нему назадъ. «Да, да» отвѣчалъ онъ. Я снова совѣтовалъ ему не оставаться безъ движенія; но не слѣзая я и тридцати шаговъ, какъ, оглянувшись, увидалъ, что онъ, вмѣсто того, чтобы ходить и ударять ногой объ ногу, чтобы оживить ихъ, сидѣлъ, повернувшись спиной къ вѣтру.

«Съ этихъ поръ дорога не представляла какой либо особенной трудности, но по мѣрѣ того, какъ я поднимался выше, воздухъ становился все менѣе и менѣе удобнымъ для дыханія. Я долженъ былъ останавливаться каждые десять шаговъ. Казалось, будто у меня была пустая грудь и не было легкихъ, и холодъ одолевалъ меня все сильнѣе и сильнѣе. Я шелъ, опустивъ лицо внизъ, но скоро, поднявъ голову, увидалъ, что, наконецъ, я на вершинѣ Монблана. Я оглядывался вокругъ, дрожа при мысли, какъ бы я не ошибся, что увижу какой-нибудь новый пикъ, на который у меня не будетъ силъ взобраться, такъ какъ сочлененія моихъ ногъ держались, казалось, только при помощи штавовъ. Но нѣтъ, нѣтъ! Я достигъ цѣли своего путешествія. Я былъ тамъ, гдѣ ранѣе еще никто не былъ. Тогда я обратился къ Шамуни, махая своей палкой на концѣ палки, и видѣлъ при помощи моей трубки, что снизу отвѣчали мнѣ.

«Когда прошелъ этотъ моментъ возбужденія, я подумалъ о моемъ бѣдномъ докторѣ. Спускаясь къ нему какъ можно быстрѣе, я звалъ его по имени, почти содрогаясь при мысли, что не услышу отъ него отвѣта. Черезъ четверть часа я увидалъ его издали свернувшимся въ шаръ, безъ движенія, не смотря на крики, которые онъ, конечно, долженъ былъ слышать. Я нашелъ его перегнувшимся вдвое съ головой между колѣнъ, подобно коту, свернувшемуся муфтой. Я ударилъ его по плечу, и онъ механически поднялъ голову. Я сказалъ ему, что я достигъ вершины Монблана, но это, повидимому, интересовало его

весьма мало, такъ какъ онъ отвѣчалъ только вопросамъ, гдѣ бы ему лечь и заснуть. Я сказалъ ему, что онъ пришелъ затѣмъ, чтобы подняться на вершину, и что онъ долженъ идти туда. Я толкалъ его, поднималъ за плечи и заставлялъ пройти нѣсколько шаговъ; но онъ казался отупѣвшимъ и ему какъ будто было все равно, подниматься ли вверхъ, или спускаться внизъ. Однако движенія, которыя я заставлялъ его дѣлать, возобновили нѣсколько его кровообращеніе, и онъ спросилъ, нѣтъ ли у меня другой пары перчатокъ въ карманѣ, въ родѣ тѣхъ, какія были на моихъ рукахъ. Они были изъ заячьего мѣха и сдѣланы специально для такихъ случаевъ, безъ раздѣленія между пальцами. Въ подобномъ положеніи я долженъ былъ бы отдать обѣ своему брату, но я далъ ему только одну... Немного спустя послѣ шести часовъ мы были на вершинѣ Монблана».

Около часу времени они провели на вершинѣ.

«Было семь часовъ; дня оставалось только два часа съ половиною; была пора возвращаться. Я снова взялъ Паккара подъ руку, помахалъ своей шляпой въ видѣ послѣдняго сигнала тѣмъ, которые были внизу, и мы начали спускаться. Не было никакого направляющаго слѣда, кромѣ небольшихъ ямокъ, сдѣланныхъ остриями желѣзныхъ наконечниковъ нашихъ палокъ. Паккаръ былъ не лучше, чѣмъ дитя, безъ воли и энергій, котораго я велъ, гдѣ было удобно, и тащилъ, гдѣ идти было плохо. Начиналась ночь, когда мы переходили большую трещину, и застала насъ ниже Большого Плато. Паккаръ останавливался каждую минуту, объявляя, что онъ не можетъ идти далѣе, и я долженъ былъ принуждать его идти впередъ не убѣжденіями, но силой. Въ одиннадцать часовъ мы вышли изъ міра льда и поставили ногу на твердую почву».

Они спустились до вершины Монтань-де-ля-Котъ, гдѣ провели ночь наканунѣ. Здѣсь Бальма замѣтилъ, что докторъ не владѣетъ своими руками и потерялъ въ нихъ чувствительность. Онъ снялъ ему перчатки. Руки доктора были бѣлы и омертвѣли. Одна рука Бальма была въ такомъ же состояніи.

Бальма сказалъ доктору, что у нихъ у обоихъ отморожены три руки изъ четырехъ, но докторъ хотѣлъ только лечь и заснуть, хотя и сказалъ Бальма, чтобы онъ теръ свою руку снѣгомъ. Средство было недалеко. Бальма началъ на докторѣ и кончилъ на себѣ. Скоро кровообращеніе возобновились, а вмѣстѣ съ нимъ вернулась и теплота, но съ самой жестокой болью. Бальма завернулъ потерявшаго способность движенія доктора въ шерстяное одѣяло, положилъ его подъ защитою скалы; они немного поѣли и выпили, прижались другъ къ другу какъ можно ближе, и заснули.

На другой день утромъ Паккаръ сказалъ Бальма:

— Я слышу чириканье птицъ, а день еще не наступилъ.

— Это потому, что вы не видите, — отвѣчалъ Бальма: — солнце встало

но толстая корка гноя въ глазахъ дѣлаетъ васъ въ настоящее время слѣпымъ; это дѣйствіе отраженія солнечнаго блеска зеркальными снѣгами. Но въ Шамуни вы вылечитесь, обмазавъ лицо сливками или пивной пѣной. Со мной случалось то же самое нѣсколько разъ. Между тѣмъ я натаю немного воды, вы умоетесь, мы вмѣстѣ позавтракаемъ и отправимся въ дорогу».

Съ большимъ трудомъ дошелъ Паккаръ до подножія горы, держась за ремень у мѣшка своего проводника. Но нѣсколько дней отдыха и употребленіе указаннаго Бальма средства заставили пройти воспаленіе. Бальма говоритъ, что онъ самъ былъ неузнаваемъ. «У меня были красные глаза, черное лицо и синія уши».

Такъ было совершенно первое восхожденіе на вершину Монблана. Докторъ и Бальма были встрѣчены радостными привѣтствіями своихъ друзей и всего населенія. Ихъ чествовали, поздравляли, всѣ имъ удивлялись. Черезъ четыре дня Бальма отправился въ Женеву возвѣстить Соссюру о своемъ успѣхѣ. Но Соссюръ узналъ о немъ еще ранѣе черезъ посланнаго къ нему изъ Шамуни вѣстника.

На слѣдующій годъ послѣдовало восхожденіе на Монбланъ самого Соссюра ради произведенія научныхъ наблюденій, къ которымъ онъ такъ давно стремился. Подробности его восхожденія разсказаны имъ въ его «Путешествіяхъ въ Альпы», изъ которыхъ я приведу здѣсь выдержки.

«Публика узнала изъ различныхъ періодическихъ извѣстій, что въ августѣ мѣсяцѣ прошедшаго года два шамоньяра, докторъ медицины Паккаръ и гидъ Жакъ Бальма, достигли вершины Монблана, которая до тѣхъ поръ считалась недоступной.

«Я узналъ объ этомъ на слѣдующій день и отправился на мѣсто, чтобы попытаться послѣдовать по ихъ пути, но дождь и снѣгъ принудили меня отложить это до настоящаго сезона. Я оставилъ съ Жакомъ Бальма комиссію, чтобы изслѣдовать гору въ самомъ началѣ іюня и немедленно увѣдомить меня, какъ только она сдѣлается доступной по уменьшенію зимняго снѣга. Между тѣмъ я отправился въ Провансъ, чтобы произвести на уровнѣ моря нѣкоторые опыты, которые могли быть сравнены съ тѣми, которые я разсчитывалъ сдѣлать на Монбланѣ.

«Жакъ Бальма сдѣлалъ двѣ неудачныя попытки въ іюнѣ мѣсяцѣ; тѣмъ не менѣе онъ написалъ мнѣ, что онъ не сомнѣвается, что мы будемъ въ состояніи подняться въ началѣ іюля. Я отправился тогда въ Шамуни. Въ Салланшѣ я встрѣтилъ снѣлаго Жака Бальма, который шелъ въ Женеву возвѣстить мнѣ о своемъ послѣднемъ успѣхѣ; онъ взошелъ на вершину горы вмѣстѣ съ двумя другими гидами. Когда я прибылъ въ Шамуни, шелъ дождь и дурная погода продолжалась около четырехъ недѣль. Но я рѣшилъ лучше прождать до конца сезона, чѣмъ пропустить благоприятный случай.

«Наконецъ, наступилъ давно желанный моментъ, и я отправился въ

путь 1-го августа 1787 г. въ сопровожденіи слуги и 18 гидовъ, которые несли мои физическіе инструменты и всё принадлежности, которыя мнѣ были нужны. Мой старшій сынъ страстно желалъ сопровождать меня, но я опасался, что онъ еще недостаточно силенъ и привыченъ для экскурсій подобнаго рода. Я принудилъ его отказаться. Онъ остался въ селѣ, гдѣ весьма тщательно производилъ наблюденія, соотвѣтствующія тѣмъ, которыя я дѣлалъ на вершинѣ.

«Хотя отъ села Шамуви до вершины Монблана по прямой линіи едва двѣ съ четвертью мили, эта экскурсія всегда требовала около 18 часовъ ходьбы, такъ какъ есть дурныя мѣста, обходы и около 1.920 туазовъ поднятія.

«Чтобы быть совершенно свободнымъ въ выборѣ мѣста, гдѣ провести ночь, я приказалъ взять съ собою палатку, и въ первый вечеръ расположился на ночлегъ подъ палаткой на вершинѣ Монтанъ де-ля-Котъ, которая лежитъ къ югу отъ села, выше его на 779 туазовъ. Этотъ день свободенъ отъ безпокойствъ и опасностей: идти приходится постоянно по травѣ или по скаламъ и путь легко проходитъ въ пять или шесть часовъ. Но отсюда до вершины приходится идти только по льду и снѣгу.

«Второй день не изъ легкихъ. Прежде всего приходится пересѣчь ледникъ де-ля-Котъ *), чтобы достигъ подножія небольшой цѣпи скалъ, находящихся среди снѣговъ Монблана **). Этотъ ледникъ труденъ и опасенъ. Онъ прорѣзанъ большими, глубокими и неправильными трещинами, и часто ихъ нельзя перейти иначе, какъ по снѣжнымъ мостикамъ, иногда очень узкимъ и висящимъ надъ бездною. Одинъ изъ моихъ гидовъ едва тамъ не погибъ. Онъ пошелъ наканунѣ съ двумя другими, чтобы разузнать дорогу; по счастью, они взяли предосторожность связаться другъ съ другомъ веревками. Снѣгъ подъ нимъ провалился посреди огромной и глубокой трещины, и онъ остался подвѣшеннымъ между двумя своими товарищами. Мы проходили совсѣмъ вблизи отверстія, которое подъ нимъ образовалось, и я содрогнулся при видѣ опасности, которую онъ претерпѣлъ. Переходъ черезъ ледникъ настолько труденъ и утомителенъ, что намъ потребовалось три часа, чтобы пройти отъ вершины Монтанъ де-ля-Котъ до первыхъ скалъ изодированной цѣпи, хотя по прямой линіи было никакъ не болѣе четверти льѣ.

«Достигнувъ этихъ скалъ, мы удаляемся отъ нихъ, описывая зигзаги, по небольшой равнинѣ, наполненной снѣгомъ, идущей съ сѣвера къ югу, вплоть до подножія самой высокой вершины. Эти снѣга прорѣзаны здѣсь и тамъ огромными величественными трещинами. Ихъ чистый разрѣзъ обнаруживаетъ горизонтальное напластованіе снѣга, и каждый

*) Джонксіонъ—соединеніе ледника де-Воссонъ и ледника Таконуа.

**) Гранъ Мюле.

изъ этихъ пластовъ соотвѣтствуетъ одному году. Какова бы ни была ширина этихъ трещинъ, ни въ одномъ мѣстѣ невозможно увидѣть дна.

«Мои гиды хотѣли провести ночь на одной изъ скалъ, которая мы стрѣчали на пути; но такъ какъ наиболѣе возвышенныя изъ нихъ еще а 600—700 туазовъ ниже вершины, я хотѣлъ подняться выше. Для того приходилось сдѣлать стоянку среди снѣговъ, и мнѣ стоило большого труда склонить къ этому моихъ товарищей по путешествію. Они воображали, что ночью среди этихъ высокихъ снѣговъ царствуетъ совершенно невыносимый холодъ, и серьезно опасались тамъ погибнуть. Я имъ сказалъ наконецъ, что я, по крайней мѣрѣ, рѣшилъ идти туда съ тѣми изъ нихъ, въ комъ я увѣренъ, что мы глубоко выроемъ снѣгъ, покроемъ это углубленіе полотномъ палатки, соберемся тамъ всѣ вмѣстѣ и такимъ образомъ не будемъ чувствовать холода, какъ бы силенъ онъ ни былъ. Это ихъ успокоило, и мы пошли впередъ. Въ четыре часа вечера мы достигли второго изъ трехъ большихъ снѣжныхъ плато, которыя намъ нужно было переходить. Тамъ мы расположились на ночевку, на высотѣ 1.455 туазовъ выше села и 1.995 выше уровня моря, 90 туазовъ выше вершины пика Тенерифа. Мы не пошли до послѣдняго плато*), такъ какъ оно открыто для лавинъ. Первое плато, которое мы переходили, также не изъято отъ нихъ. Намъ пришлось переходить двѣ изъ такихъ лавинъ, упавшихъ послѣ послѣдняго путешествія Бальма, и обломки которыхъ покрывали долину во всю ея ширину.

«Мои гиды прежде всего принялись раскапывать мѣсто, на которомъ мы должны были провести ночь, но они очень скоро почувствовали дѣйствіе разрѣженности воздуха (барометръ показывалъ всего 17 дюймовъ 10 линій). Эти сильные люди, для которыхъ семь или восемь часовъ ходьбы, которые намъ пришлось сдѣлать, не стоютъ ровно ничего, не подняли пяти или шести лопатъ снѣга, какъ почувствовали себя неспособными продолжать: имъ приходилось смѣняться ежеминутно. Одинъ изъ нихъ, возвратясь назадъ, чтобы взять боченокъ воды, которую мы видѣли въ трещинѣ, почувствовалъ себя дурно, пришелъ безъ воды и провелъ вечеръ въ самыхъ тягостныхъ страданіяхъ. Я самъ, настолько привыкшій къ горному воздуху, что чувствую себя въ немъ лучше, чѣмъ въ воздухѣ долинъ, былъ изнуренъ отъ усталости, приготавливая свои метеорологическіе инструменты. Это недомоганье производило палющую жажду, и мы не могли добыть воды иначе, какъ тая снѣгъ. такъ какъ вода, которую мы видѣли при поднятіи, когда за нею всрѣтились, была найдена замерзшею, и небольшая жаровня, которую я велѣлъ взять съ собой, служила весьма медленно поочередно для двадцати человекъ.

«Съ середины этого плато, заключеннаго между послѣдней вершиной Монблана съ юга, его высокими откосами съ востока и Домомъ дю-

*) Большое Плато.

Гутѣ съ запада, не видно почти ничего, кромѣ чистыхъ снѣговъ, ослѣпительной бѣлизны, составляющихъ на высокихъ вершинахъ необыкновенный контрастъ съ почти чернымъ небомъ этихъ высокихъ областей. Тамъ не видно никакого живого существа, никакого признака растительности: это царство холода и молчанія. Представляя себѣ доктора Паккара и Жака Бальма, прибывшихъ первыми, на склонѣ дня, въ эти пустыни, безъ крова, безъ помощи, не зная даже, могутъ ли люди жить въ тѣхъ мѣстахъ, куда они собирались идти, и тѣмъ не менѣе неустрашимо преслѣдующихъ свое предпріятіе, я удивлялся ихъ силѣ духа и ихъ смѣлости.

«Мои гиды, все преслѣдуемые предвзятымъ страхомъ холода, такъ тщательно закрыли всѣ соединенія палатки, что я сильно терпѣлъ отъ жары и испорченнаго дыханіемъ воздуха. Я долженъ былъ выходить ночью, чтобы подышать. Луна ярко блистала на небѣ, темною какъ черное дерево. Юпитеръ всходилъ, также весь окруженный лучами, сзади самой высокой вершины на востокѣ Монблана, и свѣтъ, отражаемый всѣмъ этимъ снѣговымъ бассейномъ, былъ настолько яркъ, что можно было различить только звѣзды первой и второй величины. Мы наконецъ стали засыпать, какъ были разбужены шумомъ большой лавины, покрывшей большую часть склона, по которому намъ предстояло карабкаться завтра. На разсвѣтѣ термометръ стоялъ на 3 градуса ниже точки замерзанія.

«Мы отправились поздно, такъ какъ нужно было натаять воды для завтрака и на дорогу; ее выпивали тотчасъ же, какъ она была готова, и эти люди, свято охранявшіе вино, которое я взялъ съ собою, непрерывно покидали у меня воду, которую я бралъ про запасъ.

«Сначала мы поднялись на третье и послѣднее плато *), затѣмъ взяли влѣво, чтобы достичь наиболѣе возвышенной скалы, лежащей къ западу отъ вершины. Наклонъ чрезвычайно крутъ, мѣстами достигаетъ 39 градусовъ; онъ повсюду спускается въ бездны, а поверхность снѣга была настолько тверда, что тѣ, которые шли первыми, не могли быть увѣрены въ своихъ шагахъ, не проламывая его топоромъ. Намъ потребовалось два часа, чтобы вскарабкаться по этому наклону, который имѣетъ въ вышину около 250 туазовъ. Достигнувъ послѣдней скалы **), мы взяли вправо, къ западу, чтобы взобраться по послѣднему наклону, вышина котораго по перпендикулярному направленію почти 150 туазовъ. Эта покатость имѣетъ наклонъ всего въ 28—29 градусовъ и не представляетъ никакой опасности, но воздухъ тамъ настолько рѣдокъ, что силы истощаются весьма быстро. Около вершины я не могъ сдѣлать пятнадцати или шестнадцати шаговъ, чтобы не остановиться передохнуть; время отъ времени я чувствовалъ даже

*) Большое Плато.

**) Красныя скалы.

начало обморока, что заставляло меня садиться. Но по мѣрѣ того, какъ дыханіе возобновлялось, я чувствовалъ, что силы возвращаются; отправляясь снова въ путь, мнѣ казалось, что я въ состояніи дойти за одинъ разъ до вершины горы. Всѣ мои гида, соотвѣтственно ихъ силамъ, были въ такомъ же состояніи. Намъ потребовалось два часа отъ послѣдней скалы до вершины, и было одиннадцать часовъ, когда мы туда прибыли.

Путь Сосюра на Монбланъ въ 1787 г. Звѣздочки обозначаютъ останки на почвѣ.



«Моя первые взгляды были устремлены къ Шамуни, гдѣ, я зналъ, моя жена и ея двѣ сестры, не отрывая глазъ отъ телескопа, съ большимъ безпокойствомъ слѣдили за каждымъ моимъ шагомъ, и я почувствовалъ пріятное и утѣшительное ощущеніе, увидавъ развѣвающійся флагъ, который онѣ обѣщали мнѣ вывѣсить въ тотъ моментъ, какъ онѣ увидятъ, что я достигъ вершины, и ихъ опасенія, стануть менѣе напряженными.

«Затѣмъ я безъ угрызенія совѣсти могъ любоваться великимъ зрѣлищемъ, которое было подъ моими глазами. Легкія испаренія, взвѣшенныя въ нижнихъ областяхъ воздуха, мѣшали мнѣ видѣть предметы наиболѣе низкіе и наиболѣе удаленные, какъ, напр., равнины Франціи и Ломбардіи; но я не много сѣтовалъ о такой потерѣ: то, зачѣмъ я пришелъ и что я увидѣлъ самымъ яснымъ образомъ, это былъ общій ансамбль всѣхъ громаднѣхъ вершинъ, узнать организацію которыхъ я стремился такъ долго. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ: мнѣ казалось, что это былъ сонъ, когда я видѣлъ подъ моими ногами эти величественныя вершины, эти грозныя иглы: Миди, Аржентьеръ, Гигантъ, доступъ даже къ основаніямъ которыхъ былъ для меня такъ труденъ и опасенъ. Я схватывалъ ихъ отношенія, ихъ связь, ихъ структуру, и одинъ взглядъ устранялъ сомнѣнія, которыя не могли разъяснить годы работы.

«Между тѣмъ мои гиды растянули палатку и поставили тамъ небольшой столъ, на которомъ я долженъ былъ производить мои опыты. Но когда я началъ размѣщать свои инструменты, я каждую минуту долженъ былъ прерывать свою работу, чтобы заботиться о своемъ дыханіи. Если принять въ соображеніе, что барометръ стоялъ всего на 16 дюймахъ и 1 линіи, и что такимъ образомъ плотность воздуха была не болѣе половины обыкновенной, то понятно, что приходилось возмѣщать недостатокъ плотности частотою вдыханій. Эта частота дыханія ускоряла движеніе крови, тѣмъ болѣе, что давленіе на артеріи извнѣ не было равно тому, которое онѣ испытываютъ обыкновенно. Такимъ образомъ, мы всѣ были въ лихорадочномъ состояніи.

«Пока я оставался совершенно покойнымъ, я испытывалъ лишь небольшое недомоганье, легкую склонность къ тошнотѣ. Но если я работалъ или напрягалъ свое вниманіе въ теченіе нѣсколькихъ минутъ сряду, и въ особенности когда я, нагибаясь, сдавливалъ грудь, мнѣ нужно было отдохнуть и въ теченіе двухъ или трехъ минутъ переводить дыханіе. Мои гиды испытывали то же; они не имѣли никакого аппетита, да и наша провизія, которая въ дорогѣ вся замерзла, не могла его возбудить. Имъ не было даже дѣла до вина и водки. Въ самомъ дѣлѣ, они испытали, что крѣпкіе напитки увеличиваютъ это недомоганье, безъ сомнѣнія ускоряя еще болѣе быстроту кровообращенія. Помогала и приносила удовольствіе только одна свѣжая вода, но требовалось время и трудъ зажигать огонь, безъ котораго мы не могли ея имѣть.

«Я оставался, однако, на вершинѣ до трехъ часовъ съ половиной, и хотя не терялъ ни одного момента, я не могъ произвести въ эти четыре часа съ половиной всѣхъ тѣхъ экспериментовъ, которые я часто дѣлалъ менѣе чѣмъ въ три часа на берегу моря. Я, однако, тщательно сдѣлалъ тѣ, которые были наиболѣе существенны.

«Покинувъ этотъ великолѣпный бельведеръ, я спустился въ три четверти часа къ скалѣ, образующей восточное плечо вершины. Спускъ по этому наклону, восхожденіе по которому было такъ затруднительно,

былъ легкокъ и пріятенъ: снѣгъ не былъ ни слишкомъ твердъ, ни слишкомъ мягокъ, и такъ какъ движеніе, которое производится при спусканіи, совершенно не сжимаетъ діафрагмы, то дыханіе нисколько не затрудняется и нисколько не страдаетъ отъ рѣдкости воздуха. Въ мѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ этотъ склонъ широкъ и удаленъ отъ обрывовъ, то ничто не внушаетъ опасеній и не замедляетъ спуска. Но не такъ было со спускомъ, ведущимъ отъ вершины плеча къ плато, на которомъ мы провели ночь. Большая крутость этого спуска, невыносимый блескъ солнца, отражаемый снѣгомъ, который падалъ намъ въ глаза и благодаря которому освѣщаемые имъ обрывы подъ нашими ногами казались самыми ужасными, дѣлали его безконечно труднымъ. Въ мѣстѣ съ тѣмъ, поскольку твердость снѣга дѣлала утромъ нашу ходъбу легкой, постольку его мягкость, произведенная солнечнымъ жаромъ, намъ мѣшала вечеромъ, ибо въ глубинѣ подъ размягченной поверхностью онъ былъ твердъ и скользокъ.

«Такъ какъ всѣ мы сомнѣвались въ этомъ спускѣ, то нѣкоторые изъ гидовъ, въ то время, какъ я производилъ на вершинѣ свои наблюденія, искали какого-нибудь другого пути; но ихъ поиски остались тщетными, и намъ пришлось слѣдовать при спускѣ по тому же пути, который мы слѣдали при подъемѣ. Однако, благодаря заботливости моихъ гидовъ, мы спустились безъ всякой случайности и менѣе, чѣмъ въ часъ съ четвертью. Мы прошли возлѣ того мѣста, гдѣ мы, если не спали, то, крайней мѣрѣ, отдыхали прошлую ночь, и спустились еще одно лѣе далѣе до скалы, около которой мы останавливались при восхожденіи. Я рѣшилъ провести тамъ ночь: я велѣлъ поставить палатку у южной оконечности этой скалы въ мѣстѣ по истинѣ единственномъ въ своемъ родѣ—на снѣгу, на краю очень крутого наклона, спускающагося съ равнины, надъ которой возвышается Домъ дю-Гутэ, съ его короной сераковъ *), и заканчивающагося къ югу вершиной Монблана. Внизу этого склона простиралась глубокая и широкая трещина, поглощавшая все, что падало изъ окрестности нашей палатки.

«Мы выбрали это мѣсто, чтобы избѣжать опасности отъ лавинъ, и для того, чтобы не быть скученными въ палаткѣ, какъ предъидущую ночь, такъ какъ гиды нашли убѣжище въ расщелинахъ скалъ.

«Здѣсь я убѣдился, что это была именно разрѣженность воздуха, которая безпокоила насъ на вершинѣ, ибо, если бы это была усталость,

*) Въ Альпахъ даютъ названіе серака особаго рода бѣлому и плотному сыру, приготовляемому изъ сыворотки, который сжимаютъ въ прямоугольныхъ ящикахъ, въ которыхъ онъ получаетъ форму прямоугольныхъ параллелепипедовъ. Снѣгъ на большихъ высотахъ часто принимаетъ эту форму, замерзая послѣ того, какъ онъ отчасти пропитался водой. Онъ становится тогда въ высшей степени плотнымъ; въ этомъ состояніи, если толстый слой такого затвердѣвшаго снѣга находится на покатоствѣ, по которой онъ сползаетъ всей массой, то его тяжесть заставляетъ его ломаться на почти прямоугольные куски, нѣкоторые изъ которыхъ имѣютъ до 50 футовъ по всѣмъ измѣреніямъ и которые, благодаря ихъ однородности, бываютъ такъ правильны, какъ будто бы они были обрѣзаны ножомъ. (Прим. Соссюра).

мы должны были бы чувствовать себя хуже послѣ долгаго и утомительнаго спуска; но, наоборотъ, мы ѣли съ прекраснымъ аппетитомъ, и я безъ всякаго неудобства производилъ свои наблюденія. Я думаю, что высота, на которой начинаютъ чувствоваться болѣзненные эффекты, совершенно опредѣлена для каждаго отдѣльнаго лица. Я чувствую себя прекрасно до 1.900 туазовъ надъ уровнемъ моря, но начинаю чувствовать недомоганіе, подымаясь выше.

«Я любовался кучами облаковъ, которыя плавали подъ нашими ногами, надъ равнинами и горами менѣе высокими. Эти облака, вмѣсто того, чтобы представлять ровныя пластины или поверхности, какъ они видны, если смотрѣть снизу вверхъ, имѣли формы въ высшей степени странныя,—башенъ, замковъ, гигантовъ, и ихъ, казалось, подымали вертикальные вѣтры, исходившіе отъ различныхъ мѣстъ, расположенныхъ внизу. Выше этихъ облаковъ я видѣлъ кайму горизонта, состоящую изъ двухъ лентъ: нижней темнокрасной и верхней—болѣе свѣтлой, изъ которой какъ будто поднималось пламя прекрасной авроры, измѣнчивое, прозрачное, отливавшее различными нюансами.

«Мы весело и съ прекраснымъ аппетитомъ поужинали, послѣ чего я провелъ чудную ночь на своемъ матрацѣ. Только тогда я почувствовалъ радость, что исполнено намѣреніе, сдѣланное 27 лѣтъ тому назадъ во время моего перваго путешествія въ Шамуни, въ 1760 году,—проектъ, отъ котораго я такъ часто отказывался, и который былъ для моей семьи постояннымъ предметомъ заботы и безпокойства. Это намѣреніе имѣло характеръ своего рода болѣзни: мои глаза не встрѣчали Монблана, который виденъ изъ столькихъ нашихъ окрестностей, безъ того, чтобы я не испытывалъ нѣкотораго рода болѣзненнаго чувства. Въ тотъ моментъ, когда я его достигъ, мое удовлетвореніе не было полно; еще менѣе оно было въ моментъ моего отправленія назадъ: я видѣлъ тогда только то, чего я не былъ въ состояніи сдѣлать. Но въ тишинѣ ночи, послѣ того, какъ я хорошо отдохнулъ отъ усталости, припоминая собранныя мною наблюденія, возстановляя въ особенности великолѣпную картину горъ, которую я унесъ запечатлѣнной въ своей головѣ, и сохранивъ наконецъ прочную надежду окончить на Колдю Жанъ то, чего я не сдѣлалъ, и чего, вѣроятно, никогда не сдѣлаютъ на Монбланѣ, я чувствовалъ истинное и ненарушимое удовлетвореніе.

«4-го августа, въ четвертый день путешествія мы отправились лишь около шести часовъ утра. Мы вышли на скалы въ девять часовъ съ половиною, оставивъ за собою всѣ трудности и опасности. Намъ потребовалось оттуда только два часа и три четверти до села Шамуни, куда я имѣлъ удовольствіе возвратить всѣхъ моихъ гидовъ въ полномъ здоровьи.

«Мое возвращеніе было вмѣстѣ и радостно, и трогательно; всѣ родственники и друзья моихъ гидовъ пришли обнять ихъ и поздравить съ возвращеніемъ. Моя жена, мои сестры и сыновья, проведеншіе вмѣстѣ:

въ Шамуни долгое и тягостное время въ ожиданіи этой экспедиціи, многіе изъ нашихъ друзей, прибывшіе изъ Женевы, чтобы присутствовать при нашемъ возвращеніи, выражали въ этотъ счастливый моментъ свое удовольствіе, которое предшествовавшія опасенія дѣлали еще болѣе живымъ и трогательнымъ.

«Я провелъ въ Шамуни еще слѣдующій день, чтобы сдѣлать нѣкоторыя сравнительныя наблюденія, послѣ чего мы всѣ благополучно возвратились въ Женеву, откуда я снова увидѣлъ Монбланъ съ истиннымъ удовольствіемъ и безъ того безпокойнаго тягостнаго чувства, которое онъ причинялъ мнѣ прежде».

Такъ было совершено первое научное восхожденіе на Монбланъ. Прежде чѣмъ перейти къ другимъ научнымъ изслѣдованіямъ, произведеннымъ на его вершинѣ, здѣсь умѣстно будетъ сказать нѣсколько словъ о судьбѣ Жака Бальма.

Его стремленіе прославить себя какимъ-нибудь необыкновеннымъ подвигомъ, его страсть къ рискованнымъ предпріятіямъ, къ побѣдѣ надъ опасностями, получила наибольшее возможное удовлетвореніе въ достиженіи высочайшей вершины Европы, считавшейся дотогѣ совершенно недоступной. Но поиски за кристаллами развили въ немъ еще другую страсть,—стремленіе къ быстрому обогащенію на счетъ сокровищъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ горъ. Воздѣлываніе отцовскаго поля, предложеніе услугъ въ качествѣ гида путешественникамъ его не удовлетворяютъ. Онъ отдается поискамъ минераловъ и въ особенности драгоценныхъ рудъ.

Неопредѣленные извѣстія заставили его думать, что въ нѣдрахъ высокихъ горъ, окружающихъ съ сѣверо-востока долину Сикста, лежащую къ сѣверу отъ Шамуни, существуетъ богатая золотonosная жила. Въ сентябрѣ 1834 года, слѣдовательно, уже 72-хъ-лѣтнимъ старикомъ, отправляется онъ ее разыскивать. Но, дойдя до указаннаго мѣста, онъ нашелъ его неприступнымъ. Приходилось переходить черезъ ужасный скалистый откосъ по узкому карнизу, наклоненному къ безднѣ. Видъ такой опасности охладилъ его страхомъ и на этотъ разъ онъ отказался отъ своего безумнаго предпріятія. Но нѣсколько времени спустя, соединившись съ однимъ безстрашнымъ охотникомъ за сернами, онъ возвратился вмѣстѣ съ нимъ на поиски и на этотъ разъ, не смотря на увѣщанія и просьбы своего товарища, остался упоренъ: онъ находился какъ бы въ состояніи помраченія. Бальма ступилъ на узкій карнизъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и исчезъ. Его товарищъ, взволнованный, въ полномъ отчаяніи, возвратился одинъ въ состояніи, близкомъ къ помѣшательству. Всякая помощь была для несчастнаго Бальма бесполезна: его смерть должна была быть мгновенна. Онъ упалъ съ высоты болѣе 400 шаговъ въ глубину пропасти, загроможденной обломками скалъ, въ которую ежеминутно скатываются ледяныя лавины.

Поиски за тѣломъ Бальма, предпріятыя его сыновьями, остались

безуспѣшны. 10 лѣтъ спустя гиды Шамуни возобновили ихъ, чтобы найти, по крайней мѣрѣ, останки славнаго гида и предать ихъ христіанскому погребенію. Но и на этотъ разъ они не повели ни къ чему: не было никакой возможности спуститься въ страшную бездну, гдѣ подъ камнями и снѣжными лавинами нашелъ свою могилу безстрашный гидъ, имя котораго навсегда осталось выраженіемъ идеала для его преемниковъ.

Такимъ образомъ только черезъ 27 лѣтъ удалось Соссюру осуществить свое давнишнее намѣреніе. То, о чемъ мечталъ юноша, было исполнено зрѣлымъ мужемъ, уже вступающимъ на порогъ старости. 27 лѣтъ готовился онъ къ завоеванію грозной вершины, которой наконецъ достигъ. Лишь долголѣтними правильными упражненіями подготовилъ онъ свои члены и сдѣлалъ ихъ способными къ такому восхожденію.

Но экскурсія въ горахъ Шамуни только слабая часть, правда, для него лично наиболѣе симпатичная, того, что сдѣлано Соссюромъ для изученія горъ и совершающихся въ нихъ процессовъ, ихъ жизни. Онъ исходилъ и исколотилъ своимъ геологическимъ молоткомъ всѣ горы Оверни и Виварэ, всѣ пики Пиренеевъ, анализировалъ лаву Этны на краю ея кратера, изучалъ и сравнивалъ всѣ температуры озеръ Швейцаріи и Савойи съ Средиземнымъ моремъ, не говоря о томъ, что имъ сдѣлано въ другихъ областяхъ естествознанія. Его изслѣдованія и классическія описанія горъ, проникнутыя той живой и высокой поэзіей, до которой можетъ подниматься только познающій духъ естествоиспытателя, проникающаго въ самыя сокровенныя тайны природы, справедливо заслужили ему названіе Гомера Альповъ.

Существуютъ три типа ученыхъ. Одни почерпаютъ свои познанія въ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ и описанныхъ другими. Ихъ поприще дѣятельности—книга. Они приводятъ въ порядокъ, сравниваютъ и даютъ на основаніи такого сравненія критическую оцѣнку трудовъ другихъ своихъ собратій. Ихъ дѣятельность очень полезна и даже необходима, ибо имъ всего яснѣе, куда слѣдуетъ въ данное время направить научныя силы. Они имѣютъ, если угодно, значеніе генеральнаго штаба для дѣйствующей научной арміи. Другой родъ ученыхъ посвящаетъ себя экспериментальной дѣятельности. Ихъ сфера — музей и лабораторіи. Они изучаютъ явленія природы въ ихъ наиболѣе чистомъ видѣ, достигаемомъ, большею частью, только искусственными средствами, животныхъ и растенія вырванными изъ ихъ обстановки, лишенными жизни и разложенными на свои составныя части. При точномъ умѣ, который часто отличаетъ такого рода ученыхъ, они наиболѣе глубоко проникаютъ въ тайны природы, и имъ по преимуществу наука обязана установленіемъ точныхъ законовъ. Наконецъ, поле дѣятельности третьяго рода ученыхъ составляетъ вся природа съ ея явленіями неорганической и органической жизни, какъ они происходятъ въ

дѣйствительности, во всемъ ихъ великолѣпіи. Изученіе жизни во всемъ ея цѣломъ составляетъ ихъ предметъ. Такого рода ученые отличаются часто особымъ поэтическимъ величіемъ и склонностью къ созранію цѣлостныхъ мировоззрѣній. Часто невозможно сказать, гдѣ здѣсь кончается поэтъ и начинается философъ и естествоиспытатель; Гумбольдтъ и Гёте особенно яркіе представители такого типа ученыхъ. Къ этому же типу принадлежалъ Соссюръ. Какъ и Гёте,

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
Съ говоръ древесныхъ листовъ понималъ
И чувствовалъ травъ провябанье;
Ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

11. МАЙ. 1899

Восхождение Соссюра положило начало цѣлому ряду другихъ научныхъ изслѣдованій, произведенныхъ на вершинѣ Монблана. Самъ Соссюръ на слѣдующій годъ за восхожденіемъ на Монбланъ поднялся съ цѣлью дополненія произведенныхъ тамъ наблюденій вмѣстѣ съ сыномъ на Шею Гиганта (Коль дю-Жанъ) въ той же цѣпи Монблана (3.362 метра), гдѣ оставался при ужасномъ вѣтрѣ цѣлыхъ пятнадцать дней.

За Соссюромъ послѣдовали другіе ученые, но уже много спустя, когда восхожденія на Монбланъ стали болѣе обычными.

31-го іюля 1844 года трое французскихъ ученыхъ—Мартинъ, Браве и Лепилеръ въ сопровожденіи 48 проводниковъ и носильщиковъ отправились на Большое Плато съ цѣлью произведенія научныхъ наблюденій. Ихъ застала буря; большая часть гидовъ ихъ покинула и они остались только впятеромъ съ двумя гидами подъ на-скоро поставленной палаткой. Такъ они провели ночь, полную опасностей, и на слѣдующій день должны были спуститься. Черезъ шесть дней они возобновили свою попытку, но были вновь застигнуты бурей и должны были и на этотъ разъ вернуться назадъ. Наконецъ, 27-го августа имъ удалось достигнуть вершины Монблана, гдѣ они произвели много интересныхъ наблюденій.

Въ 1857 году 12-го августа сдѣлалъ свое первое восхождение на Монбланъ знаменитый изслѣдователь ледниковъ Тиндаль, повторявшій восхождение и въ слѣдующіе года. Въ 1858 году онъ помѣстилъ на вершинѣ Монблана на глубинѣ четырехъ футовъ минимальный термометръ съ привязанной къ нему желѣзной проволокой для измѣренія, какъ низко падаетъ температура во время зимы. Но на слѣдующій годъ термометра нельзя было отыскать. Вторая попытка была не болѣе удачна: на этотъ разъ термометръ, не смотря на то, что онъ былъ зарытъ въ снѣгу, нашли совершенно разбитымъ. Эти факты, равно какъ и другіе, о которыхъ придется говорить далѣе, указываютъ, что снѣгъ на вершинѣ Монблана не лежитъ неподвижно, но въ немъ совершаются нѣ-

которыя движенія, какія—увидимъ дагѣ. Это подтверждаетъ также то, что рассказываетъ о движеніи снѣга на вершинѣ Монблана Маркгамъ Шервиль: Наполеонъ I приказалъ поставить по кресту на Монбланѣ, Монъ Розѣ и Буэ. На Монбланѣ крестъ не стоялъ отвѣсно уже спустя четыре часа послѣ того, какъ былъ поставленъ, и упалъ совершенно нѣсколько дней спустя.

Въ 1859 году Тиндаль рѣшился провести ночь на вершинѣ Монблана, чтобы сдѣлать утромъ нужныя наблюденія. Но имъ и его гидами овладѣла горная болѣзнь, и утромъ они возвратились въ самое отчаянное состояніе.

Въ томъ же году за Тиндалемъ послѣдовалъ другой извѣстный изслѣдователь ледниковъ и особенно ихъ движенія—капитанъ Форбестъ.

Въ 1859 и 1861 г. сдѣлалъ два научныхъ восхожденія докторъ Питнеръ. На ледникахъ Большого Плато онъ провелъ первый разъ 14 дней и второй разъ 16 дней.

Въ 1863 и 1864 гг. на Монбланъ поднимались нѣсколько медиковъ для изслѣдованія на самихъ себѣ и своихъ спутникахъ симптомовъ горной болѣзни.

Научныя наблюденія на вершинѣ Монблана производились еще Годкинсономъ 14-го іюля 1866 г. и профессоромъ Сорэ изъ Женевы 21-го іюля 1867 г.

Дальнѣйшія наблюденія на вершинѣ Монблана тѣсно связаны съ именами Юлія Валло изъ Гренобля и доктора Жансена, президента французской академіи наукъ. Имъ наука обязана, кромѣ многочисленныхъ и весьма цѣнныхъ наблюденій, также устройствомъ на Монбланѣ постоянныхъ обсерваторій.

Валло сдѣлалъ свое первое восхожденіе на Монбланъ 6-го августа 1875 года съ цѣлью измѣренія солнечной радіаціи. Онъ нашелъ, что температура солнечныхъ лучей на вершинѣ Монблана на 4 градуса выше, чѣмъ у подножія ледника де-Боссонъ. Этими объясняются тѣ часто непріятныя дѣйствія солнечныхъ лучей, которыя оказываютъ они при высокихъ поднятіяхъ.

Съ тѣхъ поръ Валло съ энтузіазмомъ отдается изученію Монблана. Въ 1887 году онъ провелъ ради метеорологическихъ и другихъ наблюденій на вершинѣ Монблана три дня и три ночи. До тѣхъ поръ еще никто не рѣшался ночевать на вершинѣ Монблана, кромѣ Тиндаля, который, какъ мы видѣли, сильно за это заплатился. Трехдневное пребываніе Валло также стоило ему страшныхъ трудностей, читая о которыхъ невольно проникаешься уваженіемъ къ человѣку, который рѣшается на такія лишенія и прямо физическія страданія изъ за одной чистой любви къ знанію. Когда Валло достигъ вершины, имъ овладѣлъ такой сильный приступъ горной болѣзни, сопровождавшійся рвотой, что онъ въ безсиліи принужденъ былъ лежать на снѣгу. Это, однако, его не остановило, и онъ съ своимъ спутникомъ Ришаромъ и двумя гидами

оставался на вершинѣ Монблана цѣлыхъ три дня. За все это время они совершенно не имѣли аппетита и не могли ѣсть; даже чашка чаю производила дурное дѣйствіе. На третью ночь одинъ изъ гидовъ вышелъ изъ палатки и возвратился въ большой тревогѣ, говоря, что воздухъ полонъ электричества. Валло вышелъ посмотрѣть. Отъ палатки, отъ сооружеія, прикрывавшаго инструменты, и отъ него самого исходилъ сильный шумъ, производимый тысячею искръ. «Мои волосы, — говоритъ онъ, — встали и какъ будто изъ меня каждый изъ нихъ выдергивали поодиночкѣ. Искры чувствовались по всему тѣлу; наружи нельзя было оставаться безъ боли; мы буквально купались въ электричествѣ».

Важные научные результаты, полученные Валло во время его пребыванія на вершинѣ Монблана въ 1887 году, привели его къ мысли построить на Монбланѣ постоянную обсерваторію, въ которой можно было бы съ большимъ удобствомъ продолжать свои наблюденія. Не смущаясь многочисленными, встрѣтившимися ему, затрудненіями, онъ приступилъ къ дѣлу. Такъ какъ вершина Монблана покрыта вѣчнымъ снѣгомъ и тамъ нельзя найти твердой опоры для зданія, то Валло выбралъ для своей будущей обсерваторіи небольшую скалу у подножія нижняго изъ двухъ снѣжныхъ горбовъ, называемыхъ Горбами Верблюда (Боссъ дю-Дромадере) на высотѣ 4.400 метровъ надъ уровнемъ моря, около 400 метровъ ниже вершины. Община Шамуни дала нѣкоторую субсидію на постройку съ тѣмъ, чтобы зданіе служило одновременно и убѣжищемъ для путешественниковъ, гдѣ бы они могли имѣть за небольшую плату пристанище въ случаѣ необходимости. Въ іюлѣ 1890 года была начата постройка при помощи 110 гидовъ, назначенныхъ общиной для бесплатной переноски матеріаловъ. Возведеніе зданія было сопряжено съ большими затрудненіями. Мѣшала дурная погода, припадки горной болѣзни парализовали усилія работниковъ. Наконецъ, послѣ различныхъ неожиданностей, обсерваторія-убѣжище была окончена въ первыхъ дняхъ августа и обошлась въ 11.000 франковъ; кромѣ того 18.000 франковъ было затрачено на инструменты. Зданіе имѣетъ 5 метровъ въ длину и по 3 въ ширину и высоту. Оно было раздѣлено на двѣ части — убѣжище для путешественниковъ, которое было сдѣлано бесплатнымъ даже въ случаѣ ночевки, и обсерваторію. Впослѣдствіи, въ 1891 году, убѣжище было отдѣлено отъ обсерваторіи, и для него было выстроено отдѣльное зданіе. Обсерваторія построена цѣликомъ изъ дерева съ двойными дверями и окнами; стѣны и крыша защищены толстыми слоями просмоленнаго войлока, негораемаго и непромокаемаго. Ученые всѣхъ національностей имѣютъ право останавливаться и работать на обсерваторіи, испросивъ предварительно разрѣшеніе Валло и указавъ въ общихъ чертахъ предметъ ихъ занятій.

Постройка обсерваторіи Валло надѣлала много шума, и Валло получалъ самыя желѣпыя предложенія, какъ-то: построить телеграфъ отъ

вершины до подножія Монблана или построить при помощи мостовъ на широкихъ аркахъ желѣзнодорожную линію, и другія глупости, порожденныя величіемъ предпріятія, оконченнаго съ такимъ успѣхомъ.

Валло намѣревался также прибавить къ своей обсерваторіи извѣстное количество промежуточныхъ станцій для зарегистрированія давленія, температуры и гигрометрическаго состоянія. Онъ надѣялся начать свои наблюденія одновременно на Боссъ, въ Гранъ Мюле, на Пьеръ Пуантю, въ Шамуни и въ Салланшъ. Лѣтомъ должны быть устраиваемы станціи на вершинѣ Монблана, Иглѣ дю-Гутэ и на Флежерѣ; кромѣ того должны быть возведены постройки, чтобы ученые могли съ удобствомъ останавливаться тамъ для своихъ наблюденій. Насколько Валло удастся осуществить свой грандіозный проектъ, покажетъ будущее. Его обсерваторія на Боссъ уже принесла свои плоды,



Д-ръ Жансенъ.

и наблюденія Валло были опубликованы въ «Анналахъ центральнаго метеорологическаго бюро во Франціи» и «Анналахъ метеорологической обсерваторіи на Монбланѣ».

Вскорѣ за обсерваторіей Валло было возведено новое зданіе, о которомъ не мечталъ даже самъ Валло, — постоянная обсерваторія на самой вершинѣ Монблана, которой наука обязана доктору Жансену.

Пьеръ-Юлій-Цезарь Жансенъ (род. въ Парижѣ 22-го февр. 1822 г.), президентъ французской академіи наукъ и директоръ обсерваторіи въ Медонѣ, извѣстный своими многочисленными изслѣдованіями, считающийся во Франціи первымъ пропагаторомъ спектральнаго анализа и небесной фотографіи, составляющихъ основанія современной астрономіи, олицетворяетъ въ своей особѣ тотъ боевой отрядъ науки, къ которому всегда прибѣгаютъ въ особо экстренныхъ случаяхъ. Нельзя

не удивляться энергіи и неутомимости этого человѣка. Врядъ ли кто другой исполнилъ столько научныхъ миссій, какъ Жансенъ. Въ 1857 г. онъ отправился въ Перу для опредѣленія магнитнаго экватора; въ 1861 г. ѣздилъ для астрономическихъ наблюдений въ Италію; въ 1867 г. онъ командировался на Санторіанъ и Азорскіе острова, а въ 1868 г. въ Индію для наблюденія полнаго солнечнаго затменія. Въ 1870 г. онъ былъ отправленъ академіей наукъ для наблюденія затменія 22-го декабря, видимаго въ Алжирѣ. Чтобы попасть на свой постъ, онъ долженъ былъ покинуть осажденный Парижъ на воздушномъ шарѣ, во время бури, которая пронесла его 400 километровъ въ 5 часовъ. Въ слѣдующемъ 1871 г. Жансенъ получаетъ новую командировку въ Индію, во время которой онъ открылъ существованіе новой газообразной оболочки вокругъ солнца и опредѣлилъ положеніе дѣйствительнаго магнитнаго экватора; въ 1874 г. онъ былъ посланъ въ Японію для наблюденія прохожденія Венеры черезъ дискъ солнца, а по возвращеніи оттуда для наблюденія полнаго солнечнаго затменія въ Сіамѣ. Въ 1885 г. онъ находился на Каролинскихъ островахъ и посѣтилъ Гавай, гдѣ изучалъ кратеръ во время изверженія, для чего провелъ на немъ въ наблюденіяхъ нѣкую ночь.

Въ первый разъ Жансенъ поднимался на Монбланъ до Гранъ Мюле въ 1888 году съ цѣлью изученія важнаго вопроса относительно присутствія кислорода на солнцѣ, который онъ разрѣшилъ окончательно въ три послѣднія свои восхожденія на Монбланъ, придя къ заключенію, что кислорода во внѣшнихъ оболочкахъ солнца нѣтъ. Онъ посѣтилъ обсерваторію Валло черезъ нѣсколько недѣль послѣ того, какъ она была построена, съ цѣлью произведенія спектроскопическихъ наблюдений, поднялся затѣмъ 22-го августа 1890 года въ первый разъ на самую вершину Монблана. Жансену въ это время было уже 68 лѣтъ, и его силы физическія совершенно не соотвѣтствовали его силамъ нравственнымъ. Это человѣкъ замѣчательный по своей энергіи, храбрости и настойчивости въ преслѣдованіи своихъ предпріятій, и въ то же время онъ совершенно не способенъ вскарабкаться на гору и нѣсколько футовъ и такъ слабъ на ногахъ, что съ трудомъ ходитъ даже по ровному мѣсту. Небольшія сани, запряженныя 12 проводниками, доставили его на вершину Монблана. Впослѣдствіи онъ повторилъ свое восхожденіе еще два раза, при чемъ второй разъ его поднимали часть пути при помощи ворота, служившаго для поднятія строительнаго матеріала для обсерваторіи.

Послѣ своего перваго восхожденія на вершину Монблана Жансенъ пришелъ къ заключенію, что было бы весьма важно построить обсерваторію на самой вершинѣ Монблана.

Черезъ мѣсяцъ спустя Жансенъ вошелъ въ академію съ предложеніемъ относительно постройки постоянной обсерваторіи на Монбланѣ, отъ которой наука можетъ ждать весьма важныхъ результатовъ, вслѣд-

ствіе ея положенія на столь возвышенномъ мѣстѣ въ совершенно прозрачной атмосферѣ. Онъ заключилъ такими словами: «Я полагаю, что было бы весьма важно для астрономіи, физики и метеорологіи, если бы была построена обсерваторія на вершинѣ по крайней мѣрѣ примыкающей къ вершинѣ Монблана. Я знаю, что будутъ сдѣланы возраженія относительно возведенія постройки такого рода на такомъ высокомъ



Восхождение д-ра Жансена на Монбланъ.

мѣстѣ, котораго можно достигнуть только съ большими затрудненіями и которое часто посѣщается бурями. Эти затрудненія дѣйствительно существуютъ, но они не непреодолимы. Я не могу вдаваться въ то, какъ это сдѣлать, и удовольствуюсь тѣмъ, что скажу, что съ тѣми средствами, которыя наши инженеры могутъ представить въ наше рас-

пораженіе, и съ такими горцами, какими мы располагаемъ въ Шамуни и прилежащихъ долинахъ, проблема можетъ быть разрѣшена, когда мы пожелаемъ».

Предложеніе было принято, найдены необходимыя средства и учреждена коммиссія по постройкѣ, дѣйствительнымъ предсѣдателемъ которой былъ Жансенъ, отдавшійся дѣлу со всей своей энергіей и энтузіазмомъ. Возведеніе обсерваторіи представляло однако много трудностей, часто такихъ, которыя нельзя было предвидѣть заранѣе, и самая затѣя была встрѣчена почти всеобщимъ недоувѣріемъ. Дѣло въ томъ, что на самой вершинѣ Монблана нѣтъ никакой видимой скалы; возведеніе же постройки прямо на снѣгу всѣми считалось дѣломъ невозможнымъ. На совѣщаніе былъ призванъ Эйфель, извѣстный строитель башни на французской выставкѣ, и изъявилъ готовность построить обсерваторію на самой вершинѣ Монблана, если будетъ найдено скалистое основаніе на глубинѣ не болѣе 50 футовъ ниже поверхности снѣга. Онъ выразилъ также готовность взять на себя издержки по предварительнымъ разслѣдованіямъ.

Скалы выдаются черезъ снѣгъ съ трехъ различныхъ сторонъ отъ вершины Монблана: это такъ называемая Турнеттъ справа отъ вершины около 140 метровъ ниже послѣдней, Пти Мюле, подъ вершиной, если смотрѣть отъ Шамуни, въ 129 метрахъ, и Туреттъ всего въ 52 метрахъ ниже вершины, со стороны противоположной отъ Шамуни. Самая вершина расположена, повидимому, на мѣстѣ соединенія трехъ или болѣе скалистыхъ хребтовъ, проглядывающихъ наружу недалеко отъ вершины въ трехъ указанныхъ мѣстахъ, и можно было думать, что самая верхняя оконечность горы расположена гдѣ-либо подъ снѣговой вершиной, такъ что была вѣроятность наткнуться на скалу при развѣдкахъ.

Эйфель поручилъ дирекцію этого дѣла швейцарцу Имфельду, и дѣйствительно, едва ли можно было найти человѣка, болѣе компетентнаго для этой цѣли. Начальникомъ рабочихъ былъ назначенъ гидъ Фредерикъ Пейо, одинъ изъ самыхъ способныхъ и опытныхъ гидовъ въ Шамуни, дѣлавшій восхожденіе на Монбланъ болѣе сотни разъ.

Съ цѣлью отысканія прочной скалы подъ снѣжнымъ покровомъ вершины Имфельдъ провелъ на 49 футахъ ниже послѣдней горизонтальный туннель въ снѣгу на протяженіи 96 футовъ. Проведеніе этого туннеля было сопряжено съ необыкновенными затрудненіями. Мѣшали снѣжныя бури, рабочіе страдали отъ горной болѣзни и не могли долго оставаться наверху. Но весь этотъ трудъ пропалъ даромъ. На всемъ протяженіи туннеля не было найдено никакой скалы. Эйфель отказался отъ предпріятія. Жансенъ провелъ при помощи Пейо туннель дальше на 75 футовъ подъ угломъ въ 45 градусовъ къ первоначальному направленію, но съ тѣмъ же результатомъ: никакой скалы не было найдено. Жансенъ рѣшилъ тогда поставить свою обсерваторію прямо на снѣгу, на высшей точкѣ хребта.

Возведеніе такой постройки представляло совершенно особья техническія затрудненія, и прежде всего необходимо было рѣшить два вопроса: во-первыхъ, будетъ ли обсерваторія, поставленная на вершинѣ, опускаться или нѣтъ, и во-вторыхъ, какихъ движеній снѣга слѣдуетъ опасаться. Чтобы разрѣшить первый вопросъ, былъ произведенъ опытъ въ Медонѣ. Свинцовая колонна вѣсомъ въ 792 фунта, но только въ одинъ футъ въ діаметрѣ, была поставлена на кучу снѣга, доведеннаго до той плотности, какую онъ имѣетъ на вершинѣ Монблана. Свинець опустился менѣе чѣмъ на одинъ дюймъ и Жансенъ счелъ этотъ результатъ утѣшительнымъ.

Что касается второго вопроса, то онъ былъ изслѣдованъ и опредѣленъ постройкой въ 1891 году небольшого деревяннаго зданія на вершинѣ Монблана, полъ котораго совпадалъ съ уровнемъ поверхности снѣга вершины. Уже черезъ два года оно значительно опустилось, а черезъ пять лѣтъ только небольшая часть зданія оставалась надъ поверхностью. Равнымъ образомъ туннель, проведенный на 49 футахъ ниже поверхности снѣга, находится въ настоящее время значительно ниже. Это указываетъ на то, что снѣгъ на вершинѣ Монблана постоянно опускается, чтобы поддерживать и питать ледники ввизу: на его мѣсто выпадаетъ новый и такимъ образомъ высота вершины остается постоянной. Но вершина 1891 года не была вершиной въ 1892 году, и вершина 1897 года не будетъ вершиной 1898 года. Такимъ образомъ, если нечего опасаться, что зданіе, поставленное на вершинѣ, будетъ опускаться въ снѣгъ, то есть большая вѣроятность, что оно рано или поздно опустится вмѣстѣ съ снѣгомъ. Такая перспектива грозитъ обсерваторіи Жансена, если только люди, сумѣвшіе построить обсерваторію на заоблачной вершинѣ Монблана, не найдутъ, въ случаѣ необходимости, средствъ компенсировать такое опусканіе.

Жансенъ не былъ смущенъ этимъ обстоятельствомъ и постоянно торопилъ окончаніемъ постройки. Обсерваторіи рѣшено было дать форму усѣченной четырехъ-угольной пирамиды, чтобы имѣть болѣе широкое основаніе и сдѣлать постройку менѣе доступной дѣйствию вѣтра; нижній этажъ ея рѣшено было углубить въ снѣгъ, что дѣлало зданіе болѣе устойчивымъ и обезпечивало за этой частью болѣе умѣренную температуру.

Зимой 1891—1892 года обсерваторія, сдѣланная частью изъ желѣза, частью изъ дерева, была построена въ Медонѣ, разобрана на части и доставлена въ Шамуни. Къ концу лѣтняго сезона 1892 года около четверти матеріала подъ руководствомъ Фредерика Пейо было переправлено на небольшія скалы—Малыя Красныя Скалы—въ 228 метрахъ ниже вершины, а остальное въ Гранъ Мюле. Тамъ матеріалъ былъ оставленъ на зиму. Начало 1893 года было занято откапываніемъ матеріала, зарытаго на скалахъ около вершины въ снѣгу на глубинѣ 25 футовъ и перенесеніемъ остающагося матеріала.

8-го сентября 1893 года постановка обсерваторіи была окончена. Въ этотъ самый день туда поднялся въ своихъ салазкахъ, которыя тащили гида, докторъ Жансенъ, съ многочисленнымъ караваномъ, неспимъ необходимые на первое время инструменты. Въ слѣдующихъ годахъ были поставлены инструменты болѣе массивныя. Главный изъ нихъ, метеорографъ, построенъ въ Парижѣ и стоилъ на наши деньги около 7.500 рублей. Онъ автоматически отмѣчаетъ барометрическое давленіе, максимумъ и минимумъ температуры, направление и силу вѣтра



Обсерваторія д-ра Жансена на Монбланѣ.

и такъ далѣе. Инструментъ этотъ приводится въ движеніе тяжестью въ 200 фунтовъ, падающей съ высоты 20 футовъ и ходъ его рассчитанъ такимъ образомъ, что въ продолженіи восьми мѣсяцевъ онъ можетъ быть предоставляемъ самому себѣ. Постановка этого инструмента была однимъ изъ главныхъ дѣлъ 1895 года. Въстѣ съ нимъ были перенесены также части большого телескопа, поставленнаго въ сентябрѣ 1896 года. Въ этомъ же году Жансенъ устроилъ на Гранъ-Мюле обсерваторію, подобную той, которая была построена на вершинѣ и снабженную такими же инструментами, съ цѣлью расширить и дополнить свои опыты.

Такъ завершено было научное завоеваніе Монблана, начатое Соссюромъ 110 лѣтъ тому назадъ.

Прив.-доц. Н. Ивановъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).



МИЦКЕВИЧЪ О ПУШКИНѢ.

(Переводъ съ польскаго *).

Промежутокъ времени между 1815 и 1830 г. былъ счастливымъ для поэтическаго творчества. Послѣ долгихъ и великихъ войнъ, Европа чувствовала себя утомленной сраженіями и конгрессами, бюллетенями и протоколами; печальная дѣйствительность стояла передъ ней во всемъ неприглядномъ видѣ, и она подымала взоры къ міру болѣе идеальныхъ стремленій. Тогда именно появился Байронъ и занялъ такое же мѣсто въ области творческой фантазіи, какое великому цезарю принадлежало на поприщѣ практической жизни. Судьба, неутомимо создававшая для Наполеона поводы къ новымъ войнамъ, долгимъ миромъ осѣнила Байрона, и во все время его поэтическаго владычества ни одно болѣе важное событіе не отвлекло вниманія Европы, занятой тогда англійской литературой.

Какъ разъ въ началѣ этого періода Александръ Пушкинъ окончилъ курсъ ученія въ Царскосельскомъ лицѣѣ.

Въ этомъ лицѣѣ была примѣнена заграничная метода, вслѣдствіе чего воспитанники не могли въ немъ приобрѣсти ничего такого, что оказалось бы полезнымъ для народнаго поэта. Скорѣе—наоборотъ: имъ угрожала опасность забыть и то, что они приобрѣли въ другомъ мѣстѣ, такъ какъ эта школа оставалась чуждой всѣмъ роднымъ традиціямъ и обычаямъ своей страны. Противоядіемъ противъ этой чужеземщины было чтеніе поэтическихъ произведеній русскихъ авторовъ, и особенно—Жуковскаго. Этотъ выдающійся писатель сначала подражалъ нѣмец-

*) Статя Мицкевича о Пушкинѣ первоначально была напечатана во французскомъ журналѣ «Globe». 27 мая 1837 г., и была подписана «Одинъ изъ друзей Пушкина»; затѣмъ, на польскомъ языкѣ она появилась въ народномъ изданіи полнаго собранія произведеній Мицкевича, изданномъ въ 1887 г. въ Варшавѣ (стоимостью—4 тома 80 к., въ переплетѣ 1 р.). Изъ этого изданія она и заимствована нами. Насколько намъ извѣстно, на русскомъ языкѣ она появляется впервые. Какъ могутъ убѣдиться читатели, она имѣетъ несомнѣнный интересъ, представляя не только мнѣніе гениальнаго поэта о другомъ геніѣ, но и вообще какъ историческое свидѣтельство современника Пушкина. *Ред.*

кимъ поэтамъ, а потомъ сравнился съ ними, стараясь придать русской поэзіи народный характеръ и для этого пользуясь преданіями и дѣйствительностью русской жизни. Такимъ путемъ Пушкинъ сдѣлался ученикомъ Жуковскаго; но очень скоро Байронъ оторвалъ его отъ реальной почвы и на долгіе годы увесъ въ фантастическія пустыни и пещеры романтизма.

Прочтя байроновскаго *Корсара*, Пушкинъ почувствовалъ себя поэтомъ, и посыпались въ громадномъ количествѣ, одно за другимъ, его произведенія, изъ которыхъ *Кавказскій Пльщикъ* (1821 г.) и *Бахчисарайскій Фонтанъ* (1822 г.) пользовались наибольшей извѣстностью. Трудно описать восторгъ, вызванный въ публикѣ появленіемъ въ свѣтъ этихъ поэмъ. Масса читателей была поражена новизной содержанія и поэтичностью формы; женщины дивились глубинѣ чувствъ молодого писателя и богатству его воображенія, а литераторы—силѣ и точности выраженій и красотѣ стиля его.

Пушкинъ сразу былъ признанъ первымъ поэтомъ въ своемъ отечествѣ. Такой легкій успѣхъ возбудилъ въ немъ желаніе новыхъ и быстрыхъ триумфовъ и много повредилъ спокойному развитію его силъ, такъ какъ онъ былъ еще ребенокъ,—необыкновенный, правда, но все же ребенокъ.

На Сѣверѣ моральная сторона челоуѣка созрѣваетъ позже, чѣмъ на Западѣ: сама общественная почва не содержитъ въ себѣ столько элементовъ движенія, какъ въ старой Европѣ, а литературная атмосфера, которою приходится тамъ дышать, носить въ себѣ менѣе электричества, страстнаго напряженія силъ. Поэтому Пушкинъ, начавъ слишкомъ рано жить, сталъ преждевременно тратить свой талантъ; а слишкомъ повѣривъ въ свое могущество, онъ поднялся на такую высоту, гдѣ не могъ удержаться самостоятельно и, поддавшись притягательному вліанію Байрона, закружился около этой звѣзды, подобно планетѣ втянутой въ ея систему и сіяя отраженнымъ ея свѣтомъ. И, дѣйствительно, въ его произведеніяхъ, относящихся къ этому періоду, все—байроновское: и сюжетъ, и характеры, и идея, и форма, хотя, не смотря на то, онъ далеко менѣе былъ подражателемъ своего любимаго поэта, чѣмъ выразителемъ его духа. Онъ не былъ фанатическимъ байронистомъ: скорѣе, онъ, такъ сказать, *байронизировалъ*. И если бы произведенія англійскаго поэта вовсе не существовали, Пушкинъ тѣмъ не менѣе былъ бы признанъ первымъ поэтомъ своей эпохи.

Подобное явленіе предвѣщало на Сѣверѣ великую революцію въ литературѣ; всѣ салонные разговоры вертѣлись около достоинствъ и недостатковъ новой школы поэтическихъ свѣтилъ. Каждую минуту въ Россіи могла вспыхнуть борьба между классицизмомъ и романтизмомъ, а въ то же самое время—что особенно важно—готовилась и политическая революція.

Нужно прежде всего замѣтить, что въ этой странѣ все живое

всегда, въ большей или меньшей степени, недовольно своимъ правительствомъ, на которое не только втихомолку жалуются, но часто и вслухъ отзываются о немъ дурно. И несмотря на то, никто не перестаетъ трудиться для него въ качествѣ чиновника или военнаго,--однимъ словомъ, всѣ служатъ этому самому правительству. Иностранецъ, не зная характера и значенія этой оппозиціи, постоянной и повсемѣстной, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вовсе не опасной, и видя повсюду враговъ существующаго порядка вещей и нигдѣ не встрѣчая его защитниковъ, склоненъ думать, что Россія ждетъ только удобной минуты и условнаго сигнала.

Это настроеніе умовъ, эти революціонные разговоры обманули даже и самихъ русскихъ, и, къ несчастью, самыхъ благородныхъ изъ нихъ. Небольшое число дворянъ и много военныхъ, пламенно желавшихъ свободы, повѣрили тому, что ихъ соотечественники искреннѣйшимъ образомъ раздѣляютъ ихъ чувства и что настала минута, когда можно ввести въ Россіи, если не республику, то, по крайней мѣрѣ, конституціонную монархію. И въ то самое время, когда на тайныхъ собраніяхъ организовался активный заговоръ, въ публикѣ старались распространять вольнодумныя понятія, при помощи писемъ и книгъ.

Русскіе литераторы образуютъ родъ братства, скрѣпленнаго не одними узами. Всѣ они—или богатые люди, или занимаютъ видное служебное положеніе и, по большей части, пишутъ ради извѣстности и славы. И такъ какъ талантъ у нихъ еще не превратился въ продажный купеческій товаръ, то между ними рѣдко замѣчается завистливое соперничество или корыстная ненависть,—по крайней мѣрѣ, мнѣ не пришлось наблюдать ни одного бросающагося въ глаза примѣра чего-либо подобнаго.

Литераторы любили часто для своихъ цѣлей собираться вмѣстѣ, и почти ежедневно видѣлись другъ съ другомъ, встрѣчаясь на вечерахъ, на домашнихъ чтеніяхъ, за пріятельскими бесѣдами. Поэтому не трудно было заговорщикамъ, которые по большей части были изъ литературной среды, находить себѣ многочисленныхъ союзниковъ какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Москвѣ.

Вскорѣ, какъ будто по данному знаку, вся русская литература стала на сторону оппозиціи. Кто не смѣлъ въ своихъ сочиненіяхъ касаться правительства, тотъ замкнулся въ грозномъ молчаніи. Къ чести русскихъ писателей, нужно признать, что въ этомъ случаѣ они обнаружили такую твердость духа и нелицепріятіе, примѣровъ которыхъ мы не нашли бы и въ странахъ, болѣе свободныхъ и болѣе цивилизованныхъ. Я глубоко убѣжденъ, что тѣ огромныя суммы, которыя выдаетъ русскій кабинетъ на подкупъ цѣлой массы услужливыхъ защитниковъ его за предѣлами государства, оказались бы недостаточными для того, чтобъ заплатить хотя бы одному изъ русскихъ литераторовъ, пользующихся почетною извѣстностью, хотя бы за одну журнальную статью, за самую легкую похвалу, даже за слово вѣжливости.

Пушкинъ, какъ и всѣ его друзья, былъ въ рядахъ оппозиціи и въ послѣдніе годы царствованія Александра I выпустилъ въ свѣтъ нѣсколько эпиграммъ не только на его министровъ, но и на его особу; онъ даже написалъ *Оду къ кинжалу* *). Эти летучія стихотворенія въ

*) У Пушкина, въ изданіи «Литературнаго фонда», подъ ред. П. О. Морозова, 1887 г., т. I, стр. 239,—это знаменитое стихотвореніе называется просто «Кинжалъ»:

Свободы тайный стражъ, карающій кинжалъ
Послѣдній судія поворота и обиды!
Для рукъ безсмертной Немезиды
Лемносскій богъ тебя сковаль.

Какъ адскій лучъ, какъ молнія боговъ,
Нѣмое левіе злодѣю въ очи блещеть,
И, озираясь, онъ трепещеть
Среди своихъ пировъ.

Вездѣ его найдеть ударъ надежный твой:
На сушѣ, на моряхъ, во храмѣ, подъ шатрами,
За потаенными замками,
На ложѣ вѣгъ, въ семьѣ родной.

Шумить подъ Кесаремъ завѣтный Рубиконъ,
Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ,
Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый...
Ты Кесаря сразилъ—и мертвъ объемлетъ онъ
Помпея мраморъ горделивый.

Гдѣ Зевса громъ молчать, гдѣ дремлетъ мечъ закона,
Свершитель ты проклятій и надеждъ;
Тайшся ты подъ сѣнью трона,
Подъ блескомъ праздничныхъ одеждъ.

Исчаде мятежа подьметъ злобный крикъ:
Презрѣнный, мрачный и кровавый
Надъ трупомъ вольности безглавой
Палачъ уродливый возникъ.

Апостолъ гибели, усталому Аиду
Перстомъ онъ жертвы назначалъ:
Но высшій судъ ему послалъ
Тебя и дѣву Эвмениду...

О юный праведникъ, избранникъ роковой,
О Зандъ, твой вѣкъ угасъ на плахѣ;
Но добродѣтели святой
Остался гласъ въ казенномъ прахѣ.

Въ твоей Германіи ты вѣчной тѣнью сталъ,
Грова бѣдой преступной сидѣ—
И на торжественной могилѣ
Горитъ безъ надписи кинжалъ.

рукописяхъ облетѣли всю Россію отъ Петербурга до Одессы и съ жадностью читались; ихъ комментировали и прославляли, и они доставили автору большую извѣстность, чѣмъ его позднѣйшія произведенія, имѣющія далеко болѣе высокую цѣнность. Впрочемъ, нужно сказать правду, для того, чтобы написать нѣчто подобное въ Россіи, нужно больше смѣлости, чѣмъ для поднятія возстанія на улицахъ Парижа или Лондона.

Съ того времени Пушкина стали считать главою интеллектуальной оппозиціи, политическимъ дѣятелемъ, опаснымъ для правительства. Самъ императоръ счелъ нужнымъ воспретить ему пребываніе въ столицѣ и выслать въ отдаленную губернію, что спасло ему жизнь, такъ какъ обширный заговоръ вскорѣ былъ раскрытъ. Мятежъ въ Петербургѣ прекратился, возстаніе въ южныхъ губерніяхъ было подавлено, и несчастливые революціонеры погибли на эшафотѣ или навсегда исчезли въ сибирскихъ рудникахъ.

Однако, наслѣдникъ Александра, Николай I, повидимому, обнаружилъ желаніе смягчить и измѣнить прежнюю систему, — по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ Пушкину. Онъ призвалъ его къ себѣ и далъ ему особую аудіенцію, во время которой долго разговаривалъ съ нимъ. Это былъ неслыханный случай, потому что никогда не бывало, чтобы царь принялъ въ аудіенціи человѣка, котораго на Западѣ называли бы пролетаріемъ и который въ Россіи имѣетъ еще менѣе значенія; ибо хотя Пушкинъ былъ по происхожденію дворянинъ, но въ административной іерархіи онъ не имѣлъ никакого чина. А въ Россіи человѣкъ безъ чиновничьяго ранга не имѣетъ никакого общественнаго значенія, — по званію онъ человѣкъ *благородный*, въ дѣйствительности же является существомъ *сверхштатнымъ*.

Во время этой достопамятной аудіенціи императоръ съ большимъ интересомъ говорилъ о поэзіи. Это, кажется, тоже былъ первый случай, что царь съ однимъ изъ своихъ подданныхъ бесѣдовалъ о литературѣ. Онъ поощрялъ его, совѣтуя отдаться работѣ, даже позволилъ ему печатать, что ему нравится, не обращаясь въ цензуру за разрѣшеніемъ. Такимъ образомъ Пушкинъ первый получилъ привилегію свободы печати, о чемъ исторія не должна забывать. Императоръ Николай обнаружилъ въ данномъ случаѣ необыкновенную дальновидность; онъ понялъ, что Пушкинъ былъ слишкомъ уменъ для того, чтобы злоупотреблять исключительной привилегіей, и имѣлъ слишкомъ возвышенную душу для того, чтобы не сохранить благодарнаго воспоминанія о такой необычайной милости. Либералы, однако, съ подозрѣніемъ смотрѣли на взаимное сближеніе этихъ двухъ властелиновъ. Начали обвинять Пушкина въ измѣнѣ дѣлу патріотизма, а такъ какъ его возрастъ и опытность налагали на него обязанность большей осмотрительности въ словахъ и большаго благоразумія въ поведеніи, то эту перемену стали приписывать расчетамъ эгоистическаго тщеславія.

Въ это время появились въ свѣтъ *Цыганы* (1824), а позже—*Ма-*

зена (1828), знаменитыя произведенія, доказывающія прогрессивную природу таланта Пушкина. Оба они основаны на дѣйствительности. Сюжеты ихъ просты; характеры героевъ глубоко продуманы и обрисованы съ увѣренной силой, а слогъ является уже болѣе свободнымъ отъ преувеличеній романтизма. Къ несчастью, байроновская форма еще стѣсняетъ его, какъ оружіе Саула стѣсняло движенія молодого Давида; но было уже очевидно, что онъ собирается освободиться отъ нея.

Тѣ отгѣвки, которые въ работахъ художника обозначаютъ переходъ изъ одной фазы развитія въ другую, ярко обнаруживаются въ *Оттиль* (1825—1831), самомъ прекрасномъ, самомъ оригинальномъ и наиболѣе народномъ изъ произведеній Пушкина. Онъ писалъ и печаталъ этотъ романъ по частямъ, какъ Байронъ — своего *Донъ-Жуана*. Началъ онъ его подражаніемъ англійскому поэту, затѣмъ старался идти собственными силами и кончилъ—истинной оригинальностью. Сюжетъ и герои *Оттиль* взяты изъ дѣйствительной жизни—изъ жизни обыкновенной; здѣсь, какъ и въ жизни бываетъ, моменты глубоко-трагическіе чередуются со сценами чисто-комическими.

Кромѣ названныхъ произведеній Пушкинъ написалъ драму, которую русскіе цѣнятъ высоко, ставя ее на ряду съ драмами Шекспира. Я не раздѣляю ихъ мнѣнія, но было бы нелегкимъ дѣломъ доказать справедливость моего взгляда. Достаточно будетъ напомнить, что Пушкинъ былъ еще слишкомъ молодъ для того, чтобы создавать историческіе характеры. Это былъ только опытъ драмы; но этотъ опытъ давалъ достаточно основаній понять, чего современемъ Пушкинъ могъ достигнуть. *Et tu Shakespeare eris, si fata sinant* *).

Драма *Борисъ Годуновъ* (1825) заключаетъ въ себѣ удивительныя не только частности, но и цѣлыя сцены. Больше всего прологъ кажется мнѣ такимъ оригинальнымъ, такимъ возвышеннымъ, что я не колеблюсь признать, что онъ—единственный въ своемъ родѣ, и не могу удержаться, чтобы не сказать о немъ нѣсколько словъ.

Послѣ смерти царя Ивана Жестокаго, или Грознаго, Борисъ Годуновъ присвоилъ себѣ власть надъ Москвой, живъ со свѣта предшественника своего. Вскорѣ послѣ этого претендентъ, выдавая себя за законнаго наслѣдника короны, прибылъ съ польской арміей, занялъ Москву и нѣкоторое время царствовалъ подъ именемъ Димитрія. Вотъ основа драмы. Дѣйствіе начинается въ царствованіе Годунова, въ тѣсной кельѣ одного изъ монастырей, въ которой нѣкій монахъ оканчиваетъ гѣтопись прежняго царствованія. Онъ перечитываетъ свою гѣтопись съ чувствомъ авторскаго удовольствія и спокойной важностью инока въ то время, какъ спящій у его ногъ молодой послушникъ начинаетъ метаться подъ впечатлѣніемъ страшнаго сна. Во снѣ онъ произноситъ странныя названія, упоминаетъ о событіяхъ, которыхъ знать не могъ.

*) И ты Шекспиромъ сталъ бы, если бы благоприятствовала судьба.

Наконецъ, пробудившись, онъ рассказываетъ о своемъ видѣннiи, о битвахъ и смутахъ, въ которыхъ онъ участвовалъ. Этотъ рассказъ, истинный смыслъ котораго ему не понятенъ, служить гѣтописцу матеріаломъ для окончанiя его хроники, даетъ ему силу угадать будущее и дѣлается пророческимъ символомъ всей драмы. Можно легко догадаться, что этотъ послушникъ явится претендентомъ на корону—лже-Димитріемъ.

Эта драма, какъ и все прочее, что написалъ Пушкинъ въ тѣ годы, отнюдь еще не даетъ истиннаго мѣрила его таланта. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, онъ прошелъ только часть назначеннаго ему жизненнаго поприща: ему было всего лишь тридцать лѣтъ. Тѣ, кто зналъ его тогда, замѣчали въ немъ большую пережѣну. Вмѣсто того, чтобы поглощать романы и заграничные дневники, исключительно занимавшіе его нѣкогда, ему хотѣлось слушать народные рассказы и пѣсни и читать исторію родной страны. Казалось, онъ навсегда оставилъ чужеземные края, пустилъ корни въ русскую почву и началъ срастаться съ своею родною землей. Въ его разговорахъ, которые дѣлались все болѣе серьезными, можно было замѣтить зародыши будущихъ его твореній. Онъ любилъ рѣшать возвышенные вопросы, религіозные и общественные, которые его соотечественникамъ и не снились. Очевидно, въ немъ происходило какое-то внутреннее превращеніе. И какъ человѣкъ, и какъ художникъ, онъ несомнѣнно измѣнился бы или, вѣрнѣе, нашелъ бы себя самого. Онъ даже пересталъ писать стихотворенія и напечаталъ лишь нѣсколько сочиненій историческихъ, которыя можно бы считать за нѣчто подготовительное.

Но къ чему онъ готовился? Имѣлъ ли онъ въ виду развивать свою эрудицію въ этомъ направленіи?

Конечно, нѣтъ! Онъ презиралъ авторовъ, пишущихъ безъ цѣли и направленія; онъ не любилъ философскаго скептицизма и художественнаго холода, какой видѣлъ въ Гёте.

Что творилось въ его душѣ? Пробуждался ли тамъ, въ тиши, тотъ духъ, который оживлялъ сочиненія Манцони или Пеллико, оплодотворялъ думы Томаса Мура, также умолкнувшаго? Быть можетъ, его воображеніе работало надъ воплощеніемъ идей въ родѣ Сен-Симона или Фурье?..

Мы не знаемъ. Въ его стихотвореніяхъ и въ его разговорахъ можно было найти слѣды и того, и другого направленія. Какъ бы то ни было, я держусь того убѣжденія, что его поэтическое молчаніе было счастливымъ предзнаменованіемъ для русской литературы. Я надѣялся, что скоро онъ появится на сценѣ совершенно новымъ человѣкомъ, во всемъ блескѣ своего дарованія, созрѣвшимъ, опытнымъ и сильнымъ. Всѣ, кто зналъ его, раздѣляли эти мои желанія... Одинъ пистолетный выстрѣлъ уничтожилъ всѣ надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла страшный ударъ интеллектуальной Россіи. Есть у нея и теперь выдающіеся писатели. Остался у нея

Жуковский, поэтъ, исполненный достоинствъ, изящества и чувства; Крыловъ, баснописецъ, богатый вымысломъ и несравненный въ выраженіяхъ; князь Вяземскій, который, благодаря своему остроумному уму, могъ бы даже и во Франціи занять почетное мѣсто; но никто изъ нихъ не замѣнитъ Пушкина. Ни одной странѣ не суждено болѣе чѣмъ одинъ разъ произвести человѣка съ такими необыкновенными и въ то же время столь разнообразными дарованіями, что, повидимому и какъ это обыкновенно бываетъ, они должны бы исключать другъ друга. Пушкинъ, талантомъ котораго такъ восхищались читатели, удивлялъ слушателей своихъ живостью, ясностью и точностью ума. Онъ обладалъ феноменальной памятью, строгой логичностью сужденій и утонченнымъ вкусомъ. О полетикѣ, какъ иностранной, такъ и внутренней, онъ такъ говорилъ, что его можно было принять за человѣка, посѣдѣвшаго среди государственныхъ дѣлъ и ежедневно читающаго отчеты о парламентскихъ засѣданіяхъ. Много враговъ себѣ онъ нажилъ своими эпитафиями и сарказмами, за которые они мстили ему клеветой.

Я зналъ его близко, въ теченіе долгаго времени, и считалъ его человѣкомъ впечатлительнымъ и подчасъ легкомысленнымъ, но всегда искреннимъ, благороднымъ и откровеннымъ. Его недостатки скорѣе зависѣли отъ обстоятельствъ, отъ среды, въ которой онъ жилъ, а то, что было въ немъ прекраснаго, исходило изъ его собственнаго сердца.

Умеръ онъ на тридцать восьмомъ году жизни *).

Перев. А. К.

*) 37 лѣтъ, 8 мѣс., 3 дня отъ роду: род. 26 мая 1799 г., умеръ 29 янв. 1837 г.
Ред.



Общественныя ученія и историческія теоріи XVIII и XIX вѣковъ.

Проф. Р. Вилпера.

(Продолженіе *).

V. Осужденіе культуры и патриархальная демократія.

Просвѣтительная публицистика своеобразно узко ставила понятіе культуры: культура, это—умственная свобода для немногихъ, просторъ для интеллектуальной аристократіи; культура, это—кругъ отчетливыхъ идей и представленій, поддающихся логическому опредѣленію и доказательству; культура, это—мягкіе нравы, порядокъ безъ давленія, общеніе безъ принудительности. Путь къ выработкѣ соотвѣтствующаго міровоззрѣнія лежалъ черезъ критику, часто насильству надъ традиціями, черезъ усвоеніе новыхъ научныхъ системъ, которыя опредѣляли мѣсто человѣка въ міровомъ процессѣ, на ряду съ другими элементами, но не занимались его личнымъ спасеніемъ.

Въ слѣдующихъ поколѣніяхъ это настроеніе сильно видоизмѣнилось. Не разъ повторяется въ исторіи общественнаго сознанія тотъ фактъ, что общество, на которое направлена сильная научно-образовательная агитація, какъ бы не въ силахъ вынести въ дѣломъ всей дозы рационалистической и скептической мысли. Въ его средѣ поднимается протестъ противъ критицизма. Въ то же время и до извѣстной степени слетаясь съ этимъ протестомъ, совершается обоготвореніе новыхъ методовъ, новыхъ приемовъ ума, апофеозъ самого интеллекта человѣческаго. Масонство и другія аналогичныя направленія въ XVIII вѣкѣ дѣлаютъ изъ просвѣтляющаго разума святое начало, обращаютъ провозвѣстниковъ науки въ апостоловъ новаго евангелія, образуютъ изъ ея адептовъ священные ордена. Орудіе знанія само превращается въ бога, въ великую творческую силу, въ великаго рѣшающаго судью. А обоготворенный разумъ, разумъ, возведенный на степень непогрѣшимо дикгующаго, внутренняго голоса, есть уже, въ сущности, наше чувство; это—въ концѣ концовъ возрождающаяся въ другой формѣ вѣра.

Поворотъ къ вѣрѣ, къ религіозному настроенію сильно намѣчается въ обществѣ съ половины XVIII вѣка. Онъ своеобразно совпадаетъ

*) См. «Міръ Божій», № 4, апрѣль.

съ выступленіемъ новыхъ общественныхъ классовъ, съ защитой ихъ нуждъ и стремленій. Въ движеніи новыхъ общественныхъ элементовъ, въ ихъ апологии заключень, естественно, извѣстный идеалистическій толчекъ. Въ подготовку новой общественной организаціи, въ самое изображеніе ея неволью входитъ религиозное увлеченіе. Общественная группа, новый классъ, пробивающіеся кверху, несутъ съ собою извѣстные вкусы и традиціи, заявляютъ притязанія, и программа, слагающаяся изъ нихъ, представляется заинтересованнымъ или вѣрующимъ въ видѣ новой фазы общечеловѣческаго развитія, въ видѣ новаго откровенія.

Въ XVIII вѣкѣ еще нѣтъ такихъ опредѣленныхъ отграниченныхъ группъ, какъ рабочіе классы, городскіе и сельскіе въ XIX вѣкѣ. Демократія слагалась въ деревнѣ изъ мелкихъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, связанныхъ отчасти устарѣлыми и запутанными повинностями, въ городѣ—изъ представителей мелкаго ремесла и торговли, мелкихъ мастеровъ домашней индустріи и близкихъ къ нимъ по положенію рабочихъ крупныхъ производствъ. Эти разнообразные элементы надо имѣть въ виду, когда литература выдвигаетъ понятіе «народа». Но, безъ сомнѣнія, первое мѣсто въ представленіяхъ демократіи занимала деревенская масса, главную роль въ социальныхъ проектахъ и мечтаніяхъ защитниковъ демократіи игралъ вопросъ о земельномъ надѣлѣ, о внутреннемъ обезпеченіи крестьянскаго хозяйства. Это обстоятельство придаетъ дореволюціонной демократической пропагандѣ особый консервативный характеръ.

Мы видѣли отношеніе зождей просвѣщенія во Франціи къ массѣ. Въ концѣ вѣка, однако, «народъ» занимаетъ первое мѣсто въ общественныхъ манифестахъ, «народъ»—предметъ общаго вниманія, «народные интересы» уже изображаются, какъ фундаментъ правильной общественной организаціи.

Въ началѣ вѣка темная масса почти не имѣетъ публичныхъ адвокатовъ, въ кругу интеллигентнаго общества нѣтъ носителей ея чувствъ и понятій. Чтобы судить о томъ, гдѣ крылся раньше народный защитникъ, что онъ переживалъ, стоитъ вникнуть въ трагическую исторію простаго сельскаго священника въ Нормандіи, пастора Мелье. Это совершенно безвѣстная личность при жизни своей. Въ теченіе 40 лѣтъ справляетъ онъ свои обязанности въ глухомъ углу, полный самоотверженія, строгій къ себѣ до аскетизма, мягкій къ бѣдняку. Старая Франція не мало произвела этихъ друзей народа въ рясахъ, и еще революція видѣла въ своихъ рядахъ демократическихъ священниковъ. Но въ натурѣ Мелье было больше того. Мѣстный сеньеръ его округи обидѣлъ нѣсколькихъ крестьянъ. Мелье поднялъ противъ него дѣло, по правосудію не добился. Тогда, въ отчаяніи, онъ, 60-лѣтній старикъ, добровольно уморилъ себя съ голоду, отказавъ все имущество свое прихожанамъ.

Все это произошло около 1730 года, но открылось только 30 лѣтъ

спустя послѣ смерти Мелье, когда опубликовано было завѣщаніе его. Завѣщаніе патера было своеобразно; это—большая книга, и книга выстраданныхъ признаній жизни. Мелье заботливо написалъ ее своей рукой, въ трехъ экземплярахъ, чтобы потомство услышало его голосъ. Онъ молчалъ долго, и теперь излилась вся его горечь. Завѣщаніе досталось потомъ въ руки Вольтера и другихъ просвѣтителей, и они напечатали изъ него отрывки. Они воспользовались рѣзкостями и проклятіями патера-самоубійцы, такъ какъ невѣріе и отчаяніе стараго священника могли послужить ядовитыми аргументами для ихъ собственной кампаніи противъ фанатизма. Остальное въ завѣщаніи Вольтеръ объявилъ «длиннымъ, скучнымъ и даже возмутительнымъ»: Мы знаемъ теперь, что выпустилъ Вольтеръ и отчего священникъ впалъ въ глубокое мучительное невѣріе.

Онъ подавленъ зрѣлищемъ участи дорогого ему трудового люда. Христіанство въ его современномъ видѣ, по его убѣжденію, не можетъ быть истинной религіей, потому что оно поддерживаетъ рядъ учреждений, явно несправедливыхъ: деспотическую власть, личную собственность и неравенство. Все завѣщаніе Мелье—злой и отчаянный протестъ противъ несправедливости на землѣ, противъ неравенства, притѣсненія неимущихъ; это—горячій призывъ къ простому народу. «Васъ пугаютъ дьяволомъ, но знайте, дорогіе друзья, что нѣтъ для васъ болѣе злыхъ и настоящихъ дьяволовъ, чѣмъ люди, о которыхъ я говорю. Ибо у васъ нѣтъ худшихъ враговъ, какъ большіе, знатные и богатые господа на свѣтѣ, потому что они васъ попираютъ ногами, мучатъ и доводятъ до несчастія». Рядомъ съ ними стоятъ паразиты, всѣ эти судьи, которыхъ можно бы назвать «людьми неправды», пристава, прокуроры, адвокаты, податные сборщики, нищенствующіе монахи и т. д. «Много приходится заниматься ими на свѣтѣ! Птицы поютъ и щебечутъ въ поляхъ и въ лѣсахъ; народу нѣтъ другого дѣла, какъ жирно кормить всю эту массу людей за то только, что они поютъ въ церквахъ».

Возбужденная рѣчь патера, его манифестъ съ того свѣта доходитъ до настоящей революціонной фразеологіи: вы внимаете точно рѣчи оратора конвента, почти буквально слышится извѣстный призывъ марсельезы къ оружію. «Изгоните тирановъ и поповъ и замѣните ихъ хорошими правителями: въ вашихъ рукахъ спасеніе, сгумѣйте столкнуться. Хорошо задуманному общему движенію ничто не можетъ воспротивиться». «Сговоритесь тайно, распространяйте хорошія книги. Поберегите для себя то, что производите, пусть дѣти ваши не вступаютъ въ службу къ вашимъ врагамъ». Мелье вѣритъ, что правда и счастье могли бы быть на землѣ. Она достаточно производитъ, чтобы обезпечить всѣхъ; нужно только, чтобы люди держали ее въ общемъ владѣніи. Каждый приходъ долженъ составить какъ бы одну семью братьевъ, совершенно равныхъ между собою во всемъ. Тогда въ свѣтѣ вернется золотой вѣкъ, который хотѣли установить первые христіане.

То, что сельскій священникъ начала XVIII в. долженъ былъ за-
таить въ своемъ измученномъ сердцѣ и могъ написать только на своей
могилѣ, съ половины вѣка стало биться и звучать въ литературѣ, въ
салонѣ, въ театрѣ. Типичный носитель этихъ чувствъ — Руссо.

Публика, среди которой Руссо пришлось вращаться, тонко разсу-
ждавшая объ умственной свободѣ, скептическая и резонерская, не могла
освоиться съ этой фигурой, необработанной и плебейски нескладной,
съ ея парадоксами и какой-то бурной логикой, съ пафосомъ, въ кото-
ромъ глубокая искренность не отдѣлялась отъ тщеславной рисовки, съ
отчаянными нападками на современную культуру, какъ на выраженіе
неправды, и въ то же время неясными мечтаніями о какомъ-то не-
возвратномъ свѣтломъ прошломъ. Поколѣнія послѣдующаго полувѣка
возвращаются, напротивъ, къ декламаціямъ Руссо, какъ своего рода
откровенію.

Между тѣмъ у Руссо въ сущности нѣтъ ни одного оригинальнаго
положенія ни въ политическихъ, ни въ педагогическихъ, ни въ его
религиозно-моральныхъ разсужденіяхъ. Все, что переворачиваетъ много
разъ Руссо, о чемъ онъ патетически проповѣдуетъ, — мистическая воля
народа, призывъ къ естественности, идеализація натурального чело-
вѣка, протестъ противъ неравенства, созданнаго частной собствен-
ностью — все это давно намѣченныя мысли, готовые формулы ранѣе
сложившихся теорій. Что имъ придаетъ особую силу въ устахъ Руссо?

Руссо по отношенію къ этимъ идеямъ то, чѣмъ часто бываетъ
первый революціонеръ: онъ послѣдній ихъ прозелитъ, послѣдній ново-
обращенный. Проникаясь формулами общественныхъ, воспитательныхъ
идеаловъ, онъ связываетъ съ ними горячія чувства, глубокія симпатіи,
которыя притягиваютъ его къ низшимъ классамъ, къ простому народу.
Руссо обращаетъ эти формулы во внушенія своего сердца, въ святыя
повелѣнія природы, пробудившіяся въ немъ, какъ человѣкъ искренней,
глубоко чувствующемъ.

«Голосъ природы», именемъ котораго Руссо протестовалъ, имѣлъ у
него очень опредѣленныя соціальныя черты. Руссо вышелъ изъ кру-
говъ мелкой буржуазіи, проскитался полжизни, испыталъ рядъ тяже-
лыхъ и сомнительныхъ положеній человѣка, выбитаго изъ своей среды,
видѣлъ много нужды около себя, зналъ самъ нужду и униженіе бѣд-
ности. Позднѣе онъ любилъ, уйдя изъ богатаго замка, вмѣшаться въ
простонародную толпу, забыться въ ея простодушномъ весельи; по цѣ-
лымъ часамъ онъ могъ плести ремни съ крестьянами. Если откинуть
его преувеличенія, его чувствительныя идеализаціи, въ его риторскихъ
декламаціяхъ можно найти большую долю непосредственнаго выраженія
тѣхъ чувствъ, которыя таятся въ низшихъ, отодвинутыхъ классахъ
общества, выраженія ихъ моральнаго сознанія, ихъ боли, ихъ гордо-
сти, раздраженія. Руссо могъ называть себя «человѣкомъ, который
сокрушается несчастьемъ народа и испытываетъ его».

Среди юношеских его скитаній, его, голоднаго, пріютилъ крестьянинъ, который жилъ въ лачугѣ и, какъ воръ, пряталъ собственный хлѣбъ и вино отъ сборщиковъ многихъ налоговъ; онъ объяснилъ Руссо, что вся жизнь его проходитъ въ страхѣ, и что онъ погибъ, какъ только его перестанутъ считать умирающимъ съ голоду. «Все, что онъ мнѣ сказалъ по этому поводу, оставило во мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Это было для меня зародышемъ той неистребимой ненависти, которую я испытываю въ виду страданій несчастнаго народа и въ виду его притѣснителей».

Самолюбивый и самостоятельный, Руссо долженъ былъ вращаться въ кругахъ дворянской и финансовой аристократіи; его знакомые, часто не знавшіе сами происхожденія своихъ денегъ, удивлялись, что онъ отвергаетъ подарки, или находили педантизмомъ, что онъ соразмѣрялъ ихъ съ возможностью отплаты со своей стороны. Онъ раздражался тому, что не обладалъ свѣтскимъ обращеніемъ и становился еще болѣе неловокъ, напускалъ грубость, чтобы скрыть смущеніе: «Я рѣшился попирать обычаи, я сталъ циниченъ, но циниченъ отъ стыда, потому что я не въ состояніи былъ исполнять эти обычаи».

И вотъ, по его собственному призванію, въ немъ развивается «горделивая мизантропія, извѣстная горечь въ отношеніи богатыхъ и счастливыхъ людей на свѣтѣ, какъ будто они богаты и счастливы на мой счетъ, какъ будто ихъ такъ называемое счастье есть захватъ моего». Богатые злы и безчеловѣчны. Въ своемъ педагогическомъ романѣ Руссо выбираетъ изъ этого класса своего Эміля, объектъ разумнаго воспитанія, потому что, хорошо его воспитавъ, «мы можемъ быть увѣрены, что создали лишняго хорошаго человѣка; между тѣмъ какъ бѣдный можетъ и самъ своими силами стать человѣкомъ». У людей высшихъ классовъ нѣтъ морали. Нѣкій графъ мимоходомъ, незамѣтно для себя, обидѣлъ простую женщину, захвативъ назначенную для нея посылку. «Я старался утѣшить ее, милостивый государь,—пишетъ ему Руссо,—объяснивъ ей, во-первыхъ, правила большого свѣта и большого воспитанія, затѣмъ, указавъ, что не стоитъ держать слугъ, если они не будутъ гонять бѣдняковъ, которые являются требовать свое имущество: и, наконецъ, я сказалъ: вѣдь справедливость и человѣчность—мѣщанскія слова, и графъ, отнявъ вашу собственность, сдѣлалъ вамъ честь».

Роль богатыхъ въ обществѣ плачевна; все, что бы ни старались они сдѣлать хорошаго, отравлено основнымъ зломъ ихъ состоянія. Невозможно обогатиться, не сдѣлавъ другого бѣднымъ. Благотворительность, это—забава грабителя.

Одна корреспондентка Руссо упрекала его за то, что своихъ дѣтей онъ отдавалъ въ воспитательный домъ. Руссо отвѣчалъ: «говорять, не надо рождать, если не можешь прокормить ихъ. Это — неправда. Природа требуетъ рожденія ихъ, потому что земля даетъ достаточно

для ихъ прокормленія; состояніе богатыхъ, ваше состояніе, милостивая государыня,— обрушивается онъ вдругъ на лицо, которое ему пишетъ,— вотъ что похищаетъ, воруетъ хлѣбъ у моихъ дѣтей».

Въ статьѣ «Политическая экономія», которую Руссо написалъ для Большой Энциклопедіи, онъ такъ резюмируетъ отношеніе между двумя классами, бѣдныхъ и богатыхъ: «Вы нуждаетесь во мнѣ, потому что я богатъ, а вы бѣдны; установимъ же соглашеніе между собою; я позволю вамъ имѣть честь служить мнѣ при условіи, что вы отдадите мнѣ то небольшое, что у васъ остается, за трудъ командовать надъ вами, который я возьму на себя». Руссо заканчиваетъ ироніей по адресу великихъ политическихъ авторитетовъ, которыхъ онъ считаетъ адвокатами и панегиристами аристократіи: налоги должно распредѣлить не просто сообразно размѣру имущества, а притянувъ къ повинности по преимуществу излишки; «это важный и трудный расчетъ, который каждый день совершаютъ порядочные и знающіе ариметику конторщики, но который Платоны и «гг. Монтескьё» взяли бы на себя лишь съ трепетомъ и умоляя небо о просвѣтленіи ихъ и дарованіи имъ честности».

Въ этой фразеологіи, горячей и злой, неопредѣленной и рѣзкой, сказывается біеніе извѣстныхъ классовыхъ чувствъ, часто непослѣдовательное и неожиданное. Оно осложняется у Руссо наклономъ къ религіозному настроенію.

Если въ культурномъ человѣкѣ въ то время особенно цѣнили чуткость, впечатлительность, отзывчивость, то въ Руссо эти черты доходятъ до крайней болѣзненной чувствительности. Разбитый и возбужденный превратностями судьбы, долгое время непризнанный въ своихъ талантахъ, самоувѣренный и подозрительный, онъ привыкъ преувеличивать свои чувства. Первая мысль писать на тему о вліяніи культуры на человѣка охватываетъ его точно «тысячью лучей свѣта», онъ чувствуетъ себя оглушеннымъ и «опьяненнымъ» отъ массы безпорядочныхъ и сильныхъ идей, «бездна великихъ истинъ озаряютъ его въ четверть часа» и онъ теряетъ сознаніе.

Руссо чувствовалъ себя необыкновенной пророческой натурой, которую нельзя мѣрять общепринятой мѣркой. Знаменитая «Исповѣдь» начинается слѣдующими словами: «Я предпринимаю дѣло, которому не было подобнаго и не будетъ. Другимъ людямъ я хочу показать человѣка въ его истинной природѣ; этотъ человѣкъ я, я одинъ. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я не такъ устроенъ, какъ кто бы то ни было изъ видѣнныхъ мною; я рѣшаюсь думать, что не похожъ ни на кого изъ существующихъ людей... Пусть зазвучитъ труба страшнаго суда когда угодно: съ этой книгой въ рукѣ предстану я предъ Всевышняго и громко скажу: «вотъ то, что я сдѣлалъ, что я думалъ, чѣмъ я былъ». Вѣчный Боже, собери кругомъ меня безчисленное множество людей, въ средѣ которыхъ я живу, чтобы они выслушали меня;

пусть огорчатся они тому, что во мнѣ есть недостойнаго, пусть краснѣютъ за то, что во мнѣ низкаго; но пусть каждый съ тою же откровенностью раскроетъ предъ твоимъ престоломъ свое сердце и пусть хоть одинъ скажетъ, если можетъ: «я былъ лучше, чѣмъ этотъ».

Сознавая въ себѣ какъ бы откровеніе, Руссо можетъ патетически обращаться къ человѣку (въ разсужденіи «О причинахъ неравенства между людьми»): «о человѣкъ, изъ какой бы ты ни былъ страны, каковы бы ни были твои убѣжденія, слушай: вотъ твоя исторія, исторія истинная, прочитанная мною не въ книгахъ подобныхъ тебѣ людей, потому что эти книги лгутъ, а въ природѣ, которая никогда не лжетъ. Все, что ей принадлежитъ, правдиво, здѣсь ложь лишь то, что я привнесъ личнаго отъ себя помимо своей воли».

Всякой религіи свойственно различать въ человѣкѣ святое начало и начало грѣховное. Въ понятіяхъ слагающейся вѣры святое, оно же и естественное начало, это—чувство, грѣховное, злое, оно же и искусственное, это—умъ, рефлексія. «Если природа предназначила намъ быть здоровыми, говоритъ Руссо, я почти рѣшаюсь утверждать, что состояніе рефлексіи есть состояніе противоестественное и что человѣкъ, который размышляетъ, есть испорченное животное». Черезъ весь духовный міръ проходитъ рѣзкая черта дѣленія: все непосредственное признано благимъ, жизнь аффектовъ объявлена драгоценной сокровищницей, способность отдаваться чувству—признакомъ возвышенной натуры. Сама обыденность, поскольку въ ней открываютъ голосъ природы, напримеръ, кормленіе дѣтей матерями, семейная забота, деревенскій пейзажъ и т. д., подняты теперь на степень необыкновенно святыхъ, возвышенныхъ, глубокихъ дѣйствій и моментовъ.

Въ Руссо есть еще одна черта религіознаго настроенія—увлеченіе аскетизмомъ. Постоянно возвращаясь къ понятію добродѣтели, взывая къ ней, Руссо разумѣетъ подъ нею главнымъ образомъ воздержаніе. Руссо жестоко возстаетъ противъ желанія просвѣтителей, Вольтера, д'Аламбера, внести свѣтское направленіе въ старозавѣтную Женеву, этотъ городъ суровой дисциплины кальвинизма; особенно возмущенъ онъ программой завести тамъ театральныя зрѣлища, болѣе двухсотъ лѣтъ подлежащія въ Женевѣ воспрещенію. Въ большихъ государствахъ, думаетъ Руссо, еще можно терпѣть театръ, какъ необходимое зло, потому что въ нихъ вообще уже нечего болѣе терять и портить; въ малыхъ государствахъ театръ лишь уничтожаетъ любовь къ труду, развиваетъ роскошь, приводитъ къ огрубѣнію нравовъ.

Возвеличеніе аскетическаго воздержанія, отрицаніе художественнаго наслажденія приводитъ Руссо къ восхваленію Спарты. Спарта дорога ему «счастливымъ невѣдѣніемъ и мудрыми законами; это—республика полубоговъ, скорѣе, чѣмъ людей». «О Спарта, вѣчный укоръ суетному ученію! Въ то время, какъ въ Аѳины вступали пороки, создаваемые пластическими искусствами и тиранъ собиравъ тамъ такъ

заботливо произведенія царя поэтовъ, ты изгоняла изъ стѣнъ своихъ искусство и артистовъ, науки и ученыхъ».

Кодексъ грядущей демократіи, знаменитое политическое разсужденіе Руссо «Объ общественномъ договорѣ», это книга, которую по характеру утверженій, по аргументаціи, по проникающему ее настроенію надо назвать догматической, богословской, почти церковной.

Книга начинается словами: «Человѣкъ рожденъ свободнымъ и вездѣ онъ въ оковахъ». Какъ разрѣшить это противорѣчіе? Общественный порядокъ есть святое право, но онъ заключаетъ въ себѣ подчиненіе свободной личности. Изъ двухъ началъ одно, свобода, дано отъ природы, другое подчиненіе, порядокъ—дѣло искусства, соглашенія. То и другое, однако, необходимо, и такъ какъ для богослова въ богоуправляемомъ мірѣ не должно оставаться противорѣчій, то расплатиться должны самыя понятія. Задача политическаго догматика найти формулы, которыя бы заключали полное примиреніе между дѣломъ природы и дѣломъ искусства, которыя бы могли представить дѣло искусства претвореніемъ дѣла природы. И дѣйствительно, характеръ разсужденія Руссо напоминаетъ работу христіанскаго философа, который долженъ примирить идею Божьей благодати и Божьяго всемогущества со свободной волей и грѣховнымъ началомъ человѣческой личности.

Дальше объяснено, какимъ образомъ свободные первоначально люди вошли въ союзъ, который составилъ ничто иное, какъ сумму ихъ силъ и ихъ свободныхъ состояній; каждый при этомъ пріобрѣталъ надъ другими ровно столько выгоды, сколько самъ потерялъ; этотъ общественный союзъ лишь общей силой защищаетъ личность и собственность каждаго, причемъ каждый, «соединяясь со всѣми, повинуетъ все же лишь самому себѣ и, слѣдовательно, остается свободнымъ, какъ и раньше». Мы стоимъ здѣсь передъ догматической схоластикой, мы должны допустить здѣсь мистическое объясненіе.

Совокупность всѣхъ составляетъ верховную волю, верховную личность. Эта личность, народъ есть властелинъ. Государь, будучи лишь суммой отдѣльныхъ лицъ, не можетъ никогда вредить подданнымъ или гражданамъ, такъ какъ невозможно, чтобы тѣло вредило своимъ частямъ. Слѣдовательно, общественный союзъ непогрѣшимъ, на подобіе непогрѣшимости церкви. Личность, однако, грѣховна. Отдѣльный подданный можетъ, преслѣдуя свою выгоду, выражая свою единичную волю, разойтись съ выгодой дѣла. Но кто противится повиноваться общей волѣ, того вынуждаетъ къ повиновенію совокупная община; и это значитъ, говорить Руссо, что община принуждаетъ его быть свободнымъ. Стоитъ вслушаться въ эти слова. Именно такъ средневѣковая церковь вынуждала еретика путемъ стѣсненія и казни въ интересахъ его же спасенія вернуться къ тому убѣжденію, которое онъ отвергалъ, но которое она считала его по-истинѣ свободнымъ убѣжденіемъ.

Мистическій оттѣнокъ замѣчается также въ опредѣленіи всеобщей воли. Воля всѣхъ еще не есть всеобщая воля. Первая—простая сумма отдѣльныхъ волей, исходящихъ отъ частныхъ интересовъ. Если эти воли сгруппировались по партіямъ и фракціямъ, по промежуточнымъ группамъ, которыя Руссо считаетъ безусловно вредными, то всеобщая воля, т. е. общій интересъ, можетъ быть отстранена, можетъ потонуть въ столкновеніи интересовъ. Но если онѣ проявились изолированно, каждая на свободѣ, получается слѣдующее чудо: «отнимите,—говоритъ Руссо,—изъ частныхъ волей плюсы и минусы, взаимно уничтожающіе другъ друга, и въ остаткѣ отъ разницъ будетъ общая воля». Итакъ, мы всѣ ошибаемся, всѣ грѣшимъ, но изъ нашихъ ошибокъ непонятнымъ образомъ, неисповѣдимыми путями сама собою создается правда.

Болѣе всего, можетъ быть, чудеснаго и вѣры въ чудо требуетъ Руссо въ главѣ о законодателѣ. Законодатель — «необыкновенный, экстраординарный человѣкъ въ государствѣ». Вѣдь онъ долженъ изъ суммы естественныхъ силъ всѣхъ индивидовъ создать нѣчто болѣе, чѣмъ эта сумма. Въ его дѣлѣ соединяются двѣ, повидимому, несовмѣстимыя вещи: предпріятіе, превышающее человѣческія силы, а для его исполненія — авторитетъ, который въ сущности есть ничто: его воздѣйствіе можетъ быть лишь моральнымъ, иначе оно становится источникомъ произвола. Далѣе, чтобы народъ могъ почувствовать силу разумныхъ правилъ политики и слѣдовать основнымъ требованіямъ государственнаго разума, нужно, чтобы слѣдствіе могло стать причиной, чтобы общій духъ, который долженъ быть созданъ учрежденіемъ, вдохновлялъ и направлялъ учрежденіе, чтобы люди были ранѣе законовъ тѣмъ, чѣмъ они должны стать благодаря имъ.

Такимъ образомъ законодатель, не будучи въ состояніи прибѣгнуть ни къ силѣ, ни къ разсужденію, по необходимости поднимается къ авторитету высшаго порядка. Вожди народа обращались поэтому во всѣ времена къ идеѣ вѣшателства самого неба, т. е. религіи.

Вотъ почему въ этой же главѣ помѣщенъ панегирикъ всеобъемлющему генію Кальвина, котораго Руссо изображаетъ гражданскимъ законодателемъ Женевы. Женева именно выполнила великую задачу законодательства. Иностранецъ, богословъ, священникъ, человѣкъ, совершенно лишенный средствъ вѣшняго принужденія, былъ взятъ верховнымъ арбитромъ въ политикѣ, создателемъ конституціи. Симпатіи Руссо недаромъ тяготѣютъ къ суровой фигурѣ служителя Божія XVI вѣка. Но его характеристика вдохновеннаго, непогрѣшимаго законодателя, всемогущаго морально и безсильнаго матеріально, повидимому, внушена картиной, еще болѣе старинной — именно образомъ папства среднихъ вѣковъ.

Демократическое государство Руссо есть въ то же время настоящая церковь. Духовная и свѣтская власть должны совпадать въ немъ, какъ въ древнихъ республикахъ. Религія нужна затѣмъ, что бы граждане любили

свои обязанности. Христіанство не вполне подходитъ къ этой цѣли, такъ какъ отечество христіанина не отъ міра сего. Государство не смотритъ на то, что исповѣдуетъ гражданинъ въ сердцѣ; но оно заботится, чтобы этимъ не нарушалась государственная религія. Кто не исповѣдуетъ этой государственной религіи, тотъ долженъ быть подвергнутъ изгнанію, не въ качествѣ безбожника, а въ качествѣ дурного гражданина; кто ее принимаетъ и все же поступаетъ противъ нея, достоинъ смерти, потому что онъ совершилъ величайшее преступленіе, онъ солгалъ передъ закономъ. Руссо опредѣляетъ и догматы этой религіи: вѣра въ Бога, вѣра въ загробную жизнь, гдѣ справедливые награждаются, а злые наказуются, вѣра въ святость государства и государственныхъ законовъ и отстраненіе нетерпимости.

Послѣдній догматъ кричащимъ образомъ нарушенъ самимъ Руссо, который декретируетъ смерть нарушителю государственной религіи. Его государство внушаетъ мораль и вѣру мечемъ.

Но не одна государственная логика приводитъ Руссо къ возвеличенію религіи, не одно только сознаніе, что система крѣпка, когда на недостижимой высотѣ сокрытъ отъ человѣка ея принципъ. Религія — одно изъ выраженій того, что онъ считаетъ голосомъ природы, одно изъ требованій святой половины человѣческаго существа — чувства. Руссо естественно долженъ былъ обратиться къ религіи, потому что признать за чувствомъ безусловный авторитетъ, это значить отдаться во власть непонятныхъ силъ, чудеснымъ образомъ открывающихся въ томъ, что, повидимому, не регулируется закономъ, что внезапно и самобытно.

Демократическій порывъ въ ученіи Руссо и его религіозное направленіе связаны съ рѣзкою соціальной критикой. Современный общественный строй казался Руссо сверху до низу неправильнымъ и нездоровымъ.

Величайшее зло современной культуры — неравенство. Оно дошло теперь «до чудовищной степени, потому что явно нарушается законъ природы, если мы видимъ, что ребенокъ повелѣваетъ надъ старикомъ, глухой руководитъ мудрецомъ и кучка людей утопаетъ въ изобиліи, между тѣмъ какъ голодная масса лишена необходимаго». Вся эта культура, построенная на созданіи лишняго, роскоши—извращена. Деньги, ходяція по рукамъ богатыхъ и артистовъ, потеряны для существованія земледѣльца; у него нѣтъ платья, какъ разъ потому, что другимъ нужны золотые галуны.

По какой же мѣркѣ возможно преобразование, оздоровленіе общества? Руссо прибѣгаетъ къ привычной соціально-научной операціи, онъ обращается къ фикціи естественнаго состоянія. Человѣческая природа сильно измѣнилась; чтобы опредѣлить ея основу, нужно представить себѣ «состояніе, котораго нѣтъ больше, которое, можетъ быть, никогда не существовало и котораго навѣрно никогда не будетъ; но оно намъ нужно, чтобы имѣть правильное сужденіе о современномъ состояніи».

Въ этомъ опредѣленіи подь «естественнымъ состояніемъ» разумѣется видимо то, что можно признать въ человѣкѣ основного, здороваго, къ чему его слѣдуетъ постоянно возвращать. Но какъ только Руссо начинаетъ вырисовывать естественное состояніе, у него получается историческая картина, онъ даетъ намъ отдаленное прошлое, первобытныи золотой вѣкъ, изображаетъ безгрѣшныхъ и счастливыхъ предковъ нашихъ. Очень конкретно, съ большою любовью, съ художественнымъ увлеченіемъ передаетъ онъ жизнь ихъ. Невѣдѣніе гарантируетъ ихъ отъ порока и замѣняетъ имъ законъ и принужденіе; у нихъ нѣтъ борьбы, потому что нѣтъ нужды, а нѣтъ нужды, потому что нѣтъ излишнихъ потребностей; они не знаютъ и общества, потому что не нуждаются ни въ какомъ союзѣ, а живутъ рядомъ, какъ деревья въ лѣсу, не споря и не сближаясь; это мягкія и забывчивыя существа, безъ бурныхъ, ломающихъ страстей, но съ легко удовлетворимыми влеченіями, ловкія и гибкія безъ всякихъ орудій, свободныя безъ сознанія своей свободы, какъ свободна окружающая ихъ нѣмая природа и дикіе звѣри, которые ихъ не трогаютъ; они сами — часть этой природы.

Чѣмъ конкретнѣе становится эта картина, тѣмъ болѣе Руссо забываетъ ея назначеніе. Все дальше отходитъ онъ отъ «человѣка вообще» и приближается къ «человѣку когда-то». И вотъ, упившись образомъ послѣдняго, онъ обрушивается на современнаго человѣка и современный строй за то, что человѣкъ теперь потерялъ невинный обликъ, или настаиваетъ на возвращеніи къ исчезнувшей старинѣ. «Ты ищешь, человѣкъ, — говоритъ онъ, — возраста въ своей исторіи, на которомъ ты бы желалъ остановки рода своего. Недовольный нынѣшнимъ состояніемъ, въ силу причинъ, которыя возвѣщаютъ твоему несчастному потомству еще болѣе крупныя невзгоды, ты, можешь быть, хотѣлъ бы имѣть силу пойти назадъ?»

Значить ли это, что культура дѣликомъ есть зло и отказъ отъ нея, опростѣніе, возможно? Руссо не рѣшается на такой отвѣтъ. Что было, того не вернешь. Некультурность — блаженное дѣтство, а культура — неизбѣжная старость. Какъ невозвратно дѣтство, какъ не омолодишь старика, такъ изъ человѣка нашихъ дней нельзя сдѣлать первобытнаго человѣка природы. Такъ какъ основная черта нашей жизни, въ отличіе отъ первобытной и естественной, есть общественность, то Руссо говоритъ: «Общество такъ же свойственно роду человѣческому, какъ дряхлость отдѣльной личности; искусства, законы, управленіе нужны народамъ такъ же, какъ старикамъ костыли». И вотъ въ «Разсужденіи о причинахъ неравенства» Руссо убѣдительно и обстоятельно показываетъ, что природа сама сдѣлала людей физически равными, но одѣлила ихъ разными дарованіями; такъ она сама толкнула ихъ на соперничество, на выработку индивидуальности, а слѣдовательно, на захватъ и господство; отсюда неизбѣжно должны были развиваться страсти и столкновенія, вкусы и прихоти, изобрѣтенія и усовершенствованія; изъ

общей неустойчивости и колебаній выросла, наконецъ, необходимость принудительнаго общественнаго союза.

Но въ такомъ случаѣ непонятна злая критика болѣзней возраста; какой же смыслъ горячихъ обращеній къ старику, чтобы онъ забылъ опытъ, отвыкъ отъ желаній и обратился въ ребенка?

Очевидно, что-то въ этомъ сравненіи неправильно или недосказано. За старостью у человѣка идетъ смерть, гдѣ же она у общества? Руссо смотритъ кругомъ, сравниваетъ разныя формы обществъ, государства-гиганты и государства-лигмен, столицы съ ихъ адскимъ шумомъ, нервной смѣной ощущеній и удовольствій, кричащей противоположностью роскоши и нищеты, а съ другой стороны, точно заснувшую сельскую жизнь или однообразно-скромное мѣщанство мелкихъ городовъ, и онъ приходитъ къ той мысли, что не вездѣ общество въ одинаковомъ возрастѣ развитія и не во всякомъ возрастѣ одинаково быстро развивается. Онъ схватываетъ черты и формы, стоящія ближе къ идеальному дѣтству, и хочетъ ихъ удержать, точно заморозить или гипнотизировать. Есть градаціи зла, называемаго культурой и развитіемъ; есть общества, которыя еще довольствуются малымъ, и вотъ тутъ надо бережно подходить; надо отсюда удалить всѣ соблазны, и молодая жизнь, тихое счастье, простодушная добродѣтель протянутся надолго. Старость придетъ сама, зачѣмъ же спѣшить?

Со злой ироніей заставляя Руссо поклонниковъ культуры говорить слѣдующую рѣчь въ прославленіе старости: «О счастливые недуги, которые собираютъ около васъ, стариковъ, столько искусныхъ аптекарей, обладающихъ большимъ числомъ снадобій, чѣмъ у васъ болѣзней, столько ученыхъ врачей, знающихъ досконально вашъ пульсъ, умѣющихъ назвать по-гречески всѣ ваши ревматизмы, столько ревностныхъ утѣшителей и преданныхъ наслѣдниковъ, мягко сопровождающихъ васъ къ послѣднему часу! Сколько пропало бы средствъ помощи, если бы вы не испытывали тѣхъ бѣдствій, которыя вызвали ихъ необходимость».

Вотъ почему Руссо такъ боится за родную Женеву, ея патриархально-пуританскій строй, ея спартанскіе нравы и хочетъ ее избавить отъ развнчивающаго вліянія театральныхъ зрѣлищъ. Вотъ почему Руссо—противникъ женской эмансипаціи и хочетъ спрятать женщину въ семьѣ. Вотъ почему онъ громитъ большіе города, это послѣднее слово культуры; «большой городъ полонъ интригановъ и праздношатающихся, людей безъ религій, безъ принциповъ, воображеніе которыхъ, испорченное бездѣльемъ, жаждой удовольствій и большими запросами, родитъ лишь чудовищное, лишь уродство и вдохновляетъ лишь къ преступленію; большой городъ, гдѣ нравы и честь ставятся ни во что, потому что всякій, легко скрывая свое поведеніе отъ глазъ общества, читается въ мѣру своихъ богатствъ» и т. д. Все, что есть оригинальнаго, свѣжаго, талантливаго, изобрѣтательнаго, все родится въ провинціальной глуши; большой городъ только тянетъ въ себя, поглощаетъ

и стираетъ все человѣческое. «Окрестности столицъ имѣютъ подобіе жизни, но чѣмъ болѣе отъ нихъ удаляешься, тѣмъ пустыниѣ видѣ. Отъ столицы идетъ дыханіе чумы, которое непрерывно подрываетъ и разрушаетъ націю».

Руссо думаетъ, что онъ видѣлъ почти идеальную жизнь людей, стоящихъ въ сторонѣ отъ большихъ дорогъ богатой и разлагающей культуры. Со свойственнымъ ему лиризмомъ, онъ описываетъ жизнь горцевъ около Невшателя, мелкихъ собственниковъ, свободныхъ хуторянъ, ни въ чемъ не нуждающихся, потому что, помимо земледѣльческихъ работъ, которыя кормятъ ихъ, все умѣютъ сдѣлать сами; никогда столяръ, слесарь, стекольщикъ, гончаръ по профессіи не входили въ ихъ область; раздѣленія труда не существуетъ; они сами дѣлаютъ себѣ инструменты, и не только грубые, но такіе, какъ часы, барометры, насосы, очки; «печное помѣщеніе крестьянина примешь за механическую мастерскую или кабинетъ экспериментальной физики». У нихъ много книгъ, и они разсуждаютъ здраво и остро; они умѣютъ рисовать, играютъ на флейтѣ, поютъ. Искусствамъ этимъ вовсе не обучаютъ профессиональные учителя; они учатся другъ у друга въ семьяхъ. Въ семейной же средѣ искусство и остается; въ часы досуга они поютъ съ женами и дѣтьми квартеты, и тутъ услышишь чудесныхъ старыхъ забытыхъ композиторовъ. Нравы ихъ чисты, ссоръ нѣтъ, нѣтъ податей, подводныхъ повинностей, администраціи; нѣтъ ничего излишняго, роскошнаго, все необходимое въ изобиліи.

Откуда берутся всѣ эти чудеса и чѣмъ держатся? Простота потребностей, отсутствіе обмѣна, неподвижность отношеній, отсутствіе нервической погони за новизной—вотъ основы ихъ жизни. Конечно, и здѣсь Руссо преувеличиваетъ, рисуетъ своего рода добраго и умнаго дикаря, но куда онъ зоветъ общество?

Къ натуральному, самодовлѣющему хозяйству. Какъ нельзя больше это совпадаетъ и съ его идеализаціей семьи; патріархальная семья—центръ, полное вмѣстилище такого хозяйства. Въ романѣ «Новая Элоиза» вслѣдъ за героическимъ возвеличеніемъ свободной страсти въ первой части, за изображеніемъ бурнаго прорыва естественнаго чувства, представлено примиреніе элементовъ, тихая пристань; безпокойная героиня стала добродѣтельною матерью семейства, и это семейство изображаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ социальную утопію въ миниатюрѣ. Семья Вольмаровъ богата, но секретъ ея богатства въ томъ, что они обогащаютъ въ пользованіи своимъ достояніемъ посредниковъ между производствомъ и потребленіемъ. Въ домѣ все свое—кружева, полотно, вино, масло, хлѣбъ. По возможности и поставщикамъ платятъ натурой. Просто одѣтый, вѣчно въ работѣ, среди трудолюбивой челяди, добрый богатчъ живетъ въ своей большой патріархальной семьѣ, которая въ то же время есть какъ бы фаланстеръ, организованный для удовлетворенія главныхъ потребностей; тутъ кормится много людей, а патріархъ,

распредѣляя занятія, водворяетъ вездѣ добродѣтель и счастье. Его жена, какъ добрый гений, благодѣлаетъ кругомъ. Вопреки господствующему предубѣжденію, она раздаетъ всѣмъ нищимъ милостыню, она хлопочетъ, чтобы крестьяне были въ довольствѣ и не имѣли желанія покинуть свое положеніе; она думаетъ, что «для этихъ людей добрые нравы и счастье важнѣе, чѣмъ пользованіе талантами, которые они могли бы имѣть. Многіе таланты вредны, и лучше, чтобы они остались въ небреженіи».

Такимъ образомъ идеалъ состоитъ въ реакціи къ натуральному хозяйству и къ родовымъ отношеніямъ. Рѣзкая критика новыхъ общественныхъ порядковъ заканчивается идилліей отжишаго состоянія. Въ этомъ же смыслѣ Руссо считаетъ желательными практическія реформы тамъ, гдѣ для нихъ еще сохранилась благопріятная почва.

Со времени союза просвѣтительныхъ публицистовъ и правительствъ государи въ XVIII в. обращались къ философамъ за принципиально-политическими совѣтами. Во второй половинѣ вѣка можно указать нѣсколько случаевъ обращенія къ ученымъ и публицистамъ отъ лица уже общественныхъ представителей съ запросомъ о наилучшемъ строѣ или съ предложеніемъ составить образцовую конституцію. Ничто подобнаго было въ XVI и XVII вв., когда богословы, въ родѣ Кальвина, провѣряли или гырабатывали всевозможные гражданскіе и политическіе проекты, конституціи, регламенты торговли, опредѣляли размѣры процента при ростѣ, редактировали административныя правила и т. п.

Руссо два раза получалъ такія приглашенія: разъ, высказаться о конституціи для Корсики, а въ другой разъ о реформахъ для Польши. Онъ серьезно отвесилъ къ своей обязанности, видя въ ней исполненіе великой задачи. «Я чую каждаго государя и каждое правительство въ отдѣльности, писалъ онъ корсиканцамъ, хотя мнѣ приходится говорить имъ иногда нѣсколько жестокія истины». Потомъ онъ обвинялъ герцога Шуазеля, главнаго министра французскаго, въ томъ, что тотъ завоевалъ Корсику, чтобы отвязать у него, Руссо, славу законодательной организаціи острова.

Руссо видитъ въ корсиканцахъ народъ въ особенно счастливомъ положеніи, потому что они еще не вступили на путь культуры, широкаго обмѣна, изобилія и роскоши, потому что они сохранили много первобытныхъ чертъ. Они напоминаютъ ему героическихъ швейцарскихъ горцевъ старины. Руссо заботливо вырисовываетъ тѣ моральныя, экономическія и административныя сдержки, которыя помогли бы сохранить этотъ народъ въ состояніи, болѣе близкомъ къ моменту «его рожденія», чѣмъ къ моменту упадка и смерти.

Перебирая естественныя богатства страны, Руссо приходитъ къ заключенію, что Корсика можетъ совершенно обойтись безъ торговли съ другими землями, что она можетъ экономически вполне обособиться. «Всякая торговля вредна для земледѣлія», но особенно должно запре-

тить вывозъ съѣстныхъ припасовъ». Металлическія деньги станутъ ненужны; въ качествѣ единицы мѣны при внутреннихъ сношеніяхъ онъ предлагаетъ принять быка, какъ было въ старину у грековъ, или овцу, какъ у римлянъ. Какъ скоро продукты земли перестанутъ быть товаромъ, производство ихъ мало-по-малу придетъ въ соотвѣтствіе въ каждой области и даже въ каждомъ наслѣдствѣ съ нуждами этой области и частными потребностями земледѣльцевъ. Каждый захочетъ готовить у себя все самъ вмѣсто того, чтобы получать мѣною. «Намъ не нужно ни скульпторовъ, ни ювелировъ, ни изготовителей кружевъ, намъ нужны плотники, кузнецы, ткачи». Надъ всей совокупностью замкнутыхъ хозяйствъ, на которыя распадется экономическая жизнь страны, государство организуетъ какъ бы большое натуральное хозяйство. Доходы его должны быть въ продуктахъ; налоги замѣняются барщиннымъ исполненіемъ общественныхъ работъ. Государство платитъ своимъ чиновникамъ натурой, припасами. Цѣль состоитъ «не въ отиѣнѣ частной собственности, потому что это невозможно, а въ томъ, чтобы ее включить въ самые тѣсныя предѣлы». Руссо декретируетъ не только общую умѣренность, но также обязательный бракъ. Всякая статья комфорта по принципу должна быть вычеркнута: на островѣ должны быть воспрещены кареты. Женщины и священники могутъ пользоваться двухколесными повозками; остальные должны ходить пѣшкомъ или ѣздить верхомъ.

«Благородный народъ,—говоритъ Руссо,—я не хочу тебѣ давать искусственныхъ и систематическихъ законовъ, выдуманныхъ людьми, я хочу вернуть тебя къ однимъ лишь законамъ природы и порядка, которые повелѣваютъ сердцу и не насилуютъ воли».

Къ этимъ идеямъ консервативной демократіи и неподвижнаго хозяйства примыкаетъ цѣлое направленіе общественныхъ теорій и рядъ проектовъ соціальнаго переустройства. Представители этого направленія, сочувствуя извѣстнымъ общественнымъ классамъ, въ то же время рѣшали соціальный вопросъ подъ угломъ извѣстнаго моралистическаго взгляда. Зло и бѣдствія въ судьбѣ низшихъ классовъ они опредѣляли, какъ симптомы паденія, вырожденія человѣчества. Средство къ избавленію отъ этихъ золъ они видѣли въ возвращеніи къ раннему быту, близкому къ первоначальной естественности.

Типичный выразитель экономически-консервативнаго идилизма въ теченіе четверти вѣка послѣ Руссо—Мабли. Мабли интересенъ прежде всего, какъ личный типъ, предвосхищающій черты добродѣтельно-суроваго, прямолинейно-чистаго революціонера эпохи конвента. Мабли уклоняется отъ предложеннаго ему обученія дофина и не хочетъ вступать въ Академію, чтобы не быть вынужденнымъ произносить панегирика Ришелье, основателю абсолютизма. У него постоянно на устахъ идеализированная древность, Ликургъ и Платонъ.

Мабли очень пессимистиченъ. Онъ пересматриваетъ европейскія

государства и ни въ одномъ не находятъ шансовъ для реформы. Особенно его приводитъ въ отчаяніе Франція. «Я усталъ заниматься націей, которая погибла безъ надежды». Она должна разложиться, какъ всякое общество, которое препятствуетъ гражданамъ интересоваться общимъ дѣломъ.

Все счастье народа зависитъ отъ чистоты нравовъ. Чѣмъ больше растутъ потребности, тѣмъ труднѣе вернуться къ чистотѣ нравовъ и жить разумно. Великій вредъ заключается въ ростѣ изобилія. Для Европы рѣзкій моментъ вступленія этого зла—XVI в., вѣкъ роскоши, широкаго обмѣна. Общество раздѣляется на двѣ крайности, и обѣ онѣ богатство и бѣдность,—одинаково вредны для морали. Бѣдный самими состояніемъ своимъ глубоко испорченъ.

Главное явленіе, которое вывело людей изъ счастливаго круга необходимыхъ отношеній—внѣшняя торговля. «Торговля—вѣчто чудовищное, разрушающее само себя собственными руками». Купецъ не имѣетъ отечества; въ древности ихъ не даромъ презирали. Нездоровое явленіе—и та растущая мануфактура, которая питаетъ иноземный сбытъ. У Мабли—недовѣріе къ самому персоналу фабричныхъ рабочихъ: ихъ занятіе, ихъ матеріальное положеніе портитъ ихъ; это самый несчастный, но и самый низкій людъ.

При всей симпатіи француза и демократическаго политика къ сѣверо-американцамъ, которые бились въ то время за независимость, онъ видитъ въ экономической энергіи новой демократіи опасный симптомъ; онъ словно боится ея и рекомендуетъ ей—странно сказать—примѣръ аскетической Спарты и мѣщански-умѣренной Швейцаріи. Самый мотивъ американскаго возстанія, протестъ во имя экономической самостоятельности, ему не нравится.

Отдаленный идеалъ по Мабли состоитъ въ первоначальномъ коммунизмѣ. Поэтому дикимъ легче дать хорошіе законы. Въ Европѣ реформы могутъ заключать въ себѣ лишь постепенное приближеніе къ желательному строю рядомъ «хитрыхъ» комбинацій. Государство не должно быть богато. Иначе оно вызываетъ своимъ примѣромъ жадность въ частныхъ лицахъ. Мабли возстаетъ противъ государственныхъ сбереженій, противъ косвенныхъ налоговъ, развитія кредита. Онъ говоритъ въ политическихъ совѣтахъ полякамъ: «Я бы желалъ, чтобы не было общественныхъ финансовъ». Онъ напоминаетъ, что бѣдные народы всегда побѣждали богатыхъ. Онъ хочетъ наконецъ цензоровъ морали, какъ въ Римѣ, для сокращенія роскоши.

Своеобразно во всемъ этомъ направленіи сплетеніе рѣзкой социальной критики и уозсть, скудость положительныхъ социальныхъ построеній. Этой двойственностью демократической теоріи, исходившей отъ понятія о натуральномъ человѣкѣ и натуральномъ обществѣ, можно объяснить, почему она служитъ сначала въ XVIII в. героическому, революціонному настроенію, а послѣ революціи отдаетъ свои аргументы,

свои фантастическія картины реакціоннымъ ученіямъ. Она выступает сначала преимущественно какъ форма критики, форма нападенія.

Имя Руссо, обращеніе къ непосредственному чувству, къ натуральному противъ рефлексіи, противъ искусственнаго звучитъ призывомъ къ общественному перевороту. Въ такой странѣ, какъ Германія, гдѣ не было политической жизни, общественныя мечтанія легко входили въ эти общія моралистическія рамки. Въ 60-хъ годахъ молодой Гердери, горячая, многосторонняя натура, заброшенъ въ качествѣ учителя и проповѣдника въ предмѣстье Риги, на окраину тогдашней культурной Германіи: онъ глубоко огорченъ, что теперь онъ не больше, какъ чернильница для ученаго писательства, словарь наукъ и искусствъ, складъ бумагъ и книгъ. «Я хочу искать себя самого, чтобы найти себя воистину и никогда не терять; приди, Руссо, будь моимъ направителемъ». Въ своихъ планахъ реформъ, онъ хочетъ сдѣлать натурального человѣка Руссо національнымъ дѣтищемъ Лифляндіи и преобразовать на широкихъ началахъ естественнаго права эту мирную провинцію. «Ликургамъ и Солонамъ было возможно создать республику, отчего же мнѣ не создать республики для юношества? Вы, Цвингли, Кальвины, что одушевляло васъ? Я прохожу черезъ міръ; что мнѣ въ немъ, если я не сдѣлаюсь безсмертнымъ?»

Нѣсколько поздиѣ Шиллеръ представилъ воочию въ своихъ «Разбойникахъ» возвращеніе изстрадавшагося отъ ложной культуры, глубоко чуткаго человѣка, какого рисовалъ Руссо, къ природѣ и даже къ первоначальному чистому обществу; его община героическихъ студентовъ въ лѣсу, которые не признаютъ собственности и не трогаютъ бѣдняка, смѣются надъ властями и сокрушаютъ законный порядокъ, потому что носятъ законъ въ своемъ свободномъ влеченіи и мстятъ насиліемъ за поправный идеалъ человѣчскій; что же это иное, какъ не натуральное общество, рисовавшееся реставраторамъ золотого вѣка? Вождь и философъ «Разбойниковъ» говоритъ: «Законъ извратилъ людей, рожденныхъ къ орлиному полету, въ ползающихъ улитокъ; законъ еще не создалъ ни одного великаго человѣка, свобода родитъ великановъ».

Поздиѣ та же терминологія, частью тѣ же картины первоначальнаго и натурального быта послужатъ основой реакціонныхъ утопій, къ которымъ будутъ звать не на освободительный бой, а на успокоеніе отъ слишкомъ бурнаго и быстрого движенія впередъ.

Демократія въ проповѣдяхъ Руссо, Мабли и ихъ школы выступаетъ въ чертахъ, мало похожихъ на современную демократію. Мы теперь скорѣе всего ищемъ ея пульса въ большихъ городахъ, мы соединяемъ съ ней представленія о живомъ и быстромъ обмѣнѣ, матеріальномъ и умственномъ, о подвижности и нервности, общественномъ критицизмѣ, сложной организаціи политической и промышленной машины.

Въ противоположность этому можно сказать, что картины Руссо и

Мабли—сельскія, полузаснувшія идилліи; онѣ проникнуты какимъ-то аемледѣльческо-кустарнымъ сантиментализмомъ. Недаромъ Руссо все вспоминаетъ альпійскіе уголки, тихо-обывательскую жизнь старозавѣтныхъ швейцарскихъ городковъ. Онъ—одинъ изъ тѣхъ швейцарцевъ въ литературѣ, которые вообще пропагандировали въ XVIII вѣкѣ идеаль естественности и свободного сердца въ обстановкѣ своихъ горныхъ озеръ, живописныхъ селеній и патриархально-простой жизни: они включаютъ чистоту души, искренность порывовъ въ рамки впечатлѣній ровной, мелко-самодовлѣющей среды. Эти соціальныя моралисты хотятъ вернуть разбушевавшуюся жизнь большихъ городовъ, ропотъ горячихъ умственныхъ запросовъ къ сладкому сну ограниченныхъ потребностей и тихой сосредоточенности.

Они впадаютъ такимъ образомъ въ соціальныя консерватизмъ, можно сказать больше, въ утопическое ретроградство. Правда, многое въ общественно-экономической картинѣ Европы середины XVIII вѣка еще могло питать ихъ утопію. Лѣтъ 50 спустя, когда выросли фабричныя гиганты (въ Англіи и Франціи, когда сложился многочисленный рабочій классъ въ городахъ, когда переполненіе Европы выразилось въ обширной эмиграціи и въ завоеваніи рынковъ всего свѣта, общественныя мечтанія, подобныя Руссо, стали невозможнымъ анахронизмомъ; но онѣ еще долго волновали сердце и интересовали фантазію, какъ въ свое время миѳы о золотомъ вѣкѣ; только, сойдя съ почвы общественныхъ программъ, онѣ перешли въ область историческихъ картинъ, въ область сказокъ о томъ, что было когда-то.

Руссо увлекался литературой, изображавшей добрыя и воображаемыя народы. Одно время онъ самъ былъ занятъ составленіемъ исторіи Спарты, чтобы иллюстрировать на великомъ примѣрѣ силу добродѣтели въ политической жизни. «Самое большое затрудненіе, какое я испытывалъ въ своемъ историческомъ предпріятіи, это—что въ Спартѣ видишь людей, ни въ чемъ почти на насъ не похожихъ, которые кажутся намъ чѣмъ-то, совершенно превосходящимъ человѣческую натуру».

Исторія, слѣдовательно,—врагоучительная фантазія, какое-то изображеніе царства Божія на землѣ, все равно, когда и гдѣ. Сюда и примыкаетъ обширная историческая беллетристика или поэтическая исторія романтиковъ, съ безковечнымъ изображеніемъ то античной жизни, то среднѣвѣковаго рыцарства, то германскихъ богатырей, то краснокожихъ героевъ и мудрецовъ. Въ томъ или другомъ вѣсткѣ, это всегда міръ наивныхъ страстей, прямолинейныхъ характеровъ, а главное, это—міръ гипнотизирующихъ свѣтлыхъ моментовъ, заколдованной гармоніи. Это—вѣчная, блуждающая по вѣкамъ сказка; ея главный внутренній мотивъ—неподвижность отношеній.

VI. Теорія безконечнаго прогресса.

Въ 70-хъ годахъ XVIII вѣка въ Германіи сложилось общество подъ характернымъ названіемъ союза перфектибилистовъ, т. е. идущихъ къ

совершенствованію, потомъ переименованный въ союзъ иллюминатовъ, т. е. просвѣтленныхъ.

Это была одна изъ формъ превращенія просвѣтительства въ культъ. Вожди и популяризаторы новой науки, новыхъ методовъ изслѣдованія и разсужденія какъ бы чувствовали себя провозвѣстниками новаго Евангелія. Они вѣрили, что просвѣщеніе творить чудеса въ нравственномъ существѣ человѣка, что въліяніемъ просвѣщенія онъ перерождается, вступаетъ въ новый міръ, новую жизнь безконечнаго совершенствованія. Подъ въліяніемъ этого убѣжденія и складывались религіозные союзы, священные ордена просвѣщенія. Ихъ организація намѣчалась какъ бы сама собою: сначала—кружокъ избранныхъ и посвященныхъ, потомъ пропаганда и вербовка новыхъ учениковъ, дальнѣйшее расширение круга вѣрныхъ, чтобы приготовить сошествіе святой истины, ея міровое торжество.

Черта крайне любопытная—союзы эти почти непосредственно примыкаютъ по своимъ воспитательнымъ приемамъ, по устройству, по своей символикѣ къ старымъ, церковнымъ орденамъ и корпораціямъ. Основатель общества иллюминатовъ, молодой баварскій профессоръ Вейсгауптъ, былъ ученикъ іезуитовъ, возненавидѣвшій, какъ Вольтеръ, своихъ учителей по существу, но великій поклонникъ ихъ вѣщнихъ пріемовъ. Вейсгауптъ рѣшилъ послѣ закрытія іезуитскаго ордена бороться съ его тайнымъ въліяніемъ и, взявши его организацію и дисциплину, замѣнить іезуитскую школу пропагандой новаго просвѣщенія. Образы великихъ наставниковъ, которые носились передъ его воображеніемъ, были: Игнатій Лойола, св. Францискъ и Доминикъ. Вейсгауптъ выработалъ статуты, инструкціи, символъ вѣры новаго ордена. Цѣль его опредѣлялась такъ: «Моя задача пустить въ оборотъ, дать силу разуму... Главнымъ образомъ я стремлюсь поддержать тѣ науки, которыя имѣютъ въліяніе на развитіе общаго благоденствія нашего и успѣхъ нашего ордена, а противоположныя устранить съ пути. Намъ придется имѣть дѣло съ педантизмомъ, существующими школами и воспитаніемъ, нетерпимостью, богословіемъ и государственнымъ устройствомъ. Для этихъ цѣлей люди, каковы они есть, не годятся мнѣ, я долженъ еще образовать ихъ. Каждая предъидущая ступень должна быть школой испытанія для послѣдующей».

Согласно этимъ принципамъ, ученики постепенно вводятся въ тайну просвѣтительныхъ идей и дѣла. Въ низшихъ, такъ сказать, классахъ они изучаютъ мораль, исторію, познаютъ человѣка по книгамъ, преимущественно говорящимъ сердцу, воображенію: между поэтами — баснописцы, между философами и историками болѣе конкретные. Плутархъ, Адамъ Смитъ, Гельвецій и др. На высшихъ ступеняхъ изучаютъ «государственныя и религіозныя книги». Строгая іерархія, какъ у іезуитовъ, сложилась въ орденѣ. Около главы стояли посвященные высшихъ ступеней «свѣтлѣйшіе вожди», ареопагиты, которымъ слѣпо

должны были подчиняться низшіе, минералы. Тайную исповѣдь замѣнили правильные отчеты братьевъ, которые неуклонно наблюдали другъ за другомъ и обо всемъ доносили; какъ іезуиты, орденъ жадно добирался до правительственныхъ и сановныхъ лицъ, до богатыхъ и ученыхъ, до лицъ съ вѣсомъ, черезъ которыхъ можно было пріобрѣсти вліяніе. Таинственность и пышный церемоніаль долженъ былъ приковывать членовъ. Начало союза возводили въ глубь вѣковъ; онъ пользовался особымъ календаремъ, далъ странамъ и людямъ особыя пророческія или символическія имена; подъ вліяніемъ особой игры словъ были введены даже черты персидскаго огнепоклонства: орденъ, по мнѣнію основателя, есть служеніе огню, потому что въ борьбѣ съ мракомъ онъ хочетъ дать торжество свѣту.

Очень быстро распространился орденъ по всей Германіи, и въ него вступило много нѣмецкихъ князей-правителей, министровъ, администраторовъ, профессоровъ, учителей, писателей, между ними Гёте и Гердеръ. Когда его закрыли и стали преслѣдовать на югѣ, на сѣверѣ появился манифестъ «нѣмецкаго союза» или «ордена двадцати двухъ», въ которомъ говорилось: «мы соединились для того, чтобы провести великую цѣль возвышеннаго основателя христіанства, просвѣщеніе человѣчества и низверженіе съ престола предразсудка и фанатизма посредствомъ тихаго братскаго единенія всѣхъ, кто любитъ Божье дѣло».

Общества и союзы, подобные этимъ, отражали въ восторженной формѣ стремленіе къ популяризаціи новаго знанія и вѣру въ его морально-воспитательную силу. Эта вѣра сказывалась съ такой силой, что не только современный моментъ представлялся великимъ и глубоко плодотворнымъ; все будущее развѣтывалось въ картину безконечнаго совершенствованія.

Такъ слагается другой догматъ, другая черта религіознаго настроенія, передававшаяся ХІХ вѣку, именно идея безконечнаго и необходимаго человѣческаго прогресса. Если можно сказать, что возведеніе народа на степень деспота и земнаго бога у Руссо было религіозной формулировкой надвигающейся демократіи, то теорія безконечнаго прогресса человѣчества была первой религіозной и энтузіастической формулой современнаго ученія объ эволюціи.

Въ самомъ дѣлѣ, сначала хотѣли въ прогрессѣ человѣческаго общества на землѣ открыть предустановленную цѣль, прочитать планъ и школьную систему великаго воспитателя и даже найти признаки перехода человѣческаго міра въ еще болѣе совершенный міръ, который имѣетъ возникнуть въ будущемъ.

Такова мысль статьи Лессинга «Воспитаніе рода человѣческаго» (1780). Лессингъ представляетъ себѣ развитіе человѣчества похожимъ на развитіе человѣка. Оно также проходитъ три возраста и проходитъ школу, но его воспитанію служитъ откровеніе, которое Лессингъ рассматриваетъ въ его историческомъ движеніи. Имѣя дѣло сначала съ

грубымъ и жесткимъ еврейскимъ народомъ, откровеніе дѣйствовало на него яркими, элементарными картинками и рѣзкой, наивной моралью, которая обѣщала непосредственную кару и награду за зло и добро. Это былъ періодъ дѣтства. По мѣрѣ того, какъ ученикъ подвигался въ ясности, твердости и широтѣ понятій, его школа открывала ему новые горизонты. Школа сама вырабатывала посредствующую форму: въ лицѣ еврейскаго народа Ветхаго Завѣта, на который сначала было направлено откровеніе, былъ подготовленъ будущій воспитатель рода человѣческаго. Христіанство упразднило потомъ предшествующія формы религіознаго сознанія, такъ же какъ для юноши дѣлается ненужнымъ элементарный учебникъ. Оно внесло понятіе отдаленнаго духовнаго возмездія.

Предстоитъ періодъ полной зрѣлости; воспитаніе пойдетъ еще дальше, и человѣкъ будетъ любить добро ради него самого, а не ради возмездія. Это будетъ эпоха полнаго просвѣтленія, эпоха новаго вѣчнаго Евангелія, говоритъ Лессингъ, примѣняя выраженіе мечтателей XIII в., которые ждали послѣ эпохи Новаго Завѣта и царства Христа приближенія неземнаго св. Духа. Они, думаетъ Лессингъ, чуяли истину: «мечтатель часто имѣетъ вѣрный взглядъ на будущее». И Лессингъ, какъ они, рисуетъ возможность настоящаго перерожденія, втораго рожденія человѣка. Онъ представляетъ себѣ даже переселеніе душъ на земной поверхности. «Отчего отдѣльная личность не могла бы богѣе одного раза появляться на этой землѣ? Отчего мнѣ не возвращаться (на землю) всякій разъ, какъ я въ силахъ буду достигнуть новыхъ знаній, новыхъ способностей?» При этомъ человѣкъ, возрождающійся въ новую богѣ совершенную эпоху, забываетъ то, что присуще ему было въ низшую, менѣе совершенную. Въ этомъ скачкѣ индивидуальнаго сознанія заключается лишь кажущійся перерывъ. Въ цѣломъ, въ вѣчности движенія ничто не погибаетъ. Статья Лессинга заканчивается словами: «Быть можетъ, для меня такимъ образомъ потеряно будетъ слишкомъ много времени? Такъ ли, потеряно ли? А что я могу упустить? Развѣ не принадлежитъ мнѣ вѣчность?»

Здѣсь смѣшиваются представленія о человѣкѣ и о человѣчествѣ; представленія о личномъ безсмертіи и о непрерывной жизни идей или о ихъ возрожденіи; представленія о связи понятій въ личномъ сознаніи и о связи идей въ развитіи вѣковъ. То, что прошло человѣчество, то кажется жизнью одного духа. Этотъ взглядъ характеренъ для цѣлага направленія теоріи прогресса.

Подъ какимъ вліяніемъ сложилась эта мысль о человѣчествѣ, какъ великомъ объединенномъ цѣломъ, мысль о безконечномъ, необходимомъ, какъ бы предустановленномъ его прогрессѣ?

Восемнадцатый вѣкъ переживалъ крупное матеріальное сближеніе и сильный обмѣнъ мысли между европейскими націями. Все шире становятся торговыя сношенія, большія океаническія предпріятія, ко-

торыя охватываютъ всю земную поверхность. Въ этихъ оборотахъ и сношеніяхъ европейскіе народы какъ бы раздѣляютъ между собою трудъ и специализируются на разныхъ его видахъ. Отсюда возникаетъ идея, постоянно повторяемая въ концѣ XVIII в., что земной шаръ— великая мастерская, въ которой разнообразныя организаціи, постепенно совершенствуясь, работаютъ по извѣстному плану, въ извѣстной гармоніи для общей великой цѣли. Мечта идетъ еще дальше: инымъ кажется, что національныя различія падутъ такъ же, какъ сословныя предразсудки, что всѣ люди объединятся въ одинъ народъ, что установится одинъ общій языкъ просвѣщенія.

Другой толчокъ вѣрѣ въ прогрессъ давали успѣхи естествознанія. По мѣрѣ того, какъ европейцы раздвигали свой культурно-географическій горизонтъ, масса новаго матеріала обогатила науки, которыя изучали органическую жизнь природы. Множество новыхъ видовъ растительныхъ и животныхъ, и между ними новые виды животного, именуемаго человѣкомъ, открывали возможность широкаго сравнительнаго изученія. Чѣмъ больше сравнивали, чѣмъ больше изучали промежуточные виды, тѣмъ больше вытѣснялось старое представленіе о неподвижности формъ; тѣмъ больше разгоралось желаніе, увлекала задача открыть въ существующихъ видахъ непрерывную цѣпь развитія, схватить въ нихъ біеніе однихъ и тѣхъ же законовъ жизни.

Сильно дѣйствовали на общія представленія также успѣхи физики и химіи. Открытіе магнетизма и электричества, разложеніе на составныя части воздуха и воды, т. е. того, что считалось раньше тоже неподвижными элементами, заставляло и въ неорганическомъ мірѣ искать движущихъ силъ, искать зникновенія сложныхъ формъ и образованій изъ комбинацій простыхъ началъ. Между неодушевленной и одушевленной природой падали преграды, казавшіяся неодолимыми. Человѣкъ былъ пораженъ тѣмъ, что онъ находилъ тамъ и здѣсь одинаковыя составныя части. Если въ современности онъ встрѣчалъ различныя формы въ живомъ и мертвомъ мірѣ, то значить слѣдовало отнести къ прошлому нечувствительный переходъ отъ однихъ къ другимъ. «Отчего, — говоритъ Гердеръ въ «Идеяхъ къ философіи исторіи», — у насъ и у всѣхъ животныхъ въ костяхъ известъ? Потому что въ грубыхъ формаціяхъ земли известъ составляла одинъ изъ послѣднихъ переходовъ, который, вслѣдствіе своего бѣльшаго совершенства, могъ уже служить костяному строенію живого организма».

Еще шагъ, и является мысль, что въ природѣ не только существуетъ единство матеріала, вещества, но также единство движущихъ жизненныхъ началъ. Странно звучитъ для насъ предположеніе одного психолога половины XVIII в. Крейца, что между матеріей и духомъ должны быть «среднія существа» (Mitteldinge). Но онъ именно проникнуть этой мыслью о единствѣ жизни въ природѣ, которая доходитъ у него до одухотворенія всѣхъ существъ. Чтобы судить, какъ

великъ былъ переворотъ понятій, хорошо вспомнить, что философскій наставникъ предшествующей эпохи, Декартъ, считалъ даже животныхъ машинами, лишь искусно воспроизводящими подобіе душевной жизни.

«Ничто въ природѣ,—читаемъ мы у Гердера въ приведенномъ уже мѣстѣ,—не стоитъ въ покоѣ; все стремится и подвигается дальше». Существующія формы начинаютъ казаться послѣдовательными ступенями, на которыхъ въ разные моменты остановилось движеніе; но всѣ онѣ отъ простѣйшихъ, видимо, покоящихся, спящихъ и до самыхъ сложныхъ и тонкихъ, наиболѣе нервныхъ и подвижныхъ, — всѣ онѣ, вся природа представляется іерархическимъ цѣлымъ, которое на всемъ протяженіи состоитъ изъ одинакихъ элементовъ и внутри котораго идетъ одно великое движеніе.

Къ этому движенію въ природѣ естественно стали присоединять исторію человѣка. Она должна была входить, какъ составная часть, въ общую цѣпь; въ ней слѣдовало теперь открыть ту же возрастающую прогрессію силъ, возрастающую сложность образованій.

Въ этой связи мысли исторія человѣка является у Гердера въ его «Идеяхъ къ философіи исторіи человѣчества», книгѣ, вышедшей въ 1784 году. Интересно сравнить сочиненіе Гердера съ книгой Вико, вышедшей за 60 лѣтъ передъ тѣмъ. Источники и вдохновители Вико—языкъ, литература, мифъ, поэзія, формы права; онъ старается угадать въ сказаніяхъ, словахъ, обычаяхъ, какъ въ символахъ художественное выраженіе потребностей и настроеній вѣковъ и поколѣній. Гердеръ находится подъ обаяніемъ прежде всего естественно-научныхъ открытій. Фундаментъ его исторіи человѣчества, это—исторія солнечной системы, исторія образованія земной коры, исторія развитія растительныхъ и животныхъ видовъ. Картина этого непрерывнаго движенія силъ вызываетъ въ немъ культъ творящей природы, и онъ чтитъ въ ней существо, которое своею мыслью опредѣляетъ будущіе пути развитія видовъ на землѣ. Человѣчество представляется ему тоже великимъ живымъ организмомъ, и онъ обращается къ его генію: «и вотъ я повергаю къ твоимъ стопамъ, великое существо, ты невидимый возвышенный геній нашего рода, несовершеннѣйшее произведеніе, какое только писалъ смертный. Развѣются листы и рассыплются буквы, разлетятся формулы, въ которыхъ я видѣлъ твои слѣды и старался ихъ выразить для ближнихъ моихъ, но мысли твои останутся, и ты будешь открывать ихъ послѣдовательно все больше и больше поколѣніямъ рода своего и являть въ образахъ все болѣе прекрасныхъ».

Намъ трудно теперь читать Гердера. Невольно отпугиваетъ его выпрепный тонъ, его какъ бы пророческія видѣнія и возгласы, его неумѣнье удержаться на конкретной почвѣ и постоянное уклоненіе въ неясныя и широкія мечтанія. А между тѣмъ въ его хаотическомъ и

реторическомъ изложеніи брошены удивительно сильныя и глубокія мысли, которыя развиваетъ наука въ XIX в.

Гердеръ говоритъ о законѣ сохраненія силы. Онъ опредѣляетъ ростъ всякаго существа, какъ усвоеніе имъ органическихъ силъ изъ окружающаго міра. Но болѣе всего его занимаетъ слѣдующая мысль: «анатомическія и физиологическія данныя доказываютъ, думаетъ онъ, что черезъ все одушевленное твореніе на нашей землѣ проходитъ господствующая аналогія одной организаціи». Пораженный сходствомъ функцій и движенія на всѣхъ ступеняхъ, онъ хочетъ найти основную клѣточку, основной простой типъ, который лежитъ въ глубинѣ всѣхъ организацій, какъ бы онѣ ни были различны. «Мы ставимъ подрядъ виды и формы, въ существо которыхъ мы не можемъ проникнуть, и классифицируемъ ихъ, какъ дѣти, по отдѣльнымъ органамъ и членамъ или другимъ знакамъ. Высшій домоправитель міра видитъ и держитъ у себя непрерывную цѣпь напирających другъ на друга силъ». «Если бы мы обладали чувствомъ, которое позволяло бы намъ видѣть первоначальные образы и зародыши вещей, мы замѣтили бы, можетъ быть, въ мельчайшей точкѣ прогрессію всего творенія».

Одна нить такимъ образомъ проходитъ черезъ все строеніе до человѣка. Сложность организаціи, это — лишь болѣе многочисленное соединеніе элементовъ изъ низшихъ царствъ. «Кровь человѣка — это сборникъ со всего земного міра: известъ и земля, соли и кислоты, масло и вода, силы произрастанія, возбужденій, ощущеній соединены въ немъ и сплетены органически». «Чѣмъ ближе къ человѣку, тѣмъ тѣснѣе смыкала природа группы и радіусы, чтобы соединить въ человѣческомъ существѣ, этомъ священномъ центрѣ всего земного творенія, все, что она могла. Радуйся, человѣкъ, твоему состоянію и изучай самого себя, благородное созданіе средины, во всемъ, что живетъ вокругъ тебя».

Характерно разсужденіе Гердера объ «органическомъ различіи» между животными и человѣкомъ. Это — не различіе фиксированныхъ видовъ, не качественное различіе. Человѣка отличаетъ культура, сводящаяся на выработку и передачу слѣдующимъ поколѣніямъ болѣе совершенныхъ органовъ, привычекъ, искусствъ. Лишенный ихъ, не усвоившій ихъ человѣкъ принадлежитъ опять къ животнымъ. Поэтому у Гердера актъ творенія есть только драматическій призывъ генія природы къ поднявшемуся животному, призывъ, въ которомъ лишь формулированъ итогъ совершившагося въ человѣкоподобномъ существѣ подъема къ культурѣ: «Встань, созданіе, съ земли!» Лишь въ этомъ смыслѣ рожденіе человѣка, «перваго вольноотпущеннаго природы», есть второе твореніе.

Впечатлѣніе отъ этой картины возрастающихъ силъ и совершенствующихся формъ настолько сильно, что Гердеръ не можетъ остановиться на человѣкѣ, какъ послѣднемъ звенѣ; его вѣра перекидывается

за предѣлы сущаго и видимаго. Исторія должна показать тѣ средства культуры, которыя направляли всѣ народы къ великой цѣли, именно къ счастливому возсоединенію ихъ и возвышенію въ одинъ народъ «для здѣшняго и будущаго міра». Человѣкъ—последнее кольцо земной цѣпи, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ—первое, начальное для другой жизни; въ отношеніи этой жизни онъ все равно, что дитя въ своихъ первыхъ шагахъ. Безъ безсмертія, говоритъ Гердеръ, нѣтъ философіи исторіи. На землѣ человѣкъ не можетъ болѣе перейти ни въ какую организацию, ему придется идти назадъ или шататься въ кругѣ—остановиться онъ не можетъ; слѣдовательно, ему, очевидно, предстоитъ ступень, настолько къ нему близкая и все-таки настолько надъ нимъ приподнятая, какъ онъ надъ животнымъ. Гердеръ представляетъ себѣ даже прощаніе человѣка съ землей: «Ты много вкусилъ на ней хорошаго. Ты достигъ на ней той организаци, въ которой ты, въ качествѣ сына небесъ, научился смотрѣть вокругъ себя и выше себя. Покидай ее радостно и благослови ее, это поле, гдѣ ты игралъ, какъ дитя безсмертія, эту школу, гдѣ ты воспитался въ горѣ и радости къ зрѣлому возрасту. Ты не имѣешь болѣе правъ на нее, она не предъявитъ правъ на тебя; увѣнчанный уборомъ свободы, охваченный небеснымъ поясомъ, двинься радостно дальше со своимъ посохомъ».

И здѣсь, какъ у Лессинга, не знаешь, идетъ ли рѣчь о личномъ безсмертіи человѣка или о мистическомъ будущемъ человѣчества. Такъ или иначе, новая вѣра въ безконечный прогрессъ связана съ олицетвореніемъ и обоготвореніемъ человѣчества и съ представленіемъ о его нѣкоторымъ образомъ загробной жизни.

Но каково же содержаніе прогресса человѣчества? Какія черты обнаруживаетъ развитіе его на землѣ, какимъ законамъ оно подчинено? Гердеръ говоритъ, что встрѣчалъ пессимистовъ, которые увѣряли его, что на пустынномъ океанѣ человѣческой исторіи они не видятъ Бога; напротивъ, Онъ предстаётъ предъ ними, когда они на твердой почвѣ естественно-научнаго изученія, Онъ открывается здѣсь въ каждой былинкѣ и песчинкѣ. О всемогуществѣ и мудрости Бога говоритъ вся природа, только не человѣческое общество, гдѣ бессмысленныя страсти и дикія разрушительныя силы борются между собою. Исторія—словно паутина въ уголку мірозданія; въ тонко-сплетенныхъ нитяхъ ея много жертвъ разбоя, но нигдѣ не видно даже печальнаго средоточія ея, самого прядущаго паука.

«Сомнѣнія и жалобы людей, что въ исторіи—одна смута, что едва замѣтенъ ростъ добра, происходятъ отъ того, что печальный путникъ видитъ передъ собой лишь небольшую часть дороги. Если бы онъ окинулъ шире взоромъ и лишь безпристрастно сравнилъ вѣка, болѣе обстоятельно извѣстные намъ изъ исторіи; если бы онъ вникъ, кромѣ того, въ природу человѣка и взвѣсилъ, что такое разсудокъ и правда, онъ бы такъ же мало усомнился въ этомъ, какъ въ самыхъ достовѣр-

ныхъ истинахъ физической природы. Въ теченіе тысячелѣтій считали солнце и звѣзды неподвижными; телескопъ устраняетъ всѣ сомнѣнія въ томъ, что они движутся». Съ извѣстной высоты, слѣдовательно, открывается и для историческихъ судебъ человѣка обширная перспектива, въ которой ясно должны выступить законы его развитія на землѣ. Богъ есть въ исторіи, какъ и въ природѣ; человѣкъ въ самыхъ дикихъ проявленіяхъ слѣдуетъ законамъ, не менѣе прекраснымъ, чѣмъ законы движенія небесныхъ тѣлъ.

Въ самой природѣ человѣка указаны эти законы. Человѣчность, гуманность—вотъ высшая цѣль, заключенная въ его существѣ; недаромъ же, когда мы хотимъ представить ангеловъ или боговъ, мы ихъ рисуемъ, какъ идеальныхъ людей. Возвышенная религія, создавшая нашу культуру, заключаетъ въ себѣ принципы совершеннѣйшей гуманности. Мы слышимъ ее въ бесѣдахъ Христа. Болѣе всего Онъ любилъ себя называть сыномъ человѣческимъ. Какъ понять небесное царство, о которомъ Онъ проповѣдывалъ? Духовный Спаситель рода человѣческаго, Онъ хотѣлъ образовать «человѣковъ Божіихъ, которые подъ господствомъ какого бы то ни было закона, искали бы блага другихъ въ силу чистаго принципа и, даже подвергаясь страданіямъ, съ царственной мощью выступали бы въ мірѣ правды и добра». Богъ сдѣлалъ человѣка богомъ на землѣ. Но не чудесами помогаетъ Онъ человѣку подняться до своего высшаго назначенія: только одно великое чудо дано ему, это—собственная его организація. Онъ брошенъ въ свѣтъ, чтобы развивать вложенные въ него задатки на полной свободѣ; зато всѣ святые, вѣчные законы природы будутъ помогать ему.

Мировая сила мудро распредѣлила на земной поверхности разнообразныя условія вѣшней обстановки, климатъ, форму рельефа, почвенныя различія. Условія эти даютъ толчекъ и матеріалъ для человѣческой работы. Но въ нихъ вѣтъ непреодолимо связывающей силы. «Климатъ не принуждаетъ, а клонитъ», говоритъ Гердеръ, ослабляя положеніе Монтескье. Человѣческимъ группамъ, обществамъ, народамъ даны направлятельныя линіи, но движеніе по нимъ составляетъ энергическую, самостоятельную работу, составляетъ раскрытіе и примѣненіе данныхъ имъ первоначальныхъ силъ. Въ этомъ смыслѣ существуетъ воспитаніе рода человѣческаго, существуетъ идеальное единство, идеальная семья людей и народовъ. «Историческое теченіе подъ конецъ опять сходится въ одно русло, и вся территория земли превращается въ одну школу нашей семьи, раздѣленной на много группъ, классовъ и камеръ, но съ однимъ типомъ обученія».

Тысяча заблужденій и паденій возможны на этомъ пути. Божество заставляетъ людей пройти черезъ нихъ, чтобы на нихъ научиться лучшему. «Всякое заблужденіе человѣка—есть туманъ правды; всѣ грубыя страсти въ его груди—дикія побужденія силы, которая еще не сознаетъ себя, но по природѣ своей идетъ и клонитъ къ лучшему».

Бури моря, страшныя и разрушительныя, тоже дѣти гармоническаго міроздавія и ему онѣ должны служить, какъ мягкіе зефиры». Если правды мало и слабы результаты борьбы, это значитъ, что человѣкъ не схватилъ того, на что способенъ. «Человѣчество представляетъ собою то, что оно могло сдѣлать съ собою, на что оно имѣло охоту и силу».

«Если, говорить Гердеръ, мнѣ расскажутъ теперь басню о республиканскомъ героѣ Брутѣ, который, будто бы, послѣ пораженія при Филиппахъ, съ кинжаломъ въ рукѣ, воскликнулъ: «Добродѣтель, я вѣрилъ, что ты нѣчто собою представляешь; я вижу теперь, что ты—сонъ!»—я скажу, что не слышу мудреца въ жалобѣ этой. Будь у него истинная добродѣтель, онъ не могъ и въ этотъ моментъ не чувствовать ея нравственнаго торжества. Разъ онъ не сознавалъ ея силы, онъ только подкрѣплялъ этимъ фактъ побѣды болѣе сильнаго. Невѣрно сбрасывать вину деспотическаго порядка на тѣхъ немногихъ, кто держитъ власть; она держится на слабости, на рабствѣ тѣхъ, кто повинуется».

Въ самыхъ страшныхъ потрясеніяхъ заключается зародышъ лучшаго будущаго. Между примѣрами, которые приводитъ Гердеръ, есть одинъ, для насъ особенно поразительный. Онъ думаетъ, что въ человѣческой средѣ слабѣютъ разрушительныя наклонности, и приводитъ въ доказательство прежнія долги и частыя грабительскія войны и современныя, быстро рѣшающія дѣло. А ростъ губительныхъ орудій, а увеличеніе человѣческихъ жертвъ въ короткій срокъ нынѣшнихъ войнъ? Гердеръ отвѣчаетъ намъ, что въ злѣ здѣсь и таится добро. Сама страшная техника войны и разрушаетъ войну, дѣлаетъ ее невозможной и ненужной. Не тѣ-ли самыя доводы въ пользу самопроизвольнаго исчезновенія войны приводятся въ концѣ XIX в., когда мы приходимъ въ ужасъ отъ неуклонно растущихъ военныхъ бюджетовъ и когда мы читаемъ о битвахъ, въ четверть часа обращающихъ цѣлый флотъ и тысячи людей въ одинъ костеръ?

Теорія Гердера не просто шагаетъ черезъ преграды на пути прогресса; она въ нихъ беретъ новую увѣренность въ его неуклонности. Это—оптимистическій фатализмъ. Не надо оплакивать паденій и неудачъ. Беретъ верхъ не всегда лучшее, но если торжествуетъ грубое и злое начало, это лишь испытаніе для добраго, это значитъ, что доброе не сумѣло сплотиться въ силу, не поднялось на истинную высоту.

Стремительная новая философія исторіи, изучавшая въ судьбѣхъ человѣческихъ обществъ на землѣ лишь одинъ этапъ, одинъ періодъ непрерывнаго процесса движенія, конечно, должна была почувствовать свое отличіе отъ спокойной обозрѣвающей соціологической мысли предшествовавшихъ поколѣній. Гердеръ ждетъ новаго Монтеस्कье для исторіи и рѣзко отмѣчаетъ то, что ему кажется недостатками дѣйствительнаго Монтеस्कье: не по пустымъ именамъ трехъ или четырехъ политическихъ

формъ должно опредѣлять законы исторической жизни, не на основаніи хитрыхъ формулировокъ государственныхъ принциповъ, а главное, не на основѣ «оторванныхъ примѣровъ, которые выхвачены изъ всѣхъ націй, временъ и странъ свѣта, такъ что даже геній земли нашей не могъ бы изъ этого смѣшенія и смуты составить пѣлаго». Въ исторіи нѣтъ повтореній.

Такимъ образомъ, исторія представляетъ единый процессъ единого великаго тѣла, человѣчества. Сравнительное изученіе Гердеръ отвергаетъ потому, что мы имѣемъ въ исторіи не возобновляющіеся типы, а переходящіе моменты великаго теченія, камни, творческой рукой художника приготовленные для пѣлаго. Жизнь обществъ и народовъ, бесконечно индивидуализированная, должна быть понята въ своихъ своеобразныхъ чертахъ и своемъ отношеніи къ пѣлому. Только одинъ общій законъ можно въ ней подмѣтить,—законъ механическій: каждая группа можетъ достигнуть извѣстнаго максимума напряженія дѣятельныхъ силъ, слагающихся къ общей гармоніи въ ея средѣ. Народы направляютъ свою энергію къ разнообразнымъ пѣлямъ, у каждаго свой особый максимумъ: у китайца вырабатывалась тонкая политическая мораль, у индусовъ — идеаль воздержанія, чистоты, тихой работы и терпѣливости, культура грековъ шла къ наивысшему напряженію чувственно-прекраснаго. Въ пѣломъ «черезъ жизнь всѣхъ образованныхъ народовъ тянется одна пѣпь культуры въ сильно отклоняющихся кривыхъ линіяхъ и поворотахъ; отклоненія создаются изъ подъемовъ и паденій, изъ разнообразныхъ максимумовъ. Иные изъ нихъ исключаютъ другъ друга или ограничиваютъ взаимно другъ друга, пока наконецъ въ пѣломъ не возстановится равновѣсіе».

Движеніе прогресса получаетъ такимъ образомъ у Гердера совершенно иной характеръ, чѣмъ въ философіи исторіи просвѣтителей. Иначе складывается у него и опредѣленіе факторовъ прогресса. Въ долгой и непрерывной работѣ приспособленія, совершенствованія органовъ и привычекъ, въ передачѣ высшихъ формъ сознанія, помимо непосредственныхъ усилій ума, помимо прямо усваиваемаго запаса знаній и пріемовъ, Гердеръ указываетъ еще обширную роль традиціи, элемента, глубоко таящагося въ чувствахъ.

Самое яркое выраженіе традиціи — религія. Культура и наука выросли не вопреки религіи и не на ея обломкахъ; онѣ были первоначально ничѣмъ инымъ, какъ религіозной традиціей, передававшейся въ языкѣ и письмѣ; жрецы были первоначальными мудрецами народа. Гердеръ возвращается къ знакомой намъ идеѣ Вико: сфера религіознаго толкованія и религіознаго чаянія бесконечно шире, чѣмъ узкій кругъ рационально доступнаго и объяснимаго. «Мы не можемъ не искать въ окружающемъ причинной связи; но въ дѣлахъ природы мы не можемъ въ сущности открыть внутреннихъ причинъ: мы не знаемъ самихъ себя и не знаемъ работающихъ въ насъ силъ.

Поэтому, въ нашемъ опредѣленіи силъ, дѣйствующихъ внѣ насъ, все— лишь сонъ, догадка или простое названіе; однако же сонъ вѣренъ, если мы видимъ частое и постоянное соединеніе одинаковыхъ причинъ съ одинаковыми слѣдствіями. Таковъ ходъ философіи, а первой и послѣдней философіей всегда была религія». Религія въ человѣкѣ и есть знакъ того, что Богъ не предоставилъ человѣческаго міра жестокому случаю. «Животному Ты далъ инстинктъ, въ человеческой душѣ Ты начерталъ свой образъ—религію и гуманность; контуръ изваянія заключенъ въ темной глубинѣ мрамора; но онъ не можетъ вырубить, образовать себя самъ. Это должны сдѣлать традиція и ученіе, разумъ и опытъ, и Ты далъ человѣку всѣ средства къ тому». «Царство человѣческихъ дарованій и ихъ выработка—вотъ истинный градъ Божій на землѣ, въ которомъ всѣ люди—граждане, раздѣленные лишь по очень различнымъ разрядамъ и ступенямъ».

Придавая великую культурную цѣну религіи, какъ элементу внутренней энергіи и просвѣтленія, Гердеръ раздѣляетъ однако съ просвѣтителями отрицательное отношеніе къ церковности, къ догматикѣ и считаетъ историческіе моменты господства этихъ началъ безплодными или глубоко печальными. «Варварамъ и сарацинамъ мы должны быть благодарны за то, что они дикими нападеніями своими разрушили этотъ позоръ человѣческаго разума». Вотъ почему въ «отвратительной» византійской исторіи Гердеръ видитъ лишь пороки и жестокости: «дешевый оміамъ передъ худшими императорами; безобразную анархію, которая смѣшалась въ одну массу броженія духовныя и свѣтскія дѣла, еретиковъ и правовѣрныхъ, варваровъ и римлянъ, генераловъ и евнуховъ, женщинъ и поповъ, патріарховъ и императоровъ». Античная древность неизмѣримо выше. «Вы, древніе римляне, Катоны, Цицероны, Брутъ, Титъ, вы Антонины. что вы сказали бы, глядя на этотъ новый Римъ, т. е. императорскій дворъ въ Константинополѣ, отъ его основанія до его паденія?» Въ духъ просвѣтителей Гердеръ оцѣниваетъ и крестовые походы, эту «святую глупость», «бѣшеное» предпріятіе, совершавшееся «распущенными» бандами.

Гердеръ замѣчаетъ въ заключеніе крупнѣйшіе шаги современнаго человѣчества, и его картина надолго опредѣлила перспективу въ послѣдующихъ изображеніяхъ всемірной исторіи. Особенно любопытно опредѣленіе момента, съ какого Гердеръ ведетъ эру новой Европы, просвѣщенной и дѣятельной, новаго общества, исполненнаго независимости, духа равенства и культурности. Великими толчками онъ считаетъ арабовъ, отъ которыхъ идетъ инициатива рыцарства и средневѣковой поэзіи, затѣмъ ереси съ XII в., подготовлявшія, силою своей простоты и сердечности, паденіе величайшей изъ тиранній, іерархіи; наконецъ города. эти «укрѣпленные лагеря культуры, мастерскія труда и образцы правильного управленія»; города именно создали «объединенную въ своей работѣ Европу, а не государи, попы и дворяне».

У Гердера есть полетъ натурь-философа, чутье общей органической жизни, пониманіе общихъ психическихъ основъ культуры, но въ его построєніяхъ отсутствуетъ ближайшая обстановка историческихъ явленій; у него есть народы въ разныхъ климатическихъ условіяхъ и съ различными культурными продуктами, но нѣтъ государствъ, сословій. Гердеръ жилъ въ раздробленной Германіи, которая была лишь географическимъ именемъ, а не сплоченной націей; онъ жилъ при небольшомъ просвѣщенномъ Веймарскомъ дворѣ, который скорѣе былъ похожъ на крупную гостепріимную виллу помѣщика-мецената, чѣмъ на государство; онъ самъ былъ священникъ и церковный савонникъ: его разсужденія слагались въ стилѣ общей гуманной проповѣди къ людямъ вообще, а не къ представителямъ извѣстнаго государства, сословной группы, партіи или школы. Окружающія условія и характеръ профессіи налагали вмѣстѣ съ тѣмъ на эту личность, прошедшую просвѣтительную школу, тяжелую сдержку. Гердеръ писалъ къ концу жизни: «каждый человѣкъ долженъ былъ бы передъ смертью начертать на бумагѣ, что собственно онъ считалъ комедіей и кукольной игрой, но не могъ громко объявить изъ страха передъ обстоятельствами, у всѣхъ насъ есть такая ложь жизни на душѣ и намъ стало бы легче, если бы мы сняли ее съ себя, надѣвая на себя саванъ». Въ другой разъ онъ замѣтилъ, что «самое тонкое самоубійство совершается въ самыхъ выдающихся, избранныхъ людяхъ. Чѣмъ болѣе чуткости въ человѣкѣ, тѣмъ страшнѣе для него разрушеніе горячо любимой идеи, возвышеннаго идеала, которые онъ носилъ. Такихъ мертвецовъ гораздо больше въ нашемъ обществѣ, чѣмъ можно думать, именно потому, что они болѣе всего скрываютъ горе свое и прячутъ ядъ своей медленной смерти, какъ печальную тайну сердца, даже отъ своихъ друзей».

Безъ сомнѣнія, представленіе о человѣчествѣ, какъ одномъ великомъ обществѣ, которое въ своемъ развитіи направлено благодѣтельной силой къ свѣтлой общей цѣли, было отзвукомъ старинной церковной идеи, собиравшей разрозненныя на землѣ группы человѣческихъ обществъ въ одинъ великій, всеспасающій градъ Божій.

Въ XVIII вѣкѣ стало трудно распознать первоначальное происхожденіе универсально-историческаго построєнія. Всѣ страны на земной поверхности, выступая изъ мионическаго тумана, втягивались въ реальный обмѣтъ. Роль просвѣтляющей силы въ средѣ человѣческой массы заняла наука. И рамки прежняго, подлежавшаго объединенію и спасенію человѣчества, и факторы движенія въ его средѣ стали казаться иными. Но можно почти непосредственно ощутить, какъ новая традиція примыкала къ старой. Замѣчательная рѣчь молодого Тюрго «о послѣдовательномъ прогрессѣ человѣческаго ума» была произнесена въ 1750 году въ торжественномъ собраніи стараго богословскаго факультета Парижа, Сорбонны, тамъ же, гдѣ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, тотъ же начинаю-

цій ученый говорилъ «о благодѣяніяхъ, оказанныхъ христіанствомъ роду человѣческому». Черезъ обѣ рѣчи проходитъ въ сущности одна мысль—о послѣдовательномъ просвѣтленіи человѣчества. Прогрессъ опредѣленъ, какъ ростъ успѣховъ научнаго метода, ясныхъ, точныхъ знаній, какъ развитіе сознательной стройки и творческой работы человѣка. Рѣчи Тюрго по времени совпадаютъ съ горячимъ протестомъ Руссо противъ воздѣйствія культуры и съ началомъ его проповѣди о благодѣтельной, единственно спасающей останокѣхъ соціального движенія.

Оба направленія пошли рядомъ въ общественной мысли. Но во Франціи въ послѣдней четверти XVIII вѣка присоединился еще одинъ новый элементъ общественнаго движенія, который повліялъ на формулировку теоріи прогресса—именно политическое возрожденіе страны, расширеніе сферы правъ, ростъ гражданскаго равенства въ эпоху революціонную.

Совпаденіе торжества точныхъ наукъ и соціально-политическаго подъема производило своеобразное впечатлѣніе на общественное сознаніе. На этомъ впечатлѣніи, можно сказать основано ученіе другого крупнаго провозвѣстника теоріи прогресса въ концѣ XVIII вѣка, столь непохожаго на Гердера какъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ, такъ и по обстановкѣ дѣятельности, именно—Кондорсе.

Кондорсе—ученый съ ясной головой, чуждой всякаго мистицизма, умственно-счастливая, разумно-рефлектирующая натура. Кондорсе можно назвать лучшимъ, совершеннѣйшимъ продуктомъ просвѣщенія XVIII вѣка. Въ стройной системѣ собраны его знанія, они проникнуты ясными принципами, которые указываютъ точные пути дальнѣйшей работы; въ Кондорсе есть интересъ и чутье ко всему живому въ соціальной жизни: онъ горячій защитникъ самоуправленія, свободы печати, правъ женщины, эмансипаціи невольниковъ; въ немъ научный духъ встрѣчается и крѣпко сплетается съ мягкой человѣчностью.

Кондорсе былъ собственно математикъ и естествоиспытатель; почти всю жизнь онъ провелъ въ серьезной научной работѣ и въ общеніи съ тѣми, кто составлялъ цвѣтъ ума во Франціи въ послѣднюю четверть вѣка, въ кабинетѣ и салонѣ. Но въ эпоху революціи выдающійся человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, не могъ уйти отъ политической жизни. Въ великомъ штурмѣ за человѣческія права его долгъ былъ стоять на первомъ, самомъ отвѣтственномъ посту. Кондорсе отдался дѣлу возрожденія Франціи со всѣмъ жаромъ вѣрующаго, но онъ внесъ въ него свой научный складъ мысли. Люди переживали время удивительныхъ ожиданій и сознанія невѣроятныхъ успѣховъ въ общественной жизни. Въ умѣ философа успѣхи эти выстраивались, какъ ряды результатовъ, которые можно было предусмотрѣть и вычислять изъ дѣйствовавшихъ силъ. Торжество научнаго метода, полное освобожденіе мысли, въ глазахъ ученаго, не просто совпадало съ соціальнымъ и политическимъ освобожденіемъ: нѣтъ, то и другое были какъ бы выраженія одной

и той же благодѣтельной силы: въ просвѣтлѣніи умовъ и заключенъ главный, единственный рычагъ общественнаго благополучія; все зло должно пасть передъ очевидностью научной истины.

Отсюда великая и первая обязанность для научнаго дѣятеля. «Убѣжденный съ давнихъ поръ,—говорить Кондорсе,—въ томъ, что родъ человѣческій способенъ къ безконечному совершенствованію и что это совершенствованіе, какъ необходимое слѣдствіе современнаго состоянія знаній и общества, можетъ быть остановлено лишь физическими переломками на земномъ шарѣ, я считалъ заботу объ ускореніи этого прогресса однимъ изъ самыхъ пріятныхъ занятій, первымъ долгомъ человѣка, который укрѣпилъ свой разумъ научнымъ изслѣдованіемъ и размышленіемъ».

Еще въ концѣ 70-хъ годовъ Кондорсе выступилъ публицистомъ. Со времени революціи онъ—дѣятельный политикъ сначала въ парижской коммунѣ, потомъ въ законодательномъ собраніи и конвентѣ въ рядахъ жирондистовъ. Онъ могъ, не такъ, какъ Гердеръ, до конца и безъ прикрытія высказать свою мысль: онъ могъ испытать, черпнуть до самаго дна наслажденія и горечи политической жизни. Онъ любопытенъ намъ тѣмъ, какъ научная вѣра его прошла невредимой сквозь строй этихъ испытаній.

«Просвѣщеніе» середины XVIII в. формулировало очень ясно задачу культурной работы. Предполагалась заранѣе готовая, фиксированная цѣль—разумный порядокъ, который лишь ждетъ пробуждающихся людей. Движеніе впередъ—какъ бы постепенное отпаденіе шелухи отъ чистаго блестящаго зерна, паденіе съ глазъ человѣческихъ повязки. И вотъ, въ концѣ столѣтія, когда обществу дали просторъ, люди стали свертать одно за другимъ то, что они называли предрасудками и препятствіями: исчезли всѣ преграды къ единенію возрожденнаго народа, сошли въ могилу стародавнія привилегіи двухъ высшихъ сословій, сокрушились самыя эти сословія; исчезла самая старинная привилегія во Франціи, ея монархическая власть; установилась свобода мнѣній и вѣрованій, и скрылся самый могучій авторитетъ, авторитетъ католической церкви. Ученый, который привѣтствовалъ эти быстрые шаги къ послѣдней цѣли, не замѣтилъ, какъ въ сокрушеніи препятствій онъ самъ сталъ препятствіемъ въ глазахъ извѣстной группы борцовъ. Съ паденіемъ жирондистовъ, лѣтомъ 1793 г. Кондорсе пришлось бѣжать отъ гильотины. Нѣкоторое время онъ укрывался въ домѣ героической женщины, не побоявшейся рискнуть жизнью; но спастись ему не удалось.

Въ безпокойныя минуты жизни въ этомъ убѣжищѣ Кондорсе и написалъ свое культурное завѣщаніе «Очеркъ успѣховъ человѣческаго разума». Это набросокъ главныхъ мыслей, который онъ надѣялся заполнить потомъ доказательствами и картинами. Подъ руками не было книгъ и пришлось писать по памяти, возстановлять въ воображеніи заложенныя раньше черты историческихъ образовъ.

Нѣтъ ничего болѣе трогательнаго вѣры преслѣдуемаго ученаго въ близкое торжество истины. У него нѣтъ личной жалобы. Можетъ быть, именно та страшная операція, жертвой которой онъ будетъ, и окажется послѣднимъ усиленіемъ, послѣднимъ зломъ, которое надо преодолѣть, чтобы очистить путь. «Если вѣрно, что родъ человѣческой освободится отъ всѣхъ цѣпей, подчиненныхъ господству случая... эта картина даетъ философу утѣшеніе въ виду тѣхъ ошибокъ, преступленій и несправедливостей, которыми еще обагрена земля и которыхъ жертвою онъ часто бываетъ самъ!» Его награда, его наслажденіе—въ сознаніи, что достигнуто прочное благо, которое не разрушитъ роковая сила, чтобы вернуть опять предразсудки и рабство. «Вотъ это сознаніе и есть для него убѣжище, гдѣ не можетъ преслѣдовать его воспоминаніе о его гонителяхъ; вотъ, гдѣ онъ живетъ мыслью съ человѣкомъ, возстановленнымъ въ своихъ правахъ, какъ и въ достоинствѣ своей природы; онъ забываетъ того, кого мучать и искажаютъ жадность, страхъ и зависть; вотъ, гдѣ онъ существуетъ истинно вмѣстѣ съ подобными себѣ, въ райскихъ поляхъ, которыя съумѣлъ создать его разумъ и которыя его любовь къ человѣчеству украсила самыми чистыми радостями».

Въ этихъ предсмертныхъ строкахъ осужденнаго на смерть горячо бьется жизнь и жажда продолжить торжество своего духа, своихъ глубокихъ порывовъ за предѣлы короткаго земнаго существованія.

Кондорсе видитъ въ самой человѣческой природѣ условія для непрерывнаго совершенствованія: они заключаются въ способности воспринимать впечатлѣнія, сопровождаемыя чувствами удовольствія и страданія, связывать и комбинировать ихъ въ идеи и заключенія и накоплять опытъ. Движеніе человѣческаго развитія ускоряется, благодаря общенію его съ другими людьми и наростанію техническихъ приспособленій. Можно изучать общее соотношеніе этихъ силъ и вліяній въ развитіи человѣка. Можно разсматривать развитіе, прогрессъ, какъ явленіе историческое на протяженіи вѣковъ. «Законы этого прогресса будутъ тѣ же, что и въ развитіи способностей личности, потому что прогрессъ человѣчества—лишь результатъ этого развитія, наблюдаемаго одновременно у большаго числа личностей, соединенныхъ въ общество». Такимъ образомъ, общество не составляетъ органической группы, не имѣетъ своего закона развитія. Это—лишь сумма развивающихся личностей, благоприятная обстановка, просторная арена ихъ дѣятельности.

Различныя предразсудки, мѣстные, сословныя и др., задерживали, временно отдаляли прогрессъ. Изученіе борьбы съ ними полезно; мы должны знать, какъ въ свое время былъ обманываемъ народъ, какъ его погружали въ бѣдствія. На основѣ этого изученія можетъ быть основана наука о предвидѣніи, ускореніи, направленіи прогресса.

О раннихъ ступеняхъ въ развитіи человѣчества можно судить лишь по общему заключенію изъ психическихъ свойствъ человѣка; болѣе

позднее время извѣстно намъ изъ опыта исторіи, въ результатѣ прямыхъ извѣстій о жизни разныхъ народовъ. Сравнительное изученіе ихъ необходимо, чтобы извлечь изъ него «предполагаемую исторію единственнаго народа» и изобразить картину его прогресса. Будущій ходъ прогресса можетъ быть теперь опредѣленъ на основаніи точныхъ фактовъ и положительныхъ заключеній. «Философіи ничего болѣе не остается отгадывать».

Въ свою очередь, главные черты этой картины прошлаго намѣчаются у Кондорсе двумя дорогими для него фактами современности: прогрессомъ умственного свѣта, т. е. точныхъ знаній, и прогрессомъ политической и общественной свободы. Интеллектуальный и социальный прогрессъ тѣсно связаны: они не всегда совпадали, иногда даже ихъ считали непримиримыми, но они должны быть неотдѣлимы, въ концѣ концовъ они всегда взаимно благоприятствуютъ другъ другу. Не называя Руссо, Кондорсе постоянно вооружается противъ него: наука не губитъ лучшихъ сторонъ человѣческой природы; напротивъ, нравственная порча сопровождаетъ умственное паденіе. Да моральнаго прогресса въ сущности и нѣтъ самого по себѣ. Религія не занимаетъ вовсе мѣста въ успѣхахъ человѣчества; мистицизмъ всегда былъ только помраченіемъ: онъ былъ причиной гибели римской имперіи; духъ христіанства отвѣчалъ временамъ паденія и несчастія; оно несло съ собой презрѣніе къ наукамъ. Юліанъ—вдвойнѣ реставраторъ, противъ варваровъ и новыхъ суевѣрій, которыя грозили затопить имперію.

Средніе вѣка представляются Кондорсе эпохой мрачной и тяжелой вдвойнѣ, какъ время водворенія варваровъ и господства церковнаго начала. Папы «подчинили рядомъ грубо сочиненныхъ актовъ невѣжественную довѣрчивость; они примѣшивали религію ко всѣмъ гражданскимъ отношеніямъ, чтобы удовлетворить своей гордости или жадности; они имѣли во всѣхъ государствахъ армію монаховъ, всегда готовыхъ своимъ обманомъ воспламенить суевѣрный страхъ, чтобы тѣмъ сильнѣе поднимать фанатизмъ; они возбуждали народы къ гражданской войнѣ; всюду вызывали они смуту, чтобы надо всѣмъ господствовать; во имя Божіе предписывали измѣну и клятвопреступленіе, убійство и отцеубійство, дѣлали королей и воиновъ, по очереди, орудіями и жертвами своей мести». На протяженіи этого періода остановки культуры только явленія протеста, ереси, бунтующіе города, вызываютъ симпатію, какъ проблески свободныхъ направленій; и то инициаторами просвѣщенія европейскаго оказываются арабы-мусульмане.

Ростъ знаній, расширеніе научной мысли и кругозора въ такой мѣрѣ представляется въ глазахъ Кондорсе единственнымъ двигателемъ культуры, что онъ сводитъ къ вліянію этого факта самое образованіе сословій, возникновеніе общественнаго неравенства. Начало общественныхъ классовъ есть умственное разьединеніе: образуется группа болѣе знающихъ людей, которые при помощи искусства господствуютъ надъ

другими. «Остаткомъ такого класса отъ раннихъ временъ является теперь духовенство». Изъ него позднѣе образуются, напримѣръ, на Востокѣ, группы, среднія между священниками и учеными. Эти ученые касты захватывали воспитаніе и формировали человѣка къ тому, чтобы онъ терпѣливо переносилъ цѣпи.

При помощи этого факта можно объяснить, почему умственное развитіе обыкновенно опережаетъ социальное улучшеніе. Переходъ грубаго общества къ цивилизаціи буренъ и тяжелъ, онъ стоитъ большихъ жертвъ. Неполная наука, скрываема яя обладателями, наука метафизическая, служить въ одно и то же время источникомъ заблужденія для массы, источникомъ грубаго мѣна, и вмѣстѣ съ тѣмъ она составляетъ орудіе деспотизма, пригнетенія. Съ установленіемъ и общимъ распространеніемъ истиннаго, положительнаго знанія наука начинаетъ идти объ руку съ общественнымъ прогрессомъ.

Эпохи прогресса намѣчаются появленіемъ крупныхъ мыслителей, какъ Сократъ, Декартъ, или важныхъ научно-техническихъ изобрѣтеній, какъ, напримѣръ, компасъ, книгопечатаніе, или въ новѣйшее время успѣхи агрономіи и идустріальной техники. Въ разсужденіи о важности книгопечатанія, о томъ, какъ оно породило широкое просвѣщеніе, насъ поражаетъ, что Кондорсе ни единымъ словомъ не упомянулъ о могущественной потребности просвѣщенія, которое только и могло вызвать подобное изобрѣтеніе. Это молчаніе для него характерно. У него нѣтъ чутя къ жизни массъ; народная легенда, сатира, эпосъ, морально-политическая литература, обычное право для него не существуютъ. Весь свѣтъ идетъ сверху и только научный свѣтъ организуетъ сѣрую матерію народа. Популяризація лабораторной работы, практическое примѣненіе научныхъ формулъ въ технику государства, фабрики, земледѣлія и воспитанія—вотъ весь прогрессъ. Планъ кампаніи готовъ, генеральный штабъ—образованное общество, сформированъ, надо собрать и обучить армію и создать въ завоевательномъ движеніи новую націю, націю образованныхъ людей.

Въ простомъ образѣ, который принадлежитъ самому Кондорсе, можно было бы художественно закрѣпить эту формулу движенія: «матросъ, спасающійся отъ кораблекрушенія благодаря точному наблюденію долготы мѣста, обязанъ своей жизнью теоріи, которая посредствомъ цѣпи истинъ восходитъ къ открытіямъ Платоновой школы, погребеннымъ въ полной бесполезности въ теченіе 20-ти вѣковъ».

Вотъ почему могла получиться у Кондорсе эта смѣлая параллель совпаденія успѣховъ математики съ успѣхами общественной свободы въ XVIII вѣкѣ. Вотъ почему онъ могъ рѣшительно утверждать, что «отнынѣ совершенствованіе человѣка не зависитъ ни отъ какой силы, которая могла бы его остановить, и что ему нѣтъ иныхъ предѣловъ, кромѣ періода существованія нашего земнаго шара». Темная масса человѣче-

скихъ страстей, взаимное столкновение интересовъ, косность привычекъ и упорство человѣческой природы для него не существуютъ. Теперь прогрессъ будетъ немного, на моментъ приостанавливаться только вслѣдствіе своеобразныхъ условій конституціи нашего ума, т. е. потому, что природа поставила противорѣчіе между нашими средствами открывать истину и препятствіями къ ея нахожденію, т. е. всѣ преграды къ прогрессу устраняются у стола ученаго, усиліями какой-нибудь ученой академіи. Борьба за благо прогресса, слѣдовательно, не представляетъ страданія человѣчества, она—лишь совокупность усилій рѣшить трудную научную задачу.

На фактахъ роста научнаго сознанія и распространенія просвѣщенія въ массахъ основывается и картина будущаго. Кондорсе рисуетъ колонизацію дикихъ материковъ, грандіозное развитіе средствъ сообщенія, всестороннюю утилизацію знаній. Въмѣсто хитрой правительственной машины должна стать во главѣ общества большая организація для научныхъ опытовъ и открытій, для сосредоточенія лучшихъ умовъ и передовыхъ идей. Кондорсе посвящаетъ изображенію всемогущаго авторитетнаго союза ученыхъ особый очеркъ «объ Атлантидѣ или соединенныхъ усиліяхъ рода человѣческаго для прогресса наукъ». Задачею этой великой организаціи будетъ экономить умственное напряженіе, острить силу научныхъ орудій и пытать труднѣйшія проблемы, отъ которыхъ зависитъ благоденствіе всѣхъ людей. Для массъ должна быть упрощенная наглядная система знаній. Соотвѣтственно этому должно произойти распространеніе по всему міру одного языка, научно-алгебраическаго, космополитическаго отвлеченнаго языка массы, который рядомъ со старыми языками, живыми и народными, будетъ могучимъ средствомъ ускореннаго обмѣна. Народы образуютъ единое цѣлое. Прообразомъ этой космополитической республики, ея подготовкой можетъ служить въ современности общеніе интеллигентныхъ людей во всемъ свѣтѣ.

А матеріальная нужда, болѣзни, преступленія? Все излечить проникновеніе научнаго духа, думаетъ Кондорсе. Съ уничтоженіемъ монополій и стѣсненій, которыя нецѣлы въ теоріи, уничтожится и неравенство. Разумныя учрежденія, на примѣръ, страхование жизни и пенсіи для рабочихъ классовъ, уничтожатъ ихъ бѣдствія. Сама природа человѣка должна переродиться. Его страсти войдутъ въ спокойное русло и будутъ регулироваться разсудкомъ: «вѣдь рѣзкій характеръ страстей часто результатъ привычекъ, которымъ человѣкъ отдается вслѣдствіе ложнаго разсчета, или результатъ незнанія средствъ къ тому, чтобы воспрепятствовать ихъ первымъ движеніямъ, смягчить ихъ, направить ихъ дѣйствіе». Отъ исчезновенія большей части болѣзней, отъ разумной научной гигиены удлинится, наконецъ, и самая жизнь человѣка.

Таковы упованія Кондорсе.—Значительныя различія бросаются въ

глаза между двумя крупными теоріями прогресса человѣчества, появившимися въ концѣ XVIII вѣка. Различно ихъ отношеніе къ религіи, къ росту политическаго освобожденія, непохожи картины будущаго. Но онѣ обѣ исходили отъ одинаковыхъ реальныхъ толчковъ: это было впечатлѣніе промышленныхъ и культурныхъ сношеній между народами, затѣмъ эволюціонная идея, намѣчавшаяся естественными науками, наконецъ, самый фактъ быстрыхъ успѣховъ науки, ея философскаго и техническаго торжества. Сходились онѣ и въ своей вѣрѣ въ естественную необходимость и неотразимость прогресса совокупнаго человѣчества.

(Продолженіе слѣдуетъ).

СТИХОТВОРЕНІЯ.

СОНЕТЪ.

Пѣвцу любви измѣна не страшна.
Ее въ груди не долго онъ хоронитъ,
И малодушныхъ слезъ онъ не уронитъ,—
Отрада слезъ иныхъ ему дана.

Пускай душа зоветъ и сердце стонетъ,
И ночь любви отчаяній полна!
Мигъ творчества—печали мигъ прогнать,
Любовь безсонная дождется сна!

Тогда къ пѣвцу со всѣхъ концовъ вселенной
Слетятся звуки... Трепетъ вдохновенной
Пролетится въ немъ холодною струей;

И, внемля голосамъ любви иной,
Онъ назоветъ тревогою презрѣнной
Безсильный бредъ души своей больной.

ГРОЗА.

Темно надъ рѣкою. Сердито шумитъ.
Порывистый вѣтеръ; доносится громъ;
Вода помутилась и тучи кругомъ...
Дитя, успокойся! Гроза улетитъ:
Появится солнце, и снова оно,
Играя въ прозрачной рѣкѣ, озаритъ
Ея золотистое дно.

Дитя, успокойся! Заглянетъ потомъ
И въ сердце мое отраженье небесъ,
И много невѣдомыхъ людямъ чудесъ,
Желаній, раздумій, затерянныхъ въ немъ,
Пробудятъ весеннія ласки твои...
Дитя, успокойся... И въ сердцѣ моемъ
Есть дно золотое любви.

С. Маковскій.

СТУДЕНТКА.

Романъ Грэхемъ Трэверса.

Переводъ съ англійскаго З. Журавской.

(Продолженіе *).

XXVI.

«Сназочка» полковника.

На другое утро Мона получила цѣлую кипу писемъ по поводу поѣздки Люси на Ривьеру. Леди Мунро оказалась вполне на высотѣ положенія.

«Если твоя пріятельница хоть чуточку похожа на тебя,—писала она,—я буду очень счастлива имѣть такую подругу для Эвелины. Я написала ей, прося ее погостить у насъ мѣсяць, и чѣмъ скорѣе она пріѣдетъ, тѣмъ лучше».

«Мы знакомы съ вами всего нѣсколько лѣтъ,—писала Люси,—но за это время мнѣ столько разъ приходилось благодарить васъ, что я даже устала и не нахожу больше словъ. Для меня будетъ наслажденіемъ пожить въ Каннахъ, не чувствуя въ то же время, что отецъ изъ-за меня долженъ отказывать себѣ въ кускѣ мяса; и гостить у такихъ людей, какъ Мунро, тоже чего-нибудь да стоитъ, но если они думаютъ, что я способна замѣнить имъ васъ—мнѣ лучше сразу разочаровать ихъ. Я такъ и сдѣлала: написала имъ, чтобъ они не ждали отъ меня ничего добраго, что я только суррогатъ васъ, и притомъ очень плохой. Напишите и вы то же самое, а то какъ бы не вышло смертоубійства.

«Ваше милое письмо и приложеніе къ нему я передала прямо въ руки отца, спрашивая его, что мнѣ съ этимъ дѣлать. Онъ перечелъ письмо два раза, очень внимательно, и возвратилъ мнѣ банковый билетъ—сказавъ только: «Спрячь!» И мнѣ показалось,—понимаете, *показалось*,—что глаза его были какъ-то подозрительно влажны. Должно быть, вы

*) См. «Міръ Вождя», № 4, апрѣль.

совсѣмъ завладѣли сердцемъ моего отца, миссъ Мона, если онъ позволилъ своей дочери принять отъ васъ двадцать фунтовъ.

«За вычетомъ всѣхъ расходовъ на дорогу, оказывается, что я еще могу сдѣлать себѣ два платья и шляпку; какого труда мнѣ стоитъ ихъ выбрать—и сказать не съумѣю. Наконецъ, я рѣшила окончательно, что одно изъ нихъ будетъ шелковое, блѣдно-зеленое, цвѣта морской волны, съ воздушной отдѣлкой, на манеръ пѣны, и, одновременно съ этимъ, пришла къ другому рѣшенію—что, въ сущности, стоитъ жить.

«Одно меня смущаетъ: я не увѣрена, что вы могли, безъ ущерба для себя, удѣлить мнѣ такую сумму. Вы, помнится, говорили, что ничего не собираетесь дѣлать себѣ эту зиму, etc., etc.»

Въ концѣ была маленькая приписка отъ м-ра Рейнольдса къ его «старшей дочери»,—приписка, не блиставшая оригинальностью, но вся проникнутая тѣмъ животворнымъ обаяніемъ личности, которое стѣбитъ тысячи блестящихъ афоризмовъ.

Въ это утро въ лавкѣ перебывало множество посѣтителей, но въ свободныя минуты Мона все-таки ухитрилась написать письмо Люси и нѣсколько строкъ леди Мурро. Это отняло у нея все время до обѣда; покончивъ съ этой мало-привлекательной трапезой, она послѣпно одѣлась и вышла навѣстить свою приятельницу Дженни.

— Одно изъ двухъ,—разсуждала она дорогой,—или въ Матильдѣ Куксонъ произошла реакція и тогда она не пойдетъ въ замокъ Маклинъ, или мое вліяніе еще держится и, въ такомъ случаѣ, ей не повредить, если она подождетъ меня напрасно.

Ей надо было дойти до Киркстоуна и еще двѣ-три мили идти проселкомъ; подходя къ городку, она встрѣтила м-ра Броуна.

— Такъ вы вернулись?—началъ онъ застѣнчиво, видимо, чувствуя себя очень неловко.

— Да, я здѣсь уже нѣсколько дней.

— Какъ поживаетъ миссъ Симпсонъ?

— Очень хорошо, благодарю васъ.

— Вы куда-нибудь направляетесь, или просто такъ вышли пройтись?

— Я иду въ Барнтоунъ-вудъ, но, если это вамъ не по дорогѣ, пожалуйста, не стѣсняйтесь.

Вмѣсто отвѣта, онъ пошелъ рядомъ съ нею.

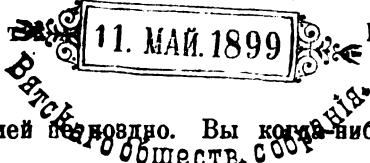
— Вамъ, можетъ быть, неприятенъ табачный дымъ?—освѣдомился онъ, вынимая изъ кармана трубку.

— Ничуть не неприятенъ.

— Случалось вамъ съ тѣхъ поръ еще предпринимать ботаническія экскурсіи?

— Нѣтъ, времени не было. Благодарю васъ за присылку пѣлаго ящика сокровищъ. Нѣкоторыя изъ нихъ очень заинтересовали меня.

— Я такъ и думалъ, что онѣ вамъ понравятся. Не соберетесь ли вы какъ-нибудь сами поискать ихъ?



- Развѣ еще не поздно?
- Для мховъ, лишайевъ и водорослей безповодно. Вы когда-нибудь занимались ими специально?
- Нѣтъ, это, должно быть, страшно интересно, но и очень трудно?
- О, вы бы скоро приобрѣли навыкъ. Если хотите, я вамъ покажу какъ-нибудь виды, наиболѣе часто встрѣчающіеся въ этихъ мѣстахъ, и нѣкоторые изъ рѣдкихъ.
- Мнѣ бы очень хотѣлось. Ваша сестра тоже пойдетъ съ нами?
- О да! Въ тотъ разъ она устала не столько отъ ходьбы, сколько отъ того, что башмакъ жалъ ей ногу. Я такъ смѣялся надъ ней, когда мы вернулись домой.
- Ну-съ, здѣсь намъ надо расстаться. Я иду къ полковнику Лауренсу.

— Мнѣ сегодня нечего дѣлать. Я могъ бы проводить васъ.

Слова были самыя обыкновенныя, но въ томъ, какъ онъ ихъ сказалъ, было что-то, заставившее Мону насторожиться.

Въ смыслѣ дара изложенія м-ръ Броунъ ушелъ недалеко отъ безсловесныхъ созданій. Онъ могъ разсуждать съ заѣзжимъ торговцемъ о достоинствахъ той или другой ткани, съ обывателемъ о городскихъ дѣлахъ, или съ сестрами перемывать косточки знакомыхъ. Онъ могъ говорить съ образованной молодой дѣвицей о ботаникѣ и въ видѣ заключенія сказать ей напрямикъ, что онъ проситъ ее быть его женой; но объ ухаживаньи, о нѣжномъ и осторожномъ *crescendo*, которое захватываетъ женщину помимо ея воли, онъ не имѣлъ никакого понятія: въ этомъ отношеніи онъ былъ невиненъ, какъ ребенокъ. Перескочить однимъ гигантскимъ прыжкомъ отъ ботаники къ браку для него было легко и естественно, и ему даже на умъ не приходило, что для женщины такой прыжокъ можетъ быть слишкомъ труденъ, что ее необходимо провести по ступенькамъ, которыя нарастающая страсть сама подставляетъ влюбленному и которыми умѣннее жить учить свѣтскаго человѣка пользоваться сознательно.

— Очень вамъ благодарна,—сказала Мона;—но я не могу позволить себѣ оторвать васъ отъ дѣла. Я привыкла ходить вездѣ одна.— Она протянула руку и, такъ какъ онъ не сразу взялъ ее, ласково кивнула ему головкой и ушла, оставивъ его растерянно глядящимъ вслѣдъ ея удаляющейся стройной фигурѣ.

Она миновала музей и, оставивъ за собой городъ, пошла цѣликомъ по жнивью. Хлѣбъ былъ по большей части уже убранъ, но кое-гдѣ еще высились скирды, нарушая однообразіе сжатыхъ полей. Деревья въ этой мѣстности были такъ рѣдки, что даже тощая смоковница у дороги служила указателемъ пути и носила пышное названіе «Вѣтвистаго дерева», а лѣсокъ, прилегавшій къ дому полковника, виденъ былъ на многія мили вокругъ, причемъ маленькій бѣлый коттеджъ выглядывалъ изъ густой тѣни сосенъ, словно кроликъ изъ норки.

— Мнѣ кажется, душа моя,—говорила себѣ Мона,—что ты немножко сглушила. Вѣдь тебѣ не семнадцать лѣтъ, чтобы тебя могли смущать разговоры изъ Оллендорфа. Тѣмъ не менѣе, если на будущій разъ миссъ Броунъ опять будетъ жать ногу башмакъ, мои башмаки тоже окажутся тѣсны.

Черезъ четверть часа она подходила къ Баркстоунъ-вуду. Помѣстье казалось до странности пустыннымъ для резиденціи свѣтскаго человѣка, и однако сразу видно было, что здѣсь живетъ джентльменъ. Вдоль тщательно подстриженной буковой изгороди тянулась глубокая, выложенная камнемъ канава; мшистыя трещины ея заросли цѣлымъ лѣсомъ многоножекъ, сквозь которыя мѣстами пробивались граціозныя вѣтки дикаго волосатика. Прямо съ подъѣздной аллеи, гладко убитой и опрятно содержимой, вы погружались въ тѣнь деревьевъ, съ толстымъ ковромъ изъ хвои подъ ногами и томнымъ воркованьемъ голубей надъ головой.

Мону тянуло познакомиться поближе съ этимъ таинственнымъ уголкомъ, но сегодня на это не было времени.

Въ дверяхъ ее встрѣтилъ страннаго вида старикъ съ гладко выбритымъ лицомъ, покрытымъ цѣлой сѣтью морщинъ и въ каштановомъ парикѣ, на которомъ надѣтъ былъ красный ночной колпакъ.

— Кто вы такая?—спросилъ онъ рѣзко.

— Я Мона Маклинъ.—Сама не зная, почему, въ первый разъ со времени своего пріѣзда въ Борроунессъ, она прибавила не «кузина миссъ Симмонсъ», но—«дочь Гордона Маклина».

Онъ почти грубо схватилъ ее за плечо и повернулъ лицо ея къ свѣту.

— Ей Богу, правда! Хотя вы не такъ красивы, какъ была ваша мать. Входите же, входите, и рассказывайте все по порядку.

Онъ отворилъ дверь въ старомодную гостиную, гдѣ пахло табачнымъ дымомъ, и Мона вошла.

— Но я вовсе не хочу мѣшать вамъ,—начала было она.—Я пришла къ Дженни.

— Ладно, ладно, садитесь! Дженни, гдѣ ты, чортъ тебя возьми! Подбрось полѣно въ огонь; видишь, барышня пришла.

Старуха прошла къ камину, по дорогѣ кивнувъ головой въ сторону Моны. Она нисколько не удивилась, увидавъ помощницу миссъ Симмонсъ въ гостиной своего господина. Однимъ изъ главныхъ достоинствъ Дженни въ глазахъ полковника было то, что она давно перестала удивляться его причудамъ.

— Не знаю, чѣмъ бы васъ угостить,—раздумчиво выговорилъ старикъ. Онъ отомкнулъ маленькій шкафчикъ, досталъ оттуда тарелку съ печеньемъ не первой свѣжести и налилъ Монѣ стаканъ вина, говоря:

— Не пугайтесь: это легкое, дамское. Я пью другое.—И, наливъ себѣ рюмку виски, онъ искоса посмотрѣлъ на гостью.

— За старья времена и за Гордона Маклина, милѣйшаго малѣго и гостепрѣимнѣйшаго хозяина!—И онъ залпомъ проглотилъ свое виски.

Мона тоже выпила и улыбнулась, сквозь нежданно отуманившую ея глаза дымку слезъ. Ей невыразимо отрадно было слышать похвалу отцу, даже изъ этихъ устъ.

— Полно, полно, не волнуйтесь, — ласково сказалъ полковникъ.— Онъ былъ безспорно добрый малый и красавецъ собой, но, я думаю, это не помѣшало ему найти дорогу на небо.

— Я въ этомъ увѣрена.

— Вотъ и хорошо, отлично. Гдѣ вы гостите—въ Тоуэрсѣ? въ Бальнаморѣ?

— Ни здѣсь, ни тамъ; я живу въ Борроунессѣ, у своей кузины, миссъ Симпсонъ.

Онъ уставился на нее во всѣ глаза.

— У миссъ Симпсонъ! У Рэчели Симпсонъ?

Нижняя челюсть полковника вдругъ отвисла и, откинувъ голову на спинку стула, онъ залился неприятнымъ смѣхомъ.

— Вашъ отецъ былъ богатый человекъ, хотя и умеръ молодымъ,— молвилъ онъ, внезапно овладѣвъ собой.—Онъ, должно быть, оставилъ вамъ недурное состоянїе.

— Такъ оно и было. Послѣ его смерти опекуны хозяйничали очень плохо, но все же, въ концѣ концовъ, того, что я имѣю, вполне для меня достаточно.

— Вы получили хорошее воспитанїе? учились пѣть, *parlez-vous français*, и этому?

Онъ неловко забарабанилъ пальцами по столу.

Мона засмѣялась.

— Да, всему этому я училась.

Полковникъ нѣсколько времени молча дымилъ трубкой.

— Почему вы не живете у Муиро? — спросилъ онъ вдругъ.—Это странно! Муиро такой любитель хорошенькихъ!

— Я ѣздила съ ними въ Норвегію это лѣто. Сэръ Дугласъ—это сама доброта; лэди Муиро тоже; но вѣдь и миссъ Симпсонъ мнѣ кузина.

Онъ опять засмѣялся тѣмъ же неприятнымъ смѣхомъ.

— Пейте ваше вино, миссъ Маклинъ, а я расскажу вамъ сказочку. Быть можетъ, кое-что въ ней будетъ ново для васъ.

«Много лѣтъ тому назадъ, когда васъ еще и въ проектѣ не было, всей этой мѣстностью владѣлъ мой дѣдъ. Родственники вашего отца, Маклины снимали у него землю въ аренду; были они люди маленькіе, но почтенные, исправные плательщики. Дѣдъ вашъ былъ замѣчательный человекъ, изъ тѣхъ, кому всегда и во всемъ везетъ,—вы слышали о немъ?—первый въ школѣ, любознательный, умница, дамскій ковалеръ, словомъ, счастличикъ! Братъ его, Санди, лѣнтяй и увалень, такъ всю жизнь ничего и не добился, но дѣдъ вашъ скоро разбогатѣлъ. Сестеръ

было двѣ и тоже разныя; каждая, такъ сказать, удалась въ одного изъ братьевъ: Маргарита хорошенькая, стройная, умница, за словомъ въ карманъ не погѣзетъ; Анна — совершенно безличная; она и вышла за перваго, кто ей сдѣлалъ предложеніе, а Маргарита совсѣмъ не вышла замужъ. Лучшее зерно часто залеживается.

«У дѣда вашего было—дайте сообразить—да, трое дѣтей: два сына и дочка. Дѣвочка и одинъ изъ мальчиковъ умерли. Это грустная исторія,—вамъ рассказывали?—славныя дѣтишки, хорошенькія такія! Но отецъ вашъ выжилъ, онъ былъ крѣпышъ. Воспитаніе ему дали отличное; затѣмъ онъ поѣхалъ въ Индію и тамъ составилъ себѣ крупное имя. Я не встрѣчалъ другого такого человѣка. Всѣ двери, всѣ сердца были ему открыты. Куда бы онъ ни пошелъ, его принимали, какъ родного, а между тѣмъ онъ никогда не забывалъ старыхъ друзей. Вернувшись домой, онъ, какъ истый джентльменъ, счелъ долгомъ разыскать своихъ родныхъ. Многіе изъ нихъ уже перемерли; Савди уѣхалъ въ Австралію; оставались только дѣти Анны, Рэчель Симпсонъ и сестра ея, Дженъ. Дженъ вышла замужъ за содержателя мелочной лавки, и у нея было уже своихъ двое ребятъ. Все это были люди бѣдные, и отецъ вашъ назначилъ имъ ежегодную пенсію.

«Ну-съ, гостилъ онъ въ то время вмѣстѣ съ молодой женой милыхъ въ ста отсюда, у однихъ здѣшнихъ помѣщиковъ. Оба были душою общества. Мнѣ это извѣстно, потому что я самъ былъ приглашенъ туда гостить и пріѣхалъ дня за два до отъѣзда вашего отца съ матерью. Только они уѣхали—замѣтите, *послѣ того, какъ они уехали!*—являются, неожиданно-негаданно, какъ снѣгъ на голову, кто бы вы думали?—Рэчель Симпсонъ и ея сестрица, обѣ во всеоружіи—могу сказать, прекуръзная парочка! Въ то время у Рэчели были очень своеобразныя понятія объ искусствѣ одѣваться».

Мона покраснѣла до ушей. Никто, знающій Рэчель, не усомнился бы въ правдивости этого разказа.

«Онѣ велѣли доложить о себѣ, какъ о кузинахъ Гордона Маклина и само собой были приняты любезно, но лакей получилъ приказаніе, въ случаѣ, если онѣ пріѣдутъ въ другой разъ, говорить, что барыни нѣтъ дома. Я слышалъ, что Маклинъ даетъ имъ деньги, и рѣшилъ, что не худо бы предупредить его. Онъ принялъ это замѣчательно хорошо—онъ былъ, дѣйствительно, добрый человѣкъ,—но все же должно быть, ясно далъ понять прелестнымъ кузинамъ, что хоть деньгами онъ и не прочь подѣлиться, но друзей своихъ предпочитаетъ оставить для себя. По крайней мѣрѣ, я не слышалъ, чтобъ онѣ повторили свою продѣлку, да оно и понятно: пенсія для нихъ была интереснѣе великосвѣтскихъ знакомствъ. Но простить этого онѣ тоже не могли, находя, что отецъ вашъ, стоя на верху лѣстницы, могъ бы и ихъ встациить за собою; ха, ха, ха! ноша-то была не изъ легкихъ!»

Мона не смѣялась. Теперь это ужъ не составляло никакой разницы,

но она предпочла бы услышать сказочку раньше. Через нѣсколько минутъ она встала, говоря:

— Я рада, что вы мнѣ это сказали, хотя все это довольно печально.

— Печально? Вотъ вздоръ! О чемъ тутъ печалиться! Я научу васъ, какъ прибрать къ рукамъ Рэчель Симпсонъ. У меня здѣсь есть карточка вашихъ отца и матери. Хотите взглянуть?

— Очень хочу. Можетъ быть, я такихъ и не видала.

Полковникъ взялъ истрепанный старый альбомъ и началъ перелистывать страницы, пока не нашелъ той, какую искалъ, но, должно быть, старыя руки какъ-нибудь выпустили нужный листокъ, потому что, когда Мона взглянула, передъ нею мелькнули только длинныя бѣлыя ноги и множество газowychъ юбочекъ.

— Чортъ! — выругался полковникъ и, взявъ назадъ альбомъ, поспѣшилъ исправить ошибку.

На Мону глянули съ фотографіи знакомыя лица — умнаго, серьезнаго мужчины и царственно прекрасной-женщины; во всемъ мірѣ живыхъ для нея не было лицъ болѣе знакомыхъ и близкихъ.

— Я никогда не видала раньше этой карточки. Она очень похожа.

— Я вамъ оставляю ее по завѣщанію—э? Хотите? Это стоитъ не меньше того, что я завѣщаю многимъ другимъ.

— Если то, что вы оставляете другимъ, такъ же дорого для нихъ, какъ эта карточка для меня, вашимъ наследникамъ будетъ за что благодарить васъ.

Старое морщинистое лицо освѣтилось улыбкой.

— Сегодня ночью я уѣзжаю въ Лондонъ,—сказалъ онъ,— но надѣюсь, что мы еще встрѣтимся. Я сейчасъ пришлю къ вамъ Джени. Мы съ ней добрые пріятели—не жѣпаемъ одинъ другому.

Монѣ съ трудомъ удалось сосредоточить все свое вниманіе на письмахъ Джени, хотя они были довольно интересныя характерны: Одно изъ нихъ предназначалось брату, моряку; другое, адресованное Магги, было полно совѣтовъ, въ родѣ тѣхъ, какіе Полоній давалъ своему сыну. Бѣдная женщина очень тревожилась за свою дочку, которая поступила въ услуженіе въ дальнюю помѣщичью усадьбу, и всячески старалась предостеречь ее отъ соблазновъ.

XXVII.

«Нездѣшній свѣтъ».

Магазинъ миссъ Симпсонъ положительно вошелъ въ моду въ Борроунессѣ. Будь объявленіе о «пріѣздѣ миссъ Маклинъ съ богатымъ выборомъ новостей», дѣйствительно, помѣщено въ Киркстоунской газетѣ, оно принесло бы несравненно меньше пользы, чѣмъ слухи, пере-

ходившіе изъ устъ въ уста. Ни одна женщина во всемъ округѣ не могла устоять противъ искушенія полюбоваться привезенными новинками. Когда приходилъ торговецъ, Рэчель забирала у него товару вдвое, втрое больше прежняго; скоро дошло до того, что Монѣ и ей ужъ нельзя было одновременно отлучаться изъ лавки.

Однажды утромъ, въ отсутствіе Рэчели, въ магазинъ вошли три пожилыхъ дамы, всѣ три толстенькія, коротенькія, степенныя; всѣ три держали себя съ ненавязчивымъ спокойнымъ достоинствомъ. Съ перваго взгляда казалось, что всѣ три — на одно лицо, но со второго вы уже подмѣчали нѣкоторыя мелкія различія: у одной по обѣимъ сторонамъ лица спускались черныя локоны, другая носила очки, третья отличалась отъ сестеръ именно тѣмъ, что въ ней не было ровно никакихъ отличительныхъ признаковъ.

— Я слышала, что миссъ Симсонъ получила замѣчательный выборъ модныхъ новостей, — сказала дама съ локонами.

— Боюсь, что замѣчательнаго у насъ ничего не найдется, — улыбаясь, сказала Мона; — но это правда, что миссъ Симсонъ недавно получила изъ Лондона свѣжій товаръ. Будьте любезны присѣсть; я вамъ покажу все, что вы пожелаете.

Если Мона была развязна и даже рѣзка въ обращеніи съ другими студентками, то къ женщинамъ старше себя она относилась съ инстинктивнымъ уваженіемъ и нѣжной почтительностью. Въ ней жило врожденное сознаніе правъ и привилегій зрѣлаго возраста, что не часто встрѣчается въ молодежи, но всегда кажется въ ней необычайно привлекательнымъ.

Дамы просидѣли съ полчаса, истративъ всего три съ половиною шиллинга.

— Мнѣ кажется, я васъ видѣла въ баптистской часовнѣ, — уже собираясь уходить, сказала дама въ очкахъ.

— Да, я бываю тамъ иногда съ моей кухней.

— Вы крещены? — освѣдомилась дама безъ всякихъ отличительныхъ признаковъ.

— О да! — вскричала Мона, нѣсколько смущенная такимъ страннымъ вопросомъ.

— Я замѣтила, что вы ни разу не оставались до причастія, — сказала дама въ очкахъ.

— Я крещена по обряду англиканской церкви.

— О! — вскричали всѣ три въ одинъ голосъ такимъ тономъ, какъ будто Мона жестоко обманула ихъ.

Первой оправилась дама въ очкахъ, по общему признанію, «самая умная» изъ трехъ.

— Вамъ надо поговорить съ м-ромъ Стюартомъ, — сказала она.

— Да, да! — подхватили другія, радуясь, что есть возможность примирить христіанское милосердіе съ вѣрностью своимъ принципамъ и, освѣдожившись о здоровьѣ миссъ Симсонъ, вышли изъ лавки.

— Это, должно быть миссъ Боктронъ,—догадалась Рэчель, когда Мона описала ей наружность новыхъ клиентокъ.—Онѣ пользуются въ Киркстоунѣ большимъ уваженіемъ. Отецъ ихъ былъ старшимъ діакономъ при баптистской церкви; въ день его похоронъ, кафедра была задрапирована чернымъ сукномъ. И денегъ онѣ имъ оставилъ достаточно, есть чѣмъ жить!

Матильда Куксонъ нашла цѣль жизни и была счастлива: она обожала Мону. Хорошо, что этому восторженному обожанію былъ данъ противовѣсъ въ видѣ добросовѣстной и усердной работы, иначе послѣднее было бы для нея горше перваго. Теперь же она горячо взялась за работу и на всѣ разпросы родныхъ, дивившихся, съ чего это она вдругъ сдѣлалась такой прилежной, отвѣчала таинственнымъ и гордымъ молчаніемъ. Миссъ Маклинъ была для нея переодѣтой принцессой, она сама—единственной хранительницей ея великой тайны. Постоянныя усилія скрывать эту тайну, даже отъ сестры, въ смыслѣ нравственной дисциплины, стоили не меньше добросовѣстнаго чтенія «Валли-Орлицы».

— Я пришла-бы раньше,—говорила она однажды Монѣ, сидя въ замкѣ Маклинъ,—но наши никакъ не могутъ понять, почему меня тянетъ на берегъ въ это время года и мнѣ всегда бываетъ ужасно трудно избавиться отъ Клоринды. Разумѣется, знай они, что вы племянница леди Мунро, они бы только радовались, что я подружилась съ вами, но объ этомъ я не проговорила ни единой душѣ.

Матильда гордилась своей выдержкой; это было простительно, но она еще не научилась падать чувства Моны, и та невольно вздохнула.

— Благодарю васъ, но я не хочу, чтобы вы выдались со мной «потихоньку».

— Я думала объ этомъ. Сейчасъ мамѣ, конечно, было бы не особенно пріятно узнать о вашихъ встрѣчахъ, но если выйдетъ исторія и откроется, что вы племянница леди Мунро, она будетъ болѣе чѣмъ довольна. Вѣдь настанетъ же время, когда вы скажете всѣмъ, кто вы такая?

Ибо, чѣмъ же переодѣтая принцесса лучше другихъ людей, если въ ея исторіи нѣтъ развязки?

— Мнѣ очень хотѣлось бы,—терпѣливо возразила Мона, чтобы вы попытались стать на мою точку зрѣнія. Я не принимала никакихъ мѣръ къ тому, чтобы никто не узналъ, что у меня есть и другіе родственники, но я предпочла бы, чтобы здѣсь не было толковъ по этому поводу; видите ли, это дѣло личнаго вкуса. Притомъ же, мнѣ одинаково непріятно, будутъ ли меня звать племянницей леди Мунро, или кузиной миссъ Симпсонъ. Кто дѣйствительно любитъ меня, долженъ любить меня ради меня самой.

Матильда все время напрягала зрѣніе, глядя въ ту сторону, откуда

сіялъ «нездѣшній свѣтъ», и несомнѣнно думала, что видитъ его, но для нея было очень трудно не терять его изъ виду, говоря съ матерью или сестрой.

— Вы знаете, что я люблю васъ ради васъ самихъ. Я, кажется, никого въ жизни такъ не любила.

— Тсс!.. Не слѣдуетъ такъ говорить: вы меня слишкомъ мало знаете. Если наступитъ разочарованіе, вы возненавидите меня тѣмъ сильнѣе, чѣмъ горячѣе относитесь ко мнѣ теперь.

— *Возненавидѣть васъ!*—засмѣялась Матильда. Ей это казалось совершенно невозможнымъ.

— А что подѣлываетъ «Валли-орлида»?

Онѣ принялись за переводъ. Мона обладала врожденнымъ талантомъ къ преподаванію и полчаса прошли незамѣтно. Затѣмъ Матильда сконфуженно вытатила изъ кармана письмо.

— Я хотѣла сказать вамъ, что я... я написала ему... своему другу.

Она покраснѣла до ушей. Уже нѣсколько разъ видѣлись онѣ съ Моной, но до сихъ поръ ни одна изъ нихъ не касалась факта, послужившаго поводомъ къ ихъ сближенію.

— Написали?—спокойно переспросила Мона.

— Да. Не хотите ли прочесть письмо? Можетъ быть, вы найдете нужнымъ что-нибудь измѣнить?

Мона прочла письмо. Украшенное грубой виньеткой и печатнымъ адресомъ, длинное и сантиментальное, оно было необычайно трогательно въ своемъ родѣ и очень смѣшно. Въ немъ поминутно говорилось о «вашей страстной любви», а въ концѣ, къ ужасу Моны, Матильда ухитрилась вставить строфу о мученикахъ.

Одно только было хорошо. При всей запутанности посланія, изъ него ясно можно было понять, что дѣвушка жалѣетъ о случившемся, находитъ, что ей не слѣдовало видѣться потихоньку съ своимъ возлюбленнымъ и рѣшила прекратить эти встрѣчи. Въ виду этого, съ остальнымъ можно было примириться.

БИБЛИОТЕКА

11. МАЙ. 1899

Глава XXVIII.

Трехлопенія м-ра Стюарта.

Медленно и медленно тянулись дни и недѣли; ноябрь близился къ концу. Берегъ сталъ весь черный, завернули холода, и въ замкѣ Маклинъ можно было сидѣть только въ исключительно хорошую погоду. Тѣмъ не менѣе, Мона каждую свободную минуту проводила на берегу, а когда одной ходьбы оказывалось недостаточно, чтобы разогнать хандру, она шла въ коттеджъ полковника, къ старой Джени, или еще дальше, въ Кильвинни, поболтать съ тетей Белль.

Въ это время во всемъ округѣ только и было рѣчей, что о затѣ-

вавшемся въ Киркстоунѣ благотворительномъ базарѣ. Монѣ даже не вѣрилось, чтобы можно было такъ волноваться изъ-за такихъ пустяковъ, но дѣло въ томъ, что базары подобны землетрясеніямъ: значеніе не зависитъ отъ того, въ какой части свѣта, или страны они происходятъ.

Базаръ устраивался не въ пользу мѣстной церкви или часовни — надъ такими базарами мужчины обыкновенно смѣются, и добрые бюргеры не считаютъ своей обязанностью посѣщать ихъ, и устраивали его не дамы, а мужчины — дамы только взяли на себя всю работу; устроители имѣли въ виду весьма важную цѣль — постройку новаго зданія городской ратуши.

Давно уже обыватели Киркстоуна начали находить, что ратуша ихъ представляетъ собою невзрачное и ничтожное по размѣрамъ строеніе, совершенно не соответствующее величинѣ и значенію самаго города. И вотъ они рѣшились на смѣлый шагъ — возвести новое зданіе. Часть необходимаго капитала имѣлась, а что касается остального — рѣшено было возложить надежду на Провидѣніе.

Впрочемъ, къ тому времени, о которомъ мы говоримъ, многіе стали уже забывать, какъ возникъ вопросъ о постройкѣ новой ратуши; зданіе было почти кончено, треть расходовъ покрыта; чтобы расквитаться съ остальнымъ долгомъ, мѣстные кавалеры придумали, а дамы «любезно согласились» устроить базаръ.

Предполагалось открыть продажу за три дня до Рождества и закончить все большимъ баламъ. Какъ же тутъ было не волноваться? На многія мили въ окружности всѣ барышни только и мечтали, что о предстоящемъ балѣ. Труднѣе всего, конечно, приходилось мамашамъ: имъ предстояло и собирать пожертвованія вещами, и придумывать такіе наряды для дочекъ, которые бы по-меньше стояли и затмили бы собою всѣ остальные, и урезонивать «отцовъ».

Рэчелъ Симпсонъ занимала слишкомъ ничтожное общественное положеніе, чтобы самой завѣдывать кіоскомъ или принимать пожертвованія, а такъ какъ она была не изъ тѣхъ женщинъ, которыя охотно берутъ на себя черную работу, предоставляя блистать другимъ, то и Мона мало интересовалась предстоявшимъ базаромъ.

Но и ее взволновало въ одно прекрасное утро неожиданное письмо отъ Дорисъ.

«Киркстоунъ — вѣдь это недалеко отъ Борроунесса, не правда-ли? — писала ей подруга. — Если такъ, мы увидимся передъ Рождествомъ. Мои пріятельницы въ Сентъ-Рульсѣ, съ которыми вы такъ рѣшительно отказались знакомиться, будутъ продавать на знаменитомъ базарѣ и пригласили меня помогать имъ. Это будетъ услуга за услугу, такъ какъ въ свое время и онѣ мнѣ помогали, но я постаралась бы уклониться, еслибъ не надежда увидать васъ.

«Вы, конечно, пріѣдете на базаръ; къ тому времени вы, вѣроятно,

успѣете настолько соскучиться, что будете рады небольшому развлеченію; общаю щадить васъ, когда вы зайдете ко мнѣ въ кіоскъ».

— Какъ хорошо!—было первой мыслью Мона, а второю:—Какъ это неприятно! Какъ не у мѣста будетъ Дорисъ здѣсь, въ этой обстановкѣ! Пони и мальчикъ съ пальчикъ плохо гармонируютъ съ лавкой и бѣдными родственниками... Счастье еще, что не я это придумала.

Она еще сидѣла надъ письмомъ, когда вошла Рэчель, раскраснѣвшаяся, взволнованная.

— Мона, вамъ предстоитъ маленькое удовольствіе. Я дала за васъ слово. Вы вѣдь говорили, что любите пѣть?

— Д-да,—неохотно выговорила Мона, уже предчувствуя, что будетъ дальше.

— Я только что встрѣтила м-ра Стюарта. Онъ совсѣмъ съ ногъ сбился, бѣдный. Представьте себѣ, два лучшихъ оратора измѣнили ему—не могутъ быть на сегодняшнемъ *soirée*. У м-ра Дови желтуха, а м-ру Робертсу надо ѣхать на похороны. М-ръ Стюартъ былъ просто въ отчаяніи.—«Какъ же мнѣ быть!—говорить;—вѣдь они мнѣ весь вечеръ разстроили! Времени остается мало; кѣмъ ихъ замѣнить? Хоть бы кто прочелъ что-нибудь, или спѣлъ!..» Ну, я и сказала ему, что вы отлично поете и, навѣрное, не откажете спѣть что-нибудь. Онъ страшно обрадовался, весь просіялъ.—«Ахъ,—говорить,—какъ это хорошо, я замѣтилъ, что она пѣла въ церкви, не споетъ ли она: «Я знаю, живъ мой Искупитель!» или что-нибудь въ этомъ родѣ?»

Мона вспыхнула; у нея даже духъ захватило отъ этого предложенія.

— Милѣйшая кузина, — выговорила она, тяжело дыша, — это все равно, что попросить меня выкинуть какую-нибудь штуку на трапеціи. Я ни разу не пѣла съ тѣхъ поръ, какъ вернулась изъ Германіи. Пѣть для себя, у себя дома — одно, а выступать публично — другое. Ваша затѣя прямо нелѣпа.

— Вотъ вздоръ какой! Здѣсь публика не взыскательная. Они охотно слушаютъ и худшее пѣніе, чѣмъ ваше.

Послѣдовала первая «стычка» между кузинами. Чѣмъ больше горячилась Рэчель, тѣмъ больше остывала Мона. Въ концѣ концовъ, чтобы выйти изъ неловкаго положенія, она сама пошла къ м-ру Стюарту и отказалась наотрѣзъ участвовать въ вечернемъ концертѣ, причемъ пасторъ не преминулъ позондировать почву. Онъ питалъ крѣпкую надежду обратить въ свою вѣру «интереснаго молодого скептика».

ГЛАВА XXIX.

Страдивариусъ.

Двери часовни были открыты настежь, потоки свѣта лились на усыпанную гравіемъ дорожку, ведущую отъ крыльца къ церковной

оградѣ. Публика валила въ калитку, веселая, смѣющаяся, заранѣе предвкушая обѣщанныя наслажденія. Ребятишки, переѣсившись черезъ ограду, жадными глазами заглядывали внутрь церкви.

А наслажденія предстояли весьма существенныя. Мона не успѣла войти, какъ ей преподнесли большую фаянсовую чашку на блюдечкѣ, оловянную ложечку и туго набитый бумажный мѣшокъ.

Она была изумлена.

— Что мнѣ съ этимъ дѣлать?—спросила она кузину.

— Разумѣется, взять съ собой. Заглядывать въ мѣшокъ разрешается, но ѣсть можно только въ антрактѣ.

Мона подумала, что ей не трудно будетъ обуздать свое любопытство, но ей даже не пришлось подвергать себя такому испытанію. Значительную часть аудиторіи составляли дѣти; они, конечно, не утерпѣли, повиатачили изъ своихъ мѣшковъ все, что въ нихъ заключалось: пирожки, печенье, яблоки, груши, фиги, изюмъ и мивдаль, и все это разложили соблазнительными горками на попитрахъ, не безъ ущерба для лежавшихъ тутъ же молитвенниковъ.

— Заказано триста мѣшковъ, по три пенса каждый,—громко шептала Рэчель, пригнувшись къ уху Моны.—Удивительно, какъ много даютъ за эти деньги, и еще говорятъ, м-ръ Филиппъ остается въ барышахъ. Оптомъ все закупаютъ; оттого и выходитъ дешево. Тѣсто-то, конечно, не сдобное; лучше бы они дали поменьше да повкуснѣе. Впрочемъ, и то сказать—надо брать въ расчетъ ребятишекъ.

Въ это мгновеніе что-то громко хлопнуло, и звукъ разнесся по всей церкви. Мона вздрогнула, ей вообразилось, что это выстрѣлъ, но дѣло объяснилось проще: какой-то предприимчивый мальчуганъ выложилъ всѣ свои сласти въ носовой платокъ весьма сомнительной чистоты, а по мѣшку со всего размаха хлопнулъ ладонью. Эффектъ получился необычайный. Звукъ этотъ неоднократно повторялся въ теченіе вечера, несмотря на усиленное нравственное и физическое воздѣйствіе со стороны м-ра Стюарта и родственниковъ нарушителей тишины.

Въ часовнѣ было невыносимо жарко, и Мона искренно надѣялась, что м-ръ Стюартъ не найдетъ, кѣмъ замѣнить ее, такъ какъ программа и безъ того была достаточно длинна. Она боялась, что не высидитъ цѣлый вечеръ въ такой атмосферѣ и еще больше боялась за малокровную нервную дѣвушку, сидѣвшую впереди ея,

Предсѣдатель собранія ввелъ на кафедру перваго оратора.

— Теперь пойдутъ хлопунки иного рода,—вздохнула Мона.

Однако, когда ораторъ разошелся, ей пришлось побранить себя за скороспѣлое сужденіе. Такія *soirées* очень въ модѣ въ провинціи; врожденный даръ слова здѣсь быстро оцѣнивается, и слава человѣка, обладающаго имъ, разносится иногда далеко за предѣлы его родного графства. Говорившій не былъ лишенъ ни ума, ни юмора; нашлось и еще двое въ томъ же родѣ; тѣ же, кому этого не хватало, брали другимъ—

обиліемъ трудолюбиво собранныхъ по крохамъ анекдотовъ и острогъ, довольно общеизвѣстныхъ, но въ пылу увлеченія легко сходящихся за импровизированныя.

Во время одной изъ рѣчей молодая дѣвушка, сидѣвшая впереди Моны, лишилась чувства. Это вызвало большую сенсацію; поднялась суета; двое мужчинъ неловко и застѣнчиво подняли больную на руки и понесли; послѣ минутнаго колебанія Мона послѣдовала за ними. Потомъ она была рада, что пошла: въ этомъ здоровомъ климатѣ обмороки—рѣдкость, и никто не зналъ, что дѣлать съ больной. Ее посадили и придерживали подъ руки.

— Положите ее на цыновку, — спокойно сказала Мона, — и, пожалуйста, всё отойдите. Нѣтъ, не надо ничего подъ голову. Принесите кто-нибудь воды и, если можно, немножко водки. Не бойтесь это не опасно. Мы съ м-сь Брандеръ сдѣлаемъ все, что надо.

Всѣ мужчины разомъ бросились за водой, чему Мона была очень рада. Она разстегнула дѣвушкѣ платье, дала ей понюхать нюхательной соли, и черезъ нѣсколько минутъ больная, съ глубокимъ вздохомъ, открыла глаза.

— Она, навѣрное, родилась не въ Киркстоунѣ, — сказала Мона, глядя ей въ лицо.—На ней не замѣтно вліянія морского воздуха.

— Нѣтъ,—объяснила м-сь Брандеръ,—она приѣзжая, къ дѣдушкѣ приѣхала погостить. Они живутъ недалеко, черезъ дорогу. Я сейчасъ отведу ее домой.

— Идите лучше въ залу. Я сама отведу ее.

— Вы останетесь безъ чаю. Теперь какъ разъ чай разливаютъ.

— Благодарю васъ, я уже пила чай.

И, сильной рукой обнявъ дѣвушку за талію, Мона отвела ее домой и сама уложила въ постель.

Затѣмъ она поспѣшила назадъ, въ часовню, зная, что Рэчель будетъ беспокоиться о ней, хотя ей жаль было мѣнять чистый, свѣжій воздухъ на нездоровую атмосферу залы. Но, войдя, она моментально забыла о духотѣ: смѣхъ и шептанье смѣнились глубокой тишиною, среди которой звучалъ только одинъ глубокій и низкій голосъ:

«So my eye and hand,

And inward sense that works along with both
Slave hunger that can never feed on coin» *)

М-ръ Стюартъ нашелъ, кѣмъ замѣнить недостающаго исполнителя.

Мона помедлила у двери, потомъ прошла на свое мѣсто и сѣла возлѣ Рэчели. Чтецъ едва замѣтно измѣнился въ лицѣ, услыжавъ шелестъ ея шелковаго платья, подождалъ, пока она усѣлась, и продолжалъ.

Выборъ поэмы былъ довольно странный, тѣмъ не менѣе аудиторія

*) Рука моя и глазъ, и чувство, что живетъ въ моей душѣ, томится голодомъ ниимъ—и голода того не утолить за деньги.

была покорена; даже ребятишки позабыли о своихъ изюмахъ и миндаляхъ, прислушиваясь къ этому чудному голосу. Для Моны окружающее перестало существовать; сырыя стѣны, низкій потолокъ, вся эта картина принаряженнаго убожества исчезла въ туманѣ и надъ головой ея засіяло бездонной лазурью итальянское небо; ласкающій, теплый вѣтерокъ пахнулъ ей въ лицо; она стояла въ узенькой живописной улицѣ, прислушиваясь къ рѣчамъ «человѣка въ бѣломъ передникѣ», съ свѣтомъ безсмертія въ очахъ.

'Tis God gives skile,
But not without men's hands: He couldnot make
Antonio Stradivari's violins
Without Antonio. Get thee to thy easel» *).

Голосъ умолкъ. Публика тяжело перевела духъ; всѣ разомъ задвигались, заневелились. Дудлей усѣлся въ темный уголокъ, за эстрадой и, прикрывъ глаза ладонью, глядѣлъ на Мону.

Сколько разъ, въ Лондонѣ, онъ говорилъ себѣ, что все это иллюзія, что онъ преувеличиваетъ благородство ея чертъ, выразительность рта, утонченное изящество всѣхъ ея движеній; теперь онъ убѣдился, что ничуть не преувеличивалъ. Онъ обвелъ глазами все собраніе и съ безконечнымъ удовольствіемъ остановилъ на ней взоръ; смотрѣть на нее было отрадой и отдыхомъ. Но скоро пульсъ его забился быстрѣе. Можетъ быть, его взволновалъ неожиданный успѣхъ, то напряженное вниманіе, съ которымъ его слушали эти мало культурные люди, очарованные звуками его голоса, но въ эту минуту онъ отдалъ бы многое, чтобы зажечь огонь любви въ этихъ ясныхъ краснорѣчивыхъ глазахъ.

— Она дѣвушка,—думалъ онъ, чутьемъ угадывая то, что ему хотѣлось знать.—Она еще не любила и, безъ сомнѣнія, увѣрена, что никогда не полюбитъ. Завидую тому, кто заставитъ ее сознаться въ своей ошибкѣ. Ему можно позавидовать. Она же кроткая бѣлая маргаритка, для которой каждый мужчина солнце. Въ ея лицѣ бездна скрытаго выраженія. Счастливъ будетъ тотъ, кто первый—и, можетъ быть, единственный—вызоветъ его наружу! Долго ему придется расплачиваться за это съ судьбой...

Дудлей мысленно оборвалъ себя на полусловѣ Къ чему эти мысли? Онѣ не помогутъ успѣшно сдать экзаменъ. Да если бы и помогли, теперь не время объ этомъ думать. До іюля, до перехода на высшій курсъ онъ не имѣетъ права говорить ни съ одной женщиной о любви, а до окончанія курса не смѣетъ и думать о женитьбѣ. А до тѣхъ поръ придетъ другой—человѣкъ съ золотымъ ключемъ.

Дудлей сконфуженно обернулся. Должно быть, смѣнившій его раз-

*) «Талантъ отъ Бога, но онъ долженъ пройти черезъ руки человѣка. И Богъ не можетъ сдѣлать скрипки Антоніо Страдиваріуса безъ помощи самого Антоніо. А потому—иди къ своему станку».

сказчикъ сказалъ что-нибудь местное о его чтеніи, потому что глухое гудѣніе, акомпанировавшее его грезамъ, вдругъ стихло; всѣ, какъ одинъ человекъ, смотрѣли на него и улыбались.

— Кто бы могъ ожидать, что докторъ Дудлей будетъ здѣсь! — удивлялась Рэчель, по дорогѣ домой. — Какъ жаль, что онъ такъ близорукъ: онъ гораздо красивѣе безъ очковъ. Интересно знать, помнитъ ли онъ, какъ мы тогда подружились въ Сентъ-Рульсѣ... Послушайте-ка, а вѣдь это онъ идетъ за нами, и съ нимъ еще какой то господинъ.

Рэчель была права, а спутникомъ Дудлея былъ не кто иной, какъ самъ баптистскій священникъ, «жаждавшій отвести душу съ интеллигентнымъ собесѣдникомъ». М-ръ Стюартъ глазамъ своимъ не повѣрилъ, увидавъ, что докторъ замедлилъ шаги и пошелъ рядомъ съ Рэчелью. Разумѣется, христіанину подобаешь быть снисходительнымъ и учтивымъ, но къ чему эта напрасная трата времени?..

Дудлей, повидимому, думалъ иначе. Обмѣнявшись нѣсколькими любезными словами съ Рэчелью, онъ, къ великому ея удовольствію и не малой досадѣ священника, очень просто и естественно перешолъ къ Монѣ, и оба они ушли впередъ, оставивъ старшихъ бесѣдовать между собою.

Не разъ, когда ихъ раздѣляли сотни миль, Мона и Дудлей мысленно говорили другъ съ другомъ откровенно, по душѣ; но теперь, сойдясь вмѣстѣ, оба робѣли. Въ сущности, что у нихъ за отношенія? Что они такое—старые друзья или просто знакомые? Ни одинъ изъ нихъ не могъ этого опредѣлить.

Молчаніе становилось неловкимъ.

— Я должна поблагодарить васъ. Вы доставили мнѣ сегодня истинное наслажденіе,—нѣсколько официально начала Мона.

Это всякій могъ бы сказать ему. Отъ нея онъ ждалъ большаго.

— Очень радъ, что вы не соскучились,—отвѣтилъ онъ холодно.

Мона посмотрѣла на него, и они обмѣнялись улыбкой. Эта улыбка говорила краснорѣчивѣе словъ.

— Я такъ обрадовался, когда вы вошли и сѣли на свое мѣсто,—молвилъ онъ тихо, словно былъ увѣренъ, что она не приметъ словъ его за пустой комплиментъ. — Я все время смотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ сидѣла миссъ Симпсонъ. Возлѣ нея былъ пустой уголокъ... А что замокъ Маклинъ?

— Переданъ почти въ исключительное владѣніе чайкамъ. Надо сознаться, что замокъ Маклинъ болѣе удобенъ для лѣтней резиденціи, чѣмъ для зимней. Я часто забѣгаю взглянуть на него, но здѣшніе вѣтры такъ рѣзки, что у меня не является особеннаго желанія оставаться тамъ надолго.

— Я думаю! Когда я рисую себѣ васъ тамъ, на скалѣ, я всегда представляю себѣ лѣто.

— Ахъ, знаете, — спохватилась вдругъ Мона, — мнѣ нужно вамъ что-то сказать. Помните вы нашъ разговоръ о Куксонахъ?

— Помню.

— Теперь мы съ Матильдой большіе друзья, и мнѣ прямо стыдно вспомнить, какъ несправедливо я судила о ней послѣ первой встрѣчи. Это вы помогли мнѣ сознать свою ошибку.

— Полноте, что вы! Причемъ же тутъ я? Вы сами сознали свою ошибку—если только тутъ была ошибка.

— Была. А вы — вы дали мнѣ слишкомъ высокую оцѣнку; это лучший способъ указать человѣку его мѣсто. Вы не можете себѣ представить, сколько въ этой дѣвушкѣ нетронутыхъ добрыхъ чувствъ. Она ужъ отлично читаетъ по-нѣмецки, перечла массу книгъ и очень увлекается уроками. Что вы на это скажете?

— Удивительно! Какимъ образомъ она познакомилась съ вами?

— Такъ, странная случайность... Я рада этому. Я сама къ ней привязалась. Она такая добрая, впечатлительная...

Разговоръ оборвался. Издали доносился глухой рокотъ прибора. До дому было еще далеко, и Монѣ страстно захотѣлось рассказать ему теперь, сейчасъ всю правду о своихъ занятіяхъ медициной. Съ какой стати было давать такое идиотское обѣщаніе? И почему она до сихъ поръ не попросила кузину снять съ нея запретъ? Но только что она набралась храбрости, какъ позади раздался голосъ Рэчели:

— Душенька, м-ръ Стюартъ желалъ бы немножко побесѣдовать съ вами. — Докторъ, надѣюсь м-съ Гамильтонъ не стало хуже? Что это вамъ вздумалось пріѣхать?

М-ръ Стюартъ отомстилъ за себя.

Дудлей хотѣлъ было протестовать, но обмѣнъ дамъ уже совершился. Пришлось покориться судьбѣ.

Г л а в а XXX.

К а р б о л к а .

— Эге, Джонсъ, вы уже домой?

— Завтракать. Я, можетъ быть, еще зайду сюда вечеркомъ.

— Какъ хотите, какъ хотите, мой другъ, но если вы не кончите сегодня разрѣза подмышки, завтра я буду поставленъ въ непріятную необходимость перейти къ грудной полости.

— Слушайте, Дудлей, это слишкомъ жестоко!

— Не вижу, почему. Неужели вамъ мало цѣлаго дня?

— Но вѣдь вы знаете, что я порѣзалъ себѣ палець.

— Гм. Я не очень-то вѣрю въ этотъ порѣзанный палець. Это, помнится, разъ уже было—въ день состязанія въ мячъ.

Джонсъ засмѣялся.

— Да и Коллету безъ васъ ни за что не окончить стопы.

— Пусть постарается.—Дудлей ласково улыбнулся, глядя на озаченное лицо товарища, наклонившагося надъ столомъ.—Я берусь только найти ему ножное развѣтвленіе внутренняго подошвеннаго.—И онъ любовно приподнялъ нервъ рукояткой скальпеля.—Ну-ка, Джонсъ, привагужтесь. *Ce n'est pas la mer à boire*. Полчаса—и готово!

— Да, какъ же! У меня это займетъ четыре часа. Вѣдь объ этой подмышкѣ страсть сколько нужно прочесть. У меня и то все спуталось въ головѣ. Дайте еще денекъ сроку. Я ужъ посижу ночью, докончу.

— Очень жаль, старица,—не могу. *Ars longa*. Мнѣ пора перейти къ грудной полости. А вамъ лучше бы читать въ анатомическомъ. Нѣтъ ничего хуже предвзятыхъ идей. Позавтракайте хорошенько, да и возвращайтесь. Это, должно быть, вашъ скальпель, Коллетъ?

— О чертъ! Хоть бы одна мысль въ головѣ! Неужели же никто не объяснитъ мнѣ и не кончитъ моего сѣченія заодно со своимъ?

— Я охотно сдѣлаю это,—не дальше, какъ завтра. Вся выгода будетъ на моей сторонѣ. Впрочемъ, сейчасъ это, пожалуй, и для васъ будетъ лучше. Но не совѣтую вамъ повторять это слишкомъ часто, если вы хотите сдѣлаться хорошимъ анатомомъ.

— Вовсе я не хочу! Я желалъ бы не видать больше никогда этой поганой вонючей ямы!

Дудлей обвелъ взглядомъ высокую, хорошо провѣтренную комнату и молвилъ:

— Мнѣ знакомо это чувство.

— Вамъ, Дудлей! На-дняхъ кто-то увѣрялъ, что вамъ все мило въ анатомическомъ, даже пыль!

— Такъ оно и есть, пожалуй,—усмѣхнулся Ральфъ.—Но въ тѣ дни, когда я владѣлъ инструментами не лучше васъ, я думалъ иначе.

— Вы думаете, что я привыкну, если хорошенько возьмусь за работу?

— Я ничего не думаю; я знаю. Итакъ, ровно въ девять!

Дудлей быстро распахнулъ дверь и очутился на улицѣ. Сырой рѣзкій вѣтеръ пахнулъ ему въ лицо; тротуары были покрыты густымъ слоемъ грязи. Въ такую погоду труженику, натомившемуся за работой, развеселиться трудно. Одна за другой привычныя складки легли на лбу Дудлея; въ тактъ своимъ грустнымъ мыслямъ онъ замедлилъ шаги. Вдругъ позади его раздался мѣрный топотъ копытъ и мягкій стукъ колесъ, обтянутыхъ резиной. Онъ любилъ хорошихъ лошадей и теперь обрадовался возможности полюбоваться. На улицѣ случилась какая-то задержка. Гнѣдья, всѣ въ мылѣ, фыркали и били копытами. Дудлею вспомнился рассказъ Мельвиля объ «ироніи судьбы», и онъ началъ еще съ большимъ любопытствомъ разсматривать обладателя экипажа.

Здѣсь не могло быть и рѣчи объ ироніи. Возжи легко держалъ въ рукахъ пожилой джентльменъ, красивый, съ военной выправкой,

съ краснымъ лицомъ и сѣдыми кудрями. Онъ тоже былъ видимо недоволенъ задержкой; на лбу его легла глубокая морщина.

Наконецъ, телѣга, загородившая путь, свернула въ сосѣднюю улицу, мальчишки гурьбой бросились за ней. Однѣнъ, самый маленькій, пренебрегая опасностью, повисъ сзади. Телѣга опять зачѣмъ-то остановилась; потомъ лошади дернули сразу и прежде чѣмъ Дудлей или господинъ, сидѣвшій въ экипажѣ, замѣтили ребенка, тотъ уже лежалъ подъ копытами гнѣдыхъ.

Возница желѣзной рукой натянулъ возжи. Лошади стали, какъ вкопанныя. Дудлей и грумъ бросились поднимать ребенка.

— Онъ, кажется, больше испугался, чѣмъ ушибся, — замѣтилъ Ральфъ, — но моя квартира въ двухъ шагахъ отсюда. Если хотите, я снесу его къ себѣ и осмотрю его. Я докторъ.

— Клянусь душой, очень вамъ обязанъ! Сегодня ночью я уѣзжаю на Ривьеру. Подумайте, какъ неприятно было бы остаться изъ-за такого дѣла. Вы бы сѣли? Чарльзъ подастъ намъ ребенка.

Мальчикъ, оглушенный паденіемъ, дышалъ тяжело и тихонько всхлипывалъ. Когда они дошли до дому, Дудлей подаль своему спутнику ключъ, а самъ поднялъ мальчика, какъ перышко, и на рукахъ внесъ его на лѣстницу.

— Какъ вы это ловко продѣлываете, точно женщина, ей-Богу! — полумскренно, полунасмѣшливо удивлялся эlegantный господинъ, отворяя дверь. — Счастье мое, что вамъ какъ разъ въ это время случилось проходить мимо!

Дудлей провелъ незнакомца въ кабинетъ, а мальчика отнесъ въ спальню, чтобъ осмотрѣть его. Кабинетъ былъ на рѣдкость уютный — ничего кричащаго, бьющаго въ глаза, но каждая вещица, каждая картина и книга, очевидно, выбирались внимательно и съ любовью; все вмѣстѣ взятое, положительно говорило въ пользу хозяина.

— Очевидно, это человекъ въполнѣ культурный, — говорилъ себѣ гость; — и выбрать такую профессію — чортъ знаетъ что такое! Возиться съ грязными уличными ребятишками! Онъ, должно быть, со средствами. Ради какого дьявола онъ сдѣлался докторомъ?

— Все въ порядкѣ! — весело воскликнулъ Дудлей, входя въ комнату. — Мальчуганъ очень заинтересовался моимъ скелетомъ, а теперь улетаетъ за обѣ щеки хлѣбъ съ вареньемъ. Я увѣрилъ его, что изъ ста возницъ девяносто девять переѣхали бы его пополамъ. Онъ спасся только потому, что вы моментально остановили лошадей. Васъ можно поздравить — вы великій мастеръ своего дѣла.

— Вы находите? Очень радъ это слышать. Я самъ было думалъ, что мальчугану не сдобровать. Дѣло въ томъ — въ мои годы смѣшно было бы не умѣть справиться съ лошадьми! — но дѣло въ томъ, что я въ это время думалъ совсѣмъ о другомъ. Такая досада! Я уже взялъ билетъ и теперь придется уѣхать, не повидавшись съ племянницей. Я

ей написала, прося назначить, гдѣ и когда я могу ее видѣть, но, оказывается, она переѣхала. Кстати, вы докторъ? Вы ведете знакомство съ женщинами-врачами?

Дудлей покачалъ головой.

— Къ сожалѣнію, не имѣю этой чести.

Гость его желчно разсмѣялся.

— Вы, должно быть, тоже не вѣрите во все это движеніе?

— Этого я не скажу. По части женскаго вопроса я далеко не консерваторъ. Я склоненъ думать, что у женщины есть душа, а, разъ это такъ, теперь, когда прошелъ вѣкъ грубой силы, отчего же ей и не выбрать себѣ дѣла по душѣ? Мнѣ кажется, это вполне естественно.

— Мнѣ это вовсе не кажется, сэръ, нисколько не кажется!—горячо воскликнулъ пожилой джентльменъ, бросившись въ кресло.—Душа! Желалъ бы я знать, причемъ тутъ душа? Можетъ-ли женщина не очерствѣть душой, занимаясь медициной?—вотъ въ чемъ вопросъ.

— Признаюсь, я тоже нахожу, что для женщины это нѣсколько странный образъ жизни, но, тѣмъ не менѣе, я знаю двухъ-трехъ женщинъ—одну ужъ навѣрное—которая будетъ несравненно лучшимъ врачомъ, чѣмъ я самъ.

— Ахъ, да кто же объ этомъ спорить! Разумѣется, женщины-врачи необходимы,—я самъ признаю, что онѣ необходимы, и слава Богу, что онѣ взялись за это дѣло! Но какого чорта моя племянница вздумала учиться медицинѣ? Она вовсе не изъ тѣхъ женщинъ, о которыхъ вы говорите. Хорошенькая, изящная, даровитая, могла бы выйти замужъ за кого угодно, возвращаться въ какомъ угодно обществѣ, и подумать, что такая дѣвушка должна жить въ атмосферѣ... скажите, пожалуйста, чѣмъ пахнетъ въ этой комнатѣ?

Дудлей засмѣялся.

— Должно быть, карболкой. У меня она въ большемъ ходу.

— Карболка? Такъ вотъ представьте себѣ красавицу, вынужденную жить въ атмосферѣ—*карболки!*

Дудлей опять засмѣялся.

— Это, конечно, немножко непріятно, но... все имѣетъ свою обратную сторону. Я согласенъ съ вами, что часть нашего дѣла должна перейти исключительно въ руки женщинъ-врачей, и я лично буду этому очень радъ.

— Я думаю! Это такая грязная работа!

— Вы понимаете, конечно, что здѣсь мы расходимся.

— Вы не находите, что это грязная работа?

— Боже избави!

— Скажите мнѣ...—началъ гость, пытливо разглядывая то интеллигентное лицо Дудлея, то его тонкія нервныя руки;—вы должны это знать... Какъ вы думаете, можетъ женщина, хорошая, чистая, съ характеромъ пройти черезъ все это безъ вреда для себя?

— Хорошая, чистая, съ характеромъ!—задумчиво повторилъ Дуд-

лей.—Да такую женщину не страшно послать и въ адъ. Мнѣ кажется, основная ошибка нашей цивилизаціи въ томъ, что мы воспитываемъ женщинъ, какъ будто онѣ всѣ на одну колодку. Разумѣется, если женщина возьмется изучать медицину, у нея откроются глаза, но вѣдь есть женщины, богато одаренныя, которыя никогда и не разовьются вполне, если вы ихъ оставите за монастырскою стѣной. Огкровенно говоря, я не большой поклонникъ искусственно взлелѣянной чистоты.

— Искусственно взлелѣянной! Любезный сэръ, между парникомъ и навозной кучей есть переходныя ступени! Будь это искусство, литература, политика, даже наука; но анатомія, препаровочная!..

— Послушайте,— почти съ негодованіемъ вскричалъ Дудлей,— все зависитъ отъ того, какъ относиться къ дѣлу. Въ анатоміи, какъ и вездѣ, много званныхъ, но мало избранныхъ, а хорошая, чистая женщина всюду будетъ на своемъ мѣстѣ, даже «въ храмѣ святого Духа».

Гость былъ нѣсколько изумленъ такимъ энергическимъ отпоромъ и не сразу отвѣтилъ. Казалось, онъ внимательно изучалъ узоръ на коврѣ. Наконецъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза Дудлею, онъ выговорилъ почти рѣзко:

— Зная все, что вы знаете, вы находите это возможнымъ?

— Зная все, что я знаю, я нахожу это возможнымъ.

Посѣтитель нѣсколько времени сидѣлъ, молча, ударяя себя по кончику сапога линейкой, взятой съ письменнаго стола.

— Вотъ что я могу для васъ сдѣлать, — вдругъ вспомнилъ Дудлей.—Я могу дать вамъ адресъ женской медицинской школы. Тамъ вы навѣрное найдете вашу племянницу.

— Боже упаси! Я не трусь, но на это у меня не хватитъ мужества. Легче встрѣтиться одинъ на одинъ съ тигромъ въ чащѣ лѣса! Нѣтъ, сэръ, увольте! Покорнѣйше благодарю! Я вамъ безконечно обязанъ. Мнѣ очень хотѣлось бы пригласить васъ отобѣдать со мною въ клубъ, но это невозможно. Въ пять часовъ я ѣду. Надѣюсь, мы увидимся, когда я возвращусь въ Лондонъ. Вотъ моя карточка. Гдѣ же мальчуганъ? Поди сюда, голубчикъ! Вотъ тебѣ на рождественскія лакомства, но помни, если ты еще разъ попадешь мнѣ подъ лошадей, я тебя переѣду, слышишь?

Онъ сердечно пожалъ руку Дудлею, оставивъ въ этой рукѣ пару гиней, и черезъ минуту гнѣдья уже неслись по улицѣ.

«Сэръ Дугласъ Мунро»,—прочелъ Дудлей, посмотрѣвъ на карточку.—Великолѣпный экземпляръ красиваго англо-индійскаго типа. Желалъ бы я взглянуть на эту удивительную племянницу!

ГЛАВА XXXI.

Пальмы и ананасы.

Представьте себѣ міръ, міръ пальмъ и ананасовъ, алоэ и эвкалиптусовъ, пышныхъ изгородей, изъ-за которыхъ вамъ улыбаются ярко-

*

красныя розы, бѣлыхъ виллъ, рѣзко выступающихъ на тусклой зелени оливъ, безоблачное небо, которое глядится въ глубокое синее море—роскошный міръ, полный свѣта и солнца, и посреди всей этой роскоши миссъ Люси, такую веселую и безпечную, какъ будто она никогда не бывала въ анатомическомъ и никогда не ломала себѣ головы надъ учебниками.

Оркестръ внизу игралъ одинъ вальсъ за другимъ, и Люси, одѣваясь, танцевала на мѣстѣ, какъ роза, колеблемая вѣтромъ.

— *Entrez*,—вскричала она, слышавъ стукъ въ дверь.

Вошла Эвелина, высокая, стройная, все съ тѣмъ же строгимъ выраженіемъ глазъ.

— Вы совсѣмъ не похожи на студентку,—выговорила она серьезно.

— Я приняла бы это за комплиментъ, если бы не знала, что это значить.

— Что же это значить?

— Что я ни капельки не похожа на Мону.

— Ну, это вы и сами знаете.

— Вѣрно, *ma belle*, но неужели вы пришли только для того, чтобъ сказать мнѣ это?

— Я пришла вамъ сказать, чтобъ вы черезъ десять минутъ были готовы. Отецъ свезетъ насъ въ Монте-Карло.

Люси бросилась выбирать платье.

— Но, вѣдь, сэръ Дугласъ, вѣроятно, страшно усталъ съ дороги?—заговорила она, оглядываясь черезъ плечо въ зеркало, чтобы посмотреть, хорошо ли сидитъ сзади юбка.

— Онъ уже отдохнулъ за два дня; притомъ же ему хочется увидать Монтизовъ, прежде чѣмъ они переѣдутъ во Флоренцію.

Она могла бы прибавить: я сказала ему, что вамъ страшно хочется побывать въ Монте-Карло.

— Монтизовъ?—неволью повторила Люси и при этомъ чуточку покраснѣла.

Эвелина присѣла на чемоданчикъ.

— Мнѣ не вѣрится, что вы будете докторомъ.

— Давайте биться объ закладъ,—отозвалась Люси, не отводя глазъ онъ зеркала: она была занята важнымъ дѣломъ—застегивала лифъ.

— Я никогда не бьюсь объ закладъ, но если вы будете докторомъ, я... я приглашу васъ на консультацію.

Выпустивъ эту парейнскую стрѣлу, она также спокойно вышла изъ комнаты.

Дѣвушки постоянно пикировались, но, въ сущности, жили очень дружно. Эвелина находила, что Люси совершенно не на мѣстѣ въ роли «ученой женщины», но это не мѣшало ей чувствовать себя прекрасно въ обществѣ веселой живой студентки. Конечно, ее смѣшно сравнивать съ Мовой—Эвелина не допускала самой мысли объ этомъ, и ма-

ленькая Люси сама находила, что это смѣшно: она никому даже не намекнула, что выдержала экзаменъ, на которомъ провалилась Мона. Мона была центромъ системы, она—однимъ изъ спутниковъ; она горько завидовала всѣмъ другимъ спутницамъ, стоявшимъ ближе ея къ центру; но развѣ можно завидовать солнцу?!

Леди Мунро очень привязалась къ своей молоденькой гостьѣ. Она никому на свѣтѣ не призналась бы въ такой ереси, но, въ сущности, ей было легче съ Люси, чѣмъ съ Моной и она не понимала, какимъ образомъ сэръ Дугласъ можетъ находить племянницу болѣе пикантной, чѣмъ Люси Рейнольдсъ. Она видѣла Люси насквозь, а въ разговорѣ съ Моной всегда испытывала чувство неловкости; даже, когда та горячо соглашалась съ нею, ей казалось, что, загляни она глубже въ душу племянницы, она встрѣтила бы тамъ много неожиданностей. Съ Люси у нихъ былъ одинаковый уровень понятій, Мона стояла особнякомъ и не всегда можно было опредѣлить, когда она стоитъ выше ихъ и когда ниже.

Вскорѣ послѣ ухода Эвелины всѣ четверо подѣхали къ станціи. Утро было прохладное, росистое. Эвелина была, какъ всегда, сдержана и спокойна, но Люси положительно съ ума сходила отъ восторга. Все было для нея наслажденіемъ: и ѣхать въ роскошномъ купѣ перваго класса, и находиться въ обществѣ такого человѣка, какъ сэръ Дугласъ, и посмотреть поближе на этотъ новый чудный міръ.

Когда они оставили за собой Ниццу, мѣстность измѣнилась. Здѣсь природа была суровой, величественной. Поѣздъ прокладывалъ себѣ дорогу между высокихъ скалъ, стѣною нависшихъ надъ моремъ и совершенно обнаженныхъ, если не считать пріютившихся въ расщелинахъ рѣдкихъ ананасовъ, согнутыхъ и скрюченныхъ южнымъ вѣтромъ. Но вотъ, словно вынырнувъ изъ моря, словно частица этой самой природы, передъ ними предсталъ спрятавшійся за скалы Монте-Карло—веселый, вульгарный, красивый, шутовской, обольстительный Монте-Карло!

— Неужели это правда казино,—взволнованнымъ шепотомъ выговорила Люси.

Сэръ Дугласъ засмѣялся. Она была не въ его вкусѣ, но ея энтузіазмъ нравился ему.

— Да,—сказалъ онъ.—Но, если вы не имѣете ничего противъ, мы немножко закусимъ прежде, чѣмъ пойти туда.

Для него казино было знакомой и привычной забавой; для Эвелины—красивымъ и немного неприличнымъ мѣстечкомъ, которое все-таки слѣдуетъ посмотреть; для Люси—какимъ-то храмомъ. Ей не пришлось дѣлать замѣчаній: когда они вступили въ роскошныя мрачныя залы, она сразу понизила голосъ до шопота.

— Пожалуй, мы увидимъ Гвендолену Гарлетъ *),—шепнула она Эвелинѣ.

*) Героиня одного извѣстнаго англійскаго романа.

Но Гвендолена Гарлетъ на этотъ разъ блистала своимъ отсутствіемъ. У столовъ съ рулеткою сидѣло множество неинтересныхъ, просто одѣтыхъ женщинъ, похожихъ на гувернантокъ; были здѣсь и нарумяненные, залитыя брилліантами красавицы *demi mond'a*; и злыя сморщенные старыя гарпіи, которыя, казалось, всегда выигрывали; были двѣ-три цвѣтущихъ дѣвушки, самой обыкповенной наружности, но Гвендолены Гарлетъ не было. Въ первый моментъ Люси была почти разочарована. Это было такъ похоже на игру въ винтъ съ марками и никто, повидимому, не волновался, когда останавливалось колесо: очевидно, рассказы о здѣшнихъ трагедіяхъ были сильно преувеличены.

Но въ это время ей попался на глаза юноша англичанинъ, робко озиравшійся вокругъ; онъ, видимо, былъ очень озабоченъ. Открытое добродушное лицо выражало тревогу, весь лобъ собрался въ глубокія складки. Глаза ихъ встрѣтились, и юноша слѣлалъ надъ собой отчаянное усиліе, чтобы принять спокойный и самоувѣренный видъ. Онъ не игралъ, а бродилъ между столовъ, записывая на клочкѣ бумажки выигравшіе номера.

— *Messieurs, faites vos jeux!*

Юноша открылъ большой, но очень тощій бумажникъ и вытащилъ оттуда послѣднюю пятифранковую монету.

— *Le jeu est fait.*

Съ внезапной рѣшимостью юноша положилъ монету на столъ и подвинулъ ее впередъ.

— *Rien ne va plus.*

— *Vingt sept.*

Маленькая монетка присоединилась къ кучкѣ другихъ.

Юноша растерянно улыбнулся и спряталъ пустой бумажникъ въ карманъ.

Люси посмотрѣла на своихъ спутниковъ. Но ни одинъ изъ нихъ не замѣтилъ этой маленькой трагедіи. Сэръ Дугласъ подвелъ ихъ къ другому столу и далъ каждой изъ дѣвушекъ по золотому. Для него это входило въ программу. Надо же и дѣвочкамъ дать попытать счастья.

Люси колебалась; искушеніе было сильное. Ей смутно представлялись груды золота, которыя она можетъ выиграть и отдать этому бѣдному мальчику. Потомъ она покачала головой и шепотомъ молвила:

— Это было бы неприятно моему отцу.

Сэръ Дугласъ пожалъ плечами: вотъ ужъ, поистинѣ, на вкусъ, на цвѣтъ товарища нѣтъ. Какимъ образомъ человѣкъ можетъ позволять своей дочери проводить цѣлые годы въ анатомическомъ театрѣ, вынудить ее жить и дышать въ атмосферѣ, пропитанной карболкой, и въ то же время запрещать ей разъ въ жизни для шутки поставить монетку на игорномъ столѣ—это было выше его пониманія.

Эвелина тоже колебалась, но не устояла противъ соблазна похвататься потомъ передъ подругами, что она играла въ Монте-Карло. Она положила свою монетку на столъ и безпомощно спросила у Люси:

— Куда бы мнѣ поставить?

Люси сама не знала игры, но она внимательно слѣдила за тѣмъ, какъ играютъ другіе, а глаза ея привыкли подмѣчать все быстро и точно. Раздосадованная медлительностью Эвелины, она, не подумавши, схватила лопаточку и подвинула золотой на мѣсто—какъ разъ въ-время. Черезъ нѣсколько секундъ ставка Эвелины удвоилась.

— Довольно, довольно,—сказалъ сэръ Дугласъ, видя, что дочь его не прочь повторить опытъ,—я не хочу, чтобы у тебя были такія же красныя щеки, какъ у той дамы, что сидитъ напротивъ.

Господинъ, сидѣвшій съ нимъ рядомъ, всталъ, чтобы пропустить ихъ и, когда они проходили мимо, поздоровался съ Люси. Та не сразу взяла его руку и тотчасъ же съ милымъ ужасомъ обернулась къ сэру Дугласу.

— Ну, вотъ! Я такъ и знала. Это нашъ перковный староста.

Сэръ Дугласъ разсмѣялся.

— Что жъ? Теперь вамъ, по крайней мѣрѣ, не расчетъ выдавать, другъ друга.

Люси наскоро объяснила своему знакомому, какъ она попала сюда и поспѣшила вслѣдъ за своими спутниками во внутреннее отдѣленіе храма, посвященное *rouge et noir*. Здѣсь, во всякомъ случаѣ, трагизма было достаточно даже на первый взглядъ. Люси почти забыла о бѣдномъ юношѣ, видя съ какой ужающей быстротой кучки золота передвигались съ мѣста на мѣсто. Чахоточный игрокъ, которому врядъ ли оставался годъ жизни, съ какимъ-то отчаяніемъ ставилъ монету за монетой и все время проигрывалъ. Наконецъ, кучка золота, возвышавшаяся передъ нимъ на столѣ, вся растаяла. Послѣ минутнаго колебанія онъ вынулъ свой бумажникъ и началъ ставить банковые билеты. Потомъ и они пришли къ концу, а неутомимое колесо все вертѣлось и вертѣлось съ головокружительной быстротой. Чахоточный не двинулся съ мѣста, не отошелъ отъ стола. Изжелта бѣлыми, трясущимися руками онъ продолжалъ отмѣчать результаты; другіе ставили, выигрывали, проигрывали; онъ лихорадочно и безцѣльно чертилъ на бумагѣ какія-то цифры, какіе-то безформенные рисунки. А двѣ молодыя дѣвушки, сидѣвшія противъ него, все выигрывали, выигрывали и выигрывали, загребая золото и улыбаясь мужчинамъ, стоявшимъ у нихъ за спиной.

— Пойдемте—шепнула Люси.—Я не могу больше.

— Я тоже нахожу, что достаточно,—поддержала ее леди Мурро—мнѣ хочется пить, Дугласъ. Спроси, пожалуйста, кофе.

Они вышли въ садъ, на яркое солнце. Къ нимъ моментально подлетѣлъ старшій лакей. Сэръ Дугласъ былъ изъ тѣхъ, кому рѣдко приходится звать слугу. Онъ заказалъ кофе, безцеремонно закурилъ сигару и вдругъ повернулся къ Люси.

— Гдѣ Мона?

У Люси даже духъ захватило.

— Послѣдній разъ, когда я ее видѣла, она была въ Лондонѣ,—начала она, стараясь выиграть время.

— На своей прежней квартирѣ?

— Н... нѣтъ. Она жила тогда вмѣстѣ со мной.

Нѣтъ, это не годится. Все лучше, чѣмъ заставить ихъ предполагать, что здѣсь кроется какая-то тайна.

— Видите ли, съ самаго начала учебнаго года я не жила въ Лондонѣ и давно уже не получаю писемъ отъ Моны. Я знаю, что она взяла съ собой всѣ необходимые учебники, а готовиться можно гдѣ угодно.

— Такъ почему же... почему ей не пріѣхать къ намъ и не готовиться здѣсь?

Люси засмѣялась. Она начинала надѣяться, что гроза скоро пройдетъ.

— Мона, по всей вѣроятности, отвѣтила бы вамъ на это, что въ Каннахъ такъ же удобно играть въ мячъ, какъ и въ Кембриджѣ.

— Такъ и вы не знаете ея адреса?

— Навѣрное не знаю. Очень можетъ быть, что она до сихъ поръ гоститъ у кузины. Она какъ-то говорила, что тамошній воздухъ укрѣпляетъ нервы и что ей тамъ легче работается.

— Такъ она поѣхала туда готовиться къ экзаменамъ?

— Я увѣрена, что она много работаетъ.

— А когда же назначенъ экзаменъ?

— Видите ли, это зависитъ отъ желанія. Мона не говорила мнѣ, когда она собирается держать экзаменъ. Дѣло въ томъ, сэръ Дугласъ, что мои планы всегда извѣстны Монѣ, но Мона держитъ свои про себя. Она, вѣдь, работаетъ не ради того, чтобъ получить дипломъ, какъ, напримѣръ... я.

— Въ этомъ я увѣренъ. Помнится, Мона говорила своей теткѣ, что она оставляетъ свою квартиру и что лучше всего адресовать письма на имя ея повѣреннаго. Вы тоже такъ адресуете?

— Я давно ей не писала. А буду писать, такъ адресую на имя повѣреннаго.

— Интересно знать, какъ я объясню это Монѣ,—прибавила она про себя.

Глава XXXII.

С м ѣ х ѣ и с л е з ы .

Сэръ Дугласъ пошелъ навѣстить пріятеля. До начала концерта оставалось еще много времени, и леди Мунро съ барышнями бродили по террасѣ, съ которой открывается видъ на море.

— Какая прелесть, какая прелесть,—повторяла Люси.—Есть ли въ цѣломъ мірѣ видъ, красивѣе этого.

— Надо будетъ разыскать эти знаменитыя двѣ статуи работы

сэра Бернара и Густава Доре, — сказала Эвелина, заглянувъ въ Бедекеръ. — Одна изъ нихъ изображаетъ...

— Да, ну вы съ вашими статуями! вскричала Люси. Сегодня я хочу чувствовать, а не смотрѣть. — Она вдругъ понизила голосъ: — Леди Мурро, посмотрите, вонъ мой юноша стоитъ, облокотившись на балюстраду. Видите, я не преувеличила — вы только взгляните на него.

Леди Мурро прошла немного дальше, будто случайно обернувшись, посмотрѣла на молодого человѣка и долго не отводила отъ него глазъ. Лицо его пылало; онъ бормоталъ что то безсмысленное и смотрѣлъ прямо передъ собой ничего не видѣвшими глазами.

— Онъ, право, кажется, съ ума сходить, — замѣтила Эвелина.

— Онъ гораздо больше похожъ на сумасшедшаго, чѣмъ настоящіе сумасшедшіе, — сказала Люси, съ гордостью вспомнивъ о своемъ посѣщеніи дома умалишенныхъ. — О, леди Мурро, пойдите, поговорите съ нимъ. У васъ это выйдетъ такъ просто и хорошо... Вы умѣете.

Леди Мурро колебалась. Она никогда не сворачивала съ дороги ради того, чтобы сдѣлать доброе дѣло. Но этотъ мальчикъ самъ сталъ на ея дорогѣ, и она знала, что ея поступокъ выйдетъ красивъ, хотя продиктованный не принципами, а просто материнскою жалостью къ бѣдному юношѣ.

Она прошла немного впередъ и, мягко шелестя шелковымъ платьемъ, направилась къ тому мѣсту, гдѣ онъ стоялъ.

— Pardon, monsieur, не можете ли вы мнѣ сказать, гдѣ находится статуя работы Густава Доре?

Юноша вдрогнулъ и удивленно посмотрѣлъ на нее. Въ Монте-Карло не часто встрѣчаются такіа изящныя женщины.

— Простите, я не слышалъ, что вы сказали, — выговорилъ онъ, сдѣлавъ надъ собой отчаянное усиліе, чтобы собраться съ мыслями. Видъ у него былъ растерянный, но рѣчь и манеры показывали хорошо воспитаннаго человѣка. Леди Мурро еще больше заинтересовалась имъ.

— Не знаете ли вы, гдѣ находится статуя работы Густава Доре? Онъ покачалъ головой.

— Къ сожалѣнію, не знаю, — и отвернулся.

Но леди Мурро вовсе не рассчитывала закончить на этомъ разговоръ.

— Какой очаровательный видъ, не правда ли, — продолжала она.

— Д-да... очаровательный!

— Я, кажется, видѣла васъ за однимъ изъ столовъ въ Казино. Надѣюсь, вы удачно уграли.

Онъ круто повернулся къ ней. Лицо его выражало гнѣвъ и обиду, но, главнымъ образомъ, отчаяніе. Это было такое дѣтское лицо, открытое, простодушное. Оно, казалось, говорило: «Развѣ вы не видите, что мнѣ не до пустой болтовни. Вы очень добры, очень красивы, я въ вашей власти, но... зачѣмъ же вы мучите меня?»

— Вы попали въ затруднительное положеніе, — мягко, но настойчиво

продолжала леди Мурро.—Можетъ быть, это еще поправимо. Скажите мнѣ всю правду.

Женщина, болѣе привычная къ дѣламъ милосердія, вѣроятно, лучше бы разсчитала дѣйствіе своихъ словъ. У юноши хлынули слезы изъ глазъ. Онъ захлебывался отъ рыданій. Къ счастью, терраса была почти совсѣмъ пуста. Поодаль сидѣли Эвелина и Люси, повидимому, углубившись въ изученіе Бедекера, а въ дальнемъ углу какой-то старикъ читалъ газету, и только.

Юноша разсказывалъ свою исторію довольно безсвязно, но все же можно было понять, въ чемъ дѣло.

У него была только одна сестра, хрупкая, болѣзненная дѣвушка, которой врачи прописали провести зиму въ Санъ-Ремо. Онъ отвезъ ее туда, устроилъ и... и встрѣтилъ знакомаго, который уговорилъ его провести вечерокъ въ Монте-Карло. Остальное не требовало поясненій. Въ данный моментъ въ кошелькѣ молодого человѣка было всего шестьдесятъ пять сантимовъ и, кромѣ того, онъ задолжалъ нѣсколько фунтовъ знакомому.

По-истинѣ, въ жизни все относительно. Иные теряютъ тысячи за игорнымъ столомъ и сравнительно остаются спокойными; этотъ мальчикъ чуть не лишился разсудка изъ-за того, что проигралъ какіе-то двадцать фунтовъ.

— Есть у васъ друзья дома?—былъ первый вопросъ леди Мурро.— Есть отецъ, мать?

Мать умерла, а отецъ очень строгій и далеко не богатъ. Не легко ему было достать денегъ, чтобы послать дочь на Ривьеру.

— Вотъ это-то и ужасно,—говорилъ юноша.—Господи! Отчего я не взялъ обратнаго билета!.. Но, вѣдь, я собирался вернуться на пароходѣ изъ Марсея. Главное,—не надо было трогать денегъ, отложенныхъ на дорогу. Какъ только я поставилъ первые пять франковъ—все пропало. Потомъ я уже игралъ, чтобы отыгратъся, но мнѣ адски не везло. О, если бы можно было вернуть эти пять франковъ! Если бы я это предвидѣлъ... но я думалъ...

— Вы, конечно, надѣялись выиграть? ласково докончила леди Мурро. Юноша сконфуженно разсмѣялся сквозь слезы.

— Ну, зато и наказаніе стоитъ грѣха. Я съ радостью готовъ сидѣть цѣлые мѣсяцы на хлѣбѣ и водѣ, лишь бы вычеркнуть эти два дня изъ своей жизни. Я все думаю, думаю... у меня все перепуталось въ головѣ... я, кажется, скоро съ ума сойду. Я не могу написать отцу, а кромѣ этого, что же мнѣ остается дѣлать?

Голосъ его оборвался. Леди Мурро молчала. Она думала о томъ, что скажетъ сэръ Дугласъ. Когда замужней женщинѣ представляется случай помочь ближнему, ей приходится принимать въ расчетъ, помимо собственнаго побужденія, еще многое. Въ отношеніи къ леди Мурро это имѣло свою хорошею сторону. Она такъ же легко отдала бы всѣ

свои деньги нуждающемуся, какъ легко истратила бы ихъ на покупку полюбившагося ей браслета или брошки, ни на минуту не задумавшись о томъ, будутъ ли у нея деньги завтра. Хорошо, что такимъ совершеннымъ женщинамъ не всегда приходится разыгрывать роль добраго генія!

— Я постараюсь помочь вамъ,—выговорила она, наконецъ.—Хотя навѣрное обѣщать не могу. Пока—вотъ вамъ луидоръ. На это вы можете доѣхать до Каннъ и залатить за номеръ въ гостинницѣ. Зайдите ко мнѣ завтра между десятью и одиннадцатью.—Она дала ему свою карточку и затѣмъ, какъ бы что-то вспомнивъ, прибавила:—Надѣюсь... вы мнѣ обѣщаете не заходить больше въ казино?

Это было такъ похоже на нее—просить, какъ милости, того, что она могла бы поставить условіемъ. Юноша покраснѣлъ до ушей, но взялъ деньги.

— Вы очень добры,—молвилъ онъ съ дрожью въ голосѣ.—Спасибо вамъ. Я даже не оглянусь ни разу на казино.

— Ну, миссъ Люси, интересное знакомство вы мнѣ доставили,—сказала леди Мурро, подойдя къ дѣвушкамъ.—Это удовольствіе будетъ мнѣ стоить ровно двадцать фунтовъ.

— Расскажите намъ все по порядку,—взмолилась Люси.—Кто онъ такой?

— Его зовутъ Эдгаръ Дэвидсонъ. Онъ студентъ-медикъ.

— Я такъ и думала! Не удивительно, что я заинтересовалась со-братомъ по профессіи! Въ какомъ онъ госпиталѣ работаетъ?

— Не знаю.

— Гдѣ онъ будетъ держать экзаменъ:—въ колледжѣ или въ университетѣ?

— Дитя мое, могло ли мнѣ придти въ голову спросить объ этомъ?

— Я увѣрена, что мама даже не спросила, у какого портного онъ одѣвается,—спокойно вставила Эвелина.

— Богъ съ нимъ, съ портнымъ—это не интересно, а вотъ куда онъ отдаетъ точить скальпели—это бы мнѣ очень интересно знать. Почему онъ здѣсь среди семестра?

Леди Мурро едва успѣла имъ рассказать въ общихъ чертахъ исторію юноши; они подходили къ дверямъ концертнаго зала, пора-жавшаго великолѣпиемъ и вмѣстѣ—вульгарностью. Оркестръ уже игралъ знаменитое *pizzicato*.

— Сядемъ сзади, мама,—шепнула Эвелина,—а то Люси, пожалуй, еще пустится въ плясъ.

Люси окинула подругу высококомѣрнымъ взглядомъ:

— Хорошо и то, что Провидѣніе не создало меня фонарнымъ столбомъ.

Еще до окончанія пьесы въ нимъ подошелъ молодой человѣкъ и поздоровался съ леди Мурро.

— Какимъ образомъ вы здѣсь, мистеръ Монтизъ? Мужъ пошелъ къ вамъ.

— Да, онъ сказалъ мнѣ, что вы будете здѣсь; я оставилъ его съ отцомъ и направился сюда.

Онъ поздоровался съ барышнями и сѣлъ возлѣ Люси.

— Вы здѣсь?—сказала она съ видомъ спокойнаго равнодушія, мало напоминавшаго ея обычную живость.

— Нѣтъ, это мнѣ слѣдовало спросить: вы здѣсь? И вы предоставляете мнѣ узнать это случайно, черезъ сэра Дугласа.

— Я не думала, что это можетъ васъ интересовать, — возразила она граціозно, хотя и безъ всякой нужды обмахиваясь программой.

— Маленькая кокетка!—подумала леди Мунро, но Люси была такъ мила въ эту минуту, что даже у женщины не хватило бы духу осудить ее.

-- Вамъ попрежнему нравится въ Каннахъ?

— О да! даже больше прежняго. Появились новыя лица, очень симпатичныя.

— Такъ что вы не скучаете объ уѣхавшихъ?

— Ни капельки.

— И нисколько не обрадовались бы старому другу, еслибъ ему вздумалось вернуться туда денька на два?

Наступила минутная пауза.

— Я не знаю... найдется ли мѣсто. Гостиницы переполнены...

Музыка заиграла снова и продолженіе разговора на время пришлось отложить.

— Бываете вы когда-нибудь въ *той* часовнѣ, на вершинѣ холма?

— О да, очень часто!

— Вы энергичны. И вамъ случается видѣть Альпы въ такомъ же странномъ, мистическомъ освѣщеніи, въ какомъ мы ихъ видѣли въ *тотъ* разъ?

— Да. Они всегда одинаковы.

— Странно! Такъ что прогулки не будятъ въ васъ никакихъ воспоминаній?..

— Напротивъ очень горестныя! Помните, какъ мы сошли съ тропинки, чтобы сорвать вѣтку спаржи, и мое платье зацѣпилось за кустъ терновника, а потомъ залаяла собака...

Она не dokonчила. Пѣвучій дуэтъ скрипокъ помѣшалъ ей довести до конца трагической разсказъ; прелюдія перешла въ томный вальсъ, которымъ и закончилась первая часть программы.

Въ антрактѣ за ними зашелъ сэръ Дугласъ. М-ръ Монтизъ проводилъ ихъ до станціи и всю дорогу допытывался, будетъ ли Люси довольна, если онъ на нѣсколько дней вернется въ Канны.

Передъ тѣмъ какъ лечь, Эвелина, какъ всегда, пришла причесываться въ комнату Люси—зѣ компаніи веселѣе.

— Какая трогательная картина!—неожиданно размѣялась Люси, уловивъ въ зеркалѣ отраженіе двухъ дѣвичьихъ фигуръ, съ распущенными по плечамъ волосами.—Ну-съ, рассказывайте все по порядку. Кайтесь. Теперь самое время. По крайней мѣрѣ такъ говорится въ книжкахъ.

— Къ несчастью, мнѣ не въ чемъ каяться.

— Къ счастью, и мнѣ тоже не въ чемъ.—Она низко наклонилась надъ пылающими углями.—Какое, должно быть, рабство любовь.

Эвелина съ любопытствомъ наблюдала за ней и ждала, что будетъ дальше, но дальнѣйшее нѣсколько разочаровало ее.

— Эвелина, какимъ образомъ Монѣ удалось такъ очаровать вашего отца? Мнѣ незачѣмъ повторять вамъ, что я думаю о ней, но въ общемъ она не особенно нравится мужчинамъ, она не въ мужскомъ вкусѣ. Я бы никогда не подумала, что такая женщина можетъ покорить сердце сэръ Дугласа.

— Я не нахожу этого страннымъ, — соннымъ голосомъ протянула Эвелина.—Я много объ этомъ думала. Видите ли, Мона очень похожа на мою мать, хотя и не такъ обаятельна, для простыхъ знакомыхъ; мама, вѣроятно, была приблизительно такой же въ ея годы; но тамъ, гдѣ кончается моя *Mater*, тамъ-то и начинается настоящая Мона. Воображаю, какимъ сюрпризомъ это было для отца!

— Ваша догадка очень остроумна. М-ръ Монтизъ страшно восхищается вашей матерью.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Интересно знать, что бы онъ сказалъ о Монѣ!

— Не могу себѣ представить.

— Вы давно съ нимъ знакомы?

— Папа и мама давно знакомы съ его отцомъ.

— Какъ вы думаете, онъ честный человекъ?

— Который—сынъ или отецъ?

— Разумѣется, сынъ.

— У меня онъ ничего не укралъ.

— Не стройте изъ себя дурочку. Какъ вы полагаете, онъ говорить, что думаетъ?

Эвелина отвѣтила не сразу

— Отчего вы молчите? Вы не считаете его правдивымъ?

— Я стараюсь припомнить, о чемъ мы съ нимъ говорили. Разъ онъ сказалъ мнѣ: «Какая сегодня гнусная погода, не правда ли?» Тогда онъ, повидимому, говорилъ искренно, по крайней мѣрѣ судя по лицу. Это было единственный разъ, что онъ обратился ко мнѣ лично.

Въ это самое время въ спальнѣ супруговъ Мурро шла иного рода бесѣда.

— Дугласъ,—говорила мужу леди Мунро,—какъ ты думаешь, полковникъ Монтизъ позволить своему сыну жениться на Люси Рейнольдсъ?

— Какой вздоръ! Что за мысли тебѣ приходятъ!

— Дѣло въ томъ, что это зашло уже довольно далеко. Джорджъ что-то говорилъ насчетъ возвращенія въ Канны. Не трудно угадать, кто для него служить магнитомъ. Если ты думаешь, что изъ этого ничего не выйдетъ, лучше бы онъ не прѣзжалъ.

— Такъ вотъ къ чему влечетъ ее призванье.

— Полно, мой другъ. Что она знаетъ о жизни! Она совсѣмъ еще ребенокъ.

— Совершенно вѣрно. И отецъ ея такой же ребенокъ. Богъ знаетъ, что ты выдумала, Монтизу нужно жениться на богатой наслѣдницѣ.

Леди Мунро не настаивала. Ей нужно было еще поговорить о другомъ. Она поднялась съ кресла и перешла черезъ комнату.

— Дугласъ,—начала она шутливо,—какъ ты ухитришься оставаться такимъ молодежавымъ? Дай мнѣ, пожалуйста, твой рецептъ. Ты скоро будешь казаться моложе своей жены.

— Вздоръ! — проворчалъ сэръ Дугласъ, но, тѣмъ не менѣе, улыбнулся. Жена не часто баловала его такими комплиментами. Случилось такъ, что и она въ этомъ вечеръ выглядѣла совсѣмъ молодой. Можетъ быть, это-то и вызвало ея замѣчаніе.

Съ полчаса у нихъ шла задушевная бесѣда, какъ въ былые, далекіе дни, а потомъ...

Потомъ леди Мунро рассказала ему объ юношѣ, проигравшемся въ Монте-Карло.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ИМЯНИНЫ.

Разсказъ Поля Ренадэна.

(Переводъ съ французскаго).

Вся деревня Лагэй-Меллье была въ высшей степени заинтересована тѣмъ, что старуха Лоро такъ часто стала посѣщать учителя и такъ по-долгу оставалась у него. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ по вечерамъ, между пятью и шестью часами, деревенскіе обыватели видѣли, что она проходила по улицѣ своей переваливающейся, но все еще бодрой походкой, съ коричневой косынкой на плечахъ, звонила у калитки школы и старый Гембло самъ отворялъ ей. Да она и не думала скрывать своихъ посѣщеній; она здоровалась съ сосѣдками, которыя занимались стиркой или просто болтали у воротъ, направо и налево кивала головой встрѣчавшимся ей по дорогѣ знакомымъ и даже, когда ее спрашивали: «Куда это вы собрались, бабушка Лоро?»—она отвѣчала, не задумываясь: «А вотъ, иду навѣстить м-сье Гембло».—Только когда сосѣдки собирались задержать ее и поговорить о деревенскихъ дѣлахъ, она дѣлала видъ, что не замѣчала ихъ намѣреній, или оставалась съ ними только минутку и спѣшила дальше, заявляя, что ей некогда. Во всякомъ случаѣ, ея ежедневные и продолжительные визиты къ старому Викторину представляли собою нѣчто необычное. Конечно, не могла же она все время заставлять его писать себѣ письма: ей и писать-то было некому, потому что родныхъ у нея было только два человѣка на свѣтѣ: сестра, гораздо моложе ея, живущая съ мужемъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Лагэй-Меллье; ея младшая дочь, пятнадцатилѣтняя дѣвочка, жила у тетки и помогала ей по хозяйству; и потомъ сынъ, занимающійся въ Парижѣ писаньемъ въ газетахъ и журналахъ, «писатель», какъ это у нихъ называется. Учитель помогалъ ей еще сводить мѣсячные счета, не отличавшіеся большой сложностью, а потомъ... чѣмъ же они занимались потомъ, до наступленія ночи? И каждый день! Старикъ Робике, прикованный болязнью къ своему стулу и проводящій цѣлые дни у порога своего дома, или вечеромъ у окна, свидѣтельствовалъ, что въ теченіе трехъ недѣль она не пропустила ни одного вечера и ежедневно проходила мимо его дома въ школу.

Такое странное поведеніе наводило на размышленіе, и кумушки давали волю своимъ язычкамъ. Да, да, они давно уже знакомы другъ съ другомъ, учитель и бабушка Лоро. Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, когда Викторинъ былъ назначенъ учителемъ въ Лагэй-Мелле, онъ сразу обратилъ вниманіе на сынишку Лоро, Жана, бойкую, маленькую обезьяну, который въ 8-мъ лѣтъ зналъ столько же, сколько другіе мальчики, идущіе къ причастію. Викторину было тогда подъ тридцать, онъ былъ красивый, статный малый; ей было года на два, на три больше, но она была еще очень свѣжа, и какіе у нея были славные бѣлокурые волосы! Она только-что потеряла мужа, и злые языки говорили, что Викторинъ, съ перваго же дня по своемъ прїѣздѣ, началъ за ней увиваться. Можетъ быть, потому онъ и отказался отъ повышенія, объясняя свой отказъ тѣмъ, что онъ не честолюбивъ и что ему нравится здѣсь, въ деревнѣ. Поэтому-то, вѣроятно, онъ всегда такъ и возился съ ея мальчишкой, и въ концѣ-концовъ вбилъ ей въ голову, что ему необходимо дальше учиться; и вотъ теперь этотъ мальчикъ выросъ и уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ онъ навѣрное кутитъ и ведетъ безпутную жизнь, вмѣсто того, чтобы быть честнымъ и работающимъ земледѣльцемъ. Да, да, онъ двадцать пять лѣтъ вздыхалъ по ней, это всѣ видѣли. Правда, она не обращала на него вниманія, и старикъ такъ и остался ни съ чѣмъ. Но какъ знать? Можетъ быть, теперь, на старости лѣтъ, она пожалѣла его...

Мальчишки не заходили такъ далеко въ своихъ предположеніяхъ. Когда они встрѣчали на улицѣ бабушку Лоро, идущую въ школу, они, смѣясь, толкали другъ друга локтями и кричали ей вслѣдъ: «Бабушка Лоро идетъ учиться читать. Достанется ей сегодня на орѣхи отъ учителя! Спроси ее, Аристидъ, не хочетъ ли она, чтобы я ей одолжилъ мою азбуку»? И вечеромъ они рассказывали у себя въ семьяхъ, что бабушка Лоро учится читать. Конечно, никто этому не вѣрилъ. Надо было сойти съ ума, чтобы начать учиться въ 60 лѣтъ, а у старой Жюстины была еще голова на плечахъ. Положимъ, она ужъ слишкомъ носилась со своимъ сыномъ, но это было единственное, въ чемъ ее можно было упрекнуть.

* * *

А между тѣмъ, это была правда. Бабушка Лоро начала учиться читать. Въ этомъ и заключалась тайна ея ежедневныхъ посѣщеній учителя, такого же стараго и сморщенного, какъ и она, и ея любовныя свиданія съ нимъ проходили въ мучительныхъ усиліяхъ надъ складами.

Мысль объ ученіи давно уже приходила ей въ голову, но она всегда говорила себѣ: я слишкомъ стара, и, наконецъ, все-таки принялась за книгу, потому что это оказалось превыше ея силъ... Ей было слишкомъ горько, что она не можетъ читать книжекъ своего сына. Вѣдь онъ

былъ первымъ писателемъ въ Парижѣ, и «въ столицѣ» только о немъ и говорили. Онъ не писалъ ей этого въ своихъ письмахъ, потому что былъ слишкомъ скромный; но она угадала истину между строкъ, когда слушала, склонивъ голову и изрѣдка смахивая съ рѣсницъ маленькую слезу, письма, которыя учитель читалъ ей вслухъ. Но въ послѣдній разъ, когда онъ, по обыкновенію, прѣхалъ навѣстить ее въ день ея именинъ, онъ не смогъ вполне скрыть своей славы. Она засыпала его разспросами, счастливая и радостная, преисполненная материнской гордостью, и мало-по-малу онъ началъ рассказывать ей и старику Гембло кое-что изъ своей парижской жизни и въ концѣ концовъ долженъ былъ таки признаться, что онъ—знаменитость. Потомъ онъ постоянно присылалъ ей денегъ... Значитъ, онъ очень много зарабатывалъ, потому что въѣдъ въ Парижѣ приходится такъ много тратить...

Наконецъ, всѣ газеты постоянно говорятъ о немъ. Еще прошлой осенью, черезъ нѣсколько дней послѣ его отъѣзда, мосье Гембло читалъ ей изъ своей газеты замѣтку, въ которой сообщалось о выходѣ въ свѣтъ книги Жана де-Бро—имя, которымъ Жанъ подписывалъ свои книги, она никогда не могла запомнить, какъ это у нихъ называется—и ужъ какъ тамъ его расхваливали, вы бы послушали! По правдѣ говоря, она не совсемъ поняла, что значить «остроумный знатокъ подонковъ парижской жизни», «язвительный Аристофанъ современныхъ Аенівъ» или «восхитительный и извращенный авторъ «Писемъ къ Аспази», но что же изъ этого? все-таки она была наверху блаженства во время чтенія учителя и краснѣла отъ радости, когда онъ читалъ объ «успѣхѣ новой книги талантливаго автора». Къ тому же, маленькая лимузенская газетка поставила въ концѣ замѣтки: «заимствовано изъ «Echo de Paris», а мэтръ Викторинъ увѣрялъ, что это одна изъ лучшихъ газетъ столицы и что «быть пропечатаннымъ въ ней, по меньшей мѣрѣ, такъ же почетно, какъ быть генераломъ».

Тутъ ужъ она не могла больше выдержать; было слишкомъ печально, что она не могла прочесть ни одной строчки Жана. Навѣрное, она, его мать, была единственной въ этомъ отношеніи, потому что всѣ его читали. Ея большой мальчикъ, котораго она обожала, ея Жанъ, сдѣлавшійся знаменитымъ человѣкомъ—и вдругъ, не быть въ состояніи прочесть тѣ прекрасныя вещи, которыя онъ пишетъ! И въ тотъ же вечеръ, когда учитель принесъ ей газетку съ отзывомъ о книгѣ Жана, она повѣдала ему свою идею... Старикъ Гембло немного посмѣялся надъ нею вначалѣ... но, тѣмъ хуже для него! На другой день онъ принесъ ей азбуку, и было рѣшено, что по вечерамъ, по окончаніи классовъ, она будетъ приходить въ школу брать урокъ.

* * *

Когда она приходила, около половины шестого, классная комната была уже пуста. Они сѣли вдвоемъ около печки и, прежде чѣмъ

приступить къ занятіямъ, нѣкоторое время отдавали разговорамъ. Разговоры эти, помимо ихъ воли, постоянно вращались вокругъ «дорогого мальчика»—говорили о его послѣднемъ письмѣ, о той роскошной жизни, которую онъ велъ тамъ, въ этомъ таинственномъ Парижѣ, куда уходили люди, жаждущіе славы и денегъ, или о далекихъ, давно прошедшихъ дняхъ, когда Жанъ еще учился въ школѣ въ Лагэй-Мелле. При мягкомъ свѣтѣ топившейся печки воспоминанія росли, расцвѣтали... Временами Викторинъ впадалъ въ лирической тонъ: «А вѣдь знаете, мадамъ Жюстина, я всегда предчувствовалъ, что этотъ мальчишка будетъ не такой, какъ другіе, что изъ него выйдетъ толкъ! Нужно было видѣть, какъ онъ писалъ сочиненія въ классѣ! Какъ у него все выходило гладко, складно, точно у настоящаго писателя... О, я всегда ему говорилъ: «если бы я былъ на твоёмъ мѣстѣ, пострѣленокъ, я бы поѣхалъ въ Парижъ, поступилъ бы въ большую газету и добился генеральскаго чина! Съ такимъ талантомъ, какъ у тебя, нечего сидѣть здѣсь и землю копать». И вы видите, мои совѣты оказались хорошими!

Старуха, улыбаясь, кивала головой и съ благодарностью пожимала ему руки. Часто, чтобы поддержать гордость, возбуждаемую въ немъ воспоминаніями о своемъ бывшемъ ученикѣ, Гембло вытаскивалъ изъ ящика нѣсколько его «упражнений въ стилѣ», которыя онъ хранилъ какъ драгоценность. И старики въ двадцатый разъ перечитывали ихъ вдвоемъ и подчеркивали наиболѣе достопримѣчательныя мѣста восклицаніями:

— Каково! Не правда ли, какъ мило сказано? И подумать, что въ то время ему было одиннадцать лѣтъ!

И какой онъ былъ добрый мальчишк! Слава не вскружила ему головы. Теперь, когда онъ сталъ важнымъ баринкомъ, и всѣ о немъ говорятъ, онъ все-таки не забываетъ свою старуху-мать, посылаетъ ей время отъ времени денегъ и маленькіе подарки, каждый годъ въ ея именины пріѣзжаетъ къ ней и привозитъ ей большой букетъ. Не правда ли, какъ это мило съ его стороны? Покидать всѣхъ своихъ важныхъ знакомыхъ, свою веселую парижскую жизнь, и пріѣзжать на 3—4 дня въ деревню, къ своей старой матери-крестьянкѣ, которая даже не умѣетъ читать! Какой глупой она должна ему казаться!

Тутъ слѣдовалъ глубокій вздохъ; старушка вытирала нѣсколько увлажнившіеся очки и раскрывала азбуку. Еге! Будущій годъ Жанъ будетъ удивленъ, когда онъ пріѣдетъ въ деревню, и мать раскроетъ одну изъ его книжекъ, и начнетъ ему читать страницу за страницей!

Но нужно было торопиться: до св. Жюстины оставалось всего два мѣсяца. Нужно было хорошо выучиться читать къ тому времени, потому что эти парижскія книжки такъ трудны! Гембло увѣрялъ ее, что она выучится; конечно, у нея не было недостатка въ стараньяхъ... Но вѣдь она была такъ стара!

Поддерживаемая этой мыслью, она цѣлые полчаса не отрывала головы отъ книги и продолжала бы еще, не замѣчая времени, если бы учитель не остановилъ ея, говоря: «ну, на сегодня довольно, мы хорошо поработали!» Она съ трогательной усидчивостью предавалась занятіямъ, дѣлалась совсѣмъ красной отъ усилій и забавляла учителя своимъ отчаяніемъ и вздохами, когда что-нибудь ей не давалось. Ей все хотѣлось идти дальше, сразу начать читать.

— Не торопитесь такъ, мадамъ Лоро,—говорилъ ей Викторинъ.— Не можете же вы начать читать, не выучивъ сначала склады. Ужь предоставьте мнѣ учить васъ, понимаю вѣдь я это дѣло, чортъ возьми! Къ сентябрю мѣсяцу мы будемъ {отлично читать—я вамъ ручаюсь!

Окончивъ урокъ, она прятала въ карманъ азбучку, чтобы «повторить» урокъ дома, когда у нея найдется свободная минута, и прощалась со старымъ учителемъ съ улыбкой благодарности, свѣтившейся въ ея маленькихъ сѣрыхъ глазкахъ.

* * *

Когда наступилъ сентябрь, старуха Лоро уже могла довольно бѣгло читать по печатному; письма она все еще должна была носить къ учителю, который и самъ, впрочемъ, заявлялъ, что его ученикъ «утратилъ свой прежній прекрасный почеркъ». Но она уже больше не сбивалась въ складахъ: молитвенникъ былъ уже для нея пустой игрушкой, и она могла справляться даже съ мелкой газетной печатью. Викторинъ успокоительно заявлялъ ей, что «Закулисныя тайны», навѣрное, печатаются не такимъ мелкимъ шрифтомъ.

Это было заглавіе послѣдней книги Жана де-Бро. Онъ ничего не писалъ о ней въ своихъ письмахъ, по обыкновенію обходя молчаніемъ свою литературную жизнь, вѣроятно, потому, что продолжалъ считать свою мать такой же невѣжественной, какъ и раньше. Но за нѣсколько дней до его пріѣзда она набралась храбрости, одѣла свое лучшее платье и отправилась въ городъ въ телѣжкѣ Матіаса, подъ предлогомъ, что ей нужно сдѣлать кое-какія покупки. Пріѣхавъ въ городъ, она тотчасъ же справилась, какіе здѣсь есть книжные магазины, и отправилась туда, смущенная, какъ никогда въ жизни, спросить послѣднюю книгу Жана де-Бро. Боже! какъ она покраснѣла подъ насмѣшливымъ и удивленнымъ взглядомъ приказчика! Онъ тоже, очевидно, принялъ ее за неграмотную и подумалъ, что она, очевидно, сошла съ ума, явившись сюда покупать книгу, какъ люди, получившіе образование. «Вы знаете этого автора?» спросилъ онъ съ насмѣшливой улыбкой. Она чуть было не сказала: «Да вѣдь это мой сынъ! Его настоящее имя—Лоро, а вовсе не Жанъ де-Бро», но что-то удержало ее. Она подумала, что онъ, можетъ быть, не повѣритъ ей, сочтетъ ее слишкомъ скромной для такой славы. Такъ какъ она ничего не отвѣчала, то онъ продолжалъ:

*

— Хорошо-съ, мы вамъ ее доставимъ... Вы, вѣроятно, желаете имѣть «Закулисныя тайны?»—Она наугадъ утвердительно кивнула головой. — Только вы не получите ее раньше, чѣмъ черезъ недѣлю, потому что мнѣ надо ее выписать изъ Парижа, и намъ посылаютъ наши заказы только по вторникамъ. Я вамъ ее тотчасъ же перешлю.

Во вторникъ черезъ недѣлю! Значитъ, она получитъ ее только въ среду, а Жанъ долженъ былъ пріѣхать, въ воскресенье вечеромъ, къ ея именинамъ! Ей не удастся сдѣлать ему сюрпризъ. Съ сжавшимся сердцемъ вышла она изъ магазина, наскоро пробормотавъ благодарность. Она побродила нѣкоторое время по городу, чтобы оправиться отъ разочарованья, и затѣмъ вернулась къ Матіасу.

Ну, что-жъ, все-таки онъ будетъ удивленъ и обрадованъ, ея мальчишка. Она прочтетъ ему что-нибудь другое, газету, положимъ, и покажетъ ему, какая она стала учевая! Она скажетъ ему, зачѣмъ выучилась читать, а въ среду, когда придетъ его книга, какая будетъ радость вмѣстѣ прочесть ее! Ей хотѣлось бы, положимъ, заранее немного просмотрѣть ее, чтобы быть спокойнѣе относительно ошибокъ... Но что жъ дѣлать? Викторинъ увѣрилъ ее, что все сойдетъ прекрасно.

Жанъ пріѣхалъ, какъ и обѣщалъ, въ воскресенье, вечеромъ.

— Здравствуй, мамочка, здравствуй! Какая ты у меня свѣжая и румяная! Ты гораздо свѣжѣе, чѣмъ мои розы, посмотри... Жизнь въ Лагэй, очевидно, сохраняетъ молодость... Надо и мнѣ здѣсь поселиться... Поздравляю, мама, милая, поцѣлуемся еще разъ...

Она не могла даже больше цѣловать его: она задыхалась отъ радости снова увидѣть своего мальчика, и прижимала къ себѣ одновременно и его голову, и большой букетъ розъ, который онъ ей привезъ. Она не находила словъ, и онъ все время говорилъ одинъ, радуясь, что опять очутился въ той «залѣ», гдѣ прошло его дѣтство, такое далекое, такое чистое въ его воспоминаньяхъ. Маленькая Жанна смотрѣла на нихъ, стоя около и вытянувъ руки по швамъ, ожидая своей очереди; она была проникнута величайшимъ уваженіемъ къ этому господину, о которомъ «тетушка» безпрестанно рассказывала ей съ такимъ восторгомъ. Наконецъ, Жанъ вырвался изъ материнскихъ объятій и поцѣловалъ свою племянницу. Мадамъ Лоро опустила въ кресло, изнемогая отъ счастья. Жанъ сѣлъ рядомъ съ ней. Его пріѣзды были единственнымъ лучомъ свѣта въ маленькомъ домикѣ, опустѣвшемъ послѣ смерти его отца. Онъ доставлялъ матери радость, которой она жила потомъ весь годъ, и когда его не было, то она думала о той веселой жизни, которую онъ ведетъ въ Парижѣ, и это было достаточно для ея утѣшенія.

Жанъ въ самомъ дѣлѣ имѣлъ доброе сердце и былъ хорошимъ сыномъ. Онъ рано пріѣхалъ въ Парижъ и съ двадцати лѣтъ, не имѣя

никакой опоры, кромѣ бойкаго пера, окунулся въ литературный міръ, со всѣми его искушеніями, интригами, съ тяжелой борьбой изъ-за куска хлѣба. Онъ необыкновенно быстро пробилъ себѣ тамъ дорогу. Одаренный практическимъ умомъ, умѣнъемъ извернуться и жаждой успѣха, онъ почти сразу попалъ на вѣрный путь: онъ специализировался на гривуазномъ жанрѣ, избѣгая грубостей, соединяя развращенность съ изяществомъ, уснащая скабрёзности остроуміемъ и сочиняя для великосвѣтскихъ салоновъ двусмысленныя исторіи полу-свѣта. Немного скандала, немного ловкости, много удачи, которая страннымъ образомъ сопутствуетъ нѣкоторымъ людямъ,—въ нѣсколько лѣтъ создали ему положеніе. И среди богатства и блеска новой жизни онъ не забывалъ своей деревни, школы, учителя, и въ особенности своей старухи-матери. По отношенію къ ней онъ оставался все тѣмъ же ласковымъ и любящимъ «мальчикомъ», какъ будто онъ никогда не уѣзжалъ изъ Лагэй-Меллье. Когда онъ пріѣзжалъ туда, въ немъ не оставалось и слѣда пресыщеннаго парижанина и гривуазнаго журналиста: онъ дѣлался веселымъ ребенкомъ, благоговѣющимъ передъ сѣдыми волосами своей матери. Каждые два-три мѣсяца онъ посылалъ ей по нѣсколько сотъ франковъ, что давало ей возможность жить въ деревнѣ въ полномъ довольствѣ. Каждый мѣсяць онъ писалъ ей длинныя, нѣжныя письма, въ которыхъ говорилось только о ней и о деревнѣ, и каждый годъ къ ея именинамъ пріѣзжалъ къ ней изъ Парижа и привозилъ большой букетъ.

* * *

На другой день, когда они кончили завтракать, м-мъ Лоро попросила Жанна принести изъ другой комнаты газету.

— Какъ, ты получаешь газету?—спросилъ онъ.—Зачѣмъ же это?

— Нѣтъ, я не получаю газету. Миѣ ее одолжилъ м-сье Гембло.

— Зачѣмъ же тебѣ газета, когда ты не умѣешь читать?—сказалъ онъ, смѣясь.

— А вотъ увидишь,—отвѣчала она. Ея маленькіе сѣрые глазки съ лукавой улыбкой смотрѣли поверхъ очковъ, которые она нацѣпила себѣ на носъ. Жанна, которая знала все, хохотала отъ души.

— Не можетъ быть,—проговорилъ онъ.—Вѣдь не выучилась же ты читать, мама? Ты шутишь, конечно,

— Не можетъ быть? А вотъ, спроси Жанну или старика Викторина, который промучился со мной весь годъ... Видишь ли, миѣ было слишкомъ грустно, что я не могла читать то, что ты пишешь. И вотъ, я принялась учиться. Я хотѣла сдѣлать тебѣ сюрпризъ и почитать тебѣ изъ твоей послѣдней книжки, и я даже нарочно ѣздила въ городъ въ книжный магазинъ... Боже мой, не могу вспомнить, какъ она называлась, твоя послѣдняя книга... А я была увѣрена, что запомнила заглавіе.

Онъ вдругъ поблѣднѣлъ, охваченный сильнымъ волненіемъ. Онъ пробормоталъ:

— Ты сдѣлала это, мама, чтобы... чтобы меня порадовать... Значить, книжка у тебя?

— То-то и дѣло, что у меня ея нѣтъ. Книгопродавецъ сказалъ, что онъ пришлетъ мнѣ ее только въ среду, потому что ее надо выписать изъ Парижа. Поэтому тебѣ придется слушать газету, мой котикъ. Поди, принеси мнѣ ее, она тамъ на буфетѣ, рядомъ съ хлѣбомъ.

Онъ принесъ ей мѣстную газетку.

— Ну, слушай,—сказала она, разворачивая ее своими немного дрожавшими руками и оправляя очки.

Она начала храбро, съ легкимъ волненіемъ въ голосѣ. Но Жанъ, дѣлая видъ, что слушаетъ, въ дѣйствительности ничего не слышалъ, погруженный въ свои думы, смотря на наивное, святое лицо матери и съ ужасомъ думая о томъ, что она будетъ читать его книги, можетъ быть, даже уже прочла кое-что. Но нѣтъ, она еще ничего не прочла, это видно. «Закулисныя тайны» были первой книгой, которую она заказала. Значить, еще не было поздно.

Пока она читала, слишкомъ поглощенная чтеніемъ, чтобы имѣть время смотрѣть, какое впечатлѣніе это производитъ на ея сына, онъ продолжалъ отдаваться своимъ мыслямъ. Ему никогда и въ голову не приходило, чтобы его произведенія, вышедшія изъ подъ пера развращеннаго парижанина, испорченнаго средой, въ которой онъ жилъ, когда-нибудь были прочтены этой старой крестьянкой, оставшейся чистой и доброй среди своихъ полей. И вотъ, теперь это случилось. Боже мой! его книги въ этой избѣ, читаемыя этими маленькими сѣрыми глазками, утратившими свое невѣдѣніе только для того, чтобы читать его циничныя повѣсти! Сердце его сжималось. Онъ всегда гордился тѣмъ, что остался честнымъ человѣкомъ въ той нездоровой средѣ, куда его забросила жизнь, а теперь эта честность казалась ему такой сомнительной! Онъ не хотѣлъ дѣлать ничего дурного, пиша свои пошлости: онъ забавлялъ свою публику, зарабатывалъ хорошія деньги. Изъ-за чего же его могла мучить совѣсть? И вдругъ, въ эту минуту вся его литературная дѣятельность представилась ему преступной и нечистой; и ему хотѣлось уничтожить, сжечь всѣ свои книги, только бы онѣ не попались на глаза его старухѣ-матери.

Тяжелѣе всего была ея наивная гордость, та трогательная радость, которую ей доставляла «слава» ея сына. Если бы она знала эту славу, если бы могла понять, на чемъ она основывается! Эта мысль пронзала теперь сердце Жана стыдомъ. Ему хотѣлось крикнуть, что онъ недостойнъ ея материнской гордости, что ей слѣдовало бы краснѣть за него, а не гордиться такимъ сыномъ. Но онъ не могъ этого сдѣлать: его удерживала любовь къ матери. Для наказанія его было достаточно одной мысли, которая отнынѣ, какъ тѣнь, будетъ всегда омрачать его

карьеру, мысли о томъ, что его старуха-мать, которая до 60 лѣтъ не выучилась читать, чтобы разбирать свой молитвенникъ, принялась за азбуку, чтобы читать постыдныя, циничныя повѣсти Жана де-Бро.

* * *

Она кончила и, вытирая платкомъ лобъ и губы, повернулась къ Жану, чтобы насладиться его удивленіемъ. Онъ овладѣлъ собой и воскликнулъ съ улыбкой:

— Bravo, мамочка, bravo! Да ты читаешь лучше самого учителя! Я бы никогда не повѣрилъ этому, Жаннета, если бы даже миллионъ людей мнѣ объ этомъ рассказывали!

Онъ цѣловалъ ея руки и просилъ ее почитать еще немного, съ дѣланнымъ оживленіемъ, желая скрыть свое недавнее волненіе. Она сіяла отъ счастья и смѣялась, какъ ребенокъ.

— Я знала, что это тебѣ доставитъ удовольствіе,—говорила она.—Но все-таки жаль, что я не могла почитать тебѣ изъ какой-нибудь твоей книги. Какъ жаль, что я не знала — надо было раньше съѣздить за ней. Ну, чтò отложено, то не потеряно, какъ говорится. Ты вѣдь еще будешь здѣсь въ среду, котикъ?

— Да, да, мама. Впрочемъ, не знаю, я нѣ увѣренъ. Въ четвергъ мнѣ нужно быть въ Парижѣ, на одномъ собраніи. Но слушай, мама, это ничего не значитъ, потому что, видишь ли, я не знаю, могъ ли бы книгопродавецъ достать тебѣ эту книгу: я былъ ею недоволенъ и сказалъ издателю, чтобы онъ издалъ небольшое количество экземпляровъ, которые, вѣроятно, всѣ уже разошлись. Хочешь, я по дорогѣ заѣду къ книгопродавцу и скажу ему, чтобы онъ досталъ тебѣ мою будущую книгу, которую я теперь буду писать, и которая будетъ гораздо, гораздо лучше остальныхъ? Такъ мы и рѣшимъ. Будущей весною ты получишь мою новую книгу.

Пока онъ говорилъ, держа въ своихъ ея обѣ руки, онъ видѣлъ горькое разочарованіе, отражающееся на ея лицѣ, и слезы, навертывающіяся ей на глаза. Значитъ, эта долгожданная радость откладывается еще до весны! До весны, какъ долго! Боже мой! Но, разъ Жанъ этого хочетъ, конечно, такъ и будетъ. Все, чтò онъ говоритъ, такъ и должно быть; она слушалась его безпрекословно, потому что любила его. А до тѣхъ поръ она еще поучится и ей будетъ легче читать. Но все-таки, грустно было, что эта радость ускользаетъ отъ нея.

Жанъ говорилъ, ласкаясь къ ней:

— Ты понимаешь, мама, я хочу, чтобы ты начала съ моей лучшей книги. А, ты увидишь, сколько о ней будутъ говорить! Другія мои книги... въ нихъ все говорится о Парижѣ, это бы тебя не заинтересовало. Но новая книга будетъ хорошая, я тебѣ обѣщаю, и ты будешь читать ее вслухъ Жаннетѣ и старому Гембло.

Мало-по-малу, онъ самъ началъ увлекаться, рассказывая о новой книгѣ, которую онъ напишетъ зимой. Да, это будутъ славные рассказы, которые можно будетъ читать зимою около горящей печки. Онъ пріѣдетъ писать ее сюда въ деревню, среди полей, навѣвающихъ ему воспоминанія дѣтства... Въ его рассказахъ будутъ слышаться крики дѣтей, выходящихъ изъ школы, скрипъ телѣгъ, возвращающихся въ деревню, когда на небѣ зажигаются первыя звѣзды, пѣсни сверчка въ большомъ очагѣ, торжественные звуки Angelus надъ полями, всѣ голоса земли, очага, спокойной, здоровой, рабочей жизни. И, навѣрное, въ этой книгѣ на первомъ планѣ будетъ чистый образъ старой крестьянки.

* * *

Онъ сдержалъ слово. Всю зиму и весну Жанъ Лоро, исчезнувшій съ парижскаго горизонта, провелъ въ Лагэй-Меллье, съ матерью и Жаннетой. И осенью, на праздникъ св. Жюстины, онъ привезъ матери красивую книжку въ желтой обложкѣ, которая одна стоила ему больше труда и доставила больше радости, чѣмъ всѣ остальные. Они вмѣстѣ открыли ее въ той самой комнатѣ, гдѣ она была задумана и почти цѣликомъ написана. Старуха надѣла очки на свои маленькіе сѣрые глаза и, поблѣднѣвъ отъ радости, прочла на первой страницѣ:

«Посвящается моей дорогой матери».

Л. Давыдова.



КАРАНДАШОМЪ СЪ НАТУРЫ.

(Изъ путешествія вокругъ свѣта чрезъ Корею и Манчурію).

(Продолженіе *).

15-го сентября.

Отъ Коубе до города Кегенфу (это по-китайски, а по-корейски—Когинъ или Хын-ыпъ) 30 ли, что должно соответствовать нашимъ 15 верстамъ. Но и шагомѣромъ, и по часамъ мы опредѣлили только 10 верстъ.

Дорога въ высшей степени живописна. Все время она идетъ открытой долиной Тумангана. Усѣянная песчаными отмелями, сверкаетъ широкая, къ судоходству негодная, до 200 сажень, рѣка. Справа и слѣва ея горы то надвигаются, то далеко расходятся. Лѣвый, китайскій, берегъ въ горахъ, амфитеатромъ расположенныхъ. Послѣдніе ряды горъ тамъ вверху, въ самомъ небѣ, сливаются уже съ облаками. Безмятежный миръ и покой въ нихъ. Осень наложила на нихъ свою печать. Онѣ забурѣли и отливаютъ желтымъ, бурымъ, темно-краснымъ цвѣтами. Такъ переливаютъ на солнцѣ дорогіе персидскіе ковры. Яркое солнце играетъ въ коврахъ горъ, въ рѣкѣ.

На спокойной глади рѣки рыболовы, то въ лодкахъ, маленькихъ, вырубленныхъ изъ одного дерева, то въ креслахъ. Этихъ креселъ—родъ плетенаго сидѣнья—множество. Они устраиваются одинъ отъ другого саженьхъ въ двадцати. На каждомъ изъ нихъ сидитъ по корейцу и въ извѣстные моменты, когда рыба попадаетъ въ сѣть, корейцы особыми приспособленіями подвигиваютъ сѣть кверху и такимъ образомъ заграждаютъ рыбѣ выходъ.

Рыбы, говорятъ, много и преобладающая все та же кита. Промыселъ долженъ быть выгодный, но рыбаки живутъ бѣдно, перебиваясь изо дня въ день. Можетъ быть, причиной тому корейская водка тходжо или сцури (русскіе выговариваютъ суля), можетъ быть, причина тому—дуччи—игра въ бобы, но фактъ несомнѣнный, что прибыльный промыселъ даетъ работнику мало выгоды.

*) См. «Міръ Божій», № 4, апрѣль.

Встрѣтили опять прокаженного. Проводникъ говоритъ, что ихъ здѣсь много и живутъ они на свободѣ, каждый въ своей семьѣ.

Проѣхали деревни: Тяпшхай—4 фанзы, Камичи—20 фанзъ, два раза поднялись на прибрежные утесы и, обогнувъ послѣднюю гору, увидѣли, наконецъ, городъ Когнъ (Кегенфу).

Зажатый въ углу долины, слегка на косогорѣ, окруженный каменной стѣной, высотой сажени въ полторы и въ аршинъ шириною, городъ Когнъ состоитъ изъ 140 фанзъ и всѣ онѣ вымазаны желтой глиной, всѣ крыты мелкимъ камышемъ и веревочной сѣткой, у каждой фанзы своя отдѣльная труба торчитъ. И только въ срединѣ города выдѣляется длинное, родъ казармы, строеніе начальника округа и пограничнаго комиссара—камни. Въ городскихъ стѣнахъ четверо воротъ, какъ во всѣхъ городахъ Кореи: на сѣверъ, югъ, востокъ и западъ.

Камни—главное административное лицо округа съ большими правами. Онъ утверждаетъ старостъ въ деревнѣ (пху-эни) и представителя дворянъ, живущаго въ городѣ—цвашу. И та, и другая должности считаются очень почетными. Владѣльцамъ ихъ принадлежатъ на пиру самыя почетныя части свиньи—копыта и ребра. За эти мѣста богатый кореецъ много платитъ утверждающему его камни.

Мы остановились въ ближайшей фанзѣ, гдѣ уже стоитъ высланный нами впередъ транспортъ. Оказывается, что мы совсѣмъ налегкѣ. Всѣ наши консервы—супы, щи, мясо въ разныхъ видахъ—все это ушло въ Херіонъ, а капуста, хлѣбъ, картофель, молоко и взятые съ собой консервы и масло уже вышли. И такъ какъ ничего этого въ Корей нѣтъ, то мы сразу очутились на три дня, до Херіона, въ отношеніи питанія въ условіяхъ страны.

Къ нашимъ услугамъ: просяная каша, кукуруза, курица и яйца. И собственно говоря, этого вполне достаточно, если къ этому есть чай и сахаръ. Все остальное—излишняя и крайне дорогая роскошь, осложняющая, замедляющая и удорожающая экспедицію.

Такъ, мой отрядъ состоитъ изъ меня и восьми человѣкъ; но сверхъ восьми лошадей, идетъ еще пять своихъ вьючныхъ, двѣ вьючныхъ наемныхъ, три арбы съ быками,—все это багажъ и провіантъ. Сверхъ этого отправлены для всѣхъ партій провіанты еще въ два пункта Кореи.

Откровенно говоря, все это лишнее. Если путешествовать, то надо и вполне можно довѣряться средствамъ страны и способу ея питанія. Кому не нравятся щенята, пусть не ѣстъ, но можно ѣсть куръ, свиней, можно наконецъ охотиться и имѣть къ столу и дичь, и рыбу. Одни эти ужасные сборы съ багажемъ, благодаря которымъ раньше восьми часовъ никогда не выйдешь и не сдѣлаешь въ день больше тридцати верстъ.

Если бы не вершина Ченьбошана—Пектусинъ—на 200 верствъ совершенно необитаемая, изслѣдовать которую мнѣ надо, я бы уже бросилъ все. Но какъ только покончу съ Ченьбошаномъ и его таинствен-

нымъ драконовымъ озеромъ, я распускаю весь обозъ и не беру больше никакихъ припасовъ.

Только что мы расположились на отдыхъ, явился полицейскій отъ камни съ просьбой показать наши паспорта. При этомъ полицейскій, одѣтый, какъ и всѣ остальные корейцы, настаивалъ, чтобы я самъ шелъ къ камни. Идти къ камни—значить нести ему подарки. Я отъ всякихъ подарковъ рѣшительно отказался, не взявъ ни одного изъ экспедиціонныхъ и только на свой счетъ купилъ нѣсколько бездѣлушекъ, чтобы дарить тѣмъ, кто лично мнѣ окажетъ услугу. Начальства я рѣшилъ не унижать и подарковъ имъ никакихъ не дѣлать.

Кончили тѣмъ, что идетъ Н. Е. и переводчикъ, а я сажусь работать. Я посылаю свои карточки по-корейски и китайски, извиняясь, что обозъ увезъ мое визитное платье.

Черезъ полчаса Н. Е. возвратился.

Камни, маленькаго роста человекъ, принявъ его въ фаузѣ, такой же, какъ и наша, посадилъ на стулъ, сожалѣлъ, что мы не остаемся ночевать, извинялся за помѣщеніе, сказалъ, что онъ былъ въ Лондонѣ и прислалъ мнѣ свою карточку: «Кеггскій камни Пакъ-ы-Пень».

Это знаменитый родъ, который 500 лѣтъ тому назадъ боролся съ родомъ Ли за престолъ. Оба эти рода изъ Кеггскаго округа. Ли изъ деревни Сорбой, Пакъ изъ деревни Намбой. Эти деревни другъ отъ друга въ трехъ верстахъ и въ 17 верстахъ на западъ отъ Когна. Въ каждой изъ нихъ памятники богатырямъ Ли и Паку, такіе же, какой описанъ мной въ деревнѣ Цозани, въ бухтѣ Гашкевича.

Вотъ легенда объ этой борьбѣ двухъ родовъ изъ за престола.

500 лѣтъ тому назадъ въ провинціи Ханюндю, округа Когнъ, жили двое, Ли и Пакъ. Ли въ деревнѣ Сорбой, а Пакъ въ Намбой. И Ли и Пакъ были богатыри.

Богатырями называются рожденные отъ женщины и луча священной горы (мвнъ-санъ-сѳргъ). Богатырь рождается ровно черезъ 12 мѣсяцевъ, совершенно безслѣдно и тотчасъ же улетаетъ съ помощью двухъ имѣющихся у него крыльевъ на священную гору. Тамъ и живетъ онъ у покровителя горы, бѣлаго какъ серебро лицомъ и волосами старика, упражняясь подъ его покровительствомъ въ военномъ искусствѣ. Въ дни младенчества онъ кормится грудью матери, летая для этого къ ней съ священной горы, но онъ не видимъ и сама мать не знаетъ, когда онъ выпиваетъ ея молока.

Вообще родители видятъ своихъ богатырей-дѣтей только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ: въ минуты, напр., исключительной грозящей имъ опасности, отъ которой и освобождаютъ ихъ дѣти ихъ богатыри. Но и то при условіи соблюденія строжайшей тайны со стороны родителей о томъ, что у нихъ есть сынъ-богатырь. Проболавшимися объ этомъ родителямъ сынъ-богатырь никогда больше не явится.

Бываютъ времена, впрочемъ, когда и для всѣхъ дѣлаются видимыми

богатыри. Это времена войнъ, государственныхъ смуть, избранія на престолъ новой династіи.

Одна глупая мать, изъ города Танъ-Чёнъ, зная уже, что у нея родится богатырь, рѣшила удержать его возлѣ себя и въ самый моментъ его рожденія,—единственный, когда его видитъ мать,—обрѣзала у сына крылья. Сынъ дѣйствительно остался при матери, выросъ, былъ такой силы, что поднималъ быка съ ношей, но и глупъ былъ, какъ быкъ. Онъ и сейчасъ живетъ въ городѣ Танъ-Чёнъ и, когда его быки заболѣваютъ, самъ носить изъ лѣсу дерева, и глупая мать съ нимъ живетъ, давая ему долю быка, тогда какъ небо готовило ему свѣтлую долю богатыря, за которымъ въ старости спустится драконъ и живымъ унесетъ его на небо къ великому хозяину небеснаго сада Оканшанте, у котораго и живутъ вѣчно всѣ богатыри.

Вотъ такими богатырями и были Ли и Пакъ, когда корейскій народъ выбиралъ себѣ, 500 лѣтъ назадъ, новую нынѣ царствующую династію. И вотъ какъ Ли былъ избранъ.

Когда онъ спалъ, явился къ нему во снѣ его покойный отецъ и сказалъ:

— Завтра ночью не спи. Завтра ночью на озерѣ Цокъ-Чи-Нупъ будутъ драться два дракона: синій и желтый, желтый—я, синій—отецъ Пака. И когда синій станетъ побѣждать меня, ты пусти въ него свою стрѣлу.

Такъ и сдѣлалъ богатырь Ли.

Тогда раненый синій драконъ поднялся на воздухъ и полетѣлъ было, но силъ не было въ немъ больше и онъ упалъ въ р. Туманганъ, а желтый бросился за нимъ по землѣ и такой слѣдъ оставилъ, что съ тѣхъ поръ озеро Цокъ-Чи-Нупъ соединилось съ Туманганъ и называется та рѣчка Цокъ-Чи.

А на другую ночь къ Паку явился отецъ его и сказалъ:

— Сынъ Ли не убилъ меня, отецъ его не догналъ меня и чрезъ 500 лѣтъ твой родъ смѣнитъ на престолѣ родъ Ли. Но берегись Ли и потомство свое спрячь отъ него.

Чтобъ обмануть Ли, Пакъ съ своими воинами пошелъ въ монахи (бонзы). Они поселились между Кёгномъ и Херіономъ въ непроходимыхъ горахъ и, боясь преслѣдованій и высѣживаній, обращались крайне грубо съ приходившими къ нимъ богомольцами.

Вступивъ на престолъ, Ли, боясь Пака, послалъ узнать, какъ онъ живетъ. Но когда Ли узналъ, какъ Пакъ обходится съ своими прихожанами, онъ разсмѣялся и сказалъ:

— Ну, когда такъ, онъ не страшенъ мнѣ, а чтобъ не былъ страшенъ и впередъ, я выдамъ его монастырю привилегію—вѣчное право ругать и бить всѣхъ и крестьянъ, и дворянъ. Тогда у него много будетъ друзей.

Монастырь и до сихъ поръ существуетъ, продолжая пользоваться

своимъ правомъ и соотвѣтственной репутаціей, а весь прямой родъ Шака.—послѣ того, какъ родоначальникъ его былъ унесенъ дракономъ въ небо,—исчезъ. Это тѣмъ болѣе интересуется теперь корейцевъ, что съ того времени прошло уже 504 года и, слѣдовательно, Пакъ съ минуты на минуту долженъ появиться.

Правда, ходять темные слухи, что теперь Пакъ по прямой линіи живетъ на одномъ изъ острововъ Японскаго моря. Но пока онъ еще не видимъ. Съ моря слышны иногда съ того острова пѣсни, топотъ, шумъ. Но что тамъ,—никто навѣрно не знаетъ, потому что никто еще изъ пристававшихъ къ тому острову назадъ не возвращался. Предполагаютъ, что именно изъ нихъ и комплектуетъ себѣ Пакъ то войско, которое понадобится ему, когда онъ явится законнымъ претендентомъ на корейскій престолъ.

Родъ нашего переводчика П. Н. тоже изъ Кюгнскаго округа. И онъ разсказалъ намъ исторію своего рода. Собственно родъ его изъ стараго города Коубе, гдѣ мы сегодня ночевали. Дѣдъ его былъ очень богатый человекъ. Но, однажды, дѣдъ его по торговымъ дѣламъ переплылъ Туманганъ, то-есть, перешелъ границу. Объ этомъ узнали и онъ былъ приговоренъ къ смертной казни. Тогда онъ бѣжалъ. Сына его высѣкли и потребовали, чтобы онъ разыскалъ отца, угрожая и ему въ противномъ случаѣ смертной казнью. Тогда и сынъ съ семьей однажды ночью вплавъ и въ бродѣ, всѣ голые, перешли границу. Имущество ихъ конфисковали. Въ ихъ домѣ жилъ камень, но съ упраздненіемъ его, развалился и домъ.

Остальной родъ П. Н. Кима продолжаетъ жить въ Корей, главнымъ образомъ, въ Кюгнскомъ округѣ, и такъ какъ родовыя связи очень сильны въ Корей, то и встрѣчаютъ его здѣсь, какъ близкаго родственника.

Родовыя отношенія и родовая месть (Еманъ-Аманъ) во всей силѣ въ Корей. Корейская пословица говоритъ, что жизнь одного корейца стоитъ иногда тысячи человекъ. Эта месть идетъ изъ рода въ родъ.

П. Н., возвратившись отъ камня, сообщилъ, между прочимъ, слѣдующее: онъ, П. Н., попросилъ у камня толковаго проводника, который умѣлъ бы все разсказать. Камни обѣщали и назначили такого, которые хорошо понимаетъ по-русски. Затѣмъ, проводнику строжайше запрещено было говорить что-нибудь дѣйствительное; онъ долженъ былъ все намъ врать; не сообщать ничего изъ прошлаго, не передавать легендъ и проч

Придумалъ, наконецъ, камни такую вещь. Когда спросятъ проводника, что новаго, онъ долженъ сказать:

— Ничего новаго нѣтъ, только въ одной деревнѣ собака родила кошку.

Но хуже всего было то, что проводнику были даны инструкціи и дальнѣйшее наше путешествіе обставить такими же проводниками. Родные П. Н. и сообщили ему обо всемъ этомъ.

П. Н. сердится.

— Ну, я ему и отомщу же!—говорить онъ.

Мы хотѣли осмотрѣть тюрьму, побывать у шамана, но все это подъ вѣжливыми предложениями было отклонено находившимся здѣсь полицейскимъ. Покормивъ еще два часа лошадей, мы отправились дальше по направленію къ Херіону. Новый проводникъ нашъ одѣтъ по-европейски: въ клѣтчато́мъ желтомъ пиджакѣ, металлическія пуговицы, шляпа котелкомъ, но ноги обуты по-корейски, т. е. въ бѣлые, мягкіе, на легкой ватѣ чулки и туфли, которыя кореецъ снимаетъ при входѣ въ комнату. Это высокій худой субъектъ, который весело щурится на насъ и о чемъ-то болтаетъ съ товарищемъ.

— Вы говорите по-русски?—спросилъ я его.

Онъ отрицательно замоталъ головой.

Сѣли на лошадей и поѣхали какой-то невозможной грязной тропой въ гору на югъ отъ города, вдоль городской стѣны. Въ глубокомъ оврагѣ бѣжитъ ключъ. Слабой силой его корейцы пользуются очень остроумно, устраивая толчею для обдирки проса. По лотку бѣжитъ вода въ деревянную въ три четверти аршина ложку. Когда ложка наполняется водой, она, перевѣшивая свой длинный конецъ, опускается и выливаетъ воду. Затѣмъ, ложка опять поднимается, а другой ея конецъ опускается. Къ нему придрѣзанъ идущій къ землѣ стержень. Когда стержень опускается, онъ ударяетъ сосудъ, наполненный просомъ. Отъ cadaго удара часть шелухи отдѣляется и уносится въ сторону. Такихъ толчей на небольшомъ протяженіи до десяти. Онѣ работаютъ механически—никого возлѣ нихъ нѣтъ, и хотя незначительна сила ручья, но она такимъ образомъ вся использована. Чтобы дождь не мочилъ зерно, надъ толчеей устроены навѣсикъ.

У восточныхъ воротъ устроена часовня, гдѣ два раза въ годъ камни производятъ оффиціальное богослуженіе. Онъ молится небу: передъ нимъ ставятся три чашки рису, а вмѣсто ладону, служить ароматное дерево.

Свѣдѣнія эти намъ сообщаетъ самъ переводчикъ, что до проводника, онъ молчить.

Проѣхали верстъ пять и П. Н. приводитъ въ исполненіе свою месть.

— Что у васъ новаго?—спрашиваетъ онъ у проводника.

— Новаго у насъ только и есть, что собака родила кошку.

— А по-русски вы не умѣете говорить?

— Не умѣю.

Н. Е. смѣется и говоритъ:

— Я же слышалъ, какъ вы говорили.

Проводникъ смущенъ и молчить.

— Ну,—говоритъ П. Н.,—поѣзжайте назадъ и передайте камни, что у насъ въ Россіи еще больше чудо есть: тамъ блоха тигра родила. Вотъ вамъ сто кешъ (20 коп.)—мы одни дальше поѣдемъ.

Проводникъ совершенно растерялся, онъ поѣхалъ было назадъ, но потомъ опять поѣхалъ за нами. Мы остановились и предложили ему уѣзжать.

— Я боюсь ѣхать одинъ назадъ.

Такъ какъ вблизи была деревня Даури, то мы ему и предложили ѣхать туда и тамъ ночевать, давъ ему еще сто кешъ. Онъ такъ и сбѣжалъ, а мы поѣхали дальше.

Дорога поднимается на утесъ и мы въ послѣднй разъ любуемся долиной Тумангана, затѣмъ дорога сворачиваетъ въ долину рѣчки Камуры, притокъ Тумангана, и на два дня съ Туманганомъ мы расстаемся, обходя прямой дорогой луку, которую онъ здѣсь дѣлаетъ.

Мы присѣли на утесъ и смотримъ на панораму горъ. Солнце близко къ горизонту, ярче даль дорогихъ, золотой пылью заката осыпанныхъ, ковровъ и точно замеръ въ воздухѣ послѣднй вздохъ яснаго безмятежнаго дня. Тихо кругомъ, природа, закатъ и даль горъ, какъ нѣжная музыка навѣваютъ покой души. Какъ будто уже былъ когда-то въ этихъ горныхъ тѣснинахъ, видѣлъ эту даль и краски ея и снова переживаешь прелесть былыхъ ощущений.

Подсѣли къ намъ корейцы изъ деревни Дауры. Мы ихъ разспрашиваемъ. Они говорятъ намъ, что тамъ вонъ, къ югу виденъ уже Херіонскій округъ; вонъ, вонъ за той горкой. А вонъ, за той и озеро Ханъ-Шонъ-Дзе-Дути, гдѣ жилъ родоначальникъ манджурской династіи въ Китаѣ.

— Но вѣдь гробницы китайскихъ императоровъ въ Муценѣ.

— Гробницы тамъ, а родъ отсюда и китайцы живутъ за счетъ корейскаго счастья. Вотъ какъ было дѣло.

И пожилой кореецъ въ бѣлой кофточкѣ и черной волосяной съ большими полями и узкимъ донышкомъ шляпѣ, сидя на корточкахъ и раскуривая свою маленькую на длинномъ чубукѣ трубочку, рассказываетъ намъ новую легенду.

Нѣсколько корейцевъ, также присѣвъ, внимательно слушаютъ. Иногда поправляютъ, иногда самъ рассказчикъ совѣтуется съ ними. Просто рассказъ, трогательно наивна вѣра въ него.

Также вѣрятъ, что это было, какъ то, что сидимъ мы теперь на высокому утесѣ, что у ногъ нашихъ какъ расплавленный въ огняхъ заката Туманганъ, а кругомъ горы, безпредѣльная даль ихъ и тамъ дальше, куда идти намъ, онѣ все выше и выше, пока молочными очертаніями не сливаются съ небомъ. А на горахъ ковры съ фіолетово-золотымъ отливомъ, а тамъ внизу въ долинахъ уже тѣнь и прячутся въ ней уютныя фанзы мирныхъ корейцевъ. И все тихо, неподвижно и только изрѣдка въ засыпающемъ воздухѣ раздастся вдругъ мычанье громаднаго корейскаго быка.

И кажется минутами наше пребываніе здѣсь какимъ-то сномъ, очарованіемъ, въ которомъ мы всѣ вдругъ перенеслись въ невѣдомую глубь промчавшихся тысячелѣтій.

Или вдругъ вошли подъ какіе-то своды и увидѣли иные горизонты, иную жизнь, память о которой даже исчезла. Взрослые, какъ дѣти, весь досугъ свой отдають сказкамъ, вѣрятъ въ нихъ, возбуждая зависть къ этой своей непоколебимой вѣрѣ, вѣрятъ въ богатырей, въ покойниковъ, возможность найти счастливую могилу, всю жизнь ищуть ее. Тигръ, барсъ, тысяченожка послѣдняя—все это тѣ же превращенные люди. Фетишизмъ на сценѣ: лучъ горы, лучъ Большой Медвѣдицы оплодотворяющій женщинъ. Самый видъ корейца—темно-пепельный, похожій на мумію, иконописный, говоритъ о промчавшихся надъ нимъ тысячелѣтіяхъ. Кажется, коснется къ этимъ ископаемымъ свѣжій воздухъ и разсыпятся они въ прахъ.

А пока не разсыпались еще они или пока всесокрушающая культура не переработала еще ихъ, я, пионеръ этой культуры, жадно слушаю и спѣшу записать все, чѣмъ такъ довѣрчиво дѣлятся со мной эти большія дѣти.

Вотъ эта легенда о боберѣ, родоначальникѣ манджурской династіи.

Въ провинці Ханъ-Шюнь, въ округѣ Херіонъ, въ деревнѣ О-Цеами жилъ нѣкто Цой-цвашу (цвашу—предводитель дворянства), у котораго была дочь Цой-си (си—дочь).

Случилось такъ, что Цой-си почувствовала себя будущей матерью, но какъ это случилось—не знала и сама дѣвушка. Отецъ ея былъ очень опечаленъ этимъ и, собравъ предсказателей, сталъ совѣтоваться съ ними.

Самый мудрый изъ нихъ сказалъ:

— То, что служить тебѣ теперь источникомъ печали—будетъ славой для твоихъ потомковъ. Пусть дочь твоя эту ночь только притворится спящей. Пусть ляжетъ она въ свою постель съ каткомъ шелковыхъ нитокъ. Пусть ниткой этой перевяжетъ она того, кто придетъ къ ней.

Ночью, когда Цой-си лежала на своей постели, притворившись спящей, она почувствовала вдругъ возлѣ себя что-то мохнатое. Поборовъ страхъ, она продолжала притворяться спящей, обвязала шелковинкой это что-то. А на утро шелковинка привела отца Цой-си въ одно неприступное мѣсто, гдѣ было священное озеро Ханъ-Шюнь-Дзе-Дутти. А когда отецъ потянулъ за шелковинку, слѣдъ которой терялся въ водѣ, то на поверхности озера на мгновеніе показался боберъ и снова затѣмъ скрылся въ водѣ.

Больше онъ никогда не показывался, а Цой-си черезъ десять мѣсяцевъ родила мальчика, цвѣтомъ кожи такого желтаго, что его прозвали Норачи (желтый, рыжій).

Мальчикъ выросъ, былъ нелюдимъ и кончилъ тѣмъ, что, женившись, поселился на берегу озера своего отца. Онъ все время проводилъ въ водѣ, потому что любилъ воду и плавалъ такъ же искусно, какъ и самъ отецъ его, боберъ.

Такъ жилъ Норачи, когда однажды родоначальникъ рода Лы-гай

(Ни-гай) изъ Кѳнгскаго округа, деревни Сорбой, увидѣлъ сонъ, что будто стоитъ онъ съ бѣлымъ старцемъ на берегу озера Ханъ-Шѳнь-Дзе-Дути и вылетаетъ изъ того озера Драконъ.

— Это,—говорить ему бѣлый старецъ,—умеръ боберъ и обращенный Оконшанте въ дракона, улетѣлъ въ небо. Теперь освободилась императорская могила. Кто опустится на дно этого озера, гдѣ стоитъ дворецъ бобра, и въ правой комнатѣ отъ входа положить прахъ своего предка *), тотъ будетъ китайскимъ императоромъ, а чьи кости будутъ лежать въ лѣвой отъ входа комнатѣ, потомокъ того будетъ императоромъ корейскимъ.

Проснувшись, Ни-гай вырылъ кости своего отца и съ нѣсколькими рабами **), Тѳйгамомъ (зарыватель костей), и костями отца поспѣшилъ, чтобы никто не опоредилъ его, отправиться къ озеру Ханъ-Шѳнь-Дзе-Дути. Но такъ какъ Ни-гай не умѣлъ плавать, то онъ пустился на хитрость.

Онъ вошелъ въ фанзу Норачи и сказалъ ему:

— Я открою тебѣ великую тайну.

И онъ рассказалъ ему свой сонъ, но солгалъ, сказавъ, что кто положить прахъ предка въ лѣвой комнатѣ отъ входа, родъ того будетъ на китайскомъ престолѣ, а кто будетъ лежать въ правой—родъ того будетъ на корейскомъ.

— И такъ какъ я плавать не умѣю, а ты умѣешь, то я, уступая тебѣ китайскій тронъ, прошу положить кости моего отца въ правую комнату.

Норачи согласился, но поступилъ наоборотъ и кости отца Ни-гая положилъ въ лѣвой комнатѣ.

На вопросъ же Ни-гая, зачѣмъ онъ такъ сдѣлалъ, Нарачи отвѣтилъ:

— Для тебя же это лучше: будетъ изъ рода твоего китайская династія.

Тогда Ни-гай признался Норачи въ намѣреніи обмануть его, просилъ у него прощенія и вѣчной дружбы. Норачи согласился, простилъ Ни-гая и съ честью отпустилъ его.

Прошло много времени, у Норачи родились и выросли три сына. Третій сынъ его Ханъ имѣлъ лицо, все обросшее волосами, а взглядъ его былъ такой страшный, что тѣ, на которыхъ онъ смотрѣлъ, тутъ же падали мертвыми. И потому онъ никогда не выходилъ изъ своей комнаты и всегда сидѣлъ тамъ съ закрытыми глазами.

Опять снится сонъ Ни-гаю. Говорить ему опять во снѣ бѣлый старикъ:

*) Счастливая могила, для отысканія которыхъ существуетъ цѣлая наука и классъ людей—искатели счастливыхъ могилъ,—все. Не надо ни ума, ни образованія, достаточно найти счастливую могилу, въ которую и спѣшить перенести козлецъ кости предка, и будешь и уменъ, и богатъ, и сановитъ.

***) Рабство и до сихъ поръ въ Корей. О немъ въ своемъ мѣстѣ.

— Около озера бобра есть колодезь, а въ колодцѣ лежитъ сабля. Кто будетъ владѣть этой саблей, тотъ и будетъ китайскимъ императоромъ: Ханъ будетъ китайскимъ императоромъ.

Ни-гай, проснувшись, отправился сейчасъ же съ своими рабами къ колодцу и досталъ оттуда саблю.

— А почему Ханъ, а не я буду китайскимъ императоромъ?—сказалъ Ни-гай.—Сабля вѣдь у меня и этой саблей я прежде всего и убью Хана.

Такъ порѣшивъ, Ни-гай отправился къ Норачи и, пользуясь дружбой, просилъ показать ему сына его Хана.

Норачи не могъ ему отказать въ этомъ.

Но когда Ни-гай увидѣлъ Хана и тотъ открылъ слегка, хотя и не на Ни-гай, свои глаза, на послѣдняго напалъ такой страхъ, что, положивъ саблю къ ногамъ Хана, онъ сказалъ:

— Ты императоръ Китая, тебѣ и принадлежитъ по праву эта сабля.

Ханъ ничего не отвѣтилъ Ни-гаю и только закрылъ опять глаза, а Норачи послѣшилъ увести гостя изъ комнаты сына.

— Слушай,—сказалъ Норачи, когда они вышли во дворъ, Ни-гаю,—я знаю своего сына: спасайся. Я дамъ тебѣ его лошадь и поѣзжай.

Ни-гай не заставилъ себя просить и сѣлъ на лошадь Хана, которая въ день бѣжала тысячу верстъ. Погодя, когда Ни-гай уже уѣхалъ, Ханъ позвалъ отца и спросилъ:

— Гдѣ этотъ человекъ, который принесъ эту саблю.

— Онъ уѣхалъ.

— Выведи мнѣ мою лошадь: надо догнать его и убить, иначе онъ преждевременно огласитъ дѣло.

— Но твою лошадь я и отдалъ ему,—отвѣтилъ Норачи.

— Зачѣмъ ты такъ сдѣлалъ?

— Потому что много лѣтъ тому назадъ я поклялся ему въ дружбѣ.

— Ну, тогда нельзя больше медлить.

И, собравъ своихъ манджуръ, Ханъ двинулся на Пекинъ.

Онъ и былъ первымъ императоромъ изъ манджурской нынѣ царствующей династіи. Онъ построилъ много крѣпостей и камни для нихъ бросалъ ему съ моря Натхо, тотъ самый Натхо, страшная голова котораго вмѣстѣ съ священной птицей Хаги изображается на стѣнахъ корейскихъ и китайскихъ молельнъ.

Эту голову срисовалъ одинъ художникъ какъ разъ въ то мгновеніе, когда на вопросъ Хана: «кто бросаетъ камни съ моря?» показала изъ воды страшная голова Натхо.

Кочилъ рассказчикъ, догорѣли огни заката и въ неясномъ просвѣтѣ надвигающагося вечера исчезаютъ волшебныя очертанія этого замка природы—изъ горъ, неба, дали, дорогихъ ковровъ осени.

Сладко зѣваютъ рассказчики, предвкушая близкій безмятежный сонъ.

— Корейцы любятъ деньги?—спрашиваю я.

— Жили три брата на свѣтѣ и захотѣли они нарыть женъ-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбулось имъ и вырыли они корень цѣной въ сто тысячъ кешъ. Тогда два брата сказали: «убьемъ нашего третьяго брата и возьмемъ его долю». Такъ и сдѣлали они. А потомъ каждый изъ нихъ, оставшихся въ живыхъ, сталъ думать, какъ бы ему убить своего другого брата. Вотъ подошли они къ селу. «Пойди,—сказалъ одинъ братъ другому,—купи сули (водки) въ селѣ, а я подожду тебя». А когда братъ пошелъ въ село, купилъ сули и шелъ съ ней къ ожидавшему его брату, тотъ сказалъ: «если я теперь убью своего брата, мнѣ останется и вся суля, и весь корень». Онъ такъ и сдѣлалъ: брата застрѣлилъ, а сулю выпилъ. Но суля была отравлена, потому что ею хотѣлъ убитый отравить брата. И всѣ трое они умерли, а дорогой корень женъ-шень сгнилъ. Съ тѣхъ поръ корейцы не ищутъ больше ни корня, ни денегъ, а ищутъ побольше братьевъ *)

16-го сентября

Накрапываетъ дождь, обозы ушли, я работаю у двери или окна фанзы. Прямо отъ нея идетъ кукурузное поле. Немного дальше выглядываетъ темно-красная камышеобразная ярь-буда (просо, изъ котораго корейцы пекутъ свой хлѣбъ), еще дальше такой же камышеобразный высокій гоалинь. А подѣзжая, мы попали въ болотистое рисовое поле, хотя здѣсь для рису собственно слишкомъ еще холодно и урожаи его бываютъ очень плохи.

Я сижу и вѣтеръ сырой, пропитанный запахомъ травы, гладитъ мнѣ лицо. Передъ фанзой наши лошади мирно жуютъ кукурузу. Немного въ сторонѣ Бибики, высокій хохоль, солдатъ, для насъ варить эту кукурузу и въ золѣ жарить дикаго гуся. Прямо передъ дверью навѣсикъ и подъ нимъ сидитъ привязанный за ногу коршунъ.

Хозяинъ фанзы съ этимъ коршуномъ ходитъ на фазановъ. Но теперь коршунъ мѣняетъ перья и для охоты не годится. Время его охоты съ октября по апрѣль. Въ помощь ему берется собака лайка,—она дѣлаетъ стойку, отыскиваетъ потомъ коршуна съ его добычей, которую онъ, не теряя времени, клюетъ.

Хозяинъ нашей фанзы—староста здѣшней деревни. Это очень почтенный старикъ, мягкій, съ пробивающейся сѣдиной въ рѣдкой бородкѣ. Онъ самъ будетъ провожать насъ, но извиняется, что не можетъ раньше часу, такъ какъ у него судъ.

Судъ надъ бѣглой женой. Мужъ билъ ее и она убѣжала. Ее поймали гдѣ-то далеко и привели назадъ. Теперь ее будутъ судить.

Нельзя ли посмотреть? Нѣтъ, нельзя. Послѣ долгихъ переговоровъ, мы улаживаемся такъ. Староста уйдетъ судить, а немного погодя я

*) Обычай побратимства широко распространенъ у корейцевъ и очень чтится.

съ П. Н. подойдемъ къ той фанзѣ, гдѣ онъ судить, и скажемъ ему, что у насъ къ нему есть дѣло. Онъ извинится, что завятъ, и попроситъ насъ подождать здѣсь же, въ фанзѣ.

Такъ мы и сдѣлали. Сперва отправились гулять. Улицъ никакихъ, кривыя тропки изъ фанзы въ фанзу и каждая изъ нихъ родъ дачи.

Подошли къ строящейся фанзѣ.

Поставленъ только деревянный корпусъ изъ рамъ полуторавершкового гѣса. Затѣмъ эти рамы заплетутъ тонкимъ ивнякомъ и смажутъ глиной съ соломой. На крышу кладутъ плетни изъ конопли. Съ внутренней стороны крышу, служащую потолкомъ, смазываютъ глиной. Съ наружной же стороны, поверхъ плетня кладутъ овсяную солому. Ее опять смазываютъ глиной, а сверху кладутъ мелкій камышъ, который и покрываютъ веревочной сѣткой.

Посреди фанзы, ниже пола устраиваются печные борова; они идутъ подъ всей фанзой, а затѣмъ выходятъ наружу въ высокую деревянную трубу, отстоящую отъ строенія аршина на два.

Осмотрѣвъ постройку, мы пошли къ фанзѣ, гдѣ происходилъ судъ. Но мы пришли слишкомъ рано. Привели только женщину, мужъ же ея еще не пришелъ.

Насъ пригласили внутрь фанзы. Тамъ уже сидѣли восемь судей и девятый староста—всѣ старики деревни. Въ другой комнатѣ сидѣла обвиняемая, на видъ уже старуха—маленькая, уродливая, съ выраженіемъ лица напоминающимъ заклеванную птицу.

Мы вошли, извинились, что не можемъ снять сапоги, и сѣли у стѣны, какъ и другіе, на корточки.

Одинъ изъ корейцевъ предложилъ мнѣ мѣшокъ для сидѣнья. Я снялъ было шляпу, но П. Н. объяснилъ мнѣ, что надо надѣть ее.

Лица корейцевъ смуглыя, широкія, съ рѣдкими бородками, выглядываютъ ласково и добродушно. Есть и некрасивыя, но есть и очень правильныя, напоминающія итальянскія лица. Они стройны, высоки. Я назвалъ бы ихъ даже изящными.

Мы посидѣли немного, встали, поблагодарили и ушли.

Хозяинъ расскажетъ намъ въ дорогѣ о самомъ судѣ.

Въ нашей фанзѣ мы застали стараго китайца, разносчика-торговца. У него два ящика желтыхъ, полированныхъ. Въ этихъ ящикахъ товары. Открылъ одинъ и мы увидѣли тамъ тесьмы, бусы, деревянные гребешки, мундштуки, японскія спички. Въ другомъ бумажныя матеріи, наши русскія—кумачъ, коленкоръ, корейская бязь, очень недурное шике, изъ котораго шьютъ себѣ зажиточные люди платье.

— Все?—спрашиваю я у китайца, осмотрѣвъ весь его несложный товаръ, вплоть до яицъ, на которыя корейцы вымѣниваютъ у него товары.

— Самаго главнаго онъ вамъ не показалъ,—сказалъ П. Н.,—китайскую водку—ханшина, какъ называютъ ее русскіе, или ходжо,

какъ говорятъ китайцы, или тану-сцуръ по-корейски. Этой водкой онъ больше всего торгуетъ. Въ Корей продажѣ водки разрѣшена безпрятственно и не обложена акцизомъ.

Я попробовалъ этой водки,—очень сильный сивушный запахъ, горьковатый вкусъ.

— Она очень крѣпкая,—говоритъ П. Н.,—если зажечъ спичкой, будетъ горѣть.

Я зажигаю, но спичка тухнетъ и водка не хочетъ горѣть.

— Воды много налилъ.

Китаецъ улыбается.

— Это дешевая водка,—говоритъ онъ.

Возвратился староста съ суда. Мы застали его сидящимъ, по обыкновенію, на корточкахъ съ своей трубкой, задумчиваго и грустнаго.

Судъ кончился. Та старуха, которую мы приняли за обвиняемую, была просто изъ любопытныхъ. Обвиняемая же была женщина 16 лѣтъ. Ее поймали въ этой деревнѣ и дали знать мужу. Когда мужъ пріѣхалъ, устроили судъ.

Мужу 20 лѣтъ.

Его приговорили къ 10 ударамъ розогъ, которые онъ тутъ же и получилъ. Одни держали за ноги, другіе за голову, а помощникъ старосты отсчитывалъ удары. Съ десяти ударовъ они сняли ему нѣсколько полосъ кожи.

Староста, когда били, спрашивалъ:

— А что, больно?

И тотъ благимъ матомъ кричалъ: — «Больно!»

— Ну, въ другой разъ не теряй жену и не безпокой сосѣдей твоими дѣлами.

Староста очень жалѣлъ, что мы не досидѣли до конца и не были свидѣтелями наказанія, такъ какъ чѣмъ больше свидѣтелей, тѣмъ это назидательнѣе выходитъ.

— А женѣ ничего?

— Это дѣло ея мужа.

— И она присутствовала при наказаніи?

— Да.—Затѣмъ они уѣхали оба къ себѣ домой. Онъ не могъ сидѣть и лежалъ въ арбѣ, а она правила.

— Но если она убѣжить?

— Тогда еще больше накажемъ: не убѣжить.

— Но онъ изъ чужой деревни?

— Это только честь ему. Еслибъ начальникъ чужого города наказалъ его—это переходило бы, какъ заслуга, изъ рода въ родъ.

— Вотъ оно откуда идетъ,—подумалъ я,—эта проповѣдь нѣкоторыхъ изъ нашихъ культуртрегеровъ объ отсутствіи позорности въ тѣлесномъ наказаніи.

Дождь опять. Мы ѣдемъ узкой долиной, тучи легли на горы и все ниже и ниже опускаются прямо на насъ.

Это ужъ и не дождь, а что-то мокрое, и вода бѣжитъ съ нашихъ дождевыхъ плащей. Плащи корейцевъ изъ концовъ конопли, искусно связанныхъ концами внизъ. Они похожи въ нихъ на колючихъ дикобразовъ.

Все выше и выше долина, все уже, уже, все каменистѣе почва. Груды камней лежатъ въ кучахъ,—это камень съ полей, но и на поляхъ его еще больше и всѣ наши плуги изломались бы здѣсь.

А вотъ и перевалъ Капхарленъ на высотѣ 70 сажень. Дорога почти отвѣсно лѣзетъ въ гору, вечерѣетъ, совсѣмъ темнѣетъ и проводникъ нашъ, наконецъ, заявляетъ, что дальше не пойдетъ, такъ какъ его лошадь чувствуетъ «его».

— Кого «его»?

— Не къ ночи сказать,—тигра. Здѣсь никто никогда не ѣздитъ ночью, и днемъ ѣздятъ только партіями.

Мы почти силой увлекаемъ проводника.

— Въ такомъ случаѣ, дайте мнѣ хоть помолиться.

Съ какимъ усердіемъ онъ молится передъ кумирней. Онъ совсѣмъ влѣзъ въ нее и кланяется, кланяется.

Мы ѣдемъ дальше и послѣ двухчасовой переправы спускаемся благополучно въ глубокую долину.

17-го сентября.

Я сижу въ фанзѣ Кимъ-хи-бой деревни Баргаири. У самой фанзы несетя теперь разлившаяся въ большую рѣка Пансани-Хавури.

Мы у подножья перевала Капхарленъ.

Мелкій дождь и туманъ закрываютъ ущелье.

Ущелье, которому позавидуетъ и любое кавказское. Вода гулко шумитъ и подъ ея гулъ я слушаю прекрасные рассказы здѣшнихъ горцевъ. Довѣрчиво, какъ дѣти, они сидятъ на корточкахъ челоѣкъ десяти и внимательно, серьезно объясняютъ моему переводчику.

Очень сложный вопросъ мы обсуждаемъ. Вопросъ ихъ религіи.

Будда, Конфуцій, шаманъ, обожаніе горъ,—все это смѣшалось и составило религію простого челоѣка въ Корей.

Милліонъ вопросовъ съ моей стороны,—прямыхъ, перекрестныхъ, и полдня ушло, пока получилось нѣчто связанное, передаваемое бумагѣ.

Здѣсь же проводникъ изъ Ауди, почтенный старикъ Кимъ Ти Буанъ. Здѣсь и житель южной Кореи Анъ Кугуни изъ провинці Пяндю. И когда всѣ они киваютъ головами, осторожный и пунктуальный П. Н. Кимъ переводитъ мнѣ. Многое онъ и самъ знаетъ, но не довѣряетъ себѣ и по моей усиленной просьбѣ по нѣскольکو разъ переспрашиваетъ.

Вотъ сущность и результатъ всѣхъ вопросовъ.

У человѣка три души. Одна послѣ смерти идетъ на небо (ханьгръ); ее несутъ три ангела (бывшіе души праведныхъ) въ прекрасный садъ (сиявѣ тѣнѣ). Начальникъ сада Оконшанте спрашиваетъ ее, какъ жила она на землѣ, и въ зависимости отъ грѣховности или чистоты этой жизни, чистосердечности передачи всѣхъ грѣховъ—опредѣляетъ: или возвратиться ей обратно на землю въ оставленное тѣло, или оставаться въ прекрасномъ саду, или переселиться въ тигра, собаку, лошадь, осла, свинью, змѣю.

Есть души, обреченныя на вѣчное переселеніе: это убійцы и разрушители династій.

Вторая душа остается при тѣлѣ и идетъ съ нимъ въ землю (ее несутъ тоже три ангела), въ адъ, къ начальнику ада Тибуанъ.

Третья душа остается въ воздухѣ, близъ своего жилья,—ее несутъ одинъ ангелъ.

О первой душѣ забота живущихъ заключается въ томъ, чтобы дожидаться распоряженія начальника сада на случай, если онъ возвратитъ душу назадъ въ тѣло.

Это можетъ случиться черезъ три дня, пять, семь, всегда въ нечетные дни.

Шаманъ, или вѣщунъ, или предсказатель—тоинъ, или просто составитель календаря счастливыхъ дней и празднествъ саатъ-гуанъ, въ точности называютъ этотъ день похоронъ. У богатыхъ не хоронятъ иногда до трехъ мѣсяцевъ. Тѣло тогда кладутъ въ парадную комнату фанзы, кладутъ туда же и пищу и замуровываютъ эту комнату. Вообще, торопиться съ похоронами не слѣдуетъ,—это неприлично, это неуваженіе къ памяти усопшаго.

Заботы о второй душѣ—душѣ тѣла—заключаются въ томъ, чтобы выбрать тѣлу счастливую гору. Корейскія горы представляютъ изъ себя множество отдѣльныхъ вершинъ, холмовъ. Всѣ эти холмы и вершины утилизируются для кладбищъ. Найти счастливое мѣсто—большой трудъ. По нѣсколько разъ приходится вырывать тѣло и переносить его на новое мѣсто.

Вчера въ дождь и въ непогодъ мы встрѣтили по дорогѣ такихъ мучениковъ, несшихъ уже сгнившее тѣло. На двухъ жердяхъ они несли тѣло, обернутое въ корейскую, масломъ пропитанную бумагу. Отъ трупавывыносиво разило.

— Почему вы несете его на новое мѣсто?

— Въ нашемъ домѣ заболѣлъ ребенокъ и шаманъ приказалъ перенести тѣло его дѣда, умершаго шесть мѣсяцевъ назадъ, на другое, болѣе счастливое мѣсто. А сегодня именно тотъ счастливый день, когда назначенъ переносъ.

Счастливая гора, выбранная для покойника, даетъ все — счастье, удачу, служебную карьеру. Онъ богатъ, потому что выбралъ удачную гору отцу, онъ министръ по той же причинѣ.

Есть святая горы. Кто умѣетъ найти ихъ для своихъ предковъ, въ роду того когда-нибудь будетъ богатырь.

Забота о третьей душѣ *) никогда не прекращается: то ее надо покормить и шаманъ назначаетъ зарѣзать свинью, сварить рису и нести на гору, гдѣ стоятъ моельни—кучи камня подъ навѣсомъ, то тотъ или другой предокъ обидѣлся, и опять надо его умиловить той же свиньей (чужской) и варенымъ рисомъ. Вообще, эти души воздуха—безпокойный народъ и возни корейцу съ ними выше головы. Блудивыя въ жизни, онѣ остаются такими же и послѣ смерти, являясь такимъ образомъ точнымъ снимкомъ съ того, кто жилъ когда-то.

Надъ жизнью и смертью распоряжается идолъ ада Тибуанъ. По своимъ спискамъ онъ вызываетъ съ земли чрезъ свою администрацію очередныхъ. Но, оказывается, что и тамъ возможны подтасовки. Такъ, однажды умеръ нѣкто Пакъ изъ Менгена. Внукъ этого Пака, умершій значительно раньше и успѣвшій попасть въ администрацію Тибуана, сейчасъ же узналъ дѣда, но, не показавъ и вида, сказалъ Тибуану:

— Вотъ произошла ошибка: мы требовали Пака изъ Тангена, а пришелъ изъ Менгена.

— Исправить ошибку,—сказалъ Тибуанъ.

Такимъ образомъ Пакъ изъ Менгена возвратился въ свое тѣло и потомъ рассказывалъ, при какихъ обстоятельствахъ увидѣлся онъ со своимъ внукомъ.

Дождь все идетъ, вся фанза протекаетъ. Платье, промокшее вчера въ дорогѣ, промокло за ночь еще сильнѣе, спички отсырѣли.

— Давно въ этой фанзѣ былъ покойникъ?

— Два года назадъ. Только что сняли трауръ.

— Будутъ его еще переносить?

— Будутъ.

— Сколько времени его держали въ фанзѣ?

— 17 дней.

— Въ какой комнатѣ?

Показываютъ, гдѣ стоитъ моя кровать.

— Отъ какой болѣзни умеръ?

— Отъ оспы.

— Можетъ быть, отъ черной?

Долгіе переговоры.

— Они не знаютъ,—говоритъ П. Н.

— А что онъ спросилъ вдругъ о нашихъ покойникахъ?—встревожились робкіе корейцы.—Можетъ быть, они ему снились? А если снились, то что говорили?

Но я успѣшилъ успокоить ихъ и объяснить, что заговорилъ о по-

*) У вѣтальцевъ тоже есть нѣчто подобное: душа дыханія.

койникахъ только потому, что вообще зашелъ разговоръ о загробной жизни.

Затѣмъ, такъ какъ все было готово къ отъѣзду, мы простились съ ними, поблагодарили и уѣхали.

Рѣка бушуетъ и рвется. Коротенькія волны съ бѣлыми гребешками съ стремительной быстротой мчатся, догоняя другъ друга.

Туманъ и тучи разсѣялись, видно голубое небо, собирается солнце выбраться изъ послѣднихъ тучъ. А кругомъ тѣснятся горы, здѣсь уже поросшія мелкимъ лѣсомъ.

Говорятъ, прежде здѣсь росъ когда-то большой, высокій дѣсь. Историю его исчезновенія можно наблюдать и сейчасъ. По скату горъ тамъ и сямъ уже идетъ распашка. Въ другихъ мѣстахъ къ ней подготовляютъ только поля, выжигая кустарникъ. Такія распашки замѣчалъ я здѣсь на склонахъ очень крутыхъ, не болѣе двойного откоса. Выше этихъ распашекъ мѣста только для козъ, да ихъ спутниковъ—барсовъ и тигровъ.

Проѣхавъ версты двѣ, мы начали переправляться на другой берегъ. Бытовая картинка. Завтра у корейцевъ годовая праздникъ въ честь урожая. Сегодня они поминаютъ родныхъ и готовятъ мясо для завтрашняго дня.

Большія группы, человекъ въ 30 корейцевъ на этой и на той сторонѣ. Многіе изъ нихъ до пояса голые и ихъ бронзовыя тѣла сильны и мускулисты. Они всѣ вокругъ разрѣзанныхъ кусковъ свѣжаго мяса.

Эти тѣла, длинные волосы, завитушки на головѣ напоминаютъ одну изъ картинъ Эмара или Купера съ краснокожими.

Началась очень неудачная переправа: у Н. Е. лошадь вдругъ легла или споткнулась посреди рѣки. Вслѣдствіе этого они оба на мгновеніе скрылись съ глазъ. Затѣмъ сейчасъ же опять показались и оба возвратились назадъ. Н. Е. ни на мгновеніе не потерялъ своего философскаго спокойствія и сейчасъ же принялся просушивать записныя книжки, паспорта, револьверъ, ружье, барометръ, шагомѣръ. Одною изъ нашихъ корейцевъ свалило хуже водой, на болѣе глубокомъ мѣстѣ. Лошадь скоро оправилась, но корейца понесло внизъ. Кое-какъ выплылъ и онъ къ берегу и, ухватившись за вѣтви, взобрался на другую сторону.

Все-таки перебрались, но подмочили весь обозъ. Поэтому, разбивъ палатки, привались сушиться. Корейцы окружили насъ и вотъ мы теперь въ ихъ обществѣ. Они деликатны, вѣжливы, принесли (за деньги, конечно) снопы кукурузы, чумизы, ячменя.

Узнавъ, что на горахъ у нихъ растетъ дикій виноградъ, я попросилъ принести его и теперь возлѣ меня большая корзина чернаго, сладкаго, но мелкаго винограда.

Н. Е. ушелъ на охоту за козами. На всякій случай онъ взялъ и дробовикъ, и винчестеръ. Съ нимъ пошелъ одинъ изъ нашихъ корейцевъ, а другой, здѣшній, показываетъ мѣста.

П. Н. долго вызывалъ охотниковъ.

— Не идутъ, — объясняетъ онъ намъ, — боятся Н. Е.

— Скажите имъ, что это намъ надо ихъ бояться, — насть, русскихъ пять, а ихъ сколько.

Наконецъ согласились, когда я предложилъ и нашего корейца.

На берегу рѣки, поваливъ лошадь, два корейца подковываютъ ее. Въ другомъ мѣстѣ группа корейцевъ сидитъ на корточкахъ и курятъ свои трубки. Черезъ рѣку голые корейцы переносятъ наши вещи. Все это картинки и надо идти за аппаратомъ. Я снимаю всѣ группы, а П. Н. объясняетъ имъ, что я дѣлаю. Они смѣются и всѣ хотятъ попасть на изображеніе.

Послѣ съемки я раздаю дѣтямъ сахаръ.

Маленькій мальчикъ, грустный и миловидный, уже съ закрученнымъ наверху хохолкомъ — признакъ женатаго человѣка: онъ уже женатъ.

Такъ уютно разбился нашъ лагерь подъ группой деревьевъ, такъ живописна рѣка и округа. Вотъ подходятъ кореецъ въ волосяной шапкѣ, въ родѣ нашей камилавки, съ широкимъ раструбомъ кверху — это дворянинъ. Вотъ идетъ другой въ бѣлой шапкѣ, въ родѣ тѣхъ, которыя когда-то надѣвали въ школахъ — ослиныя уши: это шапка не глубокаго траура. При глубокомъ же весь костюмъ отъ шапки до башмаковъ долженъ быть бѣлаго цвѣта. Вообще бѣлый цвѣтъ національный и любимѣйшій у корейцевъ.

Сегодня вечеромъ у меня опять собраніе корейцевъ изъ сосѣдней деревни. Во главѣ ихъ дворянинъ. Онъ оказывается и староста у нихъ. По требованію П. Н., я оказываю ему особый почетъ: жму, какъ и онъ, двумя руками его руку, посадилъ его на походный стулъ, подарилъ ему какую-то бездѣлушку, а, главное, угостилъ всю компанію коньякомъ. Немного, но достаточно для того, чтобы развязать имъ языки. Дворянинъ недоволея съ современнымъ положеніемъ дѣлъ.

— Прежде въ Сеулѣ за знаніе давали должности, потомъ эти должности покупали, а теперь ихъ никакъ не получишь: пришли другіе люди и все взяли. Наша страна бѣдная, только и были, что должности — должности отняли: что остается корейцу?

Онъ спросилъ:

— Отчего другіе народы богаты, а корейцы бѣдны?

Я отвѣчалъ, что и у корейцевъ много естественныхъ богатствъ, но нѣтъ техническихъ знаній. Безъ такихъ же знаній въ наше время нельзя быть богатымъ. Эту мысль я развилъ ему примѣрами, въ родѣ моего путешествія со скоростью 20 верстъ въ сутки въ сравненіи съ желѣзной дорогой съ тысячеверстной скоростью въ то же время.

— Да мы ужъ строимъ такую дорогу, но безъ знаній не мы будемъ и пользоваться.

Я отвѣтилъ, что корейцы народъ способный и разъ начнутъ заниматься, то такъ же скоро, какъ и японцы, догонятъ европейцевъ.

- Сѣверная Корея отъ Россіи приметъ науку.
- Если Корея этого захочетъ, Россія считаетъ корейцевъ братьями.
- Мы хотимъ, а какъ другіе—мы не знаемъ.

Послѣ коньяку рѣчь зашла объ обычаяхъ, преданьяхъ, религіи. Произошла такимъ образомъ провѣрка и прошлаго, услышали мы и три новыхъ разсказа.

Въ этихъ разсказахъ характеристика бонзъ (монаховъ), какъ распутныхъ людей и пьяницъ.

Вечеръ закончился генеральнымъ осмотромъ нашихъ вещей.

Между прочимъ выяснилось, что дворянинъ знаетъ только китайскую письменность, а корейской женской не знаетъ, что дѣлаетъ его, живущаго среди простого населенія, неграмотнымъ человѣкомъ. Но ужъ такъ принято, что дворянину неприлично знать женскую грамоту простого народа.

Къ дворянину остальные относятся съ большимъ уваженіемъ: подаютъ ему двумя руками, спрашиваютъ каждый разъ разрѣшеніе принять отъ меня угощеніе. Сыну своему, женатому, лѣтъ двадцати, онъ не разрѣшаетъ ни вина, ни коньяка.

Выкуривъ свою трубку, онъ опять набиваетъ ее и сынъ идетъ къ костру, принимая каждый разъ и подавая отцу трубку двумя руками.

Почему-то всѣ эти отношенія и эта длинная трубка и даже ароматъ табаку напомнили мнѣ самое раннее мое дѣтство въ дождь дѣда моего, типичнаго дворянина и помѣщика Малороссіи.

На прощанье дворянинъ взялъ мою лѣвую руку, перевернулъ ладонью вверхъ и сталъ разсказывать мнѣ мою судьбу. Я буду жить до 90 лѣтъ, — объ этомъ говоритъ линія, уходящая къ кисти руки. Это же говоритъ на основаніи хиромантіи Н. А. Линія, къ третьему, безъимянному пальцу говоритъ о способностяхъ, чѣмъ она больше, чѣмъ больше развѣтвленій, тѣмъ больше и способностей.

И это сходится съ тѣмъ, что говоритъ Н. А.

— Вотъ придежъ въ Херіонъ,—говоритъ П. Н.,—тамъ настоящіе предсказатели: они вамъ все разскажутъ...

18-го сентября.

Половина пятаго. Темно еще. За палаткой у костра два сторожевые корейца разговариваютъ. Они говорятъ по обычаю громко, быстро, съ экспрессіей, но голоса мирно налаженные. Однообразный, мирный шумъ воды.

Въ половинѣ шестого первые лучи сверкнули по горамъ. Здѣсь въ долину еще глубокая тѣнь. Уютная красивая картинка. Горы, долина, рѣка. мирно пріютившіяся здѣсь и тамъ фанзы. Ясное утро и все спитъ въ этомъ торжественномъ тихомъ уголкѣ.

Вчера, прощаясь, корейцы говорили:

- Надо идти, готовится къ празднику.

И въ голосѣ ихъ слышалась и торжественность, и радость праздника.

Годовой праздникъ. Праздникъ вездѣ праздникъ и ощущеніе этого праздника съ дѣтскихъ лѣтъ остается въ душѣ, и мнѣ понятны ихъ ощущенія.

Сегодня праздникъ и онъ въ природѣ, солнцѣ, на этихъ горахъ.

Изъ за этого праздника пріѣхалъ въ свое имѣніе пусай г. Онтонъ. Онъ пріѣхалъ вчера. Его имѣніе на противоположной сторонѣ, въ живописномъ ущельѣ. Въ контрастъ съ мелкимъ кустарникомъ, его береженный лѣсъ широкой полосой уходитъ въ горы.

Два палача этого пусая приходили въ нашъ лагерь. Оказывается, что онъ и въ чужомъ для него мѣстѣ можетъ творить судъ и расправу: высѣчь дерзкаго, наказать пьянаго.

Часамъ къ шести пришли дѣти деревни. Они сегодня чистенькія, нарядныя, въ бѣлыхъ, голубыхъ, розовыхъ и зеленыхъ курткахъ.

Немного погода, одинъ изъ взрослыхъ пришелъ и за нимъ несли два закрытыхъ корейской, мягкой бумагой столика. На этихъ столикахъ рядъ маленькихъ чашечекъ, въ которыхъ: 1) корейскій хлѣбъ изъ ярбуды (родъ проса)—желтый, липкій. Съ нимъ въ одной мискѣ мука изъ жареныхъ бобовъ съ сухой приправой сои (что-то въ родѣ нашего зеленого сыра, мелко растертаго, но не такой острый вкусъ). 2) синіе помидоры, 3) вареный чеснокъ, 4) жареная говядина и соленые огурцы, 5) соленая рѣдька, 6) соусъ изъ желудка, 7) рыба вареная, 8) соусъ изъ щенковъ, 9) теплая водка—сюли и 10) квасъ сладкій съ нѣкоторой остротой, въ родѣ нашего медоваго кваса.

Все это я пробую и благодарю. Мнѣ отдѣльный столикъ, Н. Е.—отдѣльный. Н. Е. категорически заявилъ, что онъ нездоровъ и ѣсть ничего не будетъ. Я уговариваю его и онъ соглашается поѣсть рѣдьки.

На горизонтѣ показывается дворянинъ, тоже со столикомъ. Пока онъ подходитъ, крестьяне рассказываютъ, что собственно дворянство указомъ императора упразднено еще въ 1895 г. Но въ такихъ глухихъ мѣстахъ, какъ это, еще держится старый обычай и населеніе добровольно отдаетъ дворянамъ былую честь. Въ большихъ же городахъ, а особенно въ Сеулѣ, о дворянахъ давно забыли думать и тамъ они ничѣмъ не отличаются отъ остальныхъ.

Существовало четыре разряда дворянъ: сельскій дворянинъ, городской дворянинъ, дворянинъ провинцій и дворянинъ имперіи. Изъ дворянъ имперіи выбирались на высшія должности въ имперіи; изъ дворянъ провинціи на высшія должности въ провинціи. Изъ городскихъ дворянъ—военные и, наконецъ, совершенно безправные сельскіе дворяне.

Мы уложились, снялись и поѣхали. Въ живописномъ уголкѣ стоитъ старая, поросшая мохомъ, черепицей крытая уютная фанза. Форма крыши—подражаніе китайскимъ. Фанза огорожена заборомъ, по немъ свѣсилась тыква, виситъ желтая кукуруза, зеленый еще табакъ, красный стручковый перецъ. Яркое впечатлѣніе юга.

— Вотъ,—говоритъ хозяинъ,—яблоня, вотъ вишня.

Вся долина усѣяна камнемъ и на ней растутъ тощій хлѣбъ. Но тутъ же дикая вишня перерастаетъ четыре сажени, тутъ же виноградъ и въ дикомъ своемъ видѣ сладкій и вкусный.

— Придетъ время,—говорю я хозяину,—и ваши долины будутъ зеленѣть въ садахъ, виноградникахъ и трудъ человѣка оправдается въ десять разъ больше теперешняго. Тогда будетъ Корея богатая. Но для этого надо ѣхать не въ Китай учиться его бесплоднымъ наукамъ, а туда, гдѣ умѣютъ разводить эти сады, умѣютъ доставать изъ горъ ихъ богатства, которыя лежатъ въ нихъ. Тогда Корея будетъ богатая, а до тѣхъ поръ въ Корей будутъ только добрые, хорошіе люди, занятые выше головы своими покойниками, добрые люди, которыхъ всѣ всегда обидятъ.

Дворянинъ, увязавшійся провожать насъ, снисходительно киваетъ головой.

Онъ съ своей долиной поразительно напоминаетъ родину его прототипа донъ-Кихота Ламанческаго. И онъ такой же худой, высокий, окруженный насмѣшливой вѣжливостью своихъ односельчанъ. При разставаніи я оказалъ ему всю вѣжливость: слѣзъ съ лошади, двумя руками пожалъ его руку.

— Я хотѣлъ бы еще разъ увидѣть васъ,—сказалъ онъ мнѣ растроганно.

— Если я не приѣду, то пришлю своего сына,—отвѣтилъ я ему, и мы разстались.

Мы ѣдемъ долиной, у которой столько названій, сколько и селеній: Па и санъ-Хансури, Маргаерь-Хансури и т. д. Долина, шириной версты въ двѣ, съ каменистой, старательно воздѣланной почвой. Такъ же воздѣланы здѣсь и тамъ косогоры. По долинѣ протекаетъ въ плоскихъ берегахъ рѣка и орошеніе здѣсь не представило бы никакихъ затрудненій. Но имъ пользуются только для риса. Но для риса здѣсь сравнительно холодно и онъ даетъ сравнительно плохой урожай.

Чѣмъ дальше, тѣмъ больше селеній и дороже цѣна на землю. Здѣсь она уже достигаетъ двухсотъ рублей за десятину.

По случаю праздника всѣ нарядны: дѣвушки качаются на качеляхъ, молодые парни разводятъ у рѣки костры и что-то варятъ себѣ. Взрослые на могилахъ предковъ. Группы въ бѣлыхъ одѣяніяхъ на всѣхъ окрестныхъ пригоркахъ,—все это кладбища, все это счастливыя горы. И нерѣдко, если нашедшій счастливое мѣсто для предковъ, попадаетъ въ знать или богатство, тайно на это же кладбище уже несетъ кто-нибудь и своего какого-нибудь предка. Но если владѣлецъ кладбища узнаетъ, то дѣло нерѣдко кончается и смертью виновнаго.

Поминки заключаются въ томъ, что приносятъ на могилу ѣду и водку. Три рюмки выливаютъ на могилу, а остальную водку и гущу съѣдаютъ въ память усопшаго.

Изъ одной фанзы выскочилъ бѣлый кореецъ и, протягивая руку, кричалъ по-русски:

— Здравствуй, здравствуй, иди на моя фанза!

Это пришедшій съ заработка изъ Россіи кореецъ.

И угостилъ его папиросой, пожалъ его руку и мы разстались, такъ какъ весь запасъ его знавій ограничился вышеприведенной фразой.

Рѣшили сегодня добратся до Херіона.

Ѣдетъ громадный Бибикъ и что-то улыбається. Онъ уроженецъ Харьковской губерніи, переселился съ родными въ Томскую; выговоръ у него совершенно хохлацкій.

— Хорошая сторона Харьковская губернія,—говорю я.

— Да, вона хороша, та земли нѣтъ.

— Ну, а Корея вамъ нравится?

Бибикъ усмѣхается:

— А чего тутъ хорошаго: горы да буераки; у насъ въ Томской губерніи, по крайней мѣрѣ, конца полю не видно.

— Ихъ домики,—говорю я,—красивые.

— А что въ нихъ красиваго,—сомнѣвается Бибикъ.

— Вотъ отдѣльно стоятъ, кругомъ зелень, чисто...

— А съ чего у нихъ и грязно будетъ, когда овцы нѣтъ,—скотина—одинъ быкъ.

— Много комнатъ,—говорю я,—въ русской избѣ въ одной комнатѣ набьется народъ, тутъ и телята.

Бибикъ не можетъ удержаться отъ улыбки.

— А что то и за комнаты ихъ: и вся комната, неначе курятникъ у насъ.

Надо видѣть фигуру Бибика, чуть не въ сажень, въ американской высокой шляпѣ; онъ сидитъ на микроскопичной, чуточку больше осла, корейской лошаdkѣ.

Ротъ его расширяется до ушей и онъ говоритъ:

— Просто дурная сторона, та и годи. Отъ такжи и въ Китаю.

— Вы были тамъ?

— А бувъ и тутъ я бувъ.

Бибикъ большой любитель впечатлѣній. Онъ не пропускаетъ ни одной экспедиціи и всегда бросаетъ какое бы то ни было выгодное мѣсто. Ѣдетъ и усмѣхается.

Сегодня мы пробыли на лошадяхъ 12 часовъ и сдѣлали 100 ли. Съ послѣдняго перевала при сбромъ угасающемъ днѣ открылась дивная панорама. Все, что могъ охватить глазъ, были долины, окруженные причудливыми, напорщенными горами и пригорками. И долины, и горы покрыты все тѣми же чудными бархатными коврами.

Ночь спустилась, сперва вся въ тучахъ, темная, а затѣмъ подулъ сѣверный вѣтеръ, стало холодно, тучи ушли и яркая луна заиграла въ обманчивой теперъ и трудно уловимой округѣ.

— Вотъ, вотъ бѣлое,—это ворота Херіона.

Но все бѣлое, вся даль, вѣздѣ ворота Херіона, устали всѣ и всѣмъ хочется спать.

Лошади не ѣвшія цѣлый день, жадно хватаютъ и глотаютъ все—траву, листья, вѣтви.

Удивительные желудки здѣшнихъ лошадей: они ѣдятъ стебли кукурузы, какъ наши лошади сѣно, и большая любезность, если имъ эти стебли порубятъ. Говорятъ, корейскія лошадки злы и корейцы грубо обращаются съ ними. Они, правда, рѣзко кричатъ на нихъ: «Ги!» Но такъ же заботливо, какъ и наши крестьяне, обращаются со своими лошадьми.

— Вотъ въ этихъ горахъ водятся удавы, — говоритъ нашъ переводчикъ.

Онъ показываетъ руками размѣръ удава: діаметръ—полъ-аршина, длина—сажень и больше.

— Онъ самъ видѣлъ?—спрашиваю я переводчика.

— Онъ видѣлъ, но не такихъ большихъ,—и онъ показываетъ кулакъ и длину аршина въ полтора. Но и онъ, и всѣ окружавшіе и вездѣ въ другихъ мѣстахъ корейцы твердо стоятъ на томъ, что у нихъ есть и удавы и какой-то родъ крокодиловъ: короткихъ, толстыхъ, на четырехъ лапахъ.

Много легендъ ходитъ объ этихъ крокодилахъ. Голова ихъ похожа на человѣческую; они большіе любители красивыхъ дѣвушекъ. Подобные рассказы упорно повторяются въ каждой деревнѣ. Зимой они пропадаютъ, а лѣтомъ глотаютъ мышей, лягушекъ; ядовиты.

Самая же ядовитая змѣя—куль-пэми (живущая въ норахъ). Живутъ группами; если тронуть одну, то всѣ бросаются на врага. Это маленькая, не больше аршина, темная какъ земля.

Такъ, разговаривая обо всемъ, мы наконецъ подъѣзжаемъ къ воротамъ Херіона.

Это бѣлой известкой выбѣленные, каменные арки, сажени въ двѣ толщиной. Отъ нихъ идетъ стѣна, сложенная насухо, высотой въ двѣ сажени. Такая стѣна вокругъ всего города четырехъугольникомъ и въ ней четверо воротъ: сѣверныя, южныя, восточныя и западныя. Черезъ ворота, которыя словно валяются куда-то въ бездну, виднѣется что-то неясное: какая-то серебряная бездна—не то небо, не то рѣка прозрачная. Фантазія уже рисуетъ причудливой архитектуры восточный городъ, но вотъ темныя ворота назадъ и мы въ городѣ. Серебряная мгла разсѣивается и мы видимъ... пашню, поля. Саженьяхъ въ стахъ виднѣется что-то сѣрое, но и это не городъ еще, это памятникъ бывшимъ начальникамъ города.

Наконецъ и городъ, т. е. рядъ все тѣхъ же фанзъ—сѣрыхъ, крытыхъ соломой. Но здѣсь сбитыя въ кучу, онѣ уродливы и грязны.

Лошадь, ставшая поперекъ, загораживаетъ всю улицу. Я сажу вер-

хоть и моя голова почти въ уровень съ конькомъ крышъ. Вонь и грязь на улицахъ. Вотъ торговые ряды, такіе же ряды съ клѣтушками. Восемь часонъ, но уже весь городъ спитъ.

Куда же ѣхать? Мы стучимся въ какую-то фанзу.

— Вамъ отведена городская квартира, — справьтесь у начальника.

Нашъ путеводитель-староста, все время заботившійся о чистотѣ своихъ ногъ, отправляется къ начальнику и шлепаетъ теперь по грязи, мало думая о своихъ ногахъ. Вся фигура его покорно сгорбилась и очевидно, онъ только о томъ и думаетъ, какъ бы въ чемъ не проштрафиться.

Первое, запрещается въѣзжать въ городъ верхомъ—но онъ идетъ пѣшкомъ. Второе, при встрѣчѣ съ начальствомъ надо низко пригнуться и идти, не смѣя смотрѣть на него—онъ такъ и идетъ.

И все-таки неспокойно робкое сердце, потому что третье, самое главное, угадать, что желаетъ въ данный моментъ начальство—не дано ни корейскому, ни иному смертному.

— Очень просто,—говоритъ П. Н.,—велитъ вздуть бамбуками и вздуютъ.

— Ну и городъ,—отплевывается Бибикъ отъ окружающей вони.

Немного погодя уже веселый шагаетъ проводникъ назадъ. Онъ опять вспомнилъ о своихъ ногахъ и теперь заботливо выбираетъ мѣсто посуше.

За нимъ полицейскій въ зеленомъ шарфѣ.

— Ге, ге!—говоритъ онъ и бѣжитъ впередъ.

Мы ѣдемъ за нимъ, кружимъ по всему городу и, наконецъ, приѣзжаемъ. Большая фанза, три чистыхъ комнаты,—уютно и тепло отъ теплаго пола. Съ десятокъ полицейскихъ, откуда-то взявшихся, ссаживаютъ насъ, ведутъ въ комнаты.

Послѣ устали хорошо и поѣсть, хорошо и заснуть. Но надо записать барометръ, термометръ, всѣ полученныя разстоянія, нанести рѣки, села, высоты. А затѣмъ дневникъ, легенды.

Стихъ шумъ отъ раскладки, варится уживъ, гдѣ-то за спиной какой-то пріятный теноръ выводитъ какую-то восточную пѣсню.

Она, какъ узоръ цвѣтовъ ихъ горъ и долинъ, подходитъ къ нимъ, подходитъ къ чуткой, но притиснутой робкой душѣ корейца.

Что-то вѣжное, тоскливое, хватающее за душу въ этой однообразной мелодіи. Отдѣльныя рулады, ноты понятны и сильно дѣйствуютъ, но все вмѣстѣ требуетъ перевода на наше ухо,—это только матеріалъ для того композитора, который захотѣлъ бы заняться музыкой востока. Пришелъ П. Н. и объяснилъ, что это не пѣніе, а чтение, что здѣсь, читая, поютъ и что тотъ, кто читаетъ, одинъ изъ лучшихъ чтецовъ города.

Н. Гаринъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



РАВНОДУШНЫЕ.

РОМАНЪ.

(Продолженіе *).

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

I.

Когда въ этотъ вечеръ Козельскій ѣхалъ на Васильевскій островъ къ Моисею Лазаревичу Бенштейну, „работавшему“ деньгами тайнаго совѣтника Шпрота, почтеннаго, убѣленнаго сѣдинами старичка необыкновенно добродушнаго вида, съ которымъ Козельскій изрѣдка встрѣчался въ „картофельномъ“ клубѣ, — онъ со страхомъ думалъ: „достанетъ ли онъ полторы тысячи, или нѣтъ?“

Завтра срокъ векселю, послѣ завтра надо уплатить до двѣнадцати часовъ у нотариуса. Переписать вексель невозможно. Ужъ онъ два раза переписывалъ. Требовали уплаты.

Какъ обыкновенно бывало въ послѣднее время все болѣе и болѣе трудныхъ поисковъ денегъ, его превосходительство находился въ тревожно-нервномъ и мрачномъ настроеніи. Встрѣчая на Невскомъ людей въ собственныхъ экипажахъ, ѣдущихъ въ театры, спокойныхъ, довольныхъ и, казалось Козельскому, съ туго набитыми бумажниками въ карманахъ, онъ завидовалъ этимъ людямъ, злился на нихъ и находилъ даже несправедливымъ неравномѣрное распредѣленіе богатствъ. У однихъ ихъ много, а вотъ онъ, умный, порядочный и работающій человѣкъ, долженъ искать какія-нибудь несчастныя полторы тысячи рублей, отъ которыхъ онъ такъ позорно и глупо зависить.

„Дастъ или нѣтъ?“

И его превосходительство, подсмѣивавшійся дома надъ разными предразсудками и примѣтами, загадалъ: если онъ успѣетъ заку-

*) См. «Миръ Божій», № 4, апрѣль.

«Миръ Божій», № 5, май. отд. 1.

рить папироску до углового дома, то получить, а не успѣть — нѣтъ. Вѣтеръ поддувалъ сильный и, не смотря на то, что Козельскій старался какъ можно быстрѣе спрятать зажженую спичку въ выдвинутую спичечную коробку, съ перваго раза закурить ему папироски не удалось. И это было ему непріятно, но онъ успокоилъ себя тѣмъ, что имѣлъ намѣреніе (хотя и вовсе сперва не имѣлъ) повторить опытъ до трехъ разъ, и если съ трехъ разъ не закурить, тогда...

И Козельскій былъ очень радъ, когда въ третій разъ закурить папироску, поровнявшись съ угловымъ домомъ. Радъ былъ и когда фамилія на первой вывѣскѣ имѣла четное число буквъ.

Но это довольное чувство быстро исчезало отъ сознанія невыносимости своего финансоваго положенія. И тогда онъ придумывалъ средства, какъ бы выбраться изъ этой ваторги постояннаго исканія денегъ и долговъ, останавливаясь на болѣе или менѣе проблематическихъ комбинаціяхъ о какомъ-нибудь предпріятіи, провести которое при помощи Никодимцева будетъ не трудно. И вообще Никодимцевъ могъ бы помочь ему если не въ этомъ, то въ устройствѣ ему какой-нибудь, хорошо оплачиваемой синекуры. Онъ долженъ сдѣлать для отца женщины, которую любить.

И въ то же мгновеніе въ головѣ Козельскаго пронеслась мысль — обратиться къ самой послѣдней крайности къ Никодимцеву, если Бенштейнъ откажетъ. Конечно, лучше бы, еслибъ не пришлось этого дѣлать, но... бываютъ такія положенія, когда разбирать нечего.

И Козельскій думалъ: какъ это сдѣлать и въ какой формѣ? Написать ли ему о временномъ затрудненіи или поѣхать и лично рассказать откровенно о тяжеломъ своемъ положеніи... Но это показалось ему отвратительнымъ... Никодимцевъ можетъ подумать, что онъ эксплуатируетъ его отношенія къ Иннѣ.

— Нельзя, нельзя! — проговорилъ вслухъ Козельскій и рѣшилъ, что воспользоваться Никодимцевымъ можно только тогда, когда Никодимцевъ женится на Иннѣ и, слѣдовательно, между тестомъ и зятемъ будутъ близкія родственныя отношенія.

Придумывая разные выходы изъ своего положенія, Козельскій не остановился на самомъ простѣйшемъ и, казалось бы, самомъ достижимомъ — на радикальномъ измѣненіи образа жизни и сокращеніи, такимъ образомъ, расходовъ, хотя въ минуты острыхъ денежныхъ затрудненій такія мысли и мелькали въ его головѣ. Но онъ отлично сознавалъ ихъ несбыточность. Все его существо со всѣми его привычками инстинктивно протестовало противъ измѣненія образа жизни, являвшагося для него потребностью, лишеніе которой онъ не могъ себѣ даже и представить. Измѣнить жизнь такъ, чтобы отекладывать на уплату долговъ половину

заработка, значило: отказаться от двухтысячной квартиры, от превосходнаго кабинета, мраморной ванны, отличнаго повара и умѣлой прислуги, от платья от Пуля, от хорошихъ сигаръ, от ложи въ оперѣ, от журфиксовъ и от Ордынцевой. Мало того: пришлось бы прервать знакомство со многими нужными и вліятельными людьми, нельзя было бы нанимать приличной дачи для семьи и самому уѣзжать за границу на два мѣсяца, чтобъ отдыхать и освѣжаться... однимъ словомъ, надо было бы отказаться от всего того, что казалось Козельскому единственнымъ благомъ жизни, изъ-за котораго стоитъ работать и добиваться еще большихъ благъ... Это было невозможнымъ и, какъ думалъ Козельскій, унизительнымъ и для него самого, и для семьи. И какъ бы смотрѣли на него не только знакомые, но даже жена и дочери? Умный, способный человекъ и не можетъ даже устроиться сколько-нибудь прилично? Не можетъ хорошо одѣвать жену и дочь? Не можетъ позволить себѣ маленькаго комфорта любовной связи? Последнее особенно было дорого его превосходительству, и свиданія съ красивой и умѣющей быть желанной Ордынцевой были для Козельскаго однимъ изъ тѣхъ значительныхъ благъ, безъ которыхъ жизнь была бы для него скучной и не къ чему было бы ему такъ тренировать себя воздержаніемъ въ пищѣ, массажемъ и гимнастикой.

„Дастъ или не дастъ?“

Этотъ вопросъ все болѣе или болѣе удручалъ Козельскаго по мѣрѣ приближенія къ Васильевскому острову, и когда извозчикъ остановился у подъѣзда одного изъ большихъ домовъ на Большомъ проспектѣ, Козельскій чувствовалъ тотъ страхъ, какой испытывалъ гимназистъ передъ экзаменомъ у строгаго учителя.

У него даже схватывало поясницу, когда онъ спросилъ у швейцара: гдѣ живетъ г. Бенштейнъ?

— Здѣсь. Во второмъ этажѣ.

— Дома?

— Должно быть, дома.

Въ швейцарской было тепло, и Козельскій приказалъ швейцару снять съ себя шинель съ серебристымъ бобровымъ воротникомъ, подбитую пльезами.

— Не пропадетъ здѣсь?

— Помилуйте... Я не отлучусь.

— Такъ во второмъ этажѣ?

— Точно такъ-съ!

Его превосходительство, не спѣша, чтобы не было отдышки, поднялся во второй этажъ и съ замираніемъ сердца подавилъ пуговку электрическаго звонка у двери, на которой красовалась мѣдная досочка съ вырѣзанной на ней фамиліей по-русски и по-французски.

*

„Экая каналья, этотъ жидъ. Въ бель-этажѣ живетъ!“ — подумалъ съ чувствомъ неодобренія Козельскій, приподнимая свою красивую голову въ бобровой боярской шапкѣ.

Миловидная, щеголеватая горничная отворила двери.

„И горничная прилична!“ — подумалъ Козельскій, оглядывая быстрымъ, опытнымъ взглядомъ горничную, и спросилъ съ той обворожительной ласковостью, съ какою говорилъ со всѣми хорошенькими женщинами:

— Господинъ Бенштейнъ дома?

— Дома-съ. Но только сейчасъ они обѣдаютъ! — отвѣчала горничная и вся вспыхнула подъ мягкимъ и ласкающимъ взглядомъ Козельскаго.

— А вы, моя красавица, все-таки передайте сейчасъ вотъ эту карточку... Только прежде покажите, куда у васъ тутъ пройти...

— Пожалуйста въ гостиную! — улыбаясь, сказала горничная.

Она распахнула дверь и пошла въ столовую докладывать.

Козельскій вошелъ въ большую гостиную и снова былъ удивленъ роскошью и вкусомъ обстановки.

„И даже Клеверъ!“ — мысленно проговорилъ онъ, останавливаясь передъ большой картиной съ зимнимъ пейзажемъ.

„Со вкусомъ и не дурно живетъ этотъ жидъ!“ — подумалъ и снова почему-то неодобрительно его превосходительство, присаживаясь въ кресло у стола, на которомъ стояла высокая лампа съ большимъ краснымъ шелковымъ абажуромъ, убраннымъ кружевами.

И опять одна мысль овладѣла имъ: „дастъ Бенштейнъ или не дастъ?“

Вся эта обстановка и то, что „этотъ жидъ“ заставляетъ его ждать, казались Козельскому весьма неблагоприятными признаками. Настроеніе его дѣлалось угнетеннымъ, и онъ почти былъ увѣренъ, что попытка его занять у Бенштейна не увѣнчается успѣхомъ.

Прошло минутъ пять, когда изъ-за портьеры вышелъ молодой и красивый брюнетъ, щегольски одѣтый, съ крупнымъ брилліантомъ на мизинцѣ маленькой и волосатой руки и съ изысканной любезностью произнесъ, выговаривая слова почти безъ акцента:

— Прошу извинить, что заставилъ ждать, ваше превосходительство!

Его превосходительство поднялся съ кресла и, принявъ тотчасъ же свой обычный видъ барина, кивнулъ головой и, протягивая молодому человѣку руку, проговорилъ съ тѣмъ добродушіемъ, которое вошло у него въ привычку при дѣловыхъ сношеніяхъ:

— Я самъ виноватъ, что пріѣхалъ во время вашего обѣда, Монсей Лазаревичъ.

И, не ожидая приглашенія садиться, опустился въ кресло.

— Чѣмъ могу служить вамъ?—началь Бенштейнъ стереотипнымъ вопросомъ.

И, усѣвшись на диванѣ и принявъ необыкновенно серьезный видъ, глядѣлъ въ упоръ на Козельскаго своими черными, большими и слегка влажными глазами.

Козельскій уже не сомнѣвался, что дѣло его проиграно. И вѣроятно, потому онъ съ напускною небрежностью передалъ рекомендательное письмо одного своего пріятеля и кліента Бенштейна и съ такою же напускной шутливостью промолвилъ:

— Въ письмѣ все изложено. Я могу только пожелать, чтобы оно было убѣдительно для васъ, Моисей Лазаревичъ.

Козельскій закурилъ папироску.

Онъ затягивался и пускалъ дымъ съ нервной торопливостью, взглядывая на Бенштейна, лицо котораго сдѣлалось еще серьезнѣе, когда онъ читалъ и умышленно долго читалъ, казалось Козельскому.

Наконецъ господинъ Бенштейнъ положилъ рекомендательное письмо на столъ, оставивъ на немъ свою волосатую, маленькую руку съ сверкавшимъ на мизинцѣ брилліантомъ, словно бы приглашая Козельскаго полюбоваться имъ, и проговорилъ:

— Къ сожалѣнію, я не могу быть полезнымъ вашему превосходительству, не смотря на готовность услужить вамъ. Капиталистъ, деньгами котораго я оперировалъ, приказываетъ это дѣло и никакихъ операцій больше не производить!—прибавилъ молодой человѣкъ свою обычную форму отказа, когда не считалъ просителя благонадежнымъ человѣкомъ.

А Бенштейнъ хорошо зналъ, что его превосходительство запутанъ въ долгахъ.

Не смотря на ожиданіе отказа, Козельскій, получивъ его, невольно измѣнился въ лицѣ. Въ немъ было что-то жалкое и растерянное. И въ дрогнувшемъ его голосѣ прозвучала просительная до униженія нотка, когда онъ сказалъ:

— Но мнѣ нужна небольшая сумма, Моисей Лазаревичъ.

— Именно?

— Полторы... даже тысячу двѣсти и на короткій срокъ.

— Полторы тысячи, конечно, небольшая сумма, но когда она нужна, то дѣлается большою, позволю себѣ замѣтить, ваше превосходительство!—проговорилъ уже болѣе фамиллярнымъ тономъ молодой человѣкъ.

И не безъ участія освѣдомился:

— Вѣрно срочный платежъ?

— Да.

— И скоро?

— Завтра.

Бенштейнъ поморщился съ такимъ видомъ, будто платежъ предстоялъ не Козельскому, а ему.

У Козельскаго блеснула надежда, и онъ сказалъ:

— Вы сдѣлали бы мнѣ огромное одолженіе, если бы уговорили своего капиталиста, Моисей Лазаревичъ.

— Я сдѣлалъ бы одолженіе не вамъ, а своему довѣрителю, такъ какъ выгодно помѣстилъ бы его капиталъ! — проговорилъ Бенштейнъ, видимо самъ очень довольный сказанной имъ любезностью. — Но что подѣлаешь съ капиталистомъ? Онъ принципиально рѣшилъ прекратить операціи, и отъ своего принципа не отойдетъ! Я его знаю! — говорилъ молодой человѣкъ, щеголяя выраженіями: „принципальный“ и „принципъ“. — Я съ удовольствіемъ предложилъ бы вамъ свои деньги, но у меня свободныхъ нѣтъ...

Козельскій не сомнѣвался, что Бенштейнъ вретъ относительно прекращенія операцій, и ясно видѣлъ, что дальнѣйшіе разговоры бесполезны.

И негодующій за свое бесполезное униженіе передъ этимъ франтоватымъ „жидомъ“, готовый теперь перервать ему горло, Козельскій хотѣлъ, было, подняться, какъ Бенштейнъ вдругъ сказалъ, понижая голосъ, и съ нѣкоторою значительностью:

— Извините меня, ваше превосходительство, если я позволю себѣ выразить свое мнѣніе относительно денегъ, которыя вамъ нужны...

— Сдѣлайте одолженіе.

— Вы вотъ беспокоите себя... ищете денегъ подъ большіе проценты, а между тѣмъ...

Бенштейнъ остановился словно бы въ нерѣшительности и пристально взглянулъ на Козельскаго.

— ...А между тѣмъ, — продолжалъ онъ, видимо рѣшившись, — вамъ стоитъ только пожелать, и у васъ сейчасъ же будутъ деньги... И безъ всякихъ процентовъ, и безъ всякихъ условій...

— Какимъ образомъ? Я васъ не понимаю, Моисей Лазаревичъ! — спросилъ Козельскій, изумленный и въ то же время обрадованный.

Ему пришла въ голову мысль, что Бенштейнъ затѣваетъ какое-нибудь предпріятіе и ищетъ его помощи.

— Пять тысячъ съ большимъ удовольствіемъ предложить вамъ хоть сейчасъ мой тестъ, г. Абрамсонъ. Вы его изволите знать... Онъ подрядчикъ въ вашемъ правленіи... И на него вамъ напрасно наговорили... Онъ добросовѣстный подрядчикъ, а между тѣмъ съ новаго года не хотятъ возобновить съ нимъ контрактъ... И если бы его возобновили...

Его превосходительство понялъ въ чемъ дѣло и густо покраснѣлъ.

До сихъ поръ онъ еще ни разу не бралъ взятокъ, хотя и имѣлъ возможность, и съ брезгливостью относился къ людямъ, которые ихъ брали. Братъ взятки Козельскій считалъ позорнымъ дѣломъ, но впутываться въ разныя дѣла, хотя бы самыя двусмысленныя, проводить ихъ и брать за это „коммисію“ онъ не находилъ предосудительнымъ и считалъ себя вполне порядочнымъ человѣкомъ.

Дошелъ онъ до этихъ взглядовъ на порядочность постепенно. Въ молодые годы онъ громилъ тѣхъ дѣльцовъ, которые ловили рыбу въ мутной водѣ. Въ сорокъ лѣтъ, когда сдѣлался однимъ изъ директоровъ желѣзнодорожнаго правленія и частнаго банка, онъ находилъ, что торговля и промышленность имѣютъ свои законы.

Нѣсколько мгновеній Козельскій молчалъ.

— Я возобновлю контрактъ съ вашимъ тестемъ! — наконецъ проговорилъ онъ.

Черезъ нѣсколько минутъ явился и г. Абрамсонъ и скоро Козельскій уѣхалъ съ чекомъ на пять тысячъ, написавъ Абрамсону письмо о томъ, что контрактъ съ нимъ будетъ возобновленъ.

Кромѣ того онъ обѣщалъ дать мѣста племяннику Абрамсона и сестрѣ Бенштейна.

II.

Припоминая свое посѣщеніе на Васильевскомъ островѣ, Козельскій сознавалъ, что поступилъ скверно, но старался успокоить свою совѣсть и скоро успокоилъ ея соображеніями о безвыходности положенія, въ которомъ онъ находился, и намѣреніемъ возвратить пять тысячъ Абрамсону и не дѣлать ему никакихъ поблажекъ. Напротивъ, строго требовать точнаго исполненія контракта. Что же касается обѣщанія дать мѣста двумъ неизвѣстнымъ ему лицамъ, то это нисколько не беспокоило Козельскаго. Мало ли кому приходится давать мѣста.

Черезъ четверть часа Николай Ивановичъ уже распредѣлялъ съ карандашомъ въ рукахъ: на что пойдутъ пять тысячъ. Тысяча двѣсти рублей назначены были въ уплату по векселю. Затѣмъ, Козельскій записалъ: на уплату мелкихъ долговъ 500 р.

— Непремѣнно надо заплатить 300 р. вурьеру и дать ему 25 рублей — подумалъ Козельскій и сталъ припоминать, кому еще онъ долженъ по мелочамъ.

Затѣмъ, онъ отдѣлилъ двѣ тысячи на уплату по векселямъ, срокъ которыхъ былъ черезъ мѣсяцъ и записалъ восемьсотъ рублей на уплату одного стараго долга на слово, но передѣлалъ эту цифру на 300 р., рѣшивъ, что довольно и трехсотъ, такъ какъ тому лицу, которому онъ былъ долженъ, деньги не нужны и оно о нихъ не напоминаетъ.

Въ концѣ-концовъ по списку выходило, что если уплатить часть болѣе или менѣе неотложныхъ долговъ, то изъ пяти тысячъ не останется ни гроша.

И Козельскій сталъ снова передѣлывать списокъ и уменьшать цифры и, наконецъ, составилъ такой, что осталось полторы тысячи. И Козельскій повеселѣлъ, рѣшивъ изъ этого остатка дать пятьсотъ рублей Иннѣ на туалеты, подарить триста женѣ и двѣсти Тинѣ и купить Ордынцевой рублей въ триста брилліантовое кольцо на мизинецъ. Оно очень пойдетъ къ ея красивой рукѣ.

„Кстати завтра нашъ день!“—вспомнилъ Козельскій и, поднявшись съ кресла, подошелъ къ зеркалу и взглянулъ на свое молоджавое, красивое лицо съ удовлетвореннымъ чувствомъ чловека, который еще можетъ нравиться женщинамъ.

„Отлично бы завтра пообѣдать съ Нитой у Дюнона и потомъ провести вечеръ вмѣстѣ, вмѣсто того, чтобы видѣться, какъ обыкновенно, днемъ. Разнообразіе не мѣшаетъ!“—не безъ игривости подумавъ его превосходительство и, возвратившись къ столу, написалъ двѣ записки: одну Ордынцевой, чтобы была въ шесть часовъ вечера въ Гостиномъ, у магазина Вольфа, другую—въ „пріютъ“, чтобы все было готово.

Приказавъ своему старому Кузьмѣ бросить письма въ почтовый ящикъ, Козельскій спряталъ долговой списокъ въ жилетный карманъ и пошелъ въ столовую, чтобы попросить чаю, захвативъ съ собою корзину съ дюшессами, которые онъ купилъ въ Милютиныхъ лавкахъ, возвращаясь съ Васильевского острова, заплативъ за десятокъ десять рублей.

Антонина Сергѣевна удивилась, что мужъ дома, и распорядилась скорѣе подавать самоваръ.

Когда у Козельскаго бывали въ карманѣ деньги и не наступали сроки платежей, онъ бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, веселъ и милъ дома и особенно любезенъ съ женой.

И теперь, передавая ей корзинку, онъ ласково проговорилъ:— Ты любишь груши, Тоня. Кажется, онѣ не дурны.

Эта внимательность всегда трогала Антонину Сергѣевну, и она сказала:

— Баловникъ ты, мой милый, и умѣешь бросать деньги...

Козельскій присидѣлъ вдвоемъ съ женой около часу, и эта рѣдкость была необыкновенно пріятна Антонинѣ Сергѣевнѣ. Они разговаривали, главнымъ образомъ, объ Иннѣ. Козельскій сообщилъ, что Никодимцевъ влюбленъ въ Иняну и что было бы большимъ счастьемъ, если бы она вышла за него замужъ.

Антонина Сергѣевна была очень удивлена. Она и не догадывалась. Да и Инна, кажется, не догадывается—говорила она и тревожно спросила:

— А развѣ Лева дастъ разводъ?..

— Мы его заставимъ дать разводъ. Заставимъ этого идиота!— энергично проговорилъ Козельскій, возбуждавшійся при мысли, что этотъ идиотъ можетъ помѣшать такой блестящей партіи.

Говорили и о второй дочери. Отецъ сказалъ, что милліонеръ Гобзинъ сейчасъ же женился бы на Тинѣ, если бы только она захотѣла. Но онъ ей не нравится... И никто ей не нравится.

— Кажется, Борисъ Александровичъ...

— Да развѣ она пойдетъ за этого голыша?... Онъ милый человекъ, но надо же содержать жену... Ну, положимъ, мы помогали бы имъ... Все-таки это не устраивало бы ихъ... У Тины извѣстныя привычки...

— Но когда любишь...

— Въ томъ-то и дѣло, что Тина никого не любитъ...

— Еще, значитъ, время не пришло. А полюбить, такъ и за нищаго выйдетъ. Что у тебя и у меня было, когда мы пожелались? Ничего, кромѣ твоей умной головы на плечахъ...

И Антонина Сергѣевна влюбленными глазами глядѣла на мужа...

Когда Козельскій, уходя въ кабинетъ, простился съ женой, по обыкновенію цѣлуя ея руку, Антонина Сергѣевна благодарила его за то, что онъ съ ней посидѣлъ.

— Я еще посидѣлъ бы, но надо поработать.

— Иди, иди милый...

— А завтра не придется дома обѣдать... Сегодня звалъ предсѣдатель правленія... Неловко отказаться...

— И не отказывайся... Поѣзжай, Ника... Не все же тебѣ дома сидѣть!..—говорила любящая женщина, словно бы забывая, что „Ника“ и безъ того рѣдко сидитъ дома.

„Ну какъ не беречь такую жену!“—не безъ умиленнаго чувства мысленно произнесъ тронутый мужъ.

Въ томъ, что онъ ее „берегъ“, то-есть хорошо скрывалъ свои связи, онъ находилъ оправданіе и считалъ себя хорошимъ мужемъ, шадившимъ самолюбіе своей жены и не позволявшимъ себѣ давать поводъ къ пересудамъ о ней, какъ о несчастной женщинѣ. Другіе мужья—и Николай Ивановичъ вспомнилъ этихъ другихъ—не стѣсняются, чуть не открыто живутъ со своими любовницами, а онъ никогда этого не дѣлалъ и никогда не сдѣлаетъ, оберегая „святую женщину“ отъ напрасныхъ страданій.

Такъ рассуждалъ Козельскій, только что солгавшій о приглашеніи на обѣдъ, и вмѣсто скучныхъ бумагъ, лежавшихъ въ портфель уже третій день, онъ снялъ свой вестонъ и принялся за упражненіе съ гирями.

Довольный, что онъ свободно поднимаетъ ихъ, не чувствуя усталости, и полный удовлетвореннаго чувства отъ сознанія своей

физической крѣпости и своего здоровья, онъ въ это время забылъ и думать о томъ, какъ получилъ чекъ въ пять тысячъ и, жизне-радостный, думалъ о завтрашнемъ днѣ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I.

Сестры всю дорогу молчали.

Когда извозчикъ переѣхалъ Александровскій мостъ и, минуя медико-хирургическую академію, завернулъ въ плохо-освѣщенную улицу Выборгской стороны, Инна спросила:

— Ты знаешь, гдѣ Община Святаго Георгія?

— Должно быть, гдѣ-то здѣсь, недалеко... Найдемъ!

И извозчикъ рѣшительно стегнулъ лошадь.

Дѣйствительно онъ скоро нашелъ и остановился у подъѣзда больницы со стороны набережной. Но двери были закрыты.

Стоявшій у Самсоніевскаго моста городской подошелъ и объяснилъ, что если желаютъ попасть въ больницу, то надо ѣхать назадъ и повернуть въ Костромскую улицу, гдѣ ворота въ больницу.

Извозчикъ повернулъ назадъ и скоро въѣхалъ въ глухую полутемную улицу.

— Вотъ она самая!—проговорилъ онъ, останавливаясь у закрытыхъ воротъ.

Калитка была не закрыта, и дамы вошли. Сторожъ указалъ имъ на освѣщенные окна больницы. Онѣ пошли черезъ большой дворъ и вошли въ одну изъ дверей зданія больницы. Ни души. Вездѣ тишина.

Онѣ поднялись по лѣстницѣ и отворили двери. На нихъ сразу пахнуло тепломъ и свѣтомъ, когда они очутились въ прихожей, въ открытыя двери которой увидѣли большую комнату со столомъ по срединѣ и съ большимъ образомъ у стѣны.

Маленькаго роста моложавая и пригожая сестра милосердія, въ бѣломъ чепчикѣ и бѣломъ передникѣ, несла кому-то лѣкарство. Инна Николаевна обратилась къ ней.

Оказалось, что раненый въ другой палатѣ.

— Я васъ сейчасъ проведу. Только дамъ больному лѣкарство.

„Сестра“ говорила какъ-то особенно, не такъ, какъ говорили въ томъ обществѣ, въ которомъ вращались дочери Козельскаго— просто, спокойно и въ то же время привѣтливо, безъ какой бы то ни было дѣланности и желанія нравиться.

И это тотчасъ же было замѣчено Инной.

Черезъ пять минутъ „сестра“ вернулась изъ одной изъ палатъ, двери которыхъ выходили въ столовую, и сказала:

— Пойдемте...
 — А какъ же... мы въ шубахъ...
 — Ничего... Тамъ снимете... Онъ лежитъ въ палатѣ рядомъ.
 — Скажите, сестра... Онъ опасенъ?—спросила Тина.
 — Не знаю... Нѣтъ, кажется... Его утромъ привезли къ намъ. Слѣдовало бы въ военный госпиталь, но у насъ случилась свободная комната, его и принялъ Николай Яковлевичъ, старшій докторъ.

Когда они проходили черезъ столовую, среди тишины вдругъ раздались стоны.

Инна вздрогнула и участила шаги.

Дежурная сестра сосѣдней палаты, высокая, молодая брюнетка, манеры которой и нѣкоторое щегольство форменнаго платья обличали женщину изъ общества, отнеслась къ посѣтительницамъ съ тою же сдержанно-спокойной прिवѣтливостью, какъ и сестра въ первой палатѣ. Но только, какъ показалось Иннѣ Николаевнѣ, она съ бѣльшимъ любопытствомъ оглядѣла быстрымъ взглядомъ своихъ большихъ, темныхъ и замѣчательно красивыхъ глазъ, какъ самихъ посѣтительницъ, такъ и ихъ платья, когда онѣ сняли въ прихожей шубы.

Въ больницѣ уже почему-то знали, что молодой артиллеристъ стрѣлялся изъ-за любви, и „сестра“ сразу догадалась, что одна изъ пріѣхавшихъ такъ поздно была „героиней“.

„Но которая?“—не безъ любопытства думала сестра.

— Можно видѣть Горскаго, Бориса Александровича? Его сегодня привезли? Вы не откажете... не правда ли?—тихо и смущенно спрашивала Инна, по привычкѣ улыбаясь глазами.

— Видѣть можно, но не надолго...

— Благодарю васъ. А какъ онъ... опасенъ?—спросила старшая сестра.

— Онъ будетъ, конечно, живъ?—спросила почти одновременно и Тина.

„Эта!“—рѣшила сестра, взглядывая пристальнѣе на красивое, вызывающее и далеко не убитое лицо молодой дѣвушки.

И почувствовавъ къ ней невольную неприязнь, которую старалась скрыть, она сдержанно и нѣсколько строже отвѣтила Тинѣ:

— Надо надѣяться. Пока опасности нѣтъ... Все идетъ хорошо.

И, отводя глаза отъ молодой дѣвушки, спросила, обращаясь къ Иннѣ Николаевнѣ:

— Вы вдвоемъ хотите посѣтить Бориса Александровича?

— Нѣтъ... Сестра пойдетъ...

— Не угодно ли посидѣть пока въ столовой, а я пойду предупредить больного. Какъ прикажете о васъ сказать?

— Козельская!—твердо и довольно громко отвѣтила молодая дѣвушка.

Сестра ушла въ конецъ столовой и скрылась въ дверяхъ послѣдней комнаты.

Инна Николаевна опустилась на стулъ. Младшая сестра не садилась.

Вокругъ царила мертвая тишина. По временамъ только слышался чей-нибудь тяжелый вздохъ и стонъ.

— А жутко здѣсь!—промолвила Инна.

— Ты нервна... Мнѣ не жутко.

„Бравируетъ!“—подумала Инна.

— И какъ тяжело должно быть сестрамъ...

— И, главное, скучно!—отвѣтила молодая дѣвушка.—А у этой брюнетки трагическое лицо...

— Глаза прелестные...

— Какъ долго однако она не идетъ!—нетерпѣливо промолвила Тина.

— Говори тише, Тина... Это только кажется, что долго... Вотъ и сестра...

— Не угодно ли? Борисъ Александровичъ просить васъ...

Молодая дѣвушка смѣло и рѣшительно пошла за сестрой. Та отворила дверь, пропустила впередъ Тину и, вернувшись, пошла въ одну изъ комнатъ, откуда чей-то капризный голосъ звалъ: „сестра“!

II.

Тина въ первое мгновеніе не увидала лица Бориса Александровича въ небольшой, слабо освѣщенной комнатѣ.

И когда она приблизилась къ кровати, то увидала совсѣмъ другое, не похожее на то счастливое, здоровое и румяное лицо, которое цѣловала сегодня. Оно было блѣдно, серьезно, испуганно и некрасиво, со своими ввалившимися и лихорадочно блестящими глазами.

При видѣ Тины, изъ-за которой онъ теперь лежалъ здѣсь и жадно хотѣлъ жизни, онъ не особенно радостно проговорилъ, выпрастывая изъ одѣяла свою руку:

— Вотъ это мило, что вы пришли, Татьяна Николаевна... Я нечаянно, разряжая пистолеть, ранилъ себя... и мнѣ хотѣлось васъ видѣть... Спасибо...

Тина пожала ему руку, точасъ же ее высвободила и присѣла въ глубокое кресло, неприятно пораженная такою перемѣной Бориса Александровича. Еще утромъ близкій ей, теперь онъ казался ей чужимъ. И чужимъ, и физически неприятнымъ,

и она очень рада была, что Горскій не протянулъ ей губъ для поцѣлуя и вообще не обнаружилъ въ первое мгновеніе встрѣчи сантиментальности, которой въ немъ было такъ много, когда онъ былъ здоровъ.

Хотя молодая дѣвушка и чувствовала себя немного виноватою и не столько передъ Горскимъ, сколько передъ собой за то, что сблизилась съ такимъ восторженнымъ влюбленнымъ, но въ душѣ ея шевелился упрекъ противъ него за то, что своимъ безумнымъ поступкомъ онъ компрометировалъ ее. Положимъ, она не особенно обращаетъ вниманіе на то, что про нея говорятъ—такъ, по крайней мѣрѣ, она утверждала,—но въ данномъ случаѣ ей были неприятны сплетни и пересуды, которые непременно появятся на ея счетъ. Въ выстрѣлъ по неосторожности никто не повѣритъ.

„Какъ однако онъ подурнѣлъ!“ подумала снова Тина и понимая умомъ, что надо что-нибудь сказать человѣку, который изъ-за нея стрѣлялся, и чѣмъ-нибудь его утѣшить, проговорила, стараясь придать своему голосу мягкій и задушевный тонъ:

— Ну какъ вы себя чувствуете, Борисъ Александровичъ?..

Онъ почувствовалъ и въ тонѣ этихъ словъ, и въ глазахъ молодой дѣвушки скрытое равнодушіе. Онъ ждалъ, что она придетъ разстроенная, сознающая свою вину передъ нимъ... Онъ даже раньше думалъ, что она опустится передъ его кроватью на колѣни и скажетъ: „прости меня!“, а она между тѣмъ...

— Ничего... хорошо... Лихорадка не велика... всего тридцать девять. Докторъ говоритъ, что этотъ дурацкій, случайный выстрѣлъ по счастью не задѣлъ легкаго... И я поправлюсь, непременно поправлюсь!—возбужденно и словно бы съ вызовомъ къ кому-то проговорилъ Горскій...

И онъ теперь совсѣмъ другими глазами глядѣлъ на Тину... Въ его взглядѣ не чувствовалось любви.

Когда онъ послалъ студента Скуратова за Тиной, ему казалось, что ему необходимо видѣть ее и сообщить ей что-то важное и значительное и о томъ, какъ онъ ее любитъ, и о томъ, какъ она хороша и прекрасна. Но потомъ онъ уже ни разу даже и не вспомнилъ о ней. Страхъ смерти и неодолимая жажда жизни всецѣло охватили его и все остальное не имѣло для него ни малѣйшаго значенія. Съ наивнымъ эгоизмомъ молодости онъ думалъ, что онъ не долженъ, не можетъ умереть и съ отвращеніемъ вспомнилъ о револьверѣ. И когда врачъ, вынувшій пулю, обнадежилъ молодого человѣка, иронически посовѣтовавъ впредь осторожнѣе обращаться съ огнестрѣльнымъ оружіемъ, онъ былъ полонъ радости и отвѣтилъ, что будетъ очень остороженъ. И въ эти нѣсколько часовъ лежанія въ больницѣ при видѣ этихъ заботливыхъ лицъ врачей, сестеръ и сидѣлокъ, при мысли, что онъ могъ уме-

реть, онъ точно прозрѣлъ и понялъ всю нелѣпость этого выстрѣла и ничтожность причины его. И любовь къ Тинѣ казалась чѣмъ-то позорнымъ именно за то, что изъ-за этой любви онъ стрѣлялся... А главное: ему хотѣлось жить. Просто жить: дышать воздухомъ, двигаться, видѣть все кругомъ — и больше ничего.

И теперь посѣщеніе Тины нисколько не обрадовало его. И ему нечего было сказать той самой дѣвушкѣ, которую, казалось, онъ такъ любилъ, что мысль о потерѣ ея ласки привела къ выстрѣлу. Здоровый, полный силъ, онъ считалъ близость съ Тиной высшимъ для себя счастьемъ и влялся у ея ногъ въ своей любви. Теперь же больной, лишенный силъ и полный эгоизма жизни, онъ не только равнодушными глазами смотрѣлъ на свѣжее, румяное, хорошенькое ея лицо, на ея волыхавшуюся грудь, на ея маленькія бѣлыя руки, которыя онъ такъ любилъ цѣловать, но смотрѣлъ съ затаенной враждебностью и, глядя на нее, какъ на виновницу того, что произошло, онъ мысленно обвинялъ своего „ангела“ въ чувственной распущенности, въ цинизмѣ ея теоріи „пріятныхъ ощущений“ и находилъ, что она безсердечная эгоистка, думающая только о себѣ, о своихъ наслажденіяхъ. Изъ-за нея онъ пересталъ читать, заниматься... Изъ-за нея онъ забылъ обо всемъ и только каждый день ожидалъ ее, чтобы проводить часы молча въ горячихъ поцѣлुяхъ, послѣ которыхъ она уходила, по прежнему смѣющаяся надъ его восторженностью.

Обвиняя и презирая Тину, по обычаю большинства мужчинъ, за то, что она была близка съ нимъ и отказывала выйти за него замужъ, и за то, что она его любила „низменно“, ради „пріятныхъ впечатлѣній“, а онъ, напротивъ, возвышенно и благородно, Горскій съ наивнымъ легкомысліемъ забывалъ, что и онъ самъ, какъ и Тина, на практикѣ осуществлялъ теорію пріятныхъ ощущений, хотя и прикрывалъ ихъ сантиментальными фразами и влятвами. Онъ словно бы не понималъ или боялся понять, что и его любовь, съ которой онъ носился, считая ее чистою, глубокою и сильною, была такимъ же одностороннимъ влеченіемъ. Не даромъ же она такъ скоро завяла при первомъ же испытаніи, — какъ только заглохла страсть въ больномъ человѣкѣ и истиннѣтъ самосохраненія поглотилъ все его существо.

И, однако, онъ считалъ себя правымъ. Онъ разлюбилъ, потому что она оказалась не такою, какою онъ ее хотѣлъ видѣть. Онъ былъ жертвой. Онъ чуть не погибъ изъ-за нея.

И оба они — еще утромъ опьяненные поцѣлуями — въ этотъ вечеръ чувствовали взаимную враждебность, но оба считали нужнымъ скрывать ее и притворяться, чтобы не обидѣть другъ друга.

Тину поразило это равнодушіе къ ней. Сама, равнодушная къ Горскому, она втайнѣ сердилась, что онъ больше не ея вѣрно-подданный рабъ.

Нѣсколько секундъ длилось молчаніе. Горскій закрылъ глаза. Наконецъ Тина спросила:

— Быть можетъ, вы хотите спать, Борисъ Александровичъ?..

— Да... Вы меня извините... Я усталъ...

— Завтра я васъ опять навѣщу.

— Зачѣмъ вамъ беспокоиться, Татьяна Николаевна.

— Беспокойство небольшое...

— Все-таки... И вамъ будетъ скучно съ больнымъ...

И онъ не безъ усмѣшки прибавилъ:

— Вѣдь здѣсь вы не найдете пріятныхъ впечатлѣній... Одни только тяжелыя...

— Это что—упрекъ?

— Мнѣ не въ чемъ упрекать васъ...

— Ну полно, полно, не сердитесь, Борисъ Александровичъ, и простите, если считаете меня виноватой... Останемся друзьями. А пока до свиданія—до завтра. Покойной ночи.

Тина кивнула привѣтливо головой и торопливо ушла въ двери.

— Послушайте, Татьяна Николаевна!—овликнулъ ее Горскій.

Тина остановилась.

— Знаете ли, о чемъ я васъ попрошу?

— О чемъ?

— Не приходите больше ко мнѣ!

— Я больше не приду!—сказала Тина.

И вышла изъ комнаты, оскорбленная.

Въ столовой она увидала сестру Горскаго, Вѣру Александровну Григорьеву и съ ней студента Скуратова. Онѣ обмѣнялись холодными поклонами.

— Ъдемъ, Инна!

— Что жъ вы такъ недолго посидѣли у Бориса Александровича?—спросила „сестра“.

— Боялась беспокоить больного. Прощайте!

Когда сестры надѣвали при помощи сидѣлки свои шубы, къ Тинѣ подошелъ Скуратовъ и, пожимая ей руку, сказалъ болѣе ласковымъ тономъ, чѣмъ говорилъ раньше:

— На два слова, Татьяна Николаевна.

И когда Тина отошла съ нимъ въ сторону, студентъ таинственно проговорилъ:

— Когда можно принести вамъ маленькій пакетъ отъ Бориса Александровича?

Молодая дѣвушка догадалась, что это ея нѣсколько писемъ и обрадованно отвѣтила:

— Завтра послѣ десяти часовъ утра. Благодарю васъ, г Скуратовъ.

И сама протянула ему руку и крѣпко пожала ее.

— Я васъ до извозчика проведу. Позволите?

— Будемъ очень благодарны... Инна!.. Представляю тебѣ... Ваше имя?..—обратилась молодая дѣвушка въ студенту.

— Викторъ Сергѣичъ...

— Викторъ Сергѣичъ Скуратовъ. Онъ принесъ извѣстіе о Борисѣ Александровичѣ.

Инна протянула руку.

Они втроемъ спустились и вышли на дворъ.

Морозъ былъ порядочный. Инна Николаевна обратила вниманіе, что студентъ былъ въ лѣтнемъ пальто, и просила не провожать ихъ.

— Вы простудитесь...

— Я привыкъ... не беспокойтесь.

Онъ проводилъ дамъ до извозчика.

— А вы долго еще останетесь въ больницѣ?—спросила Инна Николаевна.

— До утра. Мы съ Вѣрой Александровной будемъ по очереди дежурить у Бориса Александровича.

— Развѣ онъ такъ опасенъ?

— Врачи надѣются... Но сестра не хочетъ оставлять его... Прощайте!..

— Ну извозчикъ!.. Пожалуйста, скорѣй поѣзжай домой!—неряшливо проговорила Тина.

— Постараюсь, барышня.

Извозчикъ погналъ лошадей. Прозябшая на морозѣ, она пошла крупной рысью.

Очутившись на воздухѣ, далеко отъ больницы, Инна Николаевна облегченно вздохнула. Сознаніе, что она здорова, было теперь ей особенно радостно послѣ посѣщенія больницы.

— Ты что же, въ самомъ дѣлѣ, такъ мало посидѣла у Бориса Александровича?—спросила Инна Николаевна.

— Не къ чему было дольше сидѣть.

— Но было объясненіе?

— Слава Богу, никакого. И какія объясненія?.. Человѣкъ сдѣлалъ глупость—довольно и этого!

— Онъ, конечно, обрадовался тебѣ?

— Напротивъ... Сказалъ, что хочетъ спать и просилъ больше не приходить. Не угодно видѣть!—усмѣхнулась Тина.

— Это что значитъ?

— Точно ты не знаешь этихъ господъ, увѣряющихъ въ какой-то особенной любви?.. Меня, конечно, считаетъ виноватой, что стрѣлялся... Неблагодарное животное!—рѣзко прибавила Тина.

Обѣ примолкли.

Инна Николаевна вспомнила о Никодимцевѣ. Вотъ этотъ человекъ дѣйствительно любить. И при мысли, что она его потеряетъ, послѣ своей исповѣди, ей сдѣлалось грустно. Она чувствовала, что привыкла къ нему, что онъ ей дороже, чѣмъ она думала. И онъ, конечно, этого не понимаетъ...

„Даже умные мужчины бываютъ глупы!“ — мысленно проговорила она.

— А знаешь что, Инна?

— Что, милая?

— Я все-таки за Гобзина не выйду замужъ! — по-французски сказала она.

— Я въ этомъ и не сомнѣвалась...

Извозчикъ остановился у подъезда. Тина отдала ему два рубля, и сестры поднялись наверхъ. У молодой дѣвушки былъ свой маленький ключъ, которымъ она отворила двери.

Онѣ прошли къ матери. Та еще не спала и сидѣла за книгой въ своей новой маленькой комнатѣ.

— Хорошо ли прокатились, милыя мои? А папа грушъ привезъ... Отличныя... Кушайте...

Сестры просидѣли нѣсколько минутъ у матери, съѣли по грушѣ и, простившись, разошлись по своимъ комнатамъ.

Инна Николаевна тихо поцѣловала свою спящую дѣвочку, переодѣлась въ капоть, уложенный фрейлингъ, и присѣла къ письменному столу писать Никодимцеву.

Когда она окончила пробило два часа. Глаза Инны Николаевны были влажны отъ слезъ. Но она чувствовала себя точно освобожденной отъ тяжести, облегчивъ свою душу исповѣдью передъ человекомъ, который заблуждался на ея счетъ.

Глава четырнадцатая.

I.

Послѣ того, какъ молодой нѣмецъ-массажистъ промассажировалъ Козельскаго, Николай Ивановичъ взялъ, по обыкновенію ванну и въ девять часовъ утра, свѣжій, выхолненный и благоухающій пилъ у себя въ кабинетѣ кофе, просматривая телеграммы въ газетѣ.

Въ эту минуту вошелъ лакей и подаль Козельскому пакетъ.

— Посыльный принесъ! — доложилъ слуга.

— Ждетъ отвѣта?

— Нѣтъ. Ушелъ.

Козельскій вскрылъ пакетъ. Въ немъ былъ номеръ одной изъ газетъ мелкой прессы. Развернувъ газету, онъ увидѣлъ отчеркнутое краснымъ карандашомъ извѣстіе подъ заглавіемъ „Попытка къ самоубійству“.

Нѣсколько изумленный полученіемъ этой замѣтки, Козельскій прочиталъ слѣдующее:

„Вчера, въ двѣнадцать часовъ и 10 минутъ дня, выстрѣломъ изъ револьвера нанесъ себѣ рану въ грудь молодой и блестящій офицеръ Г. По счастью рука его, вѣроятно, дрогнула въ послѣдній моментъ и рана оказалась не смертельной. Молодого человека тотчасъ же отвезли въ больницу, гдѣ была извлечена пуля, какимъ-то чудомъ не задѣвшая легкаго. Есть надежда, что раненый останется живъ и наша армія не лишится одного изъ блестящихъ своихъ представителей. По собраннымъ нами достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, причина попытки къ самоубійству—романическаго характера. Не считая себя въ правѣ передавать непровѣренныя свѣдѣнія объ этомъ дѣлѣ, мы, тѣмъ не менѣе, можемъ пока сообщить, что поручикъ Г. выстрѣлилъ въ себя вслѣдъ за тѣмъ, какъ отъ него ушла его невѣста, молодая дѣвушка необыкновенной красоты, дочь одного почтеннаго лица, занимающаго видное общественное положеніе. Мы слышали—и дай Богъ, чтобы слухъ этотъ оказался несправедливымъ—что молодая дѣвушка, получившая первоначально извѣстіе о томъ, что женихъ убилъ себя на поваль, была такъ поражена, что сошла съ ума. Дальнѣйшія подробности сообщимъ завтра“.

Его превосходительство прочиталъ еще разъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

„И какой мерзавецъ послалъ это!“—проговорилъ онъ, швырнувъ газету на полъ и тотчасъ же позвонилъ.

— Татьяна Николаевна встали?—спросилъ онъ у лакея.

Слуга вышелъ и скоро вернулся съ докладомъ, что барышня встаютъ.

— Скажите барышниной горничной, чтобы она доложила Татьянѣ Николаевнѣ, что я ее прошу придти ко мнѣ, когда будетъ готова.

Козельскій поднялъ брошенный номеръ газеты и спряталъ его въ карманъ. Затѣмъ онъ встревоженно заглянулъ въ „хроніку“ своей газеты. Оказалось, что и тамъ есть извѣстіе, но безъ всякихъ неприличныхъ комментаріевъ. Все дѣло приписывалось неосторожному обращенію при разрядѣ револьвера и фамилія „молодого офицера“ была обозначена буквою Z.

Козельскій не сомнѣвался, что извѣстіе было о Горскомъ, и молодой офицеръ былъ обруганъ болваномъ.

„Нашелъ изъ-за чего стрѣляться!“

— Хороша и Тина!— Дофлѣрговалась-таки до газетнаго сообщенія!..— думалъ Николай Ивановичъ, обозленный всей этой исторіей. И безъ того у него вслѣхъ дѣлъ по горло, а тутъ еще новая исторія. Расхлебывай ее. Поѣзжай къ редактору, объясняй, что репортеръ все навралъ и требуй опроверженія.

И какъ у нихъ хватается духу печатать такія пакости. Нечего сказать, пресса!

Козельскій допилъ свой кофе далеко не въ томъ хорошемъ настроеніи, въ какомъ началъ и былъ раздраженъ противъ Тины. Замужъ не выходитъ, а бѣгаетъ въ гости къ холостому балбесу. Что за распущенность! Что за неосторожность! Хоть бы мать съ отцомъ пожалѣла, если себя не жалѣетъ. Навѣрное она бѣгала къ Горскому цѣловаться. То-то въ послѣднее время онъ рѣдко показывался, а прежде торчалъ каждый день...

„Надо съ ней серьезно поговорить!“— рѣшилъ Козельскій.

Но когда въ исходѣ десятаго часа въ кабинетъ вошла Тина и, поцѣловавъ отца въ лобъ, спросила, нѣсколько смущенная: „Ты меня звалъ, папа?“—Козельскій ужъ отошелъ и, глядя на свою цвѣтущую, пригожую дочь съ обычною мягкостью, проговорилъ:

— Присядь-ка, Тина, и объясни мнѣ, что значить эта нелѣпая замѣтка, которую я только-что получилъ. Есть ли въ ней капля правды?..

Тина присѣла въ кресло и стала читать поданную отцомъ газету.

— Какая глупая гадость!—проговорила она, возвращая отцу номеръ.—Какъ видишь, я не сошла съ ума!—прибавила она, пробуя улыбнуться.

— А Горскій стрѣлялся?

— Да. Мы вчера съ Инной были у него. Говорятъ, будетъ живъ.

— Этакій дуракъ! А стрѣлялся, конечно, изъ за тебя?

— Всегда свою глупость хочется свалить на другихъ... Я отказалась выйти за него замужъ.

— И умно сдѣлала... Неумно только одно, Тина, если только правда, что сообщаютъ въ замѣткѣ, будто ты ходила къ Горскому.

— Это правда, папа. И это мое личное дѣло.

— Мнѣ кажется, не совсѣмъ. Пока ты не замужемъ, до твоихъ поступковъ есть маленькое дѣло отцу и матери... Подумай объ этомъ Тина и... побереги хоть маму... Вотъ все, что я хо-

тѣлъ сказать тебѣ, и ты не сердись за эти слова... А я сейчас поѣду къ редактору и заставлю, чтобы не было дальнѣйшихъ подробностей... Я думаю, и тебѣ нежелательно доставлять своей особой матеріалъ репортерамъ и темы для сплетенъ... Нежелательно это и мнѣ... Надѣюсь, мама ничего не будетъ знать...

Дочь ушла. Она не сердилась, но всѣ эти нравоученія отца казались ей фальшивыми.

„Самъ-то онъ хорошъ!“ — подумала она и, войдя въ столовую, съ особенной нѣжностью обняла и поцѣловала мать.

II.

Козельскій, по обыкновенію, справился со всѣми дѣлами: получилъ по чеку, уплатилъ по векселю, посидѣлъ часъ на службѣ, былъ у редактора и уговорилъ напечатать опроверженіе, поѣлъ въ Милютиныхъ лавкахъ устриць, показался на нѣсколько минутъ въ правленіи, купилъ у Фаберже кольцо для Ордынцевой и въ англійскомъ магазинѣ накупилъ для своихъ три штуки матеріи на платье, перчатокъ, носовыхъ платковъ и духовъ, цѣлый ворохъ игрушекъ для внучки и вернулся домой около пяти часовъ, чтобы порадовать своихъ дарами, переодѣться и ѣхать въ Гостинный дворъ къ магазину Вольфа встрѣтить Ордынцеву.

Козельскій любилъ дѣлать подарки и умѣлъ ихъ дѣлать, зная вкусы жены и дочерей.

Онъ объявилъ всѣмъ, что неожиданно получилъ долгъ и съ обычной своей деликатной манерой сунулъ пакетики съ деньгами женѣ и дочерямъ и затѣмъ вручилъ имъ подарки...

— Это вмѣсто рождественскихъ, пока деньги есть! — шутя говорилъ онъ.

И, незамѣтно мигнувъ Тинѣ, ушелъ въ кабинетъ и, когда она пришла, сказалъ ей, что завтра будетъ въ газетѣ опроверженіе и, поцѣловавъ ее, промолвилъ:

— Гобзинъ собирается тебѣ дѣлать предложеніе. Спрашивалъ моего совѣта. Что ему отвѣтить?

— Чтобы онъ не трудился.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно. Онъ мнѣ не нравится...

— Не нравится, такъ и говорить течега... Я такъ ему и скажу...

Они вмѣстѣ вернулись въ столовую. Всѣ дамы заявили, что все купленное имъ превосходно и очень имъ нравится, и этимъ очень обрадовали Козельскаго... Онъ пошелъ переодѣваться, посидѣлъ, необыкновенно нарядный въ смокингѣ, за столомъ, пока

обѣдали, и въ половинѣ шестого уѣхалъ, объявивъ женѣ, что вѣрно послѣ обѣда придется играть въ карты.

Когда онъ ушелъ, Антонина Сергѣевна горячо проговорила:
— Какой папа добрый и какой заботливый...

Въ вечеру Инна снова перечитала свое письмо, вложила его въ конвертъ и ходила по гостиной въ ожиданіи Никодимцева, грустная, такъ какъ не сомнѣвалась, что это свиданіе будетъ послѣднее. Послѣ письма онъ больше не пріѣдетъ. И, думая объ этомъ, тоска охватывала молодую женщину и на глаза навертывались слезы.

Наконецъ, ровно въ восемь часовъ затрещалъ звонокъ.

„Принимаютъ?“—услышала она голосъ Никодимцева.

Инна сѣла на диванъ, стараясь побороть охватившее ее волненіе.

Н. Станюковичъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ДНИ ПОКАЯНІЯ.

(ПУШКИНСКАЯ ГОДОВЩИНА).

I.

Наступаетъ двадцать шестое мая и русское общество и отчасти даже русскій народъ готовятся присутствовать при многочисленныхъ и торжественныхъ празднествахъ. Имя Пушкина завладѣетъ на нѣсколько дней вниманіемъ читателей просвѣщенныхъ и просто грамотныхъ. Хвалебныя и восторженныя рѣчи польются потокомъ. Несомнѣнно, воспрянетъ и русская стихотворческая муза и сплететъ богѣе или менѣе свѣжій и красивый вѣнокъ памяти гениальнаго поэта. Газеты, журналы, а, можетъ быть, и спеціальныя сборники будутъ давать краснорѣчивые отчеты о «пушкинскихъ дняхъ», живописно изображать событія, съ посылнымъ безпристрастіемъ пересчитывать успѣхи дѣйствующихъ лицъ и составлять чрезвычайно отрадныя умозаключенія, въ родѣ того, напримѣръ, что русское общество, несомнѣнно, достигло поразительной зрѣлости, разъ способно громко произносить и терпѣливо выслушивать столь благородныя мысли и чувствовать такъ шумно и единодушно великаго русскаго человѣка, что «пушкинскій праздникъ» открываетъ самыя широкія перспективы русской національной культурности и честной сознательной работѣ русскаго человѣка на поприщѣ ума и просвѣщенія. Найдутся, разумѣется, и хладнокровные зрители торжества, но богѣе подъ вліяніемъ легкомысленнаго духа противорѣчія, чѣмъ по основательнымъ поводамъ отрицать и сомнѣваться. Скептики замѣтятъ, что говорилось о Пушкинѣ дѣйствительно очень много и даже дѣльно, но самаго главнаго, а въ особенности безусловно оригинальнаго не было сказано: *новое слово* осталось не произнесеннымъ...

Скептики и сами не будутъ отдавать себѣ отчета, какого собственно *новаго слова* имъ хотѣлось бы, но такъ ужъ полагается по законамъ психологіи. Если десять, сто человѣкъ говорятъ *да* и *прекрасно*, рядомъ непремѣнно объявится смѣлый и самобытный умъ, выжидающій случая съ невыразимымъ наслажденіемъ и авторитетомъ крикнуть: *нѣтъ! нигуда не годится!* Но протестующій крикъ потонетъ въ морѣ восторговъ и умиленныхъ впечатлѣній: герои и даже толпа пушкинскихъ тор-

жествъ, совершивъ поклоненіе поэту, вообразить, что и они въ нѣкоторомъ родѣ воздвигли себѣ нерукотворный памятникъ.

Все именно такъ произойдетъ: вѣрная порука—опыты прошлаго. Правда, большихъ литературныхъ торжествъ до сихъ поръ было у насъ мало, но зато всѣ они выполнялись по одной неуклонно опредѣленной программѣ. Русскій просвѣщенный человѣкъ—въ будни существо самое кроткое и непритязательное, въ юбилейные писательскіе дни становится необыкновенно рѣчистымъ и безпокойнымъ и на его фізіономіи появляется даже нѣчто вызывающее. Въ эти минуты онъ готовъ вообразить себя—и подчасъ дѣйствительно воображаетъ—первымъ артистомъ на міровой сценѣ. Ты меня считаешь скиномъ и вандаломъ, говоритъ онъ Европѣ, все думаешь учить меня разнымъ идеямъ и конституціямъ, а я вотъ самъ тебя думаю поучить и открыть тебѣ *новое слово*. У тебя разные Шекспіры и Шиллеры, а у меня Пушкинъ, не французъ, не нѣмецъ и не просто русскій, а *всечеловѣкъ*. А если таковъ Пушкинъ, то и вообще русскіе люди—всечеловѣки и «назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всеевропейское и всемірное».

Такъ уже однажды проповѣдывалъ русскій ораторъ по поводу Пушкина и вызвалъ у слушателей потрясающее впечатлѣніе. И иначе не могло быть! У кого же хватить духу отказаться отъ столь величественнаго титула, въ особенности, если это рѣшительно ничего не стоитъ: всего только пожать руку вдохновенному пророку, обнять его или, въ крайнемъ случаѣ,—если слушатель достаточно наклоненъ къ психопатіи,—упасть въ обморокъ.

И все это было съ точностью продѣлано, лишь только, девятнадцать лѣтъ тому назадъ, раздалась *пророческая* рѣчь Достоевскаго. Даже самые вдумчивые свидѣтели поддались очарованію и Г. И. Успенскій, едва ли не самый трезвый и достовѣрный свидѣтель событія, вполнѣ отрезвѣлъ только на другой день: въ самый моментъ онъ испыталъ потрясающее впечатлѣніе. А большинство такъ и осталось въ опьяненіи и на челѣ Достоевскаго пророческій вѣнокъ не увядалъ до конца его дней. А вѣдь такъ естественно было бы припомнить самый наглядный фактъ: именно этотъ ораторъ, столь горячо прорипавшій о необъятной нѣжности русскаго человѣка ко всѣмъ народамъ, велъ менѣе всего любвеобильную международную политику, и не только международную: междупартийныя отношенія автора *Дневника писателя* также далеко не отличались примирительнымъ и терпимымъ направлениемъ. Какъ же онъ могъ отъ души и сердца возглашать о «братскомъ стремленіи нашемъ къ воссоединенію людей», о «русской душѣ всечеловѣчной и всесоединяющей» и многое другое, звучавшее все именно въ устахъ его, Ѳедора Михайловича Достоевскаго?

Но онъ возглашалъ и даже *потрясъ*, потому что русскій человѣкъ находился на праздникѣ и вся природа его жаждала опьяняющихъ впечатлѣній и что бы ему ни сказали пріятнаго и утѣшительнаго, онъ

мгновенно всему повѣрилъ бы и возрадовался бы языкомъ и духомъ: какое, однако, я замѣчательное явленіе природы, не думано и не гадано, а вотъ знаменитый писатель *разадалъ*, наконецъ, *тайну*. Хвала ему, да такая громкая, что и самому Пушкину не мечталось ничего подобнаго. И, несомнѣнно, слава Пушкина отошла на задній планъ предъ отуманенными глазами ликующей толпы въ тѣ минуты, когда, по словамъ самого Достоевскаго, даже просвѣщеннѣйшіе «западники» именовали его рѣчь «геніальной» и горячо жали ему руки.

Да, Пушкинъ внезапно отошелъ въ тѣнь. Въ сущности эта тѣнь лежала на его страдальческомъ образѣ съ самаго начала. Если бы вдругъ ожила бронзовая статуя и поэтъ снизошелъ бы до бесѣды съ мятущейся толпой, онъ могъ бы обратиться къ ней рѣчь, исполненную горечи и укоризны и у нея—этой торжествующей толпы—не поднялись бы руки для самоуслаждительныхъ привѣтствій, у нея скорѣе глаза опустились бы долу и она оставила бы площадь съ гнетущей тоской совѣсти о прошломъ, съ мучительнымъ раздумьемъ о своемъ настоящемъ и будущемъ.

Поэтъ могъ бы сказать своимъ посмертнымъ хвалителямъ слѣдующее: меня не удивляютъ ваши восторги предъ моимъ дарованіемъ и предъ личностью, я самъ предсказалъ себѣ прочную славу послѣ моей смерти. Но меня изумляетъ ваша короткая память о моей судьбѣ при жизни, я не могу понять, какъ вы такъ свободно хвалу моему генію сплетаете съ лестью себѣ самимъ. Я не признаю вашихъ притязаній на участіе въ моемъ, хотя бы и позднемъ торжествѣ, на участіе какъ общества, какъ публики, даже какъ литературы. Чтобы оправдать эти притязанія, вамъ слѣдовало бы начать съ другого конца, именно съ самихъ себя, и вмѣсто исторіи и характеристики моего генія, рассказать свою собственную исторію, представить свой собственный портретъ. Вы правы въ томъ, что я русскій до мельчайшаго изгиба моей души, что я всей кровью своего сердца и всей чудной силой своего вдохновенія болѣлъ за свою родину и жаждалъ ея свѣтлаго будущаго. Но вы—общество и литература—вы развѣ признали во мнѣ эту боль и эту жажду? Еще не исчезло все поколѣніе, свидѣтель моей жизни и дѣятельности. Призовите его къ отвѣту и спросите у него, чѣмъ я былъ для него и что оно сдѣлало для меня?

Вы скажете: я родился въ злополучное время, попалъ въ нравственно-дикую среду, въ злобную и пошлую, что меня погубилъ *свѣтъ* и что вы ни подъ какимъ видомъ не погрѣшили бы въ пролитіи «праведной крови» поэта. Теперь все стало иначе. Поэтъ больше не обязанъ считаться съ расположеніемъ свѣтскихъ невѣждъ и пошляковъ, у него теперь имѣется публика просвѣщенная, отзывчивая, благодарная, она непременно пойметъ его и постарается оградить его личность и его дѣло, какъ драгоцѣннѣйшія достоянія націи. Какъ общество, эта публика не станетъ позорить въ писателѣ челоуѣка, какъ лите-

ратура—она не рѣшится завѣдомо ложно и злобно унижать его талантъ, перетолковывать его произведенія, злорадствовать надъ мельчайшей, даже мнимой ошибкой и слабостью его пера, однимъ словомъ, она не повторитъ злокозненной, ядовитой войны пигмеевъ съ великаномъ—*ожесточенной* войны только потому, что онъ великъ, а они нестерпимо и безнадежно малы.

Такъ, можетъ быть, отвѣтитъ поколѣніе, воздвигшее памятникъ Пушкину, но поэтъ не удовлетворится отвѣтомъ. Онъ припомнитъ участь своихъ наслѣдниковъ вплоть до послѣднихъ дней, и каждое воспоминаіе должно поразить неотразимымъ ударомъ отвѣтчиковъ.

Поэтъ скажетъ: когда совершилась его кровавая кончина, событіе отозвалось жестокой мукой въ сердцахъ немногихъ его друзей... И посмотрите, что они перечувствовали, что они говорили!

Свѣтская дама, не долго знавшая его, не особенно блистательная цѣлительница литературы и особенно русской, но благородная и искренняя, все время чувствовала себя лично оскорбленной «несправедливостью общества». Передъ вѣстью о смерти поэта она прочитала французскую статью о судьбѣ великихъ людей: «всѣ они»,—писала она,—«преслѣдуемые или обществомъ, или правительствомъ, непризнанные, оклеветанные, умирающе въ тюрьмѣ или въ нищетѣ. Въ статьѣ не упоминается Пушкинъ, а однако ничего нѣтъ болѣе раздирающе-поэтического, какъ его жизнь и его смерть».

Дама говорила грустную правду, но ея впечатлѣнія не имѣли бы большого значенія, если бы ихъ не раздѣлялъ величайшій современный писатель Россіи, Пушкинымъ открытый и имъ направленный. Гоголь бѣжалъ изъ своего отечества,—бѣжалъ именно потому, что онъ обнаружилъ слишкомъ великій и жизненный талантъ и неподкупную правдивость художественнаго слова. Онъ написалъ гениальную комедію, ему посчастливилось мимо безчисленныхъ препятствій проложить ей путь на сцену, она, наконецъ съиграна, и, кажется, никогда еще авторъ ея не чувствовалъ себя до такой степени одинокимъ и лично несчастнымъ. Онъ рѣшается уѣхать «разгулять свою тоску», и бросаетъ такую отвѣдь своему отечеству:

«Грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее с голицу... Грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него... И кто же говоритъ? Это говорятъ опытные люди, которые должны бы имѣть на сколько-нибудь ума, чтобы понять дѣло въ настоящемъ видѣ, люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ, русскій свѣтъ называетъ образованными».

И скоро Гоголь окончательно убѣдится, что ему нѣтъ мѣста рядомъ съ этимъ образованнымъ свѣтомъ. Кончина Пушкина потрясетъ его до глубины души, наброситъ тѣнь на его и безъ того не радостную жизнь. Онъ теперь проникнется настоящимъ страхомъ предъ мыслью—изъ за

границы вернуться въ Россію и остаться здѣсь. Онъ легко обобщаетъ страшное событіе и произноситъ рѣшительный приговоръ своей страстно любимой, но неумолимо суровой родинѣ: «Клянусь,—восклицаетъ онъ,—непостижимо странная судьба всего хорошаго у насъ въ Россіи! Едва только успѣетъ показаться—и тотъ же часъ смерть, безжалостная неумолимая смерть».

Это говорится послѣ смерти Пушкина и въ этихъ словахъ звучитъ, несомнѣнно, болѣзненная память о великомъ другѣ и учителѣ, и звучитъ отголосокъ предсмертныхъ рѣчей его. О нихъ не зналъ Гоголь, но онъ въ точности воспроизвелъ ихъ смыслъ. Задыхаясь въ безвыходной мукѣ среди всестороннихъ гоненій и притѣсненій, Пушкинъ не сдержалъ накипѣвшаго горя и, вопреки обыкновенію, обнаружилъ его даже предъ женой: «чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ!»

Какая страшная жалоба и какая правдивая, вызванная *всею* жизнью поэта! И она не осталась одиночной.

За Пушкинымъ и Гоголемъ слѣдовали другіе, и также или безвременно гибли или бѣжали... Почему авторъ *Мертвыхъ душъ* додумался и доучился до *Переписки съ друзьями*? Почему поэтъ, гениальными стихами оплакавшій участь Пушкина, самъ погибъ столь же кровавою смертью и надъ ней съ такимъ же злорадствомъ потѣшился *свѣтъ*? Почему критикъ, растолковавшій русскимъ читателямъ значеніе всѣхъ этихъ людей, самъ умеръ нищимъ, гонимымъ и непризнаннымъ?

Но все это происходило въ рабской и барской Россіи. Привилегированное тунеядство и невѣжество тяготѣли надъ *свободой, славой и гениемъ*. Литература была для нихъ передней и писатель—шуткомъ... Возникла, наконецъ, Россія свободная и равноправная, народился читатель, способный постигать *личныя* достоинства и *личныя* заслуги. Теперь, повидимому, не должно быть мѣста «всеобщему невѣжеству» и тупому озлобленію на гениальнаго писателя.

Ничего подобнаго! Русскому народу, оказалось, легче освободиться отъ крѣпостнаго рабства, чѣмъ русскому обществу и русской литературѣ отъ рабскаго недуга зависти и злобы. Все, что испыталъ Пушкинъ отъ современной «черни», перешло по наслѣдству и къ благороднѣйшему писателю новой свободной Россіи. И замѣчательно, одному и тому же человѣку пришлось защищать обоихъ поэтовъ отъ яда пресмыкающихся соотечественниковъ и взывать къ бодрости, къ независимому достоинству русскаго писателя.

Князь В. О. Одоевскій незадолго до смерти Пушкина написалъ горячую отповѣдь журнальнымъ поносителямъ поэта, защищалъ самыя повидимому, очевидныя положительныя качества поэта и человѣка, его благородство, его умъ, силу его таланта. Казалось бы, кто могъ во всемъ этомъ сомнѣваться, и все-таки въ печати сомнѣніе оказалось

до такой степени распространеннымъ, что Одоевскому негдѣ было напечатать своей статьи, и она осталась ненапечатанной.

Много лѣтъ спустя тотъ же Одоевскій вынужденъ снова взяться за перо и на этотъ разъ направить свое краснорѣчіе уже противъ самой жертвы злословія и глупости. Художникъ пришелъ въ отчаяніе отъ неустанныхъ нападеній на его личность и дѣятельность. Онъ, какъ писатель, наслушался поразительныхъ откровенностей на счетъ своихъ злокозненныхъ, темныхъ замысловъ, какъ человѣкъ встрѣтилъ всенародное издѣвательство надъ искренностью и честностью своего творчества. Онъ не вынесъ такой нечистоплотной и безыдейной борьбы и рѣшилъ сказать себѣ и своимъ читателямъ *Довольно!* Онъ больше не пойдетъ на «толкучій рынокъ», больше не подастъ повода ни глупому, ни молодому глупцу во имя презрѣнныхъ кумировъ рыться въ его душѣ и позорить ее предъ «холодной толпой»...

Одоевскій отвѣчалъ страстнымъ, горячимъ призывомъ *Недовольно!*—и требовалъ отъ художника мужества на его трудномъ пути, указывалъ на неизбежность борьбы съ пошлостью и злобой для всякаго, кто одаренъ высшими талантами.

Но эти соображенія не утрашили бы художника, онъ не нарушилъ бы своего молчанія, если бы въ немъ не говорилъ неукротимый голосъ творческой силы. Тургеневу предстояло рѣшить вопросъ: слушаться ли внушеній своей природы, или поддаться законному чувству омерзения предъ судомъ и смѣхомъ толпы? Вопросъ разрѣшился независимо отъ личной воли художника, поэтъ осужденъ всю жизнь быть невольникомъ своего генія. Онъ до конца дней будетъ припоминать предсказаніе Пушкина: «услышишь судъ глупца», и все-таки вызывать этотъ судъ.

Несомнѣнно, въ толпѣ найдутся и благодарные, и любящіе, но именно ихъ чувства и ожесточать съ новой силой клеветниковъ и клевета не замолкнетъ даже предъ многотысячнымъ горемъ о смерти великаго писателя, не истощится и долго послѣ его смерти. И свидѣтель горя даже будетъ въ правѣ спросить: дѣйствительно ли это слава, прочная, сознательная? Дѣйствительно ли горькія причитанія и восторженные похвалы—плодъ вдумчиваго *національнаго* признанія заслугъ писателя? Не просто ли это зрѣлище, случай обнаружиться темпераментамъ и артистическимъ наклонностямъ? А въ основѣ явленія—глубокое безучастное или малодушное формально обязательное сочувствіе завѣдомо хорошему человѣку и занимательному автору?

Именно въ такомъ смыслѣ дать отвѣтъ современникъ Тургенева, десятки лѣтъ пристально изучавшій все ту же толпу и радѣвшій объ ея зрѣлости. Щедрина представился случай подвести итоги своей популярности, сообразить плоды своей, казалось бы, необыкновенно увлекательной и популярной литературной работы. И выводъ получится скорбный и полный разочарованія: на Руси нѣтъ читателя-друга! Писатель, по-прежнему, нравственно одинокъ и безразличенъ для тысячей

тѣхъ, кто даже громко и часто твердитъ объ его талантѣ и значеніи. Стоитъ наступить испытанію и кругомъ знаменитаго и любимаго автора водворяется темнота и пустота.

Пройдутъ годы или десятилѣтія и толпа заволнуется. Она шумно справитъ дни рожденія и кончины писателя, она воздвигнетъ ему памятникъ, покроетъ его вѣнками, она даже поумнѣетъ и подобрѣетъ до такой степени, что станетъ толковать объ единеніи, о терпимости, о благородствѣ литературныхъ и общественныхъ отношеній. Въ особо приподнятый моментъ можетъ совершиться неизглаголанное чудо: сами Катковы рѣшатся взывать о примиреніи, они, всю жизнь сѣявшие раздоры и озлобленія и, по закону своей природы, осужденные совершать это дѣло до послѣдняго вздоха! Среди всеобщаго исключительнаго зрѣлища они запоютъ соловьями и раскроютъ свои объятія съ обѣтами любви и правды. И они даже найдутъ бѣдныхъ, глупенькихъ пташекъ, готовыхъ броситься къ нимъ на грудь съ потокомъ умиленныхъ слезъ...

Но всякій хмель имѣетъ свое похмелье и у русской торжествующей толпы оно неизмѣнно по настроеніямъ и поступкамъ. Праздникъ останется *исторіей*, все пережитое въ дни торжества превратится въ нарядное платье, надѣтое на время и ради гостей. Настанутъ будни, разѣдутся гости и чистый благородный костюмъ можно смѣнить затрапезной засаленной ливреей. Вчерашній нарядный артистъ, съ необыкновенно красивой рѣчью, съ изящными манерами, — сегодня господиачъ подозрительнаго тона, украшеніе гостиной — просто кухонная чумичка, вновь принявшаяся за приготовленіе своихъ обычныхъ блюдъ, отнюдь не тонкаго вкуса и не литературнаго достоинства.

II.

И такъ идетъ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Послушайте рассказы очевидцевъ о томъ, какъ русскіе люди встрѣтили смерть Пушкина. Петербургъ увидѣлъ зрѣлище, единственное за всю русскую исторію. Въ городѣ господствовало необыкновенное движеніе, по нѣкоторымъ улицамъ не стало ни проѣзду, ни проходу. Толпы день и ночь осаждали домъ, гдѣ лежало тѣло поэта. Всѣ классы населенія, даже, по словамъ свидѣтеля, безграмотные люди считали своимъ долгомъ поклониться праху Пушкина. Молодежь замышляла нести гробъ на рукахъ. Растроганный современникъ называетъ все это «народной манифестаціей», говоритъ объ «очнувшемся вдругъ общественномъ мнѣніи». Даже иностранецъ считаетъ возможнымъ похороны Пушкина признать «народнымъ событіемъ».

И оба правы: раньше ни одного писателя такъ не хоронили. И все-таки «событіе» менѣе всего свидѣтельствовало именно о пробужденіи и бодрственномъ состояніи общественнаго мнѣнія, пожалуй даже о самомъ существованіи его. «Событіе» только открыло новую, въ высшей

степени прискорбную черту въ психологіи русскаго человѣка. Оказалось, онъ прекрасно умѣеть *хоронить* своихъ великихъ писателей, еще лучше устраивать литературныя поминки и праздновать годовщины, но крайне мало приспособленъ уживаться съ дѣятелями мысли и таланта при ихъ жизни. Почему-то имъ невыносимо душно и мучительно влечь свое бренное существованіе среди того самаго общества, которое по смерти ихъ непремѣнно устроитъ въ ихъ честь рядъ шумныхъ зрѣлищъ и въ число чествователей попадутъ люди, едва успѣвшіе поставить точку въ своемъ послѣднемъ памфлетѣ на великаго покойника. Да, русскія поминки по литераторамъ видывали и такія приключенія.

И невольно возникаетъ вопросъ: ради кого торжествуются юбилеи и годовщины, ради ли истинныхъ виновниковъ или самихъ устроителей и героевъ? Не является ли воспоминаніе о поэтѣ только предлогомъ для безмолвнаго, пригнетеннаго русскаго человѣка заявить о своей собственной особѣ, сказать публично, что и онъ изъ цивилизованныхъ европейцевъ и если ничтоженъ въ настоящемъ, за то обѣщаетъ многое въ отдаленномъ будущемъ?

Въ древнемъ Римѣ существовало празднество, когда рабы и господа мѣнялись своими ролями: рабы пировали за столомъ, а господа имъ прислуживали, рабы пѣли, говорили, свободно предаваясь прихотямъ своего воображенія и темперамента, господа были осуждены на почтительное молчаніе и скромное созерцаніе рабскаго торжества. Они спокойно ждали слѣдующаго дня и отлично знали, что завтра самый громогласный рабъ будетъ у ихъ ногъ, восприметъ какое угодно возмездіе за сегодняшнюю забывчивость и вполнѣ естественно перейдетъ къ своимъ ежедневнымъ обязанностямъ и отправленіямъ.

Сравненіе тягостное, но оно подсказывается превращеніями русскаго общественнаго мнѣнія. Именно пушкинскія годовщины какъ нельзя ярче освѣщаютъ горькую правду. Все, что только искони тяготѣло надъ нашей духовной жизнью, что порочило и унижало наше человѣческое достоинство,—все это неустанно, неотвязчиво преслѣдовало великаго поэта, превратило его жизнь въ сплошную агонію и привело къ страшному концу. Какого бы эпизода въ біографіи Пушкина мы ни коснулись, мы непремѣнно встрѣтимся съ тѣмъ или другимъ злымъ духомъ нашего историческаго бытія. Здѣсь все, что когда-то предстало предъ растерзанной душой датскаго принца, съ одной лишь разницей: Гамлетъ о многомъ говорилъ по наслышкѣ, по книгамъ, Пушкинъ—все до послѣдней черты пережилъ и выстрадалъ:

... обиды, притѣсненья,
Рядъ горькихъ мукъ обманутой любви,
Стыдъ бѣдности, неправду власти, чванство
И гордость знатныхъ родомъ...

Все это неизбежно вспоминается нами при одномъ лишь имени поэта. Его жизнь неизгладимая страница нашей общественной исторіи, и эта

страница до сихъ поръ не сдана въ архивъ. Она безпрестанно переписывается и обновляется, мѣняются собственныя имена, отчасти видоизмѣняются факты, но смыслъ текста остается ненарушимымъ. И вписывается онъ не одной какой либо внѣшней силой, надъ нимъ работаютъ преемники тѣхъ самыхъ авторовъ, которые когда-то усердно писали драму жизни Пушкина.

Они въ полномъ составѣ и во всеоружіи. Воскресни Пушкинъ и онъ немедленно встрѣтилъ бы на своемъ пути и Бугаринныхъ, и Бенкендорфовъ, и неправду, и чванство, и гордость. Можетъ быть, ему не такъ пришлось бы страдать отъ «стыда бѣдности», издатели ему платили бы больше и честнѣе, но все это не спасло бы его отъ презрѣнія презрѣнныхъ душъ. Его, можетъ быть, похоронили бы еще пышнѣе, чѣмъ въ 1837 году, но никакая сила не помѣшала бы ему съ его неуживчивой природой, страстнымъ сердцемъ, свободнымъ умомъ и врожденнымъ отвращеніемъ ко всякаго рода пресмыкающимся умереть преждевременно и накануне смерти повторить ту же негодующую жалобу на свое рожденіе или зарянѣе, подобно Тургеневу, бѣжать подальше отъ родственныхъ объятій соотечественниковъ.

Да, никакіе юбилеи и торжества не очистили и не озарили свѣтомъ низменнаго и жестокаго русскаго міра, никакіе чувствительныя призывы не создали ни единенія, ни культурной терпимости, ни идейнаго уваженія даже въ литературѣ. Исамый праздникъ можетъ явиться предлогомъ для междоусобной брани, ехидныхъ уликъ и припоминаній, партійныхъ расчетовъ. *Нашъ и не вашъ* могутъ раздаться у самаго памятника Пушкина и вовсе не ради славы поэта, а во имя все того же мучительно безпокойнаго самопояденія, свойственнаго рабскимъ душамъ.

Какой послѣ этого смыслъ въ тысячный разъ возглашать геніальность Пушкина, доказывать его народное и національное значеніе, прославлять всечеловѣчность его поэзіи! Все это давно доказано, возглашено, все это—будничныя слова, и если ими еще могутъ люди заниматься, это доказываетъ обычную неприкосновенность этихъ людей къ самымъ простымъ и обязательнымъ культурнымъ истинамъ. Не въ этомъ долженъ состоять у насъ не только пушкинскій, а вообще всякій умственный праздникъ.

Другія общества, давно научившіяся глубоко понимать и честно цѣнить свою національную славу, имѣютъ право славословить своихъ геніевъ, какъ своихъ дѣтей, участвовать въ ихъ величіи, становиться подъ сѣнь ихъ памятниковъ и вѣяковъ: они—эти геніи, стали великими *въ согласіи* съ своимъ народомъ, при горячемъ сочувствіи своего общества. А наши великіе люди? Они жили и развивались *вопреки* окружавшей ихъ средѣ, *наперекоръ* внѣшнимъ и нравственнымъ условіямъ, при слыхомъ скромномъ и робкомъ участіи лучшихъ гражданъ своего отечества и при открытой вызывающей враждѣ сильныхъ числомъ и значеніемъ.

И кто рѣшится сказать, что все это давно изжито нами, что мы не потерпимъ больше позорныхъ покушеній на красоту и славу нашей родины, что всё мы посильно работаемъ ради всёхъ нужныхъ истинъ, а не ради своихъ маленькихъ страстишекъ и соображеньицъ?.. Врядъ ли найдется такой наивный смѣльчакъ, иначе ему пришлось бы стать втупикъ предъ безчисленными явленіями нашей самой послѣдней современности. Противникъ могъ бы сразить восторженнаго патріота самымъ простымъ вопросомъ.

Въ письмѣ къ женѣ Пушкинъ коротко и сильно изображалъ свое существованіе въ Петербургѣ—это «жизнь между пасквилями и доносами»... Пусть какой-либо зритель или дѣйствующее лицо наступающихъ пушкинскихъ торжествъ скажетъ въ чистотѣ своего сердца и въ полномъ разумѣ, что подобная злокачественная атмосфера отошла въ область тяжелыхъ, но невозвратныхъ историческихъ воспоминаній.

Это не мыслимо, и, очевидно, торжества не могутъ быть для насъ днями безусловно свѣтлыми и радостными. Они должны бы явиться для насъ скорѣе днями покаянія, чѣмъ торжества, днями углубленія въ свою человѣческую и гражданскую совѣсть, строгой, нелицеприятной провѣрки своего настоящаго и накопленныхъ нравственныхъ задатковъ на будущее. У насъ въ прошломъ нѣтъ почти ни одного великаго представителя мысли и таланта, о комъ мы могли бы вспомнить съ радостной думой: вотъ какихъ людей создаетъ и воспитываетъ русская жизнь и вотъ какіе вожди вдохновляютъ насъ въ нашей общественной дѣятельности. Съ каждымъ гениальнымъ именемъ у насъ непременно связывается представленіе объ одиночествѣ *человѣка*, о злополучіяхъ *писателя*, объ угнетеніи и преслѣдованіи *мыслителя*. И эти имена стоятъ предъ нами живыми укорами въ нашемъ праздничномъ благородствѣ и будничномъ ничтожествѣ. И чѣмъ свѣтлѣе является намъ на пространствѣ десятилѣтій личность поэта, тѣмъ рѣзче отгнѣяетъ она тьму, окружавшую его при жизни, не перестававшую сопровождать его позднѣйшихъ наслѣдниковъ и неотвязно лежащую до сихъ поръ на путяхъ русской мысли.

«*Не зналъ свободы онъ для гордыхъ вдохновеній*», — говорилось у памятника Пушкина,—и вотъ этотъ-то мотивъ долженъ быть преобладающимъ на чествованіяхъ всёхъ, кому въ нашей исторіи были доступны гордые вдохновенія. Не восхвалять надлежитъ намъ покойниковъ съ цѣлью бросить лучъ славы и чести и на самихъ себя, а *познавать самихъ себя* въ прошломъ и въ настоящемъ, не выкрикивать громкихъ самохвальныхъ рѣчей, не смѣшивать съ дѣтскимъ самоуслаженіемъ исключительно личнаго величія того или другого русскаго гения съ неслыханными доблестями русскаго человѣка вообще, а помнить, что до сихъ поръ этотъ заурядный русскій человѣкъ менѣе всего поощрялъ и гордость, и свободу вдохновеній, что въ обществѣ этого русскаго человѣка почти всегда бывало и душно, и тѣсно всякому та-

лауту, что даже въ минуты восторга русскій человѣкъ больше наслаждался своей мимолетно-свободной и благородной ролью, чѣмъ выражалъ жизненную основу своего гражданскаго бытія.

Да, мы не должны этого забывать: иначе мы дѣйствительно уподобимся однодневнымъ господамъ языческаго Рима. Именно такое зрѣлище представила толпа, дошедшая до самозабвеннаго восторга во время пророческаго упражненія Достоевскаго. Скълько фантастической, красивой лжи наговорилъ даровитый писатель! И особенно тамъ, гдѣ желалъ отуманить очи слушателей одуряющимъ куревомъ національной гордости. Какая сплошная неправда—самое громкое и «пьяное» мѣсто рѣчи—апофеозъ Татьяны и въ лицѣ ея русской женщины! «Типъ положительной безспорной красоты», это въ лицѣ женскаго существа, сначала подпавшаго гипнозу карикатурнаго Чайльдъ-Гарольда, а потомъ выполняющаго съ достоинствомъ въ теченіе всей жизни тупеядную и пошлую комедію великосвѣтскаго спектакля! Въ наилучшемъ случаѣ достойна глубокой скорби и христіанскаго состраданія эта красота, какъ и все безпомощное и нравственно-неможное. Именно съ чувствомъ жалости и грусти смотрѣлъ и самъ поэтъ на свою героиню. И ни на одну минуту новѣйшій упоенный пророкъ не задалъ себѣ вопроса: отчего же эта русская женщина, столь прекрасная и неподражаемая, до сихъ поръ не явилась спасти ни одного русскаго «скитальца», разъ это не былъ какой-нибудь провзительный Алеко, артистъ Евгеній Онѣгинъ или жестокій Печоринъ? Почему втунѣ для русской славы и русской гениальности пропадаютъ высшія добродѣтели Татьяны—все равно, зачитываются ли эти чудныя героини чувствительными повѣстями, или выходятъ замужъ по волѣ родителей за доблестныхъ генераловъ? И много другихъ вопросовъ можно бы задать сладкопѣвцу-патріоту, и каждый изъ нихъ былъ бы обличеніемъ всероссійскаго молодечества и недомыслия.

Да не будетъ больше такихъ подблюдныхъ празднословій! Не хвалиться подобаешь русскому человѣку тѣмъ, что въ его исторіи насчитывается десятокъ глубоко несчастныхъ и одинокихъ великихъ людей, а смотрѣть на ихъ судьбу, какъ на жестокій урокъ своему вѣковому культурному мелкодущію, своей гражданской апатіи, своему обывательскому эгоизму. Ни въ одной литературѣ новаго времени нѣтъ такихъ горькихъ жалобъ писателей на свою отечественную публику, ни одна страна такъ часто и настойчиво не являлась жестоковѣйной мачихой своимъ благороднѣйшимъ дѣтямъ, ни одинъ читатель во всемъ цивилизованномъ мірѣ не вызывалъ у поэтовъ такихъ страстныхъ нареканій на *толпу* и *чернь*, и только въ русской литературной исторіи возможно *партийное* преслѣдованіе такого художника, какъ Тургеневъ, и такого критика, какъ Бѣлискій, даже десятилѣтія спустя послѣ ихъ смерти... Это *всечеловѣкъ*, всеобщій братъ цѣлыми поколѣніями способный не понимать и не признавать своихъ кровныхъ соотечественниковъ!..

Вотъ что слѣдуетъ вспоминать намъ на могилахъ нашихъ великихъ людей и долго еще, очень долго воздерживаться отъ національнаго самовосхваленія, до тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, пока пушкинская драма не исчезнетъ изъ нашего повседневнаго обихода до послѣдней черты, пока мы не научимся жить съ нашими великими людьми—не только хоронить и поминать ихъ.

Мы и не станемъ сплетать вѣнка изъ похвалъ и восторговъ на пушкинскую годовщину. Все это давно стало достояніемъ прошлаго. Мы займемся современностью, и ее мы отыщемъ не въ краснорѣчивомъ изображеніи пушкинскаго генія, не въ художественномъ или идейномъ разборѣ его произведеній, а въ точномъ историческомъ воссозданіи его личной и писательской драмы. Мы попытаемся разрѣшить самый простой вопросъ: кто былъ Пушкинъ какъ человѣкъ, чего онъ хотѣлъ какъ поэтъ, и какіе люди и обстоятельства встрѣтились его сердцу, уму и таланту? Предъ нами пройдутъ лица и факты не только нашего прошлаго,—у насъ безпрестанно будетъ возникать невольная мысль: какъ это современно! какъ это свѣжо и ново! И намъ не представится необходимости останавливать вниманіе читателя на особенно поучительныхъ чертахъ—предметъ слишкомъ краснорѣчивъ самъ по себѣ, у cadaго читателя, навѣрное, достаточный запасъ новѣйшихъ житейскихъ и литературныхъ впечатлѣній, и чужая исторія естественно сольется съ лично пережитымъ.

III.

Когда вы тщательно изучите жизнь Пушкина, оцените достоверныя мелчайшія черты его личности, соберете безпристрастные голоса современниковъ, взвѣсите признанія самого поэта, общими вамъ непремѣнно воскреснетъ оригинальный образъ, созданный отчасти человѣческимъ воображеніемъ, отчасти воплотившій въ себѣ подлинныя черты дѣйствительности, и много глѣть владѣвшій мыслью и чувствомъ западныхъ поэтовъ и политиковъ,—образъ *естественнаго человека*. Будто арабская кровь, унаслѣдованная Пушкинымъ, особенно приблизила его къ этому идеальному типу.

Свобода и непосредственность впечатлѣній, чуткая, неудержимая отзывчивость, мгновенно загорающаяся страсть, способность отдаваться наивнымъ, почти дѣтскимъ радостямъ, открытое незлобивое сердце—все это крупнѣйшія черты нравственной природы Пушкина. Генераль Инзовъ, его начальникъ, писалъ о немъ: «онъ малый, право, добрый». Именно такъ: не человѣкъ добрый, а добрый малый. Это значитъ—доброта инстинктивная, органическая, всегда безразсчетная и часто нектати стремительная. Пушкинъ *не понималъ* злости, какъ нравственнаго явленія: злой человѣкъ не входилъ въ его сознаніе, это нѣчто ненормальное. *Безгранично-глупое*. Только дураки могутъ быть злыми,

говорилъ поэтъ, и эта истина подсказывалась ему всей его природою,— не умомъ, не идеями, а прирожденными вкусами и наклонностями.

Отсюда способность поэта предаваться самой безоблачной, чисто дѣтской радости.

Когда на душѣ у него легко и онъ среди завѣдомо любящихъ его людей, онъ превращается въ ребенка, неумолкаемо говорить, хохочетъ на весь домъ, импровизируетъ стихи, сыплетъ остротами. Отъ его хохота, говорятъ намъ, можетъ встать умирающій. Это не Александръ Сергѣевичъ, а «Саша Пушкинъ»: такъ его называетъ большинство знакомыхъ и у каждого изъ нихъ въ памяти цѣлый запасъ его школьническихъ проказъ и выдумокъ. Его веселость заразительна, какъ все искреннее, его наивности забавны, его шутки вдвойнѣ увлекательны— и остроуміемъ, и чисто-ребяческой шаловливостью. Онъ самъ называетъ свою болтливость вѣтреной и *мужской* и ничто не могло сравниться съ обаяніемъ добрыхъ настроеній Пушкина. Настоящее гениальное дитя природы, окруженное и блескомъ исключительнаго ума и таинственной силой— очаровывать и подчинять!

И Пушкинъ чувствуетъ инстинктивное влеченіе ко всему естественному, органически-сильному и оригинальному. Онъ легко сходится съ простыми людьми, можно сказать влюбляетъ въ себя случайно встрѣченнаго мавра Али, по-пріятельски живетъ съ цыганами, съ первой же встрѣчи вызываетъ у нихъ полное довѣріе и дружелюбіе, дикари поютъ ему свои пѣсни, посвящаютъ его въ свои нравы, въ свою вѣру, учатъ его своему языку, считаютъ его своимъ человѣкомъ. Тоже повторяется съ нищими и старцами. Пушкинъ заслушивается ихъ былинъ, вмѣстѣ съ ними самъ поетъ, и на деревенской ярмаркѣ, среди каликъ лазарей онъ чувствуетъ себя гораздо лучше, чѣмъ въ самомъ блестящемъ салонѣ. Чувствуется хорошо съ нимъ и всякому простому люду¹⁾.

Старые слуги перезабудутъ съ годами всѣ подробности изъ жизни покойнаго молодого барина, но одно обстоятельство они запомнятъ твердо и навсегда: «а добръ-то, добръ ужъ какъ былъ!» Это, очевидно, самое яркое воспоминаніе, и его единодушно повторяютъ няня поэта, извозчикъ, часто его возившій, его крѣпостной кучеръ, всѣ, кто только близко его зналъ²⁾.

То же самое остается и въ памяти дѣтей. Это одно изъ сильнѣйшихъ пристрастій Пушкина. Онъ любитъ ихъ не просто, какъ милую забаву, слушаетъ ихъ лепетъ не ради одной дешевой потѣхи, онъ любитъ самую ихъ природу, искреннюю и непосредственную. Онъ любитъ ихъ, какъ нравственное и психологическое явленіе, онъ внимательно присматривается къ ихъ безхитростной естественной воспримчивости,

¹⁾ *Журналъ Мин. Народн. Просвѣщ. Могилы Пушкина и село Михайловское.* 1859 г., часть 103.

²⁾ *Воспоминаніе изъ дѣтства А. С. Пушкина. Всеобщая газета* 1869, № 60. *Изъ записной книжки Зеленеикаго. Къ биографіи Пушкина.* Вып. II, стр. 96.

слѣдитъ за ихъ впечатлительностью, онъ изучаетъ по нимъ природу въ ея чистомъ видѣ. И у него такъ много общаго съ дѣтьми!

Онъ не жалѣетъ времени на бесѣды и игры съ ребенкомъ, если у него живое воображеніе, если онъ воспримчивъ къ простой поэтической красотѣ. Онъ изобрѣтаетъ для него даже особыя забавы, по цѣлымъ часамъ смѣшитъ его и самъ смѣется: онъ и здѣсь свой человекъ, потому что онъ предъ нимъ наивная красота человѣческаго нравственнаго міра, простѣйшія безсознательно-чистыя и изящныя впечатлѣнія ³⁾.

И Пушкинъ добръ чисто по дѣтски, безъ малѣйшихъ притязаній на имя благодѣтеля, гуманнаго человѣка. Доброта—одно изъ побужденій его организма. У него просятъ денегъ для одного бѣднаго семейства; онъ отдаетъ послѣдніе 50 рублей. Онъ пишетъ брату: «если тебѣ вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай изъ онѣгивскихъ денегъ. Но прошу, безъ всякаго шума, ни словеснаго, ни письменнаго». И это порученіе дается, когда поэтъ самъ нуждается, когда онъ сидитъ въ ссылкѣ, когда его сочиненія едва-едва проходятъ сквозь тиски цензуры ⁴⁾.

Легко представить, какимъ благодарнымъ чувствомъ встрѣчаетъ Пушкинъ доброе отношеніе къ себѣ другихъ. Онъ будто ждетъ случая возможно рѣшительнѣе заявить свою признательность, свою горячую любовь. Его привязанность къ нянѣ — историческій памятникъ всей русской литературы. Ни въ чьей жизни не встрѣчается болѣе трогательной и краснорѣчивой черты: великій поэтъ называетъ «мамой» крѣпостную крестьянку, она протестуетъ, онъ горячо доказываетъ ея жизненныя права на это имя ⁵⁾. И онъ пишетъ изъ невольнаго уединенія: «она единственная моя подруга, и съ нею только мнѣ не скучно» ⁶⁾.

Столь же искренняя привязанность къ учителямъ за малѣйшій проблескъ живой мысли. Пушкинъ многократно вспоминаетъ о Галичѣ, называетъ его лучшими именами, какія только бывшій ученикъ можетъ дать своему учителю, онъ приноситъ «дань сердца и вина» Куницину, онъ на вѣки передаетъ потомству, что этотъ профессоръ *создалъ лиценстовъ, ospиталъ ихъ пламень, поставилъ краеугольный камень, возжегъ чистую лампаду...* Рѣдко кому выпадала такая честь и изъ такихъ устъ! И за что все это? Можно подумать, Галичъ особенно близко сошелся съ поэтомъ, вникъ въ его юношескія мечты и направилъ его молодыя стремленія. Ничего подобнаго: онъ былъ просто добрымъ, хорошимъ человекомъ, и это уже незабвенно для поэта.

³⁾ А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ кн. Вяземскаго. Къ *Биографіи*, стр. 35—6, 49.

⁴⁾ *Русская Старина* 1880, XXVII, 144, 1879, XXVI, 304.

⁵⁾ *Журн. Мин. Нар. Просвѣщ.* *Ibid.*

⁶⁾ Письмо изъ Михайловскаго, ноябрь 1824 г. *Сочиненія*. Спб. 1887, VII, 96.

Еще меньше заслугъ за Куницынымъ. Главнѣйшая по отношенію къ лицейцамъ—рѣчь при открытіи лицея. Въ ней профессоръ сулилъ своимъ питомцамъ самое блестящее и благородное будущее государственныхъ дѣятелей, призывалъ ихъ къ гражданскимъ подвигамъ и добродѣтелямъ. И это запомнилъ поэтъ. Пусть вскорѣ Куницынъ превратится въ ремесленника-учителя, пусть примется изводить будущихъ благодѣтелей отечества безсмысленнымъ зубреніемъ тетрадокъ, пусть даже самъ первый, какъ владѣлецъ крѣпостныхъ душъ, отступить отъ своихъ либеральныхъ проповѣдей, онъ все-таки воспитатель и создатель. Нѣсколько свободныхъ словъ, нѣсколько болѣе или менѣе живыхъ лекцій, и поэтъ непремѣнно увѣнчиваетъ своего наставника.

Благодарный ученикъ, онъ единственный, идеальный товарищъ Царское Село для него «отчизна», лицейсты «святое братство» и онъ общается ему вѣрность до послѣдней минуты, гдѣ бы и какъ бы ему ни пришлось жить. И онъ держитъ свое слово. Онъ до самой смерти представляетъ прочную живую связь между товарищами. Его личность—центръ бывшихъ лицейстовъ, его стихи на лицейскія годовщины—важнѣйшій моментъ товарищескаго праздника. Онъ одновременно и слава лицея, и его душа, и среди лицейстовъ онъ—первый поэтъ Россіи—самый родной и близкій товарищъ.

У него есть избранники, особенно ему дорогіе, потому что дружба—одно изъ живѣйшихъ чувствъ пушкинской природы. Рѣдкій поэтъ умѣлъ говорить о дружбѣ такъ сердечно, съ такой трогательной нѣжностью и художественной красотой. Вчитайтесь, напримѣръ, въ слѣдующіе два стиха: они написаны по поводу новыхъ знакомствъ во время ссылки а югѣ. Посмотрите, сколько непосредственной любви и поэтической прелести въ каждомъ словѣ, въ самомъ выборѣ выраженій:

Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, прмнникъ ласкающей главой.

И Пушкинъ говоритъ о друзьяхъ, какъ о великой радости своей жизни, о дружбѣ, какъ о голодѣ своей души. Пушкинъ для него «товарищъ милый, другъ прямой». Пушкинъ посѣщаетъ его въ изгнаніи и поэтъ не находитъ болѣе вразумительныхъ словъ для обоихъ и болѣе восторженныхъ для себя, чѣмъ сравненіе этого дня со «днемъ лицея».

Еще ближе ему Дельвигъ—его «братъ названный». Нѣжность къ нему безгранична. Онъ тоскуетъ о немъ въ разлукѣ: ему «мочи нѣтъ хочется Дельвига». При свиданіи онъ осыпаетъ его поцѣлуями, цѣлуетъ у него руки, не можетъ наглядѣться на него. Дельвигъ тоже поэтъ, но предъ Пушкинымъ онъ едва мерцающая точка предъ солнцемъ. Это всѣ знаютъ, не желаетъ знать только Пушкинъ. Онъ упорствуетъ въ своихъ восторгахъ предъ талантомъ Дельвига и въ самоуниженіи. Онъ обвиняетъ себя въ тщеславіи, въ честолюбіи, въ легкомысленной растратѣ таланта и жизни. А Дельвигъ «геній свой воспитывалъ въ тиши». На менѣе очарованный взглядъ, Дельвигъ просто былъ слипи-

комъ гнѣвъ, не обладалъ темпераментомъ и не зналъ никакой страсти: для Пушкина все это превращается въ великія, для него самого недостижимыя достоинства. Онъ негодуетъ на несправедливость людей. Стихотворенія Дельвига отличались «необыкновеннымъ чувствомъ гармоніи», «классической стройностью»—и поэта никто не привѣтствовалъ. А стихи его—Пушкина—посредственные, только развѣ легкіе и отдѣльные въ мелочахъ—расхваливались и прославлялись.

Несправедливость, разумѣется, существовала только для слишкомъ благосклонныхъ глазъ Пушкина. Дельвиговская гармонія и стройность весьма родственна холоду и искусственности, чего не зналъ пушкинскій талантъ, зато Пушкину, въ посланіи къ тому же Дельвигу, пришлось, помимо похвалъ, упомянуть о зависти и клеветѣ, доставшихся не скромному гармоническому пѣвцу, а ему—легкомысленному и честолюбивому. Но дружескія чувства Пушкина остались неизмѣнными. Смерть Дельвига поразила его, какъ страшное, неизбывное горе. Это первая смерть, имъ оплаканная. Она легла зловѣщей тѣнью на самое, повидимому, счастливое время поэта: онъ добился, наконецъ, руки любимой дѣвушки и готовился стать ея мужемъ. И поэтъ до конца своей жизни не могъ помириться съ этимъ горемъ, безпрестанно вспоминая о покойномъ другѣ, какъ о навѣки утраченной молодости. Смерть Дельвига легла гранью въ жизни Пушкина: «никто на свѣтѣ не былъ мнѣ ближе Дельвига», писалъ онъ, жалуясь на свое сиротство.

Не съ такой вѣжностью любилъ Пушкинъ третьяго товарища—Кюхельбекера, но и къ нему его привязывало неизмѣнно искреннее чувство. У Кюхельбекера было не мало смѣшныхъ качествъ, благородные порывы у него выходили непременно донъ-кихотствомъ, любовь—чувствительной и томительной меланхоліей, онъ давалъ обильную пищу остроумію товарищей. Пушкинъ называлъ его «сумасбродомъ», «увышыхъ чувствъ искателемъ» и Кюхельбекеръ даже однажды едва не подрался съ нимъ на дуэли за выраженіе «кюхельбекерно и тошно». Но смѣхотворность чувствъ и романтичность характера не мѣшали Кюхельбекеру быть благороднымъ и добрымъ человѣкомъ. Онъ страстно увлекся политикой, принялъ участіе въ декабрьской смутѣ и подвергся одиночному заключенію въ Шлиссельбургъ. Пушкинъ, вспоминая свою «суетную» молодость и признавая суету несовмѣстимой съ поэзіей, обращается къ Кюхельбекеру:

Скажи, Вильгельмъ, не то-ль и съ нами было,
Мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ?

И это не только стихотворныя чувства. Пушкинъ былъ крайне огорченъ судьбой товарища, ясно представлялъ весь ужасъ его заключенія и думалъ какъ-нибудь поддержать въ немъ бодрость духа. Онъ неоднократно добивается у властей разрѣшенія вступить въ переписку съ Кюхельбекеромъ, онъ намѣренъ доставлять ему свои произведенія,

онъ цѣвнѣтъ въ немъ критическій талантъ и жаждетъ слышать его голосъ... Старанія остались безуспѣшными.

Не одни только товарищи были такъ близки сердцу Пушкина. Онъ всегда шелъ навстрѣчу всему благородному и искреннему и съ первой минуты отдавался увлеченію. Онъ случайно встрѣтился съ семьей генерала Раевского, до тѣхъ поръ онъ зналъ только младшаго сына генерала, но прошло всего нѣсколько дней, и Пушкинъ въ восторгѣ отъ всѣхъ этихъ людей. Въ старшемъ сынѣ генерала онъ провидитъ будущую знаменитость, «всѣ его дочери—прелестъ», «старшая—женщина необыкновенная». И поэтъ счастливъ, наслаждается жизнью, какъ никогда, и не знаетъ, чему воспѣтъ болѣе восторженный гимнъ—южной природѣ или удивительнымъ людямъ?

Какая, очевидно, жажда любви и ласки жила въ сердцѣ Пушкина и съ какой радостью онъ спѣшилъ насытить ее! Всякое чувство у него принимало стремительный, страстный характеръ. Онъ не могъ только сочувствовать, благоволить, онъ непремѣнно увлекался, открывалъ въ человѣкѣ бездну достоинствъ, прощаль ему недостатки, готовъ былъ поступиться своимъ самолюбіемъ, отдать въ распоряженіе человѣка всѣ сокровища своего ума и таланта.

И такъ происходитъ не только въ ранней молодости. Сердце Пушкина остается неизмѣннымъ, съ годами становится еще болѣе отзывчивымъ и безкорыстнымъ. Отношенія Пушкина къ Гоголю—одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и чудныхъ эпизодовъ всей нашей литературной и общественной исторіи.

Пушкинъ встрѣтилъ бѣднаго, застѣчиваго малоросса, по положенію отставнаго канцеляриста и съ самыми разнообразными планами будущаго. Сюда входили и слова актера, и дѣятельность писателя, и даже подвижничество ученаго. Кто могъ подозрѣвать, что въ этомъ мечтателѣ и неудачникѣ таится геніальный талантъ? А главное, кто былъ въ силахъ не только открыть талантъ, но двинуть его на истинный путь, вдохновить его, обогатить нравственной силой и даже художественнымъ содержаніемъ? И все это совершаетъ Пушкинъ съ величайшимъ увлеченіемъ, не страшась новой восходящей звѣзды первой величины; напротивъ, всѣми силами стараясь облегчить и украсить ея восходъ.

Онъ становится опекуномъ Гоголя—его вдохновеній и мыслей. Онъ бесѣдуетъ съ нимъ по цѣлымъ ночамъ, указываетъ ему, какія книги слѣдуетъ прочитать, даетъ предварительныя объясненія, жаждетъ внушить ему такое же строгое и отвѣтственное отношеніе къ умственному развитію и труду писателя, какое усвоилъ онъ самъ. Онъ, какъ отецъ, дѣлится съ нимъ своими творческими замыслами и, когда Гоголь пользуется его темой для *Мертвыхъ душъ*, онъ все прощаетъ ему ради его геніальнаго произведенія, онъ даже сиѣшитъ признать, какихъ художественныхъ силъ недостаетъ ему, Пушкину, и какими въ изобиліи обладаетъ Гоголь.

И съ Гоголемъ совершается преобразование. Съ этихъ поръ писательство для него великій нравственный долгъ и вѣчное обязательство предъ гениальнымъ поэтомъ и руководителемъ. Больше не будетъ начатано ни одной строки безъ вѣдома Пушкина. Рукописи посылаются ему на просмотръ, Гоголь умоляетъ своего судью «сдѣлать хотя сколько-нибудь главныхъ замѣчаній». И Пушкинъ дѣлаетъ больше: онъ восторженно привѣтствуетъ *Вечера на хуторѣ близъ Диканьки* и эти слова останутся для молодого таланта вѣрнѣйшимъ напутствіемъ къ славѣ и величію, они также будутъ едва ли не высшей радостью для Гоголя, какъ человѣка.

Такъ онъ заявитъ въ своемъ письмѣ по смерти Пушкина. Достаточно было этихъ строкъ, чтобы навсегда въ нашемъ прошломъ личность поэта осталась въ ореолѣ идеальнаго благородства и чело-вѣчности. Не часто проливаются такія слезы и по самымъ близкимъ и роднымъ людямъ, и Гоголь, говоря о своей горячей любви къ матери, сознается, что ея смерть не могла бы до такой степени огорчить его. Ему кажется, жизнь вообще утратила для него всякую привлекательность, онъ долго не можетъ привыкнуть за работу: онъ, вѣдь, привыкъ считать ее внушеніемъ Пушкина; «ни одна строка не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ». И работа продолжалась потому, что автора ослѣпляла мысль: онъ будетъ доволенъ, *ему* вотъ это непременно понравится... А теперь? что значать толки и мнѣнія, когда нѣтъ его *вѣчно* и *непреложно* слова...

И Пушкинъ останется для Гоголя до послѣднихъ его дней *прекраснымъ сномъ* его жизни... Чтобы внушить такую память, чтобы вызвать такое горе, надо обладать сердцемъ рѣдкой нравственной силы и красоты, надо хотѣть и умѣть любить людей, надо достигнуть высшей цѣли, какую только можетъ поставить себѣ человѣческая доброта: въ своей личности явить радость и счастье другихъ.

Но на свѣтѣ существуетъ еще другая любовь, помимо благодарности, дружбы, товарищескихъ привязанностей. Она должна особенно глубоко владѣть страстной вдохновенной природой великаго поэта, она вѣдь вѣчная спутница даже у людей самыхъ будничныхъ и у поэтовъ самыхъ прозаическихъ.

IV.

Пушкинъ и стихами, и поступками стяжалъ у современниковъ очень неслестную романическую славу. Кого только не воспѣвала его муза? Кажется, женщинъ всѣхъ національностей и общественныхъ положеній, и пѣсни, разумѣется, не были платоническимъ упражненіемъ. Онъ смѣялся надъ «бѣшенствомъ бесплоднаго желанья», надъ «неблагодарнымъ мечтаньемъ», онъ не понималъ наслажденія въ слезахъ, унылыхъ чувствахъ: любовь представлялась ему страстнымъ изступленіемъ,

мучительно-сладостнымъ трепетомъ, безумнымъ воплемъ о счастьѣ, даже когда оно достигается жертвой невыносимыхъ страданій и омраченнаго разсудка.

И Пушкинъ не говорилъ фразъ: онъ дѣйствительно только такъ и могъ любить и часто, слишкомъ часто выполнялъ свое же правило:

Мгновенью жизни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей...

И Пушкинъ былъ молодъ... На языкѣ даже близко знавшихъ его людей это называлось самыми страшными именами, и Пушкинъ не отрекивался отъ нихъ. Напротивъ, его постоянно посѣщали покаянныя настроенія, онъ съ глубокой грустью припоминалъ свои «изступленія», своихъ богинь и вдохновительницъ и онъ говорилъ тогда:

Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно и доловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кѣмъ унижилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Воготовить не устыдился?

И подобныя чувства не могли не быть не искренними. Пушкинъ не скрывалъ ихъ. Онъ даже рисковалъ подвергнуться нареканіямъ за измѣнчивость своего сердца, за непримиримое противорѣчіе собственнымъ нерѣдко столь еще недавнимъ признаніямъ. И его дѣйствительно укоряли. Онъ вдругъ, совершенно неожиданно, начиналъ издѣваться надъ милыми дѣвицами, которыхъ раньше осыпалъ любезностями, посвящалъ имъ стихи, видѣлъ въ нихъ чуть не радость и свѣтъ своей жизни.

Онъ, напримѣръ, находился въ большой дружбѣ съ дочерью г-жи Осиповой, его сосѣдки по Михайловскому, писалъ въ альбомы стихи, неутомимо странствовалъ съ нимъ до поздней ночи по берегамъ живописной Сороти, и вдругъ тѣ же милыя псковскія красавицы должны были прочесть слѣдующее убійственное привѣтствіе:

Ты, губернія Псковская,
Теплица юныхъ дней моихъ!
Что, можетъ быть, страна святая,
Несноснѣй барышень твоихъ,
Плаксивыхъ, скучныхъ, своенравныхъ...

Это было ужасно, тѣмъ болѣе, что, вѣроятно, каждая изъ этихъ злополучныхъ, плаксивыхъ жертвъ поэтического смѣха, свободно годилась въ Татьяны.

Легко представить, такія переѣны чувствъ не могли нравиться ни псковскимъ, ни одесскимъ, ни петербургскимъ кратковременнымъ властительницамъ пушкинскаго сердца и вдохновенія. И кругомъ виноватымъ оказывался, конечно, поэтъ. Для барышень и ихъ сочувственникововъ это было вполне ясно.

На самомъ дѣлѣ, вопросъ гораздо сложнѣе и любопытнѣе, чѣмъ

первое попавшееся подъ руку соображеніе о легкомыслии поэта. Онъ оставался искреннимъ отъ начала до конца и въ своихъ увлеченіяхъ, и въ своихъ разочарованіяхъ. Никто благороднѣе его не умѣлъ говорить о чувствѣ любви, никто рыцарственнѣе не смотрѣлъ на него, разъ оно дѣйствительно было чувствомъ и любовью. Еще до знакомства съ псковскими барышнями, на югѣ, въ самый разгаръ увлеченій мгновеньями, Пушкинъ полюбилъ. И посмотрите, какъ онъ лелѣетъ свою любовь, какъ онъ бережетъ ее отъ посторонняго взгляда, какъ онъ чтитъ ее, будто священнѣйшую тайну. И все это тѣмъ замѣчательнѣе, что любовь поэта не встрѣтила взаимности.

Одна мысль о *ней* внушаетъ ему картины поразительной прелести и дѣвственнаго благородства: въ русской поэзіи безпримѣрная музыка звуковъ и изящество образовъ! И такъ умѣлъ говорить поэтъ, весь охваченный огнемъ страсти, трепетавшій до послѣдняго нерва въ порывѣ могучаго желанія!

Я помню море предъ гровою:
Какъ я завидовалъ волнамъ,
Вѣгущимъ бурной чередою
Съ любовью лечь къ ея ногамъ!
Какъ я желалъ тогда съ волнами
Коснуться милыхъ ногъ устами!..



Но онъ не желаетъ открыть ея имени даже друзьямъ, не желаетъ отдавать въ печать стиховъ съ прозрачными намеками на *нее*. Онъ горько жалуется на пріятели, напечатавшаго элегію съ его откровенными сердечными изліянiami. *Она* прочтетъ, припомнитъ описанную сцену и подумаетъ, — ея имя — такое же достояніе другихъ, какъ и стихи. Развѣ она обязана знать, что поэтъ никому не открывалъ ея, что стихи попали въ печать безъ его вѣдома? И онъ негодуетъ, потому что «одной мыслью этой женщины дорожить болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ и всей нашей публикой»⁷⁾.

И никогда потомъ не пришла поэту прихотливая мысль посмѣяться надъ своей былой тоской, надъ непризнанными вздохами. *Она* такъ и осталась на высотѣ, недоступной для смѣха.

Иная судьба другихъ, воспѣтыхъ въ началѣ не менѣе вдохновенно. Напримѣръ, знаменитое посланіе. «Я помню чудное мгновенье», и эта неподражаемая, вся звучащая грустью и тоской, картина одиночества.

Въ глуши, во мракѣ заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...

Явилась *она*, и для поэта воскресли и жизнь, и любовь, и вдохновенье.

Кажется, на чтѣ обаятельнѣе? Такъ не говорить комплиментовъ,

⁷⁾ Письмо къ А. А. Бестужеву, 29 іюня 1824. VII, 81—82.

и поэтъ былъ искрененъ и страстно увлеченъ. Но прошло всего два-три мѣсяца и въ письмахъ начинаетъ звучать какая-то странная нота. Правда, непрестанно говорится о любви, и очень большой, поэтъ умираетъ отъ скуки, можетъ заниматься только ею... Такъ именно сочиняются любовныя посланія, но зачѣмъ же столь порывистыя чувства сопровождаются явной насмѣшкой, весьма двусмысленной игрой словъ, приглашеніемъ пріѣхать въ Михайловское, конечно, весьма любезнымъ, но въ то же время какимъ-то легкомысленнымъ, съ затаенной проніей на счетъ возможности для молодой супруги отдѣлаться отъ стараго мужа? Поэтъ, наконецъ, и самъ опоминается: нельзя въ такомъ тонѣ писать о такихъ вещахъ любимой женщинѣ, «поговоримъ серьезно», заявляетъ онъ рѣшительно, но серьезность такъ и не дается: поэтъ даже грозитъ влюбиться въ кого-нибудь, если его героиня не увидится съ нимъ...

Очевидно, это не вдохновеніе стихотворнаго посланія и не его чувства, и вскорѣ поэтъ пуститъ по адресу очаровательной и весьма еще недавно обожаемой г-жи Кернъ забавную остроту. Онъ воспользуется чужими стихами и два самыхъ романическихъ и восторженныхъ онъ подмѣнитъ самыми холодными и для бывшей героини «чуднаго мгновенія» весьма обидными:

Когда стройна и свѣтлоока
 Передо мной стоитъ она...
 Я мыслю: «въ день Ильи-пророка
 Она была разведена!..»

Почему же такая разница въ судьбѣ двухъ, повидимому, одинаково поэтическихъ увлеченій поэта? Отвѣтъ возможенъ только одинъ—самый простой и логическій. Не всякій «идолъ» способенъ былъ остаться на высотѣ, куда его въ первую минуту живыхъ впечатлѣній возносило воображеніе поэта. Очевидно, существовалъ выборъ и онъ именно доказывалъ искренность раскаянія, силу и значительность чувства и нравственный характеръ запросовъ къ любви.

Все это привело Пушкина къ рѣшенію жениться. Оно не могло бы до такой степени овладѣть поэтомъ, если бы для него вся жизнь сердца сводилась къ мгновеньямъ. Мысль о бракѣ совпала у Пушкина съ непреодолимымъ отвращеніемъ къ даромъ потерянному времени и всеурастроченной поэтической силѣ. Онъ намѣренъ окончательно порвать съ «идолами» всякаго рода и пола. Онъ теперь сторонится отъ веселыхъ обществъ и пишетъ откровенныя исповѣди друзьямъ своихъ холостыхъ удовольствій: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно... Счастья мнѣ не было». И Пушкинъ видѣлъ въ будущемъ упорный, неустанный трудъ. Онъ не ждалъ розъ и радостей: все это онъ приметъ какъ неожиданность. Онъ готовился нести честно и бодро бремя мужа и отца.

И онъ принялъ на себя это бремя сознательно, какъ долгъ, какъ поруку плодотворнаго и многотруднаго будущаго.

Пушкинъ—мужъ!.. Трудно и представить, какъ странно звучало это для самыхъ искреннихъ друзей поэта. Они боялись за него по многимъ и самымъ разнообразнымъ соображеніямъ: страшились неминуемаго рабства предъ семейными обязательствами, плохо вѣрили въ его постоянство, не ждали добра для его таланта и для его личнаго характера. И все-таки Пушкинъ женился.

Предварительно онъ, конечно, воспѣлъ «торжественную красу» своей будущей жены, пережилъ не мало волненій и мукъ самолюбія и влюбленнаго сердца, добиваясь руки красавицы; цѣль, наконецъ, достигнута. Какая трогательная и въ то же время болѣзненно напряженная исторія—семейная жизнь Пушкина! §

Онъ создалъ себѣ семью, весь переполненный жаждою прочнаго сердечнаго счастья, тоскующій о подругѣ, хозяйкѣ и о дѣтяхъ. Въ немъ, оказалось, таился идеальный супругъ и отецъ—неусыпно-заботливый, рыцарственно-честный и откровенный, патріархальный по горячей привязанности къ *своимъ*, по склонности входить во всякую мелочь семейнаго благополучія.

Письма Пушкина къ женѣ—единственные въ своемъ родѣ документы. Ни одинъ великій поэтъ не оставилъ такого краснорѣчиваго, такого живого и глубоко-трагическаго свидѣтельства о своей простой, благородной и величавой личности. Пушкинъ не могъ быть вполне откровеннымъ: его письма вскрывались полиціей, прочитывались почтовыми чиновниками и администраціей. Мы увидимъ, какой смыслъ имѣло это обстоятельство въ жизни поэта, но по временамъ онъ будто забывалъ, что его подслушиваютъ нечистоплотные уши, и какъ онъ умѣлъ тогда говорить! Эта чудная сжатость рѣчи, сила выраженій, сердечность тона и въ глубинѣ—безпокойное страдальческое чувство, трепетный страхъ за безконечно-дорогихъ людей, пламенное негодованіе на все, что только грозитъ ихъ покою, довольству, достоинству.

Ни въ одной самой поэтической поэмѣ нельзя найти такой полной, могучей, самодовлѣющей любви. Каждое будто мимоходомъ брошенное нѣжное слово стбитъ самыхъ живописныхъ и рѣчистыхъ упражненій на романическія темы, и это слово всегда въ высшей степени просто, нерѣдко даже грубовато, народно: отъ него дышитъ органической силой великой личности!

Пушкинъ въ непрерывной работѣ. Онъ часто покидаетъ жену, чтобы въ уединеніи, вдали отъ столичнаго общества, предаться труду. Собираясь писать исторію Пугачевского бунта, онъ отправляется въ далекое путешествіе, на Волгу, живетъ по три мѣсяца въ степной глуши, скачетъ по большимъ дорогамъ—и все для нея, жены и дѣтей. На себя онъ тратитъ возможно меньше, дурно одѣвается, вдали отъ жены живетъ отшельникомъ, и все затѣмъ, чтобы его жена была одѣта

не хуже другихъ, чтобы она—красавица и свѣтская дама—веселилась и блистала. «Будь молода,—пишетъ онъ ей,—потому что ты молода, и царствуй, потому что ты прекрасна».

Уѣзжая изъ дому, онъ не забываетъ мельчайшихъ вопросовъ касательно здоровья жены и даже ея хозяйства. Онъ даетъ ей подробныя наставленія, какъ вести себя во время беременности, убѣждаетъ ее быть умной, это значитъ—«здоровой и спокойной», умоляетъ беречь себя—«сдѣлать милость—не простудиться». Онъ не желаетъ, чтобы она больная писала ему длинныя письма и въ точности описываетъ режимъ, какого она должна держаться.

Не меньше приходится заботиться и объ общественныхъ отношеніяхъ жены. У нея нѣтъ такта въ знакомствахъ: она не всегда умѣетъ сохранять свое достоинство въ чванной, но рабской средѣ, дѣлаетъ визиты невпопадъ: все это надо предусмотрѣть и объяснить. Онъ жестоко страдаетъ отъ одной мысли, что его жена потерпитъ униженіе, вдругъ окажется гдѣ-нибудь обойденной, превратится въ просительницу. Еще сильнѣе беспокоится онъ на счетъ ея свѣтскихъ знакомыхъ франтовъ. Они такъ склонны и способны говорить пошлости и глупости, признаваемые въ свѣтѣ любезностями и остроуміемъ. Ихъ такъ легко поощрить самымъ пустымъ кокетствомъ, особенно красавицѣ, и Пушкинъ долженъ и здѣсь просить, умолять, настаивать не увлекаться дешевыми побѣдами, уяснить себѣ разъ навсегда цѣну свѣтскихъ ухаживаній.

Тяжело давать эти совѣты и въ то же время не допускать мысли, чтобы красивая молодая женщина изъ-за пошляковъ могла отказаться отъ свѣта и удовольствій.

Другая столь же неотступная забота—дѣти. Пушкинъ безпрестанно говоритъ о нихъ, дѣлаетъ женѣ указанія, какъ за ними ухаживать, кормить и глѣчить. Ему думается, что дѣти пострадали при переѣздѣ на другую квартиру, и онъ спѣшитъ навести справку. Но особенно мучительно для него мысль объ ихъ будущемъ. Онъ ужасается, что можетъ оставить дѣтей безъ средствъ: что они тогда скажутъ объ отцѣ? «Утѣшенія имъ мало будетъ въ томъ, что ихъ папеньку схоронили, какъ шута, и что ихъ маменька ужасъ какъ мила была на аничковскихъ балахъ».

Дома Пушкинъ является образцомъ кротости и благодушія. «Самый счастливый характеръ для семейной жизни,—говоритъ братъ жены поэта,—ни взысканій, ни капризовъ». Онъ могъ разсердиться только отъ одного нарушенія порядка, если кто являлся въ его кабинетъ отъ часу до трехъ: это время онъ работалъ ⁸⁾.

Къ такому концу пришли всѣ бурныя увлеченія молодости, много численныя смѣны идоловъ! Поэтъ хотѣлъ только труда и семейнаго покоя,—онъ говорилъ:

⁸⁾ Русск. Стар. 1880, XXVIII, 95.

Мой идеалъ теперь—хозяйка,
Да шей горшокъ, да самъ большой...

И рѣдкій идеалъ выполнялся съ такимъ достоинствомъ, съ такой любовью, и врядъ ли кто былъ достойнѣе такого простого непритязательнаго счастья. И врядъ ли для кого оно окончилось несправедливѣе и трагичнѣе...

V.

Если весьма многихъ удивило превращеніе Пушкина въ мужа и отца,—еще менѣе понятной новостью для свѣта и даже для друзей поэта было представленіе о блестящемъ поэтѣ, какъ труженикѣ ума и знанія. Оно совершенно не мирилось съ общеизвѣстнымъ Пушкинымъ, героемъ безчисленныхъ исторій, неукротимымъ острословомъ, способнымъ сыпать рѣчами—гдѣ угодно и когда угодно—въ свѣтской гостиной, въ товарищеской пирушкѣ, у горы Бештау, на берегу Чернаго моря. И, казалось, ничего не могло быть естественнѣе—примѣнить къ самому поэту его отзывъ объ образованіи его героя: учился понемножку, чему-нибудь и какъ-нибудь...

И вдругъ, всему этому послѣдовало опроверженіе и чрезвычайно внушительное. Пушкина возвращали изъ ссылки, его принялъ императоръ Николай, долго съ нимъ бесѣдовалъ и по Москвѣ потомъ разнесся слухъ, будто государь сказалъ вечеромъ въ тотъ же день одному изъ сановниковъ: «Знаешь, что я нынче говорилъ съ умнѣйшимъ человѣкомъ въ Россіи».

А дальше уже былъ не слухъ, а достовѣрный фактъ: Государь поручилъ Пушкину составить записку о народномъ воспитаніи. Это вопросъ государственный и его предоставлялось обсудить стихотворцу, нѣсколько лѣтъ просидѣвшему въ изгнаніи за неосновательный и даже преступный образъ мыслей.

Какъ это могло случиться? Очевидно, Пушкинъ кое-что зналъ и думалъ, и на самомъ дѣлѣ гораздо больше, чѣмъ полагалъ даже Николай I.

Вся жизнь поэта дѣлится на двѣ параллельныхъ полосы. Одна—всѣмъ видимая и всѣми опѣненная, другая—тайная, личная, одна—полна шума, удовольствій, другая вся занятая трудомъ и размышленіемъ. И поэтъ не скрывалъ этой двойственности. Онъ часто, во всѣ періоды своей жизни, говоритъ объ уединеніи, о счастьѣ—думать и читать вдали отъ людей. Въ ранней молодости онъ воспѣлъ свою чернильницу «подругу думы»: съ ней онъ забывалъ условный часъ похмелья и праздничный бокалъ. «Часы печали томной» коротались вдохновеньемъ, и муза ласково нашептывала одинокому поэту рѣчи и подсказывала ему—одну за другой—темы для стиховъ. И поэту общество всегда казалось цѣпями для сердца и вдохновенія. «Тихій

трудъ» и «кажда размысленій» манили его въ одиночество и тамъ—говорилъ онъ:

Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ,
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы,
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

Эта программа выполняется неуклонно, сначала безсознательно въ дѣтствѣ, потомъ съ твердымъ намѣреніемъ «вознаградить недостатки проклятаго воспитанія». Въ родительскомъ домѣ онъ перечитываетъ французскую бібліотеку отца, къ двѣнадцати годамъ изумляетъ учителей и родныхъ обширными познаніями во французской литературѣ. Въ лицей онъ не перестаетъ читать—страстно, усидчиво и въ высшей степени основательно. Онъ читаетъ съ перомъ въ рукахъ, дѣлаетъ выписки и замѣтки. Онъ наслаждается и учится. По его словамъ, онъ часто тайно, въ своей комнатѣ съ восторгомъ забываетъ цѣлый свѣтъ, его друзья—мертвецы надъ простою полкой, они живутъ съ нимъ.

И мы узнаемъ подробно имена этихъ друзей. Цѣлая энциклопедія изъ поэтовъ и критиковъ, русскихъ и иностранныхъ, и насколько хорошо съ ними познакомился молодой читатель, онъ вскорѣ докажетъ своими по-истинѣ бессмертными приговорами о крупнѣйшихъ фактахъ родной и чужой поэзіи.

Но чтеніемъ не ограничивается духовная работа Пушкина. Читая книги, онъ изучаетъ людей, жизнь и самого себя. Въ лицей онъ начинаетъ записывать выдающіеся случаи изъ своей жизни, въ стихахъ же безпрестанно говоритъ о своемъ нравственномъ мірѣ, о своихъ думкахъ наединѣ, предъ нами не по лѣтамъ развитое самосознаніе и врожденная склонность отдавать себѣ отчетъ въ пережитомъ и наблюденномъ. Отсюда—горячій интересъ къ современнымъ историческимъ событіямъ. Пушкинъ-лицеистъ становится поэтомъ-лѣтописцемъ великой эпохи. Онъ вдохновенно отзывается на пожаръ Москвы, онъ усиливается осмыслить судьбу Наполеона и опредѣлить славу русскаго императора. Онъ выполняетъ задачу съ чувствомъ искренняго, отчасти наивнаго патріотизма, о Наполеонѣ говоритъ слишкомъ по-московски, готовъ превратить французскаго цезаря въ колѣнопреклоненнаго почитателя русскаго царя. Но для насъ любопытны не столько идеи шестнадцатилѣтняго политика, сколько его глубокое любопытство къ историческимъ фактамъ: оно ручается за совершенствованіе идей, оно, кромѣ того, показываетъ, какіе мотивы увлекаютъ молодой талантъ, свидѣтельствуетъ объ его значительныхъ и жизненныхъ задачахъ.

И самъ поэтъ сознаетъ это вполне. Среди товарищей онъ авторъ безчисленныхъ эпиграммъ, любовныхъ посланій, пѣвецъ лицейскихъ шалостей, неутомимый и веселый производитель риѐмъ и стихшковъ. Но для самого себя онъ и еще кое-что. Онъ чувствуетъ въ себѣ

нѣкую исключительную силу и проникается инстинктивнымъ уваженіемъ къ ней. Онъ, независимо отъ какихъ бы то ни было теорій и идей, не можетъ легко и небрежно смотрѣть на даръ поэта. Гений—его личность, его натура, его я, и онъ погрѣшилъ-бы непростительнымъ самоуниженіемъ, если бы отнесся шутя и небрежно къ своему чудному дару пѣсенъ.

И Пушкинъ еще въ лицѣ составляетъ свою теорію словесности—независимо отъ образцовъ и учителей. Онъ различаетъ стихотворца и поэта. Онъ признаетъ нужнымъ *учиться своему искусству*. Онъ крайне осторожно обращается съ своимъ авторскимъ именемъ, съ трудомъ рѣшается печатать свои стихи и очень неохотно подписывается подъ ними. Впослѣдствіи будутъ случаи, когда онъ по цѣлымъ годамъ будетъ вынашивать и отдѣлывать какое-либо стихотвореніе, напримеръ, свой окончательный судъ надъ Наполеономъ. Онъ съ негодованіемъ говоритъ о мнѣніи публики, будто стишки для поэта забава и междудѣлье: стоитъ присѣсть, воспѣть какую-нибудь красавицу,—и слава и деньги готовы. Такъ можетъ судить дѣйствительно только чернь, разсуждающая всегда только по внѣшнимъ впечатлѣніямъ и никогда неспособная проникнуть въ душу человѣка и писателя. Такимъ читателямъ достаточно услышать два-три стихотворныхъ каламбура, ознакомиться съ пикантнымъ советомъ, и мнѣніе о поэтѣ готово: онъ и есть, и будетъ легкрылый наперсникъ харитъ и грацій; все, что не похоже на любовное рюмоплетство и не напоминаетъ бойкой эпиграммы,—странность и случайность.

Именно Пушкинъ особенно прочно стяжалъ эту славу, и ему придется бороться съ ней до конца своихъ дней. Но онъ не прерываетъ работы надъ самимъ собой, при самыхъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ. На югѣ онъ окруженъ въ высшей степени безтолковой средой, безпрестанно попадаетъ въ разныя исторіи, неоднократно изъ-за пустиковъ играетъ своею жизнью, но бенедиктинецъ въ немъ не умираетъ, сказывается часто совершенно неожиданно. Именно, на югѣ у Пушкина ярко обнаруживается замѣчательная склонность къ *историческому* воззрѣнію на прошлое и настоящее. Онъ желаетъ изучить основу, почву и развитіе извѣстныхъ явленій. Ему нужно не отвлеченное преднамѣренное освѣщеніе дѣйствительности, а логика фактовъ. Поэтъ, оказывается, таитъ въ себѣ мыслителя и ученаго. Впослѣдствіи, выработается политика, можетъ быть, пушкинская политика не будетъ стоять на высотѣ желательныхъ идеаловъ, но мы не должны забывать, какая *исторія* была въ его распоряженіи и по какой минувшей и современной дѣйствительности составлялись его идеалы.

Одинъ изъ его знакомыхъ, генералъ Раевскій, много рассказываетъ ему объ екатерининскомъ времени. Этого достаточно, чтобы Пушкинъ увлекся XVIII вѣкомъ, и не какъ классической эпохой всевозможныхъ приключеній, полуазиатскихъ дикостей, полуевропейскихъ пороковъ. Нѣтъ,

поэта занимаютъ мысли о главнѣйшихъ историческихъ силахъ Россіи, онъ старается уяснить себѣ политическую основу власти Петра, Екатерины, нарисовать нравственный образъ прославленной императрицы. И онъ достигаетъ своей цѣли.

Прочтите характеристику Екатерины II, ея любимцевъ, ея внутренней политики, уничтожающій приговоръ надъ выскочками, повелителями порабощеннаго народа. Пушкинъ не забываетъ оцѣнить по достоинству и такъ называемый просвѣтительный зудъ ученицы Вольтера, напомнить о судьбѣ Новикова, Радищева, о недостойной комедіи съ *Наказомъ* и комиссіей депутатовъ. Мимоходомъ бросается истинно-государственная идея о плачевномъ вліяніи новѣжественнаго и бѣдствующаго духовенства на религіозность, нравственность и просвѣщеніе русскаго народа...

Критика получается сильная и менѣе всего подсказанная поэтическимъ воображеніемъ, и заканчивается она отповѣдью, которая сдѣлала бы честь и позднѣйшимъ ученымъ и публицистамъ:

«Простительно было фернейскому философу превозносить добродѣтели, Тартюфа въ юбкѣ и коронѣ: онъ не зналъ, онъ не могъ знать истины но подлость русскихъ писателей для меня непонятна».

Этотъ выводъ не останется у Пушкина навсегда, отношеніе къ Радищеву со временемъ измѣнится, но мы пока не судимъ политическихъ воззрѣній поэта: мы желаемъ только показать полноту его умственной жизни, разносторонность его духовной работы.

Русскій восемнадцатый вѣкъ уживается рядомъ съ Байрономъ, съ англійскимъ языкомъ, съ усиленными поисками настоящей непогрѣшимой литературной школы. Съ французской словесностью счеты подводятся окончательно. Для Пушкина больше не можетъ быть и рѣчи о поэтическомъ достоинствѣ классическихъ трагедій, для него вообще и вся французская поэзія *робка и жеманна*, а главное, напыщенна, нереальна. Онъ хотѣлъ бы уничтожить ея *маркизовъ*. Онъ ясно видитъ, какъ мало знали человѣческую природу французскіе геніи, какъ они ловко цѣлуютъ человѣческую личность подмѣняя одной какой-либо страстью, и еще никто такъ блистательно и убійственно не смѣялся надъ галломаніей, какъ этотъ питомецъ французскихъ гувернеровъ и книжекъ.

И съ каждымъ днемъ міросозерцаніе поэта растетъ и ширится. Его постигаетъ ссылка, одиночное заключеніе въ глухой деревнѣ,—онъ вызываетъ къ друзьямъ: «книгъ! ради Бога—книгъ!» И онѣ идутъ къ нему въ громадномъ количествѣ. И чего только здѣсь нѣтъ! Библия, Коранъ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, *Меморіаль св. Елены*, *Записки Фуше*, Шекспиръ, Карамзинъ... Впослѣдствіи изъ Михайловскаго придется отправить въ Петербургъ нѣсколько воезовъ книгъ.

И все это читается, вызываетъ обмѣнъ мыслей съ друзьями, но прежде всего упорную личную работу. Она, разумѣется, непосредственно отражается на творествѣ. Коранъ, русскія лѣтописи, *Исторія Карам-*

зна, Шекспиръ становятся источниками вдохновенія, и трудно рѣшить, что въ результатѣ болѣе дѣлаетъ чести поэту—его ли многообразный геній, или добросовѣстный трудъ?

Изучать за тѣмъ, чтобы творить, думать съ пѣлю создавать образы, писать ради умственного и нравственного просвѣщенія своего народа—такова эстетика Пушкина. Для искусства—строгий, искренній, глубокий реализмъ, для мысли—значительность, жизненность, народность идей, для формы—простота, изящество, идеальная чистота языка.

Реализмъ!—какое для насъ обыкновенное слово, и какое странное, непередаваемое понятіе для современниковъ Пушкина! Классицизмъ, романтизмъ—это вполне ясно, а особенно какая прелесть все романтическое, необычайное, неслышанно-красивое, недосыгаемо-могучее, и, конечно, неразгаданное. Шиллеръ, Байронъ, Гюго, даже Альфредъ де-Виньи—это истинныя солида поэзіи, и всякій другой поэтъ можетъ свѣтитъ только родственнымъ, отъ нихъ же заимствованнымъ свѣтомъ.

И Пушкинъ—молодой, страстный и рыцарственный—согласенъ. Онъ также грезитъ демономъ, бѣднымъ скитальцемъ и одиночникомъ, постарѣвшимъ не отъ лѣтъ, а отъ роковыхъ страстей, сочиняетъ очаровательныя поэмы небесной женской любви и мужского нечеловѣческаго равнодушія... Дань уплачивается сполна неотразимому властителю думъ, но только затѣмъ, чтобы очень скоро взглянуть на него трезвымъ, беспощадно-критическимъ взоромъ.

Едва *Кавказскій плыникъ*, *Багчисарайскій фонтанъ* закончены и вызваны всеобщіе восторги, самъ творецъ ихъ уже недоволенъ: онъ смѣется надъ своими героями, онъ рѣзко осуждаетъ содержаніе поэмъ, онъ успѣлъ перерости ихъ, и не только ихъ, а и самого вдохновителя. Онъ понимаетъ сущность байронизма такъ просто и вѣрно, какъ долго не поймутъ призванные критики и ученые. Онъ въ письмѣ къ другу произнесетъ слова, роковыя для англійскаго поэта, какъ лирика: «постепенности въ немъ не было», и уничтожить его, какъ драматурга: Байронъ понималъ только одинъ характеръ—свой собственный и надѣлялъ героевъ разныхъ драмъ разными чертами своей личности. Онъ не могъ создать трагедіи, не нарисовалъ ни одного живого драматическаго лица.

Возможно ли точнѣе опредѣлить лирическаго пѣвца молодыхъ безотчетныхъ стремленій къ волѣ и наслажденію,—пѣвца не мыслителя, не искателя опредѣленныхъ жизненныхъ идеаловъ, пѣвца лишь непосредственныхъ чувствъ—негодованія и страсти?

И Байронъ становится для Пушкина однимъ изъ невозвратныхъ воспоминаній зеленой молодости. Онъ плохой руководитель въ познаніи подлинной жизненной правды, сложнаго нравственнаго міра отдѣльнаго человѣка и общества—и онъ уступаетъ мѣсто Шекспиру.

Здѣсь царство цѣльныхъ, реальныхъ людей, здѣсь—яркое неограниченно-правдивое воспроизведеніе народной исторической жизни. Это

и надо русскому поэту. Отнынѣ, послѣ кратковременнаго байроническаго хмеля, всѣ его произведенія будутъ основаны на данныхъ дѣйствительности, историческія—на достовѣрныхъ фактахъ, всѣ другія—на личныхъ наблюденіяхъ.

Но вѣдь русская исторія такъ бѣдна драматизмомъ, русская жизнь лишена красокъ, она—сѣра, уныла, удручающе-прозаична. Пусть такъ, но поэзія въ правдѣ, и геній художника можетъ нарисовать чарующую картину предъ самой, повидимому, невзрачной дѣйствительностью.

Ужъ, кажется, чего жалче, смѣшнѣе, немощнѣе москвича въ гарольдовомъ плащѣ, а между тѣмъ Евгений Онегинъ—герой одного изъ самыхъ художественныхъ романовъ во всей европейской литературѣ. Совсѣмъ, кажется, не эстетична русская деревенская обстановка, весьма мало увлекательна и вообще русская природа, а между тѣмъ все это дало поэту мотивы для музыкальнѣйшей и благороднѣйшей поэзіи. И этотъ поэтъ имѣетъ полное право въ томъ же романѣ посмѣяться надъ важнымъ ладомъ поэтического слова, надъ «пламеннымъ творцомъ», надъ героемъ—совершенствомъ, несправедливо гонимымъ, но съ чувствительной душой и вѣчной готовностью на неизглаголанныя жертвы... Какъ все это лживо, не-народно и,—думаетъ Пушкинъ,—не поэтично и не художественно.

Еще забавнѣе бредни вралей, на досугѣ воспѣвающихъ рощи да поля, это—плевелы литературы, трутни въ нравственно-отвѣтственной семьѣ писателей, и Пушкинъ жалѣлъ даже о цензорѣ, вынужденномъ посвящать безплодное вниманіе на птичьи пѣсни и бессмысленные звуки.

И Пушкинъ всю жизнь не переставалъ говорить о высокомъ призваніи поэта:

Служенье музъ не терпитъ суеты,—
Прекрасное должно быть величаво!..

Это правило, выработанное еще въ молодости, съ теченіемъ времени становилось все суровѣе и возвышеннѣе. Личность поэта поднималась до уровня пророка, жреца, онъ становился голосомъ своего народа, совѣстью общества, на него возлагался долгъ—идти своимъ путемъ, независимо отъ искушеній свѣта, отъ прихотей славы, отъ настроенія власти. Поэтъ въ самомъ себѣ несетъ свой судъ, неліцепріятный, неусыпный, потому что измѣна поэта своему генію и своему пути равносильна самоуниженію и даже самоотреченію.

Отсюда вытекаютъ гражданскія и общественныя обязанности поэта. Чтобы быть истиннымъ художникомъ, ему не нужны предписанія эстетики, бесполезны самыя ученныя разсужденія по теоріи словесности, совершенно также, чтобы быть гражданиномъ, ему не надо отыскивать себѣ партію, направленіе. Какъ художникъ—онъ правдивъ, искрененъ; слѣдовательно, реаленъ; какъ гражданинъ—онъ честенъ, независимъ, слѣдовательно, неизмѣнный другъ мысли, гуманности и свободы.

И политика Пушкина, какъ и его эстетика, развилась непосредственно изъ его поэтической природы.

VI.

Основной принципъ — поэтъ долженъ быть безусловно свободенъ. Это неотъемлемое условіе самого существованія генія, какъ силы естественной, развивающейся по собственнымъ ей прирожденнымъ законамъ, какъ силы стихійной, слѣдовательно, не подлежащей чисто внѣшнимъ преобразованіямъ. Ее можно задержать въ ея ростѣ, можно даже уничтожить, но передѣлать — для этого нѣтъ достаточно искусной и могучей власти. Истинный поэтъ, поэтъ милостью Божіей — не можетъ сочинять по заказу, даже по собственному желанію: у него бываютъ минуты вдохновенія, его требуетъ божество къ своему жертвеннику, — только тогда онъ творецъ.

Таковъ именно Пушкинъ. Его любимыя выраженія «Я чую рѣшмы», «меня посѣтили рѣшмы», и частыя жалобы на полное безсиліе писать, когда это необходимо — по *человѣческимъ* соображеніямъ, независимо отъ высшей воли, отъ голоса генія. Но зато, когда этотъ голосъ зазвучитъ, нѣтъ силъ остановить поэта, никто въ мірѣ не принудитъ его молчать. И сколько разъ Пушкинъ говорилъ въ самыя неподходящія минуты и говорилъ, чего отъ него не желали и не ждали услышать.

Во второмъ посланіи цензору онъ пишетъ:

Недавно тяжкою цензурой угнетенъ,
Послѣднихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ,
Со всею братіей гонимый совокупно,
Я, вспыхнувъ, говорилъ тебѣ немного крупно;
Потѣшилъ языка бранчивую свербѣжь...
Но извини меня, — мнѣ было невтерпѣжь.

Это оригинальное извиненіе — одна изъ краснорѣчивѣйшихъ чертъ пушкинской личности. Ему безпрестанно становилось невтерпѣжь и онъ тѣшилъ свой языкъ рѣшительно надъ всѣми — надъ свѣтскими свѣтилами, надъ государственными сановниками, надъ смѣхотворными приключеніями частныхъ глупцовъ и пошляковъ и надъ важнѣйшими мѣрами правительственныхъ особъ. Онъ идетъ на явную опасность, отлично знаетъ, что ему нечѣмъ будетъ умиловить оскорбленнаго и тотъ ему возместитъ обиду сторицей.

Въ ранней молодости онъ пишетъ эпиграмму на Аракчеева, на *Исторію* Карамзина: можетъ быть, потому, что былъ слишкомъ молодъ и по возрасту горячъ? Нисколько. Почти за годъ до смерти онъ сочиняетъ убійственную сатиру на министра Уварова. Она принесетъ автору неисчислимыя бѣдствія, даже уравниваетъ ему путь къ смерти, и онъ не можетъ не понимать значенія своего поступка. Но ему «невтерпѣжь», онъ не въ состояніи заглушить негодованіе своего сердца, и не желаетъ.

То же самое безпрестанно повторяется при еще худшихъ обстоятельствахъ. Пушкину извѣстно, что его письма вскрываются, онъ самъ неоднократно негодуетъ на это, но ничто не мѣшаетъ ему—въ минуты гнѣва—писать женѣ прямо страшныя вещи о своемъ камеръ-юнкерствѣ, объ отношеніи цензуры и администраціи къ литературѣ, жаловаться на свое положеніе писателя именно въ Россіи, о милости государя выражаться: «упѣкъ меня въ камеръ-пажи», свой придворный мундиръ именовать шутовскимъ полосатымъ кафтаномъ и откровенно сознаваться, что онъ «ни за какія благополучія» не согласенъ блистать при дворѣ въ качествѣ камеръ-юнкера. Все это пишется *пушкинскимъ* языкомъ; что ни слово, то несмыаемый ударъ, и все это читается и попадаетъ въ руки Бенкендорфу.

Намъ извѣстенъ фактъ, когда Пушкинъ, только благодаря счастливой случайности, спасся отъ жестокой опасности. Одно изъ самыхъ рѣзкихъ его писемъ было доставлено шефу жандармовъ, тотъ приказалъ секретарю отложить его для доклада государю. На счастье поэта секретарь Бенкендорфа оказался искреннимъ цѣнителемъ пушкинскаго таланта, воспользовался забывчивостью графа и письмо не дошло до Николая I. Когда сообщили исторію Пушкину, онъ «измѣнился въ лицѣ» *). Вполнѣ вѣроятно, но только никакая перемѣна въ лицѣ и никакая злополучная случайность не могли «проучить» поэта: онъ до конца оставался вѣренъ себѣ. Няня дала ему едва ли не самую мѣткую характеристику: «экой ты неумчивый», и самому Пушкину эта характеристика понравилась: она въ точности передавала самую сущность его *поэтической* натуры и его понятій о своемъ писательскомъ и человѣческомъ достоинствѣ.

Теперь представьте, какую невыносимо яркую противоположность являлъ изъ себя такой поэтъ—прежней, далеко еще не отжившей литературѣ? Онъ видѣлъ и даже воспѣлъ ея самую блестящую звѣзду—Державина, но что могло быть общаго между пѣвцомъ Фелицы, описцемъ-администраторомъ и бѣднымъ коллежскимъ секретаремъ, рѣшительно неспособнымъ соображаться съ пищевареніемъ даже самого графа Воронцова, русскаго вельможи съ англійской складкой лорда?

По исконному правилу отъ поэта требовалась благодарность за высокое покровительство, по просту—лесть, и вотъ о ней-то именно Пушкинъ говоритъ съ глубочайшимъ отвращеніемъ. Одинокій и тѣснымый, онъ живетъ сознаніемъ своей неподкупности и независимости:

На лирѣ скромной, благородной
Земныхъ боговъ я не хвалилъ
И въ силѣ, въ гордости свободной
Кадиломъ лести не кадилъ.
Природу лишь учился славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой музою моею...

*) *Русск. Стар.* 1880, XXIX, 217, 424.

Но можно и не льстить царямъ, и все-таки не стоять на высотѣ поэтическаго призванія. Существуетъ даже при самой бѣдной литературѣ другой владыка, также щедрый на награды и также настойчиво требующій забавы,—толпа, грамотная чернь: ея довольно во всѣхъ слояхъ общества, и не меньше среди такъ называемаго свѣта, чѣмъ въ грубой невѣжественной массѣ. И находится не мало охотниковъ тѣшить ея тупой слухъ и варварскій вкусъ. Она презрѣнна въ глазахъ поэта столь же, какъ и завѣдомые рабы власти. Такая поэзія для него измѣна, на нее способны люди, у которыхъ нѣтъ

Ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной...

Это понятія тождественныя, и поэтъ долженъ быть честенъ и независимъ просто потому, что онъ поэтъ.

И намъ понятны суровыя отвѣды Пушкина черни, толпѣ, такъ называемой «любви народа». Онѣ ничто иное, какъ защита совѣсти и свободы, не презрѣніе къ публикѣ и къ обществу, а законный отпоръ «суду *глупца*» и «смѣху толпы *холодной*». Самъ поэтъ мечтаетъ быть «эхо русскаго народа», съ другимъ идеаломъ онъ не псмирится. Подобно Ломоносову, онъ приходитъ въ ужасъ при одной мысли стать *щупомъ* у кого бы то ни было, даже у Господа Бога. И для него это недостижимо, противоестественно. Сочиняя «Бориса Годунова», онъ никакъ «не можетъ упрятать всѣхъ своихъ ушей подъ колпакъ юрдиваго: торчатъ!»—воскликаетъ онъ съ комическимъ отчаяніемъ. И онъ правъ. Чуть не каждое стихотвореніе его нуждается въ чисткѣ и пересмотрѣ, хотя онъ и готовъ писать «въ хорошемъ тонѣ». Но есть нѣчто посильнѣе даже его добраго расположенія: совѣсть и лира, и онѣ-то накладываютъ свою печать на каждую его фразу, на каждый его стихъ.

Ясно теперь, какъ онъ долженъ держать себя въ обществѣ, въ литературѣ, передъ властью. Для него литература—весь смыслъ его бытія и въ то же время *дѣло*, безусловно важное, всепоглощающее, родъ его жизни, если угодно—призваніе и ремесло. Для свѣта гражданинъ и пить это совершенно непереваримая новость. Сочинитель—такого чина нѣтъ въ табели о рангахъ и такого сословія не признано основными законами Россійской имперіи. Все равно, отвѣчаетъ Пушкинъ: тогда его слѣдуетъ признать и поставить внѣ, выше всѣхъ чиновъ и достоинствъ, потому что это геній и умъ, аристократизмъ божественнаго происхожденія.

И вотъ первый догматъ политической вѣры Пушкина: писатель—великая, благороднѣйшая общественная сила, литература—одно изъ достойнѣйшихъ общественныхъ служеній, художественный талантъ—высшее неоспоримое право на уваженіе и признательность общества. Пушкину первому выпало на долю поставить вопросъ столь ясно, рѣшительно и безповоротно и счастье русской литературы!—вопросъ ставитъ чловѣкъ гениальныхъ дарованій и неуимчивой природы. Поэзія не «дѣтское тщеславіе риемача», «не отдохновеніе чувствительнаго чловѣка»: все

это, повидимому, столь простыя истины, но поэту пришлось отвоевывать ихъ до самой смерти, съ громадною затратой силъ, жертвуя личнымъ счастьемъ, не взирая на лица и обстоятельства.

Жертва являлась тѣмъ настоятельнѣе, что общество не имѣло внушительныхъ данныхъ ставить особенно высоко личность и дѣло писателя. У него предъ глазами проходило много этого народа, и безпрестанно самыя шумные герои литературы могли вызывать совершенно законное презрѣніе и праведный гнѣвъ, въ лучшемъ случаѣ снисходительный смѣхъ. Нельзя же было считать серьезно наперсниками боговъ сочинителей куплетовъ, чувствительныхъ балладъ, тріолетовъ, свотворныхъ посланій, и кому могло придти на умъ видѣть «эхо русскаго народа» въ лицѣ Булгарина? А между тѣмъ куплетисты переполняли журналы, а *Съверная Пчела* владѣла политикой. Были и почтенные писатели, но они не объявляли литературы своимъ ремесломъ: все это люди государственные, по меньшей мѣрѣ чиновные и служащіе дворяне. Нельзя же было Карамзина именовать поэтомъ: онъ *исторіографъ*, или Жуковского—сочинителемъ: прежде всего онъ человѣкъ придворный и членъ высшаго общества.

А здѣсь двадцатилѣтній юноша требуетъ себѣ почета только за то, что онъ пишетъ хорошіе стихи! Да сами литераторы сочтутъ это неслыханнымъ новшествомъ и дерзкимъ притязаніемъ. Надо, слѣдовательно, сначала въ ихъ средѣ возвысить званіе писателя, внушить имъ самимъ чувство самоуваженія.

И Пушкинъ беретъ на себя и эту задачу. Литература—ремесло, промышленность, но *честная*: на этомъ настаиваетъ поэтъ. Сочинитель своей гражданской честью отвѣчаетъ за свое литературное имя и, если бывають измѣны въ политикѣ, преступленія по службѣ, тѣ же понятія вполне примѣнимы и къ писательству. Имя писателя должно быть для него святыней. Онъ не долженъ бросать его неосмотрительно всюду и гдѣ только попросятъ, и еще менѣе торговать имъ. Самъ Пушкинъ не сразу доросъ до этой истины, она пришла къ нему только съ лѣтами, съ литературной опытностью, и стала руководительницей его дѣятельности. Его имя исчезло со многихъ изданій и ни за какія деньги Булгарина не могли бы украсить имъ своего заведенія. Дошло до того, что Пушкину негдѣ было печатать своихъ произведеній и негдѣ было помѣстить статьи и его друзьямъ о немъ и объ его поэзіи. Ему даютъ огромныя деньги и онъ больше, чѣмъ когда-либо нуждается въ нихъ, но одна мысль стоять рядомъ съ Сенковскимъ отпугиваетъ его отъ сдѣлки. Ему были бы благодарны за круицу его труда, и заплатили бы ему какими угодно гимнами его генію. Пушкинъ предпочитаетъ скорѣе прослыть погибшимъ талантомъ, литературнымъ промышленникомъ на страницахъ *Съверной Пчелы* и *Библиотеки для чтенія*,

чѣмъ запятнать свое писательское имя союзомъ съ Булгаринымъ и Сенковскимъ ¹¹⁾).

Остается третья и важнѣйшая сила правительство. Самый вопросъ объ отношеніяхъ къ нему писателя не имѣлъ для прежней литературы никакого смысла. Единственное мыслимое положеніе писателя—безпрекословное и безотчетное воспріятіе правительственныхъ распоряженій. У него нѣтъ въ этой области своего голоса, онъ только *объектъ* наравнѣ со всѣми другими подданными. Все бытіе Булгарина, какъ журналиста, основывалось на его тѣснѣйшемъ духовномъ союзѣ съ жандармскимъ управленіемъ. Бенкендорфъ и Дуббельтъ—вотъ настоящие публицисты общественные политики пушкинскаго времени. *Сѣверная Пчела* сводъ негласныхъ внушеній и предписаній.¹²⁾

Такой порядокъ вещей не могъ даже войти въ [сознаніе Пушкина. Булгаринъ не журналистъ, а *холопъ*: это выраженіе поэта и оно вполне точно опредѣляетъ его собственныя понятія о политической печати.

Прежде всего, Пушкину представляется сторона вопроса, совершенно неожиданная и просто непостижимая для литературныхъ холопей. Нельзя отрицать, что въ Россіи существуетъ классъ людей просвѣщенныхъ и почтенныхъ и эти люди, по выраженію Пушкина, *дичатся* правительства, они считаютъ его враждебнымъ просвѣщенію. Убѣжденіе поддерживается близостью властей къ такого сорта литераторамъ, какъ Булгаринъ, Гречъ, Воейковъ, Сенковский и совершенно разбитый и потерявшійся Полевой. Ни для кого не тайна, какой нравственной цѣнности русскій патріотизмъ поляковъ Булгарина и Сенковского и благонамѣренность Полевого, только что провозглашеннаго революционеромъ за *Московский Телеграфъ*. Власть, несомнѣнно, унижаетъ себя союзомъ съ этой журнальной чернью. Пушкинъ публично говорилъ, что онъ даже какъ частный человекъ брезгаетъ бывать, а литературныхъ сборищахъ и участвовать въ обѣдахъ со спичками и пьянствомъ.

— Я человекъ женатый—заявлялъ онъ,—и въ такіе дома ѣздить не могу!

Какъ же могла власть призрѣвать хозяевъ подобныхъ домовъ и пользоваться ими, какъ посредниками между правительствомъ и обществомъ?

Пушкинъ желаетъ уничтожить это недостойное явленіе. Необходимо создать новую журналистику, заслуживающую довѣріе общества и служащую просвѣтительнымъ видамъ правительства. Она должна быть независима, авторитетна, отнюдь не революціонна, но безусловно талантлива и просвѣщена.

¹¹⁾ Письмо къ Пушкину, октябрь 1835. *Сочиненія*. VII. 387. Статья Одоевскаго *О нападеніяхъ петербургскихъ журналовъ на русскаго поэта Пушкина. Къ біографіи*. II, 120—121. Письмо Комовскаго, лицейскаго товарища Пушкина, къ А. М. Дявцову. *Ист. Вѣстн.* 1883, XIV, 535. *Отзывы современниковъ о Пушкинѣ*, Д. Саввицк

И Пушкинъ готовится къ новой дѣятельности и обнаруживаетъ большіе задатки публициста. Сначала поэтъ становится имъ по волѣ самого государя—пишетъ записку *о народномъ воспитаніи*. Это цѣлая программа и въ высшей степени ясная и полная исповѣдь Пушкина, какъ политика.

Въ самомъ началѣ онъ не боится напомнить правительству о декабристахъ: «несчастные» погибли, «правительство основанное на силѣ вещей» оказалось неизмѣримо сильнѣе ихъ замысловъ. Но этой гибелью могутъ не кончиться заблужденія русской молодежи: подростаетъ новое поколѣніе, оно также можетъ отдаться пылкимъ впечатлѣніямъ.

Какъ защитить его?—Единственное средство широкое и основательное просвѣщеніе. Въ настоящее время русскому молодому человѣку «всякая мысль нова» и производитъ на него неотразимое вліяніе, онъ не въ состояніи провѣрить ее, разобраться въ ней, у него нѣтъ положительныхъ знаній и правилъ.

И воплѣнъ естественно. Современное воспитаніе юношества совершенно неудовлетворительно: два-три иностранныхъ языка, начатки наукъ, и никакихъ нравственныхъ понятій: ребенокъ окруженъ холопами, самъ рабствуетъ или своевольничаетъ и едва созрѣетъ, является забота о службѣ, о чинахъ.

Пушкинъ требуетъ исключительно государственнаго образованія и высказываетъ нѣсколько соображеній, отчасти не утратившихъ новости и до нашихъ дней. Онъ безусловно возстаетъ противъ тѣлесныхъ наказаній, противъ классическихъ языковъ: «позволительно ли,—спрашиваетъ—онъ, роскошь тамъ, гдѣ чувствителенъ недостатокъ необходимаго?» Онъ, наконецъ, требуетъ безпристрастнаго, правдиваго преподаванія исторіи, о какихъ бы народахъ, идеяхъ и событіяхъ ни шла рѣчь. Пушкинъ требуетъ отъ профессоровъ «не хитрить, не искажать республиканскихъ разсужденій, не позорить убійства кесаря, превознесеннаго 2000 лѣтъ, но представить Брута защитникомъ и мстителемъ коренныхъ постановленій отечества, а кесаря честолюбивымъ возмутителемъ».

Познанію Россіи Пушкинъ отводитъ первое мѣсто въ своей образовательной программѣ и рекомендуетъ преподавать очень подробно русскую исторію, статистику, законодательство. Это необходимо и въ политическихъ интересахъ.

Только путемъ историческаго изученія страны можно опредѣлить духъ ея народа, его цѣли и идеалы. Пушкинъ и стремится выполнить эту задачу,—въ основу политики положить исторію. Болѣе цѣлесообразнаго гражданскаго воспитанія не открыло и наше время, вопросъ только въ томъ, какъ понимать исторію?

Пушкинъ совѣтуетъ преподавать ее по Карамзину: это рѣшительное отступленіе отъ юношескаго взгляда на произведеніе краснорѣчиваго исторіографа. Можетъ быть, прежній взглядъ былъ не вполне

справедливъ, но во всякомъ случаѣ и новый не отличался безукоризненностью. Это сознавалъ и самъ Пушкинъ. Для *Исторіи пугачевского бунта* онъ не взялъ образцомъ благолѣпной и велерѣчивой *Исторіи государства російскаго*, не отказалъ себѣ въ удовольствіи посмѣяться надъ величавыми пріемами карамзинскаго сочинительства въ *Исторіи села Горюхина*. И иначе быть не могло: уже самая форма карамзинскаго повѣствованія претила тонкому художественному вкусу и здравому смыслу поэта, не могъ онъ считать совершенствомъ и содержаніе—онъ, столь тяготѣвшій къ народной жизни, народнымъ нравамъ и особенно къ народной психологіи.

Но въ запискѣ для Николая I—*Исторія Карамзина* вполне умѣстна. Важнѣе другой вопросъ, болѣе общій: до какой степени Пушкинъ отказался отъ политическаго идеализма и подчинился строго-фактическому воззрѣнію на идеи и предметы?

Отвѣты получаются вполне ясные и съ разныхъ сторонъ.

VII.

Пушкинъ долженъ былъ пережить ~~полосу идеализма, къ этому~~ влекло его страстное благородное сердце, ~~геніальный строй его душевнаго міра,~~ отвага и широта юношескихъ стремленій. Мы слышали его восторженные отзывы объ учителяхъ и знаемъ, какъ дешево досталась эта слава ея виновникамъ. Вѣрнѣйшее свидѣтельство—наклонности поэта къ идеализаціи людей и явленій, къ быстрой для него *желанной* влюбленности по впечатлѣніямъ, по первымъ встрѣчамъ, по случайному общенію мыслями.

Такимъ Пушкинъ выходитъ изъ лица, и весь погружается въ политическую мечтательность, господствовавшую надъ молодымъ поколѣніемъ. Это было время тайныхъ обществъ по всей Европѣ, заговоровъ, революціонныхъ движеній и политическихъ убійствъ. Все это волновало и горячило воображеніе поэта, и онъ не скрывалъ своихъ восхищеній предъ нѣкоторыми событіями, сообщалъ кому угодно свои взгляды, показывалъ даже въ театрѣ портретъ убійцы герцога Беррійскаго.

Здѣсь не все было бесплодной игрой празднаго ума, и не могло быть. На первомъ планѣ, какъ всегда у Пушкина, стояла русская дѣйствительность, и онъ умѣлъ отлично постигнуть ея основной недугъ и мужественно заявить о немъ. Двадцати лѣтъ онъ высказываетъ въ первый разъ политическую идею громаднаго значенія и съ полнымъ историческимъ пониманіемъ предмета. Очевидно, иноземныя вѣянія не отняли у Пушкина отечественной почвы подъ ногами и, говорятъ, даже Александръ I велѣлъ благодарить поэта за стихогвореніе *Дерева*.

Поэтъ нарисовалъ разительную противоположность цвѣтущей сельской

природы и народнаго рабства, необыкновенно сильными выраженіями изобразилъ беззащитность рабовъ и прихотливый развратъ владыкъ и закончилъ пожеланіемъ:

О. еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
 Почто въ груди моей безплодный жаръ,
 И не давъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
 Увижу ль я, друзья, народъ не угнетенный
 И рабство, падшее по манію царя,
 И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
 Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Годомъ раньше онъ выражалъ увѣренность, что обновленіе Россіи непременно совершится. Онъ написалъ Чаадаеву горячее посланіе, исполненное гражданскаго духа. Поэтъ призывалъ товарища на зрѣлый путь дѣятельности во славу отчизны и увѣрялъ его, «Россія вспрянетъ ото сна».

Это многимъ могло казаться въ первые годы царствованія Александра, но Пушкинъ сильно ошибался и въ хронологіи, и въ своихъ надеждахъ. Онъ слишкомъ летѣлъ впередъ, «дней Александровыхъ прекрасное начало» было давно позади и во всей Европѣ идеальныя помыслы о будущемъ считались нарушеніемъ общественнаго порядка.

Но Пушкинъ не успокоился и высланный изъ Петербурга. Напротивъ, онъ страстно желалъ попасть въ какое-нибудь тайное политическое общество, его не приняли, считая, очевидно, мало подходящимъ для политики да еще тайной, и онъ почувствовалъ себя «несчастливымъ»; вѣдь онъ «видѣлъ жизнь свою облагороженною и высокую цѣль передъ собою».

Въ Петербургѣ онъ усердно писалъ эпиграммы на Аракчеева, сочинилъ оду *Вольность*, особенно возмутившую власти и, дѣйствительно, написанную въ очень сильныхъ выраженіяхъ. Но все это не приобрѣло довѣрія декабристовъ, и они были правы. Радикализмъ Пушкина коренился преимущественно въ его темпераментѣ. Чувству и вдохновенію не доставало строго опредѣленныхъ идей, безъ чего немислимо ни убѣжденіе, ни политическое воззрѣніе. Съ самаго начала можно было предугадать охлажденіе настроеній подъ вліяніемъ личныхъ опытовъ. Байронизмъ какъ нельзя кстати совпадаетъ съ вольнолюбивымъ азартомъ поэта: оба явленія одного порядка, оба одинаково романтичны, лишены ясныхъ продуманныхъ идейныхъ и жизненныхъ задачъ, оба—воплъ юнаго организма, и оба они одновременно поблекли и исчезли. Жизнь и исторія нанесли рѣшительный ударъ демоническимъ грезамъ и радикальнымъ призывамъ. Въ поэзіи Пушкинъ становится реалистомъ, въ политикѣ—защитникомъ просвѣщенія и *постепеннаго* прогресса. Это слово—*постепенность*—мы видѣли, произносится по поводу Байрона, одновременно идутъ историческія занятія поэта, развивается представленіе о «духѣ народовъ», объ «источникѣ нужды и требованій

государственныхъ», т. е. объ исторической почвѣ настоящаго и будущаго.

Естественно, все чисто отвлеченное, воображаемое, не реальное встрѣчаетъ рѣшительное осужденіе: Шекспиръ предпочитается Байрону, потому что его созданія разносторонни и жизненны, а у Байрона, какъ и французскихъ классиковъ—искусственны, преднамѣренны, *теоретичны*. То же самое воззрѣніе распространяется на философію и политику и само собой понятно, что должно уцѣлѣть и что отпасть послѣ такой критики.

Пушкинъ не измѣняетъ своимъ молодымъ сочувствіямъ. Его сердце по-прежнему принадлежитъ декабристамъ; нельзя трогательнѣе, чѣмъ онъ, говорить объ ихъ участи, объ ихъ благородствѣ. Радищевъ по-прежнему остается для него человѣкомъ «съ удивительнымъ самоотверженіемъ и съ какою-то рыцарскою совѣстливостью». Но онъ рѣшительно не согласенъ съ его «горькими, возмутительными сатирами» и пишетъ подробное опроверженіе книги Радищева, старается особенно смягчить картину крѣпостнаго состоянія—средствомъ самымъ неубѣдительнымъ, доказывая, что и за границей не лучше и даже не свободнѣе живется бѣднякамъ.

Пушкинъ, разумѣется, вовсе не желаетъ защищать народнаго рабства, онъ крайне недоволенъ *пріемами* Радищева, революціоннымъ духомъ его сочиненія, призывомъ къ возмущенію. Онъ находитъ въ книгѣ благоразумныя мысли, но только слѣдовало высказать ихъ безъ брани, искренне и «съ благоволеніемъ», потому что, говоритъ Пушкинъ, «нѣтъ убѣдительности въ поношеніяхъ, и нѣтъ истины, гдѣ нѣтъ любви».

Противъ этого весьма многое можно возразить: весьма часто именно искренняя любовь къ истинѣ невольно и необходимо подсказываетъ человѣку страстное негодованіе на неправду. И Пушкинъ безпрестанно, до самой своей смерти являлся образцовымъ *носителемъ* во имя искренности и правдолюбія. И Радищевъ, конечно, заслуживалъ снисхожденія. Но Пушкинъ желаетъ уничтожить не столько его книгу, сколько вообще отвлеченную идеологію, «безплодную метафизику», «слѣпое пристрастіе къ новизнѣ», «частныя поверхностныя свѣдѣнія, приноровленныя ко всему». Напримѣръ, Радищевъ поноситъ власть господъ: по мнѣнію Пушкина, вмѣсто этого, слѣдовало «представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ».

Совершенно ясная политика! Другое—вопросъ, насколько она цѣлесообразна. Впослѣдствіи опытъ доказалъ, что способы *постепеннаго* улучшенія быта крестьянъ не привели къ благопріятнымъ результатамъ: пришлось просто и сразу отмѣнить власть господъ. Но Пушкинъ глубоко усвоилъ идею *постепенности*, теперь сказали бы *эволюціи*, и сама по себѣ она дѣлала великую честь уму поэта и свидѣтельствовала о вдумчивости работы надъ историческими фактами, о несомнѣнныхъ задаткахъ истинно политической мысли.

Новое міросозерпаніе отразилось и на философскихъ вопросахъ. Когда-то Пушкинъ заявлялъ свое сочувствіе атеизму: это говорилось въ сильной степени подъ влияніемъ тяжелой жизни изгнанника. Теперь онъ жестокой критикъ Гельвеція и вообще холодной, сухой метафизики. Заботясь объ умственномъ развитіи Гоголя и снабжая его книгами, Пушкинъ освобождаетъ его отъ чтенія Вольтера и энциклопедистовъ. Они не удовлетворяютъ поэта своимъ [мало-историческимъ, слишкомъ отвлеченнымъ мышленіемъ, Пушкинъ не вѣрится въ жизненную силу истой теоріи, онъ желаетъ идеалы строить на основѣ дѣйствительности и фактовъ.

Принципъ самъ по себѣ не можетъ вызывать нареканій, но окончательный выводъ зависитъ отъ *толкованія* фактовъ, а у Пушкина, какъ у поэта, въ сильнѣйшей степени отъ личныхъ впечатлѣній. Они и наложили рѣзкую окраску на его политику послѣднихъ лѣтъ.

Пушкинъ не могъ отдѣлится своихъ идей отъ своихъ житейскихъ опытовъ. А опыты эти все исключительно вели къ одной цѣли: къ глубокому непримиримому негодованію на властныхъ выскочекъ и канцеляристовъ. Именно они годъ за годомъ пили «праведную кровь» поэта, становились непреодолимымъ препятствіемъ его умственной дѣятельности и даже личному счастью. Гдѣ было искать спасенія? Помириться на смертномъ приговорѣ всей русской исторіи и даже будущему Россіи Пушкину не могло придти и въ голову. Онъ всей душой принадлежалъ этой самой Россіи и именно въ ея исторіи способенъ былъ отыскивать мотивы для своего творческаго вдохновенія. И онъ страстно легѣлъ мысль о величіи Россіи, ея національной славѣ и его обращеніе къ *Клеветникамъ Россіи* внушено искреннимъ чувствомъ, его *Бородинская годовщина*—открытый и убѣжденный голосъ его сердца. Польское возстаніе повергло его въ глубокую думу, ему припоминался двѣнадцатый годъ, онъ съ тревогой ждалъ вѣстей, взятіе Варшавы наполнило его радостью.

Она не имѣла ничего общаго съ варварскимъ узко-національнымъ патріотизмомъ, поэтъ не могъ помышлять о порабоженіи какого бы то ни было народа, онъ только желалъ, чтобы славянскіе ручьи слились въ русскомъ морѣ. А море это было источникомъ его личной жизни, онъ каждымъ нервомъ чувствовалъ свою неразрывную нравственную связь съ русскимъ міромъ.

И онъ рѣшительно возсталъ противъ Чаадаева. Онъ не могъ допустить униженія проплаго Россіи и отчаянія въ ея будущемъ. Онъ видѣлъ и за Россіей извѣстное историческое призваніе, считалъ ея исторію отнюдь не ничтожной и незанимательной, находилъ въ ней людей гениальныхъ и событія, полныя жизни и интереса.

Это опять не значило, будто Пушкинъ готовъ восторгаться настоящимъ до самозабвенія. Совершенно напротивъ. Онъ находитъ, что русская общественная жизнь «весьма печальна», общественнаго мнѣнія

совсѣмъ не существуетъ, всюду господствуетъ; «равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и къ правдѣ», «циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству приводятъ въ отчаяніе», и онъ пріѣхаетъ Чаадаева за изобличеніе всѣхъ этихъ недуговъ. «Но,—прибавляетъ Пушкинъ,—клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не захотѣлъ бы переимѣнить отечество, ни имѣть другой исторіи, какъ исторія нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ ее послалъ».

Слѣдовательно, Пушкину приходилось искать рѣшенія вопросовъ на русской почвѣ, въ русской дѣйствительности. И у него составился стройный планъ. На первомъ мѣстѣ стоятъ люди ума и просвѣщенія, они сотрудники власти на пути къ общему благу, посредники между нею и обществомъ. И Пушкинъ возлагаетъ на нихъ въ высшей степени отвѣтственный долгъ. Онъ говоритъ: «Дружина писателей и ученыхъ стоитъ всегда впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Не должно имъ малодушно негодовать, что вѣчно имъ опредѣлено выносить первые выстрѣлы и всѣ невзгоды, всѣ опасности ремесла».

Они должны отдавать отчетъ предъ общественнымъ мнѣніемъ во всякомъ своемъ поступкѣ, и Пушкинъ признаетъ извѣстную пользу даже за «ругателями» въ печати: писатель—«лицо общественное» и «пренія» объ его дѣйствіяхъ должны быть гласны: «одно изъ главнѣйшихъ условій высокообразованныхъ обществъ».

Усилія писателей должны быть направлены на созданіе общественнаго мнѣнія и руководство имъ. Кто же представители этого мнѣнія и кто практически осуществитъ высокія задачи мысли? Народъ, при существующихъ условіяхъ, не въ состояніи самъ устроить свое благополучіе. У него единственный опекунъ и защитникъ—дворянство. Оно, обладая образованіемъ и досугомъ, должно посвятить себя на служеніе народному благу: это его—нравственный долгъ и историческое призваніе. И Пушкинъ мечтаетъ изъ дворянскаго сословія создать нѣчто въ родѣ національнаго представительства и народнаго предстательства предъ властью.

Идея не новая: Деметръ, политикъ французской реакціи, воображалъ спасти міръ съ помощью новыхъ «патрициевъ», идеально-самоотверженной, безкорыстной аристократіи, не знающей сословныхъ разсчетовъ, а только общенародное благо. Но самъ же «идеалистъ» вынужденъ былъ сознаться, что его патриціи существуютъ только въ его воображеніи; вмѣсто нихъ, въ дѣйствительности—сплоченная каста, преисполненная предразсудками и сословными вождѣльніями, каста, ежеминутно готовая наслаждаться жизнью именно за счетъ народнаго благоденствія, а иногда даже въ ущербъ чести своего отечества.

И Пушкинъ все-таки желалъ свою мечту. Она свидѣтельствовала о полной практической безвыходности благонамѣреннаго политика. Аристократизмъ оказывался единственнымъ орудіемъ противъ безпринцип-

ныхъ удачниковъ табели о рангахъ и нравственнаго и граждански-развращеннаго чиновничества.

Но намъ ясно, что это за аристократизмъ: менѣе всего сословная кичливость родомъ и кастовое обожаніе наслѣдственныхъ привилегій. Напротивъ, аристократическимъ предрасудкамъ Пушкинъ противопоставлялъ свои *демократическія предрасудки*; такъ онъ и выражался, т. е. личную независимость, личный умъ и личный талантъ. Онъ убѣжденъ, «имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ, можетъ быть, всѣ наши старинныя родословныя». И Пушкинъ не былъ бы геніальнымъ человѣкомъ, если бы полагалъ свое личное достоинство въ происхожденіи. Геній—демократъ по самой своей сущности, и аристократическія идеи поэта ни единой чертой не похожи на аристократизмъ большого свѣта,—даже безусловно и непримиримо враждебны ему. И совершенно естественно—ученіе Пушкина объ аристократіи только еще сильнѣе озлобило на него «презрѣнныхъ потомковъ» своихъ отцовъ и всѣ породы пресмыкающихся.

Съ такими задачами Пушкинъ выступилъ на поприще публициста. Несомнѣнно, задачи съ теченіемъ времени могли преобразоваться: за это было порукой неутомимое трудолюбіе поэта и усвоенный имъ принципъ политическаго мышленія: *историческое изученіе явленій*. Его не переставали воодушевлять стремленія ранней молодости:

Великимъ быть желаю,
Люблю Россіи честь.

Годы измѣняли его понятія объ этой чести, и самъ Пушкинъ отдавалъ себѣ строгій отчетъ въ этой перемѣнѣ, въ утратѣ своихъ «моложавыхъ мыслей». Онъ, подобно Бѣлинскому, защищалъ преобразования идей и взглядовъ: «глупецъ одинъ не измѣняется,—говорилъ онъ,—ибо время не приноситъ ему развитія, а опыты для него не существуютъ».

Но перемѣна не была измѣной. Пушкинъ искренне искалъ выхода изъ удручающей современной дѣйствительности, искалъ, твердо оставаясь «на поприщѣ ума», ни на одну минуту не забывая оборонять просвѣщеніе и права личности и таланта. Онъ открыто заявлялъ о своей преданности Николаю I и имѣлъ основанія быть благодарнымъ: государь, дѣйствительно, отнесся къ нему гораздо лучше и даже сердечнѣе, чѣмъ аристократы и сановники. И Пушкинъ, всегда готовый горячо отозваться на всякое доброе чувство, ужасался показаться неблагодарнымъ: это его собственное признаніе. Но благодарность не поработила его личности, не могла наложить цѣпей на его умъ и геній, и, мы видѣли, крики боли и негодованія безпрестанно врывались въ спокойное обсужденіе высшихъ вопросовъ. Да и самое это обсужденіе вовсе не входило въ предначертанія низшихъ и высшихъ опекуновъ Пушкина: для нихъ онъ, со всѣми своими исторически обоснованными, уравновѣшенными взглядами, со всѣмъ своимъ стремительнымъ желаніемъ принести пользу отечеству и власти, водворить въ Россіи

единеніе правительства и просвѣщеннаго общества, со всѣми этими замыслами, и даже именно благодаря имъ, Пушкинъ оставался *en*тъ законнаго порядка вещей и даже внѣ покровительства общегражданскихъ законовъ. Его надлежало бояться, слѣдить за каждымъ его шагомъ, вчитываться и вслушиваться въ каждое его слово, и непремѣнно ловить, поучать и наказывать.

И спасители отечества были правы. Пушкинъ могъ задаться какими угодно почтенными намѣреніями, могъ даже въ извѣстное время дойти до самыхъ благоразумныхъ взглядовъ; не въ этомъ была сущность дѣла,—его личность, натура, его умъ оставались неизмѣнными, неутомимыми, ненасытными. Онъ родился, жилъ и умеръ безпокойнымъ человѣкомъ.

Въ одну изъ самыхъ трудныхъ минутъ жизни, въ безвыходной тоскѣ среди одиночества, окруженный холодомъ, завистью, тайной злобой и вызывающей ненавистью, Пушкинъ писалъ слѣдующее признаніе:

Мой путь уныль. Судить мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнующее море...
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!..

И здѣсь нѣтъ ни одной *фразы*: Пушкинъ оправдывалъ это заявленіе даже излишнимъ обиліемъ фактовъ... Легко представить, какая сложная задача предстояла русскому свѣту и русской администраціи ужиться съ подобнымъ фанатикомъ мысли! Именно въ неоторимой, въ неумирающей страсти жить умомъ и всѣми великими силами души заключалась полная неприспособленность Пушкина къ средѣ. Онъ—ея прирожденный врагъ, между ними немислимы сдѣлки, недостижимъ прочный миръ. Это явленія разныхъ міровъ, между ними возможны только временныя затишья, перемирія, отнюдь не договоры и союзы.

Въ этомъ и таилась драма Пушкина. Онъ вступилъ въ жизнь съ той роковой печатью на своей гениальной личности, какая, говорятъ, людямъ чуткимъ и нервнымъ бросается въ глаза при встрѣчѣ съ людьми *обреченными*. И врядъ ли еще въ чьей судьбѣ этотъ голосъ рока звучалъ такъ безошадно и такъ настойчиво, отъ начала до конца, какъ въ жизни Пушкина!

VIII.

Въ одной изъ официальныхъ бумагъ касательно Пушкина имѣется удивительное мѣсто, совсѣмъ не свойственное документамъ и отношеніямъ. Одинъ начальникъ поэта писалъ другому: «Исполненный горестей впродолженіе всего своего дѣтства, молодой Пушкинъ оставилъ родительскій домъ, не испытывая сожалѣнія. Лишенный сыновней привязанности, онъ могъ имѣть лишь одно чувство—страстное желаніе независимости. Этотъ ученикъ уже рано проявилъ гениальность не-

обыкновенную. Успѣхи его въ лицѣѣ были быстры. Его умъ вызывалъ удивленіе, но характеръ его, кажется, ускользнулъ отъ взора наставниковъ»¹²⁾.

Драгоцѣннѣйшія свѣдѣнія! Лучше нельзя отвѣтить на самый существенный вопросъ въ судьбѣ поэта: что встрѣтило его сердце сначала въ семьѣ, потомъ въ школѣ? Ни материнской любви, ни отцовской заботливости. Въ семьѣ большого свѣта на эти предметы не хватало ни желанія, ни времени, ни даже привычки. Отецъ — актеръ-любитель, каламбуристъ, эпикуреецъ, страстный охотникъ до анекдотовъ и неумолимый врагъ всякой серьезной умственной работы и какихъ бы то ни было хлопотъ. Для него дѣти совершенно безразличны. Въ ихъ присутствіи онъ рассказываетъ двусмысленныя исторіи и читаетъ ментѣ всего педагогическіе стихи: лишь бы дѣти сидѣли смиренно и не мѣшали говорить и слушать.

Жена—его достойная соревновательница по тону и взглядамъ на свои обязанности матери и хозяйки. Но она, кромѣ того, еще зла, взбалмошна, мстительна. Она можетъ публично, на багу, ударить дочь, цѣлый годъ не говорить съ сыномъ, смѣяться надъ его неуклюжестью и некрасивостью, изобрѣтаетъ особенно мучительныя наказанія. Отъ нея прямо приходится спасаться и порѣже попадать въ ея общество.

И дѣти въ послѣдствіи дѣйствительно бѣгутъ изъ родительскаго дому: дочь тайкомъ выходитъ замужъ, одинъ сынъ также скрытно отъ родителей поступаетъ въ военную службу, будущій гениальный поэтъ съ радостью покидаетъ ихъ, и они не огорчаются разлукой. Вскорѣ они докажутъ это блистательно.

Сынъ вернется домой изгнанникомъ. Мать встрѣтитъ его равнодушно, отецъ—съ невѣроятной жестокостью. Онъ объявитъ его чудовищемъ въ присутствіи брата и сестры, отдѣлитъ его отъ семьи, будто зачумленнаго, поэтъ вынужденъ будетъ цѣлые дни проводить гдѣ-нибудь въ полѣ, въ лѣсу, лишь бы не встрѣчаться съ отцомъ, вдобавокъ, отецъ приметъ на себя обязанности надзирателя за поведеніемъ сына и, слѣдовательно, довосчика, не побоятся, въ порывѣ безсмысленнаго озлобленія, оклеветать его въ преступленіи, будто бы онъ, сынъ, покушался убить его, своего отца!.. Несчастный умоляетъ власти запретить его лучше въ крѣпость, чѣмъ заставить жить съ отцомъ.

Такова семейная лѣтопись дѣтства и молодости.

Въ промежуткѣ—школа.

Какія увлекательныя перспективы! Лицей—подъ неусыпнымъ, личнымъ надзоромъ государя, воспитанники окружены, повидимому, самой пристальной заботливостью, не въ примѣръ всѣмъ прочимъ, они освобождены отъ тѣлеснаго наказанія, имъ при самомъ открытіи лица заявляютъ, что ихъ назначеніе быть государственными людьми, «столпами обще-

¹²⁾ Письмо гр. И. А. Каподистрии къ Инзову. *Русск. Ст.* 1887, ЛП, 241.

ства», что отъ нихъ зависятъ нравственность и благоденствіе народа... Будутъ они изучать много и необыкновенно интересныхъ наукъ—историческихъ, политическихъ, нравственныхъ. Очевидно, начальство дѣйствительно возлагаетъ на нихъ самыя смѣлыя надежды и готовитъ ихъ къ славному будущему...

Да, развѣ только надежды и будущее, а дѣйствительность, настоящее, не имѣютъ почти ничего общаго со всѣмъ этимъ блескомъ. Уже въ самой программѣ какія-то странныя недоразумѣнія. Говорится, напримеръ, слѣдующее: «Во второмъ курсѣ исторія должна быть дѣломъ разума. Предметъ ея есть представить въ разныхъ превращеніяхъ государство шествіе нравственности, успѣхи разума и паденіе его въ разныхъ гражданскихъ постановленіяхъ»... Очень величественно, но знаете, какой спутникъ въ этомъ шестви? Боссюэ—достопочтенный идеологъ Людовика XIV и г-жи Монтенонъ.

Еще неожиданнѣе рѣшается вопросъ съ наставниками.

Самый видный, несомнѣнно,—ораторъ, столь широковъщательно открывавшій лицеистамъ горизонты общественной дѣятельности. И Куницынъ, дѣйствительно, умѣлъ говорить, вполнѣ потерпѣвъ даже за неблагонамѣренную книгу *Право естественное*. Здѣсь, между прочимъ, говорилось: «употребленіе власти общественной безъ всякаго ограниченія есть тиранство, и кто оно производитъ есть тиранъ». Очень либерально, и автора уволили отъ службы. Но именно о немъ директоръ лицея Энгельгардтъ, человѣкъ удостовѣреннаго благородства, писалъ слѣдующее:

«Не всегда тѣ люди, которые, по техническому выраженію, *смѣло* говорятъ, точно то думаютъ, что говорятъ, и не всегда то дѣлаютъ, что говорятъ. Куницынъ на каеедрѣ постоянно говорилъ противъ рабства и за свободу, а между тѣмъ несчастныхъ своихъ рабовъ держалъ хуже собакъ и до полусмерти бивалъ. Куницынъ на каеедрѣ насмѣхался надъ штизмомъ, а послѣ нѣкотораго времени, каждое воскресенье, въ церкви князя Голицына всю обѣдню на колѣняхъ простаивалъ! Обыкновенно эти *grands parleurs hardis*, какъ моська въ баснѣ: имъ всѣмъ не до дѣла, а только для того, чтобы про нихъ сказали: «ай! моська!—смѣло говорить»¹³⁾.

И какъ преподаватель, Куницынъ не оправдалъ надеждъ. Онъ скоро перешелъ къ самому простому способу, заставлялъ лицеистовъ вызубривать его записки слово въ слово; о самостоятельности ума здѣсь не могло быть и рѣчи.

И все-таки Пушкинъ помянулъ Куницына добрымъ словомъ! Онъ могъ не звать гражданской *практики* профессора, а потомъ и некого было больше вспомнить, развѣ Галича за доброту сердца и соучастіе съ воспитанниками въ попойкахъ.

¹³⁾ «Смѣлые краснобая». *Руск. Стар.* 1875 г., XIII, 366. Письмо къ Кюльбекеру, мартъ 1823 г.

Всѣ остальные или смѣхотворныя, дикія фигуры, въ родѣ брата Марата, преподавателя французской словесности, или Кошанскаго—ритора и стихоплета, педанта цѣтики и напыщеннаго краснословія. Онъ прямо не взлюбилъ Пушкина за его слишкомъ большой и свободный талантъ и самъ Пушкинъ умолялъ въ стихахъ «скучнаго проповѣдника» умирить ученый гнѣвъ своего вкуса и оставить въ покоѣ «гнѣвца моладаго». Кошанскому ничего другого и не оставалось.

Но въ лицѣхъ былъ одинъ дѣйствительно благородный и добрый человекъ, воспитатель по природѣ, гоголевскій идеальный наставникъ—директоръ Энгельгардтъ. Лицейсты—его семья, ихъ умственное развитие—высшая цѣль его жизни, онъ вѣчный предстатель у государя за своихъ питомцевъ и за ихъ просвѣщеніе, онъ впоследствии и за Пушкина будетъ ходатайствовать, когда надъ поэтомъ соберется гроза и ретивые охранители порядка ставутъ прочить его въ Сибирь и въ Соловецкій монастырь. Повидимому, всѣ данныя сойтись геніальному юношѣ съ подобнымъ учителемъ—другомъ.

На самомъ дѣлѣ, именно съ Энгельгардтомъ дѣло вышло хуже, чѣмъ со всякимъ другимъ. Директоръ на второмъ мѣсяцѣ послѣ своего поступленія въ лицей вздумалъ составить характеристики воспитанниковъ, и самая ужасная достается на долю Пушкина. Директору бросилась въ глаза его отчужденность, слишкомъ горячіе взрывы темперамента, онъ не справился, была ли у ребенка возможность — воспитать въ себѣ обходительность и ласковость и позаботился ли кто-нибудь объ его характерѣ и сердцѣ? И Энгельгардтъ открываетъ въ Пушкинѣ холодное сердце, лишенное любви и религіи, умъ поверхностный и пустой, отвращеніе ко всякому серьезному ученію...

Пушкинъ не могъ забыть этой опрометчивости и до конца не сходился съ Энгельгардтомъ. Нашлись и товарищи, раздѣлявшіе впечатлѣнія директора. Пущинъ, Дельвицъ, Кюхельбекеръ поняли поэта, хотя и не сразу, и Пущинъ прямо сознается, что полюбить Пушкина можно было только послѣ тщательнаго и любовнаго изученія его необыкновенной личности. Кто же на это способенъ? Въ лицѣхъ оказались далеко не всѣ. Предъ нами отзывы и воспоминанія двухъ товарищей Пушкина и они менѣе всего благосклонны. Одинъ товарищъ убѣждаетъ насъ, что Пушкинъ во всю жизнь не имѣлъ «ничего любезнаго и привлекательнаго въ своемъ обращеніи», въ лицѣхъ болталъ, большею частью, тривіальныя общія мѣста или хранилъ разсѣянное молчаніе; кромѣ того, всѣхъ превосходилъ пороками молодости. Вообще, по мнѣнію товарища, Пушкинъ не былъ созданъ ни «для высшей любви, ни для истинной дружбы». Въ немъ не было «ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ и въ заключеніе онъ представлялъ типъ самаго грязнаго разврата»¹⁴⁾.

¹⁴⁾ *Записки графа М. А. Корфа. Къ біографіи. II, 19.*

Другой товарищъ современемъ наляжетъ на произведенія Пушкина, приравняетъ *Евгенія Онткина* къ роману Булгарина *Иванъ Выжигинъ*, вообще въ послѣдній періодъ его дѣятельности объявитъ «спустившимся», а по поводу *Бориса Годунова* обвинитъ даже въ недостаточно сочувственномъ и серьезномъ отношеніи къ бѣдственной эпохѣ русской исторіи ¹⁵⁾. Въ этихъ, хотя бы и литературныхъ приговорахъ не видно дружескаго, даже просто терпимаго отношенія къ поэту: жестокая критика будто доставляетъ удовольствіе автору.

Очевидно, и лицей принесъ мало удовлетворенія сердцу Пушкина. У него остались навсегда поэтическія воспоминанія о своей юношеской «отчизнѣ», но эта поэзія, все равно, какъ и память о Куницынѣ и Галчѣ, *превосходила* горячностью чувства заслуги лицъ и предметовъ, свидѣтельствовала прежде всего о способности поэта увлекаться и любить. А потомъ именно на воспоминаніяхъ молодости такъ легко сглаживаются и совѣмъ исчезаютъ тѣни!

Не много далъ лицей и уму Пушкина, и не одного его. Выпускные экзамены явились комедіей, столь обычной въ доброе старое время. Вопросы и отвѣты были подготовлены раньше и каждый воспитаникъ выполнялъ заранѣе опредѣленную ему роль. Инымъ способомъ профессора не рассчитывали благополучно разрѣшить задачу. Лицейсты выпускались просто потому, что ихъ надо было выпустить—все равно, что и по какому предмету они знали. Въ аттестатѣ Пушкина, напри- мѣръ, совѣмъ не указаны успѣхи по исторіи, географіи, статистикѣ, математикѣ и нѣмецкому языку. Съ такими лаврами вступали въ жизнь юные государственные дѣятели!

Теперь подведите итоги домашнимъ и школьнымъ благодѣяніямъ. Объ образованіи можно говорить только съ крайней снисходительностью: родители Пушкина нанимали къ себѣ въ домъ шутовъ и уродовъ, учителя охотнѣе играли въ карты съ лакеями или кропали французскіе стихи, чѣмъ занимались съ дѣтьми. *Нѣмецъ* училъ будущаго поэта *русскому* языку, а французскій графъ-эмигрантъ, эъ музыкальнымъ талантомъ, завѣдывалъ его воспитаніемъ. Лицей въ общемъ достойно продолжилъ семейную программу, только велъ ее гораздо веселѣе.

Царскосельскій садъ и лицейскіе корридоры превратились въ укромные уголки для любовныхъ приключеній съ горничными и крѣпостными актрисами. Кстаті припелся лейбъ-гусарскій полкъ, стоявшій въ селѣ, общія компаніи лицейстовъ съ офицерами, совмѣстное ученье въ манежѣ: самые подходящіе товарищи, чтобы постигнуть «шествіе нравственности и успѣхи разума».

Но лицей покинуть. Какъ поэту, при его африканской крови, удалось спасти душу и человѣческій образъ послѣ долголѣтняго стран-

¹⁵⁾ *Ист. В.* 1883, XIV, 529 etc, письма Комовскаго.

ствованія въ тѣни царскосельскаго парка съ Наташами и гусарами— тайна исключительно его природы, отнюдь не внѣшней помощи. Еще любопытнѣе, какъ послѣ упорнаго презрѣнія къ исторіи и словесности лицейскихъ профессоровъ у поэта осталась страстная любовь къ исторіи и къ литературѣ? Какъ послѣ куплетовъ и мадригаловъ горничнымъ и актрисамъ онъ нашелъ въ себѣ охоту и волю *три года* работать надъ поэмой *Русланъ и Людмила*, и работать тайкомъ, съ неослабнымъ усердіемъ, съ величайшимъ напряженіемъ таланта и ума?

Онъ вступаетъ въ свѣтъ. Такъ какъ онъ молодъ и дворянинъ, это, значитъ, онъ долженъ возможно чаще бывать въ театрѣ, непременно стать своимъ человѣкомъ за кулисами, обзавестись специальнымъ сценическимъ кумиромъ, играть въ карты, кутить, ссориться съ пріятелями изъ-за актрисъ и общедоступныхъ женщинъ, драться на дуэляхъ. Попадетъ онъ въ салонъ солидныхъ людей,—онъ долженъ погружаться въ мелочныя дразги, въ сплетни, непременно опозлѣть и поглупѣть, иначе его изведетъ скука и отвращеніе ко всему живому. «Политика и литература для нихъ не существуютъ», съ тоской воскликнетъ поэтъ о высшемъ свѣтѣ, и будетъ метаться, будто въ душномъ тѣсномъ углу.

Правда, въ Петербургѣ имѣется необыкновенно тонный и въ то же время чрезвычайно просвѣщенный салонъ исторіографа Карамзина. Но здѣсь Пушкину, пожалуй, еще тошнѣе, чѣмъ съ какимъ-нибудь Якубовичемъ или графомъ Толстымъ - американцемъ. Исторіографъ закаменѣлъ въ своемъ величіи. Онъ неустанно декламируетъ противъ «либералистовъ», онъ желалъ бы, повидимому, остановить нравственную смѣну поколѣній и обморочить самую жизнь своимъ священнодѣйственнымъ профессиональнымъ фразерствомъ. Предъ Пушкинымъ онъ существо высшаго порядка, олимпийски-величественное, высокоумное. Пушкинъ жалуется: «Карамзинъ меня отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе, и сердечную къ нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить». Мы не знаемъ, въ чемъ состояло оскорбленіе, но его долженъ былъ чувствовать молодой поэтъ въ каждомъ изреченіи, въ каждомъ снисходительномъ жестѣ. Собственно личность Пушкина для исторіографа безразлична. Для него это «безпутная голова», онъ напрасно старался образумить ее и «предалъ несчастнаго року и Немезидѣ». Такъ, по обыкновенію и не кстати упиваясь красивыми рѣченіями, вѣщаетъ Карамзинъ и находитъ возможнымъ сострадать только пушкинскому таланту.

Легко представить, какое впечатлѣніе производятъ всѣ эти аллюры на пылкую натуру поэта! Онъ не сдерживаетъ вспышки и бросаетъ ѣдкую эпиграмму въ мнимый государственный разумъ ратора. На него немедленно возстаетъ карамзинская церковь съ кв. Вяземскимъ во главѣ: потому что Карамзинъ сталъ для нѣкоторыхъ неприкосновенной августѣйшей особой, посягать на его величіе — значило быть винов-

нымъ въ оскорбленіи величества, чуть не въ измѣнѣ отечеству, и мы знаемъ, какъ эта «карамзинолятрія» отомстила Полѣвому. И вотъ, кн. Вяземскій, предводитель этихъ литературныхъ сеидовъ, ополчается на Пушкина. Поэтъ чувствуетъ раскаяніе, но не можетъ не заявить, даже годы спустя, что Карамзинъ былъ ему *чуждъ*.

Оставались Жуковскій, Батюшковъ, тотъ же кн. Вяземскій. У нихъ даже существовало общество, называлось *Арзамасъ*, происходили очень веселыя и остроумныя засѣданія, здѣсь подвергались казни ископаемые пшты и бранчивые педанты-эстетики. Но шуткой, острословіемъ все и кончалось, да еще изобрѣтеніемъ забавныхъ прозвищъ. Научиться чему-нибудь, воспринять плодотворную идею здѣсь не было возможности. А потомъ и всѣ эти острословы сами принадлежали прошлому. Ихъ романтизмъ становился фактомъ историческимъ, и съ самаго начала былъ не національнымъ, не народнымъ: не въ такой школѣ учиться молодому гениальному таланту, и дядя Пушкина, Василій Львовичъ, одно изъ первыхъ свѣтилъ «Арзамаса», находилъ племянника *trop libre, слишкомъ свободнымъ*... Еще теперь, когда племянникъ пока возвращался въ старую атмосферѣ, романтической и международной.

Что же будетъ, когда онъ заговоритъ о «фламандскомъ сорѣ» русской жизни, о герояхъ «обыкновенныхъ малыхъ»? Придется окончательно придти въ недоумѣніе и отвергнуть всякое родство у «бѣшеннаго сорванца» со всѣми столпами россійской словесности.

Да, задача этотъ поэтъ одинаково и для русскаго Парнасса, и для русскаго салона, и, что особенно важно, для петербургской канцеляріи. Приходится его «убрать»: можетъ быть, онъ поумнѣетъ, научится чиновничеству, обратитъ должное вниманіе на службу, обзаведется семьей и станетъ мирнымъ сочинителемъ, писателемъ между прочимъ, а преимущественно барининомъ и чиновной особой.

Ожиданія, повидимому, оправдываются. Пушкинъ дѣйствительно трезвѣетъ, идеалистическіе порывы уступаютъ мѣсто обдуманному, исторически-обоснованнымъ воззрѣніямъ, дѣйствительность окончательно затмеваетъ блестящія романтическія грезы. Поэтъ начинаетъ говорить о вдумчивомъ отношеніи къ современности, объ уваженіи къ прошлому, о постепенномъ возникновеніи будущаго. И обстоятельства, повидимому, складываются вполне благоприятно, чтобы поэтъ сталъ, наконецъ, признаннымъ членомъ общества и законнымъ гражданиномъ своего отечества. Самъ государь привѣтствуетъ его отрезвленіе и говоритъ ему:

— Довольно, ты подурачился, надѣюсь, теперь будешь разсудительнымъ и мы болѣе ссориться не будемъ. Ты будешь присылать ко мнѣ все, что сочинишь; отнынѣ я самъ буду твоимъ цензоромъ ¹⁶⁾.

И обѣщаніе выполняется. Шефъ жандармовъ извѣщаетъ поэта, что

¹⁶⁾ Разсказъ со словъ Пушкина. *Русск. Стар.* 1880, XXVII, 132.

сочиненій его никто не будетъ разсматривать: «На нихъ нѣтъ никакой цензуры: Государь Императоръ самъ будетъ и первымъ цѣнителемъ произведеній вашихъ, и цензоромъ». Поэтъ можетъ доставлять ихъ или черезъ графа Бенкендорфа, или «прямо адресовать на Высочайшее имя». Государь, по словамъ шефа жандармовъ, увѣренъ, что Пушкинъ «употребитъ отличныя способности свои на передачіе потомству славы нашего отечества, предавъ вмѣстѣ безсмертіе имъ свое».

Превосходно! Никто изъ русскихъ писателей не пользовался такой привилегіей и никто такъ заботливо не направлялся по пути къ славіи и даже къ безсмертію. И Пушкинъ возликовалъ.

Москва праздновала его освобожденіе, высочайшую милость къ нему, и поэтъ отдался мысли быть свободнымъ и знаменитымъ. Онъ поспѣшилъ познакомить московское общество съ *Борисомъ Годуновымъ*, вызвалъ восторгъ до самозабвенія и ликовалъ вмѣстѣ съ публикой. Будущее, казалось, открывалось дѣйствительно свѣтлое и необъятно величественное.

Но торжество продолжалось очень недолго, за пиромъ слѣдовало самое зловѣщее похмелье, и тяжелая завѣса упала на чарующія перспективы, лишь только онѣ успѣли открыться.

IX.

Чтеніе драмы происходило въ сентябрѣ, а въ ноябрѣ шефъ жандармовъ уже дѣлалъ внушеніе пылкому поэту: какъ онъ смѣлъ читать поэму въ обществѣ безъ вѣдома начальства? Это значитъ не чувствовать «въ полной мѣрѣ великодушнаго монаршаго снисхожденія», вообще не быть «благомыслящимъ» и достойнымъ милостей.

Первое предостереженіе, и Пушкинъ могъ дѣйствительно собраться съ мыслями и задать себѣ вопросъ: чего же ему ждать на будущее время? Если онъ вполне не уяснилъ себѣ значенія письма Бенкендорфа, обстоятельства не замедлили навести его на путь истинный, прежде всего *принципіально*.

Пушкинъ представилъ свою записку о народномъ воспитаніи и получилъ оффиціальную критику, способную вразумить самаго опрометчиваго мечтателя и поэта. Авторъ записки могъ усмотрѣть изъ отеческихъ наставленій того же шефа жандармовъ, до какой степени превратно понималъ онъ просвѣщеніе. Онъ считалъ его вѣрнѣйшимъ средствомъ спасти молодежь отъ несбыточныхъ надеждъ и пагубныхъ увлеченій, воспитать настоящихъ гражданъ отечеству,—Бенкендорфъ считалъ просвѣщеніе ядомъ и заразой и «правило» Пушкина насчетъ необходимости распространять просвѣщеніе «есть правило, опасное для общаго спокойствія». Изъ соображеній Бенкендорфа выходило, что просвѣщеніе непремѣнно «неопытно, безирравственно и бесполезно» и вмѣсто него должны господствовать «прилежное служеніе» и «усердіе».

Это уже убѣдительное внушеніе за *Бориса Годунова* и у Пушкина должны окончательно открыться глаза, къ какимъ людямъ шелъ онъ съ своимъ искреннимъ желаніемъ служить родинѣ умомъ и талантомъ.

Откровенія слѣдовали одно за другимъ и Пушкинъ безпрестанно могъ вычеркивать изъ своихъ писательскихъ расчетовъ и просто обывательской свободы одинъ пунктъ за другимъ. Освобожденіе отъ общей цензуры совершенно неожиданно, но чрезвычайно просто превратилось для поэта прямо въ лишеніе правъ, принадлежавшихъ каждому русскому литератору.

Бенкендорфъ увѣрялъ поэта, что онъ обязанъ ему, Бенкендорфу, не какъ шефу жандармовъ, а какъ человѣку-другу и покровителю, оберегающему его своими совѣтами и руководящему имъ къ его же пользѣ. Но понятія Бенкендорфа о дружбѣ и покровительствѣ, очевидно, были столь же своеобразны, какъ и о просвѣщеніи.

Онъ безповоротно убѣжденъ, что Пушкинъ существо несовершеннолѣтнее и такимъ останется до конца своихъ дней, просто потому, что онъ сочинитель. Правда, перо у него «блистательное», но за нимъ нуженъ зоркій глазъ, нисколько не меньше, чѣмъ за поступками невѣняемаго субъекта. Именно такое воззрѣніе на Пушкина должно лежать въ «покровительствѣ» Бенкендорфа: иначе невозможно объяснить безпримѣрно издѣвательскихъ отношеній его къ поэту.

Онъ часто говоритъ весьма лестно, даже льстиво о талантѣ Пушкина въ своихъ письмахъ, и здѣсь же рядомъ, непремѣнно—личное оскорбленіе, въ родѣ обвиненія въ нарушеніи честнаго слова. Лесть, очевидно, должна задобрить буйнаго человѣка, а потомъ его уже можно и хлестнуть, все равно, хотя бы даже по чувству личной чести.

Напримѣръ, Пушкину необходимо только переѣхать изъ Москвы въ Петербургъ. Казалось бы, не можетъ быть и сомнѣнія въ правѣ поэта, столь благосклонно обласканнаго государемъ. Оказывается, надо подать особую просьбу и отвѣтъ на нее получается слѣдующій:

«Его величество не сомнѣвается въ томъ, что давное русскимъ дворяниномъ государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно въ полномъ смыслѣ сдержано».

Въ томъ же 1827 году, когда писалось это письмо, случилась новая исторія, окончательно смутившая Пушкина и навсегда пресѣкшая ему пути свободной дѣятельности.

У кандидата московскаго университета Леопольдова нашли отрывокъ изъ элегіи Пушкина *Андрей Шенье*, сорокъ четыре стиха, не пропущенные въ печать. Леопольдовъ сдѣлалъ помѣтку, что стихи написаны «на 14-е декабря». Листы попали въ руки генералу Ивану Никитичу Скобелеву, вѣдавшему раньше тайную полицію. Генералъ уже раньше старался вернуть себѣ карьеру при помощи пушкинскихъ стиховъ. Генералъ оставался не у дѣлъ по подозрѣнію въ «либеральности» и, по

его словамъ, томился «угрызениями грозно преслѣдующей совѣсти», хранилъ «постоянные порывы къ истинному добру» и «пламенное желаніе быть полезнымъ благодѣтелю-царю». Представился случай доказать все это доносомъ на неблагонамѣренные стихи Пушкина. Это было три года назадъ. Тогда Скобелевъ даже не имѣлъ въ своихъ рукахъ возмутительныхъ стиховъ, доносилъ по слухамъ и все-таки дѣлалъ такое заключеніе: «если бы сочинитель вредныхъ пасквилей немедленно въ награду лишился нѣсколькихъ клочковъ шкуры, было бы лучше».

Теперь у генерала имѣется документъ и онъ немедленно сообщаетъ его съ надеждами и соображеніями Бенкендорфу. Началось дѣло, вполнѣ не прекращавшееся относительно Пушкина до самой его смерти. Преступные стихи *Привѣтствую тебя, мое свѣтило* не могли появиться въ собраніи сочиненій поэта до 1870 года, на самомъ дѣлѣ они не имѣютъ ни малѣйшаго отношенія къ декабрьской смутѣ. Они написаны до 14-го декабря и цѣликомъ относятся къ французской революціи 1789 года. Шенье говоритъ въ нихъ о взятіи Бастиліи, о клятвѣ членовъ генеральныхъ штатовъ въ залѣ Jeu de paume, о перенесеніи праха знаменитыхъ французскихъ писателей въ Пантеонъ, и для всякаго должна быть очевидна бессмыслица приписывать все это 14-му декабря!

Но объясненія поэта не возымѣли успѣха. Дѣло восходило до сената и государственнаго совѣта, къ нему привлекли знакомыхъ Леопольдова, выдержали ихъ болѣе года въ тюрьмѣ, двухъ лейбъ-гвардейскихъ офицеровъ перевели въ армію послѣ заключенія одного изъ нихъ въ крѣпости, Леопольдова было присудилъ сенатъ къ сдачѣ въ солдаты и лишенію университетскаго диплома, а въ случаѣ непригодности къ военной службѣ, сослать въ Сибирь на поселеніе. Государственный совѣтъ наказаніе Леопольдову отмѣнилъ, но Пушкина не помиловалъ.

Поэтъ на допросѣ, объяснивъ истинный смыслъ своихъ стиховъ, имѣлъ неосторожность спросить у судей: «Что же тутъ общаго съ несчастнымъ бунтомъ 14-го декабря, уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятіемъ подъ стражу всѣхъ заговорщиковъ?»

Государственный совѣтъ призналъ убѣдительность объясненій, но обидѣлся заключительнымъ вопросомъ поэта, постановилъ, чтобы впредь Пушкинъ безъ разрѣшенія цензуры не выпускалъ въ свѣтъ ни одного своего творенія, и прибавилъ, чтобы «за Пушкинымъ, по неприличному выраженію его въ отвѣтахъ на счетъ происшествія 14-го декабря 1825 года и по духу самого сочиненія его, въ октябрѣ мѣсяцѣ того же года напечатаннаго, имѣлся секретный надзоръ»¹⁷⁾.

Какую богатую поживу представилъ Бенкендорфу этотъ приговоръ! Съ этихъ поръ Пушкинъ, будто временно выпущенный на волю арестантъ. Негласный надзоръ сопровождаетъ его всюду. Каждый его

¹⁷⁾ Процессъ объ *А. Шенье*.—*Р. Старъ* 1874, X, 691 etc.; XI, 584 etc.; 1882, XXXIII, 465; 1883, XXXVIII, 690.

перѣздъ. вызываетъ безпокойство въ третьемъ отдѣленіи, дѣятельную переписку объ *образѣ жизни и поведеніи* Пушкина ¹⁵⁾). Секретныя отношенія летятъ за нимъ вслѣдъ, по канцеляріямъ всѣхъ губернаторовъ, въ чьи губерніи онъ направляется. Предъ нами отношенія нижегородскаго военнаго губернатора къ казанскому военному губернатору, казанскаго губернатора къ казанскому полиціймейстеру: превосходные образчики идеальной бдительности третьяго отдѣленія. Но особенно тревожится оно, когда Пушкину вадумалось проѣхать на Кавказъ. Помимо надзора, слѣдуетъ запросъ самому поэту о цѣли его путешествія. На Кавказѣ находится нѣсколько декабристовъ, Пушкину необходимо оставить и этотъ край, по отеческому совѣту Паскевича... Не дозволяются перѣзды даже изъ Петербурга въ Москву безъ вѣдома шефа жандармовъ: у Пушкина мгновенно требуютъ объясненій по поводу отлучки. Поэтъ горько жалуется на притѣсенія, на безпрестанные выговоры, и это въ письмѣ къ Бенкендорфу!

Мало этого, именно въ Бенкендорфѣ онъ готовъ видѣть своего единственнаго защитника. «Если завтра вы не будете министромъ, то послѣ завтра меня посадятъ въ тюрьму»..

Въ какое отчаяніе надо придти, чтобы написать такія слова и такому защитнику!

И мы понимаемъ настроеніе Пушкина. Онъ рѣшительно не могъ сдѣлать шагу ни какъ писатель, ни какъ членъ общества, чтобы не встрѣтить ненависти и интриги. Если Бенкендорфъ по-своему понялъ порученіе Николая I «оберегать» Пушкина, то и министръ Уваровъ явно стремился извлечь изъ новаго положенія поэта новыя узы и скорпіоны. Это, оказалось, нетрудно. Пушкинъ не подлежитъ общей цензурѣ, его произведенія разрѣшаются къ печати государемъ, слѣдовательно, каждое даже мелкое стихотвореніе должно быть представлено его величеству. Но въ то же время государственный совѣтъ постановилъ лишить Пушкина права печатать что-либо безъ цензурнаго разрѣшенія. Въ результатѣ получилось вѣчто по истинѣ безжалостное.

Лично Пушкинъ только случайно могъ встрѣчаться съ государемъ и, конечно, не могъ докучать ему разговорами и ходатайствами о своихъ произведеніяхъ. Это онъ самъ пишетъ Бенкендорфу. Фактически, слѣдовательно, цензоромъ являлся Бенкендорфъ и чиновники третьяго отдѣленія, которымъ онъ поручалъ разсмотрѣть и даже критическую оцѣнку произведеній Пушкина. Съ этими оцѣнками и представлялись рукописи поэта государю, напримѣръ, *Борисъ Годуновъ*, 19-е октября, отрывки изъ *Евгенія Онегина*. Критики изъ третьяго отдѣленія не желали ограничиться своей спеціальностью, пускались и въ художественныя разсужденія, напримѣръ, совѣтовали *Бориса Годунова* переложить въ романъ. Пушкину приходилось отвоевывать даже свою

¹⁵⁾ Русск. Стар. 1882, XXXIII, 225.

поэтическую самостоятельность, заявлять, что онъ не въ состояніи передѣлывать разъ написанное, онъ умоляетъ снисходительнѣе относиться къ его безусловно искреннему творчеству. Бенкендорфъ, разумѣется, не внемлетъ мольбамъ, мститъ задержкой въ печатаніи драмы, разрѣшенной государемъ, и унижительнымъ запросомъ по поводу стихотворенія *Анчаръ*.

Оно появляется въ печати, безъ представленія Бенкендорфу, съ разрѣшенія обыкновенной цензуры, и шефъ жандармовъ безъ всякихъ сдѣланныхъ обвиняетъ его въ обманѣ, въ нарушеніи честнаго слова. Пушкинъ оскорбленъ до глубины души, онъ до самой смерти не можетъ забыть этой обиды, пишетъ Бенкендорфу, что, по его мнѣнію, высочайшая милость не лишаетъ его права всѣхъ другихъ подданныхъ, печатать свои произведенія съ дозволенія цензуры.

Соображеніе, повидимому, неопровержимое, но только не для защитниковъ Пушкина. Бенкендорфъ, очевидно, считаетъ личнымъ оскорбленіемъ не знать и не одобрить каждой строки поэта, а Уваровъ, въ свою очередь, не желаетъ признавать особой цензуры для Пушкина и требуетъ цензуры его произведеній, допущенныхъ въ печать изъ канцеляріи его величества. Разумѣется, онъ не смѣетъ дѣлать этого въ самый моментъ разрѣшенія, но немедленно налагаетъ свой запретъ на *сторня* изданія разрѣшенныхъ произведеній. Пушкину остается удостовѣрить чудовищный фактъ: «Я лишень права печатать свои сочиненія, дозволенные самимъ государемъ императоромъ»¹⁹⁾.

Но у министра Уварова свои счеты съ поэтомъ, и онъ, по собственному побужденію, образуетъ съ Бенкендорфомъ неумолимый инквизиторскій дуумвиратъ и они вдвоемъ благосклонность Николая I къ поэту сдѣлаютъ источникомъ исключительныхъ, истинно-привилегированныхъ гоненій и оскорбленій. Пушкинъ, наконецъ, рѣшаетъ, что гораздо легче жить и писать безъ исключительной верховной цензуры, и ходатайствуетъ подчинить его обыкновеннымъ цензорамъ хотя бы отчасти, т. е. для нѣкоторыхъ произведеній.

И особенно любопытно, — все время Пушкина увѣряли въ благосклонности и въ полной его свободѣ. Бенкендорфъ пишетъ ему, будто никогда никакая полиція не получала пркказанія наблюдать за нимъ и *дружескія* предостереженія его, шефа жандармовъ, могли только принести пользу ему, Пушкину. Даже отецъ поэта находить, что Бенкендорфъ придирается къ его сыну неслыханно и причиняетъ ему ужасное настроеніе духа²⁰⁾.

Пушкину на каждомъ шагу даютъ понять, что ему не довѣряютъ

¹⁹⁾ Исторія по поводу *Анджело*. — Письмо въ главный комитетъ цензуры. — *Сочиненія* VII, 386.

²⁰⁾ Benkendorff lui fait des chicanes umies, ce qui rend mon fils d'une humeur atrose. — *Изъ семейной хроники. Воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ*. — Л. Павлицева. М. 1890, 305.

и даже, что онъ не заслуживаетъ довѣрія. Ему позволяютъ работать въ архивахъ, но подъ наблюдениемъ гр. Блудова,—личности, уже составившей себѣ имя необыкновенно ревностнымъ изобличениемъ *Московского Телеграфа* въ неблагонамѣренномъ направленіи. Но и подъ такимъ надзоромъ Пушкину доступны архивы только до тѣхъ поръ, пока онъ числится чиновникомъ; какъ частный человекъ онъ лишается этого права: «оно можетъ принадлежать только людямъ, пользующимся особенною довѣренностью начальства» ²¹⁾).

Эти воззрѣнія власти не тайна въ обществѣ и въ литературѣ, и здѣсь отношенія къ Пушкину складываются сообразно съ чувствами Бенкендорфа и Уварова. Этотъ фактъ имѣетъ громадное значеніе, нравственное и практическое. Онъ является самой краснорѣчивой чертой въ судьбѣ русскаго поэта. На немъ основана вся беспросвѣтная драма, душмвша Пушкина въ теченіе всей жизни и, наконецъ, поразившая его насильственной смертью.

Много лѣтъ позже два русскіе писателя, изображая свое положеніе въ современномъ обществѣ, опредѣлили его совершенно тождественно, взаимно дополнили наблюдения другъ друга. Одинъ говорилъ:

Не брать еще людямъ поэтъ
И терпѣть его путь и не прочежь.

Другой объяснилъ, почему: «Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что человеку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки себѣ ждать нечего».

Можетъ быть, кто-нибудь изъ современниковъ Некрасова и Салтыкова попытается уличить ихъ въ слишкомъ мрачномъ настроеніи, относительно Пушкина немислимо ни малѣйшее колебаніе: «служительскія слова» отравили его нравственный міръ и варварская, туго и слѣпо ненавистническая среда предала его медленной долготѣнной казни за свободный умъ, гениальный талантъ и благородную рѣчь.

X.

Пушкинъ, по своей страстной природѣ, могъ, пожалуй, впадать въ крайности, преувеличивать низменный характеръ свѣтской и литературной черни, вызывавшей въ немъ дрожь отвращенія и гнѣва. Такъ именно весьма многіе склонны были думать и при жизни поэта, и послѣ его смерти. Его неумчивое сердце безпрестанно встрѣчало дружескія внушенія и укоризны. Особенно любопытно поученіе, прочитанное Пушкину кн. Вяземскимъ еще во время его ссылки въ Михайловскомъ.

Князь—человекъ барской словесности и карамзинскихъ воззрѣній, но онъ настоящій литераторъ, умный, посильно честный и, главное, искренне любящій Пушкина. Онъ крайне обезпокоенъ волненіями поэта въ из-

²¹⁾ *Русск. Стар.* 1874, X, 712.

гнаніи, его замыслами—во что бы то ни стало вырваться изъ тюрьмы, и рѣшается отчасти навести его на путь примиренія и терпимости. «Попробуй плыть по водѣ,—убѣждаетъ князь, — ты довольно боролся съ теченіемъ». Князь спѣшитъ, разумѣется, оговориться: онъ не совѣтуетъ плыть къ грязному берегу, надо выбрать теченіе, гдѣ «ничто не задѣнетъ совѣсти, ничто не запятнаетъ характера».

Очень благоразумные совѣты и, мы знаемъ, Пушкинъ искренне рѣшился послѣдовать имъ. Онъ, несомнѣнно, рассчитывалъ на богѣе или менѣе благополучное плаваніе и даже съумѣлъ, вѣроятно, примирить съ своими расчетами совершенно безнадежный отзывъ князя о судьбѣ русскаго писателя въ русскомъ обществѣ. Отзывъ—въ высшей степени замѣчательный, прямо культурно-историческій. Всѣ «карамзинскія» соображенія князя вполне очевидны, они могутъ быть устранены безъ всякаго ущерба самой сущности его разсужденій, и эта сущность должна остаться для насъ незабвенна.

Онъ пишетъ Пушкину:

«Ты сажалъ цвѣты, не сообразясь съ климатомъ. Морозъ сдѣлалъ свое, вотъ и все... Ты можешь быть силенъ у насъ только одною своею славю, тѣмъ, что тебя читаютъ съ удовольствіемъ, съ жадностью, но несчастіе у насъ не имѣетъ силы ни на грошъ. Хоть будь въ кандалахъ... ихъ звукъ не разбудитъ ни одной новой мысли въ толпѣ, въ народѣ, который у насъ мало чутокъ... У насъ никому нѣтъ мѣста почетнаго... Оппозиція у насъ пустое и бесплодное ремесло во всѣхъ отношеніяхъ... Она не въ цѣнѣ у народа... Поклоняемся мы одному счастью, и благородное несчастіе не имѣетъ еще кружка своего въ мѣсяцесловѣ народа ребяческаго... Пушкинъ, по характеру своему, Пушкинъ, какъ блестящій примѣръ превратностей различныхъ, ничтоженъ въ русскомъ народѣ; за выкупъ его никто не дастъ алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворная отрывка... Донъ-Кихоть новаго рода, ты снимаешь шляпу, кладешь земные поклоны и набожничаетъ передъ вѣтреною мельницею, въ которой не только Бога или святого, но и мельника не бывало»²²⁾.

Мѣткость этихъ разсужденій можетъ вполне оцѣнить всякій читатель. Только неизвѣстно почему, кн. Вяземскій толкуетъ о народѣ: въ 1825 году это, по меньшей мѣрѣ, неумѣстно и неосновательно. Крепостной народъ не мѣшался въ литературу и публики не составлялъ,—имя его, слѣдовательно, произносится всуе, и должно быть подмѣнено другимъ—какимъ угодно—свѣтъ, общество, публика, толпа, чернь: всѣ эти понятія въ данномъ случаѣ тождественныя, и Пушкину, какъ и всякому русскому писателю, приходилось и приходится до сихъ поръ считаться именно съ этими силами. Изображены они кн. Вяземскимъ прямо безукоризненно и отношенія ихъ къ Пушкину понятны непогрѣ-

²²⁾ Русск. Архивъ. 1874, № 1.

шимо: «они,—говоритъ князь,—удовольствуются первою разгадкою, что ты человѣкъ неугомонный, съ которымъ ничто не беретъ, который изъ охоты идетъ наперекоръ власти, друзей, родныхъ и котораго вѣрнѣе и спокойнѣе держать на привязи, подальше».

Князь, будто, читалъ въ мысляхъ Бенкендорфа и Уварова! Онъ сдѣлалъ еще шагъ и, какъ свѣдущее лицо, раскрылъ психологію дѣятельнѣйшаго приспѣшника третьяго отдѣленія—большого петербургскаго свѣта. Пушкинъ именовалъ этотъ свѣтъ—чернью и гнусной грязной лужей (*un vilain lac de boue* ²³), но опять это, можетъ быть, взрывъ неумчивой страсти,—вотъ спокойное и вѣжливое разсужденіе князя.

«У насъ въ обществѣ писателю нѣтъ мѣста. По свѣтскому уложенію, авторство не есть званіе, коего представительство имѣетъ свои права, свой голосъ и законный удѣлъ на създѣ членовъ большого свѣта. Писатель въ Россіи, когда онъ не съ перомъ въ рукахъ, не въ книгѣ своей, есть существо отвлеченное, метафизическое. Если онъ хочетъ быть существомъ положительнымъ, то имѣй онъ еще въ запасѣ постороннее званіе, и сія эпизодическая роль затмить и перевѣситъ главную. Исключенія изъ сего правила рѣдки и всегда случайны и временны. Можно пробывать авторомъ въ обществѣ на полчаса, подобно пѣвцу или пьянисту, которые обращаютъ на себя вниманіе только, пока ихъ искусство въ дѣйствиіи. Роль, которую играли во Франціи писатели, такъ называемые *gens de lettres*, въ особенности же царствованія Людовика XV и Людовика XVI до начала революціи, такъ далека отъ нашихъ нравовъ и господствующихъ у насъ понятій, что мы худо постигаемъ всемогущее вліяніе, которое они имѣютъ не только на общую образованность народа, но и на частныя мнѣнія и привычки общества».

Надо помнить, авторъ этихъ словъ самъ принадлежалъ къ высшему обществу, отнюдь не могъ страдать разлитіемъ литераторской желчи или страстью во что бы то ни стало защищать литературный цехъ: онъ говорилъ, какъ писатель-баринъ, какъ просвѣщенный мыслящій и умѣренно-либеральный аристократъ и ни чей судъ не могъ быть освѣдомленіемъ и убѣдительною.

Тотъ же князь Вяземскій не оставилъ насъ безъ краснорѣчивыхъ данныхъ и на счетъ современной господствующей и признанной литературы. Вскорѣ послѣ возвращенія Пушкина изъ ссылки онъ писалъ Жуковскому:

«Я не Булгаринъ и не будочникъ,—слѣдовательно, какъ мнѣ журналъ издавать?» ²⁴). Именно такіе литераторы въ силу вещей должны процвѣтать и множиться. Общество другихъ не допускаетъ и по очень основательной причинѣ: съ Булгаринными можно обращаться какъ угодно—вплоть до оскорбленій словомъ и дѣйствіемъ, съ писателемъ, себя ува-

²³) *Русск. Стар.* 1880, XXVIII, 103. Письмо къ П. А. Осиповой, авг. 1835.

²⁴) *Къ биографіи.* II, 37.

жающимъ, надо считаться и, пожалуй, даже сообразоваться съ его мыслями и вкусами. Это—невѣроятно тамъ, гдѣ писатель—лицо отвлеченное и сановники откровенно заявляютъ: «лучше монополія въ рукахъ у людей, съ которыми нечего церемониться, чѣмъ распространеніе журналовъ»²⁵⁾.

Естественно, тѣснѣйшая родственная связь устанавливается сама собой, между обществомъ, не считающимъ писателя за лицо, литературой, отданной въ руки не лицъ и властью въ лицѣ Бенкендорфа. Это неразрывный, согласный триумvirатъ, онъ построенъ на однихъ и тѣхъ же жизненныхъ интересахъ, у него одинъ и тотъ же врагъ—свободное мнѣніе свободно мыслящей личности, одна и та же цѣль—низкій нравственный и умственный уровень читателя, одни и тѣ же средства—притѣсненія всего самобытнаго личнаго, даровитаго. Бенкендорфъ и Уваровъ донимаютъ писателя выговорами, надзорами, покушеніями на его гражданскую и даже личную свободу, ставятъ его внѣ закона и заставляютъ Пушкина написать жевѣ слѣдующія отчаянныя строки въ самомъ началѣ издательскаго поприща:

«У меня душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры и мнѣ говорили vous avez tropé, и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть, какъ на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпиона»²⁶⁾.

Пушкинъ дорожилъ мнѣніемъ просвѣщеннаго государственнаго чловѣка и боялся, какъ бы тотъ, по обычному впечатлѣнію, не смѣшалъ его вообще съ толпой русскихъ журналистовъ. Поэтъ имѣлъ основанія такъ думать, потому что *сами* журналисты считали закономъ природы свое рабское и презрѣнное положеніе, какъ это ни удивительно, а между тѣмъ вполне достоверно и блистательно было подтверждено журналистами именно по случаю издательской дѣятельности Пушкина.

Если письма Пушкина переполнены жалобами и гнѣвомъ на притѣсненія властей, за то признанія Булгарина кишатъ такими откровеніями: «Графъ Бенкендорфъ обѣщалъ мнѣ золотыя горы»; «Бенкендорфъ задушилъ меня въ объятіяхъ». Булгаринъ получаетъ брилліантовый перстень. Бенкендорфъ ходатайствуетъ ему чинъ; указомъ правительствующему сенату признаются «похвальныя литературныя труды» Булгарина²⁷⁾.

Очевидно, трогательнѣйшій союзъ Третьяго отдѣленія съ *Съверной Пчелой*. И онъ осуществляется не только въ объятіяхъ и официальныхъ бумагахъ, но и [публично, въ критическихъ и иныхъ статьяхъ. Булгаринъ яростно ополчается на Пушкина, какъ на писателя и

²⁵⁾ Пб. 123.

²⁶⁾ Сочин. VII, 404.

²⁷⁾ *Ист. Вѣстн.* 1884, XV, *Пolemическія статьи Пушкина*, Сухомлинова.

человѣка, именуеть его безпутнымъ, безнравственнымъ, картежникомъ, кутилой, готовымъ на самую унизительную лестъ ради камеръ-юнкерскаго мундира. Онъ служитъ усерднѣ Бахусу и Плутону, нежели музамъ. «Въ своихъ сочиненіяхъ онъ не обнаружилъ ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства, ни одной полезной истины»; у него «сердце холодное и нѣмое существо, какъ устрица, а голова родъ побрякушки, набитой гремучими риемами, гдѣ не зародилась ни одна идея»; онъ «бросаетъ риемами во все священное, чванится предъ чернью вольнодумствомъ, а тишкомъ ползаетъ у ногъ сильныхъ, чтобъ позволили ему нарядиться въ шитый кафтанъ»; онъ «мараеть бѣлые листы на продажу, чтобъ спустить деньги на крапленыхъ листахъ» и у него «одно господствующее чувство—суетность».

Полная ему противоположность—самъ авторъ этой характеристики, никогда не измѣнявшій долгу и чести и образцовый патріотъ.

Пушкинъ отвѣтилъ въ тонъ этому патріотизму, и привелъ въ ужасъ своихъ друзей. Булгаринъ могъ начать дѣйствовать прямо черезъ шефа жандармовъ. И Булгаринъ, дѣйствительно, ходатайствуя о новыхъ милостяхъ изъ русской казны, не преминулъ упомянуть о безнравственныхъ и революціонныхъ произведеніяхъ Пушкина. И самъ поэтъ сообразилъ *политическое* значеніе полемики Булгарина и счелъ нужнымъ предупредить Бенкендорфа о своихъ отношеніяхъ къ издателю *Сверной Пчелы*. Бенкендорфъ успѣшилъ успокоить Пушкина на счетъ своихъ связей съ Булгаринимъ. Но мы знаемъ, какъ правдивы были утѣшенія шефа жандармовъ, и, несомнѣнно, позорную войну презрѣннаго патріота трехъ отечествъ противъ величайшаго русскаго поэта слѣдуетъ поставить въ число его *заслугъ* предъ отцами-командирами, Дуббельтомъ и специальнымъ опекуномъ Пушкина.

Булгаринъ и Сенковскій не ограничились уликами поэта въ неблаговадежности. Какъ прирожденные рабы, они вполнѣ естественно выставили на всеобщій позоръ свое ремесло, принявшись укорять Пушкина въ *самоуниженіи*: онъ сталъ журналистомъ, слѣдовательно, пагъ и измелъчалъ: «князь мысли сталъ рабомъ толпы»,—взывала *Сверная Пчела*, безсознательно рисуя свой собственный портретъ. Не дѣло поэта приниматься за журнальную работу: это слишкомъ унизительно! Любопытнѣйшее самопризнаніе журналиста, почтеннаго объятіями Бенкендорфа. И—что особенно замѣчательно—такъ смотрѣли на вопросъ и нѣкоторые, казалось бы, просвѣщенные люди. Поэтъ Языковъ находилъ, что участвовать въ журналѣ «дѣло не поэтическое». Очевидно, и въ этой средѣ идейные планы Пушкина не находили ни признанія, ни сочувствія, и Пушкинъ чрезвычайно мѣтко, хотя и рѣзко обрисовалъ двумя словами современный журнальный міръ. Изъ Михайловскаго онъ спрашивалъ у брата: «Что наши литературные паны и что сволочь?» ²⁸⁾.

²⁸⁾ Русск. Стар. 1879, XXIV, 229.

Языковъ былъ, разумѣется, *панъ*, но и отъ него такъ же, какъ отъ Бугарина, русская журналистика не могла ждать возрожденія. Пушкинъ оказывался неизмѣримо мужественнѣе и идейнѣе даже лучшихъ писателей своего времени и бралъ на себя задачу, которой предстояло ждать болѣе или менѣе удовлетворительнаго разрѣшенія еще очень долго.

До какой степени *литературные панн* стихійно враждовали съ Пушкинымъ, показываетъ еще болѣе любопытный фактъ, чѣмъ впечатлѣнія поэта Языкова. Пушкина выбрали въ Академію, но немедленно обнаружилась вся его непригодность къ столь почтенному собранію. Уже на второмъ засѣданіи ему прочитали параграфъ устава, повелѣвающій выводить изъ засѣданія членовъ, непристойно себя ведущихъ. Старики поняла свою ошибку, но дѣлать нечего — скрѣпя сердце подчинились факту ²⁹⁾.

Бенкендорфу, слѣдовательно, нечего было ждать протеста со стороны печати. Его опыты надъ самолюбіемъ и правами Пушкина могли вызвать только полное сочувствіе у «сволочи», и пассивное состраданіе у «пановъ». Не одинъ изъ нихъ могъ промолвить въ пріятельскомъ кружкѣ: подѣломъ Пушкину! не лѣзь въ грязь, не спускайся съ Парнасса на улипу.

Общество спѣшило присоединить свое «мнѣніе» и дѣйствовало совершенно тождественно съ Бугаринимъ. Тотъ клеветалъ въ печати, свѣтъ выполнялъ тоже назначеніе въ салонахъ. Тотъ оповѣщалъ подписчиковъ *Съверной Пчелы* о безнравственности и лести Пушкина, свѣтскіе господа и дамы рассказывали, что онъ пьетъ горькую и въ пьяномъ видѣ пишетъ стихи, что онъ въ рукахъ у картежныхъ игроковъ и тѣ располагаютъ его временемъ и вдохновеніемъ, что онъ изъ ревности прибилъ жену и причинилъ ей преждевременные роды, что камеръ-юнкерскій мундиръ ему дали ради той же жены — большой красавицы и что вообще въ семейной жизни онъ хуже всякаго Отелло: не даромъ негритянскаго происхожденія ³⁰⁾.

Свѣтъ не ограничился предъ устными упражненіями, онъ также пустился въ литературу, принялся сочинять анонимныя письма, пасквили, подбрасывать ихъ въ домъ поэта, пересылать по городской почтѣ, ему лично и черезъ его знакомыхъ. Онъ всѣми способами и мѣрами изводилъ ненавистнаго человѣка: смѣялся, когда при разсѣздахъ выкрикивали карету *Пушкина-сочинителя*, жену его называлъ не иначе, какъ *Пушкина-поэтиша*. Друзья, въ свою очередь, въ цѣляхъ либерализма, не преминули также посмѣяться надъ камеръ-юнкерствомъ поэта. Они не могли простить ему примиренія съ правительствомъ, не

²⁹⁾ Письмо А. М. Языкова къ Комовскому. *Ист. Вѣсти*. 1883, XIV, 537.

³⁰⁾ Письма Пушкина. Сочиненія, VII, 329. Павлицевъ, 364. *Русск. Стар.* 1880, XXIX, 217.

желали звать никакихъ иныхъ побудительныхъ причинъ, помимо честолюбія *). Драма, переживаемая поэтомъ, не бросалась имъ въ глаза, подвиги Бенкендорфа, продѣлки Уварова, подлая злоба свѣта и рабскій натискъ журнальныхъ пресмыкающихся—все это для либерально-мыслящихъ наблюдателей исчезало предъ мнимымъ привилегированнымъ положеніемъ Пушкина, предъ его придворнымъ званіемъ, однимъ изъ источниковъ его страданій и униженій!

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить одну въ высшей степени краснорѣчивую, но до сихъ поръ пренебреженную черту, во всей этой безднѣ озлобленія противъ великаго поэта. Однимъ изъ его преступленій являлось страстное влеченіе къ русской народности. Она овладѣвала постепенно его вдохновеніемъ, его идеями, его поэтической и журнальной работой. Онъ работаетъ надъ народными сказками, создаетъ, въ поэтической формѣ, цѣлую теорію національнаго русскаго искусства, восторженно привѣтствуетъ Гоголя, именно какъ представителя національнаго реализма. Въ отношеніяхъ къ Гоголю сказывается настоящій призванный глава родной литературы, ея творецъ, опекунъ и перво-степенный критикъ. И все это идетъ совершенно въ разрѣзъ и съ настроеніями современной журналистики, и со вкусами просвѣщеннаго общества, и съ видами Третьяго отдѣленія и цензуры.

Ожесточеннѣйшіе свѣтскіе враги Пушкина вдохновляются въ международныхъ солонахъ разныхъ посланницъ и салопницъ. Поэтъ не стѣсняется бросать въ нихъ эпиграммами, а салоны отвѣчаютъ сплетнями, анонимными пасквилями и, позже, восторгами въ честь Дантеса. Именно, здѣсь будущій убійца Пушкина встрѣтитъ самый теплый приемъ, здѣсь создадутъ ему карьеру, отдадутъ ему и сердца, и честь, и натравятъ на семейное счастье и доброе имя Пушкина. Дантесъ—выкормленникъ и баловень петербургскаго большого свѣта, ненавидѣннаго въ Пушкинѣ своего естественнаго врага. Даже и послѣ убійства Дантесъ не перестанетъ пользоваться весьма горячей благосклонностью петербургскихъ графинь ³²⁾.

Литература въ лицѣ Булгарина, высшая цензура въ лицѣ Бенкендорфа не имѣли ни малѣйшихъ поводовъ—цѣнить національную русскую силу таланта Пушкина. Офрануженные салоны могли быть покойны за критику журналиста-патріота, страшно негодовавшаго на свой патріотизмъ послѣ того, какъ русская казна отказала ему въ крупной суммѣ денегъ: «скимпрометировался, а дѣлать нечего»,—воскликнулъ Булгаринъ, отдавая должное русскому отечеству ³³⁾. Бенкендорфъ, погубившій журналъ Киреевскаго *Европеецъ* за непочтительный отзывъ о нѣмцахъ, могъ

³¹⁾ Отношеніе къ Пушкину русскихъ «либераловъ» прекрасно изображено въ статьѣ Мицкевича о Пушкинѣ, вскорѣ послѣ смерти русскаго поэта. См. *Мицкевичъ о Пушкинѣ. Къ біографіи*. 158.

³²⁾ А. С. П.—изъ по документамъ Остафьевскаго архива. *Ibid*, стр. 72.

³³⁾ *Ист. Вѣсти*. 1884, XV, 491.

только усилить свое презрѣніе къ «блистательному перу» Пушкина за увлеченіе психологіей и поэзіей русскаго народа.

Такова сцена, гдѣ пришлось дѣйствовать Пушкину съ самыми мирными намѣреніями, съ восторженной до наивности готовностью идти рука объ руку съ правительствомъ, лишь бы оно не гнало просвѣщенія и не считало писателя непремѣнно холопомъ или бунтовщикомъ. Какой пьесѣ предстояло разыгратъ съ такимъ героемъ и въ такой обстановкѣ, ясно было съ самаго начала, и каждый актъ поразительно логически слѣдовалъ изъ предъидущаго: въ полномъ смыслѣ исторія постепеннаго нравственнаго удушенія со всѣми послѣдовательными симптомами и неизбѣжнымъ заключеніемъ—независимо отъ случайностей и отдѣльныхъ лицъ.

ХІ.

Пушкина принято обыкновенно считать очень жизнерадостнымъ поэтомъ, яснымъ, невозмутимымъ художникомъ, претворяющимъ силой могучаго таланта и объективнаго творческаго духа всѣ противорѣчія дѣйствительности въ чудную гармонию художественной красоты. Это—великое заблужденіе! Пушкинъ, дѣйствительно, первостепенный творецъ красотъ и гармоній, но онъ въ то же время одна изъ самыхъ трогательныхъ драматическихъ личностей даже въ русской многострадальной умственной исторіи. Нѣтъ рѣшительно ни одного періода въ жизни Пушкина, когда бы намъ не представлялось два образа. Одинъ—гениально-вдохновенный, весь преисполненный сознанія своей силы, невыразимаго счастья—видѣть многообразную жизнь и воссоздавать ее, непоколебимой вѣры въ неизмѣнную власть своего слова надъ сердцами людей. Это—одинъ. Въ иныя минуты онъ нѣсколько видоизмѣняется, именно «въ заботахъ суетнаго свѣта»: тогда онъ неумолкаемо остроумный, блестящій смѣхомъ и, повидимому, неисчерпаемымъ весельемъ, онъ живетъ минутой, онъ весь охваченъ впечатлѣніями и нѣтъ человѣка, равнаго ему въ блескѣ ума, въ мѣткости шутки, въ находчивости забавы.

Другой образъ до такой степени не похожъ на этотъ, что, кажется предъ нами совсѣмъ не тотъ поэтъ. Онъ молчаливъ и задумчивъ, на лицѣ его лежитъ густая тѣнь мучительной тоски или ядовитаго гнѣва можно подумать, онъ никогда не зналъ улыбки счастья, никогда не свѣтился привѣтомъ любви къ людямъ. Это, несомнѣнно, человѣкъ одиночества, нераздѣленныхъ думъ, никому неповѣренныхъ страданій, это—поэтъ гнѣва и презрѣнія.

И эти душевныя состоянія чередовались у Пушкина еще въ ранней молодости. Въ лицѣ онъ часто искалъ уединенія, и ничего не могло быть для него обиднѣй и досаднѣй, какъ чужой взоръ на его укромную бесѣду съ самимъ собой. Тогда онъ стремился сторицей возмѣстить

свое отшельничество, боясь, какъ бы не разгадали его тайны, старался всѣхъ товарищей превзойти въ шалостяхъ и весельи, заставить всѣхъ думать, что онъ легкомысленнѣйшій школьникъ на свѣтѣ и вовсе не предается никакимъ серьезнымъ и загадочнымъ мыслямъ.

На югѣ, гдѣ поэтъ часто давалъ полную волю своей огненной натурѣ, «тайный демонъ» не покидалъ его. Предъ нами въ высшей степени любопытныя впечатлѣнія очевидца, вовсе не глубокаго психолога, а простаго наблюдателя. Его съ перваго взгляда поразила двойственность пушкинскихъ настроеній, даже въ обществѣ.

Разсказчикъ увидѣлъ поэта въ театрѣ. «Въ числѣ многихъ, — говоритъ онъ, — особенно обратилъ мое вниманіе молодой человекъ, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, съ быстрымъ и наблюдательнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ приемахъ, часто смѣющийся въ избыткѣ непринужденной веселости, и вдругъ неожиданно переходящій къ думѣ, возбуждающей участіе. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выраженіе думы до того было увлекательно, что невольно хотѣлось бы спросить: что съ тобой? какая грусть мрачить твою душу?» Послѣ перваго акта какой-то драмы, весьма дурно сыгранной, Пушкинъ подошелъ къ разсказчику и его знакомому, начался разговоръ объ игрѣ актеровъ, Пушкинъ вспомнилъ о петербургскомъ театрѣ и невольно задумался. «Въ этомъ расположеніи духа, — продолжаетъ разсказчикъ, — онъ отошелъ отъ насъ и, пробираясь между стульевъ со всею ловкостью и изысканною вѣжливостью свѣтскаго человека, остановился передъ какою-то дамою... мрачность его исчезла; ее смѣнилъ смѣхъ, соединенный съ непрерывной рѣчью... Пушкинъ безпрерывно краснѣлъ и смѣялся, прекрасные его зубы выказывались во всемъ своемъ блескѣ, улыбка не угасала!»

Какой простой и живой портретъ! И онъ точное отраженіе произведеній Пушкина и его личныхъ признаній. Тучи шли вслѣдъ за солнцемъ его генія — съ дѣтства до самой смерти. Дорогой цѣной искупилъ свое избранничество русскій поэтъ! И рѣдко кто, даже среди ближайшихъ свидѣтелей отдавалъ себѣ отчетъ въ этомъ искупленіи. Поэтъ безпрестанно воспѣваетъ въ стихахъ уединеніе, но вѣдь это благодарный поэтический мотивъ! Кто же не мечтаетъ объ идилическомъ временномъ одиночествѣ, не теряя надежды, съ новыми силами пуститься въ общественныя удовольствія?

Поэтъ говоритъ о несомнѣнныхъ страданіяхъ, объ изгнаніи, объ утратахъ, но и это лишь красивые звуки для людей:

«Тѣмъ лучше», — говорятъ любители искусства:

Тѣмъ лучше: набереть онъ новыхъ думъ и чувствъ.

И намъ ихъ передать...

И Пушкину, несомнѣнно, много разъ приходилось слышать эти столь обычные утѣшенія. Тогда онъ теряя терпѣніе, сыпалъ эпиграммами:

наносилъ безпощадные удары и врагамъ, и равнодушнымъ друзьямъ и самъ же откровенно сознавался:

Еще былъ молодецъ, но уже судьба
 Меня борьбой неравной истомила...
 Я былъ ожесточень...

И судьба не спѣшила ожесточеніе смѣнить другимъ чувствомъ. «Неравная борьба» разгоралась все сильнѣй. Поэту приходится отвоевывать свою личность, свой талантъ, свои стихи и мысли, и чѣмъ значительнѣе вырастаетъ его личность и блистательнѣе становится талантъ, тѣмъ больше противниковъ и гонителей. Онъ начинаетъ удивляться, какъ можно «на Руси сохранить веселость», у него «кровь въ желчь превращается», онъ не находитъ на своей родинѣ мѣста душѣ и таланту. Его волнуютъ самые отчаянные планы: онъ хотѣлъ бы бѣжать куда глаза глядятъ—заграницу, на Кавказъ, въ Китай. Но эти мечты можно питать, пока поэтъ одинокъ. Онъ обзаведется семьей: это необходимо, поэту хочется жить всей полнотой своего сердца. И онъ живетъ, страстно любить жену и дѣтей, но судьба и здѣсь предъявляетъ счетъ за счастье.

Она требуетъ, чтобы обладаніе красавицей-женой было вознаграждено неустаннымъ каторжнымъ трудомъ, вѣчными безпокойствами о женѣ, какъ малолѣтней дѣвицѣ, ежедневными столкновеніями съ «гнусной и грязной лужей», населенной сплетниками и клеветниками, неотразимыми объясненіями съ друзьями и покровителями въ жандармскихъ мундирахъ. И за все это — нѣтъ полной, всеохватывающей радости даже дома.

Жена дѣйствительно несовершеннолѣтняя, съ ней нельзя вести рѣчь ни о чемъ, кромѣ свѣтскихъ героевъ и происшествій, она совершенно чужда литературѣ и вообще умственной жизни, и поэтъ, даже въ самыхъ вѣжныхъ своихъ письмахъ, ни разу не рѣшится заговорить о своихъ произведеніяхъ, о своихъ творческихъ думкахъ. Если онъ проситъ жену переслать ему книги, то тщательно описываетъ ихъ внѣшность и мѣсто нахождения: очевидно, его библіотека для жены—заповѣд-ный міръ.

И въ отвѣтъ письма, переполненныя разказами о свѣтскихъ побѣдахъ, о кокетствѣ... Въ отвѣтъ онъ умоляетъ жену, напоминая о своей неутомимой работѣ исключительно ради нея: «побереги же и ты меня. Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнью мужчины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности etc., etc.».

Только всего, бѣльшаго поэтъ не требуетъ и предоставляетъ женѣ изо дня въ день выполнять одну и ту же обязанность, просто, но красно-рѣчиво описанную матерью поэта:

«Наташа всегда прекрасна, щегольски одѣта; вездѣ празднуютъ ея появленіе. Возвращается съ вечеровъ въ четыре или пять часовъ

Пушкинъ узналъ, будто графъ сказалъ какую-то двусмысленность его женѣ. Поэтъ на этотъ разъ немедленно вызвалъ его на дуэль; она не состоялась послѣ объясненій графа ³⁵). Но было видно, до какой степени напряжены нервы поэта и какъ легко толкнуть его въ пропасть, при помощи самой наглої интриги.

И онъ чувствуетъ, пропасть недалеко. Его встрѣчаютъ въ грустномъ настроеніи, почти въ отчаяніи. Онъ съ горькой ироніей говоритъ о поэзій, о своемъ семейномъ счастьѣ. Онъ гуляетъ одинъ, избѣгаетъ разговоры со встрѣчными и даже наивные почитатели его соображаютъ: «Пушкина гонитъ его злой духъ» ³⁶).

Этотъ злой духъ—безвыходная тоска и неотвязная духота во всемъ окружающемъ мірѣ. Похороны матери вызываютъ у поэта слова отчаянія о своей грядущей участи. Онъ говоритъ сестрѣ:

«Если бы ты знала, какъ мое существованіе мнѣ тягостно; надѣюсь, оно не будетъ продолжительно... скажу тебѣ лучше: я это чувствую!..»

На лицейской годовщинѣ 1836 года онъ не можетъ прочитать своего привѣтствія: слезы душатъ его и рыданія прерываютъ чтеніе.

Наконецъ, онъ убѣжденно говоритъ: «мнѣ здѣсь не житье», и послѣ его смерти нѣкоторые думаютъ, что Пушкинъ страстно хотѣлъ умереть, что исторія съ Дантесомъ только придирки, «только удобный случай попробовать отдѣлаться отъ жизни» ³⁷).

Можетъ быть, это преувеличено, хотя вся исторія съ Геккеренами обличаетъ страстное нетерпѣніе поэта во что бы то ни стало покончить вопросъ. На сколько онъ выясненъ въ настоящее время, Пушкину не было настоятельной необходимости наносить несмыслаемое оскорбленіе отцу Дантеса и дѣлать рѣшительный шагъ къ дуэли. Анонимные дипломы на званіе историографа ордена рогоносцевъ у самого Пушкина сначала встрѣтили было вполне достойное презрѣніе. Вполнѣ заслуживали такого же отношенія и пошлые разговоры отца Дантеса съ Пушкиной о примиреніи ея мужа съ Дантесомъ. Друзья поэта были убѣждены, что вопросъ разрѣшится благополучно, тѣмъ болѣе, что Дантесъ успѣлъ жениться на сестрѣ Натальи Николаевны. И вдругъ всѣ ожиданія разсѣваются въ прахъ. У поэта не хватаетъ спокойствія пренебречь подлыми кознями свѣтскихъ негодяевъ и въ ослѣпленіи гнѣва онъ послушно выполняетъ ихъ предначертанія. Послѣ исторій съ Репанинымъ и Соллогубомъ иного исхода трудно и ожидать. Поэтъ, несомнѣнно, страдалъ невыносимо, перемогалъ себя до послѣдней степени, рѣшаясь пренебречь подметными письмами, но кругомъ не дремали и наносили одинъ уколъ за другимъ. Единственное спасеніе было—бѣжать изъ этого отравленнаго воздуха и, говорятъ, это намѣ-

³⁵) *Русскій Архивъ*. 1864, № 10. 1865, № 5 и 6. *Изъ воспоминаній гр. Соллогуба*.

³⁶) *Встрѣча нѣмца съ Пушкинымъ. Къ біографіи*. II, 145.

³⁷) Слова А. М. Языкова въ письмѣ къ Комовскому. *Тб.*, 541.

ревалась сдѣлать жена поэта и убѣдить мужа: остановка вышла за деньгами, не на что было выѣхать изъ Петербурга...

Но снова повторяемъ, частности здѣсь имѣютъ совершенно второстепенное значеніе. Если бы Пушкинъ успѣлъ избѣжать драмы съ Дантесомъ, онъ отнюдь не могъ бы считать себя спасеннымъ. Съ нимъ велъ войну на жизнь и смерть не пошлый и ограниченный салонный шутъ и герой, а «весь Петербургъ»—въ самомъ благородномъ смыслѣ слова. Рано или поздно Пушкинъ—мужъ все той же красавицы-жены, которую, по его словамъ, «часто въ пиръ зовутъ»—вернулся бы въ лоно «просвѣщеннаго общества» и подъ «дружеское» покровительство гр. Бенкендорфа или другого шефа жандармовъ. Сущность исторіи врядъ ли измѣнилась бы: объ этомъ можно судить по судьбѣ Лермонтова, Гоголя и многихъ другихъ. «Свѣтъ» оставался во всеоружіи своихъ вѣковыхъ доблестей, Бенкендорфы и Уваровы уже въ силу этого обстоятельства долго не могли перевестись, а литература—ей предстояло снизойти на послѣднюю ступень безличія, немощи и безцѣльности и пребывать въ этой безднѣ цѣлые годы, пока, независимо отъ нея, не посвѣжѣло въ воздухѣ и не посвѣтлѣло кругомъ, да и то лишь на краткое время.

Нѣтъ, Пушкину «здѣсь не житье» было, и не только ему! Здѣшняя жизнь не сумѣла пріютить, умиротворить, открыть разумный и свободный путь и его гениальному наслѣднику. Онъ явился грознымъ мстителемъ за смерть поэта; во всѣхъ литературахъ нѣтъ примѣра такой уничтожающей, сверхчеловѣчески могучей надгробной рѣчи, какую произнесъ Лермонтовъ надъ Пушкинымъ и, повидимому, только затѣмъ, чтобъ сократить себѣ дорогу къ смерти.

И его «вольное сердце» и «пламенные страсти» должны были искать выхода въ бурныхъ взрывахъ гнѣва и презрѣнія, плодить враговъ, накоплять тайныя и явныя терніи и, наконецъ, погубить его въ расцвѣтѣ гордыхъ силъ—его, не испытавшаго ни прочнаго личнаго счастья, ни отрадной всевозмещающей славы.

Развѣ только тѣни великихъ поэтовъ могли полюбоваться на нескрываемое торжество темной силы и по ея радости судить о своемъ величій.

Прахъ Пушкина былъ взятъ подъ неусыпный полицейскій надзоръ, въ церковь перенесли ночью, улицы наполнили отрядами военной силы и шпионами, изъ Петербурга въ Псковскую губернію тѣло отправили также ночью, дали строжайшее предписаніе, чтобы на мѣстѣ «не было никакого особливаго проявленія, никакой встрѣчи, словомъ, никакой перемоніи»³⁸⁾... Очевидно, на встрѣчу лермонтовской мести шла другая, если не столь гениальная, то болѣе основательная и властная.

Минуло болѣе полулѣтка со дня этихъ событій. Имя Пушкина пере-

³⁸⁾ Письмо о кончинѣ Пушкина кн. П. А. Вяземскаго въ вел. кн. Михаилу Павловичу. *Русск. Арх.* 1879, I, 387.

жило множество всевозможныхъ испытаній, и совершенно естественно: они только доказывали неумиращую жизненность его дѣла и непремѣнно должны были завершиться однимъ концомъ: національнымъ памятникомъ. Это—законно выплаченный долгъ народа своему народному поэту, но не о такомъ памятникѣ помышлялъ Пушкинъ: онъ говорилъ о памятникѣ *нерукотворномъ и вѣчномъ*. Это не «мѣдная хвала», условно-художественный, произвольный символъ, какъ все матеріальное, воздвигнутое во славу мысли и гевія. Единственно достойный и вѣчный памятникъ великому человѣку—все равно, какъ храмъ божеству—заключается въ «духъ и истинѣ».

Воздвигнуть ли онъ поэту?

Онъ говорилъ о своей жизни: «Прошелъ я мрачный путь», а о своихъ идеалахъ:

Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!

Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

И мы знаемъ, мракъ пути неразрывно связанъ съ идеалами: если бы Пушкинъ поставилъ себѣ другія цѣли, его жизнь не превратилась бы въ драму. Это соединеніе трагизма и идеальныхъ стремленій исчезло ли изъ русской дѣйствительности?

Мы, разумѣется, ни на минуту не помышляемъ, чтобы когда-либо на землѣ настало неограниченное и самодержавное царство музы и разума. Въ такое будущее не вѣрилъ поэтъ, рассчитывавшій «мыслить и страдать», какъ на свое призваніе. Нашъ вопросъ неизмѣримо скромнѣе: мы хотѣли бы знать, исчезла ли та чернь, которая отравляла гевій поэта судомъ глупца, холоднымъ смѣхомъ, прирожденной ненавистью и завистью пресмыкающагося и раба? Понизила ли чернь свой голосъ не на улицѣ, а въ «храмѣ», т. е. въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ? Стала ли она рѣже произносить служительскія слова, не столь охотно отрекаться отъ человѣческой личности, не столь лицемерно жить въ душѣ «холопомъ» и притворяться «паномъ»? Нѣтъ ли и въ наше время, уже неоднократно «всенародно» славящее жертву общественнаго варварства и пошлости, литературнаго пресмыкательства и бездарности,—чего-нибудь похожаго на *Съверную Пчелу*, на объятія Булгарина съ Бенкендорфомъ, на муть «гноусной и грязной лужи» Петербурга времянь Пушкина?

Всѣ эти вопросы и очень много другихъ невольно приходятъ на память всякій разъ, когда русскій человѣкъ принимается волноваться и торжествовать далекую память своихъ великихъ людей, *увидѣвъ трунъ ихъ*, понимать, какъ много сдѣлали они. При жизни онъ только видѣлъ ихъ «ненависть» и понималъ лишь одно—что-то смутно его раздражающее, непозволительно-великое, укоризненное своимъ благородствомъ и силой. Надо смѣниться нѣсколькимъ поколѣніямъ, надо исчезнуть современникамъ и очевидцамъ, надо разсѣяться духу себялюбивой обиды и зависти, тогда только толпа

Среди рукопешканій

И кликовъ радостныхъ встрѣчаетъ хладный прахъ,—

затѣмъ, чтобы вновь повторить наслѣдственные чувства относительно другихъ и предоставить радостныя встрѣчи своимъ потомкамъ.

Мы припомнимъ гнѣвные слова Лермонтова о французахъ, вѣнчавшихъ Наполеона годы спустя послѣ его смерти. Онъ говорилъ имъ:

Ты жалкій и пустой народъ!—

потому что этотъ народъ вѣнчалъ «поздняго раскаянья порывъ», потому что признавалъ теперь великимъ того, кто былъ имъ покинутъ въ опасности и отданъ на жертву врагамъ...

Насъ занимаетъ вопросъ не о Наполеонѣ, не о его мнимомъ или дѣйствительномъ величій: идея поэта гораздо глубже. Онъ укоряетъ націю за ея *позднее раскаяніе*, за ея слѣпоту предъ величіемъ живущимъ и дѣйствующимъ, негодуетъ на толпу, довольную собою, тщеславную праздничными заботами, *забывъ свое прошлое*. Поэтъ, независимо отъ какихъ бы то ни было чувствъ къ самому Наполеону, постигъ сущность *жалкой* психологіи людей безъ истинной свободы и разума: запоздалыми празднествами они услаждаютъ себя и самодовольно смѣняются одинъ восторгъ на другой.

Какой цѣны хвалы и памятники, расточаемые такими «потомками»? Не напоминаютъ ли ихъ монументы тѣхъ религіозныхъ приношеній, какими ханжи и преступники успокаиваютъ свою совѣсть за прошлыя грѣхи и набираются смѣлости на будущее?..

Ив. Ивановъ.



НЕИЗБЪЖНОЕ.

Печальной, безбрежной равниной
Я шель утомленный
И вздрогнулъ внезапно, и поднялъ
Я взоръ изумленный:
Вдали, гдѣ сливались съ землею
Неясныя тучи,
Мнѣ чей-то почудился образъ.
Угрюмый, могучій,
Стоялъ онъ, скрестивъ неподвижно
Тяжелыя руки,
И солнце надъ нимъ не сіяло,
И замерли звуки.
Глядѣлъ онъ впередъ предъ собою
Невидящимъ взоромъ,
Молчалъ и молчанье казалось
Нѣмымъ приговоромъ.
Въ груди моей сердце забилося
Тоскливой тревогой,
И быстро шаги я направилъ
Иною дорогой.
Но тамъ, гдѣ лѣса поднимались
Туманной стѣною,
Все тотъ же таинственный образъ
Стоялъ предо мною.
Напрасно ищу я спасенья
И свѣтлой свободы, —
Подъ тягостной властью проходятъ
Унылыя годы.
Куда ни пойду я усталый
Дорогой земною,
Вездѣ онъ стоитъ беспощадный,
Стоитъ предо мною!

Allegro.

КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.

Общая тема въ современной беллетристикѣ.—Идейный разладъ.—Три романа на эту тему: «Куда идти» г. Боборыкина, «Аргонавты» г-жи Ожешковой, «Равнодушные» г. Станюковича.—Причины разлада.—Значеніе его, какъ показателя общественнаго настроенія.—Предстоящая Пушкинская годовщина.

Въ беллетристикѣ, какъ и въ жизни, которую она стремится воспроизвести, бываютъ приливы и отливы опредѣленныхъ темъ, типовъ и настроеній. По временамъ это лишь маленькія бѣглыя волны, которыя торопливо проносятся по поверхности жизни и чуть-чуть мутятъ общее впечатлѣніе ровной и безстрастной глади. Но иногда какая-нибудь глубокая волна нахлыветъ откуда-то и разомъ взмоетъ, возмутитъ и вспѣнитъ воды, вынося на поверхность массу муты, тины и песку, въ то же время и нѣчто новое, оригинальное, что раньше не замѣчалось или таилось гдѣ-то подъ спудомъ, пока волна жизни не вынесла его на поверхность. Отражаются эти волненія въ художественной литературѣ общностью темы, которая въ различной формѣ проявляется одновременно въ произведеніяхъ различныхъ авторовъ, имѣющихъ обыкновенно мало общаго между собою и вдругъ, словно по какому-то таинственному сигналу, начинающихъ мѣть въ униссонъ.

Взять, напримѣръ, такихъ до крайности противоположныхъ писателей, какъ г. Боборыкинъ и г-жа Ожешкова, разныхъ не только по темпераменту и манерѣ, но по всему мировоззрѣнію, чуждыхъ другъ другу въ каждой строчкѣ, въ каждомъ мазкѣ своей художественной кисти. Первый—исключительно художникъ внѣшней жизни, набрасывающій рядъ штриховъ, изъ которыхъ пытаются воссоздать обликъ фигуры, въ родѣ тѣхъ портретовъ по тѣни, что нѣкогда были въ модѣ. Внутренній міръ его героевъ закрытъ предъ нимъ, какъ ни старается авторъ тысячами бездѣлушекъ выписать ихъ психологію. Онъ тщательно, иногда до утомленія расписываетъ, какъ ходятъ, сядятъ, одѣваются его персонажи, какъ они говорятъ, какія излюбленныя словечки у каждаго, и тѣмъ не менѣе, они производятъ впечатлѣніе лицъ безъ рѣчей, хотя и говорятъ они всѣ поразительно много. Болтливость героевъ соперничаетъ съ развязностью автора, который готовъ подчасъ употребить цѣлый печатный листъ на описаніе костюмовъ героини, ея походки и прочихъ подробностей ея фигуры. И рядомъ—г-жа Ожешкова, вся будто ушедшая въ созерцаніе той многосложной невидимой работы, которая неустанно совершается внутри насъ подъ внѣшней оболочкой жизни. Взявъ какую-либо несложную сцену, эпизодъ изъ жизни тоже кажущагося такимъ простымъ существа, какого-нибудь уличнаго мальчишки, еврея изъ захолустнаго городка или крестьянской дѣвушки, она раскрываетъ предъ изумленнымъ читателемъ поразительно чудный по разнообразію и богатству красокъ духовный міръ, отъ котораго долго-долго нельзя оторваться, а впечатлѣніе остается навсегда.

Между тѣмъ, эти двѣ столь ярко противоположныя художественныя натуры сходятся на одной и той же темѣ, оба останавливаются въ недоумѣніи предъ

новымъ приливомъ и, воспроизводя картину его каждый по своему, сходятся въ одномъ—въ нѣкоторомъ пугливомъ отчужденіи, какъ передъ чѣмъ-то, равно неприятнымъ и непонятнымъ.

Разладъ—вотъ то слово, которымъ можно охарактеризовать общность темы у обоихъ писателей,—разладъ со всѣмъ прежнимъ, со всѣмъ, что казалось еще недавно такимъ прочнымъ и навсегда установившимся. «Буда идти»—вотъ вопросъ, которымъ очень удачно озаглавилъ свой интересный романъ г. Боборыкинъ, выразивъ въ этихъ двухъ словахъ безпокойное настроеніе новаго времени, порывающаго съ прошлымъ, гдѣ оно не находитъ больше устоя для жизни. «Аргонавты»—таково заглавіе другого романа, въ которомъ г-жа Ожешкова выводитъ новыхъ и старыхъ искателей источника жизни и мѣтко характеризуетъ однимъ этимъ словечкомъ отсутствіе пристани, гдѣ они нашли бы покой. Польская писательница и русскій авторъ вводятъ насъ въ высшій кругъ общества, богатый, не знающій унижительной борьбы за существованіе, кругъ, которому доступна вся утонченность умственной жизни высшей культуры, и въ то же время такой бѣдный внутреннимъ, своимъ содержаніемъ.

Въ лицѣ богача Дарвида, главнаго «Аргонавта», превосходно очерченъ одинъ изъ сильныхъ міра сего, съумѣвшій личными усиліями и инициативой, не знающей ограниченія, занять положеніе на вершинѣ соціальной лѣстницы. «Трудъ», «борьба», «побѣда»—его девизы. Онъ стоитъ на нихъ, какъ на незыблемыхъ устояхъ, громить все жалкое, что не можетъ выдержать этого неустаннаго труда и падаетъ подъ тяжестью непосильнаго его бремени. Онъ проходитъ мимо раздавленныхъ, ни на минуту не останавливаясь, гордый своимъ умѣньемъ хотѣть и добиваться желаемаго. Онъ могучъ, предъ нимъ склоняются таланты, знанія, науки, благотворительность и доброта, которая прибѣгаютъ за помощью къ его энергій и его кошельку. И тѣмъ не менѣе, этотъ колосъ—пустъ внутри, какъ могучій по виду дубъ съ истлѣвшей, выѣденной червями сердцевиной. Одинъ вопросъ—«зачѣмъ все это? какая же цѣль твоихъ трудовъ?»—сбиваетъ его съ позиціи и уничтожаетъ весь внутренній смыслъ этой лишь по внѣшности богатой и сильной жизни.

Дарвидъ своего рода символъ капитала, не знающаго предѣла въ накопленіи, смѣлаго до дерзости въ поискахъ новыхъ полей битвы и энергичнаго въ достиженіи своихъ цѣлей. Въ романѣ уважаемой писательницы это удачнѣйшая фигура, написанная широкими и смѣлыми штрихами, яркая и колоритная.

«Алонзій Дарвидъ приобрѣлъ свои милліоны не по наслѣдству, а путемъ собственнаго, упорнаго труда. Трудолюбіе его, энергія и предприимчивость были неисчерпаемы. Онъ вѣчно былъ погруженъ въ свои дѣла, которыя для него составляли такую же необходимую стихію, какъ для рыбы вода, и, правду сказать, только одинъ этотъ міръ дѣловыхъ хлопотъ давалъ ему ощущеніе свободы и блаженства. Какія же это были дѣла? Это были все дѣла крупныя, сложныя: сооруженіе сухопутныхъ и водныхъ путей, постройки, приобретеніе и сбытъ всякаго рода цѣнностей, денежные обороты на биржахъ и рынкахъ. Для достиженія успѣха во всемъ этомъ надо было обладать самыми разнообразными свойствами: львиной смѣлостью, осторожностью лисицы, пужны были ястребиные когти, упрugость кошачьихъ лапокъ. Это была жизнь, проводимая какъ-бы за карточнымъ столомъ, раскинувшимся на пространствѣ цѣлаго гигантскаго государства; это былъ долготлѣнный рядъ горячихъ ставокъ противъ банкмета, роль котораго чаще всего выполняла слѣпая судьба. Разсчетъ и умѣнье хотя и имѣли при этомъ большое значеніе, но не могли вполнѣ устранить того, что называется случайностью. Поэтому приходилось не поддаваться силѣ этой случайности, не подчиняться ей ударамъ, а, уклоняясь отъ нихъ пригибаться къ землѣ для того лишь, чтобы, совершивъ ловкій скачокъ, отразить неудачу и схватить новую добычу».

Въ такой борьбѣ, вѣчно лихорадочной погонѣ за новыми предметами есть свое упоеніе, не дающее человѣку остановиться, чтобы вдуматься во внутренній смыслъ этой жизни словно въ курьерскомъ поѣздѣ, уносящемъ все дальше и дальше. Но должна же наступить остановка, минута раздумья, моментъ усталости, когда предъ человѣкомъ возникаетъ на время только заглохшій вопль—какая цѣль этой борьбы?

Для Дарвида онъ наступаетъ внезапно, какъ и всегда бываетъ въ жизни, и вопросъ о цѣли ставить ближайшая къ нему среда—его семья, на которую онъ какъ-то мало обращалъ вниманія до сихъ поръ. И здѣсь его встрѣчаютъ рядъ неожиданностей, вызывающихъ въ немъ гнѣвъ и недоумѣніе. Жена давно стала ему чуждой, сынъ, какъ ему казалось, молодой повѣса, котораго онъ самъ поощрялъ вначалѣ, оказывается непонятнымъ для него существомъ, идущимъ въ совершенно противоположную сторону. Этотъ сынъ, Маріанъ, и его другъ, баронъ Эмиль—тоже «аргонавты», но ихъ поиски направлены въ иной, странный, до болѣзненности извращенный фантастическій міръ, въ которомъ эти герои, выросшіе на почвѣ высшей плутократіи и впитавшіе въ себя всю утонченность культуры послѣднихъ дней, ищутъ новыхъ, еще никѣмъ неизвѣданныхъ наслажденій, изысканныхъ ощущеній новой красоты и новыхъ стремленій, вполне индивидуальныхъ, никому, кромѣ нихъ, недоступныхъ.

Въ лицѣ Маріана и Эмиля предъ нами два представителя того направленія, которое не мирится ни съ чѣмъ, что носитъ на себѣ печать «провлятой обыденности». Оба героя цѣликомъ ушли въ декадентство, эстетизмъ, въ чувственно-восторженное поклоненіе невиданной и неосуществимой красотѣ, которая имъ мерещится то въ среднихъ вѣкахъ, то въ мистицизмѣ, то въ чудовищной противоестественности, въ чемъ бы она ни проявлялась.

«Это не было пресмыченіе, напротивъ,—жажда новыхъ впечатлѣній съ какою-то свирѣпостью цѣлыми волнами разбивалась о предѣлы возможнаго. Воображеніе между тѣмъ разгоралось, а подвижной умъ и ранній, обильный житейскій опытъ превращали это воображеніе въ открытую рану. Наконецъ, все это въ его собственныхъ глазахъ вознесло его самого на какую-то воображаемую высоту, на которой онъ чувствовалъ свою обособленность отъ всего міра. И толпа! Все, что не принадлежало къ небольшому кружку подобныхъ ему, все это была одна пошлость. Такая заносчивость не имѣла ничего общаго съ гордостью происхожденія или богатства. Нѣтъ, это было какое-то умственно-нервное самоиѣніе. Иныя требованія ума, иныя требованія нервовъ, результатъ высочайшаго расцвѣта человѣческой цивилизации, пока еще болѣзненной, но какъ будто возвышенной. Можетъ быть, совершается полный упадокъ челоѣчества, но—увѣчанаго... Уваженіе къ индивидуализаціи, обереганіе своего «я» отъ всякихъ внѣшнихъ ограниченій. Все, конечно, сообразно времени и мѣсту, можетъ считаться вздоромъ, но индивидуальность отдѣльнаго лица, т. е. форма, въ какую вылились въ немъ желанія, вкусъ, образъ мыслей—это было для него святыней, единственной святыней. Этого нельзя отдавать въ рабство никому и ничему, даже не слѣдуетъ подчинять критикѣ и поправкамъ. Какоеъ я есть, такимъ и останусь. Я желаю и я долженъ умѣть желать. Словомъ, это было нѣчто въ родѣ проповѣди Нитцше о сверхчеловѣкѣ».

Другъ Маріана и отчасти его наставникъ, баронъ Эмиль доводитъ эти туманныя стремленія до чудовищности, до послѣднихъ крайностей, въ погонѣ за новыми эстетическими ощущеніями. Вся жизнь обихъ юношей уходитъ на изысканныя наслажденія во вкусѣ западнаго декадентства, «медіовіализма» и эстетизма, въ которыхъ они усматриваютъ что высокое нѣчто, что отдѣляетъ ихъ отъ толпы, поднимаетъ надъ жизнью и придаетъ внутренній смыслъ ихъ существованію. Въ каждой мелочи жизни, начиная съ ботинокъ и до экстравагантныхъ галстуковъ, баронъ старается провести эту черту, якобы отдѣляю-

шую его отъ пошлой толпы. Его квартира—это музей рѣдкостей, обставленный въ средневѣковомъ стилѣ. Здѣсь все подобрано такъ, чтобы каждая вещь выражала настроеніе, внушала нѣчто таинственное, мистическое и неземное. Самъ хозяинъ подгоняетъ и себя, и всю свою жизнь къ этой обстановкѣ. Такъ, напр., «въ полуденный часъ баронъ Эмиль имѣлъ обыкновеніе садиться между ширмами изъ разноцвѣтныхъ стеколъ и тою частью стѣны, на которой рыцарь раскланивался съ Изольдой, и игралъ на органѣ одну изъ серьезнѣйшихъ фугъ Себастьяна Баха. Небольшая хилая фигура барона, въ утренней одеждѣ изъ желтоватой фланели, въ полосатыхъ чулкахъ и башмакахъ изъ желтой кожи, съ сильно заостренными носками, прислонялась къ спинкѣ большого кресла, изображавшей трилистникъ въ стилѣ XIV вѣка, и худощавые пальцы, протянутой во всю длину руки, перебирали клавиши. Нѣжныя черты поношеннаго лица выражали при этомъ многозначительную важность; маленькіе сѣрые глаза мечтательно устремлялись въ пространство, а между тѣмъ сквозь стекла широко просвѣчивалъ солнечный свѣтъ, бросая красные, синіе и зеленые лучи на увядшее чело этого виртуоза и на его коротко-стриженные рыжіе волосы».

Уважаемая писательница превосходно обрисовываетъ обоихъ героевъ, не впадая въ карикатуру или шаржъ. Если, тѣмъ не менѣе, получается высококомическое впечатлѣніе, то это зависитъ отъ внутренняго комизма этихъ «потугъ безильнаго тиеславія и глупой маніи подражанія западнымъ образцамъ. И у себя на родинѣ такіе сверхчеловѣчки смѣшны своими ходульными кривляньями во вкусѣ грубо непонятаго ими учителя Нитцше. Тамъ они являются плодомъ утонченнаго разврата высшей плутократіи, не видящей ни цѣли, ни смысла своего существованія, дошедшей то того прелѣла развитія, который граничитъ съ самоотрицаемъ, выражаясь на языкѣ «диалектческаго» пониманія исторіи. Пересаженные на почву нашего доморощеннаго капитализма, они представляются такимъ же комичнымъ продуктомъ, какъ во время оно псевдоклассические герои и сентиментальные крѣпостники, проливавшіе слезы надъ бѣдной Лизой и державшіе десятки Лизъ у себя въ дѣвичьей. Трудно представить себѣ что-либо болѣе чуждое нашей жизни, какъ эти попытки рабскаго подраженія, напр., «средневѣковщина», которой у насъ-то именно никогда и не было, или «эстетизму» во вкусѣ извѣстнаго Оскара Уайльда, или «прерафаэлитизму», совершенно чуждымъ всей нашей культурѣ, не говоря уже объ отсутствіи той общественной атмосферы, безъ которой немислимо вообще развитіе этихъ утонченныхъ экстравагантностей.

Послѣдними юные эстеты щеголяютъ на каждомъ шагу, стараясь проявить свою возвышенность въ обстановкѣ своихъ комнатъ, въ манерѣ говорить, состоянными упоминаньями объ Овербекѣ, школѣ прерафаэлитовъ, назаритянъ, Нитцше и проч., что впрочемъ, не мѣшаетъ имъ кутить, развратничать, какъ самымъ обыкновеннымъ представителямъ «золотой молодежи». На этой почвѣ и происходитъ столкновеніе между двумя такими противоположными натурами, какъ отецъ и сынъ Дарвиды. Отца возмущаетъ эта безпорядочная жизнь молодого человѣка, не знающаго предѣла своей фантазіи, за счетъ кассы отца, конечно. Происходитъ знаменательное и рѣшительное для обоихъ объясненіе, въ которомъ отецъ и сынъ терпятъ обоюдное пораженіе, потому что разладъ существующій въ обоихъ и подтачивающій ихъ, прорывается наружу. Отецъ, какъ принято, пытается прикрыться своей, повидимому, незыблемой формулой «трудъ, неутомимый, желѣзный трудъ, какъ единственный смыслъ жизни». Сынъ въ отвѣтъ излагаетъ ему свой символъ вѣры и доказываетъ, что въ трудѣ, какъ только трудѣ, нѣтъ никакого смысла. Разсужденія молодого Дарвида представляютъ квинтъ-эссенцію модныхъ теорій утонченнаго ничегонеделанія. Отецъ его укоряетъ, что тотъ ничѣмъ не занимается, даже университета не кончилъ. Сынъ отвѣчаетъ: «Напротивъ, у меня вовсе нѣтъ отвраще-

нія къ наукѣ. Я читаю много, и любознательность составляет мою отличительную черту. Вѣдь, я уже съ дѣтства поглощалъ громадное количество книгъ, но школьныхъ лекцій я никогда не училъ. Всѣ этому удивлялись, а между тѣмъ это очень просто. Ограниченныя индивидуальности легко приспособляются къ указкѣ, а самобытныя и энергичныя не переносятъ ея. Правила, обязанности — это хлѣвъ, въ который люди запираютъ свою животную сторону, чтобы она не вредила культурнымъ людямъ. Волы и бараны терпѣливо стоятъ въ оградѣ, а высшія организациі разрушаютъ ее, ища свободы. Мнѣ необходима во всемъ безусловная свобода, а потому я пересталъ ходить въ это распивочное заведеніе, гдѣ науку подаютъ въ опредѣленное время, извѣтнаго сорта и извѣстными дозами. Профессора наводили скуку, товарищи были крикуны... Люди проходятъ университетскій курсъ ради одной изъ двухъ цѣлей: или намѣреваясь посвятить себя тому, что называется сасеніемъ свѣта, или для обезпеченія себѣ средствъ къ жизни. Ни одна изъ этихъ цѣлей не могла увлечь меня. Относительно первой, она мнѣ не подходитъ, потому что я признаю индивидуализмъ и довожу его до идеи анархизма. Такъ называемое спасеніе міра въ нашъ вѣкъ упадка—неправдоподобная басня. Голая истина заключается въ томъ, что всякій живетъ для себя и по своему»...

Эти обнаженные до цинизма рѣчи поражаютъ отца, который теряется въ виду такой непринужденной и спокойной безнравственности. Онъ зываетъ къ «принципамъ», забывая, что у него самого нѣтъ въ сущности никакихъ принциповъ, кромѣ ничего не говорящей формулы «трудъ ради труда». Сынъ ловитъ его на этомъ и безподнобно высмѣиваетъ его требованія.

«О принципахъ я разсуждаю такъ: нравственные принципы зависятъ отъ мѣста, времени, географическаго градуса широты и отъ эволюціи, которой подлежитъ цивилизація. Если бы небо создало меня древнимъ грекомъ, моимъ принципомъ было бы воевать съ азіатами за свободу и влюбляться въ красивыхъ мальчиковъ; въ средніе вѣка я воевалъ бы въ честь своей дамы сердца и жарилъ бы людей на кострахъ. На Востоку я открыто обладалъ бы количествомъ женъ, соотвѣтственно моимъ желаніямъ; на Западѣ нравственный принципъ повелѣваетъ мнѣ показывать видъ, будто я обладаю только одной. Въ Европѣ я обязанъ почитать отца и мать, а на Фиджійскихъ островахъ я считался бы преступнымъ, если бы въ извѣстное время не предалъ ихъ смерти. Не галматія ли все это? Да, принципы—это такое блюдо, которымъ наше время не желаетъ довольствоваться»...

Никакихъ принциповъ, все дозволено, потому что все относительно, и въ концѣ концовъ «мое я—единственное мѣрило всѣхъ вещей»,—провозглашаетъ юный философъ, и старикъ Дарвидъ, къ великому стыду, стоитъ передъ нимъ безъ оружія. Вѣдь и онъ руководствовался въ жизни такимъ же правиломъ, добиваясь богатства и положенія. Могучій аргонавтъ, счастливо объѣхавшій весь міръ въ погонѣ за золотымъ руномъ, терпѣть жестокое пораженіе у семейнаго очага. Всѣ его богатства, связи и общественная сила не могутъ дать ему главнаго—искорки добраго чувства, которая согрѣла бы холодную душу сына-декадента и сблизила бы его съ отцомъ, чужимъ и равнодушнымъ для него человекомъ.

Разладъ идетъ еще глубже. Сынъ уходитъ, отказавшись подчиниться его требованіямъ и взяться за нелѣпый на его взглядъ трудъ добыванія денегъ, которыхъ у отца и безъ того слишкомъ много. Жену, потерявшую для него всякое обаяніе, онъ самъ отталкиваетъ грубымъ и безсердечнымъ къ ней отношеніемъ. Единственная его привязанность—младшая дочь, еще дѣвочка, которая любитъ его просто какъ человѣка, ради его самого, умираетъ, и вокругъ образуется ледяная пустота. Вотъ и весь результатъ его трудовой жизни!

Превосходны послѣднія сцены романа, когда Дарвидъ, подавляемый этой пу-

стотой и сознаниємъ безцѣльности жизни, бродить по роскошнымъ, залитымъ свѣтомъ комнатамъ своего дворца и не можетъ отдѣлаться отъ жгучей мысли, что вся его жизнь прошла въ погонѣ за миражемъ, что въ основѣ ея лежитъ какая-то ошибка, какой-то разладъ между внутреннимъ его міромъ и внѣшнимъ. «Дарвидъ былъ слишкомъ уменъ для того, чтобы передъ нимъ и раньше не представала суровая иронія житейскихъ дѣлъ. Онъ давно уже подмѣчалъ эту иронію, но за разными туманными прикрытіями—трудъ, успѣхъ, недостатокъ времени! Теперь все это покрывало внезапно слетѣло. Онъ увидѣлъ истину во всей ея наготѣ. Чѣмъ защититься теперь, чѣмъ заниматься,—онъ не зналъ. Ему одно только было ясно и несомнѣнно, что въ основаніи всей его дѣятельности лежитъ ошибка. На жизненномъ пути своемъ онъ чего то не примѣтилъ, не распозналъ чего-то въ самомъ себѣ, и что-то упустилъ изъ рукъ своихъ, стоишь ушѣлыхъ въ дѣлѣ всяческаго захвата. Всегда усердно наблюдавшій за точностью въ создаваемыхъ имъ планахъ, онъ не соблюлъ равновѣсія въ своемъ духовномъ развитіи. Одна сторона его рѣзко выдавалась впередъ, а другая угнеталась. Въ зданіи, сооруженномъ такимъ образомъ, непременно должна была появиться какая-то кривизна, которая не даетъ возможности жить въ немъ. Надо изъ него переселиться»... И онъ переселяется также рѣшительно, какъ смѣло строилъ его, и пускаетъ себѣ пулю въ лобъ.

Въ чемъ же заключалась ошибка въ расчетахъ удачливаго «Аргонавта», приведшая его къ гибели на вершинѣ его успѣховъ? Эта ошибка лежитъ не въ его расчетахъ и не въ немъ самомъ. Положимъ, онъ могъ бы сохранить семью, покинувшую его, если бы самъ былъ внимательнѣе къ ней и больше отводилъ ей мѣста въ своихъ планахъ. Можетъ быть, другой на его мѣстѣ сдумалъ бы остаться и любящимъ мужемъ, и заботливымъ отцомъ, и сильнымъ борцомъ за золотое руно,—но развѣ отъ этого внутренняя пустота его жизни, приведшая къ разладу съ міромъ, стала бы менѣе ощутительной? Ошибка въ томъ, что дѣйствительно нѣтъ смысла въ трудѣ ради труда, если этотъ трудъ не согрѣтъ ежеминутно сознаниємъ высокой цѣли, которой онъ служитъ. Нагроможденіе богатствъ не можетъ быть таковой цѣлью, какъ и все, что мертво само по себѣ. Процессъ борьбы ради борьбы увлекателенъ лишь на время, но наступаетъ минута отдыха, и на время задремавшее сознание требуетъ отчета—зачѣмъ борьба? Во имя чего она ведется? Какая цѣль ея?

Расширяя исторію Дарвида, можно сказать, что это судьба капитализма, который на извѣстной ступени развитія долженъ самъ вскрыть внутреннее противорѣчіе, таящееся въ немъ и обязательно ведущее къ конечному разладу, какъ онъ обрисованъ въ жизни «Аргонавта». Философія упадка, развиваемая молодымъ Дарвидомъ, прямое порожденіе внутренней пустоты капиталистическаго строя и создаваемыхъ имъ противорѣчій, изъ которыхъ, во что бы то ни стало, стремится выбиться мысль, никогда не мирящаяся на голомъ фактѣ и требующая объясненій и тѣмъ настойчивѣе, чѣмъ рѣзче эти противорѣчія. Крайности этой философіи, отрицаніе всякихъ принциповъ въ виду ихъ относительности, стремленіе уйти подальше отъ всего реального, какъ отъ пошлой дѣйствительности, вполне умѣстны въ устахъ молодого Дарвида, которому ни отецъ, ни окружающая его среда и не могли внушить ни малѣйшаго почтенія и преданности. Отецъ для него просто «великій мастеръ своего дѣла», которое по существу ничего не имѣетъ въ себѣ достойнаго уваженія. Среда—это рабѣнное преклоненіе предъ успѣхомъ, какими бы средствами онъ ни былъ достигнутъ. «Деньги не пахнутъ», это игривое словечко Веспасіана, сказанное почти 2.000 лѣтъ тому назадъ, по-падаетъ не въ бровь, а прямо въ глазъ современному капитализму, еще болѣе небрежливому по части средствъ борьбы и добыванія денегъ.

Руководимые такой философіей, молодые «Аргонавты» пускаются въ плаваніе на свой страхъ и счетъ въ поискахъ новаго невѣдомаго міра невѣданныхъ

ощущеній, выбросивъ за бортъ, какъ лишній балластъ, даже самое слово «принципъ» и выставляя своимъ девизомъ оголенное «я», въ чемъ бы оно ни проявляло себя. Старый «Аргонавтъ» разбиваетъ себѣ голову, подавленный ничтожностью достигнутыхъ результатовъ. Куда пристануть молодые отпрыски, неизвѣстно, ибо для нихъ именно роковое значеніе получаетъ вопросъ: «куда идти?»

Такъ озаглавилъ г. Боборыкинъ свой новый романъ, какъ всегда интересно задуманный, полный живыхъ вопросовъ и мѣткихъ наблюденій. Тема его—тотъ же разладъ, и внутренній, и внѣшній, разладъ въ семьѣ, разладъ въ мысли, въ стремленіяхъ и, главное, въ вѣрѣ въ себя и людей. На сценѣ также два поколѣнія—старое представляють князь Елатомскій, его жена, профессоръ Мѣдниковъ и старый учитель профессора, живущій на покоѣ въ Римѣ ученый. Молодое поколѣніе—дѣти Елатомскаго, два брата Романъ и Борисъ, ихъ сестра и ея подруга, дѣвица Полуянова, и нѣсколько личностей, не играющихъ видной роли въ романѣ, скорѣе, служащихъ дополненіемъ общей картины разлада, какъ анархистъ Хазинъ, вѣстель и мистикъ литераторъ Пѣтскій и его не то невѣста, не то просто подруга, съ которой у него «была игра».

На внѣшнемъ разладѣ въ семьѣ не стоитъ останавливаться. Это обычная въ великосвѣтской средѣ исторія, когда пожившая женушка и молодая дѣти пытаются обработать мѣшающаго имъ отца, не брезгуя никакими средствами, лишь бы сохранить нѣкоторыя «видимости». Молодые Елатомскіе, за исключеніемъ младшаго брата Бориса,—обычные типы этой среды, ходячіе сколки съ самаго моднаго въ данное время трафарета. Они игриво скользятъ по поверхности жизни, занимая время атлетическимъ спортомъ, флѣртомъ и тому подобными дѣлами. Въ нихъ нѣтъ ничего новаго и оригинальнаго, это вѣчный типъ жующей золотой молодежи, во все времена, «отъ Ромула до нашихъ дней», вездѣ одинаковый; это жалкая накипь жизни, носимая прихотливими теченіями на поверхности, пустая и никчемная, равно ненужная и презрительная.

Главное мѣсто въ романѣ занимають отецъ Елатомскій и младшій его сынъ Борисъ, въ которыхъ авторъ представилъ глубокой внутренней разладъ, раздѣляющій душу современнаго человѣка. Еще не старыи годами, отецъ Елатомскій полная душевная развалина. Проживъ бездѣтельно, благодаря богатству, унаслѣдованному отъ родовитыхъ предковъ, Елатомскій вложилъ себя сначала въ одно лишь страстное чувство къ женщинѣ, въ данномъ случаѣ къ женѣ, а когда это пламя, не встрѣтивъ съ другой стороны поддержки, выгорѣло и угасло, его пугаетъ ужасающая пустота, оставшаяся въ душѣ, откуда ушло единственное наполнявшее ее чувство. Предъ его испуганнымъ взоромъ неотступно встаетъ мысль о смерти, о томъ невѣдомомъ нѣчто, что ожидаетъ всякаго по ту сторону. Онъ страстно ищетъ, за что бы уцѣпиться, на чемъ бы укрѣпить шатающуюся душу. Его семья враждебна и противна ему своими грубыми матеріальными аппетитами. Она лишь служитъ ему объектомъ для ѣдкихъ и горькихъ насмѣшекъ надъ всѣми и надъ собой, между прочимъ. Это настроеніе горечи, развинченности нервовъ и страха смерти заставляетъ его внимательнѣе отнестись къ младшему сыну Борису, еще совсѣмъ юному, только что кончившему гимназію. Нервный и не по лѣтамъ серьезно вдумчивый мальчикъ, онъ рѣзко выдѣляется среди окружающихъ своей чистотой и трепетной чуткостью ко всему, что отдаетъ пошлостью, ложью, притворствомъ. Онъ страдаетъ отъ ненормальности семейной обстановки, отъ общаго заговора семьи противъ отца, въ которомъ чувствуется родственную душу, такую же страдающую и неудовлетворенную, какъ и онъ самъ. Но у него есть устой, котораго лишень отецъ,—устой прочный и, какъ ему кажется, незбылемый. Это—его вѣра. Онъ глубоко религіозенъ, мистически настроенъ, во всемъ видитъ ука-

занія свйше и страдаеть отъ невѣрія отца, пожалуй, больше, чѣмъ отъ разврата окружающихъ.

Окончательно сближаетъ ихъ обоихъ третій герой романа, профессоръ-психіатръ Мѣдниковъ, къ которому прибѣгаетъ жена князя, пользуясь прежнимъ его увлеченіемъ ею, въ надеждѣ, что Мѣдниковъ поможетъ ей своимъ авторитетомъ упрятать «князиньку» въ сумасшедшій домъ. Ея расчеты, однако, оказываются грубо ошибочными, и профессоръ сразу становится на сторону князя, подкупленный его искренностью и несомнѣннымъ благородствомъ. Онъ живо заинтересовывается своимъ пациентомъ и въ особенности Борисомъ, нѣжная и чуткая душа котораго привлекаеть его оригинальностью своихъ порывовъ. Они составляютъ какъ бы тройственный союзъ и побѣдоносно отражаютъ попытки семьи князя завладѣть его особой и его состояніемъ.

Личныя симпатіи, сдѣлизшія ихъ на почвѣ борьбы съ общимъ врагомъ, укрѣпляются еще болѣе, когда спустя три, четыре года наши герои встрѣчаются въ Римѣ, куда ихъ приводятъ разныя причины, въ сущности имѣющія общую подкладку—исканіе новаго пути жизни. Мѣдниковъ, у котораго случился неудачный личный романъ, разбившій ему душу, ищетъ отдыха и забвенія среди историческихъ воспоминаній и красотъ вѣчнаго города. Римъ представляется ему единственнымъ мѣстомъ, гдѣ личная жизнь, со всѣми ея болями, страстями, стремленіями и желаніями, затихаетъ, подавленная величіемъ исторіи, выступающей на каждомъ шагѣ, и несравненной красотой безсмертнаго творчества. Тянетъ его сюда и воспоминаніе о старомъ профессорѣ учителѣ, который руководилъ его первыми научными шагами, а теперь, вдали отъ міра, тихо доживаетъ, какъ истый философъ, среди историческихъ развалинъ и цвѣтущей на нихъ красоты неблекнущихъ твореній человѣческаго генія. Горечь личной неудовлетворенности Мѣдникова смягчается при видѣ этой ясной безоблачной старости, сохранившей въ себѣ, какъ эти развалины, достаточно силъ, чтобы чувствовать и симпатизировать всему прекрасному, живому и доброму. У него Мѣдниковъ хочетъ научиться тому, чего не дала ему ни личная жизнь, ни кафедра: любить жизнь и людей ради нихъ самихъ, безъ непосредственнаго отношенія къ себѣ самому.

Здѣсь же онъ сталкивается съ старымъ княземъ и Борисомъ, которые живутъ въ Римѣ, преслѣдуя особую миссію, предпринятую Борисомъ, оформившимъ свой неопредѣленный мистицизмъ юности. Теперь это уже ясная идея, которая кажется ему достаточно сильной, чтобы перевернуть міръ и установить его на новыхъ началахъ. Эта идея—вселенская церковь, въобъединяющая себѣ всѣ христіанскія религіи, главнымъ образомъ православіе и католицизмъ, подъ главенствомъ папы, какъ видимаго намѣстника Христа на землѣ. Какъ старый профессоръ умиляетъ Мѣдникова своимъ всепрощающимъ незлобіемъ и яснымъ пониманіемъ жизни, такъ дряхлый старецъ Ватикана, мечтающій о сближеніи всего человѣчества, умиротвореннаго, укрощеннаго и любящаго, у подножія креста Общаго Учителя, восхищаетъ и вдохновляетъ Бориса. Здѣсь, именно здѣсь, на почвѣ тысячелѣтней культуры, удобренной кровью великихъ героевъ и мучениковъ, среди красоты, расцвѣтшей на развалинахъ стараго міра, ему представляется тотъ «домъ мой», гдѣ усталое челоѣчество должно найти миръ, покой душевный и удовлетвореніе. Но тутъ встрѣчаетъ Бориса жизнь, какъ и вездѣ, полная противорѣчій.

Сначала личное чувство къ сестрѣ русскаго художника, полумистика, полупрерафаелита, стремящагося въ одной картинѣ совмѣстить всю боль и страданіе конца ХІХ вѣка съ наивной, дѣтски-чистой вѣрой учениковъ школы до-рафаелевскаго времени. Толпа рабочихъ, застигнутыхъ обваломъ въ шахтѣ, замерла въ предсмертной мукѣ и изъ глубины, откуда идетъ смерть, къ нимъ приближается Христось. Борисъ увлекается идеей картины, отвѣчающей, хотя

отдаленно, его настроенію и его мисси. Но больше картины влечетъ его въ студию художника сестра послѣдняго, тоже изъ новыхъ типовъ, дѣвушка, увлекающаяся всѣми мистически-эстетическими тенденціями современности. Идеей Бориса она не увлечена, но признаетъ въ ней оригинальность, хотя ей, коренной русачкѣ, слишкомъ чужда и даже противна его мысль о папѣ, какъ главѣ будущей объединенной церкви.

Ея недовѣріе къ возможности осуществленія подобной комбинаціи наноситъ первый ударъ восторженности Бориса. Встрѣча со старымъ товарищемъ по гимназій, помѣщикомъ прежде, а теперь анархистомъ, Хазинымъ, и его нескрываемое презрѣніе къ «сутанѣ» и ея «подвохамъ» еще болѣе разстраиваютъ Бориса. Хазинъ вноситъ новый элементъ въ міросозерцаніе Бориса. До сихъ поръ весь отдавшійся мистической идеѣ объединенія, онъ не замѣчалъ той борьбы, которая ведется въ жизни и даетъ себя чувствовать на каждомъ шагѣ на Западѣ,—борьбы, въ которую втянулась и сама церковь, и самъ папа своей энцикликой «*De rebus novis*». Для Бориса эта энциклика была лишь дополненіемъ къ идеѣ о вселенской церкви, которая необходимымъ образомъ должна взять подъ свою защиту «труждающихся и обремененныхъ». Но самая мысль, тѣмъ болѣе ясное представленіе объ этихъ послѣднихъ было чуждо Борису, и Хазинъ беретъ просвѣтить его на этотъ счетъ. Хазинъ такой же маниакъ, какъ и Борисъ, только его конекъ—не объединеніе и примиреніе всѣхъ, а напротивъ—вражда всѣхъ противъ всѣхъ, разрушеніе всего, уничтоженіе стараго міра въ конецъ, съ тѣмъ, что въ будущемъ изъ этихъ обломковъ создается новый міръ, въ которомъ вопарится общая гармонія. Словомъ, это анархизмъ, на русскій ладъ, конечно, т. е. хватающій дальше всѣхъ западныхъ послѣдователей этого ученія. Для Бориса, впрочемъ, онъ оказывается чистой находкой, такъ какъ Хазинъ грубо и безцеремонно разбѣиваетъ римскій миражъ и открываетъ глаза Борису на подвиги «черной арміи» ватиканскаго старца. Въ результатъ этого просвѣщенія, правда, еще неполнаго, но уже тягостнаго, Борисъ уже не можетъ не чувствовать, какъ далека онъ жизни, которой себѣ не знаетъ. А Хазинъ, какъ новый Мефистофель, ѣдко высмѣиваетъ затѣи и проделки паперовъ, которые гремятъ «Сарданапаловъ капитализма» и думаютъ такимъ облегченнымъ способомъ уловить рабочій классъ. Вначалѣ Бориса поражаетъ и увлекаетъ эта смѣлость обличеній. Присутствуя на одной конференціи, посвященной вопросу о необходимости для рабочихъ отдыха, онъ съ увлеченіемъ слушаетъ, какъ «паперъ увѣщевалъ толпу, и безъ того убѣжденную въ необходимости праздновать воскресеніе, взывалъ къ милости всѣмъ рабамъ современнаго общественнаго строя, гдѣ капиталъ, какъ Минотавръ, все пожираетъ въ своей пасти. Онъ даже охрипъ на послѣднихъ фразахъ, когда тономъ мольбы, плачущимъ голосомъ, угрожая аломъ и скрежетомъ зубовъ въ гееннѣ «Сарданапаловъ капитализма», онъ возвышалъ торжество другого общественнаго строя, гибель пресмыченныхъ пауковъ, пьющихъ кровь всѣхъ отверженниковъ цивилизаціи. «Развѣ все это смѣлъ бы онъ говорить,—спрашивалъ мысленно Борисъ,—если бы тотъ старецъ въ Ватиканѣ не допускалъ такихъ обличеній? Конечно, нѣтъ!» Но онъ не могъ освободиться отъ двойственнаго, почти жуткаго чувства по прослушаніи этой рѣчи. Что-то не вѣрилось ему въ полную искренность такого пылаго ратованія за пролетаріевъ, такого обличенія «Сарданапаловъ капитализма».—И ядъ скептицизма начинаетъ мало-по-малу разѣдать его пылкую вѣру въ силу Рима, въ искренность ватиканскаго старца, въ спасительность единенія церквей. Хазинъ поясняетъ ей, что такія рѣчи имѣютъ важное значеніе, какъ знаменіе времени, что Ватиканъ и его черная армія, преслѣдуя, конечно, личные интересы, не видятъ другого пути, какъ прибѣгнуть къ той же рабочей массѣ и этимъ только подчеркиваютъ ея значеніе.

Кончается эта борьба въ душѣ Бориса, какъ и слѣдовало ожидать, рѣшеніемъ войти поглубже въ жизнь массъ, чтобы фактически убѣдиться въ тягости ея положенія и, вооружившись опытомъ и знаніемъ, приложить ихъ на спасеніе гнущаго «духа человѣческаго». По совѣту Хазина, онъ уѣзжаетъ въ Сицилію изучить на мѣстѣ современный адъ. Но какой путь избересть онъ для этого спасенія—черезъ Ватиканъ или черезъ анархизмъ, какъ совѣтуетъ Хазинъ,—онъ не знаетъ и не думаетъ. Ни отецъ, ни Мѣдниковъ, внимательно слѣдящіе за его дѣйствіями, не могутъ ему помочь. Вопросъ куда идти, остается открытымъ.

Авторъ не безъ основанія избралъ мѣстомъ дѣйствія Римъ и направляетъ въ концѣ концовъ своего героя въ Сицилію. Ни въ какой другой обстановкѣ, кромѣ итальянской, не мыслимы ни его Борисъ, ни Хазинъ. Только въ Италіи, этой классической странѣ черной арміи и анархизма, не поражаютъ такіе маньяки, какъ всѣ эти герои на половину изъ дома сумасшедшихъ. Такая искусственная обстановка дѣйствія романа лишаетъ его того значенія, какое онъ могъ бы имѣть. Слишкомъ далеки для насъ и чужды и идея вселенской церкви съ папой во главѣ, и итальянскій анархизмъ, чтобы стоило дольше надъ этимъ останавливаться. Но одно остается за романомъ, это—указаніе на разладъ, мутящій душу современнаго человѣка, которому труднѣе, чѣмъ предшествующему поколѣнію найти свою дорогу.

Жизнь несомнѣнно усложнилась, и всякія упрощенныя формулы общаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ, подводящія все къ одному знаменателю, не годятся теперь. Приходится очень тщательно разбираться въ кучѣ вопросовъ и жизненныхъ явленій, не довѣряя ни одному предвзятому рѣшенію, безъ строгой провѣрки его на фактахъ жизни. Отсюда, намъ кажется, вытекаетъ скептическое отношеніе къ старымъ формуламъ и ихъ всеобъемлемости, а подчасъ и горькая насмѣшка надъ вѣрою отцовъ. Отсюда же и равнодушіе къ тому, что такъ увлекало прежде поколѣніе,—равнодушіе къ чистой идеѣ, оторванной отъ реальной почвы, и грубый матеріализмъ, замѣчаемый въ нѣкоторой части новыхъ людей. Эту сторону современнаго разлада отиѣтилъ въ своемъ романѣ «Равнодушные» г. Станюковичъ. Романъ еще не конченъ, почему мы и не станемъ пока касаться затронутыхъ въ немъ вопросовъ по существу. Для насъ важно лишь указать на общность темы во всѣхъ трехъ романахъ, этотъ идейный разладъ съ прошлымъ и внутреннюю смуту, которые одолѣваютъ современное общество.

Чувствуется въ этомъ нѣкое тревожное настроеніе. Оно и проявляется въ крайностяхъ и эксцессахъ молодыхъ «аргонатовъ», высмѣивающихъ всѣ принципы, въ упорствѣ маньяковъ въ родѣ Бориса и Хазина, въ грубомъ презрѣніи ко всему, что не касается ихъ лично, равнодушныхъ. Но въ самомъ разладѣ и тревожности этого настроенія есть и хорошее, спасительное начало. Чувствуется здѣсь бленіе жизни, въ которой зрѣетъ гдѣ-то, въ самой глубинѣ, новый плодотворный ростокъ, и изъ него, быть можетъ, разовьется новая идея, которая дастъ толчокъ и приведетъ въ стройную систему весь видимый нынѣ хаосъ.

Близятся пушкинскіе дни, и хотѣлось бы хоть на мигъ воспарить духомъ, вознести «сердца горѣ». Пушкинъ—сколько съ этимъ именемъ «для сердца русскаго слилось», сколько чистѣйшихъ воспоминаній изъ дней молодости, сколько радостныхъ чувствъ и свѣтлыхъ мыслей связано для каждаго съ нимъ! Все это правда, и одна мысль о благородномъ обликѣ великаго поэта уже оживляетъ надежды и проливаетъ утѣшеніе въ усталую душу. И тѣмъ не менѣе, не радость и подъемъ духа испытываемъ мы въ ожиданіи предстоящихъ торжествъ.

Какое-то чувство скорби, жестокой обиды и горечи подымается въ душѣ одновременно съ мыслью объ этомъ великомъ праздникѣ русской литературы.

Попробуемъ разобраться въ этомъ сложномъ чувствѣ.

Что такое чествованіе памяти великаго человѣка? Это выраженіе благодарности тому, кто внесъ свѣтъ въ нашу жизнь, огнемъ своего сердца и ума зажегъ немеркнущій огонь, у котораго согрѣваютъ душу тысячи послѣдующихъ поколѣній. Чувство благодарности само по себѣ цѣнно и дѣйствуетъ благотворно на насъ, вызывая въ душѣ теплую и безкорыстную радость. Тѣмъ болѣе понятно это свѣтлое чувство въ душѣ писателя, когда онъ чувствуетъ своего родоначальника и вождя, который первый вознесъ это званіе на такую высоту и заставилъ гордиться этимъ правомъ—быть русскимъ писателемъ. До Пушкина не было литературы, потому что не было писателя, какъ такового, который въ своемъ призваніи видѣлъ бы задачу и смыслъ жизни. Пушкинъ былъ не только первымъ русскимъ великимъ поэтомъ, но и первымъ русскимъ литераторомъ во всемъ объемѣ этого слова. Поэтому, воздавая ему хвалу, возвеличиваемъ и значеніе его дѣла, значеніе литературы россійской. И каждый писатель не можетъ не испытывать законнаго чувства гордости при тѣхъ торжествахъ, которыми страна готовится воздать дань благодарности памяти гениальнаго художника и творца ея родной литературы. Въ этомъ для насъ, писателей, свѣтлая сторона предстоящаго великаго культурнаго праздника. И хотѣлось бы поэтому, чтобы праздникъ былъ возможно величавѣе, возможно торжественнѣе, возможно народнѣе и—менѣе всего официальнымъ,—чтобы онъ явился свободнымъ, вылившимся отъ души, радостнымъ и свѣтлымъ, благодарнымъ чувствомъ—не говоримъ народа, который еще далеко отъ яснаго представленія о великомъ поэтѣ,—но хотя бы всего общества, всей той части русскаго народа, которая уже сознала все значеніе родной литературы и научилась цѣнить и понимать ее.

Но здѣсь-то и примѣшивается къ радости чувство скорби, обиды и горечи.

Да, у насъ есть теперь литература. Но не представляется ли трагическая судьба Пушкина пророческимъ символомъ этой литературы? Что такое этотъ случайный выстрѣлъ, сразившій великую, казалось, силу, въ расцвѣтѣ надеждъ и пылкихъ ожиданій?

Предъ нами жизнь, полная великой муки, которая могли бы свалить обыкновенную натуру въ самомъ началѣ поприща, и въ заключеніе—трагическій конецъ отъ случайной пули. На пространствѣ 20 лѣтъ,—періодъ творческой дѣятельности поэта,—сжаты всѣ мученія, которыя приходилось и приходится переживать работникамъ русской литературы. Каждый шагъ, каждое завоеваніе въ области литературы запечатлѣно у насъ кровью, куплено тысячами мукъ, на которыя уходитъ преждевременнаго сила писателя. «Это кровь моя!»—воскликаетъ Пушкинъ, въ известномъ стихотвореніи Некрасова, при видѣ испещренной коректуры. Сколько ухищреній, сколько странныхъ на первый взглядъ приемовъ долженъ употребить русскій писатель, чтобы провести мысль, ставшую на Западѣ давно уже триумфомъ. Выработывается особый «эзоповскій» языкъ, обидный по существу и для писателя, и для читателя, выработывается особый рабій кодексъ отношеній, когда ради спасенія дорогаго дѣла приходится жертвовать многимъ и многимъ... Въмѣсто свободнаго служенія русскому слову получается мучительное терзаніе, вырвавшее у другого знаменитаго страдальца-писателя вопль: «за каплю крови, общую съ народомъ, мои вины, о родина, прости!» И нѣтъ даже того утѣшенія, что до этой родины дойдетъ когда либо этотъ вопль, что она пойметъ и не осудитъ за ложный шагъ, за компромиссъ, истерзавшій душу. А если услышать и пойметъ, мы этого долго еще не узнаемъ: глуха и нѣма лежитъ родина и не скоро научится выражать свои чувства съ гордымъ достоинствомъ свободнаго народа.

И этотъ случайный выстрѣлъ,—развѣ не предсказалъ онъ тѣхъ случайностей, которыя ни предвидѣть, ни предотвратить нельзя и жертвою которыхъ падаютъ лучшія наши силы? Дѣло всей вашей жизни, дѣло, стоившее вамъ великихъ жертвъ, матеріальныхъ и нравственныхъ, дѣло, казалось, ставшее дорогимъ и читателю,—рухнетъ, погребая васъ подъ своими развалинами.

Судьба Пушкина—это судьба русской литературы. Трагедія его жизни—это прообразъ трагедіи русской литературы. Его трагедія завершена, а эта трагедія длится и не предвидится ей конца. Такъ можемъ ли мы чествовать память великаго поэта-страдальца съ открытой душой, безъ стѣсненнаго сердца, безъ обычной для русскаго писателя горькой мысли о горькой судьбѣ русскаго писателя—«*hodie tibi, cras mihi?*»

Да, можемъ,—что бы тамъ ни было, можемъ. Вѣдь этотъ праздникъ—чествованіе побѣды свѣта надъ тьмою. Какъ ни сильна тьма, какъ ни страшны ея силы, все же свѣтъ, не меркнущій, ясный и гордый—пробивается сквозь тьму, мало того,—заставляетъ и ее преклоняться предъ собою и воздасть себѣ хвалу. Чествованіе Пушкина есть открытое воздаяніе заслугъ всѣмъ тѣмъ, кто пошелъ по стопамъ его, кто принялъ свѣтильникъ изъ его рукъ и не скрылъ его подъ спудомъ, а поставилъ на горѣ, чтобы онъ свѣтилъ другимъ, и берегъ его, какъ святая святыхъ своей души, чтобы передать послѣдующимъ поколѣніямъ.

И если бы Пушкинъ воскресъ и всталъ изъ могилы, онъ одобрилъ бы это чествованіе. Вмѣстѣ съ нимъ сколько страдальческихъ тѣней порадавались бы, вида признаніе ихъ заслугъ и чествованіе «литературы расейской». Гоголь, Лермонтовъ, Бѣлинскій, Добролюбовъ, Чернышевскій, Некрасовъ, Салтыковъ, Достоевскій и тысячи безвѣстныхъ работниковъ русскаго слова,—всѣ они могли бы гордиться этимъ праздникомъ. Ибо онъ говоритъ всему міру, что не погибли ихъ усилія и ни одна капля ихъ священной крови не пропала даромъ.

Оглядываясь на путь пройденный за эти сто лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ дня рожденія Пушкина,—съ чувствомъ справедливой гордости русская литература можетъ сказать, что въ самыя тяжкія минуты до текущихъ безславныхъ и безотрадныхъ дней включительно—она не унизила себя, не согнулась подъ ярмомъ и не пала духомъ. А если въ рядахъ ея и были Каины, поднимавшіе руку на своихъ братьевъ, были Булгарины и... — презрѣніемъ при жизни воздавала она имъ и по смерти уготовляла единую достойную ихъ награду—осиновый козль. Принявъ завѣтъ Пушкина—«глаголомъ жечь сердца людей», она не зміѣняла ему никогда, и каждая славная страница русской исторіи связана съ русской литературой. Въ дни печали она ободряла унылыя сердца, въ дни борьбы шла впередъ и указывала самыхъ опасныхъ враговъ. Помня другой завѣтъ Пушкина—«на поприщѣ ума нельзя намъ отступать», она не уступала торжествующимъ врагамъ ни пяди изъ завоеваннаго царства свѣта и свободы. Въ дни пораженія она хранила угрюмое молчаніе, предпочитая смерть позорному хваленію. И что бы ни ожидало ее впередъ, какія бы испытанія ни готовила ей судьба,—мы твердо вѣримъ, что русская литература, которая вмѣстѣ со всѣмъ, что есть лучшаго въ Россіи, готовится *теперь* праздновать память своего великаго вождя,—*никогда* не устроитъ праздника въ честь тѣхъ темныхъ силъ, жертвою которыхъ палъ Пушкинъ.

Въ этой вѣрѣ есть спасительная сила. Она насъ поддерживаетъ въ дни испытанія, выпавшія на долю современной литературы. Она внушаетъ намъ лучшія надежды. Она разсѣваетъ мракъ современности и даетъ намъ право съ чувствомъ благодарной радости привѣтствовать Пушкинскую годовщину.

А. Б.

НАШИ ВЕСЕННІЯ ВЫСТАВКИ.

(З А М Ъ Т К А).

На весеннихъ выставкахъ этого года оказалось немного картинъ, заслуживающихъ серьезнаго вниманія. О выставкѣ «Петербургскихъ художниковъ» въ академіи наукъ и говорить нечего. Въ сущности, на ней не было ни одного полотна, передъ которымъ стоило-бы сосредоточенно остановиться. Были хорошенькія вещицы—и только. Можно, пожалуй, вскользь упомянуть о миниатюрныхъ пейзажахъ Васильковскаго. Нѣкоторые изъ нихъ написаны съ любовью, со вкусомъ и отдаленно напоминаютъ пейзажи одного въ высшей степени проникновеннаго и чуткаго русскаго мастера, почему-то мало извѣстнаго въ Россіи—Похитонова. Но этихъ, къ сожалѣнію, и исчерпывается интересъ къ «Петербургскимъ художникамъ»...

Менѣ безотрадное впечатлѣніе выносишь изъ передвижной и академической выставокъ, хотя и тутъ большинство картинъ лишены самобытности, отпечатка времени, проблеска новыхъ мыслей и чувствъ. Эти скучныя, ремесленныя «творенія», появляются изъ году въ годъ съ какимъ-то безнадежнымъ постоянствомъ и, что всего хуже, всегда находятъ своихъ нетребовательныхъ почитателей... Объ нихъ не будемъ говорить. Займемся тѣми немногочисленными художниками, которые умѣютъ выражать въ своихъ произведеніяхъ хоть что-нибудь интересное и оригинальное, хоть что-нибудь, не похожее на устарѣлое, скучное ремесло. Мы готовы многое простить имъ за это—ихъ техническія недостатки, ихъ крайности, незрѣлость ихъ порывовъ. Они могутъ не нравиться намъ, но въ нихъ по крайней мѣрѣ чувствуется талантъ, исканіе новыхъ путей въ искусствѣ, та внутренняя работа воображенія, безъ которой мертво всякое творчество.

Принадлежащіе къ числу именно такихъ художниковъ В. И. Суриковъ, М. В. Нестеровъ и Н. А. Касаткинъ—интересны уже оттого, что, являясь чисто русскими талантами *по духу*, они такъ рѣзко отличаются другъ отъ друга по *направленію* творчества. Въ каждомъ изъ нихъ—національное содержаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый—черпаетъ свои настроенія въ самостоятельной области и преслѣдуетъ другія цѣли. Такимъ образомъ мы имѣемъ дѣло съ тремя ярко выраженными художественными темпераментами.

В. И. Суриковъ—представитель того направленія въ живописи, какое обыкновенно называютъ историческимъ натурализмомъ. Воплощая русскую исторію въ грубые, тяжеловѣсные, иногда просто чудовищные образы, онъ заслуживаетъ упрека въ чемъ угодно, но только не въ отсутствіи смѣлаго замысла и своеобразной силы воздѣйствія. Выставленная въ нынѣшнемъ году на передвижной выставкѣ громадная картина Сурикова—«Переходъ Суворова черезъ Альпы», строго говоря,—вполнѣ неудачна. Написана она плохо и тускло. Компановка ея хаотична до нельзя. Темныя фигуры солдатъ, скользящихъ внизъ по черезчуръ крутому сѣнговому спуску горы, положительно падаютъ на зрителя, а самъ Суворовъ, верхомъ на своей черезчуръ маленькой лошаdkѣ, до того тщедушенъ,

что вызывает невольную улыбку, лишь только удастся выдѣлать его из хаоса ледяныхъ скалъ, пушекъ и походныхъ шинелей, которыми онъ окруженъ... Тѣмъ не менѣе, вся картина выражаетъ до извѣстной степени и героическій духъ нашихъ солдатъ, и стремительную тревожность опасной переправы. Въ ней есть движеніе, размахъ. Талантливость автора сквозитъ во всемъ, несмотря на грубую оболочку исполненія... Къ тому же нельзя забывать, что у Сурикова были другія болѣе удачныя картины изъ древне-русской жизни, напримеръ, «Боярыня Морозова», находящаяся теперь въ Третьяковской галлерей.

М. В. Нестеровъ тоже изучаетъ русскую старину, но съ точки зрѣнія ея религиознаго чувства. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ считаться послѣдователемъ В. М. Васнецова. Онъ конечно не обладаетъ ни смѣлостью, ни вдохновенной мощью Васнецова. Образы его проникнуты хрупкой, болѣзненной граціей выходцевъ съ того свѣта. Его отшельники, иссохшіе въ молитвахъ, монахи, въ длинныхъ черныхъ одѣяніяхъ и голубоглазья богородицы съ лилами въ рукахъ на фонѣ какихъ то блѣдныхъ, призрачныхъ пейзажей переносятъ насъ въ міръ созерцательныхъ, аскетическихъ идеаловъ нашего народа. Византизмъ въ картинахъ Нестерова до того смягченъ сентиментально-мистическимъ пониманіемъ народной вѣры, что, строго говоря, въ нихъ ничего не остается переконнаго. Всѣмъ этимъ и объясняется особенно невыгодное впечатлѣніе, какое производитъ живопись Нестерова рядомъ съ образами Васнецова въ кievскомъ соборѣ Св. Владиміра.

Теперь передъ нами послѣдняя картина Нестерова — «Святый Дмитрій Царевичъ убитый». Въ ней, если можно такъ выразиться, обнажены до крайнихъ предѣловъ художественные приемы автора, что дѣйствуетъ непрятно. Царевичъ Дмитрій изображенъ здѣсь не воскресшимъ человѣкомъ душою и тѣломъ, какъ это вытекало бы изъ христіанскихъ представленій, а какимъ-то страшнымъ и въ то же время трогательнымъ призракомъ, напоминающимъ тѣхъ безпріютныхъ оборотней, которые до сихъ поръ тревожатъ суетвѣрное воображеніе народа, вызывая въ немъ испугъ и жалость. Когда смотришь на эту картину, то опять-таки невольно вспоминается Васнецовъ, вспоминаются два образа его изъ Владимірскаго собора — «Великомученики Борисъ и Глѣбъ». Васнецовъ также хотѣлъ придать своимъ изображениямъ характеръ замогильной призрачности, но художественное чутье не позволило ему подчеркнуть такъ рѣзко своего намѣренія. Его князья Борисъ и Глѣбъ — не зловѣщіе оборотни, а тихо воскресшіе люди, просвѣтленные сознаніемъ вѣчнаго загробнаго покоя.

Третье изъ названныхъ мною именъ — Н. А. Касаткинъ. Онъ извѣстенъ своими картинами изъ крестьянскаго и главнымъ образомъ изъ рабочаго быта. Онъ — художникъ темнаго, бѣднаго, трудового люда современной Россіи, художникъ, не лишенный тенденціозности и гражданской скорби. Но нужно отдать справедливость Касаткину въ томъ смыслѣ, что гражданскія тенденціи, не заглушая достоинствъ его сочной, смуглой живописи, наоборотъ придаютъ его картинамъ характеръ глубокой вдумчивости и задушевности. То, что онъ пишетъ, онъ пишетъ съ увлеченіемъ, съ убѣжденностью, пишетъ большею частью не для того, чтобы поучать, а просто, потому что ему близко знакома мужицкая среда, фабричная и тюремная жизнь Россіи, и что онъ любитъ изображать обездоленное человѣчество. По яркости, по трагизму бытоваго колорита его талантъ напоминаетъ отчасти талантъ Горькаго.

Картины, выставленныя Касаткинымъ въ этомъ году, значительно слабѣе его предыдущихъ работъ. Особенно неудаченъ и возбуждаетъ всеобщее неодумѣніе большой холстъ съ длиннымъ названіемъ: «Свиданіе съ арестованными допускается по воскресеніямъ и четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня. Женское отдѣленіе». Если отойти отъ картины на большое разстояніе, то пожалуй и можно понять, что хотѣлъ выразить художникъ, а именно — смягченіе толпы



РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.

Н а р о д и н ѣ.

Изъ голодающихъ губерній. Въ веснѣ нужда все усиливается и изъ голодающихъ губерній приходять все болѣе тяжелыя вѣсти. Вслѣдъ за голодомъ появляются его обычные спутники—заразныя болѣзни и цынга. «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» пишутъ изъ Казанской губ.:

«Спѣшно вербуются отряды среди мѣстной учащейся молодежи для борьбы съ все усиливающейся цынгой и другими «голодными» заболѣваніями...

«А бороться есть съ чѣмъ теперь въ деревнѣ молодымъ студентамъ: цынга все усиливается съ ужасающей быстротою, охватывая все болѣе и болѣе районъ. Даже предмѣстья нашей Казани и тѣ не избавились отъ посѣщенія ужасной гостни: Адмиралтейская, Суконная, Ново-Татарская и другія слободы насчитываютъ теперь уже нѣсколько десятковъ цынготныхъ больныхъ среди населяющей ихъ русской и татарской бѣдноты. Если городъ съ болѣе чѣмъ 120 тыс. человекъ не спасается отъ цынгы, то что дѣлается теперь въ деревнѣ, это читатель самъ легко можетъ себѣ представить... Что касается формъ клинической картины заболѣванія цынгой, то врачи, видавшіе больныхъ, увѣряютъ, что цынга въ нынѣшнемъ году проявляется у людей, истощенныхъ недоѣданіемъ или питающихся однимъ хлѣбомъ безъ прибавленія овощей, положительно въ классическихъ формахъ. Вотъ какъ описываетъ эту картину заболѣванія цынгой одинъ землевладелецъ Спасскаго уѣзда (не врачъ), открывшій на частныя пожертвованія даровую хлѣбопекарню. «Заболѣваніе цынгой,—пишетъ онъ,—вызываетъ особенно тяжелыя страданія у женщинъ съ грудными дѣтьми... Сегодня, развѣсивъ хлѣбъ и удостовѣрившись въ его доброкачественности, я обходилъ больныхъ. Попросивъ ихъ открыть ротъ, я ужаснулся: изъ опухшихъ десенъ непрерывно сочилась кровь и, при малѣйшемъ прикосновеніи къ зубамъ, кровотеченіе усиливалось; зубы шатаются въ своихъ гнѣздахъ, ноги покрыты кровоподтеками».

Такія же картины описываетъ г. Сергѣенко, отправившійся лично на голодъ, чтобы на мѣстѣ ознакомиться съ положеніемъ населенія:

«На-дняхъ я вернулся изъ Казанской губ., куда ѣздилъ, чтобы познакомиться—насколько это возможно для пріѣзжаго—съ истиннымъ характеромъ и размѣрами народной нужды. Общее впечатлѣніе, вынесенное мною изъ поѣздки, тяжелое и горькое. Нужда во многихъ мѣстностяхъ большая, лютая и застарѣлая. Одной рожью ее нельзя устранить. Народъ обезсилѣлъ отъ нужды. И надо удивляться не тому, что появились массовыя заболѣванія, а тому, какъ могъ истощенный организмъ народа такъ долго выдерживать столь упорный натискъ нужды. Многие съ осени не знаютъ горячей пищи. Приходилось питаться жолудями, древесной корой, листьями, даже падалюю. Въ моемъ распоряженіи нѣбются образцы «хлѣба», похожаго на все, кромѣ хлѣба. Неурожай

въ истекшемъ году былъ полный. Сначала продолжительныя засухи съ горячими вѣтрами все завялили и выжгли; затѣмъ ударили ранніе морозы и докончили все остальное».

А какимъ хлѣбомъ приходится пробавляться крестьянамъ, видно, напримѣръ изъ слѣдующаго сообщенія «Самарской Газеты»:

«Профессоръ кievскаго университета г. Орловъ пожелалъ изслѣдовать научнымъ путемъ хлѣбъ, употребляемый въ нынѣшнемъ году съ примѣсями крестьянами Самарской губерніи (такъ называемый «голодный» хлѣбъ). Образцы такого хлѣба предложено было прислать земскимъ начальникамъ, врачамъ и т. п. Большинство полученныхъ до сихъ поръ отвѣтовъ земскихъ начальниковъ, какъ сообщаетъ «Сам. Газ.», гласить, что въ ихъ участкахъ «голоднаго» хлѣба крестьянами въ пищу не употребляется, и потому образцовъ его они прислать не могутъ. На-дняхъ, впрочемъ, приславы земскимъ начальникомъ 2 участка Бугурусланскаго уѣзда два образца такого хлѣба, взятые у двоихъ чувашъ. Земскій начальникъ объясняетъ, что этотъ хлѣбъ печется изъ ржаной муки съ примѣсями $\frac{1}{3}$ лебеды въ размолотомъ видѣ и готовится такъ же, какъ и обыкновенный хлѣбъ. При этомъ земскій начальникъ объяснилъ, что употребленіе въ пищу такого хлѣба, какъ посылаемый образецъ, исключительный случай, встрѣченный имъ только въ одномъ селеніи чувашъ; остальные же жители (въ томъ числѣ и чуваша) питаются обыкновеннымъ хлѣбомъ. Случай употребленія въ пищу хлѣба присланныхъ образцовъ трудно объяснить, присовокупляя земскій начальникъ, но нельзя сказать, чтобы это вызывалось крайностью, такъ какъ всѣ жители и тѣ крестьяне, отъ которыхъ взяты образчики хлѣба, получаютъ ссуду отъ земства въ достаточномъ количествѣ».

Неудивительно, что при такомъ питаніи, которое все-таки является удѣломъ сравнительно болѣе счастливыхъ лицъ, наблюдается быстрое развитіе всякихъ болѣзней. Для борьбы съ ними столовая является гораздо болѣе дѣйствительнымъ средствомъ, чѣмъ всякія лѣкарства. Г-жа Лепешкина пишетъ въ «Крымскій Вѣстникъ» объ открытіи ею столовыхъ въ Уфимской губ.: «15 марта мнѣ пришлось ѣхать съ кн. С. И. Шаховскимъ въ Альматымуллино (той-же волости), чтобы составить списки и открыть здѣсь столовую. Пріѣхали и, какъ всегда, направились въ мірской избѣ. Около нея толпилась масса народу. Но когда мы вышли изъ саяей и едва пройдя черезъ толпу, хотѣли проникнуть въ избу, то это оказалось почти невозможнымъ: сѣни были просто биткомъ набиты народомъ, а дверь изнутри заперта. На наши вопросы намъ отвѣтили, что «дохтуръ» принимаетъ. По его распоряженію, дверь заперли, чтобы больныхъ могли впускать небольшими партиями. Докторъ пріѣхалъ изъ сосѣдней деревни, по неотступной просьбѣ «міра»; селеніе было большое, больныхъ масса, поэтому, чтобы не терять времени, докторъ велѣлъ приводить и приносить всѣхъ больныхъ прямо въ избу. Въ этой же мірской избѣ намъ надо было начать описъ: поэтому пришлось ожидать окончанія приема.

«Когда мы, наконецъ, вошли въ избу, тяжелый, невыносимый воздухъ, переполненный ѣдкимъ запахомъ кизяку, охватилъ насъ. И—Боже!—не забыть намъ никогда картинъ, которыя пришлось здѣсь увидѣть. Цынга была въ полномъ разгарѣ въ этомъ селѣ... Предо мной мелькали несчастные больные, и я видѣла опухшія лица и ноги, кровавыя раны на деснахъ, ногахъ, на всемъ тѣлѣ. Одни больные шли сосредоточенно, точно видя предъ собой призракъ смерти и утративъ всякую надежду на спасеніе, другіе стонали,—глухо стонали и отъ голода, и отъ боли... Проходили предо мной и цѣлыя семьи, пораженные этой болѣзью. Одну старуху принесли на подушкахъ, одну женщину мужъ принесъ на спинѣ. Но всего ужаснѣе это—мертвенныя лица дѣтей, безъ выраженія, апатичныя... Дѣтишки такъ ослабѣли, что когда ихъ сажали на стулъ предъ докторомъ, они безпомощно опирались головой о стоя-

щихъ около нихъ мужиковъ. Что могъ сдѣлать здѣсь докторъ? Онъ наскоро осматривалъ больныхъ все одной и той же болѣзною, осматривалъ десны и ноги, давалъ лѣкарства, а иногда чай, сахаръ и деньги—отъ 10 до 50 к. изъ средствъ, отпускаемыхъ «Краснымъ Крестомъ» для усиленія питанія больныхъ. И послѣ осмотра ихъ «волокли» или уносили обратно. Наконецъ, приемъ окончился, но потому, что лѣкарствъ больше не было. На другой день оказалось, что больныхъ столько же, сколько уже перебивало у доктора. Многія женщины стѣснялись мужчинъ и не явились на приемъ. Многія не могли пѣшкомъ добраться до избы, а на лошади ѣхать невозможно, такъ какъ онѣ совершенно обезсилѣли отъ голодовки и не въ состояніи встать.

«Подъ гнетущимъ впечатлѣніемъ пришлось намъ открыть сходъ и приступить къ переписи. Я очень торопилась составленіемъ списка и поэтому продержала всѣхъ до 10 час. веч. съ тѣмъ, чтобы на другой день возобновить свои занятія. Несмотря на то, что и они всѣ страшно утомились, все же они «жалѣли» меня и горячо благодарили. На другой день къ вечеру удалось открыть столовую. вмѣстѣ съ кв. С. И. Шаховскимъ, который вернулся изъ поѣздки за хлѣбомъ, мы пошли въ столовую, гдѣ занесенные въ списокъ ѣли свою «шупшу»; это—родъ кашицы изъ пшена, гороха, сала съ лукомъ и перцемъ (лукъ и перецъ—хорошее противоцинготное средство). И я была растрогана до слезъ той радостью, которой вспыхнули эти потушенные глаза, когда проголодавшимся и изстрадавшимся подали «шупшу». Въ первый день еще не успѣли испечь хлѣба, а потому мы объявили, чтобы столующіеся запаслись своимъ хлѣбомъ. Но—увы!—никто не принесъ даже крошечнаго ломтя, потому что дома хлѣба ни у кого не оказалось».

На народную нужду начинаетъ откликаться теперь не только такъ наз. «общество», но и рабочіе, и крестьяне. Г. Сакмаровъ въ «Сынѣ Отч.» передаетъ слѣдующій любопытный фактъ:

«Въ одной изъ народныхъ аудиторій столицы, послѣ окончанія чтенія, лекторъ обратился къ своимъ слушателямъ съ предложеніемъ пожертвовать что-нибудь въ пользу голодающихъ. Онъ прибавилъ при этомъ, что ему стыдно обращаться къ нимъ съ такимъ предложеніемъ, такъ какъ онъ знаетъ, что и сами-то они перебиваются со дня на день и тяжелымъ трудомъ зарабатываютъ себѣ ничтожныя средства къ существованію. Но такъ какъ ничтожныхъ жертвъ нѣтъ, то онъ и предложилъ имъ пожертвовать, кто что можетъ, не стѣняясь размѣрами пожертвованія.

«Такъ какъ въ аудиторіи не было ни тарелки, ни кружки для сбора, то для этой цѣли былъ примѣненъ умывальникъ. Дырку для стока воды заткнули бумагой, чтобы мелкая монетка не проскочила, и стали въ умывальникъ сыпать тѣ дорогіе гроши и алтыны, которыхъ не обезцѣняютъ никакія колебанія курса, тѣ гривны мѣдныя, которыхъ не оцѣнить на землѣ никакимъ оцѣнщикамъ. И набралось въ этомъ умывальникѣ денегъ 118 руб. Но на этомъ дѣло не остановилось. Народъ въ аудиторіи собрался рабочій. Разошелся онъ утромъ по фабрикамъ и заводамъ и разнесъ вѣсть о сборѣ на голодающихъ. И опять потекли мѣдныя гривны, да и рубли за собой повели. Съ Самсоньевской мануфактуры 211 р. принесли рабочіе, да администрація 200 р. дала, съ тюлевой фабрики 50 руб. набрали, нобелевскіе рабочіе 43 рубля сколотили. Въ общей сложности одни рабочіе больше тысячи рублей принесли. Все по мелочамъ, кровью заработанное отдавали. Женщины-работницы съ патроннаго завода 10 руб. 43 коп. собрали: «Извините, что мало принесли,—говорили онѣ,—сами видимъ, что мало, да вѣдь заработки-то наши ужъ очень не велики»:

Въ «Курьерѣ» помѣщено письмо одной народной учительницы, посылающей отъ себя и отъ своихъ воспитанниковъ пожертвованія въ пользу голодающихъ.

«При этомъ посылается квитанція на отправленный въ вашу редакцію багажъ, вѣсомъ пять пудовъ, для голодающихъ въ двухъ тюкахъ; покорнѣе прошу одинъ тюкъ отправить въ Уфимскую губ. для маленькихъ инородцевъ и большихъ. Другой въ Бугурусланъ, Самарской губ., врачу С. П. Давыдовой,— адресъ вамъ извѣстенъ. Собрано бѣлье и платье нашей школьной дѣтворой, а ихъ у насъ 400 человекъ. Прослушали дѣтшки корреспонденціи, помѣщенные въ вашей уважаемой газетѣ, у многихъ глаза затуманились и понесли на другой же день узелочки и сверточкы. Два раза уже школьники и копѣйки свои отсылали голоднымъ и еще собираемъ къ Пасхѣ,— пришлемъ въ вашу редакцію, да позвольте и еще пудиковъ пять прислать бѣлья и платья для другихъ нуждающихся мѣстностей. Дѣтямъ отъ дѣтей, а взрослымъ отъ взрослыхъ.

«Одна изъ учительницъ и 400 дѣтей».

Самое трогательное въ непосредственномъ по чувству и содержанію письмѣ— это то, что и учительница, и дѣти пожелали остаться неизвѣстными.

Народный университетъ въ Тифлисъ. Движеніе въ пользу распространенія такъ-называемыхъ «народныхъ университетовъ» мало-по-малу начинаетъ прививаться и въ Россіи. Блестящій успѣхъ общеобразовательныхъ курсовъ с.-петербургскаго педагогическаго общества (временно приостановленныхъ въ этомъ году, но имѣющихъ всѣ шансы открыться въ будущемъ) доказалъ, что у насъ есть достаточный контингентъ силъ для веденія такого сложнаго дѣла: подобные же курсы возникли въ Одессѣ и въ Харьковѣ, попытки организаціи ихъ были въ Казани. Теперь въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» помѣщенъ интересный отчетъ о такихъ же курсахъ въ Тифлисъ. Возникли эти курсы слѣдующимъ образомъ.

Въ октябрѣ прошлаго года въ «Тифлисскомъ Листѣ» появились двѣ статьи за подписью А. Иванова: «Публичныя лекціи» и «Общеобразовательные курсы для взрослыхъ». Обѣ эти статьи трактовали о необходимости восполнить ощущаемый въ Тифлисъ недостатокъ въ среднеучебныхъ заведеніяхъ открытій курсовъ для тѣхъ несчастливцевъ, которымъ по разнымъ причинамъ не удалось пройти среднюю школу, а также для тѣхъ, прошедшихъ эту школу, которымъ обстоятельства помѣшали попасть въ университетъ и которые, такимъ образомъ, не могли пополнить свои знанія университетскимъ курсомъ. Послѣ появленія этихъ двухъ статей, въ томъ же «Тифлисскомъ Листѣ» начали печататься «Письма читателей». Устроенъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ «клебисцитъ». Редакція газеты предоставила свои столбцы для свободнаго обсужденія затронутаго г. Ивановымъ вопроса. «Письма читателей» посыпались, какъ изъ «рога изобилія». Подсчетъ этихъ писемъ далъ, какъ и слѣдовало ожидать, блестящій результатъ: ни одного голоса противъ и всѣ за открытіе курсовъ... Тогда 18 ноября въ той же газетѣ появилась новая статья г. Иванова: «Еще нѣсколько словъ о курсахъ для взрослыхъ». Въ этой своей послѣдней статьѣ г. Ивановъ приводилъ примѣрную программу курсовъ, основывая свои мнѣнія на фактическомъ матеріалѣ петербургскихъ и одесскихъ курсовъ, взывалъ къ мѣстнымъ педагогамъ, приглашая ихъ удовлетворить запросы населенія. А между тѣмъ, «письма читателей» все продолжали и продолжали печататься, и тѣмъ самымъ подкрѣплялись слова г. Иванова. Числа 22—24 въ редакція «Тифлисскаго Листа» уже состоялось первое засѣданіе педагоговъ, откликнувшихся на «вопль души человѣческой», къ которымъ примкнули и ближайшіе сотрудники этой газеты. Черезъ недѣлю состоялось второе засѣданіе и настолько многолюдное, что скромное помѣщеніе редакціи оказалось малымъ, а потому было рѣшено перенести засѣданія въ просторное помѣщеніе первой мужской гимназіи (ихъ тоже у насъ три). Засимъ послѣдовалъ цѣлый рядъ засѣданій; учредители курсовъ выдѣлили изъ себя отдѣльныя коммиссіи для детальной

разработки программъ, и вотъ не пришло еще отъ времени перваго засѣланія и полныхъ двухъ мѣсяцевъ, какъ курсы были открыты и начали функционировать. Такому быстрому разрѣшенію вопроса, прежде всего, способствовала необычайная энергія, проявленная педагогическимъ міромъ, принявшимъ близко къ сердцу запросы населенія, а также и то обстоятельство, что и попечитель учебнаго округа, и мѣстный губернаторъ весьма сочувственно отнеслись къ благому начинанію и съ своей стороны сдѣлали все, чтобы не затормозить открытія курсовъ. Справедливость требуетъ отмѣтить, однако, что первоначальный планъ учредителей курсовъ нѣсколько былъ видоизмѣненъ. Такъ, напримѣръ, названіе курсовъ «Пушкинскими» попечитель учебнаго округа не призналъ возможнымъ утвердить. «Дѣло это новое; неизвѣстно, какъ пойдетъ, можетъ и разрушиться, и такимъ образомъ наименованіе ихъ «Пушкинскими» является преждевременнымъ. Пусть дѣло наладится, чтобы было достойно великаго писателя, и я тогда первый буду просить министра о присвоеніи курсамъ этого наименованія»,—говорилъ попечитель. Засимъ онъ же призналъ невозможнымъ оставить за открываемыми лекціями названія «курсовъ», такъ какъ на это должно быть испрашено особое разрѣшеніе отъ министра народнаго просвѣщенія съ представленіемъ проекта устава, но, сочувствуя симпатичной мысли, предложилъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, начать чтеніе лекцій, наименовавъ эти курсы «Публичными лекціями по программамъ общеобразовательнаго курса». Подъ такимъ официальнымъ названіемъ и функционируютъ нынѣ курсы, которые въ общегитіи продолжаютъ называться «Пушкинскими курсами». Курсы эти рассчитаны на три года. Они обнимаютъ слѣдующіе систематически читаемые предметы: 1) Законъ Божій; 2) теорія словесности и исторія русской литературы; 3) новые языки (французскій и нѣмецкій); 4) логику въ связи съ психологіей; 5) математику (алгебра, геометрія, тригонометрія, начала аналитической геометріи, дифференціальное и интегральное исчисленія); 6) физику и начала астрономіи; 7) естествознаніе (химія, минералогія съ геологіей, ботаника, зоологія, анатомія и физиологія человѣка); 8) гигиену; 9) географію Россіи и сравнительную; 10) исторію Россіи и общую; 11) законовѣдніе.

Курсы, какъ сказано выше, рассчитаны на три года, причеиъ въ первые два года проходитъ курсъ средней общеобразовательной школы, на послѣдній же III годъ (дополнительный) относятся предметы, не входящіе въ курсъ среднихъ школъ (психологія, элементы высшей математики, астрономія, гигиена и законовѣдніе). Въ тифлисскай народный университетъ разрѣшено принимать и мужчинъ, и женщинъ. Отъ поступающихъ не требуется никакихъ документовъ—ни о самоличности, ни объ образованіи; рассчитано лишь, чтобы слушатели имѣли познанія 3—4 классовъ среднеучебныхъ заведеній, о чемъ они и предваряются. Лица моложе 16 лѣтъ принимаются лишь съ условіемъ представленія свидѣтельствъ объ окончаніи ими курса городскихъ трехклассныхъ школъ, прогимназій, военно-фельдшерскихъ школъ. Занятія происходятъ ежедневно: четыре раза въ недѣлю отъ 5 до 9 ч. вечера и два раза отъ 6 тожда до 9 вечера. Происходятъ они въ помѣщеніи первой женской гимназіи (четыре раза въ недѣлю) и первой мужской (два раза). Лекторами состоятъ лица съ высшимъ образованіемъ (учителя среднихъ школъ, офицеры, доктора и др.). Плата опредѣлена слѣдующая: за слушаніе всего курса, т.-е. всѣхъ поименованныхъ выше лекцій, въ годъ взимается 10 руб., а за полгода 5 руб., за слушаніе отдѣльныхъ предметовъ взимается въ годъ 2 р. и за полгода 1 руб. (Необходимо тутъ отмѣтить, что эта плата ниже и одесскихъ, и петербургскихъ курсовъ). Организанія дѣла такая же, какъ на курсахъ педагогическаго общества въ Петербургѣ. Завѣдываютъ курсами двѣ коммиссіи изъ учредителей: «учебная», ведущая учебно-образовательную сторону дѣла, и «административно-хозяйственная». Это—официально, но на практикѣ завѣдываетъ курсами об-

щее собраніе учредителей во главѣ съ своимъ предсѣдателемъ-руководителемъ Е. Н. Шудьгинымъ.

По утвержденіи г. попечителемъ Кавказскаго учебнаго округа и г. губернаторомъ проекта и программы «публичныхъ лекцій», въ мѣстныхъ газетахъ было объявлено, что лица, желающія слушать лекціи, благоволятъ записываться (были поименованы пункты, въ коихъ принималась запись). Эта предварительная запись превзошла всякія ожиданія и увѣнчалась блестящимъ успѣхомъ: въ три дня записалось 469 человекъ, и предварительная запись была объявлена закрытой, такъ какъ помѣщеніе, гдѣ должно было происходить чтеніе лекцій, могло вмѣстить не болѣе 200 человекъ. Многимъ и очень многимъ пришлось отказать. Вслѣдъ за этимъ было назначено три дня для выборки входныхъ билетовъ и уплаты денегъ. За эти три дня выбрано было 293 билета, послѣ чего, скрѣпя сердце, учредители курсовъ больше не принимали денегъ и не выдавали билетовъ, несмотря на буквально слезвыя просьбы желающихъ быть слушателями. Изъ этихъ 293 человекъ выбрали билеты на весь (полный) курсъ 157 чел., на отдѣльные предметы: Законъ Божій—3, русскій языкъ—59, алгебра—18, геометрія—3, исторія—15, географія—4, физика—23, анатомія—46, химія—20 и новые языки—94 человекъ. Изъ числа слушателей: мужчинъ 212 и женщинъ 81 чел. До сего времени отъ просьбъ отбоя вѣтъ. Въ виду этого, учредители постановили принять еще 43 человекъ на полный курсъ.

Сахалинскіе арестанты. Въ журналѣ «Врачъ» помѣщено интересное сообщеніе д-ра Лобаса о сахалинскихъ арестантахъ. «Помѣщеніе и питаніе арестанта на Сахалинѣ,—говоритъ д-ръ Лобасъ,—одежда и обувь его, работа и, наконецъ, нравственныя воздѣйствія—все это, какъ нарочно,—говоритъ авторъ,—приспособлено къ тому, чтобы тѣло и душу арестантскія вести по пути постепеннаго и неуклоннаго оскуднѣнія. Вмѣсто сильнаго духомъ и тѣломъ человека, очищеннаго наказаніемъ отъ преступнаго прошлаго, благодаря искусственно созданнымъ условіямъ, получается искалѣченное, никуда ни годное существо, которому въ его колонизаторской миссіи на Сахалинѣ предстоитъ борьба съ суровою дѣвственною природою, предстоитъ трудъ несравненно болѣе тяжелый, чѣмъ каторжная работа».

Ознакомившись съ помѣщеніями, въ которыхъ живутъ арестанты, авторъ вынесъ убѣжденіе, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ они не удовлетворяютъ самымъ основнымъ требованіямъ гігіены.

«Тюрьмы представляютъ изъ себя бревенчатыя, не оштукатуренныя, плохо проконопаченныя зданія, построенныя на заболоченныхъ дурно осушенныхъ мѣстахъ (на Сахалинѣ почва вообще болотистая). Высушивающихъ каналовъ нѣтъ; существующія же сточныя канавы плохо нивелированы и никогда почти не очищаются, благодаря чему сточныя воды застаиваются, гниютъ и пропитываютъ почву вблизи тюремныхъ помѣщеній и подъ ними. Ни въ одной изъ сахалинскихъ тюремъ нѣтъ фундамента, а вѣнцы зданія прямо закладываются въ землю, гдѣ очень скоро и начинаютъ гнить. Тюремныя камеры не имѣютъ приспособленій для провѣтриванія, если не считать недостаточнаго количества форточекъ. Нѣтъ также и черныхъ половъ. Въ имѣющихся полахъ много щелей, черезъ которыя, при мытьѣ, въ подполье стекаетъ грязь, образуя тамъ обширныя клоака. Вмѣстимость тюремъ не отвѣчаетъ дѣйствительной потребности. По имѣющимся у меня даннымъ, на каждомъ тюремномъ сахалинскомъ сидѣльцѣ приходится менѣе одной кубической сажени воздуха, безъ вычета на мебель. Переполненіе камеръ бываетъ настолько велико, что на нарахъ нѣтъ мѣста, и многіе арестанты спятъ на полу подъ нарами. Нары сплошныя и не подъемныя, что влечетъ за собою скопленіе грязи подъ ними. Если къ сказанному

прибавить, что въ камерахъ, за неимѣніемъ сушилокъ, просушиваются мокрое платье и грязныя портянки, что въ нихъ же сохраняется провизія, выдаваемая на руки, что арестанты, приходя съ работъ, вносятъ съ собою массу грязи, что испаренія изъ подпольныхъ клоачныхъ пространствъ проникають въ камеры, что въ камерахъ тюремъ для арестантовъ разряда испытуемыхъ на ночь ставятъ знаменитыя параши, распространяющія удушающее зловоніе, то станетъ яснымъ не только безусловное кислородное голоданіе людей, принужденныхъ жить въ такихъ ужасающихъ условіяхъ, но и затажное отравленіе ихъ вредными газами (накопленіе угольной кислоты, амміачныя испаренія). И въ такихъ-то условіяхъ, человѣкъ, работающій цѣлый день, долженъ за ночь получить необходимый отдыхъ, ради восстановленія силъ, потраченныхъ на работу! Говоря о тюремныхъ помѣщеніяхъ, не могу умолчать о штрафныхъ камерахъ и карцерахъ, въ которыхъ тѣсно и въ которыхъ зловонныя параши стоятъ круглыя сутки. Въ карцерахъ, при содержаніи воздуха въ количествѣ одной кубической сажени, нерѣдко помѣщаются по трое арестованныхъ, съ парашей въ придачу».

Питаніе арестантовъ, по мнѣнію д-ра Лобасса, также представляетъ мало утѣшительнаго. Онъ говоритъ: «Нѣсколько разъ поднимался вопросъ объ улучшеніи табели пищевого довольствія арестантовъ на Сахалинѣ, но дѣло почему то не приходило къ желанному концу. Лѣтъ 9 тому назадъ врачамъ острова было предложено выработать табель довольствія, что ими и было исполнено. Табель пошла на утвержденіе въ высшія инстанціи, признана была вполне удовлетворительной и введена въ видѣ пробы въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ острова, причемъ начальникамъ послѣднихъ приказано было сообщить, куда слѣдуетъ, примѣрно черезъ мѣсяцъ пробы, о своихъ наблюденіяхъ надъ новымъ питаніемъ. Такимъ образомъ вся оцѣнка новаго питанія свелась на донесенія начальниковъ тюремъ. Какъ вели свои наблюденія эти начальники, какимъ критеріемъ они руководились для сужденія о новомъ питаніи и что донесли, мнѣ неизвѣстно, но пища для арестантовъ осталась въ прежнемъ видѣ. Еще недавно, три года назадъ, завѣдующій врачебной частью острова Сахалина д-ръ Поддубскій пытался ввести новую табель довольствія для тюремъ, но долженъ былъ остаться при попыткѣ: пищу по новой табели варили, ѣли и хвалили, но опять таки перешли къ старому довольствію».

Одежда арестантовъ состоитъ изъ одного халата сѣраго сукна на годъ (или халата и двухъ куртокъ на два года), шароваръ изъ сѣраго сукна и шубы на тотъ же срокъ. Перечисленные предметы одежды при сахалинскихъ климатическихкихъ условіяхъ и при тѣхъ работахъ, которыя приходится отбывать арестанту, не удовлетворяютъ своему назначенію. Длинный халатъ, мало согрѣвая, мѣшаетъ свободнымъ движеніямъ; шубы дурно пригоняются, не особенно теплы и при сахалинскихъ пургахъ и морозахъ не предохраняютъ арестанта отъ простудныхъ заболѣваній. Шаровары при нѣкоторыхъ работахъ (горныхъ и пр.) не выдерживаютъ положеннаго срока, превращаясь въ клочки.

Обувь арестанта лѣтомъ состоитъ изъ котовъ, которыхъ ему выдается три пары. Обыкновенно коты не выдерживаютъ и $\frac{1}{2}$ срока. Работать приходится въ тайгѣ, на болотистой почвѣ. Коты, не предохраняя ногъ отъ сырости и грязи, расползаются; приходится связывать ихъ веревочками и въ такомъ жалкомъ видѣ донашивать до срока. Зимой обувь арестанта состоитъ изъ бродней. Бродней въ годъ онъ получаетъ двѣ пары (собственно говоря, неполныя 2 пары, а однѣ бродни, къ которымъ пришиваются головки). Бродни, чтобы онѣ держались на ногѣ, нужно привязывать веревочками подъ колѣномъ и надъ голенно-стопнымъ сочлененіемъ. При сахалинскихъ суровыхъ зимахъ и глубокихъ снѣгахъ бродни представляютъ чрезвычайно неудобную обувь, не предохраняющую ногу отъ обмороженій. Съ одной стороны, веревочки, которыми

бродни туго привязываются къ ногамъ, препятствуя правильному кровообращенію, предрасполагають къ обмороженіямъ, а съ другой, и самыя бродни, приготовленные изъ довольно тонкаго товара, не подвергаясь никогда смазыванію, промокають насквозь и промерзають. Обмороженія ногъ у арестантовъ на Сахалинѣ весьма часты.

Остается еще упомянуть о бѣльѣ арестанта. Раньше арестантъ получалъ на годъ рубахъ и порть по 3 штуки, въ 3 срока. Такимъ образомъ, арестантъ, не имѣющій собственнаго бѣлья, долженъ былъ 4 мѣсяца беззмѣнно носить рубаху и порты или оставаться безъ бѣлья, пока оно высохнетъ, если бы ему вздумалось его помыть. Положеніе нѣсколько измѣнилось, когда арестанту начали выдавать сразу на руки двѣ пары бѣлья, съ тѣмъ, чтобы одна пара была въ носкѣ, а другая въ мытьѣ. Недостаточность бѣлья прямо бросается въ глаза, если вспомнить, что арестанту приходится въ огромномъ большинствѣ случаевъ выполнять черную работу, въ грязи, и что ему полагается въ мѣсяцъ всего 24 золотника мыла. Большое число кожныхъ заболѣваній прямо можетъ быть отнесено на счетъ недостаточности бѣлья. Какъ это ни странно, но арестанты на Сахалинѣ не получаютъ ни постельныхъ принадлежностей (подстилки, одѣяла и подушки), ни полотенецъ.

Переходя къ вопросу объ арестантской работѣ, д-ръ Лобасъ замѣчаетъ, что каторжныхъ работъ, въ общепринятомъ смыслѣ слова, на Сахалинѣ почти нѣтъ. По его словамъ, крестьянинъ въ Россіи работаетъ больше сахалинскаго каторжника. Но, если принять во вниманіе, что каторжникъ этотъ ослабленъ, что онъ обязанъ долгіе годы отбывать работу принудительную, бесплатную, а потому и не интересную, то станетъ яснымъ, почему работы на Сахалинѣ носятъ названіе каторжныхъ. Тяжесть работъ на Сахалинѣ увеличивается еще и тѣмъ, что тамъ почти никогда не принимаютъ въ расчетъ физическую работоспособность арестанта къ той или иной работѣ и навыкъ къ ней. Чернорабочему не такъ трудно вытащить бревно, сработать урокъ земляныхъ работъ и пр., какъ ремесленнику, кавказскому горцу или туркмену. «Я не хочу сказать,—замѣчаетъ г. Лобасъ,—что ремесленникъ, кавказскій горецъ или туркменъ не должны отбывать тяжелыхъ работъ, но думаю, что къ такимъ работамъ людей, которые никогда не занимались тяжелымъ физическимъ трудомъ, нужно приучать исподволь: иначе, какъ мнѣ ежедневно приходится наблюдать, слабый и непривычный человекъ, взятый на тяжелую работу, быстро теряетъ силы и превращается въ неспособнаго къ труду, сидящаго на шеѣ у казны: такихъ неспособныхъ на Сахалинѣ огромное число, и это будущіе колонизаторы острова!»

На новыхъ мѣстахъ. «Енисей» даетъ слѣдующую невеселую картину изъ жизни переселенцевъ Ачинскаго округа:

«Кругомъ вѣковая тайга, или съ небольшими плоскими горками степь, и среди нея, гдѣ-нибудь недалеко отъ рѣчки, раскинулись двадцать-тридцать непрезентабельныхъ домиковъ—вотъ вамъ новая переселенческая деревня. Дворовъ почти нѣтъ; другихъ службъ, какъ, на примѣръ, сараевъ, амбаровъ и поднавѣсовъ мало у кого видать. Пригоны для скота и лошадей загорожены рѣдными жердями, положенными перпендикулярно на вбитыя въ землю сошки, тутъ же кое у кого есть маленькіе огородики, обнесенные тоже жердями. Избы построены частью изъ новаго лѣса, частью передѣланныя изъ старыхъ, купленныхъ у крестьянъ-старожилевъ, избы или, скорѣе всего, бань.

«Недалеко отъ деревни видны небольшія полосы земли—то пашни новоселовъ, засѣянная рожью, пшеницей и другими яровыми хлѣбами. Покосныя мѣста тоже вблизи деревень. Въ общемъ, каждый новосель засѣваетъ отъ одвой восьмой десятины до двухъ десятинъ. Скотоводство недавно поселившихся новоселовъ

состоитъ изъ одной лошади и одной же коровы. Болѣе зажиточнымъ считается новосель, имѣющій двѣ лошади и столько же коровъ.

«Хозяйственный инвентаръ заключается въ телегѣ, саняхъ, сохѣ и боронѣ. Бываетъ, что одна соха и борона служатъ для двухъ семей новосель.

«Внутри избъ тоже бѣднота: не видно приличной постели, какія бываютъ въ Россіи, съ большими перинами на нихъ; въ какомъ-нибудь углу стоитъ сбитая изъ дерева и досокъ, простая кровать, на ней куски вѣшны, маленькія подушки—вотъ и все; а во многихъ избахъ спать прямо на полу. У многихъ въ избахъ нѣтъ даже деревянныхъ половъ. Многие дома не соотвѣтствуютъ гигиеническимъ условіямъ. У другихъ въ сѣнцахъ помѣщается скоть. Лишней одежды тоже мало. Маленькіе сундучки на полу служатъ доказательствомъ этому. Пища новосель почти всегда постная, состоящая изъ ржаного хлѣба, щей, сваренныхъ изъ кваса, картофеля и листьевъ щавеля или свеклы. Мясю, по праздникамъ, считается лакомствомъ».

На вопросъ о причинѣ такой незавидной жизни новосель отвѣчаютъ:

«— Пришли-то мы изъ бѣдныхъ губерній, лишняго ничего не имѣли, ну, распродали тамъ свои хозяйствинки, да почти все въ дорогѣ и потратили. Вотъ и сѣли ни съ чѣмъ. Дали намъ пособія, на него-то мы и поставили эти избенки, да купили коней, коровокъ, хозяйство. Вѣдь все «нужно» купить, а денегъ нѣтъ, одного купишь, другого не достаетъ. Вотъ и перебиваемся кое-какъ, съ горемъ пополамъ, хотя бы хлѣбъ свой былъ, а то нѣтъ ничего. Земли-то здѣсь вдоволь и лѣсъ есть, но голыми руками ничего не сдѣлаешь. На все нужны силы, деньги; когда строили эти избы, такъ чуть съ голоду не померли, одинъ хлѣбъ и больше ничего. Если что нужно купить—нужно ѣхать въ деревню къ старожиламъ, а они и пользуются случаемъ, и просятъ за все втридорога—хочешь берешь, хочешь нѣтъ; волей, неволей и платишь послѣднюю копѣйку. Приходилось и такъ, что самъ работаешь надъ избой, а жена и дѣтишки отправляются по старожильскимъ селамъ собирать милостыню. Обживемся да соберемся съ силами, то тутъ жить можно, лишь бы было желаніе да охота, земля вдоволь!

«— Ну, а гдѣ лучше—тутъ или на родинѣ?—задаете вопросъ.

«— Тутъ будетъ, кажись, лучше. Вѣдь на родинѣ земли совсѣмъ мало, а нашему брату безъ земли какая же жисть? Вотъ хоть, скажемъ, мы жили. Мы были временнообязанные. Если тебѣ нужно пахать землю, ты и идешь къ барину, берешь у него землю, вспашешь, засѣешь своими сѣменами и уберешь самъ, а потомъ половину всего урожая отдаешь барину и, значитъ, выходитъ, что вся-то прибыль отъ урожая и идетъ на барина, а себѣ остается только прожить съ горемъ пополамъ. Ди и за то спасибо, а то вѣдь и совсѣмъ ничего нѣтъ. Идти на заработки—въ день 30—40 коп. даютъ, тоже мало разсчета. Хорошо, если ты какой мастеровой, то пойдешь на фабрику или въ городъ, а не знаешь ничего—караулъ кричи. Здѣсь и на счетъ заработковъ лучше: можно наняться къ старожилу въ работники; цѣны здѣсь хорошія—60—70 р. въ годъ даютъ, а тамъ 40—50 р., да еще не скоро мѣсто найдешь. Можно и на желѣзную дорогу, аль на промысла пойти. На поленщины можно ходить. Вотъ только тоска, дѣйствительно, донимаетъ, какъ-то скучно здѣсь, такъ и тянетъ въ свои края. Плохо тоже и насчетъ кражъ, видишь, какъ тутъ много крадутъ да убиваютъ—ни за што бьютъ! На што ужъ мы сейчасъ бѣдно живемъ, однако и у насъ крадутъ то лошадей, то што-нибудь другое. Все поселка эта проклятая проказитъ. Народъ тоже здѣсь хуже: все ругаются матерщиною; распущенность; никакой совѣсти нѣтъ на счетъ разврата. У насъ этого нѣтъ. Все здѣсь нороватъ одинъ другого обмануть, провести. Насъ тоже обманывали. Вообще, порядки здѣсь совсѣмъ другіе и, по правдѣ сказать, они намъ не нравятся. Церквей здѣсь мало. Лѣтомъ еще можно поѣхать въ село

къ церкви, а зимой холодъ вонь какой, а одежда у насъ не завидная, недолго и простудиться. Приѣдетъ праздникъ, помолишься дома Богу и тѣмъ и кончаешь».

Но переселенцы все-таки не унываютъ и понемногу начинаютъ привыкать къ своей жизни.

«— Ничего—привыкаемъ,—говорятъ они. Здѣсь лучше; тамъ, на родинѣ, многіе изъ насъ и этого не имѣли. Земля здѣсь подъ бокѣмъ—хочешь паши вонь тамъ, а нѣтъ—иди вонь туда. Коси сколько хошь; вышелъ за дворъ—вотъ и кормъ телку, аль коровѣ. Со временемъ будемъ больше пахать и сѣять, больше будемъ косить травы и тогда лучше будетъ. Фруктовъ здѣсь нѣтъ, зато ягодъ много. Земля тоже обрабатывается иначе, не такъ, какъ у насъ тамъ,—но ничего, приворювимся. Жалко родину, но что дѣлать?—земли тамъ нѣту, жить не на чемъ. Будь тамъ столько земли, кто бы погналъ насъ сюда, въ такую глушь да холодъ. Попривыкнемъ»,—какъ бы въ утѣшеніе о родинѣ, заключаютъ новоселы.

Пушкинскій музей. Вѣроятно, многимъ изъ читателей совершенно неизвѣстно, что въ Петербургѣ существуетъ «Пушкинскій музей», въ которомъ собрано много интересныхъ документовъ, относящихся къ жизни и произведеніямъ великаго поэта. Г. Бахтіаровъ въ «Петерб. Газетѣ» даетъ подробное описаніе этого учрежденія, которое теперь, благодаря столѣтнему юбилею Пушкина, приобретаетъ особый интересъ. Г. Бахтіаровъ пишетъ:

«Пушкинскій музей находится въ Императорскомъ Александровскомъ лицейѣ, что на Каменноостровскомъ проспектѣ, и существуетъ съ 19 октября 1879 года, когда среди лицействовъ возникла мысль собрать въ стѣнахъ заведенія все что такъ или иначе касается Пушкина.

Музей Пушкина подраздѣляется на слѣдующіе отдѣлы:

1) предметы, принадлежавшіе Пушкину; 2) сочиненія Пушкина и его изданія; 3) критическая литература о Пушкинѣ и его біографіи; 4) Пушкинъ въ русской музыкѣ; 5) Пушкинъ въ переводахъ на иностранные языки; 6) портреты Пушкина и виды мѣстностей, гдѣ онъ жилъ, а также и памятниковъ Пушкина.

Когда вы проѣзжаете по Каменноостровскому проспекту, то невольно замѣтите огромное многоэтажное бѣлое зданіе съ обширнымъ садомъ, который тянется болѣе позади зданія, чѣмъ впереди. Это и есть Александровскій лицей, на что указываетъ, отчасти, и бюстъ Императора Александра I, стоящій впереди зданія. Позади зданія, въ саду стоитъ бюстъ Пушкина, питомца лицейя. Старый обширный садъ, состоящій, преимущественно, изъ бѣлоствольныхъ березъ и выходящій на четыре улицы, сообщаетъ всей мѣстности деревенскій характеръ.

Музей помѣщается въ довольно обширномъ залѣ и производитъ внушительное впечатлѣніе. По сторонамъ, вдоль стѣнъ, стоятъ гипсовые и бронзовые проекты памятниковъ Пушкину, подаренные музею ихъ авторами, напримѣръ, проектъ Забѣлло, Лаврецкаго, Кускова. Бромъ того, бронзовая миниатюра съ памятника Пушкину въ Москвѣ—г. Опекушина. Всѣ упомянутые проекты отличаются своими достоинствами и каждый по своему объясняетъ музу Пушкина.

На стѣнахъ бросаются въ глаза извѣстныя картины: «Пушкинъ на берегу Чернаго моря», копія съ картины Рѣпина и Айвазовскаго, «Дуэль Пушкина», картина Наумова.

Возлѣ оконъ разставлены витрины, въ которыхъ подъ стекломъ хранятся разные предметы, принадлежавшіе Пушкину, автографы, книги и проч., напр., перстень Пушкина, который подарила въ музей Віардо-Гарсія; ей онъ до-

стался отъ Ивана Сергѣевича Тургенева. А вотъ и автографъ самого Тургенева — относительно перстня: «Перстень этотъ былъ подаренъ Пушкину въ Одессѣ княгиней Воронцовой. Онъ носилъ почти постоянно этотъ перстень (по поводу котораго написалъ свое стихотвореніе «Талисманъ») и подарилъ его на смертномъ одрѣ поэту Жуковскому. Отъ Жуковского перстень перешелъ къ его сыну, Павлу Васильевичу, который подарилъ его мнѣ. Парижъ, августа 1880 года. Иванъ Тургеневъ».

Далѣе, прядь волосъ Пушкина, въ миниатюрной коробкѣ пуля, вынутая изъ раны Пушкина. Рядомъ съ пулею лежитъ карточка (въ родѣ пригласительнаго билета) съ извѣщеніемъ о смерти Пушкина: «Наталя Николаевна Пушкина, съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая о кончинѣ супруга ея, двора Его Императорскаго Величества камеръ-юнкера Александра Сергѣевича Пушкина, послѣдовавшей 29-го сего января, покорнѣйше проситъ пожаловать къ отпѣванію тѣла его въ Исаакіевскій соборъ, состоящій въ Адмиралтействѣ, 1-го числа февраля, въ 11 часовъ пополудни». Далѣе лежитъ Высочайшій приказъ о разжалованіи Дантеса въ рядовые.

Изъ собственноручныхъ рисунковъ Пушкина отмѣтимъ: лицейскій рисунокъ «Собака съ птичкой», съ подписью—рисовалъ Александръ Пушкинъ, «Парень съ боченкомъ». Сохраняется также книга, сочиненія Виргилія, по которой Пушкинъ учился въ лицѣѣ, съ надписью на ней: А. Пушкинъ. Переплетъ книги довольно-таки поистрепанъ.

Собраніе всѣхъ изданій сочиненій Пушкина, начиная съ перваго посмертнаго изданія и кончая послѣдними нынѣшними дешевыми изданіями гг. Суворина, Павленкова и друг.

Пушкинъ гордился, что онъ своими произведеніями создалъ у насъ книжную торговлю. Большой толчокъ книжной промышленности данъ былъ окончаніемъ срока права литературной собственности, когда сочиненія Пушкина стали общимъ достояніемъ.

Кромѣ коллекціи всѣхъ существовавшихъ и существующихъ изданій сочиненій Пушкина, въ музеѣ собраны и современныя Пушкину періодическія изданія, въ которыхъ печатались его произведенія, напримѣръ, «Современникъ», «Библіотека для чтенія» и т. д.

Какъ извѣстно, изъ всѣхъ русскихъ писателей Пушкинъ болѣе другихъ положенъ на музыку. Какъ поэтъ по преимуществу лирической, онъ своими произведеніями неоднократно вдохновлялъ нашихъ композиторовъ, которые охотно писали цѣлыя оперы и мелкіе романсы на слова Пушкина. Достаточно назвать оперы: «Русланъ и Людмила» Глинки, «Евгеній Онѣгинъ» Чайковского, «Борисъ Годуновъ» Мусоргскаго и т. д., а многочисленные романсы на слова Пушкина поетъ вся Россія. Романсовъ издано и напечатано превеликое множество, и что не достигаетъ до простаго народа при помощи типографскаго станка, то становится достигнутымъ въ пѣснѣ или въ популярномъ сангиментальномъ романсѣ. Пушкинъ распѣвается на Руси едва ли не больше, чѣмъ читается. Кто не знаетъ его: «Черная шаль», «Подъ вечеръ осени ненастной», «Гусаръ на саблю опираясь», или «Вотъ взошла луна золотая?» и т. п.

Вотъ почему въ Пушкинскомъ музеѣ имѣется особый отдѣлъ: «Пушкинъ въ русской музыкѣ», гдѣ собраны многочисленные оперы и романсы, гдѣ-либо и когда-либо изданные и напечатанные въ Россіи.

Изъ всемірныхъ гениальныхъ писателей, не исключая и Шекспира, Байрона и Гёте, Пушкинъ переведенъ на иностранныя языки болѣе, чѣмъ его коллеги: переводная литература произведеній Пушкина занимаетъ въ музеѣ особое мѣсто и будетъ, конечно, пополняться годъ отъ году.

Въ общемъ всѣхъ №№ въ Пушкинскомъ музеѣ: предметовъ, книгъ, нотъ, картинъ, бюстовъ, рисунковъ свыше 2.000 названій. Каталога при музеѣ не

нмѣтся, но онъ изготовляется лицестами къ 26-му мая. Все, что гдѣ-либо печатается о Пушкинѣ, съ благодарностью принимается въ музей. по одному экзemplяру,—для храненія.

За границей.

Рабочая коллегія въ Оксфордѣ. Одинъ изъ сотрудниковъ англійской газеты «Daily News» описываетъ свое посѣщеніе недавно открытой коллегіи Рёскина въ Оксфордѣ*). Коллегія эта или «Рёскинъ-Голль», какъ ее называютъ англичане, представляетъ, по словамъ англійскаго журналиста, вѣчто вродѣ университетскаго поселенія, только совсѣмъ новаго рода. Обыкновенныя университетскія поселенія представляютъ колонію людей съ университетскимъ образованіемъ, устроенную въ центрѣ какого-нибудь рабочаго округа и имѣющую цѣлью просвѣщеніе обитателей этого округа и доставленіе самимъ колонистамъ возможности на практикѣ изучить социальныя проблемы. Таковы, напримѣръ, Тойнби-Голль въ Уайтъ-Чепелъ и Мэнсфельдъ-Гоузъ въ Капнистоунѣ. Рёскинъ-Голль тоже поселеніе, только не людей съ университетскимъ образованіемъ, а рабочихъ, и устроено оно не въ центрѣ рабочаго округа, а въ центрѣ университета. Эта новаго рода коллегія помѣщается въ большомъ старинномъ зданіи, выстроенномъ въ XVII вѣкѣ и служившемъ резиденціей герцогини Мальборо. И вотъ въ этомъ самомъ зданіи, гдѣ нѣкогда обитали герцоги, живутъ теперь рабочіе, студенты коллегіи. Зданіе настолько обширно, что въ немъ могутъ удобно помѣститься 40 резидентовъ и затѣмъ еще остается довольно мѣста для устройства читальни, курительной комнаты, гостиной, залы для чтенія лекцій, библіотеки и столовъ.

Честь основанія этой коллегіи принадлежитъ двумъ американцамъ: Вальтеру Фроомену и Чарльзу Берду, получившему ученую степень въ Оксфордѣ. Первоначальные фонды также доставлены американскими послѣдователями и поклонниками идей Рёскина, которые, кромѣ того, обѣщали гарантировать въ финансовомъ отношеніи это предпріятіе на нѣсколько лѣтъ. Опекуномъ коллегіи состоитъ духовное лицо, достопочтенный Деннисъ Гердъ, а въ составъ попечительства надъ коллегіей входятъ трое хорошо извѣстныхъ главарей рабочей партіи. Въ связи съ коллегіей находится «Клубъ сочувствующихъ», основанный миссисъ Фрооменъ подъ названіемъ «Backworth Club». Президентомъ этого клуба состоитъ миссъ Бедди, а секретаремъ миссъ Белль. Члены этого клуба трудятся на пользу Рёскинъ-Голля и помогаютъ общей работѣ въ этомъ направленіи. Мистеръ Фрооменъ, къ которому англійскій журналистъ обратился съ вопросомъ, какія цѣли преслѣдуетъ Рёскинъ-Голль, сказалъ: «Цѣль этого учрежденія — предоставить полную возможность молодымъ людямъ, обладающимъ самыми ничтожными средствами, воспользоваться всѣми преимуществами и воспитательными пособіями Оксфорда и поставить ихъ въ такія условія, чтобы они могли отрѣшиться хоть на короткое время отъ своей обычной обстановки и заняться самообразованіемъ подъ опытнымъ и соответствующимъ руководствомъ. Здѣсь резиденты коллегіи окружены зелеными садами и лугами и могутъ пользоваться библіотеками и музеями и изучать историческіе памятники, которые собраны въ Оксфордѣ въ такомъ количествѣ, въ какомъ они не встрѣчаются, пожалуй, больше нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь каждый изъ резидентовъ можетъ развивать свои способности и подготовить себя къ болѣе широкой индивидуальной работѣ и производительному труду и расширить свой умственный кругозоръ основательнымъ

*) См. «Миръ Божій», апрѣль.

ознакомленіемъ со всѣми человѣческими учрежденіями прошлаго и настоящаго времени».

Мистеръ Бэрдъ, съ которымъ журналистъ также бесѣдовалъ о дѣлахъ коллегіи, сказалъ ему: «Мы вовсе не имѣемъ намѣренія побуждать честныхъ ремесленниковъ покидать свой классъ и свою профессію и становиться адвокатами, пасторами, врачами, военными или финансистами. Въ виду этого мы вовсе не стремимся преподавать въ коллегіи древніе языки, метафизику, юридическія и математическія науки, теологію и медицину, которыя составляютъ предметъ правильныхъ университетскихъ курсовъ. Рёскинъ-Голлъ не имѣетъ никакой официальной связи съ университетомъ и не ставитъ своею дѣлю достиженіе университетскихъ степеней. Мы не добиваемся превращенія нашихъ студентовъ-рабочихъ въ свѣтскихъ джентльменовъ и надѣемся, что, пробывъ въ коллегіи извѣстное время, они вернуться къ своимъ лавочкамъ, фабрикамъ, фермамъ и рудникамъ и не только не покинутъ своихъ прежнихъ товарищей, возвысившихся надъ ними, но будутъ уже сами содѣйствовать умственному и нравственному возвышенію своего класса».

Резиденты Рёскинъ-Голла уплачиваютъ 10 шиллинговъ въ недѣлю за полное содержаніе, включая помѣщеніе и стирку бѣлья. Но въ виду такой низкой платы, въ коллегіи нѣтъ слугъ, за исключеніемъ повара, и всѣ обитатели Рёскинъ-Голла сами исполняютъ домашнія обязанности, убираютъ комнаты, накрываютъ на столъ, топятъ печи и чистятъ собственное платье и сапоги. Кормятъ въ коллегіи обильно и хорошо. Журналистъ, описывающій жизнь въ коллегіи, говоритъ, что на завтракъ подавалась похлебка, ветчина или копченое сало и кофе. Обѣдъ состоялъ изъ жареной баранины и картофеля. Къ чаю подавался хлѣбъ и масло въ изобиліи, а на ужинъ—какао, хлѣбъ и сыръ. Спиртные напитки строго воспрещены въ коллегіи и всѣ обѣдаютъ за однимъ длиннымъ общимъ столомъ, сами себѣ прислуживая.

До завтрака студенты коллегіи занимаются своими домашними обязанностями. Время отъ завтрака до обѣда посвящается лекціямъ и научнымъ занятіямъ. Послѣ обѣда рекреация. Въ настоящее время студенты въ рекреационное время занимаются приведеніемъ своего сада въ порядокъ и устройствомъ своего помѣщенія. Нѣкоторыя лекціи читаются по вечерамъ, но по большей части время отъ чая до ужина посвящается индивидуальному чтенію. Послѣ ужина начинаются развлечения, музыка, пѣніе, разговоры, игры въ шахматы, на бильярдъ или просто бесѣда въ курительной комнатѣ, съ трубкой или сигарой во рту. Что касается лекцій, то онѣ читаются по слѣдующей программѣ: основательное ознакомленіе слушателей съ американской и англійской конституціональной и политической исторіей, съ біографіями англійскихъ выдающихся дѣятелей; затѣмъ лекціи по исторіи Европы и соціологіи, по исторіи промышленности и политической экономіи, ознакомленіе слушателей со всѣми современными учрежденіями, исторіей науки, психологіей, философіей и литературой. Учредители коллегіи надѣются, что резиденты-студенты коллегіи будутъ имѣть возможность пробыть въ ней годъ, а затѣмъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе еще трехлѣтняго промежутка времени будутъ поддерживать связь съ нею или же съ какимъ-нибудь другимъ университетскимъ поселеніемъ. Много надеждъ возлагается на организацію постоянной переписки между преподавателями коллегіи и всѣми желающими заняться самообразованіемъ. Уже около 500 члвкъ, принадлежащихъ къ рабочему классу въ разныхъ мѣстахъ страны, выразили желаніе вести такую переписку. Они сами выбираютъ интересующіе ихъ научные предметы и имъ посылаются программы чтенія, а затѣмъ производится испытаніе посредствомъ письменныхъ работъ, которыя они присылаютъ въ коллегію и которыя исправляются цѣлымъ сонмомъ помощниковъ, преимущественно изъ студентовъ и преподавателей оксфордскаго университета.

Въ настоящее время въ коллегіи около тридцати студентовъ; самому младшему изъ нихъ 18 лѣтъ, самому старшему около 35. Многіе изъ этихъ студентовъ, включая одного плотника, клерка, повара и паяльщика, уплачиваютъ коллегіи за свое содержаніе и ученіе свою работою и остаются на годъ. Еще два или три человѣка платятъ половину, такъ какъ исполняютъ часть работъ. Нѣсколько другихъ нашли работу по своей специальности въ городѣ и часть времени посвящаютъ ей, а другую часть проводятъ въ коллегіи. Остальные либо имѣютъ сбереженія, позволяющія имъ пробыть въ коллегіи, либо же посланы туда на счетъ разныхъ обществъ, въ качествѣ стипендіатовъ. Такъ, одно кооперативное общество уплачиваетъ за одного студента; въ числѣ тѣхъ, которые сами полностью уплачиваютъ за свое содержаніе, находятся: одинъ бывшій солдатъ, три инженерныхъ рабочихъ, одинъ наборщикъ, одинъ рудокопъ, одинъ желѣзнодорожный мастеръ и одинъ плотникъ. Всѣ эти студенты, по словамъ англійскаго журналиста, представляютъ высшій типъ ремесленника. Они единогласно высказывали удовольствіе по поводу возможности годъ посвятить самообразованію и почти всѣ заявили о своемъ намѣреніи вернуться къ прежнимъ занятіямъ по окончаніи этого года, нѣкоторые же выразили при этомъ желаніе впоследствии занять отвѣтственные мѣста въ рабочихъ союзахъ и кооперативныхъ обществахъ. Преподаватели коллегіи поражаются прилежаніемъ и любознательностью своихъ слушателей. По окончаніи каждой лекціи слушатели буквально закидываютъ ихъ вопросами, указывающими на то, что они поняли и усвоили прочитанное. Университетскія власти въ Оксфордѣ относятся къ коллегіи Рёскина въ высшей степени сочувственно, видя въ ней благое начинаніе, результаты котораго не замедлятъ отразиться самымъ благотворнымъ образомъ на цѣломъ классѣ англійскаго населенія.

Годовщина основателя Арміи Спасенія. Въ началѣ апрѣля, во всѣхъ мѣстахъ Англіи и ея обширныхъ колоній и въ различныхъ отдаленныхъ уголкахъ земного шара праздновалась 71-я годовщина дня рожденія генерала Бутса, основателя и руководителя «Арміи Спасенія». Въ этотъ день можно было убѣдиться, какъ много горячихъ послѣдователей имѣетъ этотъ проповѣдникъ и какою популярностью онъ пользуется среди бѣднѣйшихъ классовъ населенія, даже во многихъ нецивилизованныхъ странахъ. Въ послѣдніе годы отношеніе англійскаго и вообще европейскаго общества къ арміи спасенія, возбуждавшей прежде столько насмѣшекъ и нападокъ, совершенно измѣнилось. Никто не рѣшится теперь отрицать заслугъ Бутса, который такъ много сдѣлалъ на пользу страждущаго человѣчества и былъ основателемъ одной изъ величайшихъ филантропическихъ ассоціацій нашего времени. Конечно, только время покажетъ, насколько основательны надежды, которыя возлагаетъ Бутсъ на свои учрежденія и главнымъ образомъ на «колоніи», представляющія новый родъ помощи пролетариату; Бутсъ, конечно—энтузіастъ и фанатикъ своей идеи, но тѣмъ не менѣе уже теперь можно сказать, что его схема организаціи помощи гораздо цѣлесообразнѣе другихъ, которые предлагались и приводились въ исполненіе разными филантропами. Бутсъ изложилъ свои идеи въ книгахъ, которыя въ свое время произвели громадное впечатлѣніе и были переведены на всѣ европейскіе языки. Многіе изъ выдающихся англійскихъ дѣятелей, въ томъ числѣ Гладстонъ, отнеслись очень сочувственно къ пропагандѣ Бутса; къ нему стали стекаться пожертвованія со всѣхъ сторонъ, такъ что онъ могъ, вскорѣ послѣ выхода своихъ книжекъ, привести часть схемы въ исполненіе, основать нѣсколько мастерскихъ, центральное бюро труда, убѣжище для освобождаемыхъ изъ тюремъ, склады дешевыхъ припасовъ. Онъ приобрѣлъ участіи земли въ Англіи и положилъ начало своей колоніи, причѣмъ вездѣ и всюду онъ старается провести принципъ, отвергающій даровой трудъ; Бутсъ, по возможности, избѣгаетъ оказанія даро-

выхъ услугъ, но старается такъ устроить, чтобы помощь оказываемая имъ, была доступна, но не носила, характера милостыни и не унижала бы достоинства человѣка.

Пятьдесятъ пять лѣтъ тому назадъ, Вилльямъ Бутсъ былъ подмастерьемъ у портного въ маленькомъ провинціальномъ городкѣ. Онъ былъ слабого здоровья, не получилъ никакого особеннаго образованія и не пользовался ровно никакимъ вліаніемъ. Онъ состоялъ тогда въ методистской общинѣ, но тамъ никто не обращалъ на него ровно никакого вниманія, и когда онъ захотѣлъ читать проповѣдь, то къ нему отнеслись съ насмѣшкой. Въ настоящее же время Бутсъ стоитъ во главѣ самой обширной протестантской общины, носящей наиболѣе космополитической характеръ и наиболѣе агрессивной. Странники его насчитываются теперь сотнями тысячъ, а десятки тысячъ поклялись сѣбно идти за нимъ всюду. Но онъ не проповѣдуетъ никакой новой доктрины и методы его представляютъ нечто иное, какъ повтореніе прежнихъ методовъ, обычныхъ всѣмъ религіознымъ движеніямъ первыхъ временъ христіанства и только болѣе приспособленныхъ къ условіямъ современной жизни. Многие изъ современныхъ авторовъ находятъ, что между Арміей Спасенія и францисканскимъ орденомъ есть очень большое сходство и исторія, конечно, должна будетъ зачислять Бутса въ разрядъ духовныхъ вождей человѣчества.

Бутсъ въ молодости принадлежалъ къ вселенской школѣ методистовъ, которые въ тѣ времена пользовались довольно большимъ вліаніемъ. Эти методисты отличались необычайною строгостью взглядовъ, достигавшихъ крайнихъ предѣловъ пуританизма, и единственною цѣлью въ жизни ставили спасеніе душъ. Вилльямъ Бутсъ былъ совсѣмъ еще мальчикомъ, когда познакомился съ однимъ изъ вселенскихъ проповѣдниковъ и увлекся его проповѣдью. Съ той поры онъ началъ самъ мечтать о томъ, чтобы слѣдовать проповѣдникомъ, но это было необыкновенно трудно, тѣмъ болѣе, что онъ былъ очень слабого здоровья и докторъ ему прямо сказалъ, что онъ не выдержитъ такой суровой жизни и умереть и смерть его будетъ равносильна самоубійству. Въ концѣ концовъ однако, по мѣрѣ того, какъ Бутсъ становится самостоятельнѣе, методисты почувствовали къ нему недовѣріе, заподозривъ его въ принадлежности къ реформаторскому движенію. Это было справедливо до нѣкоторой степени и Бутсъ въ концѣ концовъ порвалъ съ методистами, такъ какъ его идея была—«спасеніе людей вѣй храровъ», и онъ не хотѣлъ связывать свою дѣятельность принадлежностью къ какой-нибудь общинѣ. Поселившись въ восточномъ Лондонѣ, онъ былъ пораженъ до глубины души тѣми картинами нищеты, которыя видѣлъ тутъ на каждомъ шагу, рядомъ со страшнымъ нравственнымъ паденіемъ и пьянствомъ. Онъ рѣшилъ именно въ этихъ ужасныхъ кварталахъ, гдѣ ютятся всѣ отбросы общества, сосредоточить свою дѣятельность. Но для этого ему нужно было привлечь на себя вниманіе населенія, подѣйствовать на его воображеніе и тутъ было положено начало разнымъ шумнымъ и грубымъ приемамъ, посредствомъ которыхъ Бутсъ и его сторонники, т. е. такъ называемая Армія Спасенія, старались обратить на себя вниманіе и заставить себя слушать. Конечно, особенно въ началѣ, Бутсу не разъ приходилось подвергаться нападенію и даже вступать въ битву; случались даже кровопролитія, но теперь это уже отошло въ область преданій, и когда Бутсъ пріѣзжаетъ въ какой-нибудь городъ, то ему устраиваютъ торжественный приемъ и не только граждане, но и власти выходятъ къ нему на встрѣчу, средства Арміи Спасенія громадны, но образуются главнымъ образомъ изъ пожертвованій.

Несмотря на многія курьезныя стороны этого ученія и всевозможные, подчасъ нелѣпыя атрибуты, которыми сопровождается проповѣдь, тѣмъ не менѣе въ ученіи этомъ заключаются возвышенныя идеи. Бутсъ возводилъ въ принципъ, что нельзя думать о спасеніи душъ такъ называемыхъ подонковъ общества,

не позаботившись прежде объ улучшеніи условій ихъ существованія, такъ какъ они часто побуждаются къ пороку тяжелыми условіями своей жизни и нищетою. Такимъ образомъ Бутсъ организовалъ помощь нуждающимся въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и въ разнообразномъ видѣ. Съ 1878 года, когда космополитическая община, которую онъ организовалъ, получила оффиціально названіе Арміи Спасенія, Бутсъ устроилъ въ одномъ только Лондонѣ нѣсколько дешевыхъ ночлежныхъ пріютовъ, нѣсколько столовыхъ, пріютовъ для дѣтей и пріютовъ для падшихъ женщинъ и больницу для алкоголиковъ и т. п.

Генералъ Бутсъ до сихъ поръ, несмотря на свой почтенный возрастъ, сохраняетъ въ своихъ рукахъ всѣ нити управленія своею громадною паствою. Ежедневно онъ получаетъ донесеніе со всѣхъ концовъ міра о дѣятельности своихъ послѣдователей. Онъ зорко слѣдитъ за ними и пятеро изъ его приближенныхъ, его довѣренныя лица, помогаютъ ему въ этомъ, какъ спеціальныя агенты. Его старшій сынъ, Брамвеллъ Бутсъ, горячо преданный его идеямъ, поставленъ имъ во главѣ центральнога управленія, весь механизмъ котораго дѣйствуетъ съ удивительною правильностью и безупречностью. Если Бутсъ получить увѣдомленіе, что гдѣ-нибудь въ самомъ отдаленномъ уголѣ дѣло не идетъ на ладъ, то онъ немедленно отражаетъ тула кого-нибудь изъ довѣренныхъ лицъ своего главнаго штаба, который и долженъ на мѣстѣ убѣдиться, что можетъ служить препятствіемъ правильной дѣятельности общины и немедленно удалить изъ общины вреднаго члена, стѣсняющаго ея дѣйствія.

Празднованіе годовщины дня рожденія генерала Бутса въ этомъ году наглядно свидѣтельствуетъ, что его авторитетъ и популярность все возрастаютъ и даже прежніе его противники признаютъ его заслуги, изъ которыхъ далеко не послѣдняя та, что онъ отрицаетъ всѣ расовыя прадубѣжденія и преграды и желаетъ объединить въ общей дѣятельности все человѣчество.

Фабрикантъ-художникъ. Новое искусство, которому положили основаніе Росетти, Рёскинъ и Вильямъ Моррисъ, распространилось теперь изъ Англіи и въ другія страны; образовалось ябчто вродѣ новой религіи, разославшей повсюду своихъ миссіонеровъ, проповѣдующихъ, что цѣлью искусства должно быть украшеніе и возвышеніе человѣческой жизни, посредствомъ медленнаго и глубокаго воздѣйствія на окружающую обстановку и воспитанія эстетическаго чувства въ людяхъ. Извѣстно, какъ проводилъ въ жизнь свои идеи Вильямъ Моррисъ. Онъ основалъ фабрику художественныхъ издѣлій для домашняго обихода, и дѣйствительно этотъ «поэтъ-обойщикъ», какъ его въ шутку называли англичане, много содѣйствовалъ развитію художественнаго чувства въ Англіи. Примѣръ нашель подражателей. Въ рабочемъ кварталѣ Лондона, населеніе котораго равняется двумъ милліонамъ и куда очень рѣдко заглядываютъ туристы, проживалъ ремесленникъ, художникъ и изобрѣтатель, Климентъ Хитонъ, превратившій свой маленькій домикъ въ мастерскую, гдѣ онъ упорно трудился надъ разными произведеніями искусства, обличавшими въ немъ громадный запасъ художественной фантазіи. Сумрачное лондонское небо, туманы и неприглядная окружающая обстановка не могли не дѣйствовать удручающимъ образомъ на художника-ремесленника и при первой же возможности онъ отправился искать красоты природы и свѣтлое голубое небо, которымъ ему такъ рѣдко удавалось любоваться въ Лондонѣ. Климентъ Хитонъ поѣхалъ въ Швейцарію, и восхищенный этою страной, поселился въ Невшателѣ, гдѣ основалъ фабрику по идеѣ Вильяма Морриса, котораго онъ былъ горячимъ послѣдователемъ. Также какъ и Моррисъ, Хитонъ занимается пропагандою идеи чистаго искусства и свободнаго труда, горячо возставая противъ современныхъ условій, и подкрѣпляетъ слово дѣломъ, вводя въ своей мастерской совершенно иной порядокъ, чѣмъ какой существуетъ почти на всѣхъ фабрикахъ. Но Хитонъ не ограничи-

вается однимъ только практическимъ примѣненіемъ своихъ идей; онъ устраиваетъ конференціи, на которыя приглашаетъ рабочихъ и проповѣдуетъ имъ свои взгляды, стараясь пробудить и развить въ нихъ чувство прекраснаго и усилить въ нихъ стремленіе къ украшенію и возвышенію жизни. «Это чувство прекраснаго,—говоритъ онъ своимъ слушателямъ,—врожденное у каждаго человѣка и проявленія его существуютъ даже у дикихъ народовъ, которые всегда стремятся украсить свое оружіе и свою домашнюю утварь. Но это чувство можетъ атрофироваться, можетъ извратиться и этого надо избѣгать и съ этимъ надо бороться». Хитонъ недурной ораторъ и умѣетъ увлекать свою аудиторію. Онъ читаетъ рабочимъ нѣчто вроде исторіи искусства, и его слушаютъ съ большимъ вниманіемъ.

Несмотря на то, что Хитонъ принадлежитъ къ числу горячихъ поклонниковъ идей Рёскина, онъ все-таки не во всемъ согласенъ со своимъ учителемъ. Между прочимъ, онъ далеко не раздѣляетъ его ненависти къ машинному производству. Новая школа зашла такъ далеко, что почти запретила употребленіе машиннаго труда. Но Хитонъ не выказываетъ такой нетерпимости и, вопреки рёскиновскимъ теоріямъ, находитъ, что было бы опрометчиво лишать себя помощи машинъ, въ особенности при производствѣ работъ, носящихъ болѣе или менѣе механической характеръ, гдѣ рабочія руки могутъ быть съ пользою замѣнены машинами. Развѣ искусство сколько-нибудь пострадаетъ отъ того, что машина будетъ пробивать отверстія вмѣсто того, чтобы это дѣлать человѣку руками?—говоритъ онъ. Машина это сдѣлаетъ скорѣе и ручной трудъ такимъ образомъ сберегается для другой, болѣе важной и плодотворной созидательной работы. Къ тому же машина даетъ возможность увеличивать до безконечности число произведеній искусства и распространять ихъ въ изобиліи, такъ чтобы они не были только исключительнымъ достояніемъ богатыхъ, но встрѣчались и въ жилищахъ бѣдняковъ, эстетическое чувство которыхъ также требуетъ удовлетворенія.

Такимъ образомъ Хитонъ вноситъ поправку въ рёскиновскія теоріи, не находя, чтобы между машиннымъ производствомъ и искусствомъ существовалъ такой непримиримый антагонизмъ. По его мнѣнію объ эти силы можно было бы комбинировать и на своей фабрикѣ онъ именно пробуетъ такую комбинацію и до сихъ поръ результаты этого опыта были очень успѣшны. Подобно Моррису, Хитонъ также изготовляетъ на своей фабрикѣ предметы декоративнаго искусства и постоянно изобрѣтаетъ новые образцы и новые способы производства, стремясь къ ихъ усовершенствованію. Его мастерскія изготовляютъ и выпускаютъ самыя разнообразныя художественныя произведенія, которыя уже приобрѣли извѣстность не только среди мѣстныхъ жителей, но и за предѣлами страны. Хитонъ отправляетъ въ Англію обои съ рельефными рисунками; во Францію—разныя мелкія произведенія искусства, въ особенности вазы, украшенныя мозаикой изъ эмали и т. п. Въ Швейцаріи Хитонъ уже нѣсколько лѣтъ работаетъ надъ украшеніемъ общественныхъ зданій, музеевъ и т. д. Но это только практическая сторона дѣла, нравственная же заключается въ томъ, чтобы внушить рабочему идею и пониманіе красоты и ввести красоту въ обыкновенную жизнь, въ самую сѣренькую, будничную обстановку.

Японія прежде и теперь. Одна изъ большихъ японскихъ газетъ въ Токио, «Yomiuri Shimbun» обратилась ко всѣмъ именитымъ европейцамъ, проживающимъ въ японской столицѣ, съ просьбою высказать свое мнѣніе о современной Японіи и такимъ образомъ предполагаетъ напечатать цѣлый рядъ интервью съ разными лицами, дипломатами, профессорами и т. д. Начало положено Мипелемъ Ревономъ, профессоромъ на юридическомъ факультетѣ въ уни-

верситетѣ Токио и совѣтникомъ японскаго правительства. Ревонъ живетъ уже семь лѣтъ въ Японіи и считается довольно хорошимъ знатокомъ японцевъ и японской жизни, такъ что замѣчанія, высказанныя имъ, произвели громадную сенсацію въ японскомъ обществѣ и вызвали горячую полемику. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ Ревонъ:

«Европейцы, совершенно не знающіе Японіи, охотно воображаютъ, что до введенія западной цивилизаціи, это была болѣе или менѣе варварская страна. Повидимому, имъ неизвѣстно, что гораздо ранѣе этой эпохи, въ Японіи существовала очень утонченная и весьма широкая цивилизація, но совершенно особаго рода. Достаточно взглянуть на то, что совершается въ данную минуту, чтобы въ этомъ убѣдиться. Когда двѣ страны приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, причѣмъ одна изъ нихъ обладаетъ весьма развитой цивилизаціей, другая же — нѣтъ, то въ результатѣ послѣдняя всегда погибаетъ. Это неизбѣжный законъ исторіи и онъ достаточно доказанъ исчезаніемъ абorigеновъ Америки и Африки. Посмотрите же теперь, каковы результаты соприкосновенія японцевъ съ европейцами? Японцы не только сохраняютъ свою индивидуальность, но они съ большимъ искусствомъ извлекаютъ все, что только можно и что только выгодно для нихъ, изъ европейской цивилизаціи и пользуются этимъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ».

Послѣ этого Ревонъ перечисляетъ основныя качества японской расы, ихъ горячій патриотизмъ, утонченное художественное чувство и врожденную любовь къ природѣ, которую каждый японецъ носитъ въ своемъ сердцѣ. Но рядомъ съ этими бесспорными качествами приходится упомянуть и о недостаткахъ, а Ревонъ на первый планъ выводитъ дурныя коммерческія нравы Японіи. Меркантильные классы въ Японіи весьма часто страдаютъ недостаткомъ честности и добросовѣстности, затѣмъ Ревонъ ставитъ имъ въ упрекъ отсутствіе научнаго любопытства. «Въ Европѣ, — говоритъ Ревонъ, — этого рода любопытство родилось въ Греціи и отсюда уже оно распространилось въ Римѣ. Распространителями его въ средніе вѣка были арабы и такимъ образомъ оно все разивалось и въ нашъ вѣкъ породило столько замѣчательныхъ открытій и изобрѣтеній. Японцамъ это любопытство совсѣмъ неизвѣстно; они болѣею частью довольствуются только приобрѣтеніемъ знаній, необходимыхъ для практическаго примѣненія, и если ихъ ученые отправлялись нѣкогда, рискуя собственной жизнью, къ голландцамъ въ Нагасаки, чтобы поучиться у нихъ анатоміи, то дѣлали они это главнымъ образомъ лишь ради примѣненія этой науки къ медицинской практикѣ; что же касается причины вещей, то она ихъ никогда не интересовала».

Ревонъ переходитъ затѣмъ къ изслѣдованію тѣхъ примѣненій, которыя произвела въ японской жизни европейская цивилизація. «Принято думать, — говоритъ онъ, — что японцы лишь внѣшнимъ образомъ усвоили себѣ европейскую цивилизацію, приобрѣли внѣшній доскъ, но что въ глубинѣ ничто не измѣнилось. Многіе возмущаются, что въ изящную, утонченную и художественную цивилизацію Японіи вводятся всѣ атрибуты европейской цивилизаціи, лишаящія японскую цивилизацію ея особенныхъ привлекательныхъ сторонъ. И тѣ, и другіе взгляды невѣрны. Несомнѣнно, что Японія находится на пути къ прогрессу, что прогрессъ этотъ замѣчается уже во многихъ направленіяхъ и уже произвелъ не только матеріальныя измѣненія, но и глубокія перемены во взглядахъ и идеяхъ. Нельзя не указать прежде всего на измѣненія въ политическомъ отношеніи, хотя, разумѣется, парламентскій механизмъ въ Японіи дѣйствуетъ еще не совсѣмъ правильно, благодаря тому, что политическое воспитаніе націи только еще начинается. Народное большинство еще не имѣетъ понятія о принципахъ парламентскаго управленія, но, разумѣется, нельзя же требовать, чтобы въ такое короткое время народъ проникся этими идеями и вполне ихъ

усвоилъ, тогда какъ даже во многихъ западныхъ государствахъ идеи эти до сихъ поръ еще не вполне усвоены народами; но какъ бы ни былъ несовершененъ парламентскій режимъ въ Японіи, она все-таки избрала вѣрный путь, чтобы усвоить его. Нельзя выучиться плавать, смотря на воду съ берега; надо броситься въ воду и попробовать поплыть!»

Ревонъ несочувственно относится къ увлеченію Японіи милитаризмомъ и ея преувеличеннымъ вооруженіямъ. Онъ находитъ, что Японія не должна преступать въ этомъ отношеніи предѣлы, указываемые ей требованіями національной обороны. Къ чему Японія такая многочисленная армія? Вполнѣ достаточно имѣть сильный флотъ, чтобы помѣшать непріятелю приближаться къ берегамъ и, по мнѣнію Ревона, японскіе политики совершаютъ большую ошибку, вводя государство въ такіе непроизводительные расходы, какіе нужны для содержанія столь многочисленной арміи.

Что касается положенія женщинъ въ современной Японіи, то и тутъ, по словамъ Ревона, сталкиваются два теченія: одно стремится ввести въ Японію американскую систему «возвеличенія женщины», другое—желаетъ сохраненія старой японской системы, основанной на безусловномъ подчиненіи женщины мужчине, какъ существа низшаго. Цивилизованные японцы обнаруживаютъ однако склонность ввести американскую систему и, по мнѣнію Ревона, это будетъ только переходомъ изъ одной крайности въ другую. Въ заключеніе Ревонъ предостерегаетъ японцевъ, чтобы они не слишкомъ стремились къ уничтоженію духа націи. «Интеллигентные и обладающіе въ высокой степени инициативой японцы, — говоритъ онъ, — обладаютъ всѣми данными, чтобы стать великою націей, равной всѣмъ великимъ державамъ міра».

Разумѣется, это мнѣніе о японцахъ, высказанное въ распространенной газетѣ однимъ изъ уважаемыхъ европейцевъ, вызвало горячіе толки въ японскомъ интеллигентномъ обществѣ, тамъ, гдѣ одѣваются и думаютъ по европейски. Особенно заинтересованъ былъ этими взглядами Ревона маркизъ Ито, который справедливо называютъ «отцомъ современной Японіи», такъ какъ онъ былъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей, совершившихъ превращеніе Японіи и переселившихъ въ нее европейскія идеи и цивилизацію. Надо помнить, что это превращеніе совершилось въ какія-нибудь тридцать лѣтъ и подобаго примѣра не существуетъ въ мировой исторіи. «Мы не только подражаемъ западнымъ методамъ, — сказалъ онъ одному англійскому журналисту, съ которымъ бесѣдовалъ о взглядахъ Ревона, — но мы ввели западный механизмъ вслѣдствіе того, что онъ долженъ лучше содѣйствовать развитію характера націи, поставить это развитіе въ лучшія условія. До нынѣшняго поколѣнія Японія не имѣла понятія о своихъ силахъ и способностяхъ и о томъ, какое мѣсто она можетъ занять среди другихъ націй. Это правда, что мы, островитяне, не особенно долюбляемъ иностранцевъ, но мы никогда не были восточнымъ народомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это понимаютъ европейцы, и мы никогда не были раболѣпны. Въ настоящее время Японія, конечно, является весьма активнымъ факторомъ въ восточныхъ дѣлахъ. Въ прежніе годы западныя націи интересовались ею только какъ странкою, изобилующей оригинальными произведеніями искусства, но теперь мы стремимся занять мѣсто среди цивилизованныхъ націй. Прежде къ намъ относились, какъ къ восточному государству, въ которомъ весьма слабо развиты понятія о чести и справедливости и которому довѣрять нельзя. Теперь все измѣнилось и европейцы уже не могутъ относиться къ намъ съ прежнимъ пренебреженіемъ. Конечно, еще многое остается сдѣлать въ нашемъ самоуправленіи. Это вѣрно, что парламентскій порядокъ не дѣйствуетъ правильно, что существуетъ большая путаница въ нашихъ политическихъ понятіяхъ и среди нашихъ партій, но вѣдь развѣ можно создать и укрѣпить политическіе взгляды въ какія-нибудь восемь лѣтъ конституціоннаго ре-

жима? Партія не имѣли времени развить свои принципы и, конечно, люди группировались около отдѣльныхъ единицъ, а не около принципа. Большинство людей партій имѣютъ весьма смутныя понятія о томъ, что нужно для созданія партіи». Маркизъ Ито не допускаетъ, чтобы въ Японіи могла создаться сильная консервативная партія. Японія, по его мнѣнію, по существу прогрессивная нація и это движеніе впередъ уже замѣчается въ самыхъ глубокихъ слояхъ японскаго общества, въ японской семьѣ, въ положеніи женщины. Въ послѣднемъ отношеніи Японія двигается быстрыми шагами, вводитъ реформы въ женскомъ воспитаніи и по справедливости можетъ гордиться тѣмъ, что сдѣлано въ такой короткій срокъ.

Парсы въ Индіи и европейское вліяніе. Парсы, безъ сомнѣнія, представляютъ одну изъ наиболѣе интересныхъ религіозныхъ сектъ Индіи и занимаютъ выдающееся мѣсто въ промышленности страны, въ области либеральныхъ профессій, въ торговлѣ, просвѣщеніи и т. д. Между тѣмъ они далеко не составляютъ большинства; ихъ всего 90.000, но зато они всё почти сосредоточены въ Бомбей и нѣкоторыхъ другихъ городахъ. Большинство владѣльцевъ бумагопрядильныхъ фабрикъ въ Бомбей—парсы. Въ старомъ городѣ, представляющемъ нѣчто вродѣ лондонскаго Сити, большинство хозяевъ и служащихъ—парсы. Въ новомъ городѣ, надъ которымъ господствуетъ готическая колокольня университета, парсы очень многочисленны, какъ среди профессоровъ, такъ и среди студентовъ. Среди адвокатовъ, врачей, въ литературныхъ и политическихъ ассоціаціяхъ Бомбея, среди членовъ муниципалитета, въ оппозиціи и зачастую въ первыхъ рядахъ національнаго движенія, вездѣ можно встрѣтить парсовъ. Единственныя изъ туземцевъ, ставшіе членами англійскаго парламента, также парсы; одинъ изъ нихъ принадлежитъ къ либеральной, другой—къ консервативной партіи.

Въ политикѣ, въ умственномъ трудѣ и въ торговлѣ парсы берутъ верхъ надъ всѣми прочими индусами, которымъ кастовыя традиціи все таки мѣшаютъ исполнѣнн пріобщиться къ европейской жизни. Парсы же, наоборотъ, легко усваиваютъ западныя привычки и зажиточные парсы давно уже стали оѣбваться по европейски и ввели у себя европейскую обстановку. Молодые парсы изъ хорошихъ семействъ непременно отправляются въ Англію для довершенія своего образованія и большинство изъ нихъ говоритъ на нѣсколькихъ европейскихъ языкахъ и много путешествовали. По возвращеніи въ Индію, они ровно ничѣмъ уже не отличаются отъ европейцевъ, усваиваютъ себѣ европейскій скептицизмъ и разныя европейскія привычки, между прочимъ, куреніе, что, разумѣется, приводитъ въ ужасъ стариковъ, исповѣдующихъ правовѣрные взгляды. Новаторы заявляютъ, что во времена Зороастра табаку не было и онъ, слѣдовательно, не могъ запретить курить его, такъ что куреніе не является нарушеніемъ его закона. Во всякомъ случаѣ, надо замѣтить, что парсы, не только молодые, но даже старые, обнаруживаютъ удивительную индифферентность въ религіозныхъ вопросахъ, которая составляетъ столь рѣдкое явленіе среди восточныхъ народовъ.

Парсы почти единственныя среди индусовъ, которые заботятся о воспитаніи своихъ женщинъ и даже показываются въ публикѣ со своими женами, какъ это дѣлаютъ европейцы. Да и жены и дочери парсовъ не только соперничаютъ теперь съ англичанками въ игрѣ въ теннисъ и въ ѣздѣ на велосипедѣ, но также занимаются наукой и умственнымъ трудомъ добываютъ себѣ средства къ жизни. Учительницы въ Бомбей—либо европейки, либо парсы, и женщины парсовъ—первыя индусскія женщины, начавшія заниматься преподаваніемъ. Въ Бомбей весь учебный персоналъ въ школахъ состоитъ изъ парсовъ. Въ Пунаѣ военномъ центрѣ Деккана, въ двухъ второразрядныхъ школахъ всѣ учительницы

изъ секты парсовъ. Въ Бародо, столицѣ одного туземнаго царства, во главѣ «нормальной школы учительницъ» находится молодая женщина изъ парсовъ.

«Мы французы Бомбея!» сказалъ одинъ изъ парсовъ французскому журналисту, путешествующему по Индіи. Въ этомъ восклицаніи, разумѣется, много преувеличенія, но дѣйствительно французы пользуются большими симпатіями среди парсовъ и французскій журналистъ не безъ гордости констатируетъ это. Въ парсійскомъ клубѣ, куда онъ былъ приглашенъ, онъ нашелъ человѣкъ двадцать, бѣгло говорящихъ по-французски, и провелъ тамъ одинъ изъ самыхъ веселыхъ вечеровъ въ своей жизни. Въ этомъ клубѣ оказалась прекрасная библіотека французскихъ книгъ, основанная на суммы, пожертвованныя однимъ богатымъ парсомъ, эта библіотека существуетъ уже около 12 лѣтъ.

По мнѣнію людей, хорошо знающихъ и изучающихъ Индію, парсы составляютъ теперь главную интеллектуальную и прогрессивную силу Индіи. Теперь образованные парсы при всякомъ удобномъ случаѣ стараются заявить о своей приверженности англичанами, но кто же сомнѣвается, что эта приверженность тотчасъ же исчезнетъ, какъ только парсы почувствуютъ, что они могутъ сражаться съ англичанами равнымъ оружіемъ.

Англичанамъ нечего опасаться враговъ извнѣ, будто бы стремящихся къ завоеванію Индіи и изгнанію англичанъ. Парсы, которымъ несомнѣнно принадлежитъ будущее, гораздо болѣе опасны для нихъ и дѣйствительно могутъ подорвать англійскій престижъ среди населенія и вытѣснить англичанъ изъ занятой ими позиціи въ Индіи, сдѣлавшись сами господствующимъ классомъ.

Въ Египтѣ. Извѣстіе о появленіи чумы въ Джеддѣ совпало съ отправленіемъ обычнаго ежегоднаго паломничества въ Мекку и поэтому оно произвело въ Египтѣ большую сенсацію. Санитарный совѣтъ взволновался и потребовалъ, чтобъ паломничество было отменено, но египетское правительство не рѣшается на такую мѣру, которая идетъ въ разрѣзъ со всѣми религіозными понятіями населенія. Улемы (представляющіе въ сущности нѣчто вродѣ кассационнаго суда), къ которымъ обратились за совѣтомъ по этому поводу, высказались весьма уклончиво: «Пусть ѣдутъ тѣ, у кого есть вѣра и кто убѣжденъ, что въ книгѣ судебъ записана и ихъ судьба! Тотъ, кто боится погибнуть, пусть останется!» Конечно, такое рѣшеніе навлекаетъ большія опасности на Египетъ, а слѣдовательно и на Европу, но оспаривать его неудобно, такъ какъ оно задѣваетъ религіозныя чувства населенія.

Такимъ образомъ первая партія паломниковъ уже отправилась и повезла обычные приношенія Египта—три ковра, которые изготовлялись въ теченіе десяти лѣтъ и предназначаются: одинъ для могилы пророка, другой для могилы Авраама, а третій, самый богатый, представляющій настоящую пирамиду золота и шелка, предназначается для каабы. Изготовленіе этихъ ковровъ составляетъ большой источникъ расходовъ для египетскаго правительства, которое тратитъ на это не менѣе 350.000 фр. въ годъ. Перенесеніе ковровъ и отъѣздъ паломниковъ сопровождаются торжественною церемоніей. Городъ украшается флагами, войска разстаниваются шпалерами по улицамъ, и въ высшей степени живописная восточная толпа наполняетъ все свободное пространство на улицахъ и ютится на крышахъ домовъ.

На этотъ разъ церемонія эта сопровождалась еще большею торжественностью, такъ какъ она совпала съ празднествами, даваемыми матерью хедива въ честь своего внука. Хедивъ присутствовалъ на церемоніи, и когда онъ облобызалъ золотыя кисти ковра и уздечку верблюда, который долженъ будетъ отвезти въ Мекку драгоцѣнный коверъ, всю толпу охватилъ трепетъ религіознаго энтузіазма. Толпа заготала; послышались восторженные возгласы, вопли и рыданія тѣхъ, кто не могъ принять участія въ паломничествѣ. Виѣсть съ

этими ковромъ отправились и музыканты, танцовщики, мимы и шуты всякаго рода, которые сопровождаютъ коверъ въ Мекку и вступаютъ вмѣстѣ съ нимъ въ священный городъ даже впереди ковра султана, такъ какъ, согласно воззрѣніямъ мусульманъ, смѣхъ, танцы, пѣніе и разныя гримасы имѣютъ свойство отвращать всякія бѣдствія и болѣзни. Насколько это средство окажется всецѣльнымъ и теперь, когда въ Геджазѣ появилась страшная эпидемія—это не берутся рѣшить даже правовѣрные мусульмане, и многіе изъ остающихся, прощаясь съ паломниками, испытываютъ въ душѣ болѣе или менѣе смутное опасеніе, что они ихъ видать въ послѣдній разъ. Многіе ли изъ нихъ вернутся изъ этого труднаго путешествія, которое сопряжено со столькими лишеніями и опасностями?

Между тѣмъ, несмотря на это сохраненіе въ народѣ религіознаго фанатизма, Египетъ все-таки замѣтно прогрессируетъ во всѣхъ отношеніяхъ и англичане должны быть довольны; особенно процвѣтаютъ промышленныя предпріятія и цифра сдѣлокъ, заключенныхъ различными англійскими фирмами, достигаетъ небывалыхъ размѣровъ въ этомъ году. Промышленные синдикаты растутъ какъ грибы и всюду зарождаются новыя предпріятія, строятся роскошныя дома, отели, магазины и производятся все новыя и новыя изысканія съ цѣлю эксплуатаціи природныхъ богатствъ страны.

Что касается Судана, то можно было думать, что послѣ подписанія конвенціи 19-го января Египту не придется болѣе беспокоиться о завоеванной территоріи. Ничуть не бывало. Во-первыхъ, по странному обороту вещей, Египетъ сдѣлался данникомъ завоеванной страны и ежегодно долженъ покрывать дефицитъ бюджета изъ собственныхъ средствъ. Въ 1899 г. этотъ дефицитъ достигаетъ скромной цифры въ 8.223.249 фр.—бездѣлица! Мало того; мало-по-малу Египетъ обирается въ пользу этой завоеванной территоріи. Уже теперь, подъ предлогомъ удобства администраціи, англичане присоединили Вади-Гальфа къ Египту, а недавно лордъ Китченеръ потребовалъ, чтобы египетское министерство вызвало своихъ уполномоченныхъ изъ Вади-Гальфы, Эджана и Ассуана. По слухамъ между лордомъ Китченеромъ и лордомъ Крамеромъ существуетъ соперничество и несомнѣнно, что лордъ Китченеръ всячески старается оципать Египетъ и создать ему изъ Судана могущественнаго соперника. Во всякомъ случаѣ уже теперь можно предсказать, что побѣда надъ Омдурманомъ будетъ окончательной побѣдой и надъ Египтомъ, который теперь согласно поэтическому сравненію, сдѣланному однимъ французскимъ журналистомъ-поэтомъ, напоминаетъ предестный тропическій цвѣтокъ, отдѣленный искусною рукой отъ стебелька и медленно умирающій среди песковъ пустыни, подъ знойными лучами палящаго африканскаго солнца.

Положеніе миссій въ Китаѣ. Въ миссіонерскомъ журналѣ «Missions catholiques» напечатано письмо пекинскаго епископа Альфонса Фавье, который въ весьма мрачныхъ чертахъ изображаетъ положеніе миссій въ Китаѣ. По его словамъ, китайскій переворотъ имѣлъ очень важныя послѣдствія; всѣ тайныя общества, которыхъ въ Китаѣ очень много, возстали, желая, какъ всегда, воспользоваться смутами, чтобы дѣйствовать противъ династіи. Возмущеніе, какъ всегда, началось въ южныхъ провинціяхъ, въ Куангъ-си и въ Куангъ-Тунгѣ, потомъ распространилось на Сечуань, Хуннанъ и Чанъ-Тунгъ, все болѣе и болѣе приближаясь къ Пекину. Губернаторы и мандарины въ Китаѣ предоставили этому пожару разгораться все сильнѣе, не зная, кого слушать и куда направить помощь. Партія императрицы всецѣльна въ настоящее время, но надолго ли—этого никто не знаетъ, такъ какъ несомнѣнно, что между побѣжденною партіей и тайными обществами существуетъ связь, и при первомъ удобномъ случаѣ она снова захватитъ власть въ свои руки.

По мнѣнію французскаго миссіонера, европейскія событія непосредственно отражаются въ Китаѣ и тамъ можно найти тѣ же интересы, то же соперничество и тѣ же честолюбивыя стремленія, какія мы встрѣчаемъ въ Европѣ. Главнокомандующій китайскими войсками увеличилъ дѣйствующій составъ манчжурской арміи и собралъ вокругъ Пекина всѣ войска, преданныя династіи, готовая отразить всякую попытку ниспровергнуть ее, такъ что въ данный моментъ вдовствующая императрица гарантирована отъ всякаго вторженія. Но зато теперь за все расплачиваются миссіонеры и христіане. Въ возставшихъ провинціяхъ общій лозунгъ—это ненависть къ европейцамъ. Шайки бунтовщиковъ производятъ опустошенія и, чтобы создать китайскому правительству какъ можно больше затрудненій, онѣ нападаютъ и разоряютъ миссіи, подвергаютъ истязаніямъ миссіонеровъ. Въ Куангъ-Тунгъ и Куангъ-Си нѣсколько французскихъ миссіонеровъ были убиты, одинъ сожженъ живымъ въ часовнѣ вмѣстѣ со своею немногочисленною паствою. Тѣ изъ миссіонеровъ, которые уцѣлѣли послѣ этого погрома, должны были удалиться въ болѣе безопасныя мѣста. Въ Сечуанѣ уже полгода царитъ полнѣйшая анархія, бунтовщики захватили въ плѣнъ одного французскаго миссіонера и трехъ китайскихъ священниковъ. Почти во всей провинціи разорены и разграблены миссіонерскія резиденціи, церкви разрушены, а деревни христіанъ превращены въ груды развалинъ. Не такъ давно убиты 18 христіанъ и болѣе 20.000 остается въ настоящее время безъ крова и хлѣба.

Въ Хуннанѣ убитъ священникъ и множество христіанъ; миссіи разорены и нѣсколько христіанскихъ деревень разграблены и разрушены. То же самое въ Кянгъ-Си и др. провинціяхъ. Нѣмцы воспользовались убійствомъ своихъ миссіонеровъ, чтобы занять портъ Кіао-Чау, и китайцы вывели изъ этого заключеніе, что еслибъ не было миссіонеровъ, за которыхъ встать европейцы, то Китай не подвергнулся бы опасности быть раздѣленнымъ между европейскими націями, изъ которыхъ каждая хочетъ урвать себѣ кусочекъ. По этой причинѣ ненависть къ пришельцамъ, иностранцамъ еще болѣе усилилась и положеніе миссіонеровъ среди враждебно-настроеннаго населенія сдѣлалось еще болѣе шаткимъ и опаснымъ.

Какъ бы тамъ ни было, но, по мнѣнію компетентныхъ лицъ въ китайскихъ дѣлахъ, жадность, которую обнаруживаютъ европейцы, стремящіеся воспользоваться каждымъ случаемъ, чтобы отхватить кусокъ китайской территоріи, сильно вредитъ имъ въ глазахъ китайцевъ. Китайское правительство дѣйствуетъ крайне слабо и нерѣшительно противъ бунтовщиковъ, тѣмъ болѣе, что, безъ сомнѣнія, въ высшихъ сферахъ есть много приверженцевъ тайныхъ обществъ, въ глубинѣ души мечтающихъ о ниспроверженіи манчжурской династіи. Разбойничьи шайки въ провинціяхъ вырастаютъ точно грибы послѣ дождя; не успѣютъ правительственныя войска разсѣять одну изъ нихъ и появятся увѣдомленіе въ Пекинъ о побѣдѣ, какъ уже въ другомъ мѣстѣ появляется новая шайка грабителей и опять начинается та же исторія. Въ особенности трудно китайскимъ отрядамъ совладать съ шайками, находящимися подъ начальствомъ легендарной личности Ю-Манъ-Тсе. Передъ этимъ китайскимъ атаманомъ трепещутъ китайскіе солдаты, такъ какъ народное суевѣріе уже успѣло окружить его таинственнымъ ореоломъ непобѣдимости. Это бунтовщикъ, нѣкогда приговоренный къ смертной казни китайскимъ правительствомъ. Онъ бѣжалъ въ горы и, собравъ около себя тысячу человекъ, началъ свои подвиги и мало-по-малу создалъ себѣ цѣлое войско. Напрасно изъ Пекина получаются строгіе приказы захватить Ю-Манъ-Тсе, живого или мертваго, и уничтожить его шайку. У Ю-Манъ-Тсе много тайныхъ приверженцевъ и друзей, которые увѣдомляютъ его о всѣхъ замыслахъ противъ него и о движеніяхъ войскъ. Чѣмъ кончится эта борьба—предсказать трудно; слава Ю-Манъ-

Все все растетъ въ глазахъ народа и недалеко то время, когда онъ можетъ сдѣлаться настоящимъ народнымъ вождемъ и объявить поголовную войну всѣмъ иностранцамъ. «Мы живемъ на вулканѣ,—заканчиваетъ свое письмо французскій миссіонеръ,—и, благодаря разгулявшимся европейскимъ аппетитамъ, каждую минуту можемъ ожидать взрыва».

Изъ иностранныхъ журналовъ.

«The Chautauquan». — «Nuova Antologia». — «Revue des Deux Mondes». — «Ethical Journal».

Въ исторіи Англіи XIX вѣка два явленія въ особенности бросаются въ глаза: съ одной стороны Великобританія становится все болѣе и болѣе промышленною націей, съ другой же—въ ней все болѣе и болѣе выдвигается на первый планъ демократія. Эти перемѣны, конечно, отражаются и на законодательствѣ страны, которое тѣсно связано съ именемъ Джона Брайта. Когда Брайтъ умеръ, то Гладстонъ сказалъ въ палатѣ общинъ по поводу его смерти: «Онъ удалился въ счастливую минуту. Онъ дожилъ до торжества всѣхъ тѣхъ великихъ дѣлъ, которымъ онъ отдавалъ всю свою душу и весь свой умъ». Но изъ этого не слѣдуетъ выводить заключенія, что Брайтъ слѣдовалъ за настроеніемъ массы и прислушивался къ ея желаніямъ, чѣмъ и обусловливался такой успѣхъ всѣхъ его предпріятій. Не въ этомъ заключаются причины его успѣха.

Вышнія условія жизни Брайта, говоритъ проф. Эвансъ въ своемъ очеркѣ, напечатанномъ въ журналѣ «The Chautauquan» и посвященномъ англійскому государственному дѣятелю, могутъ быть разсказаны въ нѣсколькихъ словахъ. Онъ родился въ 1811 году, въ Ланкаширѣ; отецъ его былъ квакеръ и Джонъ былъ также послѣдователемъ этой секты въ теченіе всей своей долгой жизни (онъ умеръ въ 1889 г.). Пятнадцати лѣтъ онъ уже покинулъ школу, по слабости здоровья, и поступилъ въ контору своего отца. Еще въ юность онъ любилъ собирать вокругъ себя своихъ товарищей и говорить имъ рѣчи по поводу разныхъ вопросовъ, тогда уже интересовавшихъ его. Занимаясь въ конторѣ своего отца, онъ всѣ свои досуги посвящалъ чтенію, изучилъ исторію, государственныя науки и политическую экономію. И, наконецъ, отправился путешествовать по континенту. Вернувшись, онъ выступилъ уже въ качествѣ настоящаго политическаго оратора противъ церковныхъ налоговъ, а затѣмъ и противъ хлѣбныхъ законовъ, которые были ненавистны народу. Тогда-то онъ основалъ свою знаменитую лигу для отмены хлѣбныхъ пошлинъ и организовалъ агитацію во всей странѣ. Онъ разъѣзжалъ по разнымъ городамъ и произносилъ пламенные рѣчи противъ хлѣбныхъ законовъ. Когда его выбрали въ парламентъ, то и тамъ онъ продолжалъ свою агитацію, пока не добился первой побѣды, и Робертъ Пиль внесъ билль объ отменѣ этихъ законовъ.

Впечатлѣнія ранняго дѣтства не остались, конечно, безъ вліянія на направленіе политической карьеры Джона Брайта. Его отецъ, какъ добрый квакеръ, отказался платить налогъ въ пользу государственной церкви, и тогда власти конфисковали его имущество и продали добрую часть его для уплаты недоимки. Сцены, которыя происходили при этомъ, произвели глубокое впечатлѣніе на душу мальчика. Затѣмъ, въ другой разъ онъ былъ свидѣтелемъ того, какъ войска разогнали митингъ, устроенный приверженцами парламентскихъ реформъ, причѣмъ много жизней погубило. Бѣдствія, произведенныя въ фабричномъ Ланкаширскомъ округѣ введеніемъ притѣснительныхъ хлѣбныхъ законовъ, не ускользнули отъ глазъ юноши. Всѣ эти событія и сцены глубоко врѣзались въ его

памяти и всю дальнейшую деятельность свою онъ направилъ на то, чтобъ добиться отмены этихъ тяжелыхъ законовъ и распространения льготъ.

Брайтъ, говоритъ проф. Эвансъ, сдѣлалъ очень много для повышения тона британской политики. Онъ представляетъ высшій типъ агитатора, такъ какъ дѣйствовалъ всегда согласно своимъ убѣжденіямъ и никогда не льстилъ народу. Очень часто онъ доказывалъ свою независимость тѣмъ, что упорно настаивалъ на своемъ мнѣніи противъ всѣхъ. Онъ возсталъ противъ крымской и китайской войнъ, не взирая на то, что такія воззрѣнія считались измѣной Англии и вся страна готова была поддерживать Пальмерстона. Онъ требовалъ, чтобы индусамъ была оказана справедливость и смѣло сдѣлалъ это какъ разъ въ такое время, когда въ памяти англичанъ были еще живы воспоминанія объ индійскомъ возстаніи. Во многихъ случаяхъ онъ храбро становился въ оппозицію общественному мнѣнію и часто рисковалъ своею популярностью. Такъ, послѣ его горячихъ рѣчей противъ крымской войны, его популярность настолько пошатнулась, что его изображеніе было торжественно предано сожженію. Онъ всегда былъ горячимъ сторонникомъ идей мира и религіозной терпимости, приверженцемъ свободы торговли и всегда выказывалъ величайшую независимость взглядовъ: надо, впрочемъ, сказать, что большею частью позднѣйшія событія оправдывали его воззрѣнія.

Брайтъ занимаетъ гораздо болѣе высокое положеніе какъ ораторъ, нежели какъ государственный дѣятель. Какъ народный трибунъ, онъ не имѣлъ себѣ равнаго и только Гладстона можно поставить рядомъ съ нимъ. Лордъ Салисбюри говорилъ про него: «Джонъ Брайтъ былъ образцомъ и великимъ мастеромъ англійскаго ораторскаго искусства и, быть можетъ, онъ былъ первымъ ораторомъ не только своего поколѣнія, но и многихъ другихъ. Я встрѣчалъ людей, которые слышали Питта и Фокса и находили, что они хуже Брайта». Въ противоположность другимъ великимъ ораторамъ современной Англии, Джонъ Брайтъ не получилъ классическаго воспитанія. Онъ говорилъ необыкновенно простымъ языкомъ, понятнымъ каждому изъ его слушателей, не пересыпалъ своихъ рѣчей цитатами и всегда старался говорить такъ, чтобъ рѣчь его проникала въ сердце слушателей, и въ этомъ главнымъ образомъ заключался секретъ его успѣха.

Въ высшей степени любопытно для характеристики Брайта его поведеніе во время американской гражданской войны. Когда она началась, то американское правительство получило выраженія сочувствія почти отъ всѣхъ европейскихъ правительствъ. Папа и кардиналъ Антонелли также выразили свои симпатіи союзу и Кавуръ на одрѣ смерти объявилъ, что Италия сочувствуетъ движенію, направленному къ уничтоженію рабства. Только Франція и Англія отнеслись совершенно иначе къ этой борьбѣ. Французскій императоръ былъ убѣжденъ, что побѣдять южные штаты, и отчасти желалъ этого ради своихъ намѣреній въ Мексикѣ. Онъ настаивалъ на томъ, чтобы Англія присоединилась къ нему и объявила бы независимость южной конфедераціи, такъ какъ ему хотѣлось добиться разрыва союза, но британское правительство не рѣшилось на это прямо, хотя во все время войны оно выказывало враждебное отношеніе къ ваппингтонскому правительству. Правящіе классы въ Англіи поддерживали правительство; весь официальный міръ, часть арміи и флота и большинство парламента были проникнуты симпатіями къ югу. Наиболѣе популярныя и могущественныя газеты въ Англіи также проповѣдывали симпатіи къ югу и среди этого хора враждебныхъ чувствъ по отношенію къ сѣверу возвысились только два голоса въ защиту его; это были—принцъ Альбертъ и Джонъ Брайтъ. Но принцъ Альбертъ вскорѣ умеръ и во всей Англіи остался только Джонъ Брайтъ, который продолжалъ упорно отстаивать принципъ справедливости, ставя на карту свою популярность такъ же, какъ въ вопросѣ о крымской войнѣ.

Брайтъ былъ министромъ въ кабинетѣ Гладстона два раза и пользовался своимъ вліятельнымъ положеніемъ въ министерствѣ для проведенія реформы. Но онъ не сочувствовалъ египетской политикѣ правительства и вышелъ изъ кабинета послѣ бомбардировки Александріи. Всю жизнь Брайтъ ни разу не измѣнилъ своему девизу: «будь справедливъ и не бойся».

Много разъ въ литературѣ поднимался вопросъ относительно послѣднихъ драмъ Ибсена. Одни называли Ибсена символистомъ, другіе—натуралистомъ, а теперь Цезарь Ломброзо поднимаетъ этотъ вопросъ въ своей статьѣ въ итальянскомъ журналѣ «Nuova Antologia». По мнѣнію Ломброзо, Ибсенъ ни то, ни другое, не символистъ и не натуралистъ, просто на-просто онъ—психіатръ. Всѣ его послѣднія драмы въ сущности представляютъ ничто иное, какъ художественное изображеніе послѣднихъ открытій въ области патологии души. Причины умопомѣшательства, его эволюція и различныя формы—вотъ что хотѣлъ изобразить знаменитый норвежскій драматургъ, и единственная его ошибка, по словамъ Ломброзо, заключается въ томъ, что онъ пытался порою изобразить въ одномъ и томъ же драматическомъ произведеніи слишкомъ много разнообразныхъ формъ психическаго страданія. Въ «Призракахъ», напримѣръ, онъ сконцентрировалъ около одного сюжета самыя разнообразныя признаки общаго паралича, точно также въ «Норѣ» онъ слишкомъ сгустилъ краски въ картинѣ атавизма душевныхъ болѣзней и т. д. Драма «Боркманъ» представляетъ спеціальный этюдъ о «преступномъ банкротѣ», который не впадаетъ въ слабоуміе, не заговаривается, но присваиваетъ себѣ довѣренныя ему вклады подъ вліяніемъ иллюзіи, что эти накопленныя суммы могутъ пойти на выполненіе какого-нибудь колоссальнаго предпріятія, которое доставитъ ему могущество и такимъ образомъ мечта его исполнится.

Но профессоръ не ограничивается только тѣмъ, что ищетъ ключъ къ пониманію драмъ Ибсена. Статья эта озаглавлена: «Преступленіе и безуміе въ романѣ и современной драмѣ», что указываетъ на болѣе обширную поэмю. Ломброзо, послѣ Ибсена, лишь вскользь упоминаетъ о другихъ современныхъ писателяхъ-психологахъ, бѣгло говоритъ о Достоевскомъ, не вдаваясь въ подробное изученіе его типовъ, затѣмъ переходитъ къ Золя, о которомъ говоритъ очень мало, и, наконецъ, прямо перескакиваетъ на «древній романъ и театр», гдѣ онъ, впрочемъ, къ своему сожалѣнію, констатируетъ почти полное отсутствіе типовъ, представляющихъ признаки его излюбленнаго преступнаго типа и эпилетика.

«Въ классической литературѣ нѣтъ «настоящихъ безумцевъ» и «настоящихъ помѣшанныхъ». Ломброзо объясняетъ это двояко и притомъ очень просто. Во первыхъ, литература не остается неподвижной и, какъ все живое, развивается, переходя отъ болѣе простыхъ формъ къ болѣе сложнымъ, потому то въ ней теперь встрѣчается такъ много типовъ безумія. Во-вторыхъ, число помѣшанныхъ и врожденныхъ преступниковъ все возрастаетъ по мѣрѣ возрастанія прогресса, такъ что писателямъ все больше и больше представляется случаевъ изучать патологическіе типы. Теперь, конечно, имъ есть гдѣ разгуляться, такъ какъ, если вѣрить Ломброзо, то насъ на каждомъ шагѣ окружаютъ типы умственнаго вырожденія, «маттоиды», врожденные преступники и т. п. и мы не можемъ восторгаться гениемъ безъ того, чтобы не вспомнить о томъ, что онъ граничитъ съ помѣшательствомъ. Въ заключеніе Ломброзо выражаетъ сожалѣніе, что въ то время, какъ литература изобилуетъ изображеніями патологическихъ типовъ, ученые по-прежнему упорно отрицаютъ существованіе преступнаго типа, гениальнаго помѣшательства и отношеній между преступленіемъ и эпилепсіей. «Холодная статистика или схематическое изображеніе фактовъ насъ не убѣждаютъ и мы не хотимъ признавать выводовъ науки», говоритъ Ломброзо, и

намъ остается только ждать, какой новый способъ придумаетъ итальянскій профессоръ, чтобы заставить своихъ ученыхъ противниковъ признать свои выводы.

«Revue des Deux Mondes» печатаетъ интересную статью, въ которой изображается жизнь на маякахъ. Отрѣзанный отъ остального міра, на уединенной скалѣ, среди бушующихъ волнъ, смотритель маяка ведетъ удивенную и въ высшей степени однообразную жизнь. Онъ не видитъ никого, иногда въ теченіе двухъ, трехъ недѣль, а то и цѣлаго мѣсяца. Особенно тяжела жизнь сторожей на маякахъ въ открытомъ морѣ. Заключенный въ свою тюрьму, сторожъ не можетъ выйти изъ нея и единственнымъ его развлеченіемъ служить наблюденіе кораблей на горизонтѣ. Съ аккуратностью часового механизма, онъ ежедневно зажигаетъ огонь и слѣдитъ за тѣмъ, чтобы онъ горѣлъ правильно. Единственная музыка, которую онъ слышитъ, это музыка волнъ, то грозная и величественная, то нѣжная и ласкающая. Но сторожъ привыкаетъ къ ней и почти не замѣчаетъ ея, и только когда буря очень разгуляется и скала начинаетъ вздрагивать отъ ударовъ волнъ, въ душѣ его, быть можетъ, возникаютъ смутныя опасенія и онъ невольно припоминаетъ рассказы о разрушенныхъ во время бури маякахъ и погибшихъ людяхъ. Тяжелѣ всего отзывается на маячномъ сторожѣ отсутствіе движенія. Удовлетворить этой потребности въ движеніи ему очень трудно и ничего больше не остается, какъ спускаться и подниматься по винтовой лѣстницѣ, ведущей вверхъ, къ фонарю. Режимъ одиночнаго заключенія, конечно, также оказываетъ свое дѣйствіе на характеръ маячнаго жителя. Представьте себѣ, что вы осуждены цѣлые мѣсяцы не видѣть передъ собою ничего иного, кромѣ однообразной поверхности моря, что вы не можете открыть окна, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ и что вы заключены вмѣстѣ съ другимъ человѣкомъ въ тѣсную кѣлтку и вынуждены вѣчно переносить его присутствіе. Нѣсколько времени такой жизни—и вы уже до такой степени изучили своего товарища, что каждый его жестъ, каждое его слово вы знаете заранее и читаете его мысли. Многіе не въ состояніи выдержать такую жизнь и не разъ случалось, что только-что назначенный на маякъ сторожъ отказывается, послѣ первой же сдѣлки, возвратиться обратно. Другія, болѣе стойкія натуры свыкаются съ этимъ одиночествомъ, съ этой отрѣзанностью отъ всего остального міра и пробуютъ разнообразить свою жизнь разными способами. Кромѣ обычныхъ работъ на маякѣ, они занимаются еще и какими-нибудь другими работами, напримѣръ, плетеніемъ корзинъ, или же играютъ другъ съ другомъ въ карты, шашки, домино и т. п. Но все-таки для большинства главнымъ развлеченіемъ служитъ чтеніе. Въ Англій уже устроена легучая бібліотека для маячныхъ сторожей, но бібліотека эта преимущественно состоитъ изъ книгъ духовнаго и нравственнаго содержанія. Во Франціи же замѣчено, что маячные сторожа любятъ фельетонныя романы и пытаются особенное пристрастіе къ произведеніямъ Жюль Верна и Александра Дюма.

Долгіе годы маячной службы кладутъ неизгладимый отпечатокъ. Молчаливость маячныхъ сторожей вошла въ поговорку. Одинъ изъ нихъ, старикъ Леруа, умершій въ прошломъ году, въ теченіе многихъ лѣтъ не говорилъ ни одного слова, кромѣ того, что относилось къ службѣ. Многіе становятся мизантропами и мало-по-малу отвыкаютъ отъ земли и начинаютъ любить одиночество и избѣгать общества людей. На Дуврскомъ маякѣ сторожъ Верре до такой степени сжился со своею скалой, что избѣгалъ возвращаться на землю и постоянно уступалъ свою очередь товарищу. У бретанскихъ маячныхъ сторожей сильно развивается мистицизмъ, представляющій врожденную черту расы. Подобно одиночнымъ заключеннымъ, занимавшимся прирученіемъ животныхъ и насѣкомыхъ, маячные сторожа также часто приручаютъ птичекъ, которыя составляютъ ихъ единственное общество, они дѣлятся съ ними своими крохами и птички

отплачиваютъ имъ, развлекая ихъ своимъ веселымъ чириканіемъ и порханіемъ. На одномъ изъ англійскихъ маяковъ обычнымъ обществомъ сторожей служатъ чайки, которыя даже оказываютъ пользу своимъ присутствіемъ. Во время тумановъ они усаживаются на выступахъ маяка и испускаютъ продолжительные рѣзкіе крики, которые служатъ для кораблей предостереженіемъ и лучше предупреждаютъ ихъ объ опасности, чѣмъ пушечные выстрѣлы и колокольный звонъ.

Этическое движеніе въ Америкѣ уже успѣло выразиться въ учрежденіи социальныхъ поселеній. Въ Англии такое поселеніе всегда устраивается либо церковью, либо университетскими дѣятелями и имѣетъ дѣльную пропаганду избвѣстныхъ идей. Въ Америкѣ же, говоритъ «Ethical Journal», это не такъ. Всякое социальное поселеніе прежде всего стремится къ полной независимости, находя, что принадлежность къ какой-либо церкви или умственному центру, только стѣсняетъ работу. Авторъ статьи рассказываетъ, что одно англійское духовное лицо посѣтило такое поселеніе въ Чикаго. Руководительница этого поселенія, миссъ Адамсъ, на вопросъ гостя, къ какому вѣроисповѣданію принадлежитъ поселеніе, отвѣчала: «Ни къ какому,» — «Вы развѣ не связаны между собою религіей?» спросилъ гость. — «Мы принадлежимъ ко всемъ вѣроисповѣданіямъ», сказала она. — «Что же, ваше поселеніе стоитъ въ связи съ какимъ-нибудь университетомъ?» спросилъ онъ. — «Нѣтъ», отвѣчала она. — «Такъ зачѣмъ же вы тутъ находитесь?» воскликнулъ онъ съ удивленіемъ. — «Намъ это нравится», послѣдовалъ отвѣтъ.

Одною изъ характерныхъ чертъ американскихъ социальныхъ поселеній служитъ то, что въ нихъ выдающаяся роль принадлежитъ женщинамъ и во главѣ многихъ американскихъ поселеній стоятъ женщины. Цѣлью всѣхъ этихъ поселеній является развитіе гражданственности и образованіе американскаго гражданина (making of citissen), и въ этомъ отношеніи надо отдать справедливость американцамъ, что они лучше справляются со своею задачей, нежели очень многіе изъ европейскихъ дѣятелей.

Аграрный вопросъ въ Голландіи.

Одинаковыя причины вызываютъ одинаковыя послѣдствія. И если принять во вниманіе, что повсюду (въ Западной Европѣ) господствуетъ частная собственность на землю и что сельское хозяйство стало товарнымъ производствомъ на мировой рынокъ, то можно было бы подумать, что положеніе сельскаго хозяйства—вездѣ одинаково.

Однако, это совсѣмъ не такъ. Почти во всѣхъ крупныхъ европейскихъ государствахъ введены пошлины, ограждающія отечественное землевладѣніе, дѣлающія его положеніе не натуральнымъ, освобождающія этотъ промыселъ отъ конкуренціи. Пошлины эти повышаютъ цѣну хлѣба на четверть стоимости производства и, конечно, чужеземнымъ конкурентамъ очень трудно бороться съ успѣхомъ.

Повышеніе пошлинъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ хлѣба произведется меньше, чѣмъ потребляется, искусственно освободило до нѣкоторой степени сельское хозяйство отъ конкуренціи и помѣшало свободному его развитію; оно держало на искусственной высотѣ цѣны на землю, арендную и заработную плату.

Если съ этимъ соединяется быстрый ростъ промышленности, приводящій къ расширенію внутренняго рынка для хлѣба, тогда сельское хозяйство находится въ лучшемъ положеніи, предприниматели пользуются хорошою прибылью,

въ рабочихъ рукахъ чувствуется недостатокъ. Не всѣ извлекаютъ пользу изъ такого положенія дѣла, потому что крупные предприниматели и богатые крестьяне умѣютъ сохранить выгоды для себя и расплачиваться приходится рабочимъ и мелкимъ крестьянамъ.

На ряду съ этой выгодой для отдѣльныхъ лицъ, охранительныя пошлины приносятъ гораздо большій вредъ, вслѣдствіе вздорожанія продуктовъ, необходимыхъ всему народу. Такимъ образомъ одинъ классъ предпринимателей въ сельскомъ хозяйствѣ пріобрѣтаетъ преимущества на счетъ всего народа. Охранительныя пошлины искусственно поддерживаютъ сельское хозяйство и гдѣ онѣ отсутствуютъ, тамъ положеніе дѣла рѣзко измѣняется.

Въ Голландіи протекціонизмъ въ земледѣліи до сихъ поръ не имѣетъ подъ собою почвы и поэтому положеніе землевладѣнія, не находившаго искусственной поддержки, очень затруднительно. Конкуренція американскаго и русскаго хлѣба давить на цѣны, а пошлины и разныя другія протекціонистскія мѣропріятія въ другихъ странахъ (какъ, напр., запрещенія ввоза скота и пр.) еще болѣе ухудшаютъ положеніе голландскихъ землевладѣльцевъ, преимущественно крестьянъ. Изъ 2.316.542 гектаровъ обрабатываемой въ Голландіи земли употребляются:

На воздѣлываніе хлѣбовъ	861.313 гект.
Луга	1.167.074 »
Огороды	34.452 »
Сады	22.107 »
Лѣса	231.596 »

Луга и связанныя съ нимъ скотоводство и производство сыра и масла занимаютъ большую половину страны. А какъ разъ въ послѣдніе годы очень затрудненъ вывозъ скота. Германія и Бельгія почти совершенно закрыли свои границы; осталась одна Англія, которая завалена мясомъ изъ Америки и Австраліи, такъ что и здѣсь очень трудно конкурировать. Голландскіе сыры и масло встрѣтили уже съ десятокъ лѣтъ опасныхъ конкурентовъ на англійскомъ рынкѣ въ лицѣ Даніи и Швеціи *). Къ тому же, неблагоприятныя условія на хлѣбномъ рынкѣ заставили многихъ крестьянъ преобразовать свои поля въ луга и отношеніе первыхъ къ послѣднимъ измѣнилось. Въ 1891 г. было 43,2 : 56,7; теперь—42,5 : 57,5.

Въ какомъ положеніи находится воздѣлываніе хлѣбовъ, можно лучше всего понять изъ паденія хлѣбныхъ цѣнъ на голландскомъ рынкѣ. По officialнымъ статистическимъ даннымъ среднія цѣны на гектолитръ разныхъ продуктовъ были слѣдующія:

Годы.	Пшеница.	Рожь.	Ячмень.	Овесь.
	Г у л ь д е н ы.			
1861—1870	10,10	7,60	6,05	4,15
1871—1880	10,98	8,11	6,76	4,55
1886	6,54	4,95	4,04	3,44
1890	7,29	5,93	5,10	3,58
1895	4,79	3,56	3,39	2,48

Соотвѣтственно такому страшному паденію цѣнъ на всѣ сорта хлѣбовъ, и цѣны на землю понизились на половину противъ 1880 г., въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже еще больше. Арендныя платы тоже упали, хотя и не въ такой пропорціи, но также на 30 и 40%. Сказаннаго достаточно, чтобъ представить себѣ, насколько тяжелѣе стало положеніе сельскаго хозяйства сравнительно съ 1880 г.

*) Теперь и Западная Сибирь выбрасываетъ массу молочныхъ продуктовъ на англійскій рынокъ. Экспортъ масла изъ Тобольской губ. является крупнымъ капиталистическимъ предпріятіемъ.

Положеніе сельскихъ рабочихъ въ Голландіи очень печально. Но надо прибавить, что и въ годы расцвѣта оно было не лучше; только тогда онъ могъ быть увѣренъ, что найдетъ работу; теперь же нѣтъ. Хотя заработная плата уменьшилась, но это нейтрализуется большей дешевизною жизненныхъ припасовъ.

Паденіе земельныхъ цѣнъ даетъ возможность наемнымъ рабочимъ арендовать клочокъ земли, хотя и не вездѣ, но во многихъ мѣстахъ. Въ годы расцвѣта крестьяне боролись за каждый гектаръ земли, который можно было купить или арендовать: работнику тогда и соваться нельзя было. Теперь крестьянинъ охотно сдаетъ своему работнику клочекъ земли, потому что, во-1-хъ тотъ даетъ за нее 50 гульденовъ вмѣсто 30, въ которые она обошлась крестьянину; во-2-хъ, ему не надо поддерживать зимою работника, который имѣетъ запасъ картофеля въ погребѣ; въ-3-хъ, работникъ доволенъ, если нѣсколько дней не находитъ работы у крестьянина, потому что можетъ воздѣлывать свою землю. По этимъ и разнымъ еще причинамъ рабочій теперь легче можетъ добратся до земли.

Несмотря на это, безработица страшно свирѣпствуетъ. Еще въ послѣднюю зиму было нѣсколько сноснѣе, но въ 1892—1895 г. обстоятельства были ужасны. Въ общемъ сельскій рабочій можетъ расчитывать у крестьянина не болѣе, какъ на 200 рабочихъ дней въ году; заработать же можетъ въ годъ въ среднемъ около 200 гульденовъ (около 150 р.).

При современномъ положеніи сельскаго хозяйства всякое движеніе въ пользу повышенія заработной платы заранѣе лишено шансовъ на успѣхъ. Несомнѣнно, что сами арендаторы и задолженные собственники страшно эксплуатируются и къ 90% крестьянъ вполне примѣнима голландская поговорка: «изъ лягушки не добудешь пера». Поэтому попытки профессиональнаго движенія среди сельскихъ рабочихъ потерпѣли неудачу.

Совершенно своеобразныя условія, въ которыхъ находится сельское хозяйство по сравненію съ промышленностью; постоянно навязывающійся вопросъ о томъ, гдѣ кончается собственникъ и предприниматель и гдѣ начинается рабочій; рѣзко противорѣчащіе другъ другу интересы производителей товаровъ и потребителей,—все это заставляетъ смотрѣть на аграрный вопросъ и на земледѣльцевъ совершенно подъ инымъ угломъ зрѣнія, чѣмъ въ промышленности.

Переходъ народнаго хозяйства къ высшимъ формамъ тѣсно связанъ съ вытѣсненіемъ мелкихъ промысловъ крупными. Такая тенденція несомнѣнно замѣчается въ промышленности. Можетъ быть, это примѣнимо и къ сельскому хозяйству въ странахъ съ протекціонной системою. Но не такъ обстоятъ дѣло въ Голландіи, Бельгіи, Англіи.

Въ Голландіи мелкое землевладѣніе рѣшительно идетъ впередъ. Въ 1893 г. одна двѣнадцатая часть почвы (149.500 гектаровъ) принадлежала собственникамъ, владѣющимъ менѣе 1 гектара. Остальная земля распредѣлялась такъ:

Гектары.	1884	1893
	В л а д ѣ л ь ц ы.	
1—5 . . .	66.842	77.767
5—10 . . .	31.551	94.199
10—50 . . .	48.278	51.940
Больше 50 . . .	3.554	3.517

Такимъ образомъ, изъ 100 собственниковъ надо 66,9 отнести къ мелкимъ.

Въ то время, какъ число крестьянъ, владѣвшихъ двумя лошадьми или упряжными быками, уменьшилось съ 37.536 въ 1870 г. до 32.089 въ 1893 г., число крестьянъ, имѣющихъ одну лошадь или быка, поднялось за то же время съ 45.987 до 51.642.

Эти цифры указывают на значительный рост мелкого земледельческого промысла. И причина такого явления не только в разорении богатого крестьянства и раздроблении прупных помѣщичьих хозяйствъ, а также и въ указанномъ выше стремленіи крестьянъ отдавать въ аренду своимъ рабочимъ часть ихъ земель. Кромѣ того, земля, раздробленная на мелкіе участки, приноситъ большую арендную плату, чѣмъ крупными участками. Оказываетъ также вліяніе развитіе въ послѣднее время огородничества, садоводства, расширеніе воздѣлыванія свекловицы для сахарнаго производства (подъ свекловицу занято было въ 1895 г., преимущественно мелкими участками, 35.092 гектара вмѣсто 6.580-ти въ 1870 г.).

Въ скотоводческомъ хозяйствѣ и въ изготовленіи молочныхъ продуктовъ никакихъ измѣненій не замѣчается. Хотя повсюду возникаютъ маслодѣлательные и сыроваренные заводы, но они не вліяютъ на формы сельскаго промысла: эти заводы или носятъ артельный характеръ (крестьяне приносятъ молоко и получаютъ отсюда масло или сыр), или же, при капиталистическомъ характерѣ, они скупаютъ у крестьянъ молоко.

Низкія цѣны на хлѣбномъ рынкѣ дѣлаютъ крупное хозяйство совершенно бездоходнымъ. Тенденція же къ раздробленію участковъ находитъ поддержку въ стремленіи рабочихъ раздобывать въ собственность или подъ аренду клочки земли, въ большей доступности земли и въ большей доходности мелкаго промысла (по крайней мѣрѣ, въ Голландіи), вслѣдствіе лучшей обработки и болѣе тщательнаго присмотра.

Кромѣ всѣхъ указанныхъ причинъ, на увеличеніе числа мелкихъ землевладѣльцевъ повліялъ законъ, принятый въ 1886 г. о продажѣ общинныхъ земель. Въ различныхъ мѣстностяхъ были большіе участки земли, находившіеся въ коллективномъ владѣніи цѣлой деревни. Въ большинствѣ случаевъ, эти земли очень плохо воздѣлывались вслѣдствіе неопредѣленности правъ и обязанностей совладѣльцевъ. Вмѣсто того, чтобы урегулировать эти отношенія закономъ, пришла къ рѣшенію распродать эти земли.

Такимъ образомъ, если признавать развитіе крупнаго капиталистическаго хозяйства необходимымъ этапомъ въ достиженіи высшихъ хозяйственныхъ формъ, и примѣнять этотъ масштабъ къ сельскому хозяйству такъ же, какъ въ промышленности, то пришлось бы видѣть въ современномъ положеніи дѣлъ въ Голландіи шагъ назадъ.

Несмотря на увеличеніе числа сельскихъ хозяйствъ, послѣднія далеко не свободны отъ воздѣйствія крупнаго капитала. Колоссальный ростъ инотечныхъ долговъ показываетъ, что капиталъ владычествуетъ и въ земледѣліи не хуже, чѣмъ въ промышленности. На земляхъ въ Голландіи было ипотечнаго долга:

Въ 1874 г.	571.795.000	гульд.
» 1895 »	1.217.016.000	»

Хотя часть ипотекъ приходится на города, гдѣ дома строятся на чужія деньги, однако и въ чисто земледѣльческихъ провинціяхъ ростъ ипотекъ не меньше. Изъ общей суммы ипотекъ

472 милл. гульд. приносятъ . . .	4 ¹ / ₂ %
257 » » » . . .	4 ¹ / ₂ —5%
489 » » » . . .	5% и выше.

Такъ какъ обычный процентъ въ Голландіи 2¹/₂—3¹/₂, то крупный капиталъ, и не захвативъ себѣ совершенно земледѣлія, извлекаетъ изъ него очень небольшую дань.

Все это показываетъ, что и въ земледѣліи совершается процессъ экспроприаціи продуктовъ труда, но иначе, чѣмъ въ промышленности. Крестьянинъ разоряется такъ же, какъ мелкій промышленникъ. Но сельское хозяйство, обладая всѣми тѣневыми сторонами капитализма, не имѣетъ никакихъ выгодныхъ сторонъ послѣдняго.

Такимъ образомъ, голландская демократія, не надѣясь на развитіе крупнаго капиталистическаго промысла въ земледѣліи, выработала въ 1897 г. практическую программу реформъ, которую мы приводимъ здѣсь.

I. Лучшее регулированіе арендныхъ контрактовъ въ интересъ крестьянъ и рабочихъ, основываясь на принципѣ, что аренда должна платиться съ чистаго дохода, т. е. послѣ отчисленія необходимыхъ расходовъ (въ число послѣднихъ включается сумма, необходимая для поддержанія существованія арендатора и его семьи и для выплаты нормальнаго заработка крестьянамъ).

II. Развитіе существующаго законодательства въ пользу наемщиковъ и запрещеніе его обхода (такъ, напр., законъ разрѣшаетъ въ случаѣ неурожая платить только часть аренды, но въ контрактахъ заставляютъ арендаторовъ отказываться отъ этого права).

III. Право арендаторовъ на вознагражденіе, при невозобновленіи контракта, за улучшенія, произведенныя ихъ трудомъ и капиталомъ.

IV. Принятіе въ контрактъ пункта, по которому арендаторъ обязанъ, по условіямъ мѣста и величинѣ участка, содержать всю зиму извѣстное количество работниковъ.

V. Учрежденіе во всѣхъ общинахъ арендныхъ комиссій, избираемыхъ собственниками земли, арендаторами и работниками. Только тѣ договоры имѣютъ законную силу, которыя одобрены этими комиссіями.

VI. Расширеніе права общинъ отчуждать земли для улучшенія жилищъ, для мѣръ противъ безработицы и улучшенія положенія рабочихъ общины должны быть въ состояніи доставить по возможно низкимъ цѣнамъ землю и средства производство осѣдлымъ работникамъ въ количествѣ, необходимомъ для пропитанія.

VII. Уничтоженіе всѣхъ привилегій въ арендномъ правѣ. Большая самостоятельность общинъ въ податномъ вопросѣ. Право облагать собственниковъ земель, живущихъ въ другихъ мѣстахъ.

VIII. Распространеніе рабочаго законодательства и на сельскій трудъ.

М. Рафаиловъ.



НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

Физиология. 1) Новые исследования о причинъ горной болѣзни. 2) Отчего негры чернаго цвѣта?—Физика. Жидкій воздухъ и нѣкоторыя его примѣненія.—Биология. Удаленіе менѣе приспособленныхъ.—Географія и путешествія. Возвращеніе экспедиціи де-Гарлаша и свѣдѣнія о другихъ антарктическихъ экспедиціяхъ.

Физиология. 1) *Новыя изслѣдованія о причинѣ горной болѣзни.* До настоящаго времени горную болѣзнь разсматривали, какъ простую асфиксію, причиною которой является недостатокъ кислорода. Она является слѣдствіемъ уменьшенія количества кислорода и уменьшенія давленія этого газа въ высокихъ слояхъ атмосферы. Недавнія изслѣдованія *) туринскаго профессора Angelo Mosso показываютъ, что въ дѣйствительности явленіе это болѣе сложно, такъ какъ артеріальная кровь при уменьшеніи барометрическаго давленія теряетъ значительную часть углекислаго газа и, прежде чѣмъ наступать явленія, связаннаго съ недостаткомъ кислорода въ воздухѣ, уже отчетливо наблюдаются послѣдствія уменьшенія въ крови углекислаго газа. Артеріальная кровь содержитъ около 30% углекислоты (по объему) при 0° и 1 метрѣ давленія.

Находясь однажды на высотѣ болѣе 4.500 метровъ и замѣтивъ, что дыханіе его замедлилось и сдѣлалось болѣе слабымъ, А. Mosso остановился на мысли, что при разрѣженіи воздуха менѣе, чѣмъ до полу-атмосферы, недостатокъ кислорода не могъ быть главною причиною горной болѣзни. Справившись съ графической таблицей, изображающей уменьшеніе кислорода и углекислаго газа въ артеріальной крови при уменьшеніи барометрическаго давленія (см. Поль Бэръ. «Барометрическое давленіе»), онъ сразу обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что на высокихъ горахъ уменьшеніе углекислаго газа, заключающагося въ крови, должно быть значительнѣе, чѣмъ уменьшеніе кислорода. Поль Бэръ пишетъ: «Варіаціи углекислаго газа гораздо болѣе обширны, чѣмъ варіаціи кислорода». Далѣе, изслѣдованія Фрэнкеля и Гепперта, анализировавшихъ кровь собакъ въ разрѣженномъ воздухѣ, показали, что при пониженіи давленія до 410 миллиметровъ (среднее атмосферное давленіе 760 миллим.) содержаніе кислорода въ крови не уменьшается. Извѣстно однако, что на такихъ горахъ, какъ Монъ-Роза и даже всего лишь на высотѣ 3.300 метровъ, горная болѣзнь можетъ проявляться очень сильно, тогда какъ барометрическое давленіе уменьшается всего лишь до 500 миллим. Гюфнеръ доказалъ, что растворы гемоглобина, подобные крови, начинаютъ диссоціировать (терять кислородъ) только при паденіи барометра до 238 миллим. Такая кровь даже на самой высокой вершинѣ Гималайской цѣпи горъ не потеряла бы своей способности поглощать нормальное количество кислорода. Вѣроятно, слѣдовательно, что причину горной болѣзни на высотѣ до 9.000 метровъ, не нужно искать въ химическомъ и физическомъ

*) См. «Revue générale des sciences». № 5. Mars 1899. Angelo Mosso. «L'acapnie et le mal des montagnes».

измѣненіи гемоглобина (такъ называется кровяной пигментъ—вещество, обуславливающее красный цвѣтъ крови). Всѣ вышеприведенные опыты показываютъ, что на высотахъ гораздо большихъ, чѣмъ тѣ, на которыхъ появляется горная болѣзнь, насыщеніе крови кислородомъ не измѣняется. Это заставило А. Моссо искать причину горной болѣзни не въ уменьшеніи кислорода. По его мнѣнію, причиною этой болѣзни является ничто иное, какъ уменьшеніе углекислаго газа въ крови.

Дѣйствительно, горная болѣзнь усиливается во время отдыха и ночью, т. е. въ то время какъ разъ, когда потребление кислорода меньше; но въ это самое время уменьшается производство углекислаго газа. Если бы организмъ не испытывалъ недостатка въ углекислотѣ, то трудно было бы объяснить себѣ иначе тотъ фактъ, что ночью, когда чувствуется стѣсненіе въ груди, сердцебиеніе и затруднено дыханіе, достаточно подняться съ постели, чтобы чувствовать себя лучше; не нужно выходить изъ комнаты, чтобы подышать холоднымъ и чистымъ воздухомъ, достаточно сдѣлать нѣсколько шаговъ и движеній. Сокращеніе мускуловъ, производя углекислоту, возстановливаетъ отчасти равновѣсіе этого газа въ крови.

Д-ръ А. Леви первый сдѣлалъ наблюденіе, что лица, надъ которыми производились опыты въ пневматической камерѣ, чувствуютъ себя лучше, если они производятъ умѣренныя движенія; такъ, напримѣръ, одинъ субъектъ не могъ выдерживать уменьшенія давленія ниже того, которое соответствуетъ 4.500 метрамъ высоты, если онъ не производилъ сокращенія мышць и, только напряженно работая, онъ могъ предупредить обморокъ, который угрожалъ ему во время отдыха.

А. Моссо нашелъ, что въ артеріальной крови собаки, помещенной въ разрѣженный воздухъ (той степени разрѣженія, въ которой онъ находится на вершинѣ Монъ-Розы) не хватаетъ въ среднемъ $\frac{1}{6}$ части нормальнаго количества углекислаго газа. Такое измѣненіе нельзя считать незначительнымъ, такъ какъ дѣло касается въ данномъ случаѣ вещества очень активнаго, къ которому нервныя центры въ теченіе жизни приспособились. Исслѣдованія показываютъ, что въ равной пропорціи мы гораздо болѣе чувствительны къ уменьшенію, чѣмъ къ увеличенію количества углекислоты въ крови.

Моссо придумалъ новое слово для обозначенія новаго состоянія, являющагося результатомъ недостатка углекислаго газа въ крови. Это состояніе не было еще изучено физиологами и составляетъ какъ бы прямую противоположность асфиксія. Для его обозначенія онъ взялъ греческое слово, но такъ какъ древніе не знали углекислаго газа, то Моссо взялъ слово *дымъ*, какъ образъ, наиболѣе соответствующій углекислому газу въ фвізіологическомъ смыслѣ, и образовалъ слово *аканнія* отъ *ἀκατος*, что значитъ «безъ дыма».

Такимъ образомъ на горахъ высоты Монблана наступаетъ не асфиксія, но *аканнія*.

Существуетъ простое средство узнать, дѣйствительно ли уменьшеніе кислорода само по себѣ производитъ явленія горной болѣзни и какую роль въ этомъ играетъ недостатокъ углекислаго газа. Оно заключается въ томъ, чтобы увеличивать пропорцію кислорода въ воздухѣ, которымъ мы дышимъ, при уменьшеніи барометрическаго давленія. Если мы найдемъ, что при вдыханіи того же количества по вѣсу кислорода при сильномъ уменьшеніи барометрическаго давленія, болѣзнь проявляется менѣе сильно въ томъ случаѣ, если съ кислородомъ вдыхается и углекислый газъ, то мы должны будемъ придти къ заключенію, что *аканнія* дѣйствительно существуетъ и что она вызываетъ явленія горной болѣзни. Вотъ одинъ изъ опытовъ, произведенныхъ въ пневматической камерѣ надъ служителемъ лабораторіи Моссо. Въ 33 минуты воздухъ въ ка-

меръ достигъ разрѣженія соотвѣтствующаго 6.500 метрамъ высоты, барометръ показывалъ 336 миллим. Не будучи болѣе въ состояніи сопротивляться болѣзненному состоянію и головокруженію, служитель взялъ въ бутылку воздухъ для анализа, который далъ такіе результаты (по объему): кислорода 19,9%, углекислаго газа 0,9%. При такомъ разрѣженіи наблюдалось учащеніе пульса съ 55 до 86, дыханія съ 11 до 12 въ минуту. Въ камеру было впущено до 100 метровъ кислорода и болѣзненное состояніе быстро исчезло; пульсъ съ 86 упалъ до 63, хотя давленіе не уменьшилось. Напротивъ, количество дыханій увеличилось съ 12 до 19 и затѣмъ начало уменьшаться. Мало-по-малу углекислота, произведенная дыханіемъ, накоплялась, такъ какъ доступъ свѣжаго воздуха былъ прегражденъ. Въ концѣ слѣдующихъ 29 минутъ барометръ показывалъ всего 246 мил., давленіе, соотвѣтствующее самой высокой вершинѣ Гималаевъ, т. е. 8.800 метр. Субъектъ начинаетъ чувствовать то же болѣзненное состояніе, что и въ началѣ: его пульсъ 102 въ минуту и количество дыханій 12. Онъ беретъ вторую бутылку воздуха для анализа и послѣдній даетъ слѣдующіе результаты (по объему): кислорода 17% и углекислаго газа 2,2%. Субъектъ, надъ которымъ производятъ опытъ, принимаетъ немного кислорода, чтобы отдохнуть, и затѣмъ давленіе опять начинаютъ понижать. Черезъ 15 минутъ оно опять соотвѣтствуетъ 8.800, послѣ чего опытъ прекращается. Выйдя изъ камеры, служитель рассказывалъ, что въ концѣ опыта онъ чувствовалъ себя хорошо, но раньше, именно когда онъ бралъ во второй разъ воздухъ для анализа, его руки дрожали и онъ чувствовалъ головокруженіе. Существенная часть опыта заключается въ сравненіи состава воздуха: въ первый разъ субъектъ чувствовалъ проявленія горной болѣзни на высотѣ 6.500 метровъ при воздухѣ, заключавшемъ 19,9% кислорода, и во второй разъ—на высотѣ 8.800 метровъ, когда воздухъ содержалъ всего 17% кислорода. Такимъ образомъ, если можно такъ выразиться, онъ поднялся выше, когда воздухъ былъ бѣднѣе кислородомъ. Если цифры, полученныя отъ этихъ анализовъ по объему, свести къ вѣсовымъ величинамъ, которыя приходились на долю кислорода при давленіи въ 336 миллиметровъ и 246 мм., то мы найдемъ, что субъектъ при 336 мм. давленія вдыхалъ 10,1% кислорода по вѣсу, а при 246 мм. всего лишь 6%. На первый взглядъ фактъ этотъ показался бы парадоксальнымъ, такъ какъ субъектъ чувствовалъ себя лучше, когда количество кислорода было меньше въ пропорціи 6 къ 10; но, принявъ въ соображеніе углекислый газъ, сейчасъ же легко объяснить противорѣчіе, такъ какъ въ первомъ случаѣ воздухъ заключалъ 0,9% углекислаго газа, тогда какъ во второмъ—2,2%. Изъ этого опыта авторъ дѣлаетъ заключеніе, что, прибавляя углекислаго газа къ воздуху, можно противостоять дѣйствию разрѣженнаго воздуха, соотвѣтствующаго высотѣ 8.800 и заключающаго въ себѣ меньшее количество кислорода, чѣмъ то, которое имѣется на высотѣ 6.500 метровъ.

Слѣдовательно, при попыткахъ проникнуть при помощи аэростатовъ въ верхніе слои атмосферы, недостаточно взять съ собою запасъ кислорода, какъ то совѣтовалъ П. Бэръ. Предъидущія изслѣдованія показываютъ, что къ этому запасу слѣдуетъ еще прибавить запасъ углекислаго газа въ количествѣ, достаточномъ для того, чтобы возстановить по мѣрѣ надобности равновѣсіе названныхъ газовъ въ крови.

Далѣе, Моссо произвелъ еще рядъ опытовъ надъ самимъ собою, причеиъ давленіе понижалось до 220 мм. и даже до 192 мм. Если сравнить опыты въ разрѣженномъ воздухѣ внутри пневматической камеры съ подъемами на аэростатѣ въ верхніе слои атмосферы, то Моссо въ настоящее время является человекомъ, который какъ бы поднимался въ наиболѣе высокіе слои атмосферы, такъ какъ никто изъ аэронавтовъ не достигалъ еще слоя, гдѣ бы давленіе барометра

опускалось до 192 мм. Такое давление соответствует 11.650 метрамъ высоты. Въ теченіе этихъ опытовъ удалось констатировать, что на высотахъ, превосходящихъ 7.000 метровъ, кислородъ оказываетъ очень благотворное вліяніе: какъ только къ воздуху подмѣшивался кислородъ, пульсъ падалъ съ 107 до 62. При этомъ наблюдалось также явленіе, которому Моссо отказывается дать объясненіе: какъ только начиналось вдыханіе кислорода, біеніе сердца становилось очень слабымъ и пульсъ можно было считать лишь помѣстивъ пальцы на артеріи шеи. Моссо обращаетъ особенное вниманіе на то, что онъ могъ бы даже подняться выше 11.650 метровъ, т. е. уменьшить давление ниже достигнутого имъ (192 мм.), такъ какъ опытъ былъ имъ превращенъ не вслѣдствіе болѣзненного состоянія, но вслѣдствіе случайности, которая помѣшала ему записывать наблюденія. Раньше, при давленіи въ 292 мм., симптомы болѣзненного состоянія были настолько рѣзко выражены, что пришлось прекратить опытъ. Если, такимъ образомъ, съ меньшимъ количествомъ кислорода можно было уменьшить давленіе на 100 мм. ртутнаго столба, то это должно, по мнѣнію автора, отнести на долю углекислаго газа, пропорція котораго, какъ показалъ анализъ, достигала до 2,1%.

Физиологамъ, впрочемъ, давно уже извѣстна важная роль, которую въ жизненныхъ процессахъ играетъ углекислый газъ: онъ производитъ дыхательныя движенія, дѣйствуетъ на сердце и производитъ сокращеніе кровяныхъ сосудовъ. Извѣстно также, что накопленіе углекислаго газа въ крови производитъ болѣе сильное возбужденіе дыхательнаго центра, чѣмъ недостатокъ кислорода. Новыя изслѣдованія Моссо о состояніи, названномъ имъ акапніею, показываютъ также, что уменьшеніе углекислаго газа дѣйствуетъ точно также очень сильно на жизненные процессы. Въ настоящее время процессы образованія углекислоты въ организмъ и ея дальнѣйшая судьба въ немъ еще гораздо болѣе туманны, чѣмъ значительная часть процессовъ, связанныхъ съ физиологіей кислорода. Послѣдній вступаетъ въ соединеніе лишь съ веществомъ красныхъ кровяныхъ шариковъ, тогда какъ углекислый газъ вступаетъ въ соединеніе съ различными веществами крови. Моссо считаетъ вѣроятнымъ, что уменьшеніе барометрическаго давленія дѣйствуетъ разлагающимъ образомъ на нѣкоторые бикарбонаты (соединенія углекислаго газа), находящіеся въ крови.

Уже д-ръ Леви сдѣлалъ наблюденіе, что, давая вдыхать углекислый газъ субъектамъ, находящимся въ пневматической камерѣ, можно получить тотъ же результатъ, что и отъ вдыханія кислорода. Однако, онъ далъ другое объясненіе механизму его дѣйствія. По его мнѣнію, углекислый газъ, производя учащенное дыханіе, производитъ большую вентиляцію легкихъ. Однако, если бы дѣло обстоило дѣйствительно такъ, какъ это предполагалъ Леви, достаточно было бы сдѣлать нѣсколько болѣе глубокихъ и частыхъ вдыханій, чтобы почувствовать облегченіе, но опыты Моссо показали, что такая мѣра не оказываетъ никакого вліянія на болѣзненные симптомы. Теорія акапніи даетъ ключъ къ пониманію опыта Леви съ углекислымъ газомъ. Дѣйствіе углекислаго газа полезно, потому что онъ дѣйствуетъ на сердце. Прямые опыты Моссо подтвердили это представленіе. Когда субъектъ, надъ которымъ производился опытъ, начиналъ чувствовать приступы горной болѣзни, въ пневматическую камеру вводился углекислый газъ, и, несмотря на низкое давленіе въ 400 мм., пульсъ немедленно падалъ съ 73 до 60. Субъектъ, ощущавшій головную боль и затрудненіе дыханія, сразу чувствовалъ облегченіе послѣ вдыханія углекислаго газа. Моссо повторилъ опытъ на себѣ самомъ и нашелъ, что пульсъ становился нормальнымъ и дыханіе глубокимъ, какъ только вводился въ камеру углекислый газъ. При давленіи 422 мм., соответствующемъ высотѣ Монъ-Розы, пульсъ былъ 71. Вдыханіе воздуха, обильнаго углекислымъ газомъ, сразу замедляло пульсъ до 63, 62, несмотря на то, что давленіе оставалось постояннымъ. Количество угле-

числаго газа достигало 4,7%. Дѣйствіе на пульсъ, однако, не у всѣхъ субъектовъ было столь очевидно; зато самочувствіе улучшалось у всѣхъ, безъ исключенія: головокруженіе и головная боль исчезали, какъ только они вдыхали углекислый газъ, давленіе же при этомъ можно было не только не увеличивать, но даже уменьшать.

Уменьшеніе барометрическаго давленія дѣйствуетъ, слѣдовательно, какъ механическое или физическое средство, которое извлекаетъ изъ крови угольную кислоту.

2) *Отчего негры чернаго цвѣта?* Ch.-Ed. Guillaume въ «Revue générale des sciences» высказываетъ слѣдующія соображенія по вопросу о причинѣ темной окраски кожи негровъ. Для того, кто не заглядываетъ ближе въ сущность дѣла, говорить онъ, цвѣтъ негра можетъ показаться противорѣчающимъ здравому смыслу. Не лучше ли было бы, если бы люди, принужденные постоянно жить въ странахъ, подверженныхъ дѣйствію палящихъ лучей солнца, были защищены отъ него посредствомъ бѣлаго пигмента, сильно отражающаго солнечные лучи, вмѣсто того, чтобы обладать чернымъ поглощающимъ слоемъ, какъ будто нарочно приспособленнымъ для поглощенія возможнаго большаго количества тепла? Въ прежнее время въ этомъ странномъ совпаденіи можно бы, пожалуй, видѣть признакъ одного изъ многочисленныхъ наказаній, выпавшихъ на долю проклятой расы. Но въ настоящее время мы знаемъ, что природа—добрая мать для всѣхъ; что для всѣхъ существъ, населяющихъ землю, она позаботилась о средствахъ борьбы со зломъ и что ни одинъ организмъ не развился вопреки условіямъ, среди которыхъ онъ эволюционировалъ.

Будемъ исходить, слѣдовательно, изъ той идеи, что цвѣтъ негра полезенъ ему и постараемся объяснить механизмъ его дѣйствія. Всѣ, кому случилось путешествовать подъ палящими лучами солнца, сдѣлали то наблюденіе, что солнечные лучи становились все болѣе и болѣе легко переносимыми, по мѣрѣ того, какъ темнѣлъ цвѣтъ кожи путешественника. Сдѣлавъ это сопоставленіе, легко придти къ заключенію, что увеличеніе поглощающей способности кожного пигмента все болѣе и болѣе защищало отъ солнечныхъ лучей. Словомъ, отъ солнца мы защищаемся, какъ и негры, въ маломъ масштабѣ. Чтобы понять, какъ дѣйствуетъ черный пигментъ, необходимо дать себѣ отчетъ въ механизмѣ инсоляціи. Непосредственное дѣйствіе солнечныхъ лучей производитъ воспаленіе кожи, которое обнаруживается въ сжатіи сосудовъ, непосредственно замѣтнымъ слѣдствіемъ чего является дѣятельность вѣточнаго слоя, производящаго эпидермисъ. Новый эпидермисъ замѣняетъ старый, который отдѣляется и, если бы судить по внѣшности, то можно бы подумать, что онъ разрушенъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей. Въ дѣйствительности же эпидермисъ такъ же хорошо переноситъ ихъ дѣйствіе, какъ ногти и волосы; нарушеніе происходитъ, слѣдовательно, въ болѣе глубокомъ слой. Если кожа, такимъ образомъ, должна быть защищена, то лучшимъ средствомъ для защиты былъ бы поглощающій тепло слой, который служилъ бы экраномъ. Опытъ подтверждаетъ эту идею. Такъ, профессоръ Моссо нашелъ, что для того, чтобы лучше переносить солнечную радіацію на высокихъ горахъ, слѣдуетъ вымазаться сажею, т. е., другими словами, превратиться въ искусственнаго негра. Но поглощенная экраномъ теплота должна излучаться наружу, чтобы внутри температура удерживалась въ сносныхъ границахъ. Здѣсь важную роль играетъ вторая особенность въ устройствѣ кожи негра, заключающаяся въ ея способности выдѣлять жирную матерію. Калориметрическіе опыты д'Арсонваля показали, что жиры обладаютъ значительной способностью лучеиспусканія въ инфра-красной части спектра; смазанный жиромъ кроликъ при такихъ условіяхъ погибаетъ отъ холода. При температурѣ, которой можетъ достигнуть кожный пигментъ, кожа находится какъ разъ въ тѣхъ условіяхъ, когда жиры излучаютъ сильно теплоту и значительно охлажда-

даются. Мы видимъ, слѣдовательно, что природа, создавъ негра, не ошиблась, какъ это могло показаться съ перваго взгляда: темный пигментъ защищаетъ кожу отъ разрушающаго вліянія солнечныхъ лучей и въ то же время охлаждается вслѣдствіе лучеиспусканія жирнаго слоя, который его покрываетъ. И дѣйствительно, кожа негра на ощупь всегда оставляетъ впечатлѣніе свѣжести. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что негры живутъ въ тѣни собственной кожи.

Физина. *Жидкій воздухъ и нѣкоторыя ея примѣненія.* Прежде думали, что, подвергая газъ достаточно высокому давленію, можно превратить его въ жидкость. Въ 1850 г. Бертелло подвергалъ давленію въ 800 атмосферъ кислородъ въ термометрическихъ трубкахъ съ очень прочными стѣнками, но не получилъ и слѣдовъ сжиженія. Позднѣйшія изслѣдованія Андрыуса показали, что нельзя получить газа въ жидкомъ состояніи, пользуясь однимъ только увеличеніемъ давленія, если при этомъ не понизить температуру его ниже нѣкоторой точки, которую онъ назвалъ критической температурой. Чтобы получить какой-нибудь газъ въ жидкомъ состояніи, нужно охладить его ниже *его критической температуры* и затѣмъ стать соответствующимъ давленіемъ, называемымъ *критическимъ давленіемъ*. Такъ, напр., критическая температура для кислорода есть -118° , критическое давленіе 50 атмосферъ; для азота критическая температура равняется -140° , критическое давленіе 35 атмосферамъ. Критическая температура воздуха равна -140° и критическое давленіе 40 атмосферамъ, такъ что для того, чтобы получить воздухъ въ жидкомъ состояніи нужно сначала понизить его температуру до -140° и увеличить давленіе до 40 атмосферъ. Но возможно получить газъ въ жидкомъ состояніи при давленіи гораздо болѣе низкомъ, чѣмъ критическое давленіе при условіи пониженія температуры ниже критическаго пункта. Такъ, напримѣръ, чтобы получить воздухъ въ жидкомъ состояніи при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи, его нужно охладить до -190° .

Такъ называемые постоянные газы были получены въ жидкомъ состояніи лишь въ 1877 году Пикте и Кайльте. То, чего съ большими затратами достигли 22 года тому назадъ, въ настоящее время, благодаря быстрымъ успѣхамъ техники, сдѣлалось легко и просто достижимымъ. Устроенъ цѣлый рядъ машинъ разныхъ системъ, которыя позволяютъ съ небольшими затратами готовить жидкій воздухъ въ большихъ количествахъ. Это обстоятельство позволило предвидѣть и даже реализовать нѣкоторыя важныя примѣненія жидкаго воздуха на практикѣ. Изъ такихъ примѣненій упомянемъ, напримѣръ, интересное употребленіе, которое нашла смѣсь жидкаго воздуха съ угольною пылью, какъ взрывчатое вещество, могущее замѣнить динамитъ; характеръ взрыва этого вещества такой же, какъ и у динамита. Если смѣшать жидкій воздухъ, потерявшій черезъ испареніе значительную часть своего азота, съ древеснымъ углемъ, превращеннымъ въ пыль, и къ смѣси прибавить одну треть по вѣсу ваты, то получается родъ губки, которую помѣщаютъ въ бумажный патронъ и затѣмъ въ минную дыру. Мина должна быть использована непосредственно, такъ какъ свою силу она сохраняетъ лишь въ теченіе 10 минутъ; полчаса спустя ея сила совершенно разрушена. Выгоды такихъ минъ слѣдующія: во-первыхъ, ихъ дешевизна; во-вторыхъ, ихъ безопасность, такъ какъ нечего опасаться послѣдующихъ взрывовъ, если бы случайно остался невзорванный патронъ; наконецъ, невозможность украсть патроны, такъ какъ чрезъ полчаса они уже негодны къ употребленію. Опыты съ новымъ взрывчатымъ веществомъ были произведены въ одной каменноугольной копи возлѣ Мюнхена. Было также рѣшено примѣнить новое вещество для прорытія Симплонскаго туннеля, между Бригомъ и Домо д'Оссода: съ этою цѣлью были устроены двѣ машины Ланда, которые могутъ давать отъ 6 до 7 литровъ жидкаго воздуха въ

часть. Опыты съ жидкимъ воздухомъ производятся также въ нѣкоторыхъ химическихъ заводахъ. Такъ, напр., при производствѣ хлора пытались употреблять жидкій кислородъ съ цѣлью получить жидкій хлоръ и такимъ образомъ легче очищать его отъ остатковъ азота, но этотъ опытъ не далъ выгодныхъ экономическихъ результатовъ. Въ настоящее время производятся опыты надъ примѣненіемъ воздуха, богатаго кислородомъ, при приготовленіи стали по способу Сименса-Мартина: получается болѣе высокая температура и болѣе чистые продукты. Наконецъ, предлагаютъ замѣнить кислородомъ азотную кислоту въ первой свинцовой камерѣ при фабрикаціи сѣрной кислоты. Въ будущемъ можно ожидать примѣненія жидкаго воздуха въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ: достаточно указать на возможность его примѣненія при плаваніи подъ водою, при подъемѣ на аэростатахъ, для закаленія стали при низкихъ температурахъ, для очистки хлороформа и пр. Напомнимъ также о возможности примѣненія холода съ терапевтическими цѣлями: уже нѣкоторыя попытки даже были сдѣланы въ этомъ направленіи въ одномъ изъ госпиталей Парижа.

Если жидкаго воздуха налить просто на руку, онъ не производитъ ожога: это зависитъ отъ отсутствія непосредственнаго соприкосновенія, такъ какъ жидкость принимаетъ сферическое состояніе. Если кожа смочена, происходитъ ожогъ, но лишь поверхностный, такъ какъ слой льда защищаетъ находящіяся подъ нимъ части. Для сохраненія жидкаго воздуха необходимы сосуды, по возможности, непроницаемые для тепла; для этой цѣли изобрѣтены особые баллоны, емкостью до 2½ литровъ, въ которыхъ можно сохранять жидкій воздухъ въ теченіе 15 дней; потеря въ нихъ равняется 6 куб. сентим. въ часъ, т. е. около 144 куб. сент. въ сутки.

Въ заключеніе остается упомянуть о нѣкоторыхъ научныхъ открытіяхъ, которыми мы обязаны жидкому воздуху. Посредствомъ пониженія температуры до -210° при испареніи жидкаго воздуха, Moissan и Dewar получили жидкій фторъ. Послѣдній въ жидкомъ состояніи теряетъ свою химическую активность: онъ не дѣйствуетъ ни на жидкій кислородъ, ни на ртуть, которая остается блестящею. Рамсей и Трэверсъ, подвергая фракціонированной перегонкѣ 800 куб. сент. жидкаго воздуха, удаливъ кислородъ, азотъ и аргонъ, получили остатокъ въ 10 куб. сантиметровъ, который въ спектрѣ обнаружилъ неизвѣстныя до того времени линіи: такъ было сдѣлано открытіе новаго простого тѣла, названнаго криптономъ. Наконецъ, недавно А. и Л. Люмьеръ сдѣлали сообщеніе о химическомъ дѣйствіи свѣта при низкихъ температурахъ, которыя легко достижимы съ помощью жидкаго воздуха; они констатировали, что бромосеребряная желатиновая пластинка, погруженная въ жидкій воздухъ, въ теченіе нѣкотораго времени не подвергается дѣйствію свѣта: для самыхъ чувствительныхъ пластинокъ нужно въ 350—400 разъ больше времени при -191° , чѣмъ при обыкновенной температурѣ; кромѣ того, пластинки, погруженные въ жидкій воздухъ, не претерпѣваютъ никакого постоянного измѣненія въ своихъ свойствахъ и сохраняютъ при переходѣ къ нормальной температурѣ всѣ свои первоначальныя свойства. Слѣдовательно, химическіе процессы, вызываемые дѣйствіемъ свѣтовыхъ лучей, повидимому, прекращаются при очень низкихъ температурахъ.

Фосфоресцирующія вещества, подвергшіяся предварительно дѣйствію свѣта, моментально теряютъ свои свойства, когда температура опускается до -191° ; ихъ способность свѣтиться временно уничтожается холодомъ, но не разрушается: достаточно привести ихъ къ обыкновенной температурѣ, чтобы они вновь начали фосфоресцировать. Наоборотъ, парафинъ приобретаетъ способность фосфоресцировать въ жидкомъ воздухѣ.

Встаетъ упомянуть здѣсь, что James Dewar сообщилъ недавно о новыхъ опытахъ съ жидкимъ водородомъ въ лондонскомъ королевскомъ обществѣ. Если

стеклянную трубку съ сильно разрѣженнымъ воздухомъ опустить въ жидкій водородъ, то остатки находящагося въ трубкѣ воздуха замерзаютъ и собираются въ самой нижней части трубки въ видѣ твердаго тѣла. Если теперь трубку въ одной изъ нижнихъ частей нагрѣть и вытянуть, то въ верхней части образуется до сихъ поръ еще недостигнутая степень пустоты, такъ что электрическій токъ едва еще проникаетъ черезъ нее. Вся операція длится всего лишь одну минуту и результатъ получается совершеннѣе, чѣмъ если бы заставить работать въ теченіе нѣсколькихъ часовъ воздушный насосъ. Несмотря, однако, на столь сильное, достигнутое при этомъ разрѣженіе воздуха, Бруксу удалось посредствомъ спектроскопа доказать присутствіе въ трубкѣ слѣдовъ углекислаго газа, водорода, неона и гелія. («Naturwiss. Wochenschr.», № 16).

Биологія. Удаленіе менѣ приспособленныхъ. Всякому приходилось, навѣрное, слышать о естественномъ подборѣ, результатомъ котораго является выживаніе тѣхъ организмовъ, которые наиболѣе приспособлены къ жизненной борьбѣ; организмы менѣ приспособленные погибаютъ въ ней и исчезаютъ. Если легко подобрать примѣры этого явленія при сравненіи организмовъ, принадлежащихъ къ очень различнымъ между собою родамъ, то гораздо труднѣе указать случаи, въ которыхъ замѣтна существенная разница между индивидами, принадлежащими къ одному и тому же виду, между тѣмъ какъ одни изъ нихъ выживаютъ, другіе же, наоборотъ, погибаютъ. Н. С. Витрусъ, съ цѣлью заполнить этотъ пробѣлъ, занялся внимательнымъ изученіемъ труповъ большого количества воробьевъ. Первую группу составили 136 труповъ воробьевъ, погибшихъ отъ бури, свирѣпствовавшей 1-го февраля текущаго года. Витрусъ полагалъ, что, сравнивъ этихъ воробьевъ (это были всѣ тѣ воробьи, которыхъ онъ могъ достать въ своемъ округѣ; они, конечно, составляли лишь небольшую часть тѣхъ, которые вообще погибли или пострадали отъ названной бури) съ известнымъ количествомъ воробьевъ, оставшихся невредимыми, ему удастся найти какую-нибудь разницу между двумя группами, которая, хотя бы до нѣкоторой степени, объяснила, отчего одни изъ нихъ пострадали, другіе же остались невредимыми.

Наблюденія Витрусъ'а показали ему, что въ этихъ двухъ категоріяхъ существуютъ отличія не только замѣтныя и измѣримыя, но даже бросающіяся въ глаза. Погибшія птицы отличались тѣмъ, что они были наиболѣе длинныя, наиболѣе тяжелыя, имѣли болѣе короткую голову, болѣе короткія ноги, болѣе узкій черепъ, болѣе медкую грудную кость. Существуютъ, слѣдовательно, отчетливыя, общія анатомическія различія между погибшими и выжившими воробьями. Можно было также замѣтить и другой фактъ: среди погибшихъ находились индивидуумы, которые наиболѣе уклонялись отъ средняго воробья. Изъ всѣхъ воробьевъ, изслѣдованныхъ Витрусъ'омъ, самый длинный и самый короткій находились среди тѣхъ, которые погибли. Среди погибшихъ находился также воробей съ наибольшимъ или наименьшимъ діаметромъ раскрытыхъ крыльевъ. Среди жертвъ находилась также наиболѣе тяжелая птица; погибли также птицы съ наиболѣе длинной и наиболѣе короткой головой; наконецъ погибли воробьи съ относительно наиболѣе короткою плечевою костью, съ наиболѣе длинною бедренною костью, съ наиболѣе длиннымъ и наиболѣе короткимъ черепами и проч. Смерть, повидимому, произвела опустошеніе среди воробьевъ, наиболѣе уклоняющихся отъ средняго типа и наименѣе подходящихъ къ нему. Изъ своихъ наблюденій Витрусъ дѣлаетъ смѣлый выводъ, что погибшіе воробьи по самой своей физической организаціи были предназначены къ гибели; они были удалены изъ жизни, потому что были менѣ приспособлены къ жизненной борьбѣ, обладали меньшими данными для такой борьбы.

Наблюденіе очень интересное само по себѣ и, конечно, можетъ быть съ пользою повторено и обставлено болѣе строгими условіями. Если заключеніе

вѣрно, оно показываетъ, насколько трудно укрѣпиться вариацин, которая не выгодна. Безъ сомнѣнія, всякій организмъ есть то, чѣмъ онъ долженъ быть въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ онъ эволюционировалъ; если онъ уклоняется отъ извѣстнаго средняго типа, онъ, очень возможно, менѣе способенъ бороться съ окружающими неблагоприятными условіями. («R. scientifique.», 22 April 1899).

Географія и путешествія. *Возвращеніе экспедиціи де-Герлаша и дру- гія антарктическія экспедиціи.* «Ciel et terre» сообщаетъ о возвращеніи въ Punta-Arenas бельгійской антарктической экспедиціи на корабль «Belgica», о которой не было никакихъ извѣстій въ теченіе 15 мѣсяцевъ. Въ законной радости по этому случаю примѣшивается однако чувство глубокой печали, такъ какъ двое изъ участниковъ экспедиціи сдѣлались жертвами своего энтузіазма и стремленія, по мѣрѣ своихъ силъ, принести пользу наукѣ. Первою жертвою былъ молодой норвежецъ Виѣке, 18 лѣтъ, умершій, по всей вѣроятности, случайно, 22 января 1898 года, вторую—артиллерійскій лейтенантъ Эмиль Данко, погибшій отъ болѣзни сердца 5 іюня 1898 года, на 30-мъ году жизни. По плану путешествія, выработанному де-Герлашемъ, «Belgica» должна была, покинувъ крайній пунктъ Южной Америки, проникнуть въ море Георга IV возможно далѣе на югъ. Съ приближеніемъ неблагоприятнаго сезона, т. е. около марта 1898 года экспедиція должна была вернуться на сѣверъ, сдѣлать остановку въ Мельбурнѣ (Австралія), запастись тамъ свѣжими припасами и направиться лѣтомъ на Землю Викторіи, съ цѣлью опредѣленія южнаго магнитнаго полюса. Возвращенія ея въ Европу ожидали къ апрѣлю 1899 года черезъ Австралію, Зондскій проливъ, Индійскій океанъ и Суэцкій каналъ. Поэтому, съ немалымъ удивленіемъ узнали о возвращеніи «Belgica» въ Punta-Arenas (на югѣ Патагоніи), такъ какъ, судя по плану экспедиціи, ожидали ея появленія въ Мельбурнѣ, который находится съ противоположной стороны земного шара. Каждому, впрочемъ, извѣстно, что корабль, затертый льдами, идетъ не туда, куда хочетъ, но туда, куда можетъ, такъ что трудно заранѣе намѣтить точный путь экспедиціи, которая часто принуждена бываетъ пользоваться временемъ и обстоятельствомъ. Отправившись, полтора года тому назадъ, изъ Южной Америки, экспедиція достигла земли, расположенной на 10 градусовъ южнѣе Огненной Земли, и затѣмъ направилась къ Землѣ Александра I, лежащей на западъ. Области, которыя экспедиція изслѣдовала, покинувъ Землю Александра I, совершенно еще неизвѣстны: она подвинулась градусовъ на 20 на западъ въ зонѣ разсѣянныхъ плавучихъ льдовъ. Разстояніе, отдѣляющее извѣстную границу Земли Александра I отъ крайняго пункта, достигнутаго экспедиціею равняется, приблизительно, 700 километрамъ. Навысшая широта, достигнута экспедиціею — $71^{\circ}36'$ (не нужно забывать, что плавучіе льды въ этой области достигаютъ 43°). Двѣ прежнія экспедиціи достигли въ этомъ смыслѣ болшихъ результатовъ: такъ экспедиція Ведделя въ 1823 году перешла 73° , а знаменитая первая экспедиція Росса перешла въ 1842 г. 77° на востокъ отъ Земли Викторіи. Экспедиція сильно страдала отъ непогоды, но не отъ холода: наиболѣе низкая температура — 43° Ц. Въ общемъ сдѣлано было около 20 высадокъ, собрано много коллекцій, между прочимъ, много образчиковъ горныхъ породъ, сдѣланы гидрографическія изслѣдованія и метеорологическія наблюденія. Последнія, быть можетъ, будутъ имѣть значительную важность, такъ какъ срокъ пребыванія «Belgica» въ антарктическихъ льдахъ очень значительный (самый продолжительный изъ всѣхъ предъидущихъ), а климатологія этой части земного шара почти совершенно неизвѣстна. Такъ какъ достиженіе южнаго полюса не входило въ планы экспедиціи, то можно сказать, что она вполне исполнила свою задачу—собрать возможно большее количество научныхъ коллекцій и наблюденій, въ особенности же, если мы примемъ въ соображеніе крайне ограниченныя средства, которыми располагала экспедиція.

О другихъ антарктическихъ экспедиціяхъ, частью только проектируемыхъ, частью уже находящихся въ пути, къ настоящему времени имѣются слѣдующія извѣстія. Съ Новой Зеландіи получено извѣстіе, что «Южный Крестъ» возвратился въ Port Chalmers, доставивъ на Землю Викторіи американскую антарктическую экспедицію подъ предводительствомъ Борхгревинка. Въ этой экспедиціи принимаютъ участіе 11 человекъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ мы сообщили въ «Мірѣ Божіемъ», о воззваніи лондонскаго географическаго общества, которое обращалось къ частной и правительственной инициативѣ за матеріальною помощью на проектируемую антарктическую экспедицію. Въ засѣданіи 27 марта президентъ общества сообщилъ, что г. Л. В. Лонгстафъ пожертвовалъ на это предпріятіе 25.000 фунт. стерлинговъ (болѣе 220.000 руб.). Благодаря такой чрезвычайной щедрости, комитетъ англійской антарктической экспедиціи располагаетъ въ настоящее время капиталомъ свыше милліона франковъ (расходы экспедиціи по смѣтѣ превышаютъ немного два милліона франковъ), такъ что комитетъ надѣется въ скоромъ времени обладать достаточными средствами для приведенія въ исполненіе своего проекта экспедиціи.

16-го января текущаго года въ берлинскомъ географическомъ обществѣ происходило засѣданіе географовъ и ученыхъ другихъ специальностей для обсужденія вопроса о снаряженіи, по возможности, въ самомъ непродолжительномъ времени нѣмецкой экспедиціи въ полярныя, антарктическія области. По внимательномъ изслѣдованіи предложеннаго проекта, была высказана надежда, что возможно будетъ выполнить задачу въ теченіе 1900 года. Инициаторы экспедиціи намѣтили уже и будущаго предводителя ея: выборъ ихъ остановился на молодомъ доцентѣ берлинскаго университета, Эрихѣ Дригальскомъ, имя котораго сдѣлалось въ послѣдніе годы извѣстнымъ, благодаря его замѣчательнымъ изслѣдованіямъ на мѣстѣ ледниковъ внутренней Гренландіи и послѣдующей обработкѣ собраннаго матеріала. Стоимость предпріятія исчислена въ суммѣ, превышающей немного милліонъ марокъ. Главною цѣлью нѣмецкой экспедиціи является опредѣленіе магнитныхъ элементовъ вокругъ антарктическаго полюса.

Н. М.

БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ

ЖУРНАЛА

„МІРЪ БОЖІЙ“.

Май.

1899 г.

Содержаніе: *Русскія и переводныя книги*: Беллетристика.—Критика и исторія литературы.—Юридическія науки.—Медицина и гигиена.—Математика и астрономія.—Новыя книги, поступившія въ редакцію.—*Иностранныя книги*: Новости иностранной литературы.

БЕЛЛЕТРИСТИКА.

Старицкіе. «Передъ бурей».—*И. Накрохинъ*. «Идиллія въ провъ».—*Генри Лонгфелло*. «Пѣснь о Гайяватъ».

Старицкіе (отецъ и дочь). *Передъ бурей*. Историческій романъ изъ временъ Хмельныщины. Киевъ. 1899 г. Стр. 620. Ц. 2 р. Успѣхъ романовъ г. Сенкевича изъ эпохи борьбы казачества съ Польшей не могъ пройти бесслѣдно, не вызвавъ подражаній, и они, конечно, не замедлили. Самымъ крупнымъ по размѣрамъ, не уступающимъ даже величиною огромному роману «Огнемъ и мечемъ», является недавно изданный романъ «Передъ бурей», представляющій совмѣстный трудъ отца и дочери Старицкихъ. Авторы поставили себѣ непосильную задачу,—дать широкую картину казачества передъ возстаніемъ Хмельницкаго. Сама по себѣ такая тема очень интересна, такъ какъ нарисовать въ художественной картинѣ положеніе тогдашней Малороссіи и уяснить причины, сдѣлавшія невозможнымъ совмѣстное существованіе двухъ народностей,—дѣло, достойная вниманія художника, обладающаго въ равной степени вдумчивостью и умѣньемъ проникнуть въ духъ отдаленной эпохи. Но для этого необходимо обладать огромнымъ талантомъ, котораго у гг. Старицкихъ, къ сожалѣнію, совершенно не оказалось. Вмѣсто исторической картины, они дали рядъ грубо скомпонованныхъ, мало связанныхъ сценъ, безъ завязки, безъ центра дѣйствія, безъ яснаго пониманія времени и главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Описанія ихъ блѣдны, растянуты, безсвязны и до нелѣпости грубы. Мы уже отыкали отъ подобной суждальской мази, и врядъ ли она можетъ удовлетворить даже самаго невзыскательнаго читателя. Вслѣдствіе указанныхъ недостатковъ, романъ непроходимо скученъ, и это его главный недостатокъ, въ сравненіи съ которымъ остальное уже не важно, хотя и это «остальное» не дѣлаетъ чести художественному чутью авторовъ.

Дѣло въ томъ, что гг. Старицкіе желаютъ, во что-бы то ни стало, превзойти г. Сенкевича. Послѣдній, какъ извѣстно, грубо-тенденціозенъ въ своихъ историческихъ романахъ, особенно въ первомъ изъ нихъ «Огнемъ и мечомъ». У него что ни полякъ, то герой и рыцарь непревосходимый. Казаки, наоборотъ, пьяницы, разбойники, плуты, труссы и дураки, которые рѣшительно не знаютъ, чего хотятъ. Въ центрѣ доблестнаго польскаго рыцарства стоитъ герой изъ героевъ Іеремія Вишневецкій, которому противопоставляются вѣчно пьяный Хмельницкій, лишенный всякихъ геройскихъ качествъ. Старицкіе состряпали свой романъ по тому же рецепту, но только совершенно наоборотъ. У нихъ что ни казакъ, то «лыцарь», что ни полякъ, то непроходимый осель, пьяница и мошенникъ. Іеремія Вишневецкій—разбойникъ, хвастунъ, враль, дикій звѣрь

и отчаянный пьяница. Хмельницкій—солнце «лыцарства», цвѣтъ геройства, такой «лыцарь», который ни въ огнѣ не горитъ, ни въ водѣ не тонетъ, и уже семи лѣтъ сражается въ рядахъ казачества и проявляетъ великую доблесть. Всѣ остальные «лыцари» не менѣе доблестны. Дерутся они какъ львы, пьютъ горилку не иначе, какъ ковшами, что не мѣшаетъ имъ быть чувствительными до послѣдней степени и лить горячія слезы рѣками, а не ручьями даже. Знаменитый вояка Кривонось «реве та стогне», якъ малое дитя, рассказывая сентиментальную повѣсть своей молодости. Не менѣе знаменитый вояка Богунъ то и дѣло вздыхаетъ по своей Ганиѣ, остальные казаки подражаютъ своимъ вождямъ, и если не пьютъ и не дерутся, то воркуютъ сладостно и нѣжно. Словомъ, продѣлываютъ все то, что доблестные паны у Сенкевича, съ тою лишь маленькою разницею, что у польскаго писателя описано все это занимательно, и «сказать неложно—его безъ скуки слушать можно». У Старицкихъ же вся эта quasi-историческая белиберда написана невыносимо скучно, темно и вяло, съ бездной повтореній и высокопарныхъ словечекъ, тошнотворныхъ до послѣдней степени. Хмельницкій, напр., на каждомъ шагу говоритъ длиннѣйшія рѣчи, что твой Цицеронъ, шагу не ступить, чтобы не разразиться патетической рѣчью о любви къ отечеству и народной гордости. «Вольное товариство» подражаетъ ему въ этомъ по мѣрѣ силъ и возможности, но куда имъ до Хмельницкаго! Съ горя они «кохаются» на каждомъ шагу, вздыхаютъ по своихъ «любыхъ», тѣ, конечно, отвѣчаютъ имъ тѣмъ же, а читатель съ горя засыпаетъ, подавленный такимъ обиліемъ горилки, «коханья», «лыцарства» и безталанной болтовни гг. Старицкихъ (отца и дочери). Въ концѣ концовъ г. Сенкевичъ выходитъ не только не посрамленнымъ изъ такого соперничества, но даже съ новыми лаврами. При всей его архи-тенденціозности, при всѣхъ неприличныхъ для такого крупнаго художника вылазкахъ противъ казачества, его спасаетъ огромный талантъ, котораго и скорей нѣтъ у его противниковъ, болѣе смѣлыхъ, чѣмъ удачливыхъ.

Въ заключеніе нужно добавить, что «романъ» внезапно обрывается безъ всякаго окончанія, и что стало съ героями—покрыто мракомъ неизвѣстности. Должно быть, самимъ Старицкимъ надоѣло тянуть свою скучную канитель и они поступили геройски, какъ вхъ «лыцари», поставивъ «конецъ» тамъ, гдѣ никакого конца-то и нѣтъ. А можетъ быть, «умыселъ другой тутъ былъ», и почтенные отецъ съ дочерью, поощряемые другъ другомъ, готовить еще романъ—«Буря», а потомъ—«Послѣ бури». Эпоха Хмельницкаго достаточно богата, и, войдя во вкусъ, можно изъ нея настряпать добрый десятокъ такихъ романовъ, какъ «Передъ бурей».

П. Е. Напрохинъ. Идилліи въ прозѣ. Рассказы. Спб. 1899 г. Ц. 1 р. Г. Напрохинъ—имя въ литературѣ для насъ совершенно новое, и тѣмъ пріятнѣе отмѣтить несомнѣнную его талантливость. На всѣхъ рассказахъ его лежитъ печать оригинальности, что одно уже даетъ ему право на вниманіе и выдѣляетъ изъ ряда авторовъ, благодѣтельствующихъ читателя своими архи-скучными и никому ненужными сборниками банальныхъ, всѣмъ пріѣвшихъ рассказовъ. Оригинальность его сказывается какъ въ манерѣ его письма, такъ и въ выборѣ темъ, изъ которыхъ каждая обнаруживаетъ въ авторѣ наблюдательность и умѣнье заглянуть въ жизнь поглубже, открывая новую сторону, новые типы и своеобразныя явленія. Онъ пишетъ нѣжными, свѣтлыми тонами, хотя и касается грустныхъ явленій. Это зависитъ преимущественно оттого, что авторъ заинтересованъ главнымъ образомъ внутреннимъ міромъ героевъ, надъ которымъ останавливается съ любовью и вдумчивостью. Слогъ его изященъ и простъ, вполне свободенъ отъ вычурности и изысканной утонченности. Онъ умѣетъ мѣткимъ словомъ, красивымъ эпитетомъ отгѣнить

характерную сторону положенія, выдающуюся черту героя разсказа, не прибѣгая къ длиннымъ расплывчатымъ описаніямъ.

Лучшіе разсказы тѣ, въ которыхъ описывается жизнь простыхъ людей, рабочихъ, крестьянъ, прислуги. Таковы разсказы: «Странникъ», «Талисманъ», «Воръ», хотя и въ разсказахъ изъ другой среды болѣе или менѣе ярко сказываются оригинальность и присущій автору юморъ. Наиболѣе типичнымъ для г. Накрохина служитъ разсказъ «Талисманъ», едва ли не лучший изъ всѣхъ. Талисманомъ является веревка повѣсившагося, которую случайно приобретаетъ одинъ рабочій. Благодаря глупой случайности, онъ выигрываетъ въ тотализаторъ, и слава о его талисманѣ быстро распространяется среди знакомой его городской бѣдноты. Каждый желаетъ овладѣть талисманомъ, который захватываетъ татаринъ разносчикъ, ловко подмѣнивъ его другой веревкой. Но, увы!—въ его рукахъ талисманъ теряетъ силу, и татаринъ проигрывается въ стуюлку тому же рабочему. Съ горя бѣдный Ахметка пытается повѣситься, но его спасаютъ, и онъ приходитъ къ своему партнеру, возвращаетъ талисманъ и винится. Тронутый его чистосердіемъ, рабочій возвращаетъ ему выигрышъ и бросаетъ за окно свой талисманъ. Вся прелесть разсказа заключается въ выполненіи, замѣчательно художественномъ и выдержанномъ. Превосходна, напр., начальная сцена, когда двое рабочихъ и ихъ товарищъ Моисѣичъ, въ родѣ нищаго, идутъ въ ясный денекъ на богомолье и разсуждаютъ о счастьи. Каждый недоволенъ своей судьбой и рѣшаетъ, что нѣтъ ему счастья. «Они замолчали. Моисѣичу показалось обиднымъ, что его даже и не спрашиваютъ, какое у него можетъ быть счастье,—точно несчастіе Моисѣича и нѣтъ никого на свѣтѣ.—«Гдѣ оно, счастье-то?—началъ Моисѣичъ.—Былъ у меня сродственникъ Автономъ. И въ сорочкѣ родился, а увѣчнымъ человѣкомъ вышелъ. да еще увѣчнаго-то въ солдаты взяли. Отслужилъ срокъ, вернулся въ деревню, захотѣлъ жениться,—ни одна дѣвка не идетъ. Сосѣдъ Никита совсваталъ ему дѣвку Агашку: такъ, скажемъ, вродѣ вольной женщины была, въ городѣ жила. Обвѣнчались. Она пожила съ нимъ три дня, да и сбѣжала въ городъ. Жилъ на смѣху. Помирать сталъ—лежить въ избѣ, бредить: «Помоги, Господи, только домой добраться... Тамъ тепло будетъ... Тамъ ужъ хорошо будетъ»... Умеръ—никто не хочетъ гробъ дѣлать. Насилу нашелся добрый человѣкъ. Сдѣлалъ гробъ—вышелъ коротокъ, крышка не закрывается... Тутъ ужъ одна женщина стала надъ нимъ плавать»... Этотъ маленькій отрывокъ, написанный съ такой простотой и правдивостью, очень характеренъ для г. Накрохина. По немъ читатели могутъ сами судить о художественной манерѣ автора, сьумѣвшаго въ этихъ десяти строкахъ сжать жестокую драму цѣлой жизни. Правда, такихъ мѣстъ, написанныхъ съ равной силой, у г. Накрохина немного, но приведенная выдержка даетъ представленіе о его простомъ и изящномъ слогѣ, очень вѣрно передающемъ живой разговорный языкъ, безъ всякой поддѣлки подъ народный говоръ.

Отрицательную сторону разсказовъ составляетъ неясность мысли автора, часто расплывающейся въ туманное, неопредѣленное настроеніе, какъ, напр., въ самомъ большомъ разсказѣ «Стихія». Отдѣльные сцены разсказа, передающаго плаваніе компаніи городсквхъ людей различнаго соціального положенія на Валаамъ, написаны очень хорошо. Фигуры типичны и живы, но въ разсказѣ нѣтъ никакого центра, и что долженъ разумѣть читатель подъ «стихіей», едва-ли понимаетъ и самъ авторъ. Та же неясность проявляется и въ нѣкоторыхъ другихъ разсказахъ, напр., въ очеркѣ «Входящій и исходящій», который производитъ впечатлѣніе незаконченности, какъ-будто авторъ не сьумѣлъ или не продумалъ его до конца и оборвалъ свою мысль, что городъ растлѣваетъ душу, не досказавъ ея до конца. Эта неясность мысли при несомнѣнномъ талантѣ показываетъ, что автору надо еще много поработать надъ собой,

чтобы достигнуть истиннаго художественнаго совершенства, при которомъ форма и содержаніе сливаются въ нераздѣльное гармоничное цѣлое.

Генри Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Переводъ съ англійскаго Ив. А. Бунина. Москва. 1899. Въ изящномъ изданіи московскаго магазина «Книжное дѣло», украшенномъ прекрасными рисунками и автотипіями американскаго художника Ремингтона, съ рѣдкою гармоніею соединяются художественность содержанія, возможное совершенство перевода и привлекательная вѣнность. Лонгфелло принадлежитъ къ благороднѣйшимъ поэтамъ нашего вѣка не только по своему исключительному поэтическому дарованію, но и по широкимъ интересамъ и высоко гуманному настроенію. Его знаменитыя *Пѣсни рабовъ* принадлежать къ тому же порядку, какъ *Хижина дяди Тома*. Многократныя и долготѣнныя экскурсіи его въ Европу дали богатый матеріалъ его любви къ легендарно-героической и народной литературѣ. Онъ съ одинаковымъ успѣхомъ обрабатывалъ темы и мотивы изъ скандинавской, средне-вѣково-нѣмецкой и англійской литературы и исторіи. Но лучшей его поэмой все-таки осталась *Пѣсня о Гайаватѣ*, эпосъ, въ основаніе котораго легли космологическія и героическія преданія сѣверо-американскихъ индѣйцевъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько буквально поэтъ слѣдуетъ своимъ источникамъ и какую роль играло его собственное творчество, читатель имѣетъ въ этой поэмѣ необыкновенно поэтическое цѣлое, которое дѣйствуетъ главнымъ образомъ своими общечеловѣческими чертами, не смотря на экзотичность сюжета. Собственно говоря, сюжета въ этой поэмѣ нѣтъ никакого. Вся она состоитъ изъ отдѣльныхъ эпизодовъ и картинъ, связанныхъ между собою личностью главнаго дѣйствующаго лица, а иногда теряющихъ и эту связь. Единство дѣйствія здѣсь замѣнено единствомъ міросозерцанія и колорита. Въ свѣжихъ и могучихъ образахъ, которые создаются лишь первобытными народами, предъ нами проходитъ исторія зачатковъ культуры краснокожихъ людей въ обстановкѣ тяжелой борьбы съ неподатливыми силами природы. Все это съ замѣчательнымъ тактомъ и чувствомъ поэтической мѣры приурочено къ лицу великаго мудреца и человѣчески благороднаго героя Гайаваты. Внутреннюю цѣльность и правдивость нарушаетъ только заключительный эпизодъ—появленіе бѣлыхъ въ лицѣ монаха, проповѣдующаго христіанство. Краснокожіе дружелюбно и гостепріимно встрѣчаютъ начала новой культуры, и Гайавата, носитель мудрости прежнихъ вѣковъ, чувствуя, что роль его огнищъ сыграна, удаляется навсегда въ невѣдомыя пустыни запада. Въ дѣйствительности, какъ извѣстно, новая культура, которую Лонгфелло характеризуетъ здѣсь евангельскою проповѣдью, не принесла краснокожимъ ничего, кромѣ вырожденія.

Брасота произведеній американскаго поэта, достигаемая замѣчательно простыми, безыскусственными средствами, давно сдѣлали его популярнымъ въ Европѣ. Въ Великобританіи онъ занимаетъ мѣсто въ ряду величайшихъ англійскихъ поэтовъ, нѣмцы имѣютъ образцовые переводы его произведеній; многія изъ нихъ переводились по нѣскольку разъ. У насъ отдѣльныя стихотворенія, въ переводѣ Михайлова, Михаловскаго и др., также пользуются издавна всеобщою извѣстностью; таковы, напр., нѣкоторыя изъ *Пѣсенъ рабовъ*, *Псаломъ жизни* и др. Но изъ поэмъ Лонгфелло мы до сихъ поръ имѣли лишь отрывки изъ *Гайаваты* въ переводѣ Михаловскаго и *Эвangelію* въ переводѣ П. И. Вейнберга. Трудъ г. Бунина является, такимъ образомъ, весьма пріятнымъ явленіемъ, особенно въ виду того, что переводчикъ вполне успѣшно справился со своею нелегкою задачей. Онъ сумѣлъ сохранить необыкновенную простоту стиля подлинника, не ослабивъ могучей образности его, что очень рѣдко случается съ нашими стихотворными переводами. Правда, легкость размѣра (4-хъ-стопный хорей съ женскимъ окончаніемъ) и отсутствіе рѣзмы въ значительной степени облегчаютъ трудъ переводчика, но съ другой стороны необыкновенная сжатость

англійскаго языка, по справедливому замѣчанію переводчика, представляет иногда почти непреодолимая трудности. Одна особенность *Гайаваты*, впрочемъ, сообщаетъ русскому переводу неприятную черту, устранить которую не во власти переводчика: Лонгфелло впадаетъ въ текстъ около полотораста индійскихъ словъ, названій людей, животныхъ и предметовъ, которые постоянно повторяются. Фонетика русскаго языка такъ своеобразна, что звуки почти всѣхъ иностранныхъ языковъ передаются имъ съ большимъ трудомъ и чужеземныя названія въ стихахъ обыкновенно невыносимо рѣжутъ ухо, особенно когда ихъ еще приходится склонять. Въ *Гайаватъ* же постоянно встрѣчаются такія невозможныя въ русскомъ языкѣ звуковыя соединенія, какъ *Minjekahwun*, *Sheshewwug*, *Chibiabos* и т. п. Въ своей поэмѣ Лонгфелло присоединилъ нѣсколько примѣчаній, которыя иногда поясняютъ тотъ или иной образъ, иногда заключаютъ ссылки на литературныя источники или болѣе подробное изложеніе повѣрья, обычая, преданія. Жаль, что г. Вунинъ не счелъ нужнымъ присоединить эти примѣчанія къ своему переводу.

КРИТИКА И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

Н. Котляревскій. «Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и настоящаго вѣка».—Георгъ Брандесъ. «Людвигъ Берне и Генрихъ Гейне».—«Памятя Федора Ивановича Вуслаева».

Н. Котляревскій. Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка. С.-Петербургъ. 1898. Главное достоинство задачи, избранной г. Котляревскимъ для своей книги,—чрезвычайно богатое и разностороннее содержаніе. Трудно даже сказать, какой идейный вопросъ не входитъ въ тему сочиненія? Психологія, политика, нравственная и умственная культура—все это тѣснѣйшимъ образомъ связано съ исторіей «міровой скорби». Она представляетъ господствующій фактъ новѣйшей европейской цивилизаціи, тѣмъ болѣе сложный и увлекательный, что его отнюдь нельзя считать законченнымъ. Конецъ нашего столѣтія не только не свелъ окончательныхъ счетовъ съ идеями и настроеніями своихъ раннихъ поколѣній, но, можно сказать, только обострилъ и углубилъ вѣковые запросы высшаго философскаго мышленія, настойчиво преслѣдовавшіе предшественниковъ, творцовъ и наслѣдниковъ великой революціи. Писать о «міровой скорби» значитъ вскрывать самую сущность вопроса, чѣмъ живъ современный человѣкъ, и выяснять основные руководящіе мотивы безпримѣрно-запутанной драмы, именуемой исторіей XIX-го вѣка. Естественно, эти свойства задачи налагаютъ на изслѣдователя и вполнѣ опредѣленныя, въ высшей степени отвѣтственныя обязательства. Зарожденіе и развитіе «міровой скорби» можно изслѣдовать по двумъ смежнымъ, но различнымъ направленіямъ. Можно почвой изслѣдованія избрать строго-отвлеченную мысль, рассмотреть видоизмѣненія въ міросозерцаніи тоскующаго новаго человѣка по системамъ философіи и нравственности, но къ той же цѣли можно идти и другимъ путемъ—анализомъ художественнаго творчества. Оно—именно въ данный періодъ—съ не меньшей чуткостью и глубиной отразило идейную работу цѣлаго ряда поколѣній, увѣковѣчило ее въ сильныхъ и часто блестящихъ образахъ и этимъ самымъ въ сильнѣйшей степени облегчило трудъ историка и психолога. Г. Котляревскій избралъ второй путь. Его книга—рядъ литературныхъ характеристикъ, портретовъ писателей и разборовъ ихъ произведеній. Авторъ отъ начала до конца сосредоточенъ почти исключительно на произведеніяхъ поэтической фантазіи: только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ онъ касается литературныхъ явленій другого порядка. Это предпочтеніе само по себѣ не можетъ вызывать упрека, но какъ разъ особыя свойства художественнаго творчества въ

XVIII и въ XIX вѣкѣ съ первыхъ же шаговъ разрушаютъ чисто литературныя симпатіи автора. Прежде всего—поэтъ «мировой скорби», все равно, будетъ ли это идейный родоначальникъ якобинства Руссо или гармонически-созерцательный авторъ Фауста—непремѣнно политическое и нравственное явленіе. И все его писательское величіе, вся его слава и все его вліяніе основаны преимущественно на его органической связи съ современной культурной дѣйствительностью: иначе онъ и не былъ бы выразителемъ «мировой скорби», а самое большее—развѣ творцомъ мечтательныхъ элегій и чувствительныхъ балладъ. Слѣдовательно, политическая обстановка скорбящей поэзіи—коренная исходная точка для историка и психолога «мировой скорби». Мы безусловно должны знать *фактическую*, реальную основу явленія. Мы должны непремѣнно *исторически* придти къ убѣжденію, что люди второй половины XVIII-го вѣка неизбежно должны были заболѣть недугомъ, именуемымъ «мировой скорбью», что этотъ недугъ явился логическимъ слѣдствіемъ извѣстныхъ условій общественнаго и политическаго строя, что отчаяваться вмѣстѣ съ Руссо въ цивилизаціи, проклинать толпу и человѣчество вмѣстѣ съ героями Байрона—начало только подводить итоги *современной* цивилизаціи и нравственнымъ качествамъ *современнаго* человѣчества. Однимъ словомъ, поэтическіе образы мы обязаны связать съ живыми людьми, и только если эта связь намъ удастся, мы въ правѣ опѣвывать жизненный смыслъ и историческое значеніе скорбической поэзіи, иначе мы безпрестанно рискуемъ *переоцнить* чисто-личныя изліянія увлекающихся поэтовъ, ихъ большое и капризное фантазерство отождествить съ фактами подлинной дѣйствительности и придать совершенно несомнѣтельный смыслъ своевольной игрѣ и артистической позѣ какого-нибудь вдохновеннаго стилиста. Только тщательное знакомство съ исторической почвой можетъ помочь изслѣдователю отличить дѣйствительно полносочныя органическія явленія отъ пустоцвѣтовъ. И вопросъ о «мировой скорби» въ особенности требуетъ такого безусловно положительнаго и невозмутимо трезваго отношенія. Она, эта скорбь, оказалась неистощимой родоначальницей всевозможнаго лицедѣйства—благодарнѣйшимъ украшеніемъ для ловкихъ и пошлыхъ эксплуататоровъ чужого простосердечія и роковой способности — поддаваться гипнозу и иллюзіи. Разсуждая о Шатобрианѣ, Гете, Байронѣ, не слѣдуетъ ни на минуту забывать, что въ произведеніяхъ именно этихъ поэтовъ подперпнули свои чары самые мелкіе и презрѣнные представители демоническаго типа, и съ великимъ успѣхомъ подвизались на европейской сценѣ умственные пигмеи и шуты только потому, что умѣли кстатѣ нарядиться въ синій кафтанъ Вертера и въ мишурный плащъ Чайльдъ-Гарольда. Это—фактъ первостепенной важности и онъ показываетъ, съ какою осторожностью слѣдуетъ приступать къ эффектнымъ фигурамъ Рене и Манфредовъ и сколько здраваго смысла и исторической освѣдомленности необходимо вносить въ толкованіе ихъ сатанинскихъ проклятій и вулканическихъ вздоховъ.

Г. Котляревскій приступилъ къ своей работѣ какъ разъ въ противоположномъ настроеніи. Съ первой, страницы до послѣдней онъ находится подъ неотразимымъ обаяніемъ своихъ героевъ, будто одинъ изъ этихъ героевъ пересказываетъ намъ прозой все, что когда-то поэты заставляли его выражать стихами. Авторъ, надо думать, привалъ большой для себя честью и счастьемъ слить свой голосъ съ монологами былыхъ представителей разочарованія и тоски. Такъ можно заключить по неутомимо-лирическому тону всей книги. Этотъ лиризмъ означаетъ въ данномъ случаѣ больше, чѣмъ простую литературную форму. Онъ владѣетъ мыслью и чувствами автора, онъ управляетъ его сужденіями, онъ *подчиняетъ* себя его критическій анализъ и даже историческую истину. Можно сказать, авторъ является жертвой своего стіля и волей неволей сохраняетъ лирическій *струющий* характеръ рѣчи тамъ, гдѣ умѣстнѣе всего

было бы дать возможно широкій просторъ прозаическому разсужденію и холодному сомнѣнію. Естественно, лиризмъ плохо мирится съ основнымъ, по нашему мнѣнію, принципомъ поставленной темы—съ исторіей, и она совершенно устранена авторомъ. Онъ предпочитаетъ *загадочное* и *таинственное* историческимъ объясненіямъ (стр. V), съ особеннымъ удовольствіемъ пользуется терминами романтической поэзіи и, напримѣръ, глава о Байронѣ пестрѣетъ словами: мистически возвышенно, величаво, тайна, *загадочная* душа, *странный* типъ... Уже самыя выраженія показываютъ, что авторъ заинтересованъ не столько въ анализѣ извѣстныхъ художественныхъ фактовъ, сколько въ изъясненіи своего *поэтического* отношенія къ нимъ. Такая ненадлежащая постановка дѣла немедленно отражается на общемъ смыслѣ и на частностяхъ работы.

Прежде всего авторъ бросаетъ ложный свѣтъ на главнѣйшія эпохи новой исторіи и превратно понимаетъ культурную роль важнѣйшихъ идейныхъ дѣятелей. Недоразумѣнія начинаются съ XVIII го вѣка. Егo г. Котляревскій характеризуетъ очень жестоко: этотъ вѣкъ «принадлежалъ къ числу беззаботныхъ и очень эгоистическихъ вѣковъ», былъ «вѣкъ блестящей самодовольной цивилизаціи», «въ немъ было мало любви и страсти и много логики». Только *съ концъ вѣка*, «на самой зарѣ нашего столѣтія» наступила «диктатура сердца» и оживила жизнь «притокомъ любви» (VII).

Этотъ приговоръ рѣшительно не уживается съ простѣйшими подлинными фактами. Кого авторъ разумѣетъ какъ представителей *вѣка* до самого его конца? Придворныхъ Людовика XVI? Тогда онъ вообще правъ, но вѣдь эта порода людей не повинна въ оригинальныхъ чертахъ XVIII вѣка. По части любви и страсти она мало измѣнилась со временъ Расина и Мольера, и ее нѣтъ ни малѣйшихъ основаній приурочивать къ просвѣтительной эпохѣ. Остаются «просвѣтители», т. е. энциклопедисты съ Вольтеромъ во главѣ, значить они украсили собой беззаботный эгоистическій вѣкъ и, благодаря имъ, этотъ вѣкъ «замыкалъ чловека въ узкомъ кругѣ утонченной цивилизаціи» и «не дѣлалъ изъ него гражданина вселенной?» Выходитъ такъ. Немного дальше о Вольтерѣ прямо говорится: «любить онъ не умѣлъ, какъ и большинство его современниковъ, за исключеніемъ развѣ Дидро» (13).

У современной французской академической публицистики въ большой модѣ развѣнчивать Вольтера: со стороны академиковъ конца вѣка это понятно; недаромъ они поставляютъ такой благодарный матеріалъ для патріотической лиги и даже для католической церкви. Но какъ могъ впасть въ то же теченіе столь искренній и благонамѣренный русскій авторъ? Онъ съ полнымъ довѣріемъ относится къ словамъ Руссо, цитируетъ чувствительныя изліянія женевского философа съ трогательнымъ чувствомъ; отчего же онъ не желаетъ выслушать Вольтера и Даламбера и также довѣрчиво принять ихъ рѣчи? Это даже оказалось бы легче и естественнѣе, чѣмъ съ Руссо; рѣчи, напримѣръ, Вольтера подтверждаются очень *страстными дѣлами* любви, а Руссо, по словамъ самого же автора, силу свою полагалъ не въ дѣйстви, а въ воздержаніи отъ дѣствія. Руссо только разъ случилось выступить на защиту гонимыхъ и онъ поспѣшилъ раскаться въ *нарушеніи своего правила*. А Вольтеръ всю жизнь практиковалъ какъ разъ противоположное *правило*, и г. Котляревскому очень поучительно было бы перечитать письма Вольтера во время исторіи съ Каласами, Сирваномъ и многими другими жертвами католическаго и парламентскаго правосудія. Въ этихъ письмахъ отнюдь не меньше глубокаго и, что особенно цѣнно, *дѣтельного* чувства любви, чѣмъ на самыхъ краснорѣчивыхъ страницахъ романовъ Руссо. Между прочимъ, Вольтеръ писалъ: «Мнѣ стыдно быть такимъ чувствительнымъ, такимъ отзывчивымъ въ мои годы. Я страдаю отъ землетрясенія въ Константинополѣ, я плачу о людяхъ, у которыхъ вырываютъ языки...» И нѣтъ конца подобнымъ заявленіямъ, и они неизмѣнно сопровождаются энер-

гичѣйшимъ вмѣшательствомъ писателя въ пользу несчастныхъ. Дидро имѣеть всѣ основанія именовать его «славный и нѣжный другъ человѣчества», и впоследствии дѣятеля революціи, переноса прахъ Вольтера въ Пантеонъ, на его гробѣ напишутъ слова: «Онъ защищалъ Каласа, Сирвана, Лабарра и Мовбалли». Надпись была вполне понятна для послѣдняго парижскаго пролетарія, и даже для весьма многихъ французскихъ крестьянъ. Г. Котляревскій говоритъ о раскаяніи Руссо, по поводу опрочечиваго вмѣшательства въ судьбу феодальныхъ подданныхъ нѣкоего графа, отчего же г. Котляревскій не вспомнилъ аналогичныхъ эпизодовъ изъ жизни Вольтера, особенно отношенія его къ демократическимъ реформамъ Тюрго? Г. Котляревскій благоволяетъ къ чувствительнымъ *литературнымъ* мотивамъ,—біографія Вольтера переполнена *фактами* по истинѣ трогательными и забывать ихъ ради художественнаго краснорѣчія хотя бы даже Руссо исторически невѣрно и несправедливо.

Эта забывчивость еще не имѣла бы рѣшающаго значенія, если бы жертвы ея ограничились Вольтеромъ и энциклопедистами. Къ сожалѣнію, историческая неправда жестоко отомстила автору. Онъ, впадая въ неосновательную идеализацію Руссо, односторонне истолковалъ и личность, и идеи женевского философа. Онъ посвятилъ все свое вниманіе *чувствительной* сторонѣ таланта Руссо и совершенно упустилъ изъ виду *логическую*. Для г. Котляревскаго Руссо—представитель «автономнаго сердца», весь проникнутый горячей любовью къ людямъ, творецъ идей о равенствѣ и братствѣ и, въ заключеніе, философъ, преисполненный «вѣры въ массу». Этотъ выводъ въ высшей степени рѣшителенъ, авторъ, повидимому, и не подозреваетъ всей своей отвѣтственности, рисуя Руссо политическимъ демократомъ. У г. Котляревскаго нашлась даже авторитетъ, г. Спасовичъ, совершенно успокоивающій его. Именно г. Спасовичъ въ статьѣ о Байронѣ написалъ слѣдующую фразу: Руссо явился «знаменосцемъ демократіи; для нея онъ послужилъ истиннымъ выраженіемъ и сосудомъ (?); онъ распространялъ не только демократическія идеи, но самый истинный и духъ демократизма». Г. Котляревскій цитируетъ эту фразу, не чувствуя потребности провѣрить ея справедливость по политическимъ сочиненіямъ Руссо. Сдѣлавъ авторъ эту провѣрку, онъ убѣдился бы, что г. Спасовичъ не успѣлъ уяснить себѣ дѣйствительнаго смысла *соціальной догворы* и навязалъ Руссо идеи, до которыхъ европейская—отнюдь не французская—политическая мысль дошла независимо отъ женевского политика. Правда, Руссо питалъ очень чувствительное расположеніе къ равенству и братству, но одновременно онъ предложилъ оригинальнѣйшій путь къ осуществленію этихъ благъ. Обществу даетъ извѣстный строй не само это общество, а *законодатель* совершенно исключительнаго характера и Руссо со всѣмъ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ изобразилъ и законодателя и пріемы законодательства. Это *высшая интеллигенція, intelligence superieure*, онъ не поучаетъ и не доказываетъ, онъ только изрекаетъ, «увлекаетъ безъ насилія и убѣждаетъ безъ доказательствъ» (*qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre*). Онъ можетъ измѣнять даже человѣческую природу. У него авторитетъ неизмѣримо болѣе высокій, чѣмъ всѣ человѣческія средства и силы. Въ переводѣ на историческій языкъ это, ни болѣе, ни менѣе, какъ гражданское папство, диктатура, цезаризмъ, и впоследствии Робеспьеру и Бонапарту не стоило никакихъ усилій на идеяхъ Руссо основать неограниченную власть *одного чело-вѣка* надъ личностью и жизнью другихъ людей (*Du contrat social*, II, 7). Очевидно, въ демократизмъ Руссо слѣдуетъ внести существенныя поправки: женевскій философъ—творецъ идеи естественнаго равенства и въ то же время творецъ *цезаризма*, въ общемъ демократической политикѣ въ національно-французскомъ смыслѣ, т. е. однопольная народная масса съ диктаторомъ во главѣ. Эта идея, какъ извѣстно, прошла черезъ всю политическую мысль Франціи того времени—черезъ сенъ-симонистскую школу, контовскій позитивизмъ вплоть

до нашихъ дней. И г. Котляревскому, вмѣсто ссылокъ на чужія, слишкомъ поспѣшныя толкованія, надлежало самому вчитаться въ политическія разсужденія Руссо, а главное, провѣрить ихъ практическія тенденціи на историческихъ событіяхъ, тогда онъ увидѣлъ бы сильнѣйшую культурную связь между идеальнo-аристократическими фигурами поэзіи разочарованія въ родѣ Манфреда и Баина и героемъ *общественнаго договора*, этой сверхъестественной *intelligence superieure*, диктующей свою волю благоговѣнно внимающему народу. Единственный демократическій принципъ въ *политическомъ* смыслѣ можно извлечь изъ идей Руссо—*плебисцитъ*, но г. Котляревскому, несомнѣнно, извѣстны *демократическія* благодѣянія этого принципа, насколько они обнаружались во французской исторіи. Недоразумѣнія относительно Руссо не кончаются у нашего автора на чисто-политическомъ вопросѣ. Стремясь во что бы то ни стало возвести философа на высшую ступень сердечности и человѣколюбія, г. Котляревскій приписываетъ ему даже вѣру въ прогрессъ. Это одно изъ капитальнѣйшихъ заблужденій автора. По самой сущности міросозерцанія Руссо не могъ допустить мысли о прогрессѣ, о постепенномъ *совершенствованіи*, о *положительномъ* развитіи человечества. Правда, у Руссо, насколько намъ извѣстно, впервые встрѣчается выраженіе *perfectibilité*, т. е. совершенствованіе: имъ Руссо характеризуетъ ходъ человѣческой исторіи. Но смыслъ этого «совершенствованія» у Руссо совершенно своеобразный. Во второй диссертациі (*Quelle est l'origine de l'inégalité...*) послѣдствія совершенствованія самыя губельныя: человѣкъ, совершенствуясь, становится несчастнымъ и приобрѣтаетъ всевозможные пороки, невѣдомые въ первобытномъ состояніи, вообще, говоритъ Руссо: самое «состояніе мышленія противоестественно и человѣкъ, который мыслить, существо извращенное» (*un animal dégradé*). Въ *Contrat social* Руссо отказался отъ идеализаціи «естественнаго состоянія», но огню не призналъ за исторіей положительнаго значенія. Два основныя культурныхъ факта—христіанство и конституціонный строй—Руссо считаетъ моментами регресса. И окончательный выводъ изъ *общественнаго договора*—учрежденіе государственной инквизиціи въ вопросахъ религіи менѣе всего, конечно, свидѣтельствовалъ о довѣрїи философа къ способности человѣка совершенствовать жизнь и міросозерцаніе. На эту идею инквизиціоннаго преслѣдованія за «невѣріе» и «вечестіе» г. Котляревскій не обратилъ ни малѣйшаго вниманія во всѣхъ своихъ лирическихъ разсужденіяхъ о Руссо, а между тѣмъ, какую громадную роль сыграла она въ революціонной политикѣ и какой яркій свѣтъ бросаетъ она на «самодержавное сердце» Руссо! Не отдалъ себѣ яснаго отчета г. Котляревскій и въ центральномъ идеалѣ Руссо, какъ писателя, въ идеализаціи естественнаго человѣка. Авторъ въ ней видитъ вообще идеализацію *человѣческой природы*: сердце Руссо будто было исполнено «самой сильной любви къ людямъ». Въ какихъ?—имѣемъ мы полное право спросить у восхищеннаго автора. И самъ Руссо въ отвѣтъ нарисовалъ бы намъ существо, не имѣющее ничего общаго какъ разъ съ реальнымъ человѣкомъ. Объ естественномъ состояніи тотъ же Руссо говоритъ: оно не существуетъ болѣе, можетъ быть, никогда не существовало и навѣрное никогда не будетъ существовать. То же самое и *естественный человѣкъ*, т. е. человѣкъ, единственно любимый Руссо. Достаточно вспомнить, что это удивительное существо не обладаетъ отъ природы даже рѣчь, лишено склонности къ общезитію и не способно мыслить. Какія-то *внѣшнія причины* (*causes étrangères*) навязали всѣ эти источники бѣдствій естественному человѣку. Очевидно, Руссо рисовался вовсе не-человѣкъ, какого мы знаемъ не только изъ исторіи, а даже изъ быта дикарей: самыя первобытныя дикари умѣютъ говорить и стремятся къ общезитію, и даже многія животныя одарены большимъ запасомъ выразительныхъ звуковъ и социальными инстинктами. Кого же, послѣ этого, любилъ Руссо? Въ одномъ изъ позднѣйшихъ сочиненій, въ проектѣ поль-

ской конституціи, настроенія Руссо окрашены въ еще болѣе мрачный цвѣтъ, чѣмъ даже въ диссертациахъ. Въ проектѣ встрѣчаются два лирическихъ отступленія и оба самаго пессимистическаго содержания. Одно безнадежное изображеніе вѣхъ сторонъ современной европейской жизни и мысли, идеаломъ выставляется древность, снова предлагается поношенію «пошлая (basse) философія». Въ другомъ мѣстѣ описывается, съ какимъ трудомъ и какъ рѣдко люди усваиваютъ свободу, какъ мало они достойны ея. Здѣсь нѣтъ и рѣчи о высотѣ человѣческой природы и о предназначеніи человѣка для свободы. Въ заключеніе полякамъ дается совѣтъ вступать въ союзъ только съ султаномъ, какъ государемъ, менѣе другихъ просвѣщеннымъ, и, слѣдовательно, болѣе другихъ честнымъ. Слишкомъ чувствительно принимаетъ г. Котляревскій и экономическое ученіе Руссо. Оно все сводится къ *благодѣтельности*, т. е. принципу вполне буржуазному и, если бы г. Котляревскій оказалъ больше вниманія къ исторіи, онъ увидѣлъ бы, что именно чувствительныя изліанія Руссо съ большимъ успѣхомъ пускались въ ходъ противниками коренныхъ экономическихъ и социальныхъ реформъ и буржуазія усиливалась освятить свое эксплуататорское хозяйничанье «прокормленіемъ» бѣдныхъ и обездоленныхъ.

Послѣ этихъ замѣчаній становится очевиднымъ, до какой степени превратно изображены у г. Котляревскаго идейныя теченія XVIII-го вѣка. Любовь къ человѣчеству и вѣра въ прогрессъ находились совершенно не тамъ, гдѣ открылъ ихъ нашъ авторъ, почему—совершенно понятно даже логически. Разъ писатель цивилизаціи противопоставлялъ фантастическое естественное состояніе, разъ лично онъ *по принципу* уклонялся отъ дѣятельнаго осуществленія своей любви, онъ не могъ представлять собой той *philanthropie universelle*, о которой говорилъ Кондорсэ, и того культурнаго энтузіазма, который не покидалъ того же Кондорсэ въ тюрьмѣ и наканунѣ насильственной смерти. Руссо гениаленъ какъ критикъ, какъ отрицатель многихъ темныхъ сторонъ европейской общественной и политической дѣятельности въ XVIII вѣкѣ, но какъ идеалистъ, какъ созидатель новаго строя онъ пессимистъ и фантазеръ и подлѣжитъ самой тщательной критикѣ, менѣе всего лирическому прославленію. И заблужденіе г. Котляревскаго произошло не только отъ полнаго пренебреженія къ историческимъ фактамъ, но и отъ исключительнаго пристрастія къ чувствительному элементу литературы и отъ равнодушія къ ея логическому и чисто-философскому содержанию. Руссо не только сентиментальный лирикъ, онъ одинъ изъ первостепенныхъ представителей французскаго *raison raisonnée*, поистинѣ гениальный творецъ отвлеченныхъ формулъ въ области политики и нравственности, можно сказать математически мыслящій законодатель. Именно на этомъ свойствѣ его таланта основано преимущественно громадное революціонное вліаніе его произведеній. Революціонная радикальная идеологія—родное дѣтище *Общественнаго договора* и совершенно напрасно г. Котляревскій, съ чувствительной точки зрѣнія, ополчается на якобинцевъ. Они вовсе не «переродились въ палачей», они только попытались осуществить практически ученіе Руссо, т. е. *измѣнить* самую природу людей во имя свободы или уничтожить ихъ какъ нечестивцевъ и измѣнниковъ. Пусть г. Котляревскій внимательно вчитается въ политическіе трактаты Руссо, и онъ непременно откажется отъ своихъ словъ, будто «извращеніе основныхъ *нравственныхъ* понятій» вызвало злодѣйства революціи. Не въ нравственности вопросъ, а въ фанатическомъ, вполне искреннемъ стремленіи антикультурныя формулы Руссо, рассчитанныя на *фантастическаго* естественнаго человѣка, примѣнить къ историческому обществу и къ многовѣковой культурной почвѣ. Разбирать Руссо-сентименталиста и забывать Руссо-идеолога значитъ писать только *предисловіе* къ характеристикѣ Руссо и отмѣчать второстепенную черту его личности и таланта.

Тотъ же самый неисторическій лиризмъ проходитъ и по остальнымъ характеристикамъ и особенно печально отражается на главѣ о Шатобрианѣ. Послѣ новѣйшихъ изслѣдованій вопроса, послѣ многочисленнаго біографическаго матеріала касательно Ренэ, мы были прямо поражены встрѣтить столь, можно сказать, простодушное архаическое изображеніе одного изъ фальшивѣйшихъ комедіантовъ «міровой скорби». Даже если держаться свѣдѣній, исходящихъ отъ самого Шатобриана—его *Замогильныхъ записокъ* и переписки, никоимъ образомъ его нельзя отнести къ числу идеалистовъ, разочарованныхъ событиями революціи. Неужели г. Котляревскому неизвѣстно, что Ренэ чувствовалъ себя несчастнымъ еще въ родномъ Комбургѣ и принесъ оттуда всю бездну своей скуки ко двору Людовика XVI? И смыслъ этой скуки отнюдь не обманутый идеализмъ, а полная органическая неспособнность будущаго гения къ какой бы то ни было реальной жизни и серьезной дѣятельности. Это—типичный человѣкъ прошлаго, невпропачъ по наслѣдству, средневѣковой романтикъ по инстинктамъ и жертва маниі величія по удачному стеченію обстоятельствъ въ эпоху реакціи. Шатобрианъ бѣжалъ изъ Парижа отъ просвѣтительной философіи, потомъ отъ революціи, бѣжалъ въ Америку не къ Вашингтону, какъ полагаетъ г. Котляревскій, а къ пейзажамъ и «естественнымъ людямъ», т. е. индѣйцамъ. По природѣ и складу ума Шатобрианъ былъ совершенно чуждъ и идеямъ XVIII вѣка, и революціонному движенію: чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочитать первый томъ его *Замогильныхъ записокъ*, его характеристику Мирабо, разсказъ о взятіи Бастиліи и потомъ о свиданіи съ Вашингтономъ. Шатобрианъ—эмигрантъ только по слабости характера и отсутствію какихъ бы то ни было политическихъ убѣжденій, лишенный страсти и гнѣва большинства эмигрантовъ, а г. Котляревскій возводитъ его на пьедесталъ разочарованнаго идеалиста! Достаточно простой *хронологіи*, чтобы увидѣть всю странность этого взгляда. Г. Котляревскій говоритъ о надеждахъ Шатобриана, которыхъ не оправдала революція. Любопытно бы узнать отъ автора, какія это надежды и откуда онъ узналъ о нихъ? Не изъ сочиненія же Шатобриана, написаннаго послѣ революціи и представляющаго непроглядный хаосъ декламаций по самымъ противоположнымъ направленіямъ, не изъ бѣгства Шатобриана *въ самую началъ* революціи, еще при жизни Мирабо, не изъ *Генія христіанства*, вдохновеннаго самой наивной младенческой реакціей ханжи-эстета. Дальше г. Котляревскій находитъ возможнымъ трогательно изображать Шатобриана, «приплывшаго, наконецъ, къ тихой и мирной пристани христіанской вѣры», и это на основаніи знаменитаго признанія: *j'ai pleuré et j'ai cru!* У него умерли мать и сестра, и онъ изъ атеиста превратился, по мнѣнію г. Котляревскаго, въ вѣрующаго католика. И эту вѣру г. Котляревскій открылъ, читая *Геній христіанства*, ту самую книгу, отъ которой отрещивались всѣ истинно вѣрующіе христіане: до такой степени она унижала и *опошлявала* христіанство своими разсужденіями о женскихъ секретахъ по поводу тайнствъ и о женской дѣвственности по поводу безбрачія духовенства и о многихъ другихъ предметахъ менѣе всего религіознаго содержанія. Г. Котляревскій съ глубокой искренностью излагаетъ содержаніе романа *Ренэ*, безъ малѣйшихъ колебаній перевода самая трескучія фразы героя, читая книгу, очевидно, съ такимъ же непосредственнымъ чувствомъ, съ какимъ ее читали почти сто лѣтъ тому назадъ юныя и особенно пожилыя поклонницы шатобриановскаго стиля. А между тѣмъ, весь *Ренэ* ничто иное, какъ экстремный спектакль и сплошное лицедѣйство и даже французская критика давно уже успѣла оцѣнить доблести своего генія. «Цѣль Шатобриана—фраза, — пишетъ Шереръ, — онъ только великолѣпный производитель фразъ—un magnifique faiseur de phrase»; у него цѣлыя страницы часто являются образцами «дѣтскости и нелѣпности» (*enfantillage et absurdité*); онъ безпрестанно обнаруживаетъ «великій недостатокъ ума, естественнаго такта»; онъ—истинный представитель литера-

турнаго декаданса. И критикъ совершенно правъ. Всякій желающій легко можетъ провѣрить этотъ отзывъ по какому угодно произведенію Шатобріана и даже цитаты г. Котляревскаго выдаютъ истину: до такой степени они безтолково-трескучи и эффектно-театральны! И опять исторія была бы лучшей учительницей нашего автора. Стоило ему познакомиться съ практической дѣятельностью Шатобріана, просто съ его личной и общественной жизнью, онъ никогда бы не написалъ поразительной фразы о «христіанскомъ смиреніи» Шатобріана и объ его великихъ заслугахъ человѣчеству (136, 137). Авторъ, очевидно, совсѣмъ незнакомъ съ Рена, какъ политикомъ, вообще, какъ дѣятелемъ, иначе, даже при всепоглощающемъ лирическомъ тонѣ всей книги, онъ непременно внесъ бы искру критики въ литературную и идейную оцѣнку Шатобріана и не сталъ бы толковать столь рѣшительно объ его «скорби о падшемъ человѣчествѣ», объ его «большой потребности въ идеалѣ», объ его обманутыхъ надеждахъ. Эти надежды *никогда* не поднимались выше личнаго честолюбія и если бы г. Котляревскій прослѣдилъ судьбу сочиненій Шатобріана, онъ былъ бы пораженъ беззастѣнчивостью, съ какою его страдающій идеалистъ извращалъ факты, *собственные* слова и дѣйствія, передѣлывалъ предисловія къ своимъ старымъ сочиненіямъ въ новыхъ изданіяхъ, приписывая себѣ убѣжденія и чувства, сообразно съ интересами *текущей* минуты. Вообще, трудно назвать писателя, до такой степени преисполниваго свою жизнь и личность всевозможной ложью, столь похожаго на «гробъ поваленный». Одна изъ многочисленныхъ французскихъ статей, написанныхъ о Шатобріанѣ вскорѣ послѣ его смерти,—статья, совершенно свободная отъ чувства нетерпимости и партійности, такъ характеризовала знаменитаго покойника: «charlatan de religion, comme de royalisme et plus tard de liberté, mais dénué au fond de toute conviction serieuse, il a pu tromper ses contemporains, il ne trompera pas la posterité, т. е. «шарлатанъ религіи, роялизма и позже—свободы, въ сущности лишенный всякаго серьезнаго убѣжденія, онъ могъ обмануть современниковъ, но онъ не обманетъ потомства». Въ сожалѣнію, предсказаніе вполнѣ не осуществилось до сихъ поръ и, что особенно прискорбно, именно въ русской критикѣ, иногда страдавшей даже излишнимъ «реализмомъ» и по существу враждебной всему театральному и фальшивому,—Шатобріанъ нашелъ самаго довѣрчиваго читателя и поклонника.

Сравнительно съ этимъ приключеніемъ, лиризмъ г. Котляревскаго о Вертерѣ Гёте и о герояхъ Байрона не столь важныя грѣхи, но только сравнительно. Сами по себѣ они непроизводительны въ истинно критической работѣ. Мы оставимъ въ сторонѣ характеристику Гёте: ее г. Котляревскій пишетъ по старымъ традиціоннымъ образцамъ, толкуетъ о «многогранной душѣ» Гёте, объ его олимпійствѣ, о томъ, что онъ вмѣщалъ въ своемъ сердцѣ всѣ увлеченія, надежды и опасенія своего времени, старается политическій индифферентизмъ Гёте помѣнить философскимъ взглядомъ на вещи,—оправданіе, по меньшей мѣрѣ, столь же странное, какъ и укоризны по адресу Вольтера. Но все это—давно избитыя клише, и, какое бы уваженіе авторъ ни чувствовалъ къ почтеннымъ по возрасту *verba magistrorum*, все-таки слѣдовало бы кое-что подвергнуть личной провѣркѣ и отдать себѣ отчетъ: не существуетъ ли разницы между двумя фактами: человекъ *не горячится* из-за известнаго вопроса и человекъ *вовсе не интересуется* имъ. Гёте, говоритъ г. Котляревскій, *не горячился* по поводу величайшихъ историческихъ событій своего времени,—это вопросъ *темперамента*: но вѣдь что онъ и знать не хотѣлъ о борьбѣ Германіи за національную свободу и пропустилъ мимо ушей сообщеніе объ іюльской революціи и о многомъ другомъ,—это уже не хладнокровіе, не свойство темперамента, а черта ума, пожалуй, всей натуры человека. И она бросаетъ свѣтъ, на всю поэзію Гёте, начиная съ Вертера и кончая Фаустомъ и Вальгельмомъ Мейстеромъ. Г. Котляревскій не желаетъ быть хладнокровнымъ за

свой счетъ, и возводитъ Вертера въ демократы, видитъ въ его слезливомъ романтическомъ приключеніи «великую нравственную задачу его времени», открываетъ въ немъ даже энергію, правда, въ «скрытомъ состояніи» и, въ довершевіе всѣхъ открытій, находитъ, будто онъ умеръ «отъ той любви къ человеку, за которую многое прощается». Все это вещи, одна другой фантастичнѣе: ничего подобнаго нельзя найти въ романѣ, при самомъ появленіи возмущившемъ именно людей, рѣшавшихъ задачи вѣка и одаренныхъ энергіей, въ родѣ Лессинга. Г. Котляревскій знаетъ ли объ этомъ впечатлѣніи? Извѣстно ли ему также, со словъ того же Лессинга, что «литературная характеристика» Вертера вовсе не *стисана съ живого лица*, т. е. съ Иерусалема: тотъ былъ юноша талантливый, умственно-сильный, философски-одаренный и совсѣмъ не походилъ на гётевскаго «сентиментальнаго дурака», по энергическому выраженію Лессинга. Можетъ быть, Вертеръ и не дуракъ, только ужъ ни въ какомъ случаѣ не носитель задачъ какого бы то ни было вѣка, и г. Котляревскому, вмѣсто ряда цитатъ изъ романа, слѣдовало, какъ историкъ и критикъ, изслѣдовать *патологическую* почву, вызвавшую столь уродливое дѣтище и, въ свою очередь, посѣявшее не мало болѣзненныхъ сѣмянъ.

Нашъ отчетъ сильно разросся и мы не имѣемъ возможности остановиться на другихъ фактахъ и сужденіяхъ книги г. Котляревскаго. Отсутствіе критическаго отношенія къ поэтическому матеріалу отразилось едва ли не на каждой страницѣ и лишило все сочиненіе тѣхъ поучительныхъ, идейно-цѣнныхъ выводовъ, какіе обѣщала сама по себѣ поставленная задача. Мы опустили главу о Байронѣ: здѣсь лиризмъ автора достигаетъ высшей степени и, по нашему мнѣнію, вся эта глава нуждается въ такомъ же коренномъ пересмотрѣ, какъ глава о Руссо и сужденія о Шатобрианѣ. Авторъ все время созерцаетъ только казовую, парадную сторону байронизма, и не желаетъ знать исторической и жизненной. Онъ *излагаетъ* содержаніе поэмъ и драмъ и даже не поднимаетъ вопроса: какой же культурный смыслъ заключается во всѣхъ этихъ «странныхъ» и «загадочныхъ» образахъ байроновской фантазіи? Можно ли о нихъ говорить, какъ о типахъ, о герояхъ, или они только призраки поэтическаго воображенія? Въ послѣднемъ случаѣ—весь интересъ ихъ исключительно *эстетическій*, а если существуетъ другой, тогда критикъ обязанъ всѣхъ этихъ Манфредовъ, Корсаровъ, Ванновъ *осмыслить* явленіями современной дѣйствительности, показать или совпаденіе поэтическихъ созданій съ этими явленіями, или противорѣчіе. Г. Котляревскій этого не дѣлаетъ и ограничивается самымъ легкимъ дѣломъ, какое только можно представить: рисуетъ чисто-литературные портреты демоническихъ фигуръ. Это сужетъ сдѣлать всякій, болѣе или менѣе сознательный читатель. Совершенно другое назначеніе автора книги культурнаго содержанія. Если бы г. Котляревскій выполнилъ это назначеніе, онъ непременно долженъ былъ бы понизать свой тонъ даже предъ Манфредомъ на скалѣ въ облакахъ, обуревающимъ фантазію поэта въ то время, когда въ долинахъ на землѣ люди вели отвѣтственнѣйшую борьбу за исполнѣ реальныя основы человѣческаго достоинства и свободы. Мы думаемъ, что г. Котляревскій именно объ этой борьбѣ имѣетъ очень смутное представленіе. Онъ допускаетъ для историка совершенно немислимое смѣшеніе двухъ эпохъ имперіи и реставраціи: объ считаетъ одинаково реакціонными. Это прямо элементарное заблужденіе и его г. Котляревскій могъ бы устранить даже заявленіями прочитанныхъ имъ поэтовъ, напримѣръ, Ламартина. Реставрація реакціонна только въ лицѣ *одной парламентской партіи*—ультра-роялистовъ, общій характеръ эпохи—прогрессивный и она въ высшей степени богата идейной борьбой и блестящими либеральными успѣхами въ литературѣ, въ философіи и въ политикѣ. Она—первый опытъ конституціоннаго режима и періодической печати, какъ представительницы правящаго общественнаго мнѣнія: предъ этими фактами совер-

шенно исчезаютъ вождельніа разныхъ темныхъ фанатиковъ и просто глупцовъ, мечтаншихъ водворитъ снова порядки стараго режима. Если бы г. Котляревскій оцѣнилъ по достоинству людей, факты и идеи, ознаменовавшихъ собой эпоху реставраціи, онъ усомнился бы въ положительномъ значенія байронизма двадцатыхъ годовъ и сдержаннѣе отнесся бы къ философскому покою Гёте. И это пренебреженіе къ реальной дѣйствительности немедленно отомстило автору жесточайшимъ образомъ. Онъ построилъ свою книгу очень архитектурно: сначала идеалистъ вѣрующій, потомъ отчаявшійся, наконецъ, возродившійся. Мы видѣли, ни одинъ изъ этихъ этажей зданія не выдерживаетъ провѣрки, и самый верхній менѣе всего. Если Руссо вовсе не вѣрующій идеалистъ, если Шатобрианъ не имѣлъ повода отчаяваться въ идеалахъ, совсѣмъ не имѣя ихъ, то уже совершенно становится непостижимымъ, какъ могли представлять возродившійся идеализмъ такіе люди, какъ Деместръ? Можетъ показаться невѣроятнымъ зачисленіе этого писателя въ кругъ воскресшихъ оптимистовъ, а между тѣмъ г. Котляревскій совершаетъ это съ чрезвычайной простотой и ясностью. Основные идеи Деместра ужасомъ и мракомъ превосходятъ самыя темныя измышленія средневѣковыхъ схоластиковъ. Миръ созданъ для войны, кровь должна литься непрестанно: таковъ законъ природы для международныхъ отношеній, для внутреннихъ—палачъ, краугольный камень общественнаго порядка, чело-вѣческая природа—виѣстидлице всѣхъ золъ и преступленій и порядокъ на землѣ возможенъ только при полномъ возстановленія папской власти. Таковъ этотъ новый проповѣдникъ *religion!* Совершенно некстати рядомъ съ Деместромъ упоминается Ламеннѣ, не имѣвшій ничего общаго съ чисто разсудочнымъ *политическимъ* фанатизмомъ автора *Петербургскихъ вечеровъ*. И кромѣ того, г. Котляревскій, повидимому, не подозреваетъ громадной и сложной эволюціи идей, пережитой Ламеннѣ и на пространствѣ нѣсколькихъ строкъ называетъ его сочиненія *De la religion* и *Paroles d'un croyant*. Читатель, подробно не знакомый съ этими книгами, можетъ подумать, будто Ламеннѣ оставался одинаково и въ одно и то же вѣрующимъ, сочиняя оба эти произведенія. На самомъ дѣлѣ предъ читателемъ сначала средневѣковой католикъ, а потомъ соціальный и церковный революціонеръ, отвергнутый Римомъ, психологія, ни единой черты не напоминающая инквизиторской горячки Деместра. Вообще заключительная глава книги написана будто особенно поспѣшно, пережѣшаны идеи и періоды, крайне поверхностно очерчены умственные теченія. Мы бы желали знать, напримѣръ, какимъ образомъ совместили воскресеніе оптимизма въ началѣ нашего вѣка съ появленіемъ буддійской тенденціи въ философіи, т. е. системъ Шопенгауэра и ея широкой популярности съ каждымъ десятилѣтіемъ столѣтія? Слишкомъ мало вниманія обратилъ авторъ на подавляющее развитіе антидемократическихъ настроеній въ современной философіи и исторической наукѣ. Г. Котляревскій только упомянулъ о Ренанѣ, но за Ренаномъ стоитъ густая фаланга учениковъ и единомышленниковъ, принципиальныхъ враговъ демократіи. Вражда эта въ лицѣ Тэна нашла очень рѣзкое выраженіе въ исторической литературѣ, захватила и искусство, особенно поэзію. Да и вообще, современная «интеллектуальная Франція» повально антидемократична и г. Котляревскій совершенно неправъ, считая міросозерцаніе Ренана «фактомъ исключительнымъ». Напротивъ, современные ученые и писатели бѣгутъ отъ политики именно потому, что она—царство демократіи и улицы: въ этой области мысль новой Франціи безнадежно пессимистична. И въ результатъ мы не видимъ, гдѣ г. Котляревскій открылъ проблески любви и вѣры сравнительно съ реакціонной, по его мнѣнію, эпохой реставраціи, видѣвшей развитіе одной изъ самыхъ оптимистическихъ и демократическихъ философскихъ системъ севъ-симонизма. Именно объ этой системѣ г. Котляревскій не упомянулъ ни словомъ, а предпочелъ придать вполнѣ несоответственную окраску реакціонному католи-

ческому ученію Деместра... Снова повторяемъ, мы могли отмѣтить далеко не всѣ пункты въ книгѣ г. Котляревскаго, вызывающія сомнѣніе. Совершенно *не-фактическая* и *не-критическая* постановка чрезвычайно сложнаго культурнаго вопроса неизбежно должна была ввести автора въ заблужденія и криво-толкованія, и, на нашъ взглядъ, весь матеріалъ книги подлежитъ коренному пересмотру съ исторической точки зрѣнія, основной при разборѣ какого бы то ни было нравственнаго и общественнаго теченія. Г. Котляревскій избралъ своимъ путеводителемъ то самое «автономное сердце», которому онъ опредѣлилъ непривлежашую ему самодержавную роль въ исторіи конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Путеводитель — прекрасный въ чисто-эстетическихъ и практически-моральныхъ вопросахъ, но рѣшительно не состоятельный въ критической оцѣнкѣ историческихъ фактовъ и дѣятелей. Вся книга въ высшей степени симпатична, по настроеніямъ автора, за исключеніемъ суда надъ Вольтеромъ и Гете. Изложена она превосходнымъ литературнымъ языкомъ, свидѣтельствуетъ о живомъ художественномъ чувствѣ автора, но она не даетъ читателю положительныхъ, разумно-провѣренныхъ идей о «мировой скорби», не разъясняетъ ни психологически, ни исторически самого явленія и не рисуетъ строго-обдуманнхъ и трезво-оцѣненныхъ нравственныхъ портретовъ мировыхъ скорбниковъ. Въ результатѣ рядъ личныхъ лирическихъ впечатлѣній по поводу столь же лирическихъ фактовъ, — впечатлѣній, ни для кого не убѣдительныхъ и по существу безразличныхъ для нашихъ историческихъ представленій объ одномъ изъ важнѣйшихъ явленій новой культуры.

Георгъ Брандесъ. Людвигъ Берне и Генрихъ Гейне. Пер. П. О. Морозова. Изданіе редакціи журнала «Образованіе». Спб. 1899. Профессиональные ученые имѣютъ обыкновеніе очень строго отзываться о произведеніяхъ Брандеса. Его укоряютъ въ томъ, что онъ недостаточно углубляется въ изучаемый предметъ, что онъ позволяетъ себѣ слишкомъ часто пользоваться чужими работами въ качествѣ пособій, уличаютъ его чуть не въ плагиатахъ у Геттнера и Гайма. Последнее обвиненіе, впрочемъ, не заслуживаетъ никакаго вниманія. Но въ предъидущихъ есть нѣкоторая доля истины. Тѣмъ не менѣе, если принять во вниманіе, сколько ученѣйшихъ изслѣдованій имѣютъ по нѣсколькимъ десяткамъ читателей и не вносятъ ни одной крупицы въ умственный багажъ общества, тогда какъ произведенія Брандеса оказали и до сихъ поръ еще оказываютъ неисчислимо плодотворное вліяніе на весьма широкой кругъ публики, особенно въ скандинавскихъ земляхъ, то нельзя не прийти къ выводу, что, помимо формальной учености, дѣятельность Брандеса должна имѣть другія цѣнныя стороны. Одинъ нѣмецкій критикъ, по рожденію шведъ (Ola Hanssen), въ такихъ краскахъ изображаетъ вліяніе Брандеса на родинѣ: лекціи его въ копенгагенскомъ университетѣ о «Главныхъ теченіяхъ литературы XIX вѣка» сдѣлались «пограничнымъ камнемъ между двумя эпохами скандинавской изящной литературы»... «Брандесъ въ тѣ дни (начало 70-хъ годовъ) прошелъ по всему сѣверу, какъ сѣятель духа; почти все, что тамъ съ тѣхъ поръ произрасло и зацвѣло, вышло отъ того сѣмени, которое онъ бросилъ въ землю». Самые крупные писатели, Ибсенъ, Бьернсонъ, Килландъ, Якобсенъ въ той или другой формѣ испытали на себѣ могучее вліяніе новаго вѣянья. Вступающая въ жизнь молодежь увидѣла предъ собой широкіе горизонты общественныхъ задачъ. Назрѣвшія въ обществѣ потребности вылились въ опредѣленные формулы. Создалась могучая прогрессивная политическая партія, которая въ союзѣ съ новой литературой вскорѣ достигла полной демократизаціи государственнаго строя скандинавскихъ странъ.

Какія же качества позволили Брандесу сосредоточить въ себѣ зародившіяся силы грядущаго? Для всякаго, кто присмотрится къ этому явленію безъ предвзятости и лицепріятія, является несомнѣннымъ, что Брандесъ достигъ такого

значенія умѣнемъ соединить науку съ широко развитымъ современнымъ міросозерцаніемъ. Правда, онъ не исчерпывалъ затрогиваемаго предмета, не устанавливалъ спорныхъ біографическихъ подробностей и не считалъ нужнымъ загромождать свой текстъ ссылками на страницы своихъ пособій, но зато, пользуясь своимъ блестящимъ дарованіемъ художественнаго изложенія, онъ рисовалъ яркую картину эволюціи идей, освѣщая условія ихъ возникновенія съ опредѣленной общественной точки зрѣнія, но безъ сентиментальнаго морализированія.

Статьи о Берне и Гейне носятъ совершенно тотъ же характеръ, отличаются тѣми же недостатками и достоинствами. Это живыя характеристики, въ которыхъ нельзя искать ни полныхъ біографическихъ данныхъ, ни всесторонняго разсмотрѣнія всѣхъ сочиненій названныхъ писателей. Авторъ въ свободной послѣдовательности намѣчаетъ важнѣйшія психологическія черты, старается объяснять ихъ изъ условій политической, соціальной и расовой среды, выделяетъ руководящія идеи. При этомъ онъ почти никогда не трудится отмѣчать, какіе выводы и сужденія принадлежатъ ему самому и какіе онъ беретъ готовые у предшествовавшихъ ему изслѣдователей. Въ статьѣ о Берне Брандесъ въ высшей степени наглядно выясняетъ, какъ условія воспитанія въ еврейскомъ кварталѣ Франкфурта, сохранявшаго до нашествія Наполеона въ неприкосновенности свой средневѣковый кастовый строй, должны были выработать изъ молодого идеалиста прямолинейнаго оппозиціонера, не понимающаго никакихъ компромиссовъ. Публицистика самая неблагоприятная отрасль литературы. Самыя талантливыя страницы, посвященныя текущимъ вопросамъ, забываются вмѣстѣ съ вызвавшимъ ихъ мимолетнымъ явленіемъ. И если Берне, одинъ изъ немногихъ, до сихъ поръ возбуждаетъ вниманіе и интересъ, то это происходитъ главнымъ образомъ благодаря психологической цѣльности этого рыцаря свободы и демократизма. Брандесъ не скрываетъ и слабыхъ сторонъ знаменитаго автора «Парижскихъ писемъ»: полный недостатокъ художественнаго чувства, которое въ связи съ страстнымъ политическимъ темпераментомъ, не позволяло ему видѣть въ Гете ничего, кромѣ сытаго олимпійца, индифферентнаго и даже враждебнаго по отношенію ко всѣмъ прогрессивнымъ задачамъ времени. Другой дефектъ Берне, еще болѣе крупный въ публицистѣ,—отсутствіе политическаго чутья: руководясь своимъ неизлѣчимымъ оптимизмомъ, онъ постоянно рисковалъ дѣлать самыя смѣлыя предсказанія, за которыя событія слѣдующаго дня заставляли его стыдиться.

Рядомъ съ Берне сложная, противорѣчивая личность Гейне представляетъ поразительный контрастъ. Благодаря этой сложности, бѣгая, нѣсколько небрежная статья Брандеса о Гейне еще менѣе можетъ претендовать на полноту, чѣмъ статья о Берне. Зато отдѣльныя стороны таланта и личности поэта очерчены мастерски. Едва ли кто-нибудь, кромѣ Брандеса, могъ бы такъ свѣжо и интересно трактовать столь заѣзженные предметы, какъ «Книгу пѣсенъ» и вообще любовную лирику Гейне. Правда, далеко не со всѣми взглядами датскаго критика можно согласиться. Не останавливаясь на мелочахъ, укажемъ одинъ болѣе крупный примѣръ: Брандесъ всегда мастерски пользуется сравнительнымъ методомъ. Въ данномъ случаѣ онъ сопоставляетъ лирику Гёте и Гейне и справедливо замѣчаетъ, что «у Гёте слова всегда являются фактами, между тѣмъ какъ Гейне нерѣдко выставляетъ готовые фразы (мы сказали бы поэтическія формулы), за которыми нѣтъ ничего—ни образа, ни воспроизведенія дѣйствительности и которыми онъ пользуется только для того, чтобы произвести тотъ или иной поэтическій эффектъ». Дѣйствительно, «глазки, похожіе на фіалки», «алыя щечки», «лилейныя ручки», которыя въ такомъ изобиліи встрѣчаются въ пѣсняхъ Гейне, не даютъ читателю никакого живого образа женской красоты, но поэтъ и не имѣетъ въ виду эту цѣль: извѣстной комбинаціей этихъ

заѣженныхъ формулъ, какимъ-нибудь однимъ проницательнымъ словомъ между цѣлымъ ассортиментомъ сентиментальныхъ эпитетовъ онъ почти всегда умѣетъ подчеркнуть контрастъ между традиционностью формы и вполне реальнымъ современнымъ чувствомъ. Брандесъ ставитъ въ пасивъ Гейне то, что онъ, также въ противоположность Гёте, никогда не характеризуетъ любовь, не придаетъ ей индивидуальныхъ чертъ, а ограничивается въ большинствѣ случаевъ сопоставленіемъ понятій «любовь и смерть», «любовь и муза» и т. п. Это также справедливо, но неправильно выводить отсюда, что любовь у Гейне не имѣетъ духовнаго содержанія. Въ этомъ случаѣ Гейне такъ же, какъ, напр., Байронъ, вѣрный приверженецъ романтическаго мировоззрѣнія, по которому любовь всегда, вездѣ и у всѣхъ людей сама себѣ равна: она есть вѣчто непривольное, роковое и въ существѣ своемъ неизвѣстное, поэтому достаточно ее назвать, характеризовать же—безполезно. Совершеннымъ недоразумѣніемъ надо считать утвержденіе Брандеса, будто Гёте не знаетъ поэзіи моря и лишь Гейне открылъ ее для нѣмецкой поэзіи. Дѣйствительно, послѣдній придалъ ей особенную силу и красоту, но и у Гёте есть прекрасныя марины, которыя Брандесъ почему-то забылъ: достаточно назвать его извѣстныя пѣсни *Морская тишь*, *Счастливое плаваніе* или болѣе длинное стихотвореніе *Seehfahrt*. Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить удачную характеристику общественныхъ взглядовъ Гейне. Отвергая, конечно, злобныя клеветы шовинистскихъ филистеровъ, будто Гейне ненавидѣлъ свою нѣмецкую родину и формально продался французамъ, Брандесъ нисколько не старается смягчить извѣстной нетвердости поэта въ отношеніяхъ къ событіямъ и лицамъ. При этомъ критикъ высказываетъ остроумную гипотезу, можетъ быть, дѣйствительно правильно объясняющую рѣзкое противорѣчіе между революціонными порывами гейневской музы, постоянными издѣвательствами надъ тремя дюжинами нѣмецкихъ князей, ненавистью къ хищному прусскому орлу съ одной стороны и увѣреніями его, что онъ не республиканецъ, а искренній роялистъ—съ другой стороны. Конечно, увѣренія эти часто имѣли весьма практической смыслъ, но нельзя заподозрить его искренности, когда онъ говоритъ, что не хочетъ ѣхать въ Америку, потому что тамъ «играютъ въ кегли безъ короля», или когда онъ смѣется надъ претензіями «толпы» на верховную власть. Будучи дѣйствительнымъ другомъ угнетенныхъ и голодающихъ, онъ въ то же время былъ глубокимъ противникомъ парламентаризма, какъ олигархическаго, такъ и демократическаго. Приводя это въ связь съ поклоненіемъ Наполеону, котораго Берне никогда не хотѣлъ простить знаменитому поэту, Брандесъ думаетъ, что увѣжденія Гейне въ этомъ вопросѣ ближе всего подходятъ къ демократическому цезаризму, для котораго онъ не умѣлъ найти яснаго выраженія. Можетъ быть, многіе предпочли бы остаться при непослѣдовательности и даже лицемѣріи Гейне, такъ какъ лучше быть лицемѣрнымъ роялистомъ, чѣмъ искреннимъ цезарьянцемъ, но разъ гипотеза на самомъ дѣлѣ объединяетъ факты, личные вкусы надо оставить въ сторонѣ.

Памяти Федора Ивановича Буслаева. Изданіе учебнаго отдѣла общества распространенія техническихъ знаній. Москва. 1898. Нѣсколько профессоровъ и преподавателей гимназій, въ большинствѣ непосредственныхъ учениковъ Ф. И. Буслаева († 31-го іюля 1897 г.), соединили въ названномъ сборникѣ свои статьи, освѣщающія съ той или другой стороны личность и научно-педагогическую дѣятельность покойнаго академика, съ тѣмъ, чтобы прибылъ отъ продажи сборника «употребить на образованіе стипендіи или на какое-нибудь образовательное учрежденіе имени покойнаго ученаго». Имя это принадлежитъ къ числу немногихъ именъ университетскихъ преподавателей, относительно которыхъ нѣтъ разногласія въ высокой оцѣнкѣ не только ихъ научной дѣятельности, но и ихъ отношеній къ окружающимъ людямъ. Врядъ ли это можно приписать тому, что въ самыя бурныя времена университет-

свой и общественной жизни Буслаевъ умѣлъ оставаться вдали отъ борьбы и партій: проф. Кирпичниковъ справедливо замѣчаетъ, «что во время горячей борьбы люди, держащіеся золотой середины, обыкновенно проигрываютъ, такъ какъ возбуждаютъ одинаковое нерасположеніе обѣихъ сторонъ, и приравниваются къ тѣмъ несчастнымъ и презрѣннымъ, которые, по словамъ Данта, *visser senza infamia e senza lodo*» (стр. 160). Въ данномъ случаѣ общественное мнѣніе сумѣло разобрать, что отъ хлѣбнаго стебля, давшего такой обильный урожай плодотворныхъ сѣмянъ, несправедливо было бы требовать еще твердости и выносливости дуба. А сѣмена, посѣянные Буслаевымъ, дали дѣйствительно блестящій урожай. Правда, его научные взгляды въ области языка и фольклора, въ свое время открывавшіе новые пути, въ значительной части давно устарѣли и только еще въ гимназіяхъ считаются незыблемыми, благодаря извѣстной косности нашей средней школы (такъ, напримѣръ, многіе учителя словесности и до сихъ поръ съ увлеченіемъ излагаютъ мнѣологическую теорію былиннаго эпоса). Но если филологическая наука въ Россіи сдѣлала такіе крупные шаги впередъ, то въ этомъ Буслаевъ игралъ самую видную роль. Онъ пересадила къ намъ и своеобразно использовалъ на свѣжихъ нетронутыхъ данныхъ научные методы, открытые великими западноевропейскими учеными, и тѣмъ далъ возможность своимъ преемникамъ идти далѣе. Недаромъ лучшие ученые позднѣйшаго поколѣнія, покойный Тихонравовъ, академикъ А. Н. Веселовскій, профессора Н. И. Стороженко, А. И. Кирпичниковъ, Вс. О. Миллеръ, съ гордостью считали и считаютъ себя учениками Буслаева, не говоря уже о той безвѣстной массѣ учителей, отъ которыхъ столько подрастающихъ поколѣній впервые могли получить нѣкоторое представленіе о дѣйствительной наукѣ, не стерилизованной схоластикой учебника. Извѣстно, что долгое время именно словесность была самымъ живымъ предметомъ гимназическаго курса и преподавателю ея часто выпадало на долю быть властителемъ думъ учениковъ и ученицъ старшихъ классовъ. Въ новѣйшее время предметъ этотъ также значительно поблѣднѣлъ и болѣе вошелъ въ рамки «учебнаго» курса. Примѣняясь къ требованіямъ устава, и университетскіе преподаватели нынѣ зачастую ограничиваются изложеніемъ такъ-называемыхъ общихъ курсовъ предмета, которые, конечно, даютъ слушателямъ извѣстный запасъ систематизированныхъ свѣдѣній, но мало развиваютъ ихъ научные вкусы. Всякій, кто собственными силами пытался перешагнуть отъ «общаго курса» къ дѣйствительной научной работѣ, знаетъ, какъ мало такой курсъ облегчаетъ этотъ переходъ. Буслаевъ по природѣ своей неспособенъ былъ читать общихъ курсовъ. Такъ, напримѣръ, въ 1861 году, по воспоминаніямъ А. И. Кирпичникова, читая по рописанію лекціи по древне-русской литературѣ, Буслаевъ скоро перешелъ отъ былинъ къ Эддѣ, Беовульфъ и старо-нѣмецкому эпосу, а затѣмъ къ *Chanson de gestes* и Сиду. «Это не былъ переходъ отъ одного отдѣла къ другому или отъ одной главы къ другой»,—просто профессоръ велъ своихъ учениковъ по пути собственнаго изслѣдованія, и въ результатѣ получилось нѣчто неизмѣримо большее, чѣмъ знаніе программнаго учебника: «когда по уставу 1863 г. въ числѣ обязательныхъ предметовъ филологическаго факультета явилась исторія всеобщей литературы», юные третьекурсники «не только были глубоко убѣждены въ ея необходимости, но и были подготовлены къ болѣе или менѣе самостоятельнымъ работамъ въ этой области» (стр. 58). Другой ученикъ Буслаева, Вс. О. Миллеръ относитъ къ своему учителю слова, которыми послѣдній характеризовалъ университетское преподаваніе Погодина. Онъ «предлагалъ намъ съ каедръ то, что въ данную минуту составляло предметъ его ученыхъ интересовъ, надъ чѣмъ онъ работалъ въ своемъ кабинетѣ... На каедрѣ онъ вводилъ насъ въ самый процессъ ученаго труда, который въ ту минуту поглощалъ собою всѣ его умственные интересы; онъ увлекался этими свѣжими интересами собствен-

ной работы и тѣмъ самымъ увлекалъ и своихъ слушателей,—не словами, а самымъ дѣломъ, своею личностью внушалъ воодушевленіе и любовь къ наукѣ» (стр. 37). Этой системѣ преподаванія особенно охотно слѣдуютъ нѣмецкіе профессора. Не оттого ли въ Германіи даже люди, посвятившіе себя практической дѣятельности, часто сохраняютъ научные вкусы и интересы и не видятъ бездны между отдѣльнымъ явленіемъ и отвлеченнымъ стройнымъ зданіемъ теоріи?

Слишкомъ далеко завело бы насъ желаніе хоть бѣгло намѣтить сущность научныхъ заслугъ Буслаева въ тѣхъ многочисленныхъ областяхъ знанія, которыми онъ поочередно или одновременно занимался, и мы принуждены отослать читателя къ весьма содержательнымъ и интереснымъ статьямъ сборника. Къ сожалѣнію, нельзя не отмѣтить въ видѣ исключенія самой обширной въ сборникѣ статьи г. Войнаховскаго о заслугахъ Буслаева «въ исторіи науки о русскомъ языкѣ»: авторъ какъ будто задался цѣлью поддержать упрочившіяся у насъ предразсудокъ о скучности и сухости лингвистики. Что можетъ дать читателю библиографическое обозрѣніе, къ тому же составленное не систематически и часто сбивчиво, главныхъ работъ по языковѣдѣнію? Все это можно найти въ любомъ компендіумѣ по исторической грамматикѣ. Для спеціалиста это азбука, а для профана—тарабарщина.

ЮРИДИЧЕСКІЯ НАУКИ.

Н. П. Дружининъ. «Русское государственное, гражданское и уголовное право въ популярномъ изложеніи».—*М. Олевскій.* «Справочная книга по военно-судебнымъ дѣламъ».

Н. П. Дружининъ. Русское государственное, гражданское и уголовное право въ популярномъ изложеніи. Спб. 1899 года, цѣна 1 рубль. Изданіе **О. Н. Поповой.** Въ довольно пространномъ предисловіи авторъ опредѣляетъ причины, побудившія его къ составленію настоящей книги, и цѣли, которыя онъ имѣлъ въ виду. Исходя изъ значенія юридическихъ знаній и необходимости широкаго ихъ распространенія, авторъ разбираемаго сочиненія ставитъ себѣ цѣлью—облегчить неподготовленному спеціально читателю переходъ къ другимъ, болѣе обширнымъ и глубокимъ трудамъ по соответствующимъ отраслямъ права.

Несомнѣнно, говоритъ г. Дружининъ, что юридическія знанія, свѣдѣнія о законахъ для всѣхъ полезны, для многихъ положительно необходимы, а для цѣлаго ряда лицъ безусловно обязательны. Не только свои права и обязанности, но и права и обязанности другихъ, и права и обязанности властей должны быть хорошо извѣстны каждому для того, чтобы онъ могъ дѣйствовать правильно самъ, обезпечивать уваженіе къ своимъ правамъ со стороны другихъ и вообще выполнять свой гражданскій долгъ. Такимъ образомъ, продолжаетъ авторъ, значеніе юридическихъ знаній весьма велико уже въ чисто частной жизни. Но нынѣ почти никто не живетъ чисто частною жизнью. Каждый призывается теперь въ большей или меньшей мѣрѣ къ дѣламъ общественнымъ; каждый является членомъ своего сословнаго общества,—дворянскаго, купеческаго, мѣщанскаго, крестьянскаго; многіе являются присяжными засѣдателями, гласными городскихъ думъ и земскихъ собраній; не мало лицъ занимаетъ мѣста по государственной службѣ. Дѣятельность должностныхъ лицъ возбуждаетъ иногда справедливыя жалобы, основательныя возраженія, распоряженія ихъ отмѣняются или замѣняются вердикъ высшею властью. Въ то же время жалобы и возраженія, исходяція отъ частныхъ лицъ, вердикъ вовсе не имѣютъ основаній въ законѣ. Лишь знаніе законовъ должностными лицами можетъ дать

наилучшее обезпеченіе интересамъ, имъ ввѣряемымъ, и поддерживать ихъ истинное достоинство и значеніе; равнымъ образомъ, при широкомъ распространеніи юридическихъ знаній, рѣже будутъ возникать неосновательныя жалобы и чаще будутъ получать удовлетвореніе ходатайства, возбуждаемыя частными лицами передъ высшею властью. Чѣмъ шире распространены юридическія знанія, тѣмъ яснѣе общее правосознаніе, тѣмъ тверже законы и тѣмъ точнѣе ихъ примѣненіе. Точно также, только на почвѣ знанія законовъ возможна и желательна та *борьба за право*, которую знаменитый германскій юристъ Герингъ признаетъ *обязанностью* гражданъ. Въ то же время тогда лишь, когда широко распространится знаніе нынѣшнихъ, существующихъ законовъ, окажется обезпеченнымъ исполнѣ ихъ дальнѣйшее развитіе и усовершенствованіе.

Послѣ этихъ общихъ соображеній, противъ которыхъ, кажется, трудно было бы что-либо возразить, г. Дружининъ переходитъ къ разъясненію системы предлагаемаго имъ изложенія указанныхъ отдѣловъ законодательства (государственнаго, гражданскаго и уголовного права). Прежде всего, изложеніе это не можетъ представлять собою пересказа законовъ. Для того, чтобы возбудить дѣйствительный интересъ къ законамъ, облегчить ихъ усвоеніе и ознакомить съ ихъ истиннымъ смысломъ и назначеніемъ,—необходимо изложеніе законовъ въ извѣстномъ теоретическомъ освѣщеніи. Для большинства читателей, не получившихъ юридическаго образованія, наша богатая юридическая литература мало или вовсе недоступна. Между тѣмъ, поставленное самою жизнью въ необходимость до извѣстной степени знать законы, оно нуждается въ пособіи къ ознакомленію съ ними, и доступнымъ и оправдывающимъ свое существованіе можетъ быть для него лишь такое научно-практическое пособіе, въ которомъ именно, съ соблюденіемъ теоретически-обоснованной системы, излагаются общія начала дѣйствующаго права.

Что касается расположенія матеріала, то авторъ придерживается такой системы: сначала излагается общая часть уголовного права, дающая отвѣты на вопросы о томъ, что такое преступленіе, наказаніе, вѣняемость, самооборона, соучастіе въ преступленіи, уголовная давность и пр.; затѣмъ излагаются законы о состояніяхъ и ихъ уголовная охрана и, наконецъ, законы гражданскіе и ихъ уголовная охрана. Противъ такой системы изложенія ничего нельзя имѣть; но нельзя также и согласиться со всѣми доводами автора въ пользу помѣщенія имъ въ своемъ изложеніи на первомъ планѣ общей части уголовного права. По нашему мнѣнію, нельзя обосновывать такой планъ изложенія матеріала, могущій быть оправданнымъ исключительно теоретическими соображеніями, чисто случайнымъ событіемъ, какъ готовящееся у насъ получить законодательную санкцію новое уголовное уложеніе. Значитъ ли это, что, если бы у насъ должно было получить санкцію новое гражданское уложеніе, авторъ помѣстилъ бы на первомъ планѣ въ своемъ изложеніи общую часть гражданскаго права? Авторъ могъ бы ограничиться тѣми теоретическими соображеніями, которыя приведены имъ раньше. Отмѣтимъ также непонятный пробѣлъ, допущенный авторомъ въ изложеніи государственнаго права: авторъ изложилъ только часть его, именно законы о состояніяхъ. Но почему не изложены основные государственныя законы, почему не изложенъ отдѣлъ о государственномъ управленіи, т. е. объ органахъ верховнаго и подчиненнаго центрального управленія, о мѣстныхъ органахъ управленія,—представляется совершенно неяснымъ. Въ виду цѣлей, преслѣдуемыхъ авторомъ, включеніе этихъ отдѣловъ было бы вполне уместно. Изложеніе дѣйствующаго законодательства въ общемъ исполнѣ правильно и отличается общедоступностью, при чемъ слогъ изложенія—простъ и свободенъ отъ иностранныхъ выраженій. Не сомнѣваемся, что разбираемый нами опытъ популяризаціи русскаго государственнаго, гражданскаго и уголовного права получитъ широкое распространеніе среди читающей публики.

Михаилъ Огіевскій. Справочная книга по военно-судебнымъ дѣламъ. Спб. 1898 г. Цѣна 1 руб. 50 коп. Изданіе автора. При составленіи настоящей книги авторомъ руководило желаніе дать въ возможно болѣе доступной формѣ опредѣленіе тѣхъ вопросовъ права, съ которыми приходится сталкиваться каждому военному служащему, при опредѣленіи рода воинскаго преступленія, военной подсудности и, наконецъ, на предварительномъ и судебномъ слѣдствіи. Разбираемая книга является весьма полезнымъ комментариемъ воинскаго устава о наказаніяхъ, военно-судебнаго устава и отчасти дисциплинарнаго устава. Авторъ останавливается на наиболее существенныхъ воинскихъ преступленіяхъ и вопросахъ военно-уголовнаго судопроизводства, устанавливая рядъ краткихъ, точныхъ и понятныхъ тезисовъ, подтверждаемыхъ ссылками на научныя сочиненія, рѣшенія главнаго военнаго суда, циркуляры главнаго воен.-суднаго управления и другіе источники. При существованіи изданій вышеупомянутыхъ уставовъ съ комментаріями г. Анисимова, получившихъ большую извѣстность, появленіе справочной книги г. Огіевского получаетъ оправданіе въ томъ, что изданія г. Анисимова стоятъ довольно дорого и представляютъ три отдѣльныя книги; разбираемое же сочиненіе издано въ одной книгѣ, по цѣнѣ довольно доступной, а по изложенію—вполнѣ понятной. Въ книгѣ приложены: указатель приказовъ и циркулярныхъ распоряженій, необходимость въ которыхъ можетъ встрѣтиться въ теченіе военнаго процесса, образцы и формы военно-судебныхъ бумагъ и перечень источниковъ, пособій и научныхъ сочиненій по военно-уголовному праву и процессу. Къ числу недостатковъ настоящаго изданія нужно отнести отсутствіе алфавитнаго указателя, который значительно облегчилъ бы пользованіе разбираемой книги, что особенно важно въ виду ея справочнаго характера.

Представляя весьма полезное пособіе для военно-служащихъ, книга г. Огіевского можетъ быть рекомендована, какъ справочное пособіе, каждому юристу, а также любознательному читателю, пожелавшему уяснить себѣ разницу между отправленіемъ правосудія въ военныхъ судахъ и общихъ судебныхъ установленіяхъ.

МЕДИЦИНА И ГИГИЕНА.

Левъ Бертенсонъ. «Оздоровляющія и цѣлительныя силы въ природѣ». — *М. П. Покровская.* «Популярныя статьи по гигиенѣ». — *A. Proust et E. Ballet.* «Гигиеническое дѣченіе неврастеніи». — *A. Биннъ и В. Анри.* «Умственное утомленіе».

Левъ Бертенсонъ. Оздоровляющія и цѣлительныя силы въ природѣ. Спб. 1899. Ц. 50 к. Чистый сборъ въ пользу О-ва усил. сред. Спб. жен. медич. института. Небольшая, на рѣдкость изящно изданная брошюра уважаемаго профессора Л. Б. Бертенсона заслуживаетъ полнаго вниманія самой широкой публики. Въ нашей научно-популярной литературѣ эта брошюра должна занять одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ, какъ по прекрасному, доступному для всѣхъ изложенію, такъ и по огромной важности предмета, которому она посвящена. Уважаемый авторъ, въ блестящей и увлекательной формѣ, знакомитъ читателя съ тѣми цѣлительными силами, которыми природа щедро награждаетъ людей, но которыми мы далеко еще не научились пользоваться умѣло и съ полнымъ къ нимъ довѣріемъ. Не увлекаясь подробностями, интересными и понятными только для спеціалиста-врача, авторъ останавливаетъ вниманіе только на главныхъ оздоровляющихъ силахъ природы, каковы—солнце, воздухъ, почва, вода.

«Гдѣ солнце, тамъ не нуженъ врачъ», говоритъ итальянская пословица,— «и въ ней,—замѣчаетъ авторъ,—много смысла и правды! Дѣйствительно, солнце

и свѣтъ въ органическомъ мірѣ—могучіе возбудители жизни и вѣрные охранители здоровья человѣка, и не даромъ древніе народы поклонялись имъ!» Важное вліяніе свѣта не только на всѣ органическіе процессы, но и цѣлебная его сила при массѣ заболѣваній, подверглась точному изученію сравнительно недавно и теперь научно вполне установлено, что свѣтъ имѣетъ прямое и непосредственное значеніе въ процесѣ дыханія, обмѣна веществъ, при ростѣ животныхъ и, наконецъ, убиваетъ безчисленные микробы, изъ которыхъ рѣдкіе могутъ выдержать его губительную для нихъ силу. Такъ, оказывается, что «двухчасовое дѣйствіе солнечныхъ лучей убиваетъ палочки сибирской язвы; Кохъ наблюдалъ то же самое относительно бацилл чохотки; Ферузи и Целли—относительно палочекъ столбняка, Гейслеръ и многіе другіе наблюдатели, какъ Кятазо, Ру и Йерсенъ—относительно бациллъ тифа, холеры и многихъ другихъ болѣзнетворныхъ микроорганизмовъ».

Переходя къ значенію воздуха, авторъ приводитъ интересное замѣчаніе стариннаго (1673 г.) гигиениста Агравы, который слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ значеніе этого важнѣйшаго элемента органической жизни: «Хорошій воздухъ, принося пользу здоровью, даетъ тѣлу гибкость и силу, душѣ—радостное настроеніе, чувствамъ—тонкую воспримчивость; отъ него совершенствуется характеръ, ставаются возвышенными мысли, развивается умъ и возбуждается охота и любовь ко всякой дѣятельности въ природѣ; оживляется кровь, лицо пріобрѣтаетъ живой, цвѣтушій видъ, сдвленная грудь усталаго рабочаго вздымается свободно, голосъ становится яснымъ и благозвучнымъ, проходитъ одышка, проясняется глазъ—эта жемчужина лица, утончаются обоняніе и вкусъ,—онымъ словомъ, воздухъ, представляя притягательную среду для всѣхъ живыхъ, воспримчивыхъ и невоспримчивыхъ существъ, является великой благодатью». Въ этихъ немногихъ словахъ, по словамъ г. Бертенсона, заключается сущность значенія воздуха. Новѣйшая наука только разъяснила намъ процессы, въ которыхъ воздухъ оказывается необходимымъ, и показала, въ чемъ слѣдуетъ видѣть его непосредственное вліяніе.

Если воздухъ является вѣчнымъ источникомъ жизни, то почва и вода—тѣми фильтрами, которые все очищаютъ и уничтожаютъ массу разлагающихся и гніющихъ веществъ, оздоравливая землю и дѣлая ее годной для органической жизни. Трудно въ немногихъ словахъ оцѣнить это фильтрующее значеніе почвы, которая задерживаетъ въ себѣ и убиваетъ массу зловерныхъ для человѣка началъ. «Единственнымъ мѣстомъ, предназначеннымъ самой природой для воспринятія всѣхъ органическихъ отбросовъ и удовлетворяющимъ всѣмъ требованіямъ гигиены,—говоритъ берлинскій профессоръ Рубнеръ,—служитъ почва». Представимъ себѣ только массу отбросовъ въ большихъ городахъ и тогда мы оцѣнимъ все значеніе благодѣтельной силы почвы, уничтожающей весь вредъ этихъ скопленій всяческой нечистоты. О громадномъ значеніи чистой воды, какъ для питья, такъ и для омовенія, распространяться нечего, оно ясно для всѣхъ и извѣстно съ древнѣйшаго времени.

Указавъ и разъяснивъ цѣлительность этихъ главныхъ силъ природы, почетный авторъ говоритъ затѣмъ о требованіяхъ гигиены, вытекающихъ отсюда, и описываетъ огромные благотворные результаты, уже теперь достигаемые примѣненіемъ къ лѣченію исключительно этихъ силъ. Самымъ яркимъ примѣромъ является излѣченіе чохотки въ санаторіяхъ, лѣченіе дѣтей отъ малокровія и золотухи въ морскихъ и горныхъ станціяхъ, примѣненіе воды и купаній, наконецъ, особое лѣченіе солнечными ваннами въ «свѣтолѣчебныхъ институтахъ». гдѣ излѣчивается, напр., ужасная болѣзнь lupus (волчанка). Но эти результаты, какъ они ни благотворны,—ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что можетъ быть достигнуто, когда въ сознаніе всѣхъ войдутъ, какъ непреложныя истины, знаніе цѣлительныхъ силъ природы и довѣріе къ нимъ. «Средства свои при-

рода отпускаетъ не по рецептамъ—она сыплетъ ихъ щедро рукою для всѣхъ и даетъ свои блага не только отдѣльнымъ личностямъ, но и массамъ! Я говорю—даетъ, но не скажу, что человечество беретъ ея дары въ должномъ количествѣ! Дѣйствительность пока еще далека отъ идеала; она только указываетъ на возможность стремленія къ лучшему и достиженія его.

М. И. Покровская. Популярныя статьи по гигиенѣ. Спб. 1899. Ц. 60 коп. Хорошо понимая, что *gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo*, г-жа М. И. Покровская съ похвальной настойчивостью продолжаетъ популяризацию гигиеническихъ свѣдѣній, которыхъ у насъ мало, къ сожалѣнію, не только въ простомъ народѣ, но даже и въ такъ называемой интеллигентной публикѣ. Настоящую свою брошюру г-жа Покровская посвящаетъ пѣлому ряду вопросовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ общественной и частной гигиенѣ. Одинъ перечень трактуемыхъ предметовъ можетъ уже показать, что книжка составлена интересно. Такъ, за главой «санитарныя мѣры и вырожденіе», въ которой авторъ старается опровергнуть то печальное мнѣніе, будто санитарныя мѣры, принимаемыя для уменьшенія заболѣваемости и смертности населенія, сохраняя жизнь слабымъ, способствуютъ вырожденію,—идутъ главы: «гигіена и гуманность», «о питаніи дикарей и цивилизованныхъ людей», «гигіена и комфортъ», «опрощеніе и гигиена». Написана книжка простымъ и яснымъ языкомъ и, поэтому, доступна даже и мало-образованнымъ людямъ. Намъ кажется, что такого рода книжки для лучшаго ихъ распространенія должны продаваться возможно дешевле.

А. Бинэ и В. Анри. Умственное утомленіе. Переводъ съ французскаго Ек. Анри подъ редакціей В. Анри. Изданія журнала «Вѣстникъ Воспитанія». Москва. 1899. Ц. 2 р. 50 коп. Впервые вопросъ объ умственномъ утомленіи или, какъ вскорѣ стали говорить, о переутомленіи учащихся въ школахъ, былъ поднятъ въ 80-хъ годахъ и вызвалъ много споровъ, въ которыхъ приняли участіе и врачи, и педагоги, и физиологи, и психологи. Страстные голоса, раздававшіеся и за, и противъ, въ первое время грѣшили однимъ общимъ недостаткомъ—голосовностью, априорностью. Удивительнѣе всего то, что съ голословными заявленіями выступали не только педагоги, но и врачи, которымъ, казалось бы, слѣдовало знать, что пока нѣтъ строго-обоснованныхъ научныхъ данныхъ говорить о предметѣ трудно и что для изученія существуетъ единственный методъ—методъ экспериментальной психологіи. Только тогда, когда стали на этотъ единственно правильный путь, явилась возможность говорить объ умственномъ утомленіи, какъ о фактѣ реальномъ, явилась возможность подумать объ измѣненіяхъ программъ преподаванія въ школахъ, о болѣе правильномъ распредѣленіи часовъ отдыха и занятій: вообще, о болѣе рациональной постановкѣ всего школьнаго дѣла. Но сложность вопроса такъ велика, опыты приходилось и приходится дѣлать столь тонкіе, что, не смотря на массу накопившихся уже работъ, наблюденій, не смотря на все остроуміе самихъ методовъ изслѣдованія, многие вопросы остаются еще открытыми, многое является едва намѣченнымъ. Авторы вышеназванной книги постарались сгруппировать въ ней все, что до сихъ поръ сдѣлано многочисленными авторами (Моссо, Брепелинъ, Франсуа-Франкъ, Лонборъ, Брока, Мараньяно и т. д.), въ томъ числѣ и самими Бинэ и Анри.

Книга раздѣляется на двѣ части. Изъ нихъ первая трактуетъ о вліяніи умственнаго труда на физиологическую дѣятельность организма, вторая—о вліяніи того же труда на психическую. Установивъ опредѣленіе умственнаго труда, которымъ, въ цѣляхъ ихъ изслѣдованія, приходится называть всѣ виды работы учениковъ какъ во время уроковъ въ школѣ, такъ и во время подготовленія къ нимъ, авторы далѣе указываютъ на различныя формы умственнаго

труда, приглашая, конечно, помнить, что умственный трудъ не есть нѣчто вполне однородное, а складается изъ цѣлаго ряда психическихъ способностей: умственный трудъ можетъ быть или короткимъ, или продолжительнымъ, онъ можетъ быть или напряженнымъ, или умѣреннымъ и, наконецъ, волевымъ или автоматическимъ, при чемъ волевымъ трудъ называется тогда, когда приходится дѣлать что-либо новое, непривычное, автоматическій же основанъ на привычѣхъ и воспоминаніяхъ. Ознакомивъ далѣе со способами изученія вопроса въ экспериментальныхъ лабораторіяхъ и въ школахъ, указавъ на недостатки и достоинства разныхъ способовъ, представивъ объясненія и рисунки предложенныхъ для изслѣдованія приборовъ, авторы послѣдовательно налагаютъ полученные разными изслѣдователями результаты вліянія умственного труда на дѣятельность сердца, на капиллярное кровообращеніе, на давленіе крови, на температуру тѣла и образованіе животной теплоты, на движеніе, на мускульную силу и на обмѣнъ веществъ. Цѣлый рядъ пишущихъ приборовъ даетъ возможность графически изображать результаты изслѣдованія и книга обильно снабжена всевозможными кривыми, содѣйствующими лучшему уясненію вопроса. Понятно, что, благодаря сложности дѣла, не всѣ поставленныя изслѣдователями задачи нашли пока вполне удовлетворительное разрѣшеніе; такъ, по вопросу о вліяніи умственного труда на мускульную силу до сихъ поръ вмѣстѣ еще очень мало данныхъ, вопросъ о вліяніи умственного труда на химическій составъ выдыхаемаго воздуха только что поставленъ. Кромѣ того, общій недостатокъ всѣхъ опытовъ—ихъ сравнительная непродолжительность: пока изучали вліяніе умственной работы въ теченіе нѣсколькихъ часовъ и, въ крайнемъ случаѣ, нѣсколькихъ дней, но остается совершенно неизвѣстнымъ, какія измѣненія происходятъ въ молодомъ организмѣ послѣ цѣлаго года усидчиваго умственного труда. Вторая часть книги, посвященная изученію вліянія умственного труда на психику, заканчивается подробно составленной авторами программой дальнѣйшаго изслѣдованія вопроса, при чемъ они выражаютъ надежду, что педагогическая администрація всюду внимательно и доброжелательно будетъ относиться къ этимъ работамъ, клонящимся къ болѣе разумной, болѣе здоровой постановкѣ школьнаго дѣла.

A. Proust и E. Ballet. Гигиеническое лѣченіе неврастеніи. Перевелъ съ французскаго М. И. Петрункевичъ. Изд. магазина «Книжное дѣло». Москва. 1899. Ц. 1 руб. Съ тѣхъ поръ, какъ американскій невропатологъ Бэрдъ выпустилъ впервые описаніе симптомокомплекса, названнаго имъ неврастеніей, появилась такая масса описаній этой болѣзни и научныхъ, и ничего общаго съ наукой не имѣющихъ, такъ часто стали говорить объ этой болѣзни, такъ сдѣлалась она, можно сказать, популярна, что въ настоящее время съ трудомъ можно найти человѣка, принадлежащаго къ среднему или высшему классу общества, который не могъ бы сказать нѣсколько словъ о неврастеніи, не находилъ бы въ некоторыхъ симптомахъ этой болѣзни у себя или своихъ знакомыхъ. И не смотря на такую популярность, свѣдѣній объ этой болѣзни, или, можетъ быть, именно благодаря этой популярности, очень мало у людей изъ публики, подводятъ подъ нее все, что придетъ въ голову и чему другой, болѣе подходящей клички дать не могутъ. Со словомъ неврастенія случилось то же, что со словомъ «психопатка», впервые цуцненнымъ у насъ въ процессѣ объ убійствѣ Сарры Беккеръ... Къ сожалѣнію, не только въ публикѣ, но и среди врачей замѣчается склонность къ злоупотребленію этимъ терминомъ и сбѣдная неврастенія является въ настоящее время тѣмъ сорнымъ угломъ въ медицинѣ, какимъ еще недавно служила простуда.

Благодаря тому интересу, какой проявился въ обществѣ къ этой болѣзни, среди описаній ея, главнымъ образомъ, популярныхъ, попадаются такія, которыя рассчитаны на запугиваніе и безъ того изнервничавшейся публики. Тѣмъ

пріятнѣе отмѣчать всякій серьезный трудъ, направленный къ тому, чтобы выяснить предѣлы этой болѣзни, указать на ея главные причины и соответственно этому поставить и лѣчение преимущественно гигиеническое. Неврастенія принадлежатъ къ неврозамъ, т. е. къ той группѣ нервныхъ болѣзней, при которыхъ не наблюдается или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не найдено никакихъ органическихъ, анатомическихъ измѣненій. Неврастенію называютъ «болѣзнью нашего вѣка», забывая, что уже старинные врачи наблюдали тотъ симптомокомплексъ, который теперь описанъ подъ видомъ отдѣльной болѣзни, но не могли выдѣлить ее изъ другихъ невропатическихъ состояній. Нашему времени принадлежитъ только печальная честь значительнаго увеличенія общаго числа неврастеніевъ. Подробно разобравъ общія и индивидуальныя причины неврастенія, давъ картину симптомовъ и клиническихъ формъ болѣзни, авторы самымъ тщательнымъ образомъ разрабатываютъ вопросъ о терапевтической гигіенѣ неврастенія, останавливаясь, главнымъ образомъ, на физическихъ способахъ лѣченія. Заслугу авторовъ мы видимъ въ отсутствіи шаблонности, и напротивъ, въ строгой индивидуализаціи. Если для одного неврастенника полезенъ полный отдыхъ отъ умственнаго труда, то для другого—умственный трудъ является лѣчебнымъ средствомъ. Говоря о всевозможныхъ физическихъ упражненіяхъ, гимнастикѣ, авторы вполне справедливо указываютъ на ошибочность распространенныхъ представленій объ этого рода упражненіяхъ. Такъ, напр., фехтованіе принадлежитъ къ тѣмъ физическимъ упражненіямъ, которыя требуютъ большого нервнаго напряженія и, вмѣсто ожидаемаго отдыха для нервовъ, можетъ дать только чрезмѣрное утомленіе; то же приходится сказать о гимнастикѣ, практикуемой въ учебныхъ заведеніяхъ. Большое разнообразіе причинъ, вызывающихъ эту болѣзнь, индивидуальныя особенности каждаго больного заставляютъ быть очень строгимъ при выборѣ способовъ лѣченія ея.

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМІЯ.

*Библиотека для самообразованія. Г. Лоренцъ. «Элементы высшей математики. Т. I.»—
«Русскій астрономическій календарь на 1899 г.»*

Библиотека для самообразованія. Г. Лоренцъ. Элементы высшей математики; томъ I. Переводъ съ дополненіями, измѣненіями и историческими очеркомъ развитія математическаго анализа. В. П. Шереметевскаго. Переводчикъ этого объемистаго сочиненія (въ первомъ томѣ свыше семисотъ страницъ)—педагогъ, заявившій себя раньше широкими взглядами на преподаваніе математики въ средней школѣ. Онъ не мирится съ ея застывшими традиціями и программами, онъ указываетъ на рутинерство, заставляющее въ гимназіяхъ учащуюся молодежь питаться суррогатами математики, о развивающемъ значеніи которыхъ не приходится и даже говорить—до того оно ничтожно. Книга голландскаго ученаго Лоренца отличается отъ ряда другихъ элементарныхъ обработокъ анализа безконечно малыхъ, порожденныхъ потребностью въ высшей математикѣ для изученія естествознанія. Всѣ эти курсы, появившіяся на Западѣ, «отъ самыхъ краткихъ очерковъ Proctor'a, I. Klein'a, Weissbach'a до четырехтомнаго курса Boussinesq'a, имѣютъ въ виду читателя, знающаго курсъ средней школы, но не избравшаго математику своей спеціальностью. За исключеніемъ перваго изъ названныхъ выше, составители не задаются цѣлями популяризаціи наукъ, и даже тѣ изъ курсовъ, на обложкѣ которыхъ значится «для самообученія», весьма мало принимаютъ во вниманіе потребности читателя, не имѣющаго возможности пользоваться помощью устнаго лекціоннаго преподаванія».

*

«Работы Лоренца по всѣмъ отдѣламъ математической физики дѣлають его особенно компетентнымъ въ правильномъ опредѣленіи объема и характера математическихъ свѣдѣній, необходимыхъ для ближайшихъ потребностей естествознанія...» и тѣмъ не менѣе «простой переводъ курса Лоренца совершенно не удовлетворялъ бы цѣлямъ самообразованія, которыхъ авторъ и не имѣлъ въ виду». Въ силу этого-то соображенія переводчикъ не разъ отступаетъ отъ оригинала и дѣлаетъ дополненія, наибольшее число которыхъ, какъ видно изъ предисловія, выпадаетъ на первый томъ.

Почти треть настоящаго тома занята историческимъ очеркомъ развитія анализа. «Очевидно, что даже бѣглое знакомство съ эволюціей науки выдвигаетъ на первый планъ ея коренныя основы и отбѣняетъ второстепенныя наслоенія, порожденныя преходящими условіями мѣста и времени; съ исторической точки зрѣнія отчетливѣе выдѣляются главныя части конструкціи науки и выясняется ея значеніе для смежныхъ областей знанія въ связи съ общимъ ходомъ культурнаго развитія», объясняетъ свое большее отступленіе отъ подлинника переводчикъ. Мы позволимъ себѣ не разбирать перваго отдѣла по той причинѣ, что онъ представляетъ лишь нѣкоторыя измѣненія несущественнаго характера сравнительно со статьей Г. Шереметева, помѣщенной въ первомъ выпускѣ «сборника статей въ помощь самообразованію по физикѣ, математикѣ, химіи и т. д.», о которой мы имѣли случай говорить («Міръ Божій» 1898. Іюнь). Напомнимъ только коротко его содержаніе: отношеніе математики къ другимъ отраслямъ знанія; объектъ математическаго изслѣдованія, число, величина, значеніе бесконечно малыхъ; графическое изображеніе функций, элементарныя понятія аналитической геометріи, формы математическаго изслѣдованія и значеніе математики, какъ метода.

Въ отдѣлѣ второмъ, историческомъ очеркѣ развитія анализа и его приложеній къ геометріи, указаны только главныя теченія математической мысли; о фактахъ исторіи математики внѣ Европы говорится постольку, поскольку это необходимо для ясно-поставленной авторомъ цѣли—«подготовить читателя къ правильной пониманію лишь самыхъ элементарныхъ основъ математическаго анализа, какъ науки новаго времени, выросшей на европейской почвѣ». Поэтому не много удѣлено мѣста древнимъ культурамъ, наиримѣръ, египетской, гдѣ математика играла чисто служебную роль, поддерживая интересы жреческой касты, помогая послѣдней держать въ подчиненіи невѣжественную толпу театральными приѣмами.

Интересно, какъ освобождалась математическая мысль отъ религіозныхъ путъ, какъ появлялся отъ времени до времени гениальный умъ, вродѣ евклидоваго, и приводилъ въ систему накопленный до него матеріалъ, какъ вслѣдъ за тѣмъ научныя свѣдѣнія начинали приобрѣтать вновь мистическую окраску. пока толчокъ, сообщенный одной могучей народностью другимъ, не вносилъ измѣненій въ политическій строй культурныхъ народовъ древности и не вливалъ одновременно съ этимъ новую жизнь въ науку. Преемница Египта и Вавилона—Греція даетъ Фалеса съ его идеальными, чуждыми утилитаризма, взглядами, съ его стремленіемъ исключить изъ науки все сверхъестественное, но даетъ въ то же время Пифагора съ грандіознымъ открытіемъ его школы, ирраціональными величинами, хранившимися въ глубокой тайнѣ его творцами, которые не желали осквернять въ глазахъ непосвященныхъ построенной имъ мистической теоріи значенія чиселъ въ мірозданіи. Взрывъ народнаго возмущенія разбрасываетъ пифагорейцевъ, къ счастью для быстрого развитія науки по всей Греціи.

Передъ нами проходятъ величавые образы: Платонъ, философъ-аналитикъ и, какъ полагають, отецъ аналитическаго метода, убѣжденный въ высокомъ назначеніи математики, «которая имѣетъ цѣлью способствовать постиженію идеи блага, какъ все, направляющее душу въ область блаженнаго, вѣчно су-

щаго», и Аристотель, разрѣшающій, благодаря вѣрному пониманію понятія «величины», хитрые софизмы Зенона, напримѣръ, извѣстный парадоксъ о «быстроногомъ Ахиллесѣ, который никогда не догонитъ черепахи». Со стороны читателя особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ страницы, на которыхъ говорится объ Евклидѣ. Тутъ находятся краткія указанія на матеріалъ, собранный въ знаменитыхъ «Элементахъ», и примѣры интереснаго способа доказательства, взятые почти цѣликомъ изъ подлинника, заставляющіе преклониться предъ мощью евклидова ума, не остановившагося передъ изученіемъ сложныхъ алгебраическихъ выраженій безъ пособія алгебраической символики—тутъ только одни геометрическія представленія. Далѣе идутъ работы Гипарха, удивительныя изобрѣтенія Архимеда, геометрія Аполонія Пергскаго, рядъ талантливыхъ изслѣдованій Діофанта, который далъ символическое рѣшеніе уравненій, свободное отъ геометрическихъ построеній, словомъ, работы всего того періода, который носятъ названіе Александрійскаго.

Предметъ четвертой главы составляютъ формы, въ которыя вылилась въ области математики причудливая фантазія индусовъ, не отступающая передъ счисленіемъ миллиардами и передъ понятіемъ объ отрицательныхъ числахъ, работа изучения природы арабами при содѣйствіи ихъ просвѣщенныхъ правителей, которые поддерживали цѣлый рядъ научныхъ учрежденій отъ богатой бібліотеки Кордовы до монументальной обсерваторіи Самарканда.

Хранителями живой науки въ теченіи долгаго періода отъ VI до XII вѣка по Р. Х., когда иссякали въ Европѣ остатки живого интереса къ великимъ греческимъ математикамъ, были индусы и арабы, затѣмъ вновь развивается европейская наука, выступаютъ такія крупныя фигуры, какъ Леонардо Пизанскій и Роджеръ Беконъ. Мы получаемъ представленіе о выдающихся математическихъ способностяхъ Леонардо Фибоначчи, читая приведенный авторомъ перечень отдѣловъ книги этого ученаго, который рѣшился, «присоединивъ къ индійскому методу кое-что отъ себя, кое-что отъ тонкостей геометрическаго искусства Евклида, составить трудъ..., дабы родъ латинянь не оставался болѣе несвѣдущимъ во всѣхъ этихъ вещахъ». Судьбой и дѣятельностью Роджера Бекона авторъ занимается болѣе подробно, указывая на заслуги этого ученаго, выступившаго въ то время, когда идеи его вызывали только преслѣдованія со стороны темной массы, и отгнѣняя его превосходство надъ Фресисомъ Бекономъ. Далѣе идутъ Миллеръ, Штифель, Тарталья и Барданъ, ихъ біографіи, характеристики и эпизодъ защиты научныхъ положеній на публичныхъ диспутахъ даютъ понятіе о нравахъ ученыхъ среднихъ вѣковъ: Тарталья, творецъ общаго способа рѣшенія уравненій третьей степени, спасается послѣ удачной защиты бѣгствомъ изъ города, въ которомъ находятся друзья и ученики его завистливаго противника Бардана.

Больше ста страницъ Г. Шереметевскій посвящаетъ XVII и XVIII вѣкамъ, въ теченіе которыхъ, особенно XVII-го, появилось «такое удивительное множество специально для математики, такъ сказать, организованныхъ головъ, какъ будто общее развитіе человѣчества въ Европѣ привело къ этому». Историческія условія дѣлаютъ просвѣщеніе доступнымъ не только для избранныхъ, усиливается свѣтская власть, даже аббаты, какъ, напримѣръ, извѣстный Гассенди, выступаютъ въ роли защитниковъ явно «еретическихъ» теорій, основываются флорентійская академія и лондонское королевское общество. Послѣ краткаго историческаго очерка намъ становятся понятными появленіе и успѣхъ дѣятельности Декарта, Ньютона и Лейбница. Изложивъ декартово механическое объясненіе мірового процесса, авторъ еще два раза возвращается къ этому гениальному человѣку, рисуя жизнь его и выработку міросозерцанія и излагая въ отдѣльной главѣ исторію созданія аналитической геометріи. Творенія Ньютона представлены опредѣленіемъ его метода флюксіи, по содержанію совпадающаго

сь современнымъ дифференціальнымъ исчисленіемъ. Г. Шереметевскій напоминаетъ о трудахъ математика Ферма (Fermat—въ текстъ онъ постоянно называется Ферматомъ), говоритъ объ ариметикѣ и алгебрѣ XVII вѣка въ отдѣльной главѣ. Совершенно непримѣтной, ступованной вышла личность Паскаля, какъ ученаго. Съ большой подробностью разбираетъ авторъ дѣятельность Лейбница, такъ какъ его научнымъ работамъ по математикѣ и обязанъ главнымъ образомъ своимъ гигантскимъ ростомъ анализъ бесконечно-малыхъ въ наше время.

Существующіе на русскомъ языкѣ сочиненія по исторіи метаматики Лаврова и Ващенко-Захарченко, упомянутыя въ текстѣ, обрываются почти въ самомъ началѣ; краткій и высоко интересный очеркъ автора доходитъ до нашихъ дней, но какъ представленъ въ немъ XVIII вѣкъ?—лишь указаніе на работы Лагранжа по аналитической механикѣ и вариационному исчисленію. О XIX вѣкѣ сказано также несоразмѣрно мало. Тутъ приведенъ списокъ сочиненій на новыхъ языкахъ, трактующихъ преимущественно объ открытіяхъ XIX вѣка. Прибавимъ сюда пропущенную безъ указанія работу на русскомъ языкѣ В. Бобынина «Исслѣдованіе по исторіи математики».

Теперь мы переходимъ къ чисто-математической части сочиненія, т. е. къ той именно, которая составляетъ трудъ Лоренца. Въ изложеніи сказывается глубокой талантливый педагогъ. Удивительна наглядность и послѣдовательность, съ которой онъ вводитъ начинающаго въ ученіе о функціяхъ: пройдя первыя 60 страницъ, читатель будетъ совершенно ясно представлять геометрическое значеніе любой алгебраической и многихъ трансцендентныхъ функцій; и пріобрѣтенное такимъ образомъ знаніе останется надолго. Большое вниманіе обращено на представленіе сложенія колебаній, столь важное въ современномъ механическомъ истолкованіи явленій свѣта.

Тѣмъ же достоинствами отличаются остальные главы перваго тома. Примѣры въ текстѣ полны высокаго интереса—это приложеніе анализа: или къ механикѣ, или къ физикѣ, или къ геометріи. Бромъ указанныхъ выше отдѣловъ, читатель найдетъ здѣсь введеніе въ аналитическую геометрію (разборъ прямой линіи, круга, эллипса, гиперболы, параболы и т. д.) на плоскости и рассмотрѣніе знакомой ему по курсу средней школы тригонометріи уже съ научной точки зрѣнія.

Всѣ указанія относительно изученія перваго тома лицами, задающимися тѣми или другими дѣлами, можно найти въ предисловіи; мы же настоятельно совѣтуемъ прочесть эту прекрасную книгу даже тѣмъ, кто начинаетъ проходить математическія науки въ университетѣ. Изложеніе не сопровождается повѣрочными вопросами, которые, по мнѣнію переводчика, «нѣсколько насилуютъ вниманіе» читателя при изученіи математики и, «выспрашивая все содержаніе текста, недостаточно выдѣляютъ его главныя части». Они замѣнены удачнымъ подборомъ упражненій. Переводъ выполненъ хорошо. Съ внѣшней стороны этотъ трудъ изданъ такъ же изящно, какъ и другіе выпуски «Библиотеки для самообразованія».

Русскій астрономическій календарь на 1899 г. Нижегородскаго кружка любителей физики и астрономіи. 5-й годъ изданія. Цѣль настоящаго изданія, какъ видно изъ предисловія,—дать практическое и справочное руководство къ наблюденіямъ астрономическихъ явленій, возможно доступное для каждого интересующагося астрономіей и пріуроченное къ тѣмъ наблюдательнымъ средствамъ, какими могутъ располагать любители астрономіи. Весь календарь разбитъ на 6 отдѣловъ. Послѣдній отдѣлъ состоитъ изъ таблицъ, необходимыхъ для вычисленій тому, кто не пожелаетъ ограничиться одними наблюденіями. Гражданскій календарь въ началѣ этой книжки сопровождается астрономическими данными, касающимися восхода, захода и прохожденія черезъ меридіанъ

луны, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна; тутъ же даны ихъ координаты на каждый день. Такъ какъ для пользованія приложенными таблицами, надо обладать нѣкоторымъ навыкомъ, начинающимъ предлагають рѣшить нѣсколько задачъ, вродѣ нижеслѣдующихъ: а) узнать, какія звѣзды идутъ черезъ меридіанъ въ данный моментъ, б) найти прямое восхожденіе по времени кульминаціи свѣтила и т. д. Что касается до «справочника» наблюдателя, то это сводъ указаній, по мѣсяцамъ и днямъ, на тѣ явленія на небесномъ сводѣ, которыя доступны наблюдателю, располагающему биноклемъ или небольшою трубой.

Въ описаніи солнечной системы приведены очень сжатые характеристики явленій, происходящихъ на солнцѣ, лунѣ и планетахъ; для иллюстраціи приложены рисунки солнечнаго пятна, кратеровъ на лунѣ (часть лунной поверхности), относительной величины и вида Венеры во время разныхъ отстояній ея отъ солнца, Юпитеръ и Сатурнъ, а также видъ кольца Сатурна при различныхъ положеніяхъ его на солнцѣ; въ краткомъ наброскѣ падающихъ звѣздъ и «огненныхъ дождей» 1899 года приведены времена появленій звѣздныхъ потоковъ. Болѣе подробно останавливается составитель этого описанія на землѣ и звѣздномъ небѣ. Постоянно встрѣчающіеся термины: звѣздныя сутки, небесныя координаты, истинныя и среднія сутки, среднее и звѣздное время объяснены въ одномъ изъ отдѣловъ; вслѣдъ затѣмъ, тотъ, кто заинтересуется, можетъ перейти къ собственно математической части, изложенной крайне элементарно. Для опредѣленія покрытій звѣздъ и солнечныхъ затмевій данъ графическій, чрезвычайно простой способъ профессора Ковальскаго. Но особаго вниманія заслуживаетъ способъ опредѣленія широты и времени кievскаго профессора Фогеля, который рѣшаетъ этотъ вопросъ при помощи *одного отвѣса*. Не прибѣгая къ помощи высшей математики, можно опредѣлить по этому способу широту и мѣстное время, а отсюда уже и долготу мѣста. Это прибавленіе, впервые появляющееся въ разбираемомъ изданіи, очень цѣнно для любителей. Подъ заглавіемъ «успѣхи астрономіи за 1897 годъ» данъ обзоръ того, что опубликовано было въ теченіе этого года; тутъ есть выводъ изъ многолѣтнихъ наблюденій надъ поверхностью солнца и отчетъ о полномъ солнечномъ затменіи 1896 года; изслѣдованія Бреннера относительно Юпитера и Меркурія; конспектъ наблюденій проф. Бредихина надъ вращеніемъ пятенъ Юпитера, а также новости въ области кометовѣдѣнія и изученія звѣздъ.

Разныя свѣдѣнія, безъ которыхъ нельзя обойтись при покупкѣ инструментовъ и обращеніи съ ними, читатель найдетъ въ практической части. Въ этой же части указано, какъ обратить обыкновенную зрительную трубу въ трубу для фотографированія, какъ фотографировать небо при помощи камеры, какъ построить солнечныя часы. Благодаря приложенной къ календарю подвижной картѣ звѣзднаго неба, новичекъ легко можетъ ориентироваться на небѣ, такъ какъ карта позволяетъ быстро найти главнѣйшія созвѣздія, отвѣчающія каждому часу любого дня.

Цѣна книжечки 75 копѣекъ, вполне доступная, если принять во вниманіе, что купившій ее любитель избавленъ отъ необходимости приобрести казое-либо другое справочное изданіе. Мы указали только нѣкоторые изъ отмѣченныхъ въ календарѣ вопросовъ; въ календарѣ читатель найдетъ въ снискѣ книгъ и журналовъ названія статей по тѣмъ областямъ астрономіи, которыя останавятъ его вниманіе.

НОВЫЯ КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ ДЛЯ ОТЗЫВА,

съ 15-го марта по 15-е апрѣля 1899 года.

- И. М. Соколовъ. Стихотворенія. Спб. 1899. Ц. 1 руб.
- Стариціне. Передъ бурей. Историческій романъ. Кіевъ. 1899. Ц. 2 р.
- Памяти Бѣлиискаго. Литературный сборникъ, съ 3-мя фототипіями. Изд. Пензенской обществ. бібліотеки имени М. Ю. Лермонтова. Москва. 1899. Ц. 3 р. 50 к.
- А. Рамбо. Исторія французской революціи. Пер. съ франц. съ 30 рис. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р.
- Г. Фр. Кольбъ. Исторія человѣческой культуры. Т. II. Перев. съ нѣм. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. за 2 тома 3 р. 50 к.
- Фр. Энгельсъ. Происхожденіе семьи. Пер. съ 6-го нѣм. изд. Изд. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 50 к.
- Франклинъ, Генри Гиддингсъ. Основанія социологіи. Переводъ съ англ. Изд. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р.
- Блезъ Паскаль. Мысли. (О религіи). Пер. съ франц. Изд. 2-ое, исправленное. Москва. 1899. Ц. 1 р.
- Д-г. I. Leistikow. Терапія кожныхъ болѣзней. Перев. съ нѣм. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р.
- Э. Вурмъ. Жизнь нѣмецкихъ рабочихъ. Пер. съ нѣм. Изд. т-ва «Знаніе». Спб. 1899. Ц. 80 к.
- Дж. Ст. Милль. Основанія политической экономіи. Пер. съ англ. Изд. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 3 р.
- Navelock Ellis. Преступникъ. Пер. съ англ. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р.
- Его же. Мужчина и женщина. Пер. съ англ. д-ра Гринберга. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р.
- Э. Тома. Римъ и имперія. Пер. съ франц. Изд. Л. Пантелѣва. Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.
- С. Lombroso e G. Ferrero. Женщина преступница и проститутка. Пер. съ итал. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1899.
- Проф. К. Лампертъ. Жизнь прѣсныхъ водъ. Пер. съ нѣм. съ 12 табл. въ краскахъ, и фототипіяхъ и многими полетипажамми. Изд. Девриена. Вып. I. Спб. 1899. Подписная цѣна на все сочин. въ 10 вып.—6 р.
- Птицы Европы. Практическая орнитологія съ атласомъ европейскихъ птицъ. 56 табл. въ краскахъ съ текстомъ. Подписная цѣна 10 выпуск.—14 руб. Изд. Девриена. Спб. 1899.
- Проф. Барсовъ. Нѣскольکو изслѣдованій историческихъ и разсужденій о вопросахъ современныхъ. Спб. 1899. Ц. 2 р.
- Джеромъ Н. Джеромъ. Шесть разсказовъ. Пер. съ англ. Изд. Иогансона. Кіевъ. 1899. Ц. 50 к.
- Г. Зиммель. Соціальная дифференціація. Пер. съ нѣм. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1898. Ц. 30 к.
- С. Гликинъ. Къ вопросу о происхожденіи права. Пер. съ нѣм. Изд. Ф. Иогансона. Кіевъ. 1898. Ц. 15 к.
- Бончъ-Бруевичъ. Избранныя произведенія русской поэзіи. 1824—1898. Изд. Поповой. Спб. 1899. Ц. 2 руб.
- В. В. Розановъ. Религія и культура. Сборникъ статей. Спб. 1899. Ц. 1 р.
- Э. д'Эрвильи. Приключенія доисторическаго мальчика. Пер. съ франц. Мезіеръ. Съ рис. Изд. Поповой. Спб. 1899. Ц. 80 к.
- Эристъ Гроссе. Происхожденіе искусства. Съ 32 рис. и 3 табл. Пер. съ нѣм. А. Грузинскаго. Москва. 1899. Ц. 1 р. 50 к.
- А. С. Пушкинъ. Русланъ и Людмила. Народное изданіе Поповой. Спб. 1899.
- Ф. А. Нефедова. Степанъ Дубковъ. Повѣсть. Народное изданіе Поповой. Спб. 1899.
- Фонъ-Визинъ. Недоросль. Народное изд. Поповой. Спб. 1899.
- Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича. Народное изданіе Поповой. Спб. 1899.
- М. Ю. Лермонтовъ. Тамань. Изд. Поповой. Спб. 1899.
- Его же. Мцыри. Изд. Поповой.
- Его же. Демонъ. Изд. Поповой.
- Д. Н. Кайгородовъ. Дерево и его жизнь. Изд. Поповой. Спб. 1899.

Его же. Кукушка. Съ 2-мя рисун. Изд. Поповой. 1899. Спб.

В. Брусь. Поэты - крестьяне Суриковъ и Дрожжинъ.

Думы и ѳсины. Сборникъ стихотвореній для юношества. Вып. I—15 к. Вып. 2—20 к. Изд. Поповой. 1899.

П. Б. Беранже. Пѣсни. Съ портр. Изд. Поповой. 1899. Спб.

Гюи де-Молассанъ. Въ семьѣ. Разсказъ.

Его же. Изъ франко-прусской войны. Нѣмецъ въ плѣну у французовъ. Два пріятеля. Изд. Поповой. Спб. 1899.

А. Бернштейнъ. Очерки по мировѣдѣнію. Пер. съ нѣм. съ рис. Для подготовленныхъ читателей. Изд. Поповой. Спб. 1899.

Басин Крылова. На сценѣ дѣтскаго театра. Одесса. 1899. Ц. 15 к.

Ю. И. Гессенъ. Галлерей еврейскихъ дѣятелей. Литературно-биографическіе очерки съ портр. Вып. I—1 р. Вып. II—25 к. Спб. 1898.

В. Студинъ-Альдисъ. Смотри на небо (Популярный очеркъ астрономіи). Пер. съ англ. Серафимова, съ 29 рис. Спб. 1899. Изд. Павленкова. Ц. 50 к.

И. Е. Романовъ. Торговый плодовый садъ средней полосы Россіи. Практическое руководство для землевладѣльцевъ. Москва. 1899. Ц. 70 к.

С. Дремцовъ. Разсказъ о томъ, какъ у насъ на Руси началось и шло земледѣліе съ самыхъ древнѣйшихъ временъ и до нашихъ дней. Изд. «Посредника». Москва. 1899. Ц. 10 к.

Пьеръ Лоти. Горе стараго каторжника и разсказы другихъ авторовъ. Изд. «Посредника». Москва. 1899. Ц. 6 к.

И. Хрѣтовъ. Пѣвцы народной жизни. Изд. «Посредника». Ц. 15.

Его же. Женское горе. Сборникъ стихотвореній. Изд. «Посредника». 1899. Ц. 6 к.

Н. А. Машеева. Отецъ. Повѣсть по Франсуа Коппе. Изд. «Посредника». Ц. 6 к.

С. Стаховичъ. Сиротка. Изд. «Посредника». Ц. 6 к.

Н. Телешовъ. Домой. Изъ жизни сибирскихъ переселенцевъ. Изд. «Посредника». Ц. 1¹/₂ к.

Горбуновъ-Посадовъ. Принцъ-калѣка. Во-

сточное сказаніе по Ж. Ламетру. Изд. «Посредника». Ц. 1¹/₂ к.

А. Хирьяковъ. Сказаніе о королевѣчѣ Бифриарѣ. Источникъ жалости. Изд. «Посредника». Ц. 1¹/₂ к.

Земля и человекъ по Реклю. Со многими рисунками. Изд. Поповой. Спб. 1899.

В. Овчинникова. Какъ живутъ японцы. Изд. «Посредника». Ц. 40 к.

В. Фирсовъ. Хлѣбопашество и скотоводство въ Финляндіи. Изд. «Посредника». Ц. 7 к.

В. Хорошунъ. Дворянскіе наказы во Франціи въ 1789 г. Т. I. Соціальная и экономическая сторона наказовъ. Одесса. 1899.

М. Гуленко. Среди болотъ и лѣсовъ. Краткій разсказъ о Бѣлоруссіи и бѣлоруссахъ. Изд. «Посредника». Ц. 3 к.

Д. З. Горностаевъ и Н. А. Шляевъ. Кирпичное производство. Изд. «Посредника». Ц. 10 к.

Д. Горностаевъ. Приготовленіе извести, съ 7-ю чертеж. Изд. «Посредника». Ц. 5 к.

Б. Х. Гольдштейнъ. Нумерація въ отвѣтахъ и вопросахъ. Для употребленія учащимися въ школахъ и дома. Гродно. 1899.

Труды комиссіи о мѣрахъ улучшенія водныхъ путей Россіи. Вып. I и II.

Герасимовъ. Опытъ опредѣленія размѣра производительныхъ затратъ на улучшеніе судоходныхъ условий рѣкъ. Вып. II.

Труды Императ. Общества судоходства.

Отчетъ по Красноярской городской общественной библиотекѣ за 1898 г.

Отчетъ о дѣятельности Московскаго уѣзднаго Общества попеченія о немущихъ дѣтяхъ за 1898 годъ.

Коммерческая энциклопедія М. Ротшильда. Настольная справочная книга по всѣмъ отраслямъ коммерческихъ знаній. Вып. II и XII. Изд. В. Э. Форселлеса. Подписная цѣна на 2 тома 10 р. безъ дост., 12 р. 50 к. съ дост. и перес. Допускается разсрочка.

Доуел. Хирургическая техника. Пер. съ франц. Изд. Ф. Югансона. Кіевъ. 1899. Ц. 35 к.

П. Павловъ. Венерическія болѣзни и сифилисъ. Изд. Сытина. Москва. 1899.

Труды комиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ. Изд. Русскаго Общества охран.

- народнаго здравія. Вып. II. Спб. 1899. Ц. 35 к.
- Н. Трофимовъ. Въ саду моемъ розы цвѣли—отцвѣтали. Сказка. Спб. 1899. Ц. 30 к.
- Алтайскій сборникъ. Вып. 1-й и 2-й. Т. П. Барнаулъ. 1898.
- Отчетъ совѣта Общества любителей изслѣдованія Алтая за 1897 г. Барнаулъ. 1898.
- Д-ръ Марренъ. Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Перев. съ франц. Изд. Павленкова. Спб. 1899. Ц. 75 к.
- Фр. Энгельсъ. Происхожденіе семьи, собственности и государства. Пер. съ нѣм. Изд. Павленкова. Спб. 1899. Ц. 50 к.
- П. И. Медвѣниковъ (А. Печерскій). Полное собраніе сочиненій. Изд. Т-ва М. О. Вольфъ. 14 томовъ. Спб. 1897.
- Труды Я. К. Грота. Т. II. Филологическія разысканія (1852—1892). Спб. 1899. Ц. 3 р.
- Э. Вернеръ. Собраніе сочиненій. Т. I. Разорванныя цѣпи. Заговоръ. Пер. съ нѣм. Изд. Ефимова. Цѣна полного собранія сочиненій въ 10 томахъ по подпискѣ 6 р., съ перес. 8 р. Москва. 1899.
- Феликсъ Адлеръ. О нравственномъ воспитаніи. Библіотека «Педагогическаго Листка». Москва. 1899. Ц. 65 к.
- Френтельнъ. Здоровье женщины. Съ 29-ю рис. въ текстѣ. Изд. Тихомирова. Москва. 1899. Ц. 65 к.
- Перфиоровъ. Первая любовь. Повесть. Спб. 1899. Ц. 50 к.
- Леонъ Буржуа. Солидарность. Пер. съ франц. Изд. Никитина. Москва. 1899. Ц. 40 к.
- А. С. Пушкинъ. Избранныя сочиненія. Изд. 3-е редакція журнала «Дѣтское Чтеніе». Москва. 1899. Ц. 25 к.
- А. С. Пушкинъ. Чтеніе для школь и народа. Изд. Тихомирова. Москва. 1899. Ц. 10 к.
- А. Chetshouline Congrès medical à Moscou en 1897.
- Карль Гроосъ. Введеніе въ эстетику. Пер. съ нѣм. Изд. Ф. Югансона. Кіевъ. 1899. Ц. 1 р. 50 к.
- Калевала. Финскія народныя былинны. Съ рис. Изд. 2-е Луковникова. Спб. 1899. Ц. 50 к.
- Висноватова. Какъ люди научились писать. Одесса. 1899. Ц. 8 к.
- Поэты — поэту. Сборникъ стихотвореній, посвящ. А. С. Пушкину на его кончину и открытіе памятника въ Москвѣ. Съ предисл. Божерянова и иллюстр. Спб. 1899. Ц. 25 к.
- В. Болинь. Спикова. Съ портретомъ. Перев. подъ редакц. П. Струве. Изд. Поповой. Спб. 1899. Ц. 60 к.
- А. Триня. Сапоги Карла Маркса. Спб. 1899. Ц. 35 к.
- Д. Эллиотъ. Адамъ Видъ. Изд. «Посредника». Москва. 1899. Ц. 50 к.
- М. Цебрикова. Пожаръ на кораблѣ. Смоленскъ. 1899.
- Ея же. Пестунья-отравительница.
- К. М. Станюновичъ. Матроска. Изд. Поповой. Спб. 1898.
- Н. И. Наумовъ. Нефедовскій починокъ. Изд. Поповой. Спб. 1898.
- Людвигъ Гейгеръ. Нѣмецкій гуманизмъ. Пер. съ нѣм. Е. Н. Видларской, подъ ред. и съ пред. проф. Г. В. Форстена. Изд. Поповой. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

«Die Frau in der modernen Litteratur». Ein Beitrag zur Geschichte der Gefühle. Von Dr. Ella Mensh. (Carl Duncker). (Женщина въ современной литературѣ). Авторъ этой книги задаетъ вопросъ, какъ отразилось женское движеніе въ литературѣ и что оно внесло туда. Далѣе авторъ разбираетъ и анализируетъ произведенія современныхъ писательницъ и ихъ общественную и литературную дѣятельность.

(Frankfurter Zeitung).

«Les Congrès ouvriers en France» (1876—1897) par Léon de Seillhae. (Рабочіе конгрессы во Франціи). Въ книгѣ собраны отчеты и протоколы засѣданій различныхъ рабочихъ конгрессовъ, собиравшихся во Франціи со времени паденія международной ассоціаціи рабочихъ и до конца 1897 года. Авторъ воспользовался для составленія своей книги документами, хранящимися въ богатой библіотекѣ социальнаго музея и благодаря тому, что онъ сосредоточилъ ихъ въ одномъ мѣстѣ, получилась полная картина возникновенія и развитія, усиленія и распаденія различныхъ рабочихъ партій, причѣмъ ясно выступаютъ на сцену особенности темперамента, разногласія и борьба и, на попрятіе этой борьбы,—могучій ростъ новаго организованнаго рабочаго класса во Франціи.

(Revue de Paris).

«La Tristesse Contemporaine» par H. Fiercus-Gevaert. (Современная тоска). Маленькая книга въ которой заключается обгльмй обзоръ философскихъ воззрній и ученій философовъ, обусловившихъ «великія нравственныя и интелектуальныя теченія нашего вѣка». Очень интересна глава, посвященная «вагнеровскому неоспиритуализму» (néo-spiritualisme wagnérien). Но любопытнѣе всего послѣднія страницы, въ которыхъ авторъ, весьма наивнымъ и забавнымъ образомъ, преподаетъ человѣчеству совѣтъ, какъ жить безпечально и излѣчиться отъ своей тоски. Эти совѣты автора можно бы назвать «этикою здраваго смысла», но рѣдко кто проповѣдуетъ эту

этику съ такимъ пламеннымъ краснорѣчіемъ и непреодолимымъ убѣжденіемъ.

(Revue de Paris).

«Modern Mysticism and other Essays» by Francis Grierson. (George Allen). (Современный мистицизмъ и другіе очерки). Чрезвычайно содержательная книга, заключающая въ себѣ много возвышенныхъ мыслей. Первая глава посвящается современному мистицизму, причины и характеръ котораго авторъ стремится опредѣлить на основаніи другихъ явленій современной жизни. Въ другихъ главахъ авторъ говоритъ о красотѣ и нравственности въ природѣ, о современной меланхоли, о Толстомъ, о подражаніи и оригинальности, о физической храбрости и нравственной трусости и т. д. Книга написана очень изысканнымъ языкомъ, но читается легко и изобилуетъ истинно художественными страницами.

(Athaeneum).

«The Philippines and Round About» by Major Younghusband. (Macmillan). (Филиппины и ихъ окрестности). Авторъ этой интересной книги знакомитъ читателей съ прошлымъ, настоящимъ и будущимъ Филиппинскихъ острововъ въ обрисовываетъ яркими красками испанскій деспотизмъ, господствовавшій на Филиппинскихъ островахъ въ теченіе столькихъ вѣковъ, начиная съ 1570 г. до 1896—1898 гг., когда этому деспотизму наступилъ конецъ. Въ особенности позорную роль въ этомъ отношеніи играло испанское духовенство, отличавшееся на Филиппинахъ чрезвычайно распущенностью нравовъ, лихоимствомъ и жестокостью. Дѣйствительно, факты, которые приводитъ авторъ, подтверждаемые документами, способны привести въ содроганіе. Авторъ подробно описываетъ филиппинское возстаніе, его причины и распространеніе и высказываетъ надежду, что водвореніе мира и спокойствія дастъ возможность филиппинцамъ воспользоваться всѣми плодами америкаанской цивилизаціи, которая понемногу вводится у нихъ.

(Literary World).

«*Instinct an Reason*»; an Essay, concerning the Relation of Instinct to Reason, with some special Study of the Nature of Religion, by Henry Rutgers Marshall. (Истинность и рассудок). Объемистая книга, посвященная одному из наиболее интересных и спорных вопросов из области биологии. Автор старается выяснить роль инстинкта въ социальной и религиозной жизни человека и въ очень интересной главѣ о религіи приходитъ къ заключенію, что религія бываетъ всегда истинна. (Literary World).

«*The Rise and Growth of American Politics*» by Henry Jones Ford (Macmillan and Co). (Возникновеніе и развитіе американской политики). Авторъ поставилъ себѣ цѣлью изобразить постепенную эволюцію политическихъ взглядовъ и выяснить характерныя черты американской политики. Кроме того, авторъ подробно изслѣдуетъ современное состояніе американскаго управленія, его качества и недостатки. (Literary World).

«*Saladin; Heroes of the Nations*» by Stanley Lane Role (Putnam and Sons). (Саладинъ; герои націй). Замѣчательно, что Саладинъ, который былъ однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ вождей своего времени, былъ совершенно неизвѣстенъ до 25 лѣтъ. Авторъ рассказываетъ его исторію и описываетъ его личность на основаніи подлинныхъ арабскихъ документовъ. Саладинъ былъ великимъ государемъ и вождемъ; обладалъ благороднымъ сердцемъ, былъ милосердъ и сострадательнъ и вполне заслуживаетъ того, чтобы его биографія была включена въ серію изданій подъ общимъ заглавіемъ «Герои націй». Къ биографіи приложены недурныя иллюстраціи и нѣсколько картъ и плановъ. (Literary World).

«*Transvaal*», die Südafrikanische Republik, historisch, geographisch, politisch, wirtschaftlich dargestellt von A. Seidel. Berlin. (Трансвааль). Живой интересъ, который вызвала въ себѣ южноафриканская республика, выразился въ появленіи большого количества сочиненій, посвященныхъ Трансваалу. Названная книга представляетъ цѣнный вкладъ въ литературу о Трансваалѣ, такъ какъ она знакомитъ читателей съ южноафриканской республикой, какъ съ исторической и географической, такъ и съ политической и экономической точки зрѣнія. Книга написана очень живо и снабжена многочисленными иллюстраціями. (Litterarische Echo).

«*Buddhistische Schriften*». Die Lieder der Mönche und Nonnen, übersetzt von Karl Eugen Neumann, Berlin. (Буддйскія писанія). Интересъ къ буддизму, безъ сомнѣнія, сильно возросъ въ Европѣ въ последнее время. Послѣдователи буддизма встрѣчаются уже и въ европейскомъ образованномъ обществѣ, въ Лондонѣ и Парижѣ. Но

большинство европейскихъ буддистовъ имѣетъ все-таки весьма смутное понятіе о самой доктринѣ и вышеназванный переводъ буддйскаго катехизиса и буддйскихъ священныхъ гимновъ всего лучше знакомитъ съ буддйскимъ мировоззрѣніемъ и его философій и такимъ образомъ можетъ быть полезенъ не только изслѣдователямъ буддизма, но и его современнымъ приверженцамъ, ищущимъ въ этомъ ученіи отвѣта на разные вопросы, волнующіе ихъ душу. (Litterarische Echo).

«*Die Geistigen und Socialen Strömungen des 19 Jahrhunderts*» von Theobald Ziegler. Berlin. (Georg Bondi). (Умственные и социальные теченія XIX вѣка). Объемистое сочиненіе, представляющее первый выпускъ серіи, которая будетъ состоять изъ сочиненій различныхъ авторовъ, посвященныхъ изученію современной эволюціи Германіи на почвѣ культурно-исторической. Въ слѣдующихъ выпускахъ будутъ помѣщены: политическая исторія проф. Кауфманна изъ Бреслава; военная исторія капитана Кенга изъ Берлина; исторія естественныхъ наукъ, исторія техники, строительнаго искусства, литературы, музыки и т. д. (Litterarische Echo).

«*Le Role social de la femme*» par Anna Lampérière. (Социальная роль женщины). Очень интересная книга, обрисовывающая современное положеніе женщины и ту роль, которая ей принадлежитъ въ будущемъ. (Indépendance Belge).

«*Les savants modernes*» leur vie, leurs travaux d'après les documents académiques. (Nony et Co). Paris. (Современные ученые). Цѣль этой книги—познакомить всѣхъ культурныхъ читателей, на основаніи подлинныхъ документовъ, со всеми великими именами, великими законами и великими проблемами науки. Книга эта заключаетъ въ себѣ прекрасно составленное изложеніе научной эволюціи послѣднихъ двухъ вѣковъ. (Indépendance Belge).

«*From Peking to Petersburg*» by Arnst Reid (Edward Arnold). (Изъ Пекина въ Петербургъ). Авторъ начинаетъ свою книгу замѣчаніемъ, что китайцы и славяне будутъ еще долго интересоваться англичанъ. По его мнѣнію, нашествіе на Китай уже началось со стороны европейскихъ державъ подъ видомъ мирной окупаціи, желѣзнодорожной концессіи и т. д., и поэтому теперь самое время заняться вопросомъ о будущемъ Китая. Авторъ видитъ въ современномъ Пекинѣ пророческое изображеніе будущаго Китая. «Въ стѣнахъ Пекина, и безъ всякихъ книгъ,—говоритъ онъ,—можно прочесть исторію прошлаго и предугадать будущее Китая. Дома, дворцы и храмы Пекина постепенно превращаются въ грязныя развалины, и китайцы равнодушно смотрятъ на это. То же самое можно сказать и относительно государства; правительство и народъ какъ будто ожидаютъ,

какая судьба постигнет страну, будетъ ли она раздѣлена между европейскими державами, или же въ ней будетъ учрежденъ протекторатъ, какъ въ Египтѣ. Авторъ думаетъ, что и теперь уже довольно было бы тысячи европейскихъ солдатъ, чтобы завоевать Китай. Помимо этихъ разсужденій о будущности Китая, авторъ даетъ очень интересное описаніе своего путешествія по Китаю и сибирской желѣзной дорогѣ.

(The Atheneum).
 «*The Cuban and Portorican Campaigns*» by Harding Davis. (Heinemann). (Кубанская кампанія). Чрезвычайно живо написанныя картинки кубанской кампаніи, знакомящія читателя со всеми ужасами войны, которые обыкновенно отодвигаются на второй планъ и о которыхъ забываютъ подъ вліяніемъ грома побѣдъ. Описаніе работъ на перевязочномъ пунктѣ проникнуто глубокимъ реализмомъ и производитъ сильное впечатлѣніе. Въ такомъ же родѣ написаны и другія картины, рисующія безпомощное положеніе раненыхъ на полѣ битвы,

подъ палящими лучами солнца. Чтобы немного развеселить читателя послѣ этихъ мрачныхъ картинъ авторъ приводитъ нѣсколько мастерски написанныхъ изображеній солдатской жизни и мѣстами страшицы такъ и блестятъ юморомъ.

(Daily News).

«*Sights and scenes of Oxford City and University*». (Cassell and Co). (Виды и сцены изъ жизни Оксфорда и университета). Чрезвычайно интересное описаніе, снабженное многочисленными видами Оксфорда и университета.

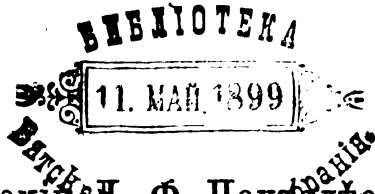
(Daily News).

«*Anecdotal History of the British Parliament*» by G. H. Jennings. (Harace Cox). (Анекдотическая исторія британскаго парламента). Занимательная книга, вышедшая новымъ изданіемъ и заключающая въ себѣ цѣлый рядъ картинъ и сценъ изъ парламентской жизни Англіи. Въ книгѣ собранъ значительный историческій матеріалъ.

(Daily News).

Извѣстельница А. Давыдова.

Редакторъ Викторъ Острогорскій.



Положеніе о преміи Л. Ф. Цангелъева за лучшее сочиненіе о Бѣлинскомъ, учрежденной при Литературномъ Фондѣ.

1) Капиталъ преміи — 1.500 р., съ нарощенными до дня выдачи процентами. 2) Срокъ представленія черезъ пять лѣтъ послѣ распубликованія положенія о преміи, т. е. 10 апрѣля 1904 года. 3) Если ни одно изъ представленныхъ черезъ 5 лѣтъ сочиненій не будетъ удостоено преміи, назначается новое соисканіе черезъ три года и т. д. 4) Комитетъ Литературнаго Фонда, для разсмотрѣнія представленныхъ сочиненій, избираетъ особую комиссію изъ трехъ лицъ, коими могутъ быть и не члены Комитета, но окончательный рѣшающій голосъ остается за Комитетомъ. 5) Премія присуждается одному лицу. 6) Если комиссія признаетъ достойными преміи два или нѣсколько сочиненій, таковыя передаются на разсмотрѣніе новой комиссіи; если же и она, равно какъ и Комитетъ, признаетъ ихъ одинаково удовлетворяющимъ требованіямъ настоящаго положенія—выборъ опредѣляется жребіемъ. 7) Премированное сочиненіе должно заключить въ себѣ: а) полный биографическій очеркъ, какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней, психологической, стороны, на основаніи всѣхъ доступныхъ матеріаловъ; б) изложеніе хода развитія идей Бѣлинскаго въ связи съ современными ему и непосредственно предшествующими умственными теченіями, какъ русскими, такъ и европейскими. При этомъ должно быть обращено особое вниманіе на исторію русской критики и журналистики въ 20-хъ и началѣ 30-хъ годовъ; в) всестороннюю оцѣнку значенія дѣятельности Бѣлинскаго для русской жизни вообще и для послѣдующаго развитія русской критики въ особенности; г) характеристику ближайшихъ друзей и недруговъ Бѣлинскаго. 8) При полученіи преміи авторъ выдаетъ Литературному Фонду обязательство, по которому передаются Лит. Фонду права собственности по изданію 5.000 экземпляровъ. 9) Литературный Фондъ издаетъ премированное сочиненіе на свои средства или на деньги, могущія поступить для этой цѣли. 10) Вся чистая прибыль отъ изданія поступаетъ въ капиталъ имени Бѣлинскаго при Литературномъ Фондѣ. 11) До присужденія преміи капиталъ долженъ находиться въ $\frac{1}{2}$ бумагахъ. 12) Если по обстоятельствамъ не зависящимъ отъ Лит. Фонда, присужденіе преміи настолько замедлится, что капиталъ преміи вмѣстѣ съ $\frac{1}{2}$ превзойдетъ 2.000 р., то въ премію выдается 2.000 р., избытокъ же на покрытіе расходовъ по изданію. 13) Такъ какъ цѣль преміи вызвать появленіе новаго труда о В. Г. Бѣлинскомъ, то всѣ труды, появившеся до опубликованія положенія о преміи, не могутъ быть допущены къ соисканію, хотя бы и были представлены въ новомъ изданіи. 14) Принимая также во вниманіе, что премированное сочиненіе, въ первыхъ пяти тысячахъ экземпляровъ, должно поступить въ собственность Литературнаго Фонда, премія не можетъ быть присуждена за трудъ, выпущенный отдѣльнымъ изданіемъ, хотя бы и послѣ опубликованія положенія о конкурсѣ; но не можетъ быть препятствіемъ къ присужденію преміи, если трудъ, не болѣе одной половины ея, была напечатана въ периодическихъ изданіяхъ.

	СТР.
16. НАШИ ВЕСЕННІЯ ВЫСТАВКИ. (Замѣтка). С. М.	13
17. РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ. На родинѣ. Изъ голодающихъ губерній.—Народный университетъ въ Тифлисѣ.—Сахалинскіе арестанты.—На новыхъ мѣстахъ.—Пушкинскій музей.	17
18. За границей. Рабочая коллегія въ Оксфордѣ. — Годовщина основателя Арміи Спасенія.—Фабрикантъ-художникъ.—Японія прежде и теперь.—Парсы въ Индіи и европейское вліяніе.—Въ Египтѣ.—Положеніе миссій въ Китаѣ.	28
19. Изъ иностранныхъ журналовъ. «The Chautauquan». — «Nuova Antologia». — «Revue des Deux Mondes». — «Ethical Journal».	40
20. АГРАРНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ ГОЛЛАНДІИ. М. Рафаилова.	44
21. НАУЧНАЯ ХРОНИКА. Физиологія. 1) Новыя изслѣдованія о причинѣ горной болѣзни. 2) Отчего негры чернаго цвѣта?—Физика. Жидкій воздухъ и нѣкоторыя его примѣненія.—Биологія. Удаленіе менѣе приспособленныхъ.—Географія и путешествія. Возвращеніе экспедиціи де-Гарлаша и свѣдѣнія о другихъ антарктическихъ экспедиціяхъ.	49
22. БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ ЖУРНАЛА «МІРЪ БОЖІЙ». Содержаніе: Русскія и переводныя книги: Беллетристика.—Критика и исторія литературы.—Юридическія науки.—Медицина и гигиена.—Математика и астрономія. — Новыя книги, поступившія въ редакцію.	59
23. НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.	91

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

24. ВЕРОНИКА. Историческій романъ Шумахера. Переводъ съ нѣмецкаго З. А. Венгеровой. (Продолженіе).	113
25. МИКРОКОСМОСЪ, ИЛИ МІРЪ ВЪ МАЛОМЪ ПРОСТРАНСТВѢ, описанный Морисомъ Вилькомомъ, покойнымъ профессоромъ пражскаго университета. Переводъ съ нѣмецкаго Н. М. Могилянскаго и Д. Н. Нелюбова. Съ многочисленными иллюстраціями въ текстѣ. (Продолженіе).	125

„МІРЪ ВОЖІЙ“

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

(25 листовъ)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ

САМООБРАЗОВАНИЯ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ—въ главной конторѣ и редакціи: Лиговка, д. 25—8, кв. 5 и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Въ Москвѣ: въ отдѣленіяхъ конторы—въ конторѣ *Лечковской*, Петровскія линіи и книжномъ магазинѣ Карбасникова, Кузнечій мостъ, д. Коха.

1) *Рукописи*, присылаемыя въ редакцію, должны быть *четко переписаны* снабжены подписью автора и его адресомъ, а также и указаніемъ размѣра платы, какую авторъ желаетъ получить за свою статью. Въ противномъ случаѣ размѣръ платы назначается самой редакціей

2) Непринятія мелкія рукописи и стихотворенія не возвращаются, и по поводу ихъ редакція ни въ какія объясненія не вступаетъ.

3) Принятія статьи, въ случаѣ надобности, сокращаются и исправляются, непринятія же сохраняются въ теченіе полугода и возвращаются по почтѣ только по уплатѣ почтового расхода деньгами или марками.

4) *Лица*, адресующіяся въ редакцію съ равными запросами, для полученія отвѣта, прилагаютъ семикопѣчную марку.

5) Жалобы на неполученіе какого-либо № журнала присылаются въ редакцію *не позже двухъ-недельнаго срока* съ обозначеніемъ № адреса.

6) *Иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ контору редакціи*. Только въ такомъ случаѣ редакція отвѣчаетъ за исправную доставку журнала.

7) При переходѣ городскихъ подписчиковъ въ иногородные доплачивается 80 копѣекъ; изъ иногородныхъ въ городскіе 40 копѣекъ; при перемѣнѣ адреса на адресъ того-же разряда 14 копѣекъ.

8) Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ 40 коп. съ каждаго годового экземпляра.

Контора редакціи открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 4 ч. пополудни. Личныя объясненія съ редакторомъ по вторникамъ, отъ 2 до 4 час., кромѣ праздничныхъ дней.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи 8 руб., безъ доставки 7 руб., за границу 10 руб. Адресъ:

С.-Петербургъ, Лиговка, 25.

Издательница А. Давыдова.

Редакторъ Викторъ Острогорскій.

20. APR. 1929

26. OCT. 1929

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

